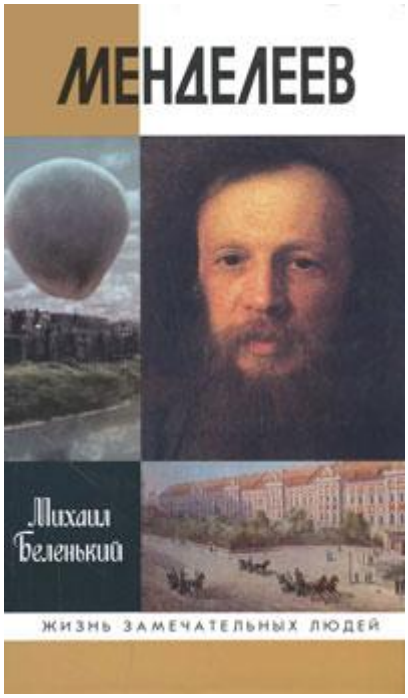
Михаил Давыдович Беленький
Менделеев

Жизнь замечательных людей



«Менделеев»: Молодая гвардия; Москва; 2010
ISBN 978-5-235-03278-1

Аннотация

Дмитрий Иванович Менделеев известен большинству читателей как «отец» русской водки и автор Периодического закона. Между тем по широте научных и практических интересов его можно сравнить с титанами Возрождения. Кроме занятий химией, он писал книги по экономике и социологии, конструировал высокоточные приборы, разрабатывал таможенные тарифы, летал на воздушном шаре, исследовал спиритизм, возглавлял русскую метрологию, выступал экспертом на судебных процессах об отравлениях и подделке денег и называл себя «волонтером нефтяного дела». Неутомимый путешественник, он провел девять лет за границей. Его имя неразрывно связано с именами великих современников Н. Пирогова, Н. Зинина, А. Бутлерова, А. Бородина, И. Репина, А. Блока. Среди его любимых учеников были революционеры Н. Кибальчич и А. Ульянов. Ходят слухи, что он был отправлен правительством за границу, чтобы добыть секрет иностранного пороха. Он был дважды женат, но изменял женам с «любовницей»-наукой.

Книга рассказывает о непростых семейных отношениях Менделеева, о его истинной роли в изобретении русской водки и бездымного пороха и раскрывает суть конфликта с академической средой, в результате которого всемирно признанный ученый не получил на родине звания академика.

Михаил Беленький
Менделеев

Предисловие

Иногда кажется, что всё дело в снимке. Что многие наши современники плохо знают Периодический закон всего лишь из-за неудачной фотографии его автора. Из тиража в тираж в углу таблицы Менделеева помещают изображение бородатого дяди, унылого и тусклого, как коммунальная лампочка. Трудно представить, что на самом деле этот выцветший человек имел столь неукротимую натуру, что много раз оказывался из-за нее па краю гибели. Невозможно поверить, что этого «дальнего родственника» школьных «химичек» хоронил едва ли не весь Петербург, а его таблицу несли впереди многотысячной траурной колонны как неопровержимое доказательство светлого и разумного будущего.

Действительно, наверное, стоит заменить это приевшееся старое фото, а потом посмотреть, что будет, если в том же углу таблицы явится портрет Дмитрия Ивановича работы Врубеля — тот, где сидящий, нога на ногу, человек летит прямо на нас, где его глаза расширены беспредельным жестким излучением, над которым не властен никто, а напряжение во всем теле таково, что вздернутый большой палец ноги вот-вот прорвет кожаный сапог. От одного такого соседства типовые планшеты школьных химических кабинетов могут сами собой попадать на пол…

А что будет с нами? Что еще, в конце концов, должно случиться с нами, чтобы ушедший сто лет назад мыслитель, который был не только автором закона, открывшего человечеству суть вещей и принцип устройства материального мира, но и гением реальности, смог, наконец, до нас докричаться? Чтобы хоть одна фраза долетела? Например, эта: *«…одна комбинация босяков и капиталов не может образовать или вызвать сама по себе народного блага»*...

Глава первая
ТОБОЛЬСКИЙ ДЖУНГАРЕЦ

Дмитрий Иванович Менделеев родился 27 января 1834 года в Тобольске.

Город стоял посреди тайги, маленький и встревоженный. Вместе с четырьмя предместьями и двумя подгородными деревеньками он насчитывал не более полутора тысяч домов, каменных среди них было от силы несколько десятков. Горожане кормились от рыбного промысла, летом работали на судах и пристанях. С окончанием навигации Тобольск, не теряя обычной озабоченности, впадал в сонную апатию. С трудом можно было поверить, что еще сто лет назад через город проходил главный сибирский тракт и именно отсюда царский наместник управлял всей огромной Сибирью. О губернском прошлом теперь напоминали только гимназия, Софийский собор да два дома, именовавшиеся дворцами: бывшая резиденция наместника и палаты архиепископа. Были еще остатки кремля в верхнем городе, но они относились к столь далеким годам, что просто стояли сами по себе. Разве что иногда обыватель скользнет по руинам завистливым взглядом, поскольку камень гореть не может — не то что его деревянное жилье. Затеет, скажем, пьяный сосед во дворе летнюю печь топить, запалит траву… Город часто и страшно горел. Причем пожары пожирали не только первые попавшиеся неказистые дворы; пламя всегда, будто по умыслу, норовило добраться до самых лучших городских зданий. В 1797 году сгорели сразу Троицкий собор, консистория и Гостиный двор. Огонь был такой силы, что охватывал даже каменные строения. Пылали иконы, плавились и падали со звонниц гудящие благим матом колокола. После пожаров люди заливали водой дымящиеся головешки, расчищали пепелища и снова строили дома из дерева.

В округе также бывало неспокойно, бунты иногда охватывали сразу по несколько уездов. Случалось, что мужики, взяв в руки ружья и засунув за пояс топоры, сбивались в крупные отряды и обращали в бегство местные воинские команды. Однажды они даже пошли на приступ Далматовского монастыря, где укрылась группа солдат с офицером. Служивые были вынуждены ударить из пушек картечью. После каждого залпа мужики

десятками валились на землю, но остальные, не щурясь и не мигая, шли на приступ, пока их почти всех не перебили. Восставали казахи, не оставлявшие попыток захватить Акмолинск. Вогулы[1] отказывались платить ясак[2] русскому царю и, было дело, уже подступили к самому Обдорску. Национальный вопрос и Сибири был давным-давно вбит в землю и утоптан, но полуживые от водки туземцы всё еще помнили, что когда-то это было их родовое пространство. Здесь были их боги, их воды, их зверь, их рыба. Потомки же русских переселенцев знали, что гак никогда больше не будет, и смотрели на инородцев с усмешкой. Многим уже и вовсе не приходило в голову, что земля на тысячи верст вокруг совсем не русская, а настоящие ее хозяева — живущие в глухомани слабые, качающиеся инородцы, которых березовские и обдорские промышленники дурят, выменивая на хлеб рыбу. Это и понятно — потомственная память простого поселенца так устроена, что лишнего не держит.

Тобольск того времени, конечно, имел много общего со всеми провинциальными русскими городами: множество церквей, кремль, торговые ряды, серая народная толпа, кое-где разбавленная мундирами военных и статских служащих, кулачные бои стенка на стенку на Масленицу… Было здесь, безусловно, и нечто свое, особое — скажем, огромная, известная на всю Россию тюрьма. Или рентерея — хранилище государственной пушной казны, построенное губернатором Гагариным, возомнившим себя чуть ли не сибирским государем и даже наладившим чеканку своей монеты. (Кончилось его самоуправство тем, что привезли голубчика в Санкт-Петербург и принародно вздернули на Васильевском острове. Когда веревка сгнила, император повелел заменить ее металлической цепью.) Или крупнейшая пристань для перевалки соленой, вяленой, а зимой свежей рыбы. Или неведомо откуда взявшиеся мастера по пошиву лайковых перчаток. Но при всем этом было еще что-то такое, что наводило на мысль о случайности, неукорененности таежного города. Вот он, Иртыш, который пленные шведские инженеры перетащили на новое место, чтобы не топил город неожиданными и бурными наводнениями. Вот он, кремль — такой мощный и тяжелый, что грунт пришел в движение, стены треснули и расселись. Вот он, памятник Ермаку Тимофеевичу, на склоне Чукманского бугра…

Тем не менее, если размотать цепь событий, приведших к появлению города, то окажется, что шальная русская история потянулась в эти бесконечно далекие места совсем не случайно. Город стал следствием вполне рутинной межгосударственной переписки. Царя Ивана Грозного до печенки достали жалобы ногайского хана Юсуфа, караваны которого то и дело перехватывали азовские казаки Сеньки Ложника и донцы атамана со странным именем Сары-Азман. Казачьи ватаги в ту пору нападали не на одних ногайцев, грабили они также азовцев и крымцев, перехватывали персидские и бухарские посольства, а на Волге не давали проходу не то что иностранным, а даже русским торговым судам. Жаловались, конечно, все, но Юсуф просто замучил. Иван Васильевич долго и терпеливо отвечал ногайцу, что «эти разбойники живут на Дону без нашего ведома, от нас бегают. Мы и прежде посылали не один раз, чтоб их переловить, но люди наши добыть их не могут. Мы и теперь посылаем добывать этих разбойников, и, которых добудем, тех казним. А вы бы от себя велели их добывать и, переловивши, к нам присылали. А гости ваши дорогою береглись бы сами, потому что сам знаешь хорошо: на поле всегда всяких людей много из разных государств. И этих людей кому можно знать? Кто ограбит, тот имени своего не скажет. А нам гостей наших на поле беречь нельзя, бережем и жалуем их в своих государствах». Но Юсуф продолжал долбить свое: «Холопы твои, какой-то Сары-Азман слывет, с товарищами на Дону в трех и четырех местах города поделали да наших послов и людей стерегут и разбивают. Какая же это твоя дружба? Захочешь с нами дружбы и братства, то ты этих своих холопей оттуда

---

[1] Вогулы (манси) — северный народ финно-угорской языковой группы. *(Прим. ред.)*

[2] Ясак — натуральный налог, которым облагались нерусские народы, занимавшиеся охотничьим промыслом. *(Прим. ред.)*

сведи».

В конце концов царь Иван послал на юг стрелецкое войско с боярскими воеводами. После сильного удара разбойничьи отряды разбежались кто куда. Одна ватага речным путем, по Волге и Каме, добралась аж до Перми Великой, к подножию Уральского Камня. 540 казаков под главным началом атамана Ермака Тимофеева явились к солепромышленникам братьям Строгановым и подрядились охранять строгановские солеварни от местных племен вогулов, вотяков и пелымцев. Личность Ермака до сих пор остается темной не только в смысле оценки многих его деяний, но и в смысле происхождения. Тут имеется масса гипотез, включая весьма неожиданные. Например, согласно одной из версий, он был потомком принявшего католичество итальянского еврея, поселившегося в генуэзской колонии Кафе (Феодосии) в Крыму. Есть и другие весьма экзотичные предположения, ничего, по сути, не меняющие. В казаки мог попасть кто угодно. Среди подчиненных Ермаку атаманов были Иван Кольцо (давно приговоренный к смертной казни), Яков Михайлов, Никита Пан и Матвей Мещеряк. Поначалу служили честно и рьяно. Например, известно, что, когда напал на русские фактории вогульский мурза Бегбелий Агтаков, частное казачье войско буквально с ходу опрокинуло захватчиков, а самого мурзу взяло в плен. Несколько раз Строгановы посылали казаков для нанесения превентивных ударов но враждебным племенам. Но казаки оставались казаками, душа их всё сильнее рвалась вновь испытать вольную разбойничью удачу. Их тянуло в поле. К тому же они проведали, что могут пуститься в набег, получив поддержку не только Строгановых, но и самого Ивана Грозного.

Дело в том, что в семействе Строгановых уже который год хранилась царская грамота, дозволяющая использовать наемное войско для «перенесения» русских владений за Уральские горы. В общей сложности царь пожаловал им семь с половиной миллионов десятин сибирской земли. Но как их взять? И надо ли? Братьям Максиму Яковлевичу и Никите Григорьевичу Строгановым совсем не хотелось отпускать казаков надолго. Их весьма выгодный солеварный промысел нуждался в постоянной защите от набегов диких местных народцев и сибирских татарских ханов. Кроме того, снарядить войско в дальний поход стоило немалых денег. Но ватага уже больше не могла находиться на одном месте. Дело решилось едва ли не бунтом и грабежом. В результате казаки получили по три фунта пороху, три фунта свинца, три пуда ржаной муки, два пуда крупы и толокна и половине соленой свиной туши на брата. Они погрузили припасы на плоты и струги и двинулись вверх по Чусовой. Так началось покорение Сибири. За несколько лет казаки проделали длинный путь. Как и все конкистадоры, они захватывали и жгли селения, грабили туземцев, щедро проливали чужую и свою собственную кровь. В этом смысле всё было как обычно. Рослые и отчаянные, по-разбойничьи коварные и бесстыжие, вооруженные пороховыми самострелами и пушками, они выигрывали одну битву за другой. Необычным можно считать лишь то, что в ходе похода они превратились из беглых татей в исполнителей воли государя, который поначалу требовал вернуть их в строгановскую вотчину и наказать, но, получив щедрые дары, среди которых был шлем хана Кучума, сменил гнев на милость. Казаки Ермака, те, что не погибли от ран, голода и болезней, дошли до впадения Тобола в Иртыш и овладели столицей Сибирского ханства Искером.

Здесь Ермак устроил свою ставку и; отсюда совершил еще несколько победоносных походов, пока не нашел свою погибель в погоне за богатым бухарским караваном. Но дело было сделано: Сибирское ханство, разоренное и разграбленное, начало безлюдеть, и на его пространства из-за Урала потянулись русские люди — беглые и служивые, охотные и подневольные, работные и гулящие. Русского города Ермак заложить не успел, да и не было у него такой цели. Случилось это чуть позже, когда Иоанна Васильевича на троне сменил Федор Иоаннович. По путаным следам бедового атамана к устью Тобола подошли стрельцы письменного головы Ивана Чулкова, имевшего задание поставить здесь укрепленное поселение, чтобы взять под контроль Тобол со всеми его протоками. Первым зданием нового

города можно считать «обманную избу», построенную по приказу Чулкова специально для приема всё еще могущественного тамошнего хана Сейтека. Дорогого гостя зазвали на переговоры, в разгар которых затаившиеся на чердаке лучники раздвинули потолочное перекрытие и тихо перестреляли всю ханскую охрану. Самого Сейтека взяли в плен, его войско перебили. По всей Сибири началось паническое бегство татар.

Первые годы Тобольск, что называется, не мог найти себе места — кочевал туда и сюда от «обманной избы», пока в 1610 году не закрепился на возвышенном мысу правого берега Иртыша. Вместе с городом на новое место откочевал первый тобольский ссыльный — угличский колокол, имевший неосторожность созывать народ по поводу убийства царевича Дмитрия. Правитель Борис Годунов приказал колокол выпороть, лишить языка и выслал куда-то за пределы политической жизни. Но вскоре о Тобольске заговорили. Сибирь заселялась русскими, по холодной земле худо-бедно протаптывались тропы и прорубались дороги. Оказалось, что сюда не так уж трудно добираться из Центральной России: сначала разведанной дорогой до Тюмени, а потом по Тоболу. А отсюда открывалась новая дорога — Иртышом к Оби и дальше, дальше… Форпост начал быстро богатеть. И вот уже незнамо куда пропали с глаз угрюмые казаки, тянущие по воде свои тяжелогруженые струги, навсегда унеслись прочь летучие татарские всадники, растеряли первую ярость и ушли на свои стойбища вогулы с пелымцами. По рекам заскользили торговые суда с пушниной, рыбой и изделиями мануфактур. Во времена Петра Алексеевича сибирские купцы уже вовсю торговали не только с Россией, но и с Китаем.

В Тобольске до сих пор помнят фамилию богатого купца Парфентьева. Дела свои Парфентьев вел широко, торговал даже с басурманами. Водил караваны в Китай — вез товар туда и оттуда. Разбойников не боялся — крепок был и телом, и духом. Иногда привозил товар необычный — живой. Настоящего рабства в Сибири не было, но что-то вроде работорговли было. Смышленые и трудолюбивые узкоглазые пацаны приносили семьям русских переселенцев большую пользу. Однажды Парфентьев привез маленького раба-джунгарца, с которым не захотел расставаться. Окрестил его, назвал Яковом и оставил жить в своем доме. Скоро обрусевший Яша стал одним из приказчиков хозяина, а по прошествии времени — первейшим его помощником. Когда Парфентьев умер, Яков выкупил его долю у наследников и стал вести дела самостоятельно. Быть бы ему первым в Сибири богатеем, но судьба распорядилась иначе. Яков Корнильев, крещеный джунгарец (их еще называют восточными калмыками), с которого берет начало родословная Менделеева по материнской линии, простудился и неожиданно умер, оставив после себя супругу Анну и множество детишек. Автору этих строк не довелось держать в руках документов, подтверждающих калмыцкое происхождение матери Дмитрия Ивановича Менделеева. Однако можно сослаться не только на мнение некоторых тобольских краеведов, но и на многократно с гордостью повторенное свидетельство самих калмыков, давно считающих великого русского химика выходцем из их небольшого народа и называющих его среди прочих знаменитых «калмыков»: Владимира Ленина, Лавра Корнилова, Ивана Сеченова, Федора Плевако и др. Это имя до сих пор можно встретить в парадных текстах калмыцких руководителей.

Вдова Якова, слава богу, обладала крепкой хозяйской хваткой, рук не опустила и сумела не только сохранить, но и расширить семейное дело. Едва повзрослевшего сына Алексея Анна послала в Москву хлопотать о разрешении на строительство стекольного завода в селе Аремзянском. Совсем юный предприниматель сумел добиться большего: для строительства и работы на будущем заводе разрешили использовать аремзянских крестьян. Через короткое время завод стал известен по всей Сибири столовой и аптекарской посудой, бутылями и даже стеклянными пороховницами. Второй сын Анны и Якова, Василий, открыл бумажную мануфактуру и основал первую в Сибири типографию. Начал он с издания «английской» повести «Училище любви» (перевод с французского сделал Панкратий Сумароков, ссыльный дворянин, в наказание записанный в туринские мещане), которую

вскоре пришлось переиздать из-за оглушительного успеха у суровой сибирской публики. Далее последовали «Словарь юридический», «Сельская экономия», «Описание растений Российского государства П. Палласа», «Ода на 1793 год» местного поэта И. Друнина и два наставления штаб-лекаря И. Петерсона — о первой медицинской помощи и мерах против «ветряной язвы». Кроме того, в Тобольске бойко расходился издаваемый Василием Корнильевым журнал под немыслимым, учитывая время и место, названием: «Иртыш, превращающийся в Иппокрену[3]». Это был второй в российской провинции литературный журнал (первым считается опередивший его на три года ярославский «Уединенный пошехонец»). «Иртыш» являлся периодическим органом Тобольского Главного народного училища и выходил под редакцией его учителей. Публиковались там в основном их речи на торжественных собраниях и рассуждения по разным вопросам, а еще переводы, перепечатки из центральных журналов, литературные произведения местных авторов. Переводы часто выполнялись и учащимися. Например, в «Иртыше» нашлось место для «Мнения магометан о смерти пророка Моисея», переведенного с персидского «бухаретином» по имени Апля Маметов. После «Иртыша» в Тобольске стали выходить и другие периодические издания — «Журнал исторический» и «Библиотека ученая».

Братья Корнильевы, долгие годы возглавлявшие Тобольский магистрат, снаряжали караваны в бурятскую Кяхту, через которую шла вся торговля китайским чаем, вели дела со многими русскими городами, имели лавки и в самой Москве. Но тем не менее вдове и детям Якова также не удалось по-настоящему разбогатеть. Главный Сибирский тракт, делавший Тобольск административным центром Сибири, теперь стал проходить южнее. Вместе с ним откочевало и купеческое счастье Корнильевых. Дело, когда-то выкупленное у Парфентьева, перестало приносить прибыль. А тут еще в 1796 году подоспел указ Павла I о закрытии вольных типографий. Бумажную мануфактуру пришлось остановить, издание журналов прекратилось. Семью отныне кормил один Аремзянский завод. Впрочем, средств Корнильевым, как видно, всё еще хватало. Иначе внук Анны и Якова, сын Василия Яковлевича Дмитрий не смог бы вести жизнь, в то время более свойственную благородному сословию. Дмитрий Васильевич определил сыновей в гимназию, собирал и собрал-таки огромную библиотеку, обожал конную охоту, тратился на охотничьи ружья, держал хороших лошадей и дорогих собак, платил жалованье псарю. Он и сыновей приучал к барским забавам, с малолетства брал их зимой в поле травить русаков. Но однажды на зимней охоте случилась беда со старшим сыном Николаем: разгоряченный погоней конь выскочил на тонкий речной лед и ушел под воду вместе с всадником. История была темная — в семье подозревали, что Николая утопили. Но как бы то ни было, потрясенный гибелью Николая, Дмитрий Васильевич решил сделать всё, чтобы его второй — теперь единственный — сын Василий навсегда забыл о губительной охотничьей потехе, к которой он сам и приучил его. Юноше было запрещено брать в руки ружье, а для верности, чтобы не соблазняли его богатые дичью сибирские просторы, отец отправил его искать службы в Москву. И решение это оказалось удачным во всех отношениях, поскольку Василий, родной дядя Дмитрия Ивановича Менделеева, также вписал фамилию Корнильевых в русскую историю.

В 1812 году молодой сибиряк Василий Дмитриевич Корнильев занял самую низшую должность регистратора в одном из департаментов Министерства юстиции, но уже через несколько лет был удостоен почетной награды — бриллиантового перстня. В 1819-м он — секретарь при гражданском губернаторе Астрахани С. С. Андриевском (том самом отважном враче, который добровольно привил себе сибирскую язву). Главным управителем Астраханской, Кавказской губерниями и Грузией в то время был известный генерал А. П. Ермолов, который не мог не заметить способного чиновника. Вскоре Василий Корнильев

---

[3] Иппокрена — в греческой мифологии родник, возникший от удара копыта крылатого коня Пегаса по скале горы Геликон, на которой обитали музы. *(Прим. ред.)*

оказывается в свите сибирского генерал-губернатора М. М. Сперанского. Но в 1825 году на пике карьеры, уже удостоенный дворянства, он вдруг по собственному желанию оставляет службу. Можно предположить, что умный и дальновидный чиновник был в курсе готовящегося антиправительственного заговора. Ведь он тесно приятельствовал с активным заговорщиком Батеньковым, и не только с ним. Многого стоит и тот факт, что вскоре после отставки Василий Корнильев женится на близкой родственнице Павла Пестеля Надежде Биллингс. Переехав в Москву, Василий Дмитриевич, ставший управляющим имениями князей Трубецких, превратил свой дом (он поселился на Покровке в одном из домов, принадлежавших Трубецким) в едва ли не самый известный либеральный салон старой столицы. Под его кровом собирался ближайший пушкинский круг. Фигура В. Д. Корнильева дает достаточную возможность для того, чтобы представить духовную и культурную атмосферу тобольского дома, где вырос не только будущий московский радетель учености и словесности, но и его сестрица Мария, ставшая матерью Дмитрия Ивановича Менделеева.

Мария Дмитриевна родилась в 1793 году; правда, Дмитрий Иванович почему-то всегда был уверен, что мать с отцом были старше, нежели это следовало из официальных записей. Маша с братьями рано осталась без матери и была, конечно, лишена многого из того, что составляет женское воспитание. Детьми вдовца Корнильева занималась добрая няня Прасковья Ферафонтовна, взятая в дом крестьянка. Девочка не посещала гимназию, но тем не менее, занимаясь вместе с братьями и читая отцовские книги, самостоятельно получила очень хорошее домашнее образование. Тяга к знаниям, как видно, была свойственна всем Корнильевым. Но главное, чем она по наследству обладала, — это неиссякаемая жизненная стойкости В чем-то она была похожа на свою прабабку Анну, но судьба ей выпала намного тяжелее.

Марию Корнильеву 23 января 1809 года выдали замуж за подающего большие надежды учителя философии, изящных искусств и политической экономии Тобольской классической гимназии, выпускника Санкт-Петербургского Главного педагогического института Ивана Павловича Менделеева. Хотя в брак вступали люди образованные, свадьбу сыграли по всем народным правилам. В Тобольском архиве хранится запись, из которой следует, что тысяцким[4] на свадьбе был титулярный советник, «гражданский учитель» Иван Андреевич Набережнин, одним из поезжан[5] — тоже «гражданский учитель» Семен Алексеевич Гаревский. Таинство бракосочетания было совершено в Богоявленской церкви иереем Евфимом Морковитиным и дьяконом Василием Лепёхиным с причетниками Афанасием Ситниковым и Александром Морковитиным.

После свадьбы Менделеевы зажили открытым домом. Почти каждый вечер у них собирались коллеги Ивана Павловича по гимназии, образованные чиновники, офицеры. Читали стихи, музицировали, обсуждали петербургские новости. К ним приходили те, кто искал умного общения и теплой дружеской обстановки. Семья быстро оказалась в центре культурной жизни города.

Столичное начальство, обещавшее Ивану Менделееву повышение, хоть и не спешило, но и не собиралось обманывать. В 1818 году ему, уже отцу трех дочерей, было предоставлено место директора народных училищ Тамбовской губернии. Подниматься с насиженного места большой семьей с малолетними детьми, больным отцом жены и старой нянькой (та хоть и получила вольную, но осталась с Машей до самой своей смерти) было непросто. Но перевод на службу в Центральную Россию, да еще с таким повышением, значил очень много, и семья решилась на переезд — как оказалось, далеко не последний. В

---

[4] Тысяцкий — в данном случае один из активных участников свадебного выезда к церкви для венчания, обычно крестный жениха.

[5] Поезжанин — один из участников свадебного поезда.

1823 году Менделеевы переехали в Саратов, где Иван Павлович возглавил классическую гимназию. Его карьера складывалась весьма успешно, и семья считала, что покинула Тобольск навсегда. Дети у Менделеевых рождались часто: в 1811 году — Маша, в 1815-м — Ольга, в 1816-м — Екатерина, в 1822-м — Аполлинария, в 1823-м — Елизавета, в 1826 году — Иван…

Но вскоре служебному росту И. П. Менделеева неожиданно пришел конец. Случился донос, что директор дозволяет иногородним учащимся, проживающим в казенном пансионе при гимназии, есть в пост скоромную пищу. Бумага легла на стол самому Михаилу Леонтьевичу Магницкому, бывшему реформатору и сподвижнику М. М. Сперанского, после ссылки сменившему своего благородного патрона на А. В. Аракчеева, а прогрессивные взгляды — на сугубо мракобесные. Именно в это время он ревизовал Казанский университет и все учебные заведения учебного округа. Какого рода была эта ревизия, можно судить по тому, что, например, медицинскому факультету было велено захоронить на кладбище все анатомические препараты, а действие мышц демонстрировать при помощи платков. И профессора в парадных мундирах во главе с попом понесли гробы с наглядными пособиями на кладбище, где они были похоронены по всем православным канонам. Кроме того, профессорам, среди которых было много иностранцев, было предписано «не восхищаться» впредь устройством человеческих органов, а искать в анатомии подтверждение Божьего промысла. Дальше — больше: верноподданный истерик предложил за кощунственное вольнодумство вообще закрыть Казанский университет и даже «торжественно разрушить» университетское здание. И в такое время донос обвинял директора гимназии в распространении безбожия и нарушении священных установлений. Визг поднялся до небес, началось следственное разбирательство. Иван Павлович был отстранен от директорства и отправлен с семьей в Пензу, где, не приступая к исполнению новой службы, два года ждал решения своей судьбы. От полного увольнения его спасло радостное для очень многих событие — в 1827 году злодей российского просвещения был сам уволен в отставку за растрату казенных средств и превышение власти. Ивану Павловичу удалось получить перевод обратно в Тобольск — он обменялся местом службы с тамошним директором гимназии, желавшим перебраться в Пензу. Так Менделеевы вернулись в Сибирь.

Автор доноса, по всей видимости, руководствовался не только «постными» соображениями. Иван Павлович, определенно, уличил кого-то из саратовских чиновников в казнокрадстве. Об этом свидетельствует его письмо от 13 марта 1833 года матери и брату в село Млево Тверской губернии: «…За сим вот Вам, любезнейшие, моя исповедь… в половине октября 1825 года приехал к нам в Саратов наш Попечитель Михаил Леонтьевич Магницкий (потомок автора первого русского печатного руководства «Арифметика»)… Он мне сперва благодетельствовал; по его настоянию яко отличный чиновник был переведен в Саратов, для приведения в порядок тамошней Гимназии. Открытые мною злоупотребления… из благодетеля превратили его в гонителя. И так произошли у нас борьба, переписка, следствие и дело продолжалось почти два года. Я жил в доме гимназии, получил штатное звание Директора, не исправляя, однако, должности, с сим званием сопряженной. После долгих прений, наконец, дело решено Господином министром — перевести меня Директором же в Тобольск, куда с получением приказа и приехал с семейством 4 февраля 1828 г…В том же году получил и чин надворного советника…» Еще два письма Ивана Павловича адресованы туда же, в Млево, но уже племяннику. В первом, от 13 мая 1833 года, он советует: «…не торопись, любезнейший Иван Тимофеевич, предускорить других чинами, а старайся вникнуть в сущность дел. Кто знает дело, тот не погибнет…» Другое написано через год, в 1834-м: «…Дай Бог, чтобы ты наследовал правоту и честность наших предков. На поле службы не должно в виду иметь перспективного: чины, богатство, жадность, а одно усердие, честность, благородное прохождение своего служения, а за ними и прочее приложится тебе… Век живи, век учись. Кто с сими чувствами вступает в службу, тот не посрамит себя ни самолюбием, ни корыстолюбием, а тем более хищением чужого… Извини моей морали, которой я тоже учился на берегах Тихомандрицы…»

Иван Павлович вначале готовился в священники. Его отец Павел Максимович Соколов, священник села Тихомандрицы Вышневолоцкого уезда, отдал его вместе с тремя другими сыновьями, Василием, Тимофеем и Александром, в Тверское духовное училище, по выходе из которого троим вместо родовой фамилии дали новые. Такова была семинарская традиция — подбирать будущим священнослужителям красивые и благозвучные фамилии, приличествующие сану. Была в этом, видимо, и практическая необходимость — чтобы не путаться в одинаковых фамилиях будущих священников. Исполнение этой традиции лежало на преподавателях училища. Они подбирали подходящие фамилии, выдумывали новые, не отказывая себе иногда в подшучивании над учащимися. Так Василий стал Покровским, Александр — Тихомандрицким, Иван — Менделеевым, Тимофей же остался Соколовым.

По поводу Ивана в семье рассказывали, что его новая фамилия получилась из прозвища, которое, в свою очередь, было связано с его детской страстью меняться, «мену делать». Прозвище казалось учащимся и учителям тем более точным, что всем был хорошо известен настоящий помещик Менделеев, очень любивший меняться лошадьми. Впоследствии Иван раздумал становиться священником, но фамилия, придуманная для его духовной карьеры, осталась за ним и его потомками навсегда. В Вышневолоцком уезде в то время проживало несколько семейств Менделеевых. Скорее всего, это были обрусевшие немцы, фамилия которых происходила от слова *Mandeln* — плоды миндаля. И эти «настоящие» Менделеевы, быть может, не обратившие в свое время внимания на появление «однофамильца», были весьма наслышаны о его знаменитом сыне.

Сохранилось и часто приводится воспоминание дочери Дмитрия Ивановича Ольги о любопытном случае, относящемся к 1880 году. В петербургскую квартиру Менделеева явилась красивая, властная дама, назвавшаяся госпожой Менделеевой и потребовавшая, чтобы профессор немедленно ее принял. Посетительницу провели в кабинет к ученому, где она представилась женой тверского помещика. Оказывается, она приехала предупредить Дмитрия Ивановича о том, что вынуждена была назваться его родственницей. Ее сыновей из-за отсутствия мест не брали в кадетский корпус, и тогда она заявила, что отказывают не кому-нибудь, а племянникам профессора Менделеева. Этого оказалось достаточно, чтобы мальчиков немедленно приняли. Менделеев, который не выносил, когда ему мешали работать, мог бы и рассердиться на бесцеремонную гостью, но ему очень понравилась фраза, сказанная кем-то из корпусного начальства: «Для племянников Менделеева может быть сделано исключение». К тому же дама, по виду жгучая испанка, была очень хороша. Говорят, Дмитрий Иванович очень громко и очень весело смеялся. А сыновей прекрасной обманщицы даже стали приглашать в дом на детские праздники.

В 1827 году семья Ивана Павловича Менделеева возвратилась в Тобольск и заняла свое почетное место в городской жизни. Тяжелая саратовская история осталась позади. В их доме вновь стало собираться образованное общество. За десять лет отсутствия Менделеевых в родном городе мало что изменилось. Но горожане, как и вся Россия, не могли не ощущать последствий трагических событий, произошедших на Сенатской площади Петербурга. Ходили слухи о страшных мучениях политических каторжан, притеснениях ссыльных. Порядочные русские люди, даже не симпатизирующие революционной идее, были поражены беспрецедентной жестокостью царского суда. Души терзались сомнением и сочувствием. Само собой, песен и музыки в менделеевском доме стало значительно меньше, зато прибавилось разговоров и споров.

Но внешне всё осталось по-старому. Жизнь в сибирской глубинке была по-прежнему дешевой, жалованья директора гимназии вполне хватало. Семья продолжала расти. В 1828 году родилась девочка, которую снова назвали Марией (Маша, родившаяся в 1811 году, умерла, прожив всего 15 лет), в 1832-м — сын Павел и, наконец, в 1834-м — еще один сын, Дмитрий, последыш, как называла его мать. Всего Мария Дмитриевна родила 17 детей, восемь из них умерли в младенчестве. Последний ребенок Менделеевых был слаб, беспокоен и внушал родителям большое опасение за его жизнь. Нужно сказать, что в Тобольске было

много больших семей. Детей в них было столько, сколько посылал Господь. Причем, наградив сибиряков и сибирячек отменным здоровьем, Создатель иногда, казалось, терял меру, но зато в конце мог подарить такого последыша, который оправдывал все родительские муки. Кроме Д. И. Менделеева, можно назвать уже упоминавшегося Г. С. Батенькова — декабриста, поэта, ученого и философа, приговоренного к вечной каторге. Батеньков был двадцатым ребенком в семье тобольского офицера. Он родился еще более слабым, чем Менделеев. Настолько слабым, что его сочли мертвым и даже положили в гроб. Это не помешало ему впоследствии стяжать славу безумно храброго офицера и отчаянного мятежника, посылавшего с каторги дразнилки самому императору…

В год рождения Дмитрия Иван Павлович, которому исполнился 51 год, неожиданно ослеп от катаракты обоих глаз и был вынужден уйти в отставку. Средств сразу стало не хватать, и многодетная семья оказалась на пороге нищеты. Обычно в тяжелые времена Корнильевых выручал Аремзянский стекольный завод. Теперь он принадлежал богатому московскому брату, но никакого дохода не приносил: не было управляющего, крестьяне всячески отлынивали от дармового труда. Василий предложил сестре взять на себя управление предприятием вместе со всеми возможными будущими доходами. Марии Дмитриевне предстояло принять тяжелое решение. Она понимала, что дело потребует не просто переезда всей семьи в Аремзянку. Придется трудиться день и ночь, не щадя собственного здоровья, в ущерб заботе о беспомощном муже и детях, которые будут предоставлены сами себе. Но другого выхода не было. В том же году семья в полном составе, кроме дочери Ольги, вышедшей замуж за фабриканта Медведева и переехавшей к нему в соседний Ялуторовск, перебралась в Верхние Аремзяны. Здесь маленькому Мите было суждено получить самые первые жизненные впечатления, сделать первые шаги, научиться думать и говорить.

За несколько лет Марии Дмитриевне удалось добиться, казалось, невозможного. Не имея ни копейки за душой, она подняла фактически мертвое предприятие. Крестьяне стали получать у нее жалованье, как заправские городские рабочие. О своевременной выдаче зарплаты, конечно, не могло быть речи, и совестливой хозяйке не раз приходилось со слезами на глазах просить крестьян поработать «в кредит», но сама по себе отмена общепринятых отношений между заводскими крестьянами и владельцами производств в середине тридцатых годов позапрошлого века до сих пор представляется чем-то удивительным. Управительница предприятия построила для села новую церковь, куда и сама ходила с мужем и детьми. Крестьяне, конечно, чувствовали характер Марии Дмитриевны, ее манеру обращения с ними, лишенную грубости и высокомерия. Менделеевы явно не были обычными господами. Их дети с восхищением следили за работой мастеров, а мать вместо того, чтобы гнать их от раскаленных печей, учила понимать искусство фабричных стеклодувов. Сама Мария Дмитриевна работала больше всех и сверх всяких человеческих сил. Кроме завода она занялась сельским хозяйством — сеяла зерновые, разводила скот и птицу. Был у нее и большой огород. Дела семьи стали потихоньку поправляться.

В конце 1836 года Мария Дмитриевна сумела отправить мужа в сопровождении дочери Екатерины в Москву к известному глазному хирургу Брассе, который почти полностью вернул ему зрение. Оживший Иван Павлович восемь месяцев провел в красивом, богатом доме своего шурина, где с замиранием сердца наблюдал за удивительными гостями Василия Дмитриевича. Через несколько недель после их приезда в Петербурге случилось страшное событие — погиб А. С. Пушкин, и старая столица говорила только об этом. К тому же у Корнильевых собирались не просто близкие Пушкину по духу люди: сюда любил наезжать отец поэта Сергей Львович. Однажды он приехал на сокольническую дачу Корнильевых, когда хозяев не было, и принимать его пришлось Катеньке Менделеевой. Сергей Львович был рассеян и, кроме того, глуховат. Разговаривать с ним нужно было очень громко, и

девушка с непривычки устала. Екатерина Ивановна Менделеева вспоминала о последней встрече с С. Л. Пушкиным в загородном доме Василия Корнильева: «Потом к осени уже он приехал проститься, отправляясь в деревню, чтобы повидать жену и детей Александра Сергеевича. В этот раз я помню грустный случай. За день или за два дядя привез из Москвы большой бюст А. С. Пушкина и поставил его в гостиной на тумбочку. Сергей Львович сначала не обратил на него внимания и сел, но вдруг увидел бюст, встал, подошел к нему, обнял и зарыдал. Мы все прослезились. Это не была аффектация, это было искреннее чувство его, и потому в памяти моей сохранилось о старике только сожаление из-за его потери такого сына». Что касается Ивана Павловича Менделеева, то на него наибольшее впечатление произвела мимолетная встреча с Николаем Васильевичем Гоголем, о которой он с восторгом рассказывал до самого конца жизни.

Маленький Митя рос рядом со старой корнильевской мануфактурой, рубил саблей лебеду и день-деньской бегал с деревенскими мальчишками. Жизнь текла нераздельным бесконечным потоком, и только вечером, отдаваясь замурзанным и разгоряченным в руки матери и сестер, умывавших и укладывавших его спать, и потом в постели, он, если успевал, вдруг вспоминал что-то из промчавшегося колесом дня. В окошке стояла луна и мерцали звезды, а он, еще видя слипающимися глазами эти звезды и эту луну, уже пытался схватить руками серебряную рыбу, всплеснувшую днем в тихой реке Аремзянке. Утром же, пока день не пустился вскачь, до мальчика первым делом явственно долетали шум вековой тайги, лай собак, мычание коров, крик петухов, грохот железного умывальника. Потом дом вдруг наполнялся запахом вкуснейших маменькиных булок. Пора, пора вставать, чтобы снова увидеть милые лица родных, посмотреть, как сквозь белесый туман открывается утреннее солнце, как сверкают росой яркие ягоды на зеленой траве. Это княженика — самая лучшая в мире ягода. Она растет вокруг так густо, что ежели надоест наклоняться, то можно просто лечь на землю и собирать ее губами, чуть поворачивая шею. Однако нужно дождаться, пока высохнет трава. А сейчас можно выбежать за ворота, чтобы убедиться, что всё в этом мире снова раздельно и законченно, потом забежать в стеклодувную мастерскую — гуту. Рождение стекла, огненное превращение песка и соды в прозрачные цветные предметы — этот процесс не мог его не поражать. Одно из древнейших производств, берущее начало в первобытных кострах, по краям которых сода и песок случайно спекались в удивительный прозрачный сплав, оставалось всё тем же таинственным действом и таким же ярким открытием, как и тысячи лет назад, когда финикийцы, египтяне, жители Месопотамии добавляли в свои костры и печи всё, что попадалось под руку, — марганец, железо, медь, кусочки кобальтовой руды, свинец, сурьму, и чудесное стекло отвечало новыми и новыми цветами: аметистовым, синим, зеленым, желтым, а то вдруг и вовсе черным или молочным. Страх и восторг переворачивали детскую душу. Четырех лет от роду Митя тяжело заболел оспой, бредил от высокой температуры, терзался лихорадкой. Детский мозг, навсегда впечатленный образом расплавленного стеклянного чуда, будучи не с силах найти причину болезни, мог разве что подсказать: источник жара — это гута, и надо найти из нее выход, надо бежать подальше от раскаленной плавильной печи, от потных тел стеклодувов, крутящих свои длинные трубки с колышущимися на концах тяжкими горячими шарами… Потом он выздоровел и снова стал заглядывать в гуту.

Несмотря на вернувшееся зрение, место директора гимназии Иван Павлович потерял навсегда. Не нашлось для него и учительской должности. С этих пор он помогал семье лишь скромной пенсией, подработкой в качестве корректора да посильным участием в ведении фабричных дел, насколько позволяло здоровье (он стал прихварывать легкими). Взять на себя управление Аремзянским заводом Иван Павлович был просто не в состоянии — дело требовало купеческого таланта, которого он, учитель и сын священника, был полностью лишен. Зато он, сколько мог, занимался детьми, которые его очень любили. Он никогда не ругал и тем более не бил их, а лишь печалился и огорченно подпирал лоб рукой. Этот вид

«наказания» настолько отрезвлял шалунов, что они тут же брались за дело, благо обязанности по дому были у каждого.

В 1839 году Иван Павлович и Мария Дмитриевна выдали замуж вторую дочь, Екатерину, разумницу и главную свою помощницу. Катиным супругом стал хороший человек Яков Семенович Капустин, советник Главного управления Западной Сибири. Молодые уехали в Омск, оставив Менделеевым добротный и удобный капустинский дом. Последнее обстоятельство делало стоящий перед семьей выбор еще более мучительным. Поля уже была взрослой девушкой, быстро подрастала Маша. Ничего, кроме домашней работы, девочки не видели. И сыновей, Пашу и Митю, выросших среди аремзянской детворы, пора было готовить в гимназию. Митя, бывший по возрасту на два года младше брата, никак не уступал ему в развитии, проявлял прекрасные способности в счете и чтении. Иван Павлович договорился, что Митю возьмут в первый класс «вольнослушателем» вместе с братом — так он будет меньше предоставлен самому себе. В общем, ситуация требовала возвращения семьи в Тобольск. Но Василий Дмитриевич Корнильев был категорически против передачи завода в руки наемного управляющего. Оказалось, что его родственные чувства вполне могут уживаться с трезвым хозяйским расчетом. Брат пропускал мимо ушей все жалобы Марии Дмитриевны и отвечал, что раз сам он добывает свой хлеб в трудовом поту, то и от нее вправе требовать того же. В любой другой помощи, несмотря на все намеки сестры, богатый родственник решительно отказывал. Единственное, что он сделал сверх того, что передал сестре для прокорма опутанную долгами отцовскую фабрику, состояло в том, что Василий Дмитриевич взял к себе в дом и определил в дорогой Благородный пансион любимого племянника Ивана. (Забегая вперед нужно сказать, что благодеяние это окончилось весьма плачевно. Но об этой беде чуть позже.) В конце концов Мария Дмитриевна решается на отчаянный шаг: оставив за собой ведение всех конторских счетов и принятие главных решений, она нанимает управляющего и перевозит семью в Тобольск.

Новый дом Менделеевых, красивый, на высоком фундаменте, украшенный затейливой резьбой, находился на Большой Болотной улице. К дому примыкал большой двор, огороженный высоким сплошным забором и дававший предостаточно места для мальчишеских игр. Нужно сказать, что в Тобольске ребята стали меньше играть в казаков-разбойников. То ли из-за удаленности от привычного аремзянского окружения, то ли из-за близости огромной, перевезенной из старого дома, родительской библиотеки, но вскоре любимейшей игрой братьев становится игра в индейцев. Мальчишки играли взахлеб, забывая обо всем на свете, пока мать или сестры, оглушенные «индейскими» воплями, не забирали их в дом. Восторженная любовь Мити к Фенимору Куперу не пройдет уже никогда.

И в старости, будучи мировой знаменитостью и властителем дум, он будет читать и перечитывать книги о приключениях любимого своего Зверобоя, о смертельно опасных приключениях на берегах и водах великого озера Онтарио. Кроме игры в индейцев, в которой Митя неизменно хотел быть траппером (американским охотником на пушного зверя), ему нравилось играть в учителя. Собрав соседских детей, он вооружался указкой и громко стучал ею по ящику, «вколачивая» в головы оробевших «учеников» какие-то важные, пока ему самому не ведомые, но совершенно явные, обязательные к пониманию вещи. Настолько важные и обязательные, что одна мысль, что их посмеют не понять, совершенно выводила из себя. Наверное, поэтому первые лекции Менделеева часто заканчивались дракой.

Родители смогли перевести дух. Конечно, Мария Дмитриевна целыми днями занималась готовкой, стиркой, уходом за домом и работой с конторскими книгами. Но зато она теперь могла всё же больше времени уделять детям. Мальчишки обожали долгожданные вечерние часы, когда мать читала им вслух Пушкина, Жуковского, Гоголя, Вальтера Скотта, а также Библию, до которой была большая охотница, и всё, что находила для них в

очередном номере «Отечественных записок».

В доме, как и в прежние времена, стало собираться лучшее местное общество, которое за пять лет отсутствия Менделеевых пополнилось множеством весьма интересных личностей. Во-первых, в Тобольск после окончания Санкт-Петербургского университета вернулся любимый ученик Ивана Павловича Петр Ершов, назначенный учителем словесности в родную гимназию. Ершов возвратился в Тобольск не только с дипломом, но и со славой автора «Конька-Горбунка», опубликованного с похвальным словом Осипа Ивановича Сенковского — знаменитого Барона Брамбеуса. Популярность произведения в обеих столицах была столь велика, что университетские профессора читали его своим студентам вместо лекций. Да что там Брамбеус с профессорами — «Коньком-Горбунком» восторгался Жуковский, а сам Пушкин, прочитав сказку, сказал ни больше ни меньше: «Теперь этот род сочинений можно мне и оставить». Ершов, поэт и собеседник великих поэтов, еще не утративший духа столичных литературных салонов, стал самым верным другом семьи, учителем и покровителем Павла и Дмитрия Менделеевых. Во-вторых, домашние вечера стал украшать своим присутствием совсем молодой учитель Михаил Лонгинович Попов, которого обожали не только ученики, но и все местные барышни, включая Машу Менделееву. Попов прекрасно пел романсы, аккомпанируя себе на гитаре. В-третьих, в Тобольске и его окрестностях (в первую очередь в Ялуторовске) стали появляться первые отпущенные с каторги на поселение декабристы — люди весьма непривычного для сибирской глубинки душевного и умственного склада. И многие из них, истосковавшись по настоящему общению, не могли не потянуться к Менделеевым.

Местное население относилось к ссыльным по-разному. Кто-то проявлял сочувствие и понимание, но большинство сторонилось, испытывая почти суеверный страх. Например, первого препровожденного сначала в Тобольск, а потом в Ялуторовск поселенца Вильгельма-Сигизмунда фон Тизенгаузена, полковника, командира Полтавского полка и члена Южного общества, вообще сочли чернокнижником. А как же иначе, если в построенном им доме не было икон (Тизенгаузен исповедовал католичество), а в подвальном этаже хозяин держал огромные статуи фавнов, нимф и греческих богов? К тому же место для дома ему выделили на окраине, рядом с кладбищем. Полковника до самой его смерти считали чародеем, хотя был он первым агрономом Ялуторовска, своими руками сажал яблони, устраивал аллеи и неустанно возил на своей (уже не каторжной) тачке дерн для сада. Одновременно с Тизенгаузеном в Ялуторовск вместе с женой Александрой Васильевной прибыл Андрей Васильевич Ентальцев, подполковник, член Союза благоденствия. Здесь он почувствовал влечение к медицине и вскоре стал врачом. Лечил всех, кто к нему обращался, и никогда не брал денег. В 1836 году в Ялуторовск приехал Иван Дмитриевич Якушкин, один из активнейших декабристов, вызывавшийся совершить цареубийство. Поначалу он, изголодавшись по книгам, занимался только чтением трудов по ботанике, философии, истории и математике, собирал гербарии, писал трактаты. Затем, заручившись поддержкой местного священника, создал первое в городе приходское училище. В один год с Якушкиным в Ялуторовске поселился Матвей Иванович Муравьев-Апостол, который первым в Сибири начал вести метеорологические наблюдения. Через несколько лет ялуторовскую колонию пополнил сполна испивший каторжную чашу сын тульского губернатора, поручик Евгений Петрович Оболенский — тот самый, в честь которого Якушкин из тюрьмы просил назвать Евгением новорожденного сына и которому Рылеев перед казнью писал:

О милый друг, как внятен голос твой.
Как утешителен и сердцу сладок:
Он возвратил душе моей покой
И мысли смутные привел в порядок…

Еще в читинской каторжной тюрьме Оболенский умудрялся учить местных ребятишек английскому языку, а в ссылке неустанно занимался садоводством и огородничеством. Немало удивила местных жителей его женитьба на няньке незаконнорожденных детей своего друга Ивана Ивановича Пущина, бурятке Варваре Барановой. Сам Пущин также слыл в Ялуторовске отменным сельским хозяином. Участник Польского восстания граф Готард Собаньский, сосланный в Ялуторовск, не побоялся в одиночку вступить в схватку с забравшимися в его дом разбойниками и был убит. Другие члены ялуторовской колонии также давали много пищи для размышлений своим ближним и дальним соседям. Сибирякам, привыкшим к совсем другим каторжникам и ссыльным, было трудно распознать истинное лицо новых государственных преступников. Но, по мере того как ссыльных становилось больше, отношение к ним становилось иным. Взгляды и нравы разных слоев сибирского общества постепенно изменяло творческое, деятельное присутствие прекрасно воспитанных и образованных представителей старинных родов, сознательно пожертвовавших всем, кроме чести.

В Тобольске также составилось значительное общество ссыльных. Когда-то блистательные кавалергарды Иван Александрович Анненков (прибывший на поселение с женой Прасковьей — француженкой Полиной Гебль) и Петр Николаевич Свистунов служили здесь канцеляристами губернского правления. Кроме того, Свистунов, по примеру Ентальцева, занялся медициной и оказывал бесплатную помощь всем, кто к нему обращался. Обязанности мелкого служащего исполнял и Александр Михайлович Муравьев, поселившийся со своей женой Жозефиной Адамовной по соседству с Менделеевыми. Его друг Фердинанд Богданович Вольф стал врачом больницы тобольского тюремного замка. Боевой генерал Михаил Александрович Фонвизин, живший в доме на углу Петропавловской и Павлуцкой улиц, наоборот, канцелярской службы не искал, а добивался, чтобы его отправили рядовым на Кавказ. Член Южного общества Павел Сергеевич Бобрищев-Пушкин приехал в Тобольск для попечительства над братом Николаем, также декабристом, помещенным по приказу императора в здешний сумасшедший дом. В Тобольске доживал свои дни «великий неудачник» Вильгельм Кюхельбекер, о котором говорили, что повезло ему только раз, когда он был принят в Царскосельекий лицей, вся же остальная его жизнь оказалась сплошной цепью мучений и обид. Эти люди, за исключением полуослепшего и находившегося в тяжелой депрессии Кюхельбекера, завязали самое тесное знакомство и дружбу с Менделеевыми. Связь с интересным семейством поддерживали также многие ялуторовские ссыльные, в первую очередь Пущин и бывший лейб-гвардейский поручик Николай Васильевич Басаргин, исполнявший должность писца в тамошнем земском суде.

Чтобы дружить с поднадзорными государственными преступниками, к тому же не питая приверженности к их взглядам, нужно было иметь, кроме смелости, нечто большее — глубокую порядочность. Недаром декабристы, представлявшие собой, несмотря на активную хозяйственную и земскую деятельность, достаточно закрытое сообщество, приняли в свой круг Менделеевых. Вчерашние каторжники, пережившие тяжелый психологический и душевный слом, ищущие новый смысл жизни и новую сферу интересов, не могли не оценить нормальную, образованную русскую семью — без дворянских корней, но и без дворянских заблуждений, с незыблемой системой ценностей, включающей, кроме твердо, но без всякого надрыва исповедуемой религиозности, культ знаний, трудолюбия, строгости и безмерной любви друг к другу. Еще одно качество супругов не могло не удивлять декабристов — отнюдь не ограниченные Иван Павлович и Мария Дмитриевна избегали безапелляционных, категорических суждений, причем не из страха и не по лености ума — дескать, бог его знает, а мы люди маленькие, — а в силу понимания сложности жизни. Поэтому к Менделеевым охотно ходили, звали их к себе, о семье отставного учителя ссыльные писали друг другу в письмах. Впрочем, за тесные отношения с декабристами, включавшие не только философские беседы, танцевальные вечера и детские праздники, но и повседневную взаимопомощь — от перетаскивания мебели и ценных вещей со двора во двор в случае пожарной опасности до сбора средств на новые школы и в пользу нуждающихся

ссыльнопоселенцев, — Менделеевым пришлось заплатить немалую цену. Иначе просто трудно понять, почему Ивану Павловичу после удачной операции так и не удалось вернуться в гимназию.

С появлением ссыльных декабристов город встряхнулся. Нежданно-негаданно в сибирском таежном углу собрался круг людей, имевших отношение не только к высшему свету России и загадочной истории недавнего бунта, но и к известным литературным произведениям. Кто бы, например, мог поверить, что неувядаемая красавица Наталья Дмитриевна Фонвизина, иногда с улыбкой поговаривавшая, что Пушкин писал с нее свою Татьяну, совсем не шутит? Ее судьбу, так же как и историю Марии Николаевны Волконской, действительно мог иметь в виду автор «Евгения Онегина». Наталья Дмитриевна, дочь костромского предводителя дворянства, в юности была просватана за некоего блестящего кавалера. Накануне свадьбы отец влюбленной девушки разорился и жених от нее отказался. Вскоре она стала женой заслуженного генерала Фонвизина, героя войны 1812 года. В один из приездов супругов в Москву, где Наталья Дмитриевна была безусловной королевой великосветских балов, состоялась ее встреча с прежним воздыхателем. Он попытался вновь разбудить в ней старые чувства, но был решительно отвергнут. Пушкин, с большим интересом относившийся к такого рода историям, никак не мог пропустить это мимо ушей. Ершов и некоторые другие учителя гимназии, а вместе с ними, естественно, и все гимназисты были уверены, что в пушкинском романе в стихах речь шла именно о Фонвизиной.

Братья пошли учиться одновременно. Явно одаренный Митя, к тому же дважды пройдя курс первого класса, сначала успевал отлично. Потом дела пошли хуже. Быстрый, нервный, с ходу схватывавший всё, что его занимало, он ни за какие коврижки не желал делать того, чем не интересовался. А не интересовался Митя чистописанием, Законом Божьим, живыми и мертвыми иностранными языками и рисованием. Во многом это было связано с преподавателями названных предметов, вызывавшими у будущего ученого не только внутреннее, но зачастую и вполне явное сопротивление. Особую ненависть вызывала почему-то латынь, а давно истлевших латинян он потом всю жизнь упорно воспринимал как вредных политиканов, ответственных не только за гибель своей цивилизации и «классический перекос» в российском гимназическом образовании, но и за многие заблуждения XIX века. Собирательное слово «латынщина» навсегда стало его излюбленным ругательством. В общем, гимназист Дмитрий Менделеев с юных лет оказался активным врагом классического образования. Митя не раз находился на грани исключения, несмотря на то, что его семья была очень близка к гимназии благодаря отцу, инспектору Ершову и вскоре ставшему членом их семьи Михаилу Попову, а также тому обстоятельству, что само здание гимназии когда-то принадлежало Корнильевым. (После пожара купцы решили, что ремонт дома обойдется слишком дорого, и продали его губернатору. Тот привел здание в порядок, но вскоре в его семье случилось несчастье — выпал из окна ребенок. Губернаторская семья не смогла дальше жить в этом доме, и он был отдан под гимназию.) Чтобы спасти положение, безропотному Ивану Павловичу даже приходилось делать за сына домашние задания по латинскому языку. *«В 1841 году поступил (7 лет) в гимназию,* — напишет Дмитрий Иванович в биографических заметках 1906 года. — *Принят, чтобы дома последыша не держать одного. Тогда брат Иван Иванович был уже в 6-м?* (родители были вынуждены забрать сына, уличенного в картежничестве, из Московского благородного пансиона. — *М. Б* .), *а брат Паша и Семен Яковлевич Капустин* (сын от первого брака зятя, Я. С. Капустина. — *М. Б* .) *жили у нас, и все в пошевнях ездили в гимназию. Учителя, которых помню: Желудков — чистописания и рисования, Волков — французского языка…* (пропуск в подлиннике. — *М. Б* .) *латинского языка в старших классах, Иван Карлович Руммелъ — математики и физики, Доброхотов — истории, Михаил Лонгинович Попов — зять наш — законоведения. Латынь: Петр Кузьмич «Редька», очень не любили, доходило до драки. Бывал и на «черной доске» в пятом классе. В седьмом учился хорошо. Переводили,*

потому что был развит…» [6]

Митя был упрям, нетерпелив и вспыльчив. Ласковый с домашними, нежно любимый родителями мальчик мгновенно ощетинивался, если чувствовал даже малейшее оскорбление в свой адрес. «Маменькин сынок» без секунды промедления мог вступить в драку с любым грязным и злобным уличным хулиганом, не говоря уже о товарищах по гимназии. Впрочем, даже заядлые драчуны предпочитали с ним не связываться — во-первых, ему всегда мог прийти на помощь старший брат Павлуша, а во-вторых, он и сам в драках, наряду с недостаточным мастерством, проявлял столь большое неистовство, что заслужил прозвище Джунгар, что, собственно, никаким прозвищем и не было, учитывая его происхождение (городок был маленький, и все фамильные истории были досконально известны). Мальчик был сложен крепко и руку имел сильную, а также был награжден от природы необыкновенной остротой слуха, зрения и обоняния. *«Я мог в детстве, в Сибири различить невооруженным глазом спутников Юпитера. Когда при мне в другом углу комнаты шептались, я обыкновенно мог все расслышать, и это иногда составляло неловкое положение. Мне приходилось предупреждать, что я слышу».* Что же касается умения чувствовать малейшие оттенки запахов, то это качество не только послужит ему, но и будет унаследовано его детьми.

Время относительного благополучия семьи быстро закончилось. Прижимистый, но хорошо разбиравшийся в хозяйственных делах В. Д. Корнильев был по-своему совершенно прав, когда требовал, чтобы сестра управляла стекольным производством лично. Стоило ей чуть-чуть «ослабить вожжи», как предприятие начало расстраиваться. Никакие старания Марии Дмитриевны, бившейся за достаток изо всех сил и проводившей в Аремзянском каждое лето вместе с семьей, работая буквально от зари до зари, не спасали. Наряду с заботами о заводе ее мучили мысли о детях и муже, судьба которых всецело была в ее слабеющих руках. Слава богу, Ваня, сбившийся было с пути, вернувшись в Тобольск, с похвалой окончил гимназию и нашел подходящую службу. Но что делать, как помочь бедной Полиньке, попавшей под влияние одной из многочисленных сибирских сект и губящей себя постом, молитвами и шитьем вещей для бедных? Как облегчить жизнь чахоточному мужу? И как поставить на ноги двух сорванцов-сыновей? Ее письма старшей дочери в Омск говорят сами за себя: «Любезнейшие мои! Я не в состоянии связать моих мыслей, чтобы писать к вам о чем-либо. В самом критическом положении дела фабрики. Здесь комиссионер откупов Екатеринбургских… и я безгласно должна ожидать, чем кончится требование на посуду. У меня до 60.000 в готовности одной питейной посуды, и если не буду иметь поставки, то мои долги окончатся банкротством, и я на старости останусь бесчестною женщиною. Боже! Да будет воля Твоя святая. Дай Бог, чтобы устроилось всё во благо. — Прощайте мои родные! Да благословит вас Господь, заочно целую и, проливая горячие слезы, остаюсь любящая вас мать М. М. Во вторник не писала оттого, что душа была растерзана. Надо было рассчитать всех рабочих и мастеровых к празднику, а я едва могла занять за ужасные проценты 350 руб., и, присоединив к оным пенсию Ивана Павловича, раздала все, все деньги и осталась сама с 25 руб. асс. и с 400 р. долгу по ярлыкам мастерам и за материалы. Вот мое положение, а посуды класть некуда, и питейной, и аптечной налицо по таксе на 6.000 руб. асс<игнациями>. Помолитесь за нас и научите Олю и Дуню помолиться за нас». В другом письме: «…По малодушию моему я еще плачу о Поле, но слезы мои скоро иссохнут. Я должна еще бодрствовать, чтобы воспитать Пашу и Митю. Они еще имеют нужду в материнских попечениях и заботах. — Желала бы писать веселее, но не могу укрепить бедного моего сердца. — Что определено испытать мне, того не могу избежать…»

Митя очень любил отца, но мать он просто обожал. Между Марией Дмитриевной и «последышем» всегда существовала особая духовная связь. Менделеев был во всех

---

[6] Здесь и далее цитаты Д. И. Менделеева даются курсивом.

отношениях нестандартным ребенком: болезненным — и в то же время очень активным и неутомимым; нежным и послушным — и тут же дерзким, отчаянным и упрямым; умственно одаренным — и тем не менее отстающим в учебе… Но при этом мать не пыталась сломать, переделать его натуру. Сильна была проницательность этой сильной женщины, умевшей воспитывать положительных, работящих и порядочных (не только в смысле «совестливых», но и приверженных к порядку, определенному укладу, быту) детей, которая с самого начала была уверена в ином, высоком, предназначении Дмитрия. И он в свою очередь бесконечно ценил и жалел ее. Недаром именно матери он посвятит свою очень крупную научную работу, причем упомянет в посвящении, какой она с детства и навсегда осталась в его памяти: как она его учила, как выбивалась из сил на мануфактуре… В дальнейшем Мария Дмитриевна будет упомянута в работах сына многократно. Удивительно, но Менделеев через всю жизнь пронесет совершенно детскую память о родителях. Даже на закате дней, торопясь с автобиографическими заметками, он будет писать о них только так: папенька, маменька, мамаша…

В силу особой притягательности семьи Менделеевых, бывшей средоточием городской культурной жизни, многие из тех, кто так или иначе имел влияние на юного Дмитрия, рано или поздно роднились с ней. После матери и отца наибольшее участие в его судьбе принимал добрейший и образованнейший инспектор гимназии Петр Павлович Ершов, поэт и педагог, совершенно не подозревавший, что через много лет этот доставляющий массу хлопот мальчик женится на его падчерице. Очень хорошо относился к Мите другой учитель — муж сестры Маши, законовед М. Л. Попов, веривший в его большое будущее. Они видели, что мальчик не прост и его не проймешь никакими менторскими внушениями. Они искали другие пути к юной душе, обычно общаясь с Митей на равных. Он был совестлив — и они не теребили его совесть, он был жаден до практических знаний — и они не пичкали его отвлеченными материями, он был склонен к неординарному, чреватому ошибками мышлению — и они не подсовывали ему правильных ответов. Он на всю жизнь усвоил их простые добродетели: честность и верность, твердость и настойчивость, сочувствие к ближнему и доброту. При этом в своем собственном понимании Митя до поры до времени оставался истинным, до мозга костей, потомком купеческого и крестьянского родов — сметливым, когда время не ждет, работящим, если в охотку, не очень доверчивым, обидчивым и где-то себе на уме. Он явно обладал способностью к вычислениям — никто из окружающих не мог лучше производить в уме действия с крупными числами. У него были также склонность к истории и страсть к прогулкам (часто весьма дальним) по городу и за городскую черту. И, как каждый подросток, он пытался что-то в себе понять, что-то достроить или освободить. О чем он думал во время походов в тайгу или ночевок в полевом балагане, когда мать брала его с собой на сенокос? Он еще не знал, что будет дальше, на что он сгодится, но всё чаще ощущал, как неопознанное чувство вдруг выхватывает и уносит вдаль незаконченные мысли и сердце вдруг начинается колотиться так часто и сильно, что руки слабеют и тянутся прижаться к груди. Слышал ли он когда-нибудь от бывавших в доме гостей про «дум высокое стремленье»? Вряд ли декабристы на вечеринках цитировали личные письма. Но, слава богу, скоро у Менделеевых появился новый родственник, который мог объяснить и это, и еще очень многое.

В 1847 году старшая дочь Менделеевых Ольга, прожив пять лет вдовой после смерти мужа И. П. Медведева, выходит замуж за отбывшего каторгу ссыльнопоселенца декабриста Николая Васильевича Басаргина, человека аналитического ума, энергичного и деятельного. Познакомились они либо в Ялуторовске, где Басаргин мог оказаться проездом, либо в Омске, где жила семья Капустиных. Год Басаргины прожили в Омске, где Николай Васильевич был определен на место писца третьего разряда в канцелярии пограничного управления сибирских киргизов, а затем возвратились в Ялуторовск, где муж Ольги стал служить в земском суде. Накануне их приезда в семье случилось несчастье — неожиданно умер Иван Павлович.

«Отец мой , — рассказывал много лет спустя Д. И. Менделеев, — *был давно не вполне здоров, но чувствовал себя тогда удовлетворительно. Вдруг он зовет семью, настойчиво, но спокойно требуя, чтобы все с ним простились, потому что «сейчас он умрет». Мать начала было его успокаивать, но он прервал ее, говоря, что некогда, что он хочет поцеловать всех. Попрощавшись со всеми, он обратился спокойно к моему брату Павлу: «А ну-ка, Пашенька, дай затянуть табачку». Затянулся и умер… Ни страха, ни страданий, ни обрядов, ни слез».* Никто не предполагал, что смерть отца — это лишь начало полосы бедствий, в которую вступило осиротевшее семейство. Еще через два месяца скончалась Аполлинария, вконец уморившая себя умерщвлением плоти и всенощными молитвами, которые она возносила, распростершись на холодном церковном полу.

Мария Дмитриевна была на пороге физического и нервного истощения. Ситуация, в которой оказалась очень известная и уважаемая семья, широко и живо обсуждалась. Городское и губернское начальство выражало сочувствие, ссыльные советовались относительно будущего детей покойного учителя, беспокоясь о мальчиках и их сестре Лизе, у которой также проявлялась склонность к религиозному фанатизму. Между тем несчастья продолжались. Летом сгорел стекольный завод. Пожар уничтожил склады материалов и готовой продукции. Еще спустя несколько месяцев сгорели все конторские строения. Предприятие перестало существовать. Отныне чуть ли не единственным источником жизни семьи, кроме крохотной пенсии, стала денежная поддержка Басаргина и Пущина.

Дом Менделеевых продолжал пустеть. Первым закончил гимназию Павлуша. Даже не предприняв попытки поступить в университет, он сразу уезжает в Омск, под крыло к Капустиным, и начинает чиновничью службу. Митя остается без любимого брата, друга и защитника. Именно в это время, как утверждают большинство биографов, в сознании гимназиста Менделеева начинает совершаться перелом: подросток становится более самостоятельным и вдумчивым, перестает отставать в учебе. Впрочем, сказать, что Дмитрий превратился в ангела, все-таки нельзя. Драки стенка на стенку, в которых он порой участвовал, навсегда остались для него мерилом физического испытания. Даже в старости он сравнивал физические страдания с болезненными ощущениями, испытываемыми после этих столкновений: *«Ломит всё тело так, как после нашей драки на Тобольском мосту».*

Он по-прежнему не молчал, если считал себя правым, а в вопросах чести мог зайти и еще дальше. Есть сведения о настоящей дуэли, в которой участвовал гимназист Дмитрий Менделеев. А. И. Нутрихин, автор нескольких работ об ученом, хорошо знающий тобольский период его жизни, в повести «Жаворонок над полем» описывает поединок юного Менделеева с одноклассником, сыном жандармского офицера. Дмитрий обвинил того в доносительстве, за что был вызван на дуэль. Дрались на самопалах. Дмитрий выстрелил вверх, а куда стрелял его противник, неизвестно, поскольку самопал разорвался у него в руках. К счастью, всё обошлось более или менее благополучно: раны оказались неопасными. Однако инспектору Ершову стоило больших усилий спасти сына своего друга от порки и исключения. Сознавая степень свободы, которая дарована автору художественно-документальной повести для детей, нельзя отделаться от ощущения достоверности события. Хочется верить, что автор опирался на реальный, подтвержденный документами факт.

Дальше с Менделеевым происходят важные перемены, связанные в первую очередь с влиянием нового родственника, мужа сестры Ольги, часто наезжавшего в Тобольск. И дело тут было не только в личных симпатиях, но и, с одной стороны, в тех интересах, которые проявились у Дмитрия, и, с другой стороны, в том образовании, которое получил в свое время бывший член Северного и Южного обществ, старший адъютант штаба Второй армии Николай Васильевич Басаргин. Он был выпускником Московского училища для колонновожатых — весьма примечательного заведения, являвшего собой один из парадоксов российской жизни. Готовили в нем офицеров Генерального штаба, но существовало оно в статусе совершенно частного предприятия. Вся его материальная база и финансирование зависели от одного-единственного лица — его создателя Михаила Николаевича Муравьева.

В 1810 году, будучи студентом университета, тот создал в Москве общество математиков из студентов, кандидатов в преподаватели и профессоров университета. Председателем общества был избран его влиятельный отец, генерал Н. Н. Муравьев, который сумел добиться утверждения устава нового общества, придав ему преимущественно учебную направленность. Члены общества распределили между собой преподавание курса чистой и прикладной математики, а президент принял на себя преподавание военных наук, необходимых для квартирмейстерской службы. Квартирмейстерами, или колонновожатыми, в России называли офицеров Генерального штаба, который был до того времени весьма неустойчивым и эпизодически исчезавшим институтом. В то же время квартирмейстерская служба, возложенная то на армию, то на свиту, была очень востребована. Поэтому бесплатные публичные лекции, которые стали читаться в доме Муравьевых, вызвали большой интерес. На время войны с Наполеоном занятия, естественно, прекратились, но сразу после победы были продолжены. Успехи слушателей были настолько разительными, что лекциями заинтересовался П. М. Волконский, министр императорского двора, во время войны бывший при государе начальником Главного штаба. По его предложению 44 слушателя, выдержав соответствующий экзамен, поступили на военную службу колонновожатыми, а само детище Муравьевых стало именоваться Московским учебным заведением для колонновожатых, оставаясь, впрочем, на полном иждивении М. Н. Муравьева. Принимались в него дворяне не моложе шестнадцати лет, сдав экзамены по русскому языку, по французскому или немецкому языку, по арифметике и начальным основам географии и истории. Не выдержавшие экзамены могли поступить на подготовительное отделение. Предметы группировались в три курса, каждый из которых изучался четыре месяца; летом всё училище отправлялось в одно из имений старшего Муравьева для практических занятий.

Само устройство училища, о котором Басаргин, несомненно, рассказывал Дмитрию, должно было произвести сильное впечатление на подростка, находившегося в конфликте с классическим образованием. Тем более что в будущем ему было суждено стать не только прославленным профессором, но и крупнейшим теоретиком российской высшей школы. Отзвуки этого впечатления можно найти во многих трудах Менделеева. Но еще больший восторг у него должно было вызвать содержание образования. Будущие колонновожатые в области математических наук изучали, кроме арифметики, алгебру, геометрию, тригонометрию плоскую и сферическую, приложение алгебры к геометрии, аналитическую геометрию с включением конических сечений и начала высшей геодезии. В курсе военных дисциплин им читались фортификация, начальные основания артиллерии и тактика. Как «гуманитарный довесок» давались «всего лишь» история всеобщая и российская, география и черчение ситуационных планов. Никакой муштры, кроме необременительных занятий строевой подготовкой, фехтованием и верховой ездой. Увы, это было образование, о котором ученик постылой гимназии Дмитрий Менделеев мог лишь мечтать, и не только потому, что не принадлежал к дворянскому сословию, а еще и потому, что удивительное, невероятное, с точки зрения отечественных реалий, училище, по сути, первая российская Академия Генштаба, было закрыто сразу после подавления восстания на Сенатской площади. Ведь воспитанные и образованные люди острее других ощущают свой общественный долг и часто сами лишают себя возможности компромисса. Неудивительно, что десятки выпускников знаменитого «муравейника» оказались в рядах самых активных заговорщиков.

Конечно, Николай Васильевич не мог в полной мере передать Дмитрию полученных в юности знаний, но он был способен поделиться духом истого учения, ответить на многие важнейшие вопросы, показать пути, которыми фундаментальные науки питают практическую деятельность. Благодаря Басаргину Менделеев не только расширил свой горизонт, но и ощутил наслаждение от насыщения интеллектуального голода. Что могло быть для него в ту пору важнее? *Sapienti cat* , говорили в похожих случаях ненавидимые Менделеевым латиняне, «умному достаточно». Нельзя также не отметить сильного и важного влияния на Дмитрия Менделеева со стороны других ссыльных тобольской и

ялуторовской колоний. Будущий ученый испытал концентрированное воздействие той нравственной и интеллектуальной силы, которая оставила глубокий исторический след на территории огромного края. Испытавшие всю тяжесть русской каторги вчерашние тираноборцы, не потеряв ни чести, ни мужества, почти все активно включились в разработку экономических, исторических, философских, математических и естественно-научных проблем. При этом они с равной энергией отдавались как чисто научным, так и прикладным дисциплинам. Их ученая и практическая деятельность была первой, пусть не организованной, но, по сути, коллективной попыткой универсального познания России и ее самого крупного региона — Сибири. Творческий интерес ко всему тому, чем Менделеев впоследствии занимался в жизни, — от химии, физики, гидродинамики, метеорологии до философии науки, промышленной технологии, просвещения, народного хозяйства и государственного устройства (он оставил след во многих десятках областей научного знания), в нем зажгли люди, волей злой судьбы ставшие его земляками.

Вот и настало последнее тобольское лето Мити Менделеева. Впервые семья не торопилась в Аремзяны. Мать и Лизанька находились большей частью дома, идти по жаре было некуда. Говорили мало. Пятнадцатилетний Дмитрий сдал выпускные экзамены и также почти не выходил из дома, проводя время в своей комнате. Пытался читать, рассматривал книжные иллюстрации. Товарищи разъехались служить или учиться, преподаватели ушли в отпуск. Иногда мальчик заходил во флигель к Поповым. Сестра Маша с мужем были ему всегда рады, но в их в комнатках текла своя, уже устоявшаяся жизнь. По городу ползли привычные слухи о пожарах и разбоях. Мать была слаба. Иногда она по многолетней привычке открывала толстые конторские книги, и тогда детям делалось страшно. Раньше она принимала решения за всех, а теперь молчала. Что она, в конце концов, скажет? Служба? Кем? Он не знал, что делать дальше.

В дом то и дело влетали надоедливые мухи, и Лизанька бегала вокруг стола с полотенцем, поднимая бесполезный ветер. Когда она уставала, мухи вновь начинали вести себя по-хозяйски. Мать теперь чаще всего сидела в темном углу, под портретом отца, или стояла там же, держась за спинку отцовского кресла с львиными лапами, и смотрела куда-то в сторону напряженным взглядом человека, помнящего что-то самое важное, но не имеющего сил осмыслить это самое важное до конца. В положенное время кухарка подавала на стол приготовленный без участия хозяйки обед, потом — ужин. Так длилось до конца июня, пока Мария Дмитриевна не объявила: Дмитрий будет поступать в университет. Они все поедут в Москву. Сначала поживут у брата Василия. Потом будет видно. Мебель и ненужные вещи следует продать. Книги — в Омск и Ялуторовск. Дом — на усмотрение Капустиных. Они уезжают навсегда.

Глава вторая
СТУДЕНТ

Выехав из Тобольска в середине лета, Менделеевы добралиись до Москвы лишь осенью. Пока ехали вдоль Тобола, названия станций были большей частью привычные, бывшие на слуху: Карачино, Кутарбитка, Байкаловы Юрты… Затем двинулись по берегу Туры — тут стали попадаться станции неизвестные: Сазоново, Велижанское… А когда, проехав Тюмень, оказались за пределами родной губернии, названия пошли уже сплошь незнакомые и места открылись совсем новые. Правда, перемены в пейзаже совершенно не касались состояния дороги — она до самого конца была выбитой и непролазно грязной. Так же и встречные города — сколь ни были красивы и нарядны их главные улицы, в прочих районах люди жили бедно и грязно. Мария Дмитриевна очень боялась холеры, бушевавшей последние годы вдоль Московского тракта. У каждого населенного пункта теперь стояли холерные заставы. Стража мучила осмотрами и расспросами. Ямщики драли втридорога. Деньги таяли, а опасной дороге, казалось, не будет конца. Всё >то могло кого угодно

свести с ума, но мать уповала на Бога, а еще на гофманские капли, уксус и целый мешок захваченного в дорогу чеснока.

За время долгого пути в дорожной карете Митя вдоволь насмотрелся на Сибирь, Урал и Среднерусскую равнину, на большие российские города и великие реки. К концу поездки он, без сомнения, ощущал себя настоящим путешественником — не только потому, что за плечами оказалась не одна тысяча верст, но и потому, что в его душе навсегда поселилась любовь к дальним странствиям, которые, как скоро выяснится, были одним из главнейших условий его душевного здоровья и самой жизни. Он будет не первым русским, воспринимающим дорогу одновременно как муку и спасение; Радищев, Пушкин и Гоголь также неотделимы от наших дорог. Но Менделееву будет мало земных путешествий, он еще избороздит вдоль и поперек всю толщу человеческих знаний. Пока же, по мере приближения к Москве, его всё больше тревожили мысли о том, что случится в скором будущем. Примут ли? Какими будут экзамены? Как встретит дядя? Он не мог не чувствовать беспокойства матери, которую теперь связывали с братом весьма непростые отношения. Завод, его наследственная собственность, врученный ей на прокормление семейства, сгорел без остатка. Их Ваня, на которого Василий Дмитриевич возлагал большие надежды, уже несколько лет усердно служил в Омске. Брат вряд ли забыл, с какой решительностью она после неприятностей, случившихся с Ваней в Благородном пансионе, потребовала возврата сына в Тобольск, отвергнув абсолютно все варианты его дальнейшего устройства в столице, даже зная, что Василий Дмитриевич, отец пяти дочерей, прирос к легкомысленному Ивану как к родному сыну. И вот теперь Мария Дмитриевна ехала к нему с двумя слабогрудыми детьми, старым слугой и остатками домашнего скарба.

Слава богу, эти опасения оказались напрасными. Менделеевы были встречены со всей добротой и сердечностью. Брат и сестра, последние из рода сибирских Корнильевых, не виделись почти сорок лет. Объятия и радостные слезы не оставили и тени от возможных претензий и обид. К тому же оба чувствовали, что жизнь их на исходе, а потому говорили мало, просто гладили друг другу руки и смотрели в полузабытые родные глаза. После долгой и мучительной дороги путешественники обрели надежный родственный кров. Корнильевы теперь жили в собственном доме. Службу у Трубецких дядя оставил и, переехав на короткое время с семьей в доходный дом в Панкратьевском переулке, вскорости присмотрел и купил деревянный особняк в Уланском переулке. Новое жилище, конечно, сильно уступало знаменитому дворцу Трубецких на Покровке, но было не хуже многих других состоятельных московских домов. Митины документы сразу же понесли в университетскую канцелярию, но там что-то не заладилось, что-то не соответствовало новым правилам. Однако дядя велел не отчаиваться и пообещал всё устроить.

Корнильевы по-прежнему жили открыто, не растеряв при переезде своих знаменитых друзей — тех, кто был еще жив. Но их круг стремительно сужался. Задолго до гибели Пушкина ушел из жизни его любимый друг Антон Антонович Дельвиг. Корнильев в тот день отправился к безутешному Александру Сергеевичу, но дома его не застал и оставил записку на первой попавшейся бумажке. Дельвиг был и ему, Корнильеву, давним и близким другом. Слезы застилали Василию Дмитриевичу глаза, поэтому он не обратил внимания на то, что на грубом листе гончаровской бумаги — так ее называли, поскольку делалась она на принадлежащем родственникам Натальи Гончаровой Полотняном Заводе, — уже есть несколько пушкинских строк. Так и остался его автограф «Карнильев (Василий Дмитриевич предпочитал писать свою фамилию именно таким образом. — *М. Б* .) приезжал разделить горесть о потере лучшего из людей» рядом с наброском стихотворения «В начале жизни школу помню я…». В один год с Пушкиным ушел Иван Иванович Дмитриев. В 1844 году скончался в Неаполе «певец пиров и грусти томной» Евгений Абрамович Баратынский. Но был жив-здоров Федор Николаевич Глинка, наезжавший из Петербурга, где он осел вместе с драгоценной своей супругой Авдотьей Павловной из рода Голенищевых-Кутузовых. Бывал в

Уланском переулке и Николай Васильевич Гоголь, недавно вернувшийся из Иерусалима. Как раз в это время он читал в домах своих друзей отдельные главы второго тома «Мертвых душ». У Корнильевых же он предпочитал той осенью молча отдыхать душой, глядя на друзей и слушая их речи. По-прежнему не упускал случая прийти профессор классической филологии Иван Михайлович Снегирев, уже оставивший университетскую службу ради страстного исторического просветительства. Главной движущей силой всей его деятельности было убеждение, что история предлагает нам образцы такой духовной силы и наполненности, которые ничуть не уступают произведениям искусства. (Кстати говоря, придет время, и Менделеев напишет, что в этом отношении и наука ничем не уступает искусству.) Приходил Степан Петрович Шевырев, друг Гоголя, педагог, знаток европейского искусства и архитектуры, в ту пору профессор русской словесности Московского университета, декан историко-филологического отделения философского факультета. Заглядывал старый верный друг Корнильева барон Модест Андреевич Корф, лицейский однокашник Пушкина. Бывший статс-секретарь Корф был только что назначен директором публичной библиотеки и был весь в трудах и заботах, благодаря которым это учреждение вскоре просто преобразится. Дмитрий Менделеев мог видеть в корнильевском доме и старинного завсегдатая дядюшкиного салона Ивана Петровича Бороздну — хоть и не большого поэта, но страстного поклонника Пушкина, переводчика псалмов, стихов француза Альфонса Ламартина и поэм легендарного кельта Оссиана.[7]

Что касается переводов из последнего, то один до сих пор достоин внимания — хотя бы за свое название: «Бой Фингала с духом Лоды». Как бы там ни было, именно стихи малоросса Бороздны на смерть Пушкина хранил в своих бумагах отец поэта Сергей Львович, скончавшийся за год до описываемых событий. После смерти Пушкина энергичное единомыслие его друзей растаяло, все разбрелись по своим идейным углам: кто-то ушел в себя, кого-то прибило к охранительству. К тому же время стояло совсем небезопасное и искренние салонные разговоры давным-давно были не в чести. Но память о великом друге по-прежнему их связывала, они и теперь продолжали жить вокруг Пушкина, на фоне его разраставшейся славы. И даже барон Корф, никогда не бывший другом Александра Сергеевича, теперь воспринимался в первую очередь как тот самый книжник Корф, который посылал Пушкину редкие книги.

У Василия Дмитриевича появились и новые знакомые: приходили университетские профессора истории Тимофей Николаевич Грановский и Петр Николаевич Кудрявцев, академик скульптуры Николай Александрович Рамазанов, а также знаменитый художник и веселый человек Павел Андреевич Федотов, часто и надолго наезжавший в Москву из Петербурга. Как и в минувшие годы, тон в беседах чаще всего задавал давний друг Корнильева Михаил Петрович Погодин, историк и источниковед, писатель и политический публицист, создатель кафедры русской истории Московского университета, издатель «Московского вестника», а потом «Москвитянина». Михаил Петрович теперь бывал у Корнильева не реже, а может быть, и чаще, чем раньше, несмотря на то, что с их прежним жильем, дворцом Трубецких, его связывали не только откровенные и горячие беседы, но и память о долгой и мучительной любовной истории. Попав в дом студентом в качестве домашнего учителя, он через несколько лет стал другом и почти членом княжеской семьи. Прошло несколько лет, и профессор Московского университета, известный ученый и писатель Погодин как мальчишка влюбился в свою ученицу Александру Трубецкую, но, несмотря на вспыхнувшее у юной княжны ответное чувство, он, сын крепостного, так и не посмел объясниться и лишь отважился описать ситуацию в любовной повести «Адель». Но это произведение было воспринято предметом его любви именно как повесть — оно ничего не могло изменить. Вскоре Александру увезли в Петербург, и больше они не виделись.

---

[7] От его лица писал Джеймс Макферсон. *(Прим. ред.)*

Бедную княжну, пережившую еще и смерть влюбленного в нее юного поэта Веневитинова, вскоре выдали замуж. С тех пор Погодина часто можно было видеть под темными окнами опустевшего дворца. Впрочем, дом Трубецких, с которым связаны еще десятки других историй и легенд, множество раз описанный в трудах москвоведов и искусствоведов, заслуживает отдельного разговора.

Как мог себя чувствовать среди этих людей вчерашний тобольский гимназист? Наверняка душевного равновесия он не потерял. В их тобольском доме собирался не менее представительный круг пушкинских знакомых, и менделеевские гости, несмотря на все испытания, куда тверже придерживались принципов и взглядов своей молодости. Конечно же Митя немного дичился. Ну как не смутиться, когда вдруг скользнет по тебе взглядом Гоголь или поэт Глинка — тот самый, чьи стихи он читал на испытаниях при поступлении в гимназию, — проходя мимо, дружески потреплет по плечу. Сестрица Катенька, ездившая с отцом в Москву, рассказывала, как Федор Николаевич привез стихи на смерть Пушкина и супруга его Авдотья Павловна читала их вслух после обеда, по-старомодному громко, с возгласами: «А рок его подстерегал…» Федор Михайлович же удалился в дядину библиотеку. Теперь Митю так и подмывало спросить: почему он там уединился? Может, ему тоже не нравилось, как жена читает? Почему же сам не прочел? А что ответить Корфу, если тот спросит о своем друге Кюхельбекере? Ведь сказать нечего — Вильгельм Карлович ни с кем не общался. Тобольчане ничего путного о нем не знали, лишь видели его иногда одиноко стоящим на берегу Тобола.

Самое сильное впечатление произвел, конечно, Гоголь. Памятливый юноша вынес из встреч с ним ощущение глубочайших переживаний. Через много лет Дмитрий Иванович будет рассказывать своим детям: *«Гоголь сидел как-то в стороне от всех, насупившись. Но взгляд и всю выраженную в его фигуре индивидуальность забыть нельзя. Я многое тогда в нем понял. Гоголь — явление необыкновенное. Он на много голов выше наших писателей, исключительная величина в нашей литературе. Это величина всемирная, которую еще, вероятно, по-новому оценят. Он будет всё расти, когда вся наша современность забудется. Гоголь не понимал сам себя, много напортил, не вынес своего дара. Но то, что он дал, покрывает всё».* Тут, конечно, мы имеем случай, когда подростковые воспоминания «не брошены на полпути», а пронизаны мудростью взрослого ученого. Но этот пример все-таки удивителен с точки зрения того, как и когда гений начинает ощущать в себе работу интуиции. *«Я многое тогда в нем понял…»* — и это при том, что в юности очень страшно что-то не так понять на уровне взрослого общения, а еще хуже — не так выразиться. Тут уж, как говорится, все нервы в кулаке. На что уж известный всей России Петр Павлович Ершов отличался самообладанием и владел речью, а к Пушкину ходить побаивался. Бывал, лишь когда «вытащат», — опасался собственной обидчивости. Однажды он сказал Пушкину, что предпочитает столице свою Сибирь, на что тот ответил: «Да вам и нельзя не любить Сибири, — во-первых, это ваша родина, во-вторых — это страна умных людей». Ершову показалось, что Пушкин над ним смеется. Потом уж понял, что Александр Сергеевич имел в виду декабристов. Хорошо, что от обиды сгоряча ничего не ляпнул. Так это Ершов, а Митя Менделеев, еще мальчик, совсем легко мог промахнуться. Тем более что гордости и обидчивости в достатке. И в то же время: *«Я многое тогда в нем понял…»*

Другое дело кузины — Елизавета, Александра, Надежда, Юлия и Екатерина, погодки, начиная с Лизы, родившейся в 1832 году, почти его ровесницы. Вот с кем ему было легко и просто! Девочки были прекрасно воспитаны и при этом добры и непосредственны. Они брали Митю и Лизу с собой всюду, куда бы ни направлялись: в театр, к знакомым, на праздники. Показывали Москву, и одна из первых экскурсий была, конечно, на Покровку. В том, что Менделеев был той осенью (а может, зимой — ведь семейство пробыло в Москве до весны) на Покровке, сомневаться не приходится. Слишком много воспоминаний о местах своего детства было у сестер Корнильевых, слишком восторженно говорил покойный папенька о счастливом годе пребывания в стенах московского «дома-комода». Кроме того,

Митя знал, что где-то там, в Малом Казенном переулке, живет «святой доктор» Федор Петрович Гааз — главный врач всех московских тюрем, на которого молились многие сибирские каторжники и ссыльные. Улица действительно была весьма примечательная и в высшей степени интересная.

— Вот архив, — наперебой щебетали сестры, — тут служили «архивные юноши», что на Татьяну «чопорно глядели». Здесь «Слово о полку Игореве» разобрали до последнего слова и буковки, тут Карамзин и Пушкин работали со старинными грамотами! А палаты, где сейчас архив, знаешь, кто строил? Емельян Украинцев, думный дьяк, который привез из Константинополя царю Петру арапчонка. А это — Ивановский монастырь. Тут держали княжну Тараканову, а потом Салтычиху. Она из-за этой решетки прохожих ругала. А там дальше наш дом…

— Где? — вертел головой долговязый, нескладный кузен. — Где?

Между тем улица имела отнюдь не литературный, а отчаянно торговый вид: она шумела, ругалась, жульничала и хватала прохожих за рукава. Вот как описывал ее примерно в это время неизвестный нам автор: «Первый предмет, поражающий мае на этой улице, есть необыкновенное множество каретных и дрожечных лавок. Наблюдая далее за Покровкой, вы удивляетесь множеству пекарней, хлебных выставок и овощных лавок. Проезжая мимо, вы беспрестанно слышите, как бородатый мужик, хлопая по калачу, как паяц по тамбурину, кричит вам: «Ситны, ситны, калачи горячи!» Кроме того, перед вами мелькают замысловатые вывески, на которых написан чайный ящик и сахарная голова с надписью: «Овощная торговля иностранных и русских товаров». А потом вы видите вдруг пять или шесть белых кружков на синей вывеске, а наверху надпись бог знает какими буквами: «Колашня». Портного ли вам нужно? Есть портной, и даже не один. Модистку ли вы хотите иметь? Вот вам несколько вывесок с чем-то очень похожим на шляпку. Нужна ли вам кондитерская? Добро пожаловать! Спрашиваете ли вы типографию? Извольте! Наконец, вот вам декатиссер, который выводит всех возможных родов пятна, даже пятна на лице».

— Вот! Вот наши окна! Да вот же они!

Посреди шума и гама бойкой улицы стоял чудесный лазоревый дворец изысканной, нездешней барочной красоты. Невероятный фасад был столь смело и прихотливо оформлен своевольными изогнутыми линиями, выпуклостями и богатейшим декором, что смотрелся дерзким вызовом, брошенным старой Москве всеми, к нему причастными, — теми, кто его заказывал, строил, перестраивал и, тем более, теми, кто в нем жил. Глядя на такое чудо, легко понять не только высокие помыслы, но и экстравагантные выходки его обитателей, даже ту, которой «прославился» брат княжны Александры Трубецкой Николай Иванович (тоже, кстати, воспитанник Погодина). В знак протеста против казни декабристов он принял католичество и уехал во Францию. Там он пытался найти свое место в герценовском окружении, но заслужил лишь ироническое отношение Александра Ивановича и репутацию не очень умного человека. К. С. Аксаков изобразил его в сатирической пьесе «Князь Луповицкий, или Приезд в деревню», а Н. А. Некрасов написал о нем:

Я однажды смеялся до колик,
Слыша, как князь NN говорил:
«Я, душа моя, славянофил».
— «А религия Ваша?» — «Католик».

Усадьба с давних пор производила столь сильное впечатление, что обитающее в нем семейство языкастые москвичи называли, в отличие от прочих Трубецких, «Трубецкие-комод». Дом, крыша которого действительно напоминает крышку комода, был отмечен в истории самым разным и удивительным образом. В 1812 году, например, в его двор влетел наполеоновский реактивный снаряд, который местные жители приняли кто за огненный меч, кто за комету. Слава богу, сам дом не пострадал — пожар нанес вред лишь одной из дворовых построек. Кстати сказать, многие специалисты считают, что

восхитительный наружный фасад все-таки уступает декору внутреннего двора. Знатоки вопроса Л. И. Данилова и Т. А. Дудина в книге «Покровка, 22» пишут: «Трудно поверить, но столь многоречивый главный фасад дома-комода — всего лишь прелюдия к основному действию, которое развертывается во внутреннем дворе. Пластика дворового фасада ошеломляет богатством и силой разработки. Декор настолько разнообразен и насыщен, что в нем нет места паузам. Тут появляется новая деталь — большие круглые окна верхнего этажа в эллиптически выступающей центральной части. Их необычная форма и пышное скульптурное обрамление так активны, что «приглушают» даже мощный рельеф колонн». А авторы книги «Прогулки по Москве» М. Ф. Милова и В. А. Резвин считают, что дворовый фасад «настолько богат, что в иной композиции мог бы «держать» куда большее пространство, нежели этот двор, к тому же окруженный с остальных трех сторон подчеркнуто скромными фасадами служб. Но именно по этим причинам пластически насыщенный фасад основного здания и производит столь сильное впечатление».

Заказывал проект усадьбы граф М. Ф. Апраксин, но кому — неизвестно. «Под подозрением» в равной степени Б. Ф. Растрелли, Д. В. Ухтомский, П. И. Аргунов и К. И. Бланк. А внутреннее устройство создавалось по вкусу Трубецких. Это они пустили внутрь изысканный французский рокайль: асимметричные, странной формы комнаты, изогнутые стены, неожиданно встающие на пути групповые колонны. И вдруг посреди этого буйства линий — двухсветный зал[8] совершенной овальной формы. Потом снова затейливые переходы, печи, ниши… При этом, страшно сказать, в здании не было парадных входов и лестниц.

Конечно, кузины тут же рассказали сибирским гостям о жившем здесь тайном супруге императрицы Елизаветы Петровны графе Алексее Разумовском. И о том, как уже Екатерина Великая оказалась в схожей ситуации, когда Григорий Орлов нетерпеливо потребовал себе место законного супруга. Екатерина тогда решила: ежели Елизавета действительно тайно венчалась со своим фаворитом, то тогда и ей можно поступить «по обычаю предков». Она послала сюда, в этот дом, канцлера М. И. Воронцова — посмотреть бумаги Разумовского. И, будто бы постаревший красавец, узнав, чего от него хотят, потребовал принести к себе ларец черного дерева, выложенный перламутром и окованный серебром, достал из него бумаги, прочел их еще раз с благоговением, поцеловал, перекрестился и бросил в огонь…

Об этом замечательном здании — наверное, лучшем из немногих сохранившихся в Москве памятников европейского барокко — можно говорить сколь угодно долго. И не только по тому что здесь жили близкие Дмитрию Менделееву люди и собирался цвет национальной культуры. Этот дом-символ как ни подавал будущему ученому знак, что совсем скоро его судьба навсегда свяжется с Петербургом, подлинной столицей русского барокко. И конечно же память об этом архитектурном чуде будет возвращаться к нам каждый раз, когда мы будем соприкасаться с феноменом менделеевского мышления. А дворец продолжит свое служение России. Вскоре сюда из дома Пашкова переедет одна из лучших московских гимназий, в которой получат образование Константин Станиславский, Савва Морозов, Алексей Шахматов и многие другие действующие лица нового поколения.

Короткий московский период подарил Мите Менделееву счастливое окончание отрочества. В доме дяди всё было интересно: сам Василий Дмитриевич, удивительный жизненный успех которого все-таки казался таинственным и необъяснимым, его удивительные дочери, особенно Лиза и Саша, милые москвички, с которыми Менделеев еще долго будет переписываться… И еще дом дарил мечты о дальних морских экспедициях, опасных приключениях и высадках на неведомые берега.

Жена дяди, Надежда Осиповна, по виду обычная русская аристократка, была дочерью знаменитого капитан-командора Джозефа Биллингса, в молодости служившего под командованием самого Джеймса Кука. Вместе с Куком он участвовал в его третьей —

---

[8] Двухсветный зал — с двумя ярусами окон. *(Прим. ред.)*

последней — экспедиции; ее корабли, двигаясь на север по Тихому океану, прошли совсем близко от чукотских берегов России. Кук и вся его команда были поражены суровой красотой открывшихся их взорам мест. Было решено вернуться сюда с новой экспедицией. Но после трагической гибели капитана это желание сохранилось у одного лишь корабельного астронома, мичмана Биллингса. Не имея средств снарядить экспедицию самостоятельно, он отправился в Санкт-Петербург. «Я прибыл в Россию не столько с целью служить ее величеству в качестве офицера флота, сколько с надеждой, что я буду использован в какой-либо экспедиции в соседние с Камчаткой моря. Прослужив на флоте двенадцать лет, из которых пять лет сопровождал знаменитого капитана Кука в его последнем вояже с целью открытия северо-западного прохода между Азией и Америкой, я льщу себя надеждой, что меня сочтут способным открыть торговлю мехами с островами, открытыми во время этого плавания… В то время как занимались бы добычей пушнины, я мог бы продолжить исследования капитана Кука в этих морях, определить точное положение этих островов… Поскольку астрономия всегда была моим делом, я надеюсь, что и в этом я оправдаю оказанное мне доверие. В заключение я прошу… подвергнуть меня самому строгому экзамену, чтобы устранить всякое сомнение в моей опытности и способности». Царский указ гласил:

> «Назначая географическую и астрономическую экспедицию в северо-восточную часть России для определения долготы и широты устья реки Колымы, положения на карту всего Чукотского носа и мыса Восточного, також многих островов в Восточном океане, к американским берегам простирающихся, и совершенного познания морей между материю землею Иркутской губернии и противоположными берегами Америки, повелеваем:…Быть начальствующим сей экспедиции флота поручику Иосифу Биллингсу, объявя ему ныне чин капитан-поручика флота и нарядя с ним команду потребных людей по собственному его избранию… Снабдить начальника сей экспедиции математическими, астрономическими и другими инструментами, також для руководства всеми картами прежних мореходцев и сухопутных в тамошних местах путешествий… Буде посредством сей экспедиции открыты будут вновь земли и острова, населенные и ненаселенные и никакому государству европейскому непокоренные и не принадлежащие, то по мере пользы и выгод, от такового приобретения ожидаемых, стараться оные присвоить скипетру российскому. И буде тамо есть дикие или непросвещенные жители, то, обходяся с ними ласково и дружелюбно, вселить хорошие мысли о россиянах… На подлинном собственною е. и. в. рукою написано тако:
>
> ***Екатерина в Царском селе, августа 8, 1785 года».***

Биллингс не собирался служить русской короне — он хотел лишь исполнить свою мечту. Но как это часто бывало с простодушными иноземными путешественниками, русский берег схватил его за сердце. «Каково нам было сносить жестокость морозов? Каждый день при пронзительных ветрах по шести часов быть на открытом воздухе, не находить никаких дров к разведению огня, кроме мелких прутиков, местами попадавшихся, едва достаточных растопить немного снегу для питья, ибо реки замерзли до дна». И все-таки после восьми лет экспедиции, отнявшей здоровье, Биллингс соглашается с новым назначением на Черноморский флот, где командует фрегатами «Святой Андрей» и «Святой Михаил». В 1799 году он издал атлас Черного моря, и только тогда ушел в отставку, чтобы умереть в 38 лет. В проливе Лонга о честном англичанине напоминает открытый им и названный в его честь мыс. Как пишет один из биографов Менделеева В. Стариков, Биллингс во время своей многолетней экспедиции по морю и по суше, пришедшейся на конец XVIII века, несколько раз проезжал через Тобольск и был хорошо знаком с Корнильевыми. Так что дружба моряка с сибирским купеческим родом началась на четверть века раньше, чем родство.[9]

---

[9] Потомки Джозефа Биллингса сами по себе столь ярко впишутся в русскую, а потом в советскую историю,

Как ни был притягателен для Мити дух дома в Уланском переулке, как ни манила своими прелестями старая столица, судьба поворачивала по-своему. Дядя мобилизовал все свои возможности, привлек всех знакомых университетских профессоров, но ни сломать, ни обойти казенную преграду не смог. В приеме документов Менделеевым было отказано. *«В 1849 году кончил гимназию в Тобольске и с мамашей, сестрой Лизой и служителем Яковом поехали в Москву, чтобы поступить в Московский университет. Но государь Николай Павлович приказал принимать только из своего округа и, несмотря на дружбу Шевырева, Кудрявцева и других профессоров с дядею В. Д. Корнильевым, меня не приняли…»* — писал Менделеев в «Биографических заметках». Огорченный не меньше сестры, Василий Дмитриевич предложил определить племянника в Межевой институт, но Мария Дмитриевна была намерена дать «последышу» самое лучшее образование. Поэтому мать твердо отказалась и от очень выгодного — во всяком случае, для нее — предложения устроить сына на службу в канцелярию губернатора. Если нет счастья в Москве, они поедут в Петербург. Что с того, что и там действует то же правило, по которому Митя мог поступать только в Казанский университет? Она добьется, уговорит, докажет… В марте, задолго до вступительных экзаменов, была выправлена подорожная, и Менделеевы в почтовом возке выехали из Москвы.

Николаевская железная дорога еще достраивалась, и шоссе между Москвой и Петербургом было очень оживленным. По пути наши путешественники проехали множество ямских постов (скоро их снимут с казенного содержания, а гордых ямщиков запишут в государственные крестьяне и мещане), навстречу и в обгон непрерывно шли почтовые возки и кареты, пассажирские дилижансы, тяжелые грузовые экипажи, а также дрожки, брички, фаэтоны и еще бог знает какой конный транспорт. Путешествие пахло ранней весной, конским по́том и пожарскими котлетами, которыми потчевали не только в Торжке, где они были когда-то впервые изжарены, но на всех станциях без исключения. В придачу к этому блюду подавалась та или иная легенда о его изобретении. В одном трактире говорили, что князь Д. М. Пожарский хотел угостить дорогого гостя телячьими котлетами, а свежей телятины на кухне не оказалось (вот до чего доводит смута), и пришлось жарить «телячьи» котлеты из куриного фарша. В другом это изобретение приписывали жене осташковского трактирщика Пожарского Дарье Евдокимовне, которая то ли сама додумалась до такого дива, то ли воспользовалась рецептом проезжего француза, расплатившегося им за кров и стол. Считалось, что названное дорожное блюдо не слишком отягощает желудки путников.

что также заслуживают нескольких строк в жизнеописании их гениального родственника. Гены благородного странника проснутся через несколько поколений — сначала в дочери Александры Васильевны и, соответственно, его правнучке Елизавете, отправившейся вместе с мужем, военным инженером Николаем Зуевым, за три моря, через Индию и Китай, на русский Дальний Восток прокладывать железную дорогу, а потом и в ее матери, которая на старости лет вдруг тоже сорвется с места и отправится в тайгу, на край света, вслед за ней. О том, каково им там пришлось, можно прочесть в произведениях их друга В. К. Арсеньева. После революции семья уедет в Англию, откуда дочь Елизаветы, тоже Лиза, возвратится в Москву. Праправнучка Биллингса станет женой известного журналиста Михаила Кольцова, с которым исколесит всю Европу. В 1936 году они оказались в Испании — Кольцов как корреспондент «Правды» и представитель Коминтерна, а его супруга в качестве корреспондента «Комсомольской правды» и одновременно (бывают же такие совмещения) капитана танковой бригады республиканской армии. Взаимоотношения этой удивительной пары очень точно изображены в романе Хемингуэя «По ком звонит колокол», писавшего Каркова (под этим именем выведен Кольцов) и его жену с натуры: «Из четырех женщин три были в обыкновенных простых платьях, а на четвертой, черной и невероятно худой, было что-то вроде милицейской формы строгого покроя, только с юбкой, и сапоги. Войдя в комнату, Карков прежде всего подошел к женщине в форме, поклонился ей и пожал руку. Это была его жена, и он сказал ей что-то по-русски так, что никто не слышал, и на один миг дерзкое выражение, с которым он вошел в комнату, исчезло из его глаз. Но оно сейчас же опять вернулось, как только он заметил красновато-рыжие волосы и томно-чувственное лицо хорошо сложенной девушки, и он направился к ней быстрым, четким шагом и поклонился. Жена не смотрела ему вслед. Она повернулась к высокому красивому офицеру-испанцу и заговорила с ним по-русски…» Эту черную форму и привезенную из Испании статуэтку Дон Кихота председатель испанской секции Советского комитета ветеранов войны, праправнучка английского морского полка Джозефа Биллингса, будет хранить до самой смерти в 1964 году.

Например, А. С. Пушкин советовал С. А. Соболевскому:

На досуге отобедай
У Пожарского в Торжке,
Жареных котлет отведай
И отправься налегке.

Но сам по себе четырехдневный вояж был не из легких. И хотя Дмитрий Менделеев, закаленный предыдущими дорожными испытаниями, никаких жалоб на состояние дороги в своих записях не оставил, чужих воспоминаний на сей счет предостаточно. Например, граф Д. А. Милютин писал: «Переезд из Москвы в Петербург составлял в те времена значительное путешествие. Хотя на большей части пути уже было сооружено великолепное шоссе, однако ж в средней части на протяжении нескольких станций, между Торжком и Крестцами, приходилось ездить по старой дороге, и во многих болотистых местах, на многие десятки верст, по бревенчатой грабле. Проезд по такой дороге был настоящей пыткой».

Наконец, прибыли в Северную столицу. Николаевский Санкт-Петербург, в отличие от Москвы (к которой определение «николаевская» никакой историк не прилепит), с ходу являл главные черты текущего царствования. Будочники, пропахшие нюхательным табаком (это был их промысел, они терли табак в своих будках), отдавали честь проезжающему начальству. А начальства вокруг — великое множество. Мимо мчались кареты, запряженные четверкой цугом, с форейтором на одной из передних лошадей и кучером на высоких козлах. Ежели на кучере шапка голубая — значит, в карете кто-то из царской фамилии, ежели рядом с кучером сидит лакей в военной каске — значит, едет военный вельможа, а ежели в охотничьем наряде и с маленькой сабелькой на черной лакированной перевязи — везут иностранного посланника. Когда летит карета с форейтором и двумя лакеями на запятках, а за стеклом колышется белый клобук — это сам митрополит спешит в Синод. Что касается прочих богатых карет, то у них площадка сзади кузова зачем-то была утыкана острыми гвоздями. Владельцев таких карет когда-то пытался усовестить Некрасов:

Не сочувствуй ты горю людей,
Не читай ты гуманных книжонок,
Но не ставь за каретой гвоздей,
Чтоб, вскочив, накололся ребенок.

Петербуржцы победнее катили на дрожках или повозках под названием «калибер», иногда именуемых также «гитарой».

На гитаре можно было ехать вдвоем — боком друг к другу, но глядя в разные стороны, или одному — верхом на узкой скамье. По Невскому грузно ползли пузатые омнибусы на два десятка пассажиров — огромные, с входной дверью сзади. В уличной толпе было очень много военных в светло-серых шинелях. Над головами высших чинов колыхались высокие треуголки с перьями. А торговля вокруг идет такая же бойкая, как в Москве: лоточники предлагают свистульки, сбитень, моченые яблоки и груши, везде продают калачи и сайки, икру, рубцы, вареную печенку… Некоторые торговцы умудряются таскать на головах лохани с рыбой и кадки с мороженым. Все кричат, расхваливая свой товар. И сквозь этот шум и гам с деловым видом вышагивают красавцы-почтальоны, о которых Анатолий Федорович Кони писал в мемуарах: «Между проходящими часто можно встретить бравого молодца, одетого в форменный короткий сюртук военного образца, в черной лакированной каске с гербом, с красивой полусаблей на перевязи и большой черной сумкой через плечо. Это почтальон, которому популярный в сороковых годах, ныне забытый, поэт Мятлев посвятил стихотворение, начинающееся так: «Скачет, форменно одет, вестник радостей и бед; сумка черная на нем, кивер с бронзовым орлом. Сумка с виду хоть мала — много в ней добра и зла: часто рядом там лежит и банкротство, и кредит…»».

У Менделеевых не было беспокойства о том, где остановиться на первое время. Петербургское тобольское землячество того времени состояло из людей обеспеченных, сумевших сделать успешную карьеру, разбогатеть и скопить достаточно средств на жизнь в столице. Все они хорошо знали друг друга, и приезд семьи Менделеевых был для многих приятным событием. Традиции сибирского хлебосольства позволяли надеяться на радушный прием. Мария Дмитриевна решила остановиться в семье своей старой тобольской подруги и дальней родственницы Александры Петровны Скерлетовой, которая снимала квартиру на Сергиевской улице, в доме 35, принадлежавшем отставному генерал-майору А. А. Болдыреву. Мите и тут нашлась подходящая компания — он легко сошелся с младшими детьми хозяйки Юлей и Петей. Вскоре для приехавших открыл двери еще один дом — статского советника В. А. Протопопова, брата первой жены П. П. Ершова. Владимир Александрович служил в Департаменте податей и таможенных сборов, своих детей не имел, зато в его хлебосольной семье жили три хорошенькие племянницы, Физа, Саша и Соня Лещевы — падчерицы П. П. Ершова. Здесь, на Фурштатской, Митя был частым и желанным гостем. Сюда он приходил после долгах прогулок в одиночку или с новыми друзьями.

Великолепный столичный Петербург озадачивал его тем, что местами напоминал далекий Тобольск. За дворцами прятались серые, невзрачные домишки, а сразу за Невским проспектом начинались обширные огороды, отделенные от парадного части города длинным глухим забором. По немощеным дорогам скрипели водовозные телеги (воду из Невы развозили по удаленным улицам в белых бочках, а из Фонтанки — в зеленых). Люди же из ближних домов и прохожие набирали воду прямо из реки. Как и в Тобольске, вокруг было много солдат и каторжников. Отсюда, из петербургской пересыльной тюрьмы в Демидовом переулке, рядом с Сенной площадью, начинался тот каторжный путь, который проходил через Москву и дальше шел по знаменитой Владимирке, что тянулась значительно дальше Владимира и заканчивалась в родном городе Менделеева. А. Ф. Кони писал: «Они идут, звеня цепями, в серых войлочных шапках на полубритых головах, понурые и угрюмые, а сзади на повозках едут следующие за ними жены, часто с детьми. Отряд войск окружает эту группу. Прохожие останавливаются и подают калачи, булки и милостыню «несчастным». Они следуют на двор Петербургско-Московской дороги, где их рассадят по арестантским вагонам и отвезут в Московский пересыльный замок. Там, если только он еще жив, их встретит сострадательное участие «святого доктора» Гааза, но затем они двинутся по лежащей через Владимир дороге в Сибирь, перенося и зной и холод, скудное питание и насильственное сообщество в течение долгих месяцев пешей ходьбы, покуда не достигнут Тобольска, где Особый приказ распределит их в места назначения, и для них потянется долгая жизнь страданий, принудительной работы и сожительства с чуждыми, и нередко порочными в разных отношениях людьми». Тут надо лишь сделать поправку относительно движения этапа в Москву: арестантские вагоны появятся только через пару лет. Николаевской железной дороги пока не было, Московский вокзал еще стоял в лесах, и каторжане, которых мог встретить Дмитрий, шли в Москву пешком. Многих осужденных перед отправкой наказывали плетьми на Конной площади. Палач изготавливался, заносил плеть и давал команду крепко связанной жертве: «Поддержись, ожгу!» Дескать, подготовься, милый, соберись… Всё это были такие же привычные для города картины, как афишные тумбы, приглашающие зрителей на спектакли «Вот так пилюли, или Что в рот, то спасибо», «Дон Ранудо де Калибрадос, или Что и честь, коли нечего есть», «В людях ангел не жена, дома с мужем — сатана». В театрах ставили, конечно, и серьезные вещи, но цензура не зевала. Скажем, «Месяц в деревне» Ивана Сергеевича Тургенева потребовали переделать — заменить замужнюю героиню, увлекшуюся студентом, на вдову.

Надолго должны были запомниться Дмитрию таможенные склады и решетка чахлого скверика возле университета, где они с матерью переживали, получив решительный отказ университетского начальства принять его документы. Что делать дальше, Менделеевы не знали. Оставались Горный институт, Медико-хирургическая академия и Главный педагогический институт. Самой престижной считалась Медико-хирургическая академия, и

они взяли разрешение обойти ее аудитории и лаборатории. Присутствуя в анатомическом театре на вскрытии, Дмитрий Менделеев потерял сознание. Медико-хирургическая академия отпала. Горный институт, как тогда считалось, давал довольно узкое образование. Оставался Главный педагогический институт, который в свое время закончили отец и самые лучшие учителя Тобольской гимназии. Практически все профессора института являлись совместителями, приглашенными из Санкт-Петербургского университета, что было залогом хорошего образования. Да и сам институт размещался в здании Двенадцати коллегий вместе с университетом. Но стоило матери и сыну решиться на этот выбор, как оказалось, что и туда дорога закрыта: институт набирал студентов раз в два года, 1850-й был не приемным.

Мария Дмитриевна разыскала старого студенческого друга покойного мужа Дмитрия Семеновича Чижова, служившего теперь профессором математики в университете, и попросила его о помощи. Благодаря то ли активной протекции Чижова, то ли случившемуся в институте значительному отсеву студентов, то ли тому, как близко принял к сердцу судьбу Дмитрия инспектор института статский советник Александр Дмитриевич Тихомандрицкий (судя по фамилии, земляк отца), а может быть, всему этому вместе, 1 мая 1850 года документы Дмитрия Менделеева были приняты, соискатель испытан и в августе утвержден в звании студента физико-математического факультета. Нельзя сказать, что испытания прошли гладко: средний бал составил всего 3,22. Митя так переволновался, что умудрился получить четверку по проклятой латыни и тройку по любимой математике. Русский язык — 4, физика — 3½, география — 3½, история — 3½, Закон Божий — 3, французский язык — 2, немецкий — 2½.

Некоторые биографы пишут, что сразу после поступления Дмитрий сам изъявил благоразумное желание провести на первом курсе лишний год. Повторялась история с поступлением в гимназию. Институтская программа была рассчитана на два двухгодичных курса, и новоиспеченному студенту следовало выбрать одно из двух: использовать время, чтобы хорошенько подготовиться к прохождению полноценного курса, или догнать тех, кто уже год проучился. По другим сведениям, решение вернуть студента Менделеева к стартовой черте было принято руководством института по итогам первого года обучения, поскольку его успехи позволили ему занять только двадцать пятое место среди двадцати восьми сокурсников. Как бы то ни было, Мите предстояло провести пять лет в закрытом учебном заведении.

Через месяц после того, как Дмитрий стал студентом, Мария Дмитриевна умерла. Ей хватило сил ровно настолько, чтобы исполнить родительский долг в отношении младшего сына. Последние недели она прожила вместе с Лизой в комнате, снятой в Эртелевом переулке (ныне улица Чехова), поблизости от института, где учился сын. Ей было 57 лет. По строгим правилам института Дмитрий должен был ночевать только в его стенах, поэтому, пробыв возле постели маменьки в Мариинской больнице до позднего вечера, он вынужден был уйти. Мария Дмитриевна скончалась на руках у бедной также тяжелобольной Лизаньки. Осталось письмо: «Прощайте, мои милые любезные дети! Господь посетил меня и призывает в вечность. Слава Его безмерному человеколюбию, слава Его милосердию. Не долго уже мне дышать в сем мире и вас, кажется, уже более не увидеть. Да будет над вами Божие и мое материнское благословение, да сохранит вас Пречистая Матерь Божия и Ангелов мирных ниспошлет вам. Берегите себя от всякого зла и любите друг друга. Любите добро делающих и зло творящих вам, молитесь о всех. Помните, что мать ваша на земле жила для вас и не оскорбляйте моей памяти суждениями. От Бога назначена мне доля моя. Слава Его предведению. Молитесь обо мне. Тяжко душе разлучаться с телом. Тяжко матери семейства расставаться с детьми. Я любила, люблю и буду любить вас за гробом. Богу не угодно, чтоб видела вас. Одна добрая Лизанька неотлучна от меня. Помните, что она усладила последние минуты жизни моей. Митя сирота, ему также нужна помощь, не забывайте, что он вам брат. Пашу желала бы видеть и обнять, но Бог не велел, да будет воля Его».

У отца Марии Дмитриевны, доживавшего свой век в семье дочери, хранилась родовая корнильевская икона Знамения Божьей Матери. Она всегда была вместе с Менделеевыми —

в Тобольске, Тамбове, Саратове и снова в Тобольске. По семейному поверью, икона охраняла детей и взрослых, а также предупреждала своим потрескиванием и миганием лампады о приближении несчастья. Большая, более аршина вышиною и почти квадратная, старинная икона, «верный список с Абалацкой Божьей Матери», была, по воспоминанию сестры Дмитрия Ивановича Екатерины, помещена в старинную серебряную, со стершейся от времени позолотой, ризу. Убрус (полотенце) под иконой был вышит жемчугом, и посредине в него был вставлен, как звезда, большой бриллиантовый перстень. После смерти дедушки икона должна была по семейной традиции перейти к его сыну Василию, но Мария Дмитриевна, добравшись до Москвы, задержала ее у себя. Она нужна была ей, чтобы перед ее скорым уходом благословить Митю. На иконе ее рукой была сделана надпись: «Благословляю тебя, Митинька. На тебе была основана надежда старости моей. Я прощаю тебе твои заблуждения и умоляю обратиться к Богу, Будь добр, чти Бога, Царя, Отечество и не забывай, что должен на Суде отвечать за всё. Прощай, помни мать, которая любила тебя паче всех. Марья Менделеева».

Зимой пришло известие о смерти дяди, Василия Дмитриевича. Первой о несчастье узнала Лиза и сообщила Дмитрию: «Любезный брат Митенька. Я у Жуковских (петербургских родственников жены брата Ивана. — М. Б.) и узнала печальную весть, что добрый наш дядюшка умер, которого числа не знаю еще, и так вновь Господь послал нам горе и лишил нас родного и благодетеля нашего, но да будет воля Божия, прошу тебя, приходи в воскресенье к обедни в Мариинскую больницу, там буду служить панихиду по доброму дядиньке. Я так много плакала, что сегодня сильно болит голова, да, теперь еще менее средств жизни у нас, помощи тетеньки нельзя и надеяться, но что делать, сегодня пишу к ним. Приходи же в воскресенье к обедни, будь здоров и не забывай сестру Елизавету Менделееву». Сиротский страх больной девушки был напрасным — Надежда Осиповна будет их поддерживать и после смерти мужа.

Между тем о Василии Дмитриевиче скорбели не только его родственники. Из некролога, подписанного Погодиным: «Конечно, многие не только в Москве, но и в разных концах России помнят истинно Русское хлебосольство В. Д. Корнильева. Он не был литератором, но был другом и приятелем многих литераторов и ученых. Наука и Словесность возбуждали в нем искреннее к себе уважение. Во всяком общественном деле, которое касалось пользы Искусства, Науки, Литературы, он был всегда верным, всегда готовым участником, на которого заранее можно было положиться. Всякий деятельный журнал, всякая замечательная современная русская книга имели в нем усердного чтеца и покупателя. Хлебосольство было для него радостию жизни; гости за столом — весельем, украшавшим его семейное счастие. Если же в числе их хозяин угощал у себя профессора, писателя, художника, то казался еще счастливее. Сам всегда скромный и умеренный в суждениях, он оживлялся их беседою и вкушал ее как умственную пищу. Семейные его качества ценит его семья, которая осталась после него безотрадною… Прощай же, добрый человек. Мир праху твоему! Благодарим тебя за твою русскую хлеб-соль, за твой всегда радушный привет гостям, за твою готовность к участию во всяком общественном деле и за твое доброе сердце…» Что касается фамильной корнильевской иконы, то, по всей видимости, Мария Дмитриевна успела оставить распоряжение о возвращении ее законному наследнику, поскольку известно, что после смерти Василия Дмитриевича его вдова отдала икону в Алексеевский монастырь, на кладбище которого он был похоронен.

Переписка живших по соседству брата и сестры была связана не только с закрытостью учебного заведения, в котором учился Дмитрий. Петербургский климат оказывал на них явно губительное воздействие. У Лизы после переезда обострилась чахотка, а Митя с начала учебного года страдал болями в груди и обильными горловыми кровотечениями, из-за которых он целыми месяцами не покидал институтского лазарета. Все, кто видел Менделеева в этот период, отмечали его крайнюю болезненность. А. Ф. Брандт, сын одного из профессоров, знавший Менделеева студентом, писал: «Он представлялся нам настолько больным, что при встрече впоследствии с уже признанным ученым он мне казался выходцем

с того света. Во всяком случае, никак нельзя было ожидать, что судьба на этот раз смилостивится над великим русским гением и даст ему дожить до почтенного старческого возраста». Институтский врач Кребель полагал, что у юноши последняя стадия чахотки, и однажды во время больничного обхода, подведя директора института И. И. Давыдова к постелям Менделеева и его однокашника Бётлинга, сказал: «Ну, эти двое не встанут». Проснувшийся Дмитрий услышал свой приговор, однако сел на кровати и, спросив разрешения, достал тетради, чтобы тут же углубиться в занятия. Добросовестный Кребель добился того, чтобы больного юношу проконсультировал придворный медик, опытнейший профессор Медико-хирургической академии Николай Федорович Здекауэр, и тот с сожалением подтвердил страшный диагноз. Правда, окончательно его могла подтвердить только смерть больного. А он, хилый и двужильный одновременно, продолжал жить и учиться.

Руководство института начало ходатайствовать о переводе казеннокоштного студента Менделеева на тот же факультет Киевского университета Святого Владимира в надежде, что благодатный малороссийский климат замедлит бурный ход его болезни. Решение о переводе было получено, но больной студент отказался покидать стены института. Он уже нашел здесь своих профессоров, которые, в свою очередь, видели в нем своего лучшего ученика. Прервать эту связь для Менделеева было, по всей видимости, хуже смерти. Даже уход из жизни сестры Лизы через полтора года после смерти матери не заставил Дмитрия изменить отношение к собственному здоровью. Конечно, молодой Менделеев не мог не понимать, что раз отец и три сестры погибли от чахотки, то у него, по всей видимости, плохая наследственность. Однако он всё более погружался в странное состояние, в котором болезнь и сиротство сплетались с трудом познания так тесно, что, проникая друг в друга, рождали ни с чем не сравнимое чувство бесстрашной свободы.

«1851 и до выхода болел, но работал много в больнице. Доктор Кребель. Товарищ Бётлинг, вместе со мной кровью харкал и, заболевши, скончался. Меня считали отпетым. Ф. Ф. Брандт, Степ. Сем. Куторга и Ал. Абр. Воскресенский много о мне заботились. У Брандта учил летом детей. С Шиховским ботанизировал. Одно лето провел в Млёве (на Мсте), Тверской губ. Директор Ив. Ив. Давыдов напрасно осуждается, человек добрый и внимательный. Еще лучше инспектор Александр Никитич Тихомандрицкий», — вспоминал Менделеев.

Главным своим институтским учителем Дмитрий Иванович всегда называл Александра Абрамовича Воскресенского. Основательный, лишенный всякого внешнего блеска Воскресенский сделал для него, пожалуй, больше, чем все остальные преподаватели, в число которых входили настоящие научные светила того времени. Александр Абрамович помог самолюбивому юноше побороть врожденную застенчивость и по-хозяйски уверенно встать к лабораторному столу. Дмитрий чувствовал к Воскресенскому особое доверие, потому что Александр Абрамович тоже был земляком отца и вообще имел с Иваном Павловичем много схожего. Отец Воскресенского был дьяконом и рано умер, оставив жену с детьми без средств существования. После окончания духовного училища и Тверской духовной семинарии, где будущий профессор учился за счет епархии, талантливый юноша поступил в Главный педагогический институт, давший ему возможность стать одним из самых известных отечественных химиков, по сути, основоположником русской химической школы. Серьезный ученый и настоящий педагог, Воскресенский, к счастью, оказался и понятным, близким человеком для только что осиротевшего юноши. Их дружба продолжалась до самой смерти Александра Абрамовича. О том, какой это был ученый и человек, лучше всех сказал сам Дмитрий Иванович в любовно написанной биографии «дедушки русской химии»:

> «Семинарию Воскресенский окончил первым и в числе немногих… поступил в Главный педагогический институт, давший России столь много примечательных деятелей. Здесь он также кончил курс по первому разряду (в 1836 г.) и, получив золотую медаль, был отправлен за границу, с плеядой тех известнейших и талантливейших русских профессоров (Пирогов между ними выделялся более

> всех), которыми граф Уваров задумал заменить наплыв иностранных профессоров в русские университеты. Ученик Гесса, бывшего профессором химии в Педагогическом институте, Воскресенский изучил подробности химических методов исследования за границей у таких передовых ученых того времени, как Митчерлих, Розе и Магнус в Берлине и Либих — в Гисене. Лаборатория последнего в те годы была центром, куда шли со всех концов — изучать новую тогда область исследования органических (углеродистых) соединений. И я сам лично слышал от Либиха (в 1860 г. в Мюнхене) отзыв о том, что среди всей массы его учеников он считал Воскресенского наиболее талантливым, которому всё трудное давалось с легкостью, который на сомнительном распутий сразу выбирал лучший путь, кого любили и верно ценили окружающие… Принадлежа к числу учеников Воскресенского, я живо помню ту обаятельность безыскусственной простоты изложения и то постоянное наталкивание на пользу самостоятельной разработки научных данных, какими Воскресенский вербовал много свежих сил в область химии. Другие говорили часто о великих трудностях научного дела, а у Воскресенского мы в лаборатории чаще всего слышали его любимую поговорку: «не боги горшки обжигают и кирпичи делают», а потом в лабораториях, которыми заведовал Воскресенский, не боялись приложить руки к делу науки, а старались лепить и обжигать кирпичи, из которых слагается здание химических знаний».

Как видим, Менделеев с пониманием и даже весьма положительно относился к деятельности министра народного просвещения графа С. С. Уварова. Он вообще всегда спокойно и с уважением воспринимал прошлое, предпочитая заботиться о настоящем и будущем. Отрицательное отношение Менделеева к тому, что развитие русской науки во многом двигалось (а в ряде случаев тормозилось) усилиями иностранцев, вполне понятно. Европейские профессора по традиции, существующей еще со времен Петра Великого, продолжали составлять костяк Санкт-Петербургской академии наук. Некоторым из них русская наука и образование, что называется, обязаны по гроб жизни, но многие открыто считали себя особой ученой кастой в отсталой стране. Русские университеты еще недотягивали до немецких или французских, но их талантливых выпускников, к тому же прошедших стажировку в лучших научных центрах Европы, становилось всё больше. Они возвращались в Россию, уже не имея ни малейшего желания смотреть на иностранных профессоров и академиков снизу вверх. Понятно, на чьей стороне оказался Менделеев. Он был совершенно убежден, что Россия может и должна выйти к свету на своих ногах, поэтому и восхищался тем, как старик Воскресенский держал за собой химические кафедры чуть ли не всего Санкт-Петербурга до тех пор, пока его ученики не войдут в силу. Уйди он раньше времени из какого-нибудь заведения, там уселся бы какой-нибудь надменный немец, и попробуй его потом сковырни.

Самой яркой личностью среди профессоров Главного педагогического института был математик и механик Михаил Васильевич Остроградский, выдающийся специалист в области аналитической механики, гидромеханики, теории упругости, небесной механики и математической физики. Будучи академиком Санкт-Петербургской академии наук, он в большинстве случаев умело держал нейтралитет в войне русской и немецкой «партий»; его коллега, академик по отделению словесности А. В. Никитенко писал по этому поводу в своем дневнике: «…в сущности это хитрый хохол, который втихомолку подсмеивается и над немцами, и над русскими». Уже сама по себе колоссальная корпуленция Остроградского вкупе с незрячим глазом делала его облик не просто внушительным, но даже угрожающим. На самом же деле он был глубочайшим мыслителем и талантливым чудаком, вокруг которого роилось огромное облако легенд и анекдотов. Впрочем, эти истории (многие из которых он сам придумывал и разыгрывал, подчас втягивая в спектакль половину Петербурга) бледнели на фоне реальных событий его жизни. Взять хотя бы тот факт, что, закончив Харьковский университет и столкнувшись с чиновничьими проволочками при выдаче кандидатского диплома, он попросту потребовал вычеркнуть его имя из списка выпускников и отправился заново учиться в Парижский университет, где, конечно,

интересовался последними достижениями в области формирования математического аппарата теорий упругости и распространения тепла, а также математической теорией электричества, магнетизма и теорией распространения волн. Это обстоятельство, наряду с невероятной оригинальностью поведения — странный русский игнорировал не только большинство лекций с экзаменами, но и саму необходимость получения диплома, — сделало его вхожим в дома виднейших французских ученых, включая математика Огюстена Луи Коши, который вообще-то терпеть не мог современную молодежь. Как-то незаметно Остроградский стал своим и на еженедельных собраниях Французской академии наук. Как-то его отец, очень бедный полтавский дворянин, то ли забыл, то ли не смог выслать ему в срок деньги. Остроградский, задолжавший хозяину комнаты, был посажен в долговую тюрьму, где написал сразу ставший знаменитым «Мемуар о распространении волн в цилиндрическом бассейне». Коши снабдил работу восторженным откликом и представил в «Memoires des savants etrangers a l'Academie» («Записки ученых, посторонних Академии»), где она вскоре была опубликована, и поспешил выкупить будущего академика из тюрьмы за собственные деньги. Впоследствии Михаил Васильевич предпочитал поддерживать миф, что в тюрьму он попал за буйство и кутежи, а выкупился оттуда сам, став обладателем фантастического гонорара за вышеназванную статью.

Несмотря на предоставление Остроградскому места преподавателя в колледже Генриха V, он, после семи лет совершенствования в математике, исполненный самых честолюбивых планов, решил вернуться в Россию. Что с ним случилось в дороге, до сих пор остается неизвестным (сам Михаил Васильевич утверждал, что его ограбили немецкие разбойники), но в 1828 году он явился в пограничный Дерпт в совершенно непотребном виде. Поэт Николай Языков, ровно столько же лет просидевший в Дерптском университете и преуспевший не в науках, а лишь в пьянстве и поэзии (вскоре он покинет осточертевший город с ворохом прекрасных романтических стихов и, подобно Остроградскому, без диплома), писал родственникам: «Дней пять тому назад явился ко мне неизвестный русский пешеход от Франкфурта — ему мы тоже помогли: вымыли, обули, одели, покормили и доставили средства кормиться и дорогой до Петербурга. Ему прозвание — Остроградский; он пришел в Дерпт почти голым: возле Франкфурта его обокрали, а он ехал из Парижа… к брату в Петербург». О странной личности, идущей пешком из крамольной Франции, стало известно и соответствующим инстанциям, вплоть до Генерального штаба, из которого последовал приказ взять бродячего математика под негласный надзор.

Не имея каких бы то ни было документов об образовании, Остроградский быстро занимает подобающее ему место в русской науке. Михаил Васильевич преподавал или наблюдал за преподаванием математики почти во всех учебных заведениях Петербурга. Сам император Николай I признал в нем великого математика и педагога и пригласил в качестве домашнего учителя к своим детям. Один из его учеников писал: «Слушать его лекции было истинным наслаждением, точно он читал нам высокопоэтическое произведение… Он был не только великий математик, но, если можно так выразиться, и философ-геометр, умевший поднимать дух слушателя. Ясность и краткость его изложений были поразительны, он не мучил выкладками, а постоянно держал мысли слушателя в напряженном состоянии относительно сущности вопроса». Другой современник отмечал: «Читал он с большой горячностью; писал огромными буквами и потому быстро наполнял доску и затем бросался к большому столу, покрытому черной клеенкой, продолжал писать на ней и, подняв ее, показывал написанное слушателям. При его горячем чтении он скоро уставал, садился на несколько минут отдохнуть и много пил воды».

Самых способных учеников Остроградский называл «ньютонами», «архимедами», «декартами» и «геометрами» — правда, таковых было очень немного. К прочим он обращался в зависимости от учебного заведения: в Николаевском инженерном училище звал своих слушателей «гусары» и «уланы», в Главном педагогическом институте — «землемеры», в Артиллерийском училище — «конная артиллерия». Иногда Остроградский предлагал «конному артиллеристу» вместо ответа по математике рассказать хороший

анекдот, за который мог поставить хорошую отметку. Но если анекдот был тухлым, академик ставил ноль, и ставил уже навсегда. Между тем заинтересованный студент мог получить на его лекциях необыкновенно много. Среди баек, которые ходят об Остроградском до сих пор, есть история о двух толковых офицерах, которые, обработав и издав конспекты лекций Остроградского, были удостоены, ни много ни мало, Демидовской премии. Менделеев был у него одним из главных «архимедов». Именно Остроградский научил его использовать в работе новейшие математические методы. От Михаила Васильевича, легко пересекавшего границы между своей любимой математикой и физикой, астрономией, не говоря уже о механике, Менделеев взял широчайший взгляд на естественные науки. Это он ярким примером своей личности внушил Дмитрию понимание преподавания как дела, не терпящего тусклости. И, конечно, именно из лекций и научных исследований этого блестящего ученого и человека выросли будущие менделеевские исследования струй и газов.

Если М. В. Остроградского называют основоположником русской школы прикладной механики, то другой профессор Дмитрия Менделеева, Эмилий Христианович Ленц, по праву считается создателем русской школы электротехнической физики. В отличие от теоретика Остроградского Ленц (также не имевший документа об окончании университета) был гением эксперимента. Шестнадцати лет Эмилий-Христиан Ленц, сын обер-секретаря Дерптского магистрата, обладающий блестящими способностями, становится студентом химического факультета лучшего в то время в России Дерптского университета. Однако семья его после смерти отца сильно нуждалась, и, несмотря на великолепные успехи в учебе, Ленц перевелся на богословский факультет — только таким образом у его матери, младшего брата и, конечно, у него самого могла появиться надежда когда-нибудь избавиться от страха остаться без куска хлеба. Слава богу, его способности заметил ректор университета, впоследствии академик Санкт-Петербургской академии наук Е. И. Паррот (кстати, он сыграл огромную роль в спасении российского высшего образования, буквально искалеченного во времена Магницкого). В 1823 году он неожиданно предложил студенту-теологу Ленцу должность корабельного физика в российской кругосветной экспедиции под руководством капитана Отто фон Коцебу, шефом которой был сам адмирал И. Ф. Крузенштерн. Ленц с радостью согласился. Еще на берегу он сконструировал для будущих исследований специальный глубиномер и батометр (приспособление для забора воды на разных глубинах) — приборы, которые на многие десятилетия прижились на русском флоте. Плавание длилось три года, и испытания, выпавшие Ленцу наравне с опытными моряками, были весьма тяжелыми. Океан так швырял судно под мирным названием «Предприятие», так взбалтывал содержимое кают и трюмов, что однажды в кают-компанию каким-то чудом влетела живая визжащая свинья, чье место было у самого днища корабля вместе с прочей, взятой на борт для пропитания экипажа, живностью. Ленц был не единственным ученым в экспедиции. Кроме него, Дерптский университет отрядил на корабль известных, уже состоявшихся исследователей — астронома, геолога и биолога; но, насколько известно, никто из них, кроме Ленца, не сделал в этом плавании крупного открытия. В ходе обширных океанографических исследований (все пробы и замеры делались им лично) он впервые установил, что причиной ряда морских течений являются отнюдь не ветры, а разница плотности воды в высоких и низких широтах. Что же касается ветра, то он открыл его влияние на колебания степени солености морской воды: нет ветра — и надводные пары препятствуют новым испарениям, есть ветер — надводные пары сдуты и солнце заставляет океан выделять новую влагу. А «потеет» океан, как известно, исключительно пресной водой.

Результаты исследований, обработанные методом наименьших квадратов, позволили недоучившемуся студенту защитить магистерскую диссертацию в Гейдельбергском университете. Теперь он — известный ученый-путешественник. В 1829 году Ленц участвует в экспедиции на берег Каспийского моря и на Кавказ, совершает восхождение на Эльбрус, до вершины которого не доходит всего несколько сот метров. Зато он с помощью барометра совершил первую метеорологическую съемку этого горного объекта, что позволило

вычислить его высоту. Об этом напоминают скалы Ленца на карте Эльбруса.[10]

В 1830 году Ленц с помощью того же Паррота перебирается в Петербург, где в равной степени отдается экспериментаторству и преподаванию. Чего только этот человек не открыл, не подтвердил или не опроверг в области теории и практического применения электричества! Правило направления электродвижущей силы индукции (закон Ленца), закон теплового действия электрического тока (закон Джоуля — Ленца), открытие обратимости электрических машин, методы расчета электромагнитов в электрических машинах (совместно с Б. С. Якоби)… Всё это делалось в то время, когда в физике господствовали представления о неких «невесомых жидкостях»: теплороде, светоносной жидкости и прочих, наличием которых и переходом из одного тела в другое объяснялись физические явления. Даже световое излучение умудрялись дифференцировать как химические, тепловые или собственно световые лучи. Это могло сбить с толку кого угодно, но только не Ленца. Невозмутимый Эмилий Христианович без всяких церемоний приподнимал завесу, за которой прятались тайны мироздания. Взять одно лишь открытие направления индуктированного тока: оно, оказывается, таково, что вызываемая им сила препятствует движению, которым этот ток был вызван. Другими словами, в присутствии магнита или проводника с током требуется затратить больше энергии, чем в их отсутствие, так как часть механической энергии переходит в электромагнитную энергию индуктированного тока. Это открыл Ленц за восемь лет до того, как немецкий ученый Р. Майер опубликовал первую работу о законе сохранения и превращения энергии. Недаром Ленц считается одним из основоположников этого фундаментального закона природы.

Когда Дмитрий Менделеев поступил в Главный педагогический институт, Ленц был деканом физико-математического факультета университета. Выходец из Дерпта, он вполне устраивал немецкую «партию» в Академии наук. Фигура Ленца помогала удерживать обе стороны от бурных и затяжных баталий. А сам Эмилий Христианович тем временем, преподавая в нескольких ведущих учебных заведениях Петербурга, неустанно воспитывал физиков новой русской школы. После тридцати лет его педагогической деятельности все физические кафедры России возглавили его ученики, а потом — ученики его учеников. В библиотеке Д. И. Менделеева сохранился курс физики Ленца для гимназий, который был основным пособием и в высших учебных заведениях. Дмитрий брал его на лекции и там вносил на поля всё новое, что говорил академик. Разделы до теории теплоты, электричества, магнетизма и оптике пестрят множественными пометками Менделеева, свидетельствующими о тщательной работе на занятиях, да и, надо полагать, после них, поскольку по окончании младшего курса он имел по физике пятерку. Но таких тесных отношений, как, например, с профессором Воскресенским, у студента Менделеева с академиком Ленцем не сложилось. Кто был тому причиной, теперь узнать трудно. Сын Дмитрия Ивановича Иван писал, что отец даже противопоставлял этих преподавателей друг другу по манере общения со студентами: *«Ленц был формалист,* — говорил отец, — *замыкался в своем ученом величии, не допускал нас до дела. Я уже тогда наметил для себя несколько тем по физике и просил разрешения Ленца воспользоваться точными приборами физического кабинета. «Знаете ли, это будет неловко, — последовал ответ, — я верю, что*

---

[10] В ходе этой экспедиции, проводниками которой были балкарец Ахия Соттаев из селения Верхний Баксан и кабардинец Килар Хаширов из селения Кучмазокино, человек впервые ступил на восточную вершину Эльбруса. Сначала участники восхождения поднялись из станицы Каменномостская на плато Бермамыт, где разбили базовый лагерь. Дальше двинулись Ленц и еще пятеро ученых в сопровождении казаков. Наблюдавшие за ними из базового лагеря в подзорную трубу остальные члены экспедиции видели, как по мере подъема восходителей становилось всё меньше. До седловины добрались четыре человека: Э. Ленц, казак П. Лысенков и оба проводника. Тут Ленца и Лысенкова свалила горная болезнь, и старший проводник Соттаев повел их вниз. Несколько позднее наблюдатели ясно увидели человека, стоявшего на восточной вершине Эльбруса и махавшего руками. Это был проводник Хаширов. Молодой кабардинец, которого, безусловно, задело за живое невиданное упорство путешественников, особенно Ленца с его барометром, сроду не лазавшего по горам, но дошедшего почти до вершины, сделал то, что до него не удавалось никому.

вы, быть может, ничего и не поломаете, но как же мне тогда отказать будет другим? Нет, уж лучше дождитесь окончания учебного заведения!..»». Дальше цитата содержит совсем уж сердитое мнение Менделеева о русской физике вообще. Эти слова звучат немного странно, поскольку в воспоминаниях других учеников Ленца говорится, что Эмилий Христианович не только охотно допускал студентов к приборам по их просьбе, но и активно привлекал их к работе в физическом кабинете, который сам создал в университете. Когда кабинет не был подготовлен, он находил возможность пристроить их в лаборатории Академии наук. Из воспоминаний Ивана Дмитриевича все-таки понятно, что Менделеев просил Ленца о нарушении какого-то правила, которых в закрытом институте было множество. А что касается гнева на русскую физику, то его стоит отнести к минутным настроениям, поскольку молодой ученый Менделеев вообще долго считал химию… физикой, а себя, соответственно, физиком и всю жизнь утверждал, что химика без физики быть не может. Одно известно точно: Дмитрий Менделеев был болезненно обидчив и память об обидах хранил вечно. Поэтому, наверное, ощущение от лекций Ленца забылось, а слова, оброненные где-то в коридоре вечно спешащим академиком, остались — впрочем, как и отменное знание физики.

Еще один прославленный университетский профессор, Степан Семенович Куторга, читал в институте курс геологии и геогнозии (так прежде называлась часть современной геологии, изучающая минералогический состав земной коры). В университете, где Куторга занимал кафедру зоологии, он преподавал не только зоологию с эмбриологией и палеонтологией, но и общую минералогию, элементы антропологии и даже некоторые вопросы физиологии. Степан Семенович был одним из последних систематиков-энциклопедистов в эпоху, когда бескрайний материк естествознания должен был вот-вот расколоться на огромное количество островков, с тем чтобы эти островки были отданы для исследования в руки узких специалистов. Но умнейший Куторга не просто бился над задачей соединения неисчислимого множества разбросанных в сотнях томов частных фактов; он уже догадывался, что, по большому счету, науки, которые он с увлечением разрабатывал и преподавал, в будущем не только не потеряют своего внутреннего единства, но и, скорее всего, соединятся в поиске ответа на очень важные вопросы. Один из биографов Д. И. Менделеева, О. Н. Писаржевский, писал: «Куторга не удивился бы, если бы ему сказали, что всего через несколько десятилетий геологическое изучение земной коры (которому он, кстати сказать, посвятил первую в России научно-популярную книжку по геологии) объединится не только с химией, но и с зоологией и ботаникой. Наука сумеет с единой точки зрения объяснить и причины преобладания зеленого тона в окраске горных пород Уральских хребтов, и причины повсеместного рассеяния металла церия и хрупкости костей поволжского скота, и появления в тех местах, где можно надеяться найти золото, повышенного содержания этого элемента в тканях растения *Lonicera* цветущего подобно легендарному цветку Ивановой ночи над кладом… Однако прежде еще должна была появиться естественная периодическая система химических элементов Менделеева».

Куторга был выпускником знаменитого Дерптского профессорского института, неосторожно учрежденного Николаем I по инициативе ректора местного университета академика Паррота. Если бы государь знал, что вместо царских слуг это заведение «для прирожденных русских» станет выпускать таких европейски образованных и по-европейски мыслящих ученых, как С. С. Куторга, первым в России отважившийся излагать на лекциях теорию Дарвина, его брат М. С. Куторга, положивший начало систематическому и непрерывному преподаванию в университете всеобщей истории, хирурги Н. И. Пирогов и Ф. И. Иноземцев, основоположник отечественной экспериментальной патологии А. М. Филомафитский, терапевт и один из родоначальников клинической анатомии Г. И. Сокольский и множество других истинно просвещенных людей… Степан Семенович славился не только как блестящий ученый, лектор и педагог. Он был одним из энергичнейших популяризаторов естествознания. Далеко за пределами университета были известны его работы «О системе Лафатера и Даля», «Нога и рука человека», «Общий закон

появления, существования и исчезания организмов». Куторга впервые составил геологическую карту-десятиверстку Петербургской губернии. Будучи неутомимым путешественником и исследователем, он оставил свой след в самых неожиданных уголках России. Недавно, например, появилось сообщение, что ученые, занятые выяснением природы подземного гула в окрестностях Ладожского озера, уже больше ста лет пугающего насельников Валаамской обители, с большой заинтересованностью ищут старинную отметку уровня воды в озере, высеченную в 1848 году на прибрежной скале в районе Кронеборга (Куркиеки) неутомимым петербургским естествоиспытателем С. С. Куторгой.

Весьма неожиданной стороной жизни Степана Семеновича была его деятельность в Цензурном комитете, куда он наверняка попал не по собственной воле. Именно он (по определению другого, более известного, цензора А. В. Никитенко, «мыслящая голова, самостоятельная») разрешил к печати стихотворения М. Ю. Лермонтова «Бородино», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал»), «Русалка», «Молитва», «Памяти А. И. Одоевского», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Из Гёте» («Горные вершины…»), «Есть речи — значенье…», «Оправдание», «Последнее новоселье», «Дары Терека», повесть «Фаталист» и другие произведения. Именно на него строчил кляузы Фаддей Булгарин, обвиняя в покровительстве неблагонадежным «Отечественным запискам», их либерализму или, как он выражался, «мартинистскому духу». Известно, что С. С. Куторга без всякой боязни вступил в спор с самим председателем Цензурного комитета, князем М. А. Дондуковым-Корсаковым, который был намерен подвергнуть «исправлениям» даже произведения лежащего в могиле Пушкина, включая те, которые русская публика знала наизусть. Печать в середине века была настолько задушена, что даже цензоры ходили под постоянной угрозой отсидки в холодной. Однажды профессор Куторга и академик Никитенко сутки провели на гауптвахте лишь за то, что пропустили в «Сыне отечества» повесть П. В. Ефебовского «Гувернантка». Государь усмотрел преступную несерьезность автора в описании внешнего вида явившихся на бал фельдъегеря и прапорщика строительного отряда путей сообщения, каковую насмешку над своими слугами не стерпел. Другой раз Куторга был посажен на десять дней за разрешение печатать какие-то немецкие вирши. Как было сказано в доносе председателя Особого комитета для надзора за печатью Д. П. Бутурлина, «пропущенные Куторгою немецкие стихи содержат в себе мистические изображения и неблаговидные намеки, несогласные с нашею народностью». К тому же томик злосчастных переводов, попавший в руки Бутурлина, оказался с типографским браком — фамилия цензора не отпечаталась, — что дало «великому инквизитору» возможность обвинить Куторгу еще и в стремлении скрыться от ответственности. «Вот почему, — пишет в своем дневнике Никитенко, — и решено было посадить Куторгу на десять дней на гауптвахту, внести это в его послужной список и спросить у министра народного просвещения: считает ли тот возможным после этого терпеть Куторгу на службе? Всё это было сделано без всякого расследования, без сношения с министром, без запроса Куторге. А последний уже лет пятнадцать как известен и в публике и на службе за полезного, талантливого ученого и благородного человека».

Первая опубликованная работа Менделеева была выполнена под руководством Куторги, который вместе с Воскресенским предложил Дмитрию заняться исследованием привезенных из Финляндии образцов минералов ортита и пироксена. Природа образования кристаллов еще не была открыта, но сама геометрия этих причудливо вырастав ших форм наталкивала юношу на мысль о некоем законе, определяющем это разнообразие. Позднее он напишет объемное сочинение «Об изоморфизме», от которого и начнется его извилистый и противоречивый путь к открытию Периодического закона. Отношения между Менделеевым и Куторгой с самого начала сложились наилучшие. Степан Семенович очень симпатизировал пытливому сибиряку и привлекал его к обработке материалов, жига пленных из экспедиций. Когда Куторга был в отлучке, его заменял минеролог, большой знаток кристаллических форм И И. Кокшаров, о котором Дмитрий Иванович впоследствии вспоминал с признательностью и откровенной нежностью. Ни Ку торга, ни Кокшаров не могли еще знать

всего набора возможных разновидностей кристаллов — их предел будет вычислен значительно позже, — но они помогли студенту Менделееву задуматься над внутренней логикой роста кристалла и влиянием на него внешней среды.

Выпускниками Дерптского профессорского института были еще два профессора Главного педагогического — астроном Алексей Николаевич Савич и ботаник Иван Осипович Шиховский. Савич имел репутацию знатока практической астрономии и отличного наблюдателя. Именно он, проведя нивелировку пространства (824 версты) между Каспийским и Черным морями, окончательно установил, что Каспийское море лежит на десять саженей (около двадцати одного метра) ниже Черного. Этот факт сильно и надолго взбудоражил ученую публику — достаточно сказать, что даже сын Дмитрия Ивановича, Владимир, серьезно занимался проектом подъема уровня Каспийского моря с помощью запруды Керченского пролива. Савич также вывел формулы для вычисления преломления световых чумой в земной атмосфере. Он составил полное руководство для использования переносных астрономических инструмента с изложением приемов наблюдения и вычисления, которое до сих пор считается одним из лучших учебников практической астрономии не только в России, но и в Германии, где обилие пособий, в том числе и современных, делает этот факт просто исключительным. В то же время прикладные исследования отнюдь не закрыли профессору Савичу дорогу к звездам: в 1851 году он, по представлению Гаусса, получает от датского короля золотую медаль за определение орбиты кометы 1585 года по материалам наблюдения Тихо Браге. Еще через год он предлагает новый и самый удобный метод определения орбит спутников планет. Стоит ли говорить, что его лекции и статьи по использованию различных приборов и маятников оказались просто неоценимы для Менделеева в ту пору, когда он возглавлял Главную палату мер и весов? На лекциях Савича к нему пришло ощущение космоса, «вещество» которого он искал до самой смерти. Вопросы всемирного тяготения, напряжения силы тяжести с каждым годом будут волновать ученого всё сильнее и станут для него по-настоящему базовыми. А полученные от Савича знания в области летосчисления послужат появлению в 1899 году весьма оригинального предложения Менделеева об изменении старого календаря.

Профессор И. О. Шиховский оставил после себя не так много ученых трудов, но лекции его охватывали все известные на то время отрасли ботаники. Он читал в университете курсы «Органография, физиология и патология растений», «Палеонтология растений», «Обозрение семейств, родов и пород петербургской флоры», «История ботаники», «Систематика растений» и даже «Обозрение растений, употребимых в хозяйстве» для камералистов. В то время ни оранжереи, ни помещения для работы с растениями в университете не было; но Шиховский устроил ботанический сад под открытым небом, где высадил до шестисот местных растений. Своими руками и с помощью студентов он, по сути, создал университетский гербарий, используя для просушки и препарирования растений крохотную комнатку в ботаническом кабинете. Он был очень энергичным исследователем, совершил много экспедиций, в первую очередь по Скандинавии. Хотя описательный метод, используемый в то время биологическими науками, вряд ли мог полностью насытить научную жажду молодого Менделеева, всё более стремившегося к эксперименту и использованию дедукции, он все-таки весьма усердно «ботанизировал», учился детально сопоставлять сходство и различие растений. Ему это было интересно.

Зоологию и сравнительную анатомию в институте читал Федор Федорович (Иоганн Фридрих) Брандт, чье имя навсегда связано с Санкт-Петербургским Зоологическим музеем, который он создал из жалких остатков петровской Кунсткамеры. Выходец из прусской Саксонии, Брандт окончил медицинский факультет Берлинского университета, увлекся было зоологией, но докторскую диссертацию защитил всё же по медицине и хирургии. Довольно успешно начав карьеру в известной берлинской терапевтической клинике, он потом продолжил ее в Санкт-Петербургской академии и университете, но вдруг в 1831 году, будучи уже экстраординарным профессором и адъюнктом академии по медицине, бросил всё ради заново вспыхнувшего интереса к зоологии. Он становится адъюнктом по зоологии и

директором еще не существующего Зоологического музея и только теперь, тридцати лет от роду, в охотку начинает свою настоящую карьеру, увенчавшуюся званием академика и славой ученого, неимоверными личными трудами создавшего одну из самых богатых зоологических коллекций в Европе. Брандт имел прямое отношение к организации зоологических экспедиций на Урал, в Сибирь, Китай и еще бог знает куда, собирал изображения каспийских рыб, бразильских обезьян и множества других хорошо известных и вовсе не ведомых существ. Кроме того, ученый успел написать огромное количество трудов по зоологии, зоопалеонтологии, зоотомии и зоогеографии, был соавтором двухтомной «Медицинской зоологии» и автором «Краткого очертания сравнительной анатомии с присоединением истории развития животных». Недаром зарубежные ученые общества, включая Парижскую академию наук, считали за честь включить его в число своих зарубежных членов.

Брандт был замечательным преподавателем и педагогом, оказавшим большое влияние на молодого Менделеева, который, по некоторым сведениям, собирался работать под руководством Федора Федоровича и после окончания института. Больной студент одно лето жил на даче Брандта в Ораниенбауме, учил его сыновей. Отношения между ними были настолько тесными, что, начиная большое дело — описание фауны всей страны — и предлагая Главному педагогическому институту принять участие в этом предприятии, профессор Брандт привлек студента Менделеева к составлению документа, пола иного на сей счет в Конференцию института. Произошло это после того, как Дмитрий выполнил «Описание грызунов С.-Петербургской губернии». Вдохновленный качеством этой работы профессор намеревался теперь уже на регулярной основе использовать студентов каждого выпускного курса для изложения естественной истории одного из больших отделов животных. Для нас интересно, что это представление, подписанное и поданное академиком Брандтом, было написано рукой студента Менделеева: «…Изложение студентов, направленное мною, будет не столько книжным, сколько практическим, более сжатым или подробным, чисто историческим или прикладным, как того требует двоякая цель предполагаемого труда: обработка науки и общественная потребность…» — Очень похоже на манеру выражаться взрослого Менделеева. Конспекты лекций Брандта Менделеев хранил всю жизнь, они и сейчас лежат в его архиве; студенческая же его работа хранится в фонде 51 Архива Российской академии наук, где собраны рукописи, принадлежавшие Ф. Ф. Брандту.

Если взглянуть на годы студенчества Менделеева в свете его успехов, то они окажутся удивительно неровными. В первый год первого учебного курса, приступив к изучению предметов со второй половины и самостоятельно восполняя знания, полученные товарищами в прошлом году, он с огромным трудом смог добиться удовлетворительных оценок по большинству предметов (кроме французского языка и астрономии). Зато начиная со следующего года, когда он присоединился к принятым на первый курс товарищам и начал слушать лекции по тем курсам, которыми пытался овладеть самостоятельно да еще большей частью на лазаретной койке, дела резко выправились. По результатам года он перешел с двадцать пятого на седьмое место и заслужил репутацию одного из самых способных студентов нового курса. По всем основным предметам Менделееву были выставлены пятерки. Тройки оказались только по английскому, французскому языкам и Закону Божьему. И еще ему никак не удавалось получить пятерку по поведению, потому что в закрытом учебном заведении, куда, несмотря на экзамены, юношей все-таки «отдавали» или «помещали» родители, строго следили за каждой незастегнутой пуговицей, которых на зеленом мундире студента Менделеева обычно было предостаточно. По воспоминаниям его однокашников, этот высокий, широкоплечий студент с большой головой чаще всего ходил в полностью расстегнутом сюртуке. На старшем курсе студенты физико-математического факультета должны были избрать специальность — математику или естествознание. Дмитрий выбрал естественные науки и стал слушать лекции по химии с химической технологией, геогнозии, зоологии и ботанике. Кроме того, он посещал общие для всего

института (в котором был еще и историко-филологический факультет) лекции по русскому праву и педагогике. Два раза в неделю студентам читались лекции по истории искусств. По итогам первого года старшего курса он получил по всем предметам пять или пять с плюсом. Даже поведение было оценено на 4½. Дочь институтского советника Н. М. Данилевская вспоминала, что Менделеев оказался в лазарете прямо накануне экзамена. Его больше волновала не сама болезнь, а то, что она может испортить ему каникулы. Данилевская видела, как удивился доктор Кребель, когда больной попросил разрешения отлучиться на экзамен. Кребель, всё более сомневающийся в своем диагнозе, все-таки разрешил, и Менделеев, преодолевая слабость, натянул форменный мундир. Он великолепно сдал экзамен, и товарищи проводили его обратно в лазарет аплодисментами.

Михаил Папков (пожалуй, единственный сокурсник, близкий Менделееву, предпочитавшему общаться более с профессорами, нежели со сверстниками), пораженный буквально пожиравшим Дмитрия интересом к наукам, изучаемым на обоих факультетах, вспоминал: «От такого широкого и горячего интереса… страдал его физический, организм, выражаясь кровохарканьем и расстройством нервов. Для укрепления организма он некоторое время ходил в гимнастическое заведение де Гона, принадлежавшее морскому министерству, которое давало разрешение студентам пользоваться там пассивной и активной гимнастикой бесплатно. А что нервы его были расстроены и напряжены, я могу привести характерное его выражение. По окончании вечерних репетиционных занятий, которые мы производили в специальных для того залах, распределенных по курсам и по факультетам, мы часто предлагали Дмитрию Ивановичу сыграть с нами в шахматы. Он очень любил эту игру. Однако он большей частью отказывался, говоря: *«Голубчики, не могу; ведь вы знаете, что я целую ночь спать не буду»* ».

В 1854 году институт постигла очередная перестройка. Вводились четыре годичных курса, которые должны были быть сформированы следующим образом: лучшие из прошедших первый год обучения на старшем курсе становились четверокурсниками, а прочие составляли третий курс. Самые успешные из выпускников прежнего первого курса становились второкурсниками, а менее успешные завершали образование и получали звание уездных учителей. Первый курс набирался заново. Дмитрий Менделеев конечно же стал четверокурсником, первым в списке из четырех человек. Начался самый интересный год его учебы. Четверокурсникам почти не нужно было посещать обязательных лекций, они занимались практическими и лабораторными работами, писали сочинения и «рассуждения» на заданные профессорами научные и педагогические темы. Если на первом курсе Менделеев смог выполнить лишь две работы по русской словесности — «Описание Тобольска в историческом отношении» да еще выписку из произведений Державина и Карамзина, касающуюся особенностей языка (обе были названы в числе лучших профессорами-словесниками), то на старших курсах, кроме ранее упоминаемых работ по зоологии и минералогии (последняя была опубликована на немецком языке в издании Российского минералогического общества) и переводов с латыни (!) специальных текстов по ботанике (с целью усвоения терминологии), Менделеев написал ряд пробных лекций, которые в институте считались обязательными для подтверждения того, что студенты «соответствуют их назначению и современному состоянию наук». У профессора Брандта он подготовил лекцию «О влиянии теплоты на распространение животных», у Куторги — «Об ископаемых растениях», у Вышнеградского — «О телесном воспитании детей от рождения до семилетнего возраста». Была еще самостоятельно подготовленная молодым выпускником лекция «О школьном образовании в Китае». Все они были оценены высшим баллом, за исключением «телесного воспитания», за которую Вышнеградский, сам недавно переключившийся на преподавание педагогики, выставил странную оценку «отлично-хорошо». Работа «Об изоморфизме» продолжила его исследования в области минералогии. *«В Главном педагогическом институте требовалась при выходе диссертация на свою тему,* — писал в «Биографических заметках» Менделеев. — *Я избрал изоморфизм, n<отому> ч<то> заинтересовался тем, что нашел сам… и предмет казался мне*

важным в естественно-историческом отношении… Составление этой диссертации вовлекло меня более всего в изучение химических отношений. Этим она определила много…»

Кому-то может показаться странным чрезвычайно высокое мнение Д. И. Менделеева о своей альма-матер, которой он не уставал восхищаться всю жизнь, даже став университетским профессором, тогда как весьма известные его однокашники вспоминали институт с осуждением и даже гневом. Дело не только в противоречивом, склонном к неожиданным оценкам характере ученого — здесь проявились его система ценностей и важные особенности мышления. С одной стороны, институтская рутина была действительно беспросветной: «В 7 часов утра студенты должны быть чисто, опрятно и по форме одеты и собираться в классных комнатах для приготовления уроков. В 8 часов они все в порядке идут в столовую на молитву и занимают там каждый определенное место. После утренних молитв читаются Апостол и Евангелие по положению православной церкви на церковно-славянском языке. По окончании Евангелия студенты завтракают. В 9 часов начинаются классы и продолжаются до 3 часов. В классах студенты занимают определенные места, назначаемые им по успехам и поведению. В 3¼ студенты обедают за общим столом, соблюдая благопристойность. Во время стола они могут говорить о предметах лекций своих, без нарушения общей тишины, со всею скромностию, отличающей людей образованных. От 4½ до 6 в I и II курсах лекции. Студенты старших курсов употребляют это время на самостоятельные занятия и отдохновения; в младших дается для отдохновения один час по окончании послеобеденной лекции. Посещение студентов посторонними лицами дозволяется в свободное от занятий время, с крайней осмотрительностью, не иначе как в приемной зале и притом всякий раз с разрешения директора. В 7 часов все собираются в классных комнатах для повторения и приготовления уроков. В 8½ часов — ужин и вечерняя молитва. После вечерней молитвы и кратковременного отдохновения студенты занимаются приготовлением своих уроков до 10½ часов и потом отправляются в спальни в сопровождении своих надзирателей…» Это описание институтского уклада взято из статьи другого выпускника Главного педагогического института, Н. А. Добролюбова, который буквально в пух и прах разнес пот казарменный порядок и правила, по которым, например, учебную книгу можно было получить только по требованию преподавателей и распоряжению инспектора, а из неучебных библиотека выдавала по каждому из изучаемых предметов не более одного сочинения из числа одобряемых профессором, с разрешения директора или инспектора. Понятно, насколько это было поперек горла будущему пламенному публицисту, юному отцу русского нигилизма и, по мнению его противников, «бессердечному насмешнику и разрушителю всяческих иллюзий». Естественно, он создал на своем факультете сначала студенческий кружок, а потом нелегальную рукописную газету «Слухи». Уже на старшем курсе клокочущий яростным негодованием против существующего устройства жизни Добролюбов становится сотрудником «Современника».

Весьма знаменательно, что ненависть Добролюбова к институту была направлена не только против учебного заведения, но и конкретно против его директора Ивана Ивановича Давыдова, с которым он вел просто-таки смертельную борьбу. Когда-то Давыдов, как написано в старом справочнике, был «освежающим элементом» в Московском университете 1820-х годов. Он являлся приверженцем философии Шеллинга, что наложило отпечаток на его деятельность в качестве профессора латинской словесности, философии и даже высшей алгебры и руководителя кафедры русской словесности. Но к тому времени, когда он стал в Петербурге директором Главного педагогического института и членом Главного правления училищ (1847), взгляды его давно переменились: теперь он был сторонником теории официальной народности с ее триадой («Православие, самодержавие, народность»), да к тому же в натуре его проявились такие малоприятные качества, как мелочность и мстительность. Известно, что он, будучи цензором, «придержал» «Русскую хрестоматию» А. Д. Галахова за то, что автор не указал в списке рекомендуемой литературы какой-то его труд. В борьбе между академиком, будущим сенатором Давыдовым и юным студентом

историко-филологического факультета Добролюбовым первый нанес второму два очень сильных удара. В 1855 году был произведен обыск в бумагах Добролюбова с целью обнаружить оригинал издевательского стихотворения на юбилей Н. И. Греча, которое написал и пустил по рукам Добролюбов. Оригинала этого длинного, ядовитого, но, увы, недаровитого произведения не нашли; однако были обнаружены и легли на стол директора другие бумаги не менее «подрывного» содержания. Все были уверены, что смутьяна ждет, по крайней мере, исключение из института. Но Давыдов вел себя так, будто ничего не случилось. Конечно же в первую очередь он не хотел привлекать внимание начальства к подведомственному ему заведению, но многим в институте могло показаться, что директор великодушно взял Добролюбова под свою молчаливую защиту. Этого студент простить ему не мог. Второй удар директор нанес накануне выпуска, когда каким-то образом смог внушить товарищам Добролюбова, распределенным в самые дальние гимназии и училища, что их главный «карбонарий» обращался к нему с просьбой о хорошем назначении. Добролюбов, и сам допускавший весьма жесткие методы борьбы с врагом, не нашел для себя возможным объясниться с отвернувшимися от него друзьями, чем обрек себя на жгучие нравственные страдания и еще более ожесточенную, самозабвенную борьбу с Давыдовым. Стоила ли она таких сил и мучений, мы судить не вправе, но цена ее известна: «Всё унес этот проклятый институт со своей наукой бесплодной, всё, даже воспоминания детства».

Духовно близкий Добролюбову Николай Гаврилович Чернышевский, учившийся по соседству в университете и бывший вполне в курсе дел Главного педагогического института, поместил тоже очень выразительную запись в дневнике студента Трофимова — персонажа романа «Пролог»: «Прощай, институт, убивающий умственную жизнь в сотнях молодых людей, рассылающий их по всей России омрачать умы, развращать сердца юношей, — прощай, институт, голодом и деспотизмом отнимавший навек здоровье у тех, кто не мог примириться с твоими принципами раболепства и обскурантизма, — прощай, институт, из которого выносили на кладбище всех, отважившихся протестовать против твоей гнусности…»

А что же Менделеев? Ведь происхождение и юношеские испытания, выпавшие на долю Менделеева и Добролюбова, были удивительно схожи. Добролюбов был из семьи священника; едва поступив в институт, он потерял обожаемую мать, а затем отца и такое количество других близких родственников, что даже боялся открывать письма из дома — почти в каждом сообщалось о чьей-то смерти. Наконец, они оба были больны.

И при этом — разительное отличие в отношении к своему учебному заведению. Что же являлось причиной искренней благодарности Менделеева институту и уважения к Давыдову, который по всем статьям был самый что ни на есть «латинянин» и защитник оторванного от жизни классического образования?

Во-первых, у Менделеева не было и не могло быть столкновения с Давыдовым на идейном поле. Дело не только в том, что Добролюбов и Давыдов были литераторами, а Дмитрий — естествоиспытателем. Традиции его семьи, истории корнильевского и Соколовского родов сформировали его как человека труда и долга, обязанного преуспеть в жизни — такой, какая она есть. Одним из самых запомнившихся событий его биографии стал момент, когда он, едва став студентом, должен был собственноручно написать расписку, что обязуется после окончания института отработать преподавателем не менее двух лет за каждый год обучения в институте: *«Мы все твердо знали, давши при вступлении личные обязательства, что будем педагогами, а потому по косточкам разбирали всю предстоящую нам жизненную обстановку…»* Ему даже в голову не могла прийти цель, которую ставил перед собой Добролюбов: добиться отставки из учебного ведомства. Молодой Менделеев был полностью лишен бунтарского инстинкта в его добролюбовском понимании, он ничего не имел против идейных основ института и, более того, был совершенно согласен с официальной трактовкой образования как процесса, который должен опираться на твердые основы и служить воспитанию благородных и полезных членов общества со страхом Божьим в душе, любовью к отечеству и повиновением начальству.

Возможно, если бы Давыдов попытался вызвать Дмитрия на откровенный разговор, могла бы выясниться значительная разница в их взглядах на содержание этих самых «основ», понимании «полезности» и «благородства». К счастью, ни Давыдов, ни Менделеев не испытывали нужды в таком разговоре. Что же касается страха Божьего, любви к отечеству и повиновения царской власти, то их необходимость ему не Уваров с Давыдовым внушили, а завещала любимая мать. Впоследствии он, конечно, испытает проблемы и со страхом Божьим, и в отношениях с начальством, но причиной тому будет не бунтарство, а знание. И любовь к отечеству.

К тому же даже в студенческие годы лояльность Менделеева к институтскому начальству имела свои очень четкие внутренние границы. М. А. Папков рассказывает о случае группового протеста старшекурсников против режима наушничества, широко применявшегося в заведении. Вскрылось, что особенную роль в организации взаимного доносительства играл старший надзиратель А. И. Смирнов. Менделеев не принял в беспорядках никакого участия, а просто вычеркнул это имя из своего круга общения. Выпустившись из Главного педагогического института, он в письмах другу (Папков после реорганизации остался на третьем курсе) просил кланяться всем преподавателям и даже какому-то незаметному надзирателю по имени Александр Львович (фамилию Папков забыл), но только не потерявшему в его глазах репутацию благородного человека Смирнову.

Во-вторых, жесткая регламентация жизни, плотное, неусыпное попечение со стороны взрослых оказались в каком-то смысле спасительными для потерявшего мать и сестру юноши. Здесь о нем по-настоящему заботились, лечили и даже готовы были устроить на учебу в теплые края. Менделеев прекрасно понимал, что ни в одном другом учебном заведении, тем более открытом, учиться не сможет. Нищему студенту необходимы были пропитание, одежда, кров, книги и постоянное квалифицированное лечение — всё это он имел благодаря институту.

И в-третьих — по порядку, но не по значению — система образования Главного педагогического института, где научные светила передавали знания весьма немногочисленной группе студентов, помогала ему проникать в самую их глубину. *«Сущность пользы от закрытого заведения сводится не только на то, что у их питомцев больше времени для занятий и углубления в науку и предстоящие жизненные отношения, чем у студентов открытых учебных заведений, и гораздо больше общности и целости во всём, начиная с привычек и кончая мировоззрениями. Сужу об этом по личному примеру, потому что сам обязан Главному педагогическому институту всем своим развитием…»* — писал Менделеев. Более того, в конце жизни он утверждал, что открытые университеты обречены на *«консерватизм и подчинение учителя толпе»: «Со своей стороны я думаю, что жизнь нельзя перестраивать и улучшать, не отрываясь от нее, что сказалось даже в уединении, приписываемом не только Христу перед открытой проповедью, но и Будде, даже Заратустре. Консерватизм — дело великое и неизбежное, но особо заботиться о нем в деле просвещения никакой нет надобности, потому что оно, прежде всего, состоит в передаче науки, а она есть свод прошлой и общепринятой мудрости, почему люди, проникнутые наукой, неизбежно в некотором смысле консервативны по существу, и им надо учиться не от толпы, не от трения в консервативном обществе, а от мудрецов, которые сами искали высших начал в уединении от толпы, в проникновении новой тайной, в отчуждении от мелочности жизненных забот хотя бы на все то время, в которое должно получиться проникновение началами, передаваемыми впоследствии другим. Всем этим я хочу сказать, во-первых, что закрытие Главного педагогического института (* дорого обходившееся казне учебное заведение было упразднено в 1859 году. *— М. Б.) было крупною ошибкою своего времени…»* Кстати, перед нами очень характерный образец менделеевскою текста. Дмитрий Иванович мог одновременно, в одной фразе, вытащить на свет множество причудливо соприкасающихся мыслей. Мог поместить условие задачи в середину или и конец решения. Мог вообще стереть конкретные данные или смешать их с философской прозой. Мог по своему усмотрению использовать общеизвестные термины. Единственное,

чего он не мог, — обойти пусть не для всех ясный, но согласованный со всеми его внутренними критериями ответ.

Каким же был Дмитрий Иванович Менделеев накануне выхода из института? Сын ученого Иван Дмитриевич, опираясь на рассказы отца и свое с ним общение, и в шутку и всерьез приводит слова грибоедовской Княгини из «Горя уму»:

…в Петербурге институт
Пе-да-го-гический, так, кажется, зовут:
Там упражняются в расколах и в безверьи
Профессоры!! — у них учился наш родня,
И вышел! хоть сейчас в аптеку, в подмастерьи.
От женщин бегает, и даже от меня!
Чинов не хочет знать! Он химик, он ботаник,
Князь Федор, мой племянник…

Конечно, во времена Менделеева князья в институте не учились, он был предназначен главным образом для выпускников духовных семинарий; но кое-что тут, кажется, очень точно попадает в цель. Женщин он действительно видел мало, застенчивости своей не победил, с людьми сходился и ладил трудно. Хоть и писал потом, что *«в закрытом учебном заведении общение молодых сил неизбежно развито в гораздо большей мере, чем в открытых учебных заведениях»* , но сам в период обучения почти не завел близких друзей. К светской жизни он относился отрицательно (за исключением итальянской оперы), избегал распространенных среди молодежи забав, разве что мог провести перед экзаменом всю ночь напролет за картами — но что было проявлением особого ухарства круглого отличника, поскольку готовиться к экзамену усиленным образом в среде уверенных в себе студентов считалось неприличным. Главная же, терзавшая душу, проблема состояла в том, что Дмитрий, вполне убедившийся в силе своих научных возможностей, не имел никакой уверенности в будущем. Болезнь, особенно усилившаяся накануне выпуска, накладывала черную тень на все его планы. Он не знал, что его ждет впереди — радостный труд или скорая смерть.

Семнадцатого мая 1855 года в Главном педагогическом институте в торжественной обстановке начались публичные экзамены студентов восьмого выпуска по разряду естественных наук. Их было всего четверо — кроме Менделеева, факультет заканчивали Иван Лейман, Петр Сидоренко и Фридрих Белинский. Все они явились одетыми по полной форме, в мундирах со шпагами. Первым был экзамен по педагогике. Пятерка. 20 мая — минералогия и геогнозия. Пятерка. 27 мая — химия. Пятерка с плюсом. 1 июня — ботаника. Пятерка с плюсом. 6 июня — зоология. Пятерка с плюсом.

Экзамен по химии длился пять с половиной часов. Дмитрию был задан вопрос «Об амидах и о синероде (так в прошлом веке называли газ циан. — *М. Б* .) и о его соединениях». Бывший тогда младшекурсником историко-филологического факультета и пришедший на экзамен исключительно для того, чтобы увидеть и услышать на кафедре Менделеева, А. А. Радонежский писал: «Менделеев сперва долго говорил с кафедры, потом подошел к доске и писал длинные формулы. Сам я, конечно, ничего не понимал, но видел, что ясное изложение, уверенный тон, свободное обращение с формулами произвели весьма выгодное впечатление на присутствующих. Говорили, что он даже излагал какие-то новые идеи…»

По окончании экзамена выпускника и его учителя Воскресенского присутствующие засыпали поздравлениями. Посетивший экзамен в качестве почетного гостя академик Ю. Ф. Фрицше счел необходимым тут же обратиться к директору института с письмом, где, в частности, было сказано: «Убедившись, что этот молодой человек вполне владеет знанием химии и очень хорошо знаком даже с новейшим направлением этой науки, я долгом считаю сообщить Вам об этом свое личное мнение и покорнейше просить Ваше пр-во содействовать с Вашей стороны тому, чтобы г-ну Менделееву при определении на службу была

предоставлена возможность далее усовершенствоваться в химии. Это, по моему мнению, ныне наилучше могло бы быть достигнуто, если бы он был определен в один из тех городов, где имеются университеты, а впоследствии представлена была возможность посетить иностранные лаборатории и воспользоваться советами знаменитых иностранных химиков, личное знакомство с которыми никак не может быть заменено одним чтением их сочинений». Последний пассаж можно при желании счесть шпилькой в адрес Воскресенского, но в целом письмо, возможно, неожиданное даже для самого автора, говорит о пережитом академиком сильнейшем впечатлении.

Удостоенный звания старшего учителя и золотой медали Менделеев получил приглашение остаться в институте еще на год для подготовки и сдачи магистерского экзамена. Дальше можно было рассчитывать на длительную командировку в Европу. Ах, если бы не болезнь! Кребель говорил, что ему нужно срочным образом отправляться на юг. Как раз в это время в институт пришла бумага из Министерства народного просвещения со списком вакансий для выпускников. Среди них была должность старшего учителя естественных наук во Второй Одесской гимназии. Солнце, море, «тиха украинская ночь, прозрачно небо, звезды блещут, своей дремоты превозмочь не хочет воздух, чуть трепещут сребристых тополей листы…». Вот оно — то место, где он перестанет болеть и начнет, наконец, лишать полной грудью! Оставаться в Петербурге в ожидании смерти было выше его сил. И Менделеев попросил направление в Одессу.

Глава третья
МАГИСТР

Самостоятельная жизнь старшего учителя Дмитрия Ивановича Менделеева началась с крупного скандала. Вслед за великолепными знаниями золотой медалист явил миру тяжелый, взрывной характер, усмирить который обычным внушением, как оказалось, было не под силу ни директору Давыдову, ни руководству Министерства просвещения, напутавшему с распределением выпускников физико-математического факультета. Вообще-то напутать в этом вопросе было мудрено, поскольку всех выпускников можно было пересчитать по пальцам. Чиновничий ум сломался на необходимости учесть, что выпускники, назначенные для подготовки к магистерскому званию — на всём факультете их оказалось пять, — нуждаются в работе недалеко от университета или лицея. Поначалу министерские вроде бы сумели справиться с этой кадровой головоломкой, но тут всё спутала неожиданно открывшаяся вакансия старшего учителя естественных наук в Перми, куда сразу запросился Иван Лейман, ранее распределенный в Симферопольскую гимназию. Ему пошли навстречу, но назначение в Симферополь почему-то дали Менделееву, а в Одессу решили отправить математика Янкевича. Оба энергично запротестовали. Протест был удовлетворен лишь частично: Янкевич получил право хлопотать о самостоятельном трудоустройстве, но Менделеев все-таки должен был занять вакансию в Симферополе. Извольте-с подчиниться! Всё это делалось без согласования с конференцией института и было бы похоже на некую месть — в том случае, если бы на месте Менделеева был, например, Добролюбов. Мстить же Менделееву было совершенно не за что, налицо было обычное чиновничье головотяпство. Но и его оказалось достаточно, чтобы молодой Менделеев пришел в ярость.

Дмитрий Иванович рассказывал: *«Вы знаете, я и теперь не из смирных, а тогда и совсем был кипяток. Пошел в министерство, да и наговорил дерзостей директору департамента Гирсу. На другой день вызывает меня к себе И. И. Давыдов: «Что ты там в департаменте наделал. Министр требует тебя для объяснений». В назначенный день, к 11 часам утра, я отправился на прием к министру. В приемной было много народу и, между прочим, директор департамента. Я сел в одном углу комнаты, директор в другом. Начался прием. Жду час, другой, третий, ни меня, ни директора к министру не зовут. Наконец, в четвертом часу, когда прием кончился и все ушли, отворяется дверь и из кабинета,*

опираясь на палку и стуча своей деревяшкой, выходит (он был хромой, после ампутации одна нога у него была на деревяшке) министр Авраам Сергеевич Норов. Он был человек добрый, но грубоватый и всем говорил «ты». Остановившись среди комнаты, посмотрел на меня, на директора и говорит: «Вы что это в разных углах сидите, идите сюда». Мы подошли. Он обратился к директору: «Это что у тебя там писаря делают? Теперь в пустяках напутали, а потом в важном деле напортят. Смотри, чтобы этого больше не было». А потом ко мне: «А ты, щенок. Не успел со школьной скамейки соскочить и начинаешь старшим грубить. Смотри, я этого вперед не потерплю… Ну, а теперь поцелуйтесь». Мы не двигались. «Целуйтесь, говорю вам!» Пришлось поцеловаться, и министр нас отпустил».

Этот случай, записанный со слов Менделеева его учеником и биографом В. Е. Тищенко, представляется удивительным почти со всех точек зрения. Во-первых, повторимся, поразительно, как министерство могло запутаться в трех соснах. Во-вторых, как вообще мог завязаться полномасштабный конфликт между выпускником института, да к тому же не дворянином, и вторым человеком в министерстве (как установил тот же Тищенко, этого чиновника, оставшегося в памяти Менделеева как Гирс, звали Павел Иванович Гаевский)? В-третьих, зачем нужно было столь срочно заполнять вакансию в Симферополе, в гимназии, где занятия то и дело прекращались из-за близости к театру военных действий? И в-четвертых, как и почему сам министр Норов, о котором не найдешь доброго слова ни в одном учебнике, воспринял этот конфликт настолько всерьез, что взялся его улаживать лично, используя метод столь же простой, сколь и мастерски исполненный? Либо о способностях Менделеева пошли совсем уж ошеломляющие слухи (что представляется маловероятным, поскольку научные и чиновные круги все-таки питаются разной информацией), либо Менделеев повел себя настолько дерзко и безбоязненно, что чиновники то ли струхнули, то ли — чем черт не шутит — действительно почувствовали масштаб его личности, либо мы уж совсем смутно представляем себе служебные, сословные и просто человеческие взаимоотношения в среде образованных людей середины позапрошлого века. И тут явно некстати приходит нетвердая и, безусловно, сомнительная мысль, что, конечно, злая судьба — не муха, ее книжкой не прихлопнешь, однако ж был бы мелкий чиновник Акакий Акакиевич Башмачкин малость пообразованнее или хотя бы полюбознательнее и чуть-чуть погорячее — может, не измывалось бы над ним начальство так бессердечно и даже, возможно, не лишился бы он сшитой на последние деньги шинели (хотя снимали ее, конечно, тати необразованные).

Ехать в Симферополь Менделееву все-таки пришлось — и, как скоро узнаем, слава богу. Но пока всё складывалось скверно и глупо, хотя бы потому, что вещи его были уже отправлены в Одессу. Надеяться теперь нужно было только на себя. Большинство родственников сами с трудом сводили концы с концами. Брат Иван служил в Омске мелким чиновником и едва мог содержать постоянно растущую семью. Вскоре за пристрастие к горячительным напиткам его переведут служить по переселенческому управлению в одно из сел Барнаульского округа. Павел занимал должность в Омске, жалованье имел небольшое, к тому же собирался жениться на воспитаннице Басаргиных — оставшейся сиротой дочери декабриста Николая Осиповича Мозгалевского Пелагее. Поповы также были лишены особого достатка. Тетушка Надежда Осиповна, не забывавшая Менделеева в студенческие годы и хорошо принимавшая его летом на подмосковной корнильевской даче, не успевала готовить приданое для своих многочисленных дочерей. В конце концов, деньги можно было найти. Капустины жили хорошо и конечно же не отказали бы ему в помощи. Верные Басаргины (свои письма Дмитрию 55-летний Николай Васильевич подписывал, несмотря на разницу в возрасте, «твой брат Н. Басаргин») не только от души радовались Митиным успехам, но и предлагали деньги, чтобы Менделеев смог остаться в Петербурге и спокойно подготовиться к магистерским экзаменам. Да что толку в деньгах, если положение складывалось безвыходное?

Басаргин просил еще немного потерпеть питерский климат: «…когда разбогатеешь, ты и сам можешь быть полезен своей семье. Когда же получишь степень магистра, то, если будет надобно, можешь выпросить себе место в Киевском, Харьковском или Казанском университетах, одним словом, там, где климат будет благоприятнее для твоего здоровья…» Ровно через год Басаргина вместе с другими оставшимися в живых декабристами амнистируют и он с Ольгой поселится в смоленском имении своего родственника, полковника А. И. Барышникова, а потом приобретет собственное имение, жить в котором ему доведется всего несколько лет. Возможно, он чувствовал, что жизнь идет к концу, поэтому и писал своему воспитаннику о его долге по отношению к остаткам тобольского семейства. Менделеев и сам после путаницы с назначением и связанного с ней скандала хотел остаться в Петербурге не менее горячо, чем до того стремился в Одессу; но задержаться в стенах ставшего совершенно родным института уже не было никакой возможности — официальная бумага гласила: «…Ныне предписанием г. министра народного просвещения от 17 августа 1855 г. Менделеев определен старшим учителем естественных наук в Симферопольскую гимназию, с обязанностью прослужить в учебном ведомстве Министерства народного просвещения не менее восьми лет. При сем, на основании существующих постановлений, выдано Менделееву из хозяйственной суммы института третное не в зачет жалованья из годового оклада по 393 р. 15 к. и из Главного казначейства прогоны на две лошади от Санкт-Петербурга до Симферополя. Кроме того, он снабжен от института казенными книгами, одеждою и бельем. Дан сей аттестат за надлежащим подписанием и с приложением казенной печати в Санкт-Петербурге августа 27 дня 1855 года». Дорога предстояла долгая и дальняя, «третного» с учетом предстоящих затрат было недостаточно. Пришлось отнести в ломбард золотую медаль.

Первоначально Менделеев намеревался добираться до Крыма через Полтаву, однако обстоятельства заставили взять западнее. В конце августа был сдан Севастополь, но война продолжалась, по дорогам на юг двигались войска и обозы с боеприпасами и провиантом, кругом царила неразбериха. Что касается немногих путешественников, то их души были наполнены вполне понятным беспокойством и волнением. Тем больше причин для расстройства было у нашего героя. Однако нельзя сказать, что во время поездки уныние было его единственным состоянием. Само по себе ощущение дороги будило молодую душу. Впервые за долгие годы Менделеев был предоставлен сам себе, своим мыслям и надеждам. Это была настоящая дорога взрослого, самостоятельного человека. Способного, как оказалось, и пофлиртовать. В многоместном дилижансе среди пассажиров ехала молодая институтка Анна Васильевна вместе со своим почтенным родителем. Присутствие привлекательной и образованной девушки в значительной степени помогало Менделееву забыть о цели своего путешествия и обо всех дорожных неудобствах — в первую очередь о невозможности комфортно расположить длинные ноги. Вряд ли это увлечение могло зайти далеко; но добравшись до Москвы и зайдя в гости к двоюродному брату Павлу Тимофеевичу Соколову, Дмитрий говорил о дорожном знакомстве горячо и много, подробно рассказывал об их беседах и даже признался, что из-за этих веселых разговоров они оба совсем не замечают происходящего на дороге. Правда, он тут же почему-то начал убеждать родственников, что совсем не стремится потихоньку поцеловать свою красивую спутницу в то время, когда ее строгий папаша дремлет, «поскольку не способен раздражать себя пустыми поцелуями». Последняя фраза взята из письма, посланного вслед Менделееву женой Павла Тимофеевича Анастасией, в котором, процитировав поразившее ее заявление Менделеева, она высказывала надежду, что побывавший у них проездом ученый родственник все-таки поцелует «хорошенькую Анету»: «Еще прошу вас, Дмитрий Иванович, пишите поразборчивее, а то я почти ни одного слова не смогла понять, и читал его Павел Тимофеевич, который тоже с трудом понимал писанное вами…»

Город Симферополь не обманул ожиданий Менделеева и открылся перед ним во всей своей неприглядности: *«По дороге к Севастополю, где кишит народ, шныряют быстрые лошади татар, скрыпят их арбы и идут постоянно войска, по этой дороге открывается*

прекрасный вид на наш жалкий, в сущности, городок. Направо вы видите низенькие дома, здесь всё из камня — дерева и кирпича вы нигде почти не встретите, — а между тем кой-где торчат высокие, тонкие башенки — это татарская часть города и минареты мечетей, налево идут три-четыре прямых, широких улицы, стоят две-три церкви — это и весь почти город, особенно если к трем прямым улицам добавите пять-шесть кривых, узких до того, что две арбы в них не разъедутся. Всё это белеет и от того кажется чистым, но взгляните поближе на площадь, в эти узкие улицы, не говорю о татарской и еврейской частях, и вы увидите, что во всём этом чисты и белы одни только стены…» Подробнейшие письма, которые Менделеев в большом количестве пишет с первых дней пребывания в Симферополе (за две с половиной недели, по его собственным подсчетам, он отправил 18 посланий), дают весьма неутешительную картину его нового места жительства. В городе стояла страшная пыль, воздух был отравлен миазмами, исходящими из многочисленных лазаретов, и дымом от костров, в которых за городом сжигали падаль. По улицам постоянно двигались повозки золотарей, не успевавших вывозить нечистоты из перенаселенного города. Прибывший на юг лечить больную грудь Менделеев не выходил на улицу. Пришлось оставить и мысль о загородных прогулках. Виды между домами открывались чудные, но вся местность в округе была опустошена, под ярким синим небом не осталось ни травинки — всё съели боны и верблюды, везущие бесконечные телеги с ранеными, фуры с порохом, ядрами и провиантом. *«Приходится сидеть под окном, глядеть на цветущие еще розы да на опавшее персиковое дерево, за которыми ковыляют по двору больные солдаты…»*

Между тем в местном театре давались ежедневные аншлаговые спектакли (*«…да нехай ему, как говорят малороссы, был раз — теперь уж и калачом не заманишь»*), на бульваре, примыкающем к ручью под названием Салгир, регулярно устраивались гулянья, каждый день звучала *«до отвращения плохая военная музыка»* , которую съезжались слушать раненые и здоровые офицеры, комиссариатские и провиантские чиновники, местные служащие и даже несколько дам. Вообще в городе находилось много офицерских и унтер-офицерских жен, но им было не до гуляний. Дороговизна и теснота в Симферополе стояли страшные. Уже в октябре цены на дрова поднялись до семидесяти рублей серебром за сажень — при этом месячная зарплата Менделеева составляла всего 33 рубля. Семьи учителей находились в бедственном положении. Менделееву повезло — его и еще одного холостого инспектора приютил в комнатке при гимназическом архиве директор гимназии С. С. Дацевич.

Целый этаж Симферопольской гимназии также был отдан под лазарет, однако в остальных классах продолжались занятия, которым молодой учитель отдавался, насколько хватало физических и душевных сил. Заниматься подготовкой к магистерскому экзамену было невозможно — книги, которыми снабдил его институт, вместе с другим багажом были отправлены в Одессу. Гимназическая библиотека, весьма слабо укомплекктованная, еще и находилась в процессе эвакуации в Орехов. Не иначе как начальство имело основания опасаться того, что противник может дойти и до Симферополя. *«Всё это вместе* **,** — писал Менделеев, — *делает жизнь мою и скучною, и тяжелою, и бесполезною…»* Тем не менее из писем видно, что он жадно ловил любые вести с затухающей войны. Пессимистический настрой относительно своего будущего не мешал пылать его яростному боевому духу. Ни ум, ни душа молодого учителя не могли смириться с явным поражением, которое отсталая Россия терпела от вцепившихся в Крым англичан и французов. В Петербурге он, возможно, и понимал всю горестную безнадежность ситуации, в которой оказались русские войска. Но здесь, в непосредственной близости от событий, он, несмотря ни на что, верил в победный перелом войны. Он писал своим корреспондентам:

> *«Особенно интересовал меня рассказ о взятии Малахова кургана — об этой кровавой стычке горсти людей, захваченных почти врасплох под блиндажами… — об этой битве против 3000, когда помощь не могла прийти по трудности всхода*

на курган, по недостатку распорядительности — ибо все начальники только при начале битвы были ранены. О настоящем положении дел могу сказать вам только немногое. Наша позиция на Северной очень тесна и с моря, и с Бельбека, и с юга… Несмотря на сильное бомбардирование после отдачи Севастополя, на Северной произошло очень мало потерь, почти ничего даже — всего человек 10–20. Солдаты теперь отдыхают. Батареи на этой местности устроены превосходно, имеют по 200 орудий и отлично обстреливают друг друга (то есть батареи располагались на расстоянии пушечного выстрела. *— М. Б.). На Бельбеке лагерь и лазареты. Со стороны Черной наша позиция превосходно защищена превосходными крутизнами Мекензиевой горы и Инкермана, где расположены войска и построены батареи. Это место, как говорят, неприступно.*

Теперь всё внимание сосредоточено на окрестности Евпатории. Союзники даже построили свои батареи около деревни Саки. Наших сил здесь очень много, и они расположены так, что могут отразить вышедших из Евпатории; особенно важна позиция гренадер близ Перекопу.

Третьего дня было около Евпатории дело: окружили отряд французской кавалерии в 5000 чел. И взяли у них 3 пушки. Ждут здесь большого дела. У Феодосии и Керчи также поджидают дел. Если к началу октября ничего важного не произойдет, то далее ожидать будет нельзя — начнутся непроходимые грязи. Все военные действия от нас за 50 или около верст, а здесь как ни в чем не бывало, будто за тысячу, — идут классы гимназии, театры, разгул и кутеж ежедневно…»

«Военная» часть менделеевских писем из Симферополя отчасти объясняет приписку Ольги Басаргиной к одному из писем ее мужа Дмитрию. Еще до поездки Менделеева в Крым она боялась, как бы ее пылкий брат, несмотря на болезнь, не поступил в военную службу: «…я опасаюсь, чтобы тебя не увлекло ратное дело, в котором ты пользы никакой не принесешь, а между тем испортишь всю свою будущность…» Скорее всего, какие-то мысли на этот счет у Менделеева были, причем его притягивала отнюдь не военная карьера, весьма далекая от его призвания, а искреннее желание встать на защиту отечества. Единственной преградой, удержавшей будущего ученого (с его-то психофизикой!) от стремления попасть в «дело», была болезнь. Характерно, что, продолжая собирать информацию с театра военных действий и анализировать принимавшиеся там решения, он вскоре приходит в отчаяние от бездарности военачальников и безынициативности офицеров. Да и внутренний мир военных, заполнивших Симферополь, ему совершенно чужд. Будучи максималистом, Менделеев начинает чувствовать неприязнь к плохо образованным, дурно воспитанным, но держащимся с большим апломбом молодым дворянам в офицерских мундирах. Этого не мог не заметить еще один менделеевский корреспондент — его бывший учитель М. Л. Попов, писавший в Симферополь в декабре: «…Правда, всё военщина окружает тебя, но между молодыми офицерами, особенно морскими, ты можешь встретить очень порядочных людей, и тогда, может быть, помиришься с военщиной».

Казалось, в холодном, предзимнем Симферополе только Николай Иванович Пирогов, после сдачи Севастополя оперировавший со своими немногочисленными помощниками и помощницами в симферопольских госпиталях, не щадя себя, с толком служил спасению несчастного отечества — в буквальном смысле, поскольку речь шла о жизнях тысяч израненных пулями, изрубленных палашами и ятаганами, исколотых штыками и контуженных бомбами сынов этого отечества. В ходе бездарной Крымской войны он сделал около десяти тысяч уникальных, невиданных по тем временам операций. Иногда Пирогова называют начальником медицинской службы оборонявшей Крым русской армии. На самом деле этот удивительный человек никакой должности не занимал, да и никакой структуры по спасению раненых в России еще не было. Она и возникнет только благодаря Пирогову. В Крым же он попал не просто «на общественных началах», а в результате милости, оказанной ему императорской сестрой Еленой Павловной. Великая княгиня, возглавлявшая

либеральный придворный лагерь, как раз отправляла в Севастополь большую группу сестер Крестовоздвиженской общины, подготовленных для помощи раненым, и взяла на себя смелость назначить ее руководителем опального, практически отставленного от работы в Петербургской Медико-хирургической академии Пирогова.

Николай Иванович был человеком самой нужной и полезной русской выделки — чистым и честным тружеником вне всякой идеологии, если не считать таковой глубокие чувства долга и милосердия. Полагая в простоте, что «в делах общей пользы излишне просить, когда долг повелевает требовать», Пирогов за свою жизнь нажил неисчислимое множество врагов. Он требовал у казнокрадов лекарства и еду для больных и раненых, но в своем благородстве даже не предполагал, сколь неразборчивыми в средствах могут быть его оппоненты, которые в ответ на его разоблачения использовали не только обычную клевету по служебной линии, но и тогдашние массмедиа, в первую очередь булгаринскую «Северную пчелу». В конце концов коллеги даже предприняли попытку объявить его сумасшедшим. Крымская война была не первой в его жизни военного врача. Уже в ходе Кавказской кампании он опробовал применение в полевых условиях эфирного наркоза и гипсового бинтования. Гибель на его глазах тысяч солдат, с невиданным мужеством и рабской покорностью лезших под грохот пушек и барабанов по отвесным скалам на приступ, и смерть искалеченных жертв этого бессмысленного геройства от отсутствия перевязочных средств и простейших лекарств заставили его в отчаянии кинуться к военному министру А. И. Чернышеву. В ответ на горячую, сбивчивую речь Пирогова тот подверг его холодной и жестокой выволочке за непорядок в мундире. Не в силах понять случившееся, врач в конце аудиенции потерял сознание.

С тех пор Пирогов считал войну травматической эпидемией. Это была спасительная для разума формулировка, позволявшая активно и разумно действовать в условиях самоистребительных столкновений огромных вооруженных масс людей. Такое видение войны не давало возможности опускать руки ни при каких обстоятельствах, эмоционально адаптировало хирурга к самой страшной ситуации, освобождая при этом от бесполезного осуждения человеческого и государственного безумия. Вы воюете? Значит, вы подверглись страшной травматической эпидемии. Я не знаю, какая бацилла возбуждает эту эпидемию, но вы — мои братья и мои дети; я врач, я буду спасать вас, как только могу. Это, конечно, не значило, что всё остальное ему было безразлично. У бесстыжих интендантов, вороватых аптекарей и равнодушных командиров не было врага страшнее Пирогова. И все-таки главным делом была травматическая эпидемия. Кроме содержавшегося в этой пироговской формуле личного, спасительного смысла, она сама по себе в своем прямом значении была крупнейшим открытием в военной медицине, поскольку знаменовала коренную перестройку всей системы лечения раненых.

Пирогов видел, что тысячи успешных операций, проведенных им в ходе Кавказской и Крымской кампаний, совсем не равнялись количеству спасенных жизней. Находясь в скученных, антисанитарных условиях, прооперированные раненые сплошь и рядом заражали друг друга и гибли от гнойных инфекций. Он предложил вполне логичный выход: следовать правилам, разработанным для «гашения» инфекционных эпидемий. Доставленные с поля боя раненые должны были проходить сортировку: нуждающиеся в срочной хирургической помощи немедленно шли под нож, после чего быстро вывозились из района боевых действий и далее рассредоточивались по всей территории России; тем же, чья жизнь не была под угрозой, операции делали в тылу. Разделение и рассеяние. Пирогов впервые ввел понятие эвакогоспиталей и разделил страну на необходимое количество эвакорайонов. Впрочем, эти идеи Пирогова, такие бесспорные сегодня, тогда в России не были оценены и признаны, ведь к нему мало кто прислушивался, а аудиенции у важных особ часто заканчивались для Николая Ивановича истерикой и беспамятством. Зато за границей его груды изучались с самым пристальным вниманием. В 1870 году Пирогов по приглашению Красного Креста посетил военно-санитарные учреждения на театре Франко-прусской войны. Немцы встречали его как самого почетного и дорогого гостя. Еще бы! Его взгляды, изложенные в

«Началах военно-полевой хирургии», получили у них всеобщее распространение, а его план рассеяния раненых использовался в самых широких масштабах. Прусские генералы имели все основания поднимать в ею честь бокалы с шампанским и кричать «прозит!».

Перед отъездом из Петербурга Менделеев посетил профессора Здекауэра. Тот еще раз осмотрел Дмитрия, неопределенно хмыкнул и, узнав, что больной отправляется в Симферополь, сел писать письмо коллеге Пирогову, прося его подтвердить пли опровергнуть диагноз. Тут впору опять вернуться к разговору о том, что определяло взаимоотношения внутри тогдашнего ученого сословия. Очевидно, что профессор Здекауэр, много сделавший для русской медицины, в силу происхождения и общественного положения наверняка не считал Пирогова своим другом и не оказывал ему никакой поддержки в трудные времена. Пирогов также прохладно относился к Здекауэру. Но цену друг другу они знали и оба одинаково понимали профессиональную этику. Взялся же лейб-медик просить изгнанного отовсюду врача о консультации, сел писать серьезное письмо. Куда? На войну. Кому? Человеку, который мог опровергнуть его диагноз, поставленный на основе долгих наблюдений. И, наконец, ради кого? Ради казеннокоштного чахоточного студента, проконсультировать которого когда-то попросил его скромный институтский лекарь Кребель, и очевидно, не ради гонорара.

Добравшись до Симферополя, Менделеев не сразу пошел к Пирогову. Он долго выбирал время для визита, но его, подходящего, попросту не было, потому что Пирогов дни и ночи не отходил от операционного стола. По городу ходили слухи о том, что Пирогов буквально жертвует своим здоровьем ради спасения раненых и что те, равно как и сестры милосердия, его просто боготворят. Говорили, что сестры (среди них были не только простолюдинки — сегодня почему-то чаще всего вспоминают солдатскую дочь Дашу Севастопольскую, — но и аристократки вроде баронессы Екатерины Будберг и дочери петербургского губернатора Екатерины Бакуниной) тоже отказывают себе в сне и пище и что они по примеру врача настолько исполнены праведным гневом к бесчестным поставщикам медикаментов, что, поймав за руку какого-то симферопольского аптекаря, заставили его написать покаянное письмо и повеситься.

Наконец Менделеев собрался с духом и отправился в госпиталь. Визит этот едва не закончился так же, как и давнишнее посещение анатомического театра, обмороком. По свидетельству современников, зал, в котором стояли операционные столы, был буквально залит кровью, не говоря уже о передниках врачей и сестер. Воздух был наполнен стонами и воем, а по сравнению с вонью, смрад симферопольской улицы казался райским ароматом. По углам комнаты стояли переполненные бочки с ампутированными конечностями. Пирогов оперировал безостановочно: сделав самое важное, оставлял помощников завершать операцию и быстро переходил к другому столу… Три дня подряд являлся Менделеев в этот зал и каждый раз не осмеливался обратиться к Николаю Ивановичу. Наконец, его заметили сестры, подошли и, узнав, в чем дело, доложили хирургу. Тот ничуть не удивился, попросил подождать и вскоре каким-то чудом нашел возможность обстоятельно расспросить и осмотреть неожиданного пациента.

Несмотря на разницу в возрасте (Пирогову тогда было 46 лет), они были птицами одного полета — естествоиспытателями до мозга костей, к тому же их характеры и судьбы были на удивление похожи. Оба происходили из простых многодетных семейств (Пирогов был тринадцатым ребенком), оба потеряли в детстве отцов и познали связанную с этим нужду, оба почти мальчиками стали казеннокоштными студентами. Оба, волею судеб, оказались вхожими в сообщество близких Пушкину людей.[11] Обоим суждено было

---

[11] Пирогов во время учебы в Дерптском профессорском институте жил в доме своего учителя И. Ф. Мойера — выдающегося хирурга и известного пианиста, друга Бетховена. В этом доме подолгу гостил В. А. Жуковский, часто собирались Н. М. Языков и А. Н. Вульф с сестрами, П. А. Вяземский, В. А. Соллогуб, В. И. Даль, Карамзины, Витгенштейны и множество других известных Пушкину людей. Приходил на правах свояка хромоногий А. Ф. Воейков (они с Мойером были женаты на сестрах Протасовых), принимали — ну не

испытать несчастную первую любовь. Оба были трудоголиками, оба плохо ладили с людьми, особенно с женщинами, и страдали от непонимания, оба в расцвете сил и таланта будут оторваны от любимого дела.

Вряд ли оглушенный всеми обстоятельствами этой консультации молодой Дмитрий Менделеев сознавал, насколько они внутренне близки со знаменитым врачом. Зато выстукивавший ею впалую грудь и шевеливший лохматыми бровями Пирогов наверняка понимал его — настолько, насколько один человек может понять другого. Биограф Менделеева О. Н. Писаржевекий так представил себе эту встречу: «Пирогов выслушал страстную жалобу своего неожиданного пациента. Это жалоба не только на болезнь, сколько на терзания от неподвижности, на тоску от бездеятельности. Это крик о неудовлетворенной жажде творчества… Он хорошо знал вспышки внутреннего огня, который подчас судорожно озарял последние минуты угасания. А этот худощавый, бледный юноша бурлил как котел…»

Впоследствии Менделеев, с великой благодарностью вспоминая Пирогова, не раз говаривал: *«Это был врач. Насквозь человека видел и сразу мою натуру понял»* . Дело действительно было в натуре. Диагноз «туберкулез» Пирогов отверг начисто, обругал Здекауэра немчурой и подарил его письмо переставшему от счастья дышать пациенту: мол, вы, батенька, еще нас со Здекауэром переживете. «А что же тогда кашель, слабость, кровохарканье? Отчего они? — А когда это с вами первый раз случилось? — В начале учебы. Был с товарищами в театре. Певицу бисировали. Итальянку. Сильно кричал… — От восторга, значит, тоже проявляется…» Пирогов предположил наличие у посетителя неопасной сердечной болезни, в целом же счел недомогание следствием многолетнего душевного смятения, переживаний, которые впечатлительный Менделеев перенес, глядя на смерть близких, а главное — мучительной неопределенности последних лет, прошедших под знаком скоротечной болезни. Доктор дал пациенту советы, которыми, наверное, с радостью воспользовался бы сам: работать всласть, но не переутомляться; побольше гулять и путешествовать и, главное, никогда, ни в чем не перечить своей натуре. Пирогов хорошо понимал, кому и что он говорит. Узел действительно развязался просто и быстро: с этого дня замучившая Менделеева болезнь начала отступать.

Больше они не встречались, но нити их дальнейших судеб отныне какое-то время потянутся рядом, иногда перекрещиваясь во времени и пространстве. Вскоре чиновные дураки и мерзавцы вырвут из рук величайшего хирурга скальпель и определят ему место попечителя Одесского учебного округа. Чуть раньше в Одессу прибудет учительствовать и его пациент. Еще через несколько лет Пирогова отправят руководить подготовкой будущих русских профессоров в Европу. Он поселится в Гейдельберге всего через несколько месяцев после отъезда Менделеева, проработавшего там два года. Посмертная судьба их сочинений также будет сходной. Купюры, сделанные царскими цензорами в работах Пирогова, будут скрупулезно повторены в советских переизданиях. А собрание сочинений Менделеева будет полностью изувечено цековскими идеологами, за что, кстати, некоторые национально озабоченные авторы до сегодняшнего дня не устают проклинать номинального редактора издания, имевшего несчастье носить еврейскую фамилию. Будто дело именно в этом. Что бы изменилось, если бы его фамилия была, предположим, Башмачкин?..

«Плохо было жить мне в Симферополе, милые родные, до того плохо, что я старался всеми силами выбраться из Крыма — и, благодаря Бога, выбрался. В Симферополе я не имел порядочного обеда, а платил за него 60 коп. сер., я не имел своего угла — ничего еще нельзя было достать, должен был жить вместе с инспектором, комната которого не топилась — дрова так дороги, что нашему брату не по карману, я не имел ни знакомства, ни книг, ни даже всех своих вещей, которые отправил в Одессу, а потому время текло и скучно, и без пользы. А я чувствовал много еще сил нетронутых, да и здоровье не могло укрепляться в нетопленой комнате…» Еще в октябре он получил письмо от Янкевича, который, наконец,

---

выгонять же — даже Ф. В. Булгарина, жившего неподалеку от Дерпта на своей даче.

почти выхлопотал себе место в Петербурге. О том же писал Менделееву друг Папков, присутствовавший на блестящей пробной лекции Янкевича в штабе военно-учебных заведений, после которой тот был вправе рассчитывать на вакансию в каком-нибудь столичном военном корпусе. Место в Одессе окончательно освободилось, и Менделеев стал хлопотать о переводе. Еще раньше, как оказалось, о том же начали ходатайствовать его петербургские доброжелатели. Академик Фрицше, составив на сей счет записку, лично подал ее Гаевскому, который хотя и счел невозможным начинать от имени департамента дело о переводе и даже об отпуске для поездки в Одессу, но посоветовал, чтобы Менделеев сам обратился к попечителю своего учебного округа. Узнав об этом, директор института Давыдов немедленно отправил попечителю письмо, в котором аттестовал своего выпускника наилучшим образом. Благодаря совместно предпринятым усилиям Дмитрий, хотя и с большим трудом, выпросил у директора Симферопольской гимназии десятидневный отпуск по собственной надобности. 30 ноября в легком, негреющем полушубке и медвежьих сапогах, с месячным жалованьем в кармане он покинул город в парусиновом фургоне.

> *«Не без приключений доехал я в 4 дня (и это очень скоро) до Одессы — увидел этот чистенький, опрятный город, богатый морскими видами, город, который товарищи, живущие здесь, не хвалят за его плохой климат, за жары и грязи, за холодность в обществе, за разнохарактерность его, за преобладание невежественных греков, чуждающихся всякого общества, за скуку теперешней жизни. Но я нашел здесь всё. Через две недели получил я место — впрочем, не то, для которого поехал, а стар<шего > учит<еля>мат<ематики> в гимназии, состоящей при Ришельевском лицее. Дела пропасть — 16 уроков в неделю — все в 5,6,7 классах. В день самого приезда я получил и свой чемодан с вещами. Теперь я живу себе тихо: нанимаю за 8 целковых комнату — высокую, светлую и чистую, — чего в Крыму не достать за 30 руб. сер<ебром>, с отоплением, которое и здесь недешево, прислугой и мебелью — это очень дешево, благодаря товарищам. Стол имею, как все здесь, в гостинице, где за 15 коп. сер. можно достать отличную порцию, а за 30 коп. сер. быть сытым. Теперь главное — я получил возможность позаняться тем, чем мечтал, для чего имел средства, и другими предметами, средства для которых нашел у своих товарищей, профессоров. Библиотека лицея укупорена, как и многие другие пособия. Словом, я доволен всем пока…»*

В гимназии тоже были очень довольны новым учителем, который, судя по всему, являлся настоящим энтузиастом. Он не просто показал себя великолепным математиком и физиком, но к тому же сумел заворожить бойких одесских гимназистов, говоря о науке так, будто имел в виду что-то глубоко личное. Классы Менделеев вел громко, взволнованно, речь использовал несколько витиеватую, но всё вместе — уверенные знания, искренность, особое построение фраз — длинных, дочерпывающих свой смысл до самого дна, — делало его уроки очень привлекательными. Он еще не был, не мог быть настоящим педагогом, но честно выступал от имени настоящей, взрослой науки. Со второго полугодия старший учитель Менделеев начал вести также уроки биологии и взялся обустраивать для гимназии кабинет естественных наук. Хотя поздоровевший Дмитрий уже точно знал, что посвятит жизнь научному творчеству, он всё больше входил во вкус учительской работы, и в голове его теснились замыслы, связанные с преподаванием. Он собирался писать руководство для гимназий, в котором хотел охватить чуть ли не всё сущее: «…газы, жидкости, горные породы, минералы, остатки органических существ, растения, начиная с низших, и животных, начиная с человека как типа и особенный класс образующего, кончить… географией…» Еще одно пособие он собирался составить «о силах действующих, нам известных, и о состояниях тел, о притяжении между телами небесными, о тяжести… о химическом строении, о звуке, свете, теплоте, электричестве, магнетизме, жизни». Если бы он мог, то, вероятно, просто взвалил бы себе на плечи всё естествознание и потащил бы его в гору, широко вышагивая на своих длинных ногах, окруженный едва поспевающими за ним воспитанниками. При этом

все знали, что Дмитрий Иванович готовится к магистерскому экзамену и вечерами пишет диссертацию. Первое же крупное сочинение Менделеева — конечно, также отмеченное молодым стремлением обнять мыслью максимальное научное пространство и универсализировать полученные выводы, — было при этом по-настоящему глубоким и многоплановым.

Диссертация «Удельные объемы», выполненная Дмитрием за шесть одесских месяцев, представляла собой своеобразную научную трилогию, исследующую с твердых атомистических позиций (еще отнюдь не завоевавших полного признания в среде естествоиспытателей) самые актуальные вопросы химии того времени, главным образом — проблему объема атомов и молекул. Фактически она была естественным продолжением его студенческой работы об изоморфизме. По поводу этой работы академическая «Летопись жизни и деятельности Д. И. Менделеева» сообщает: «В первой части работы «Удельные объемы», которая представляет собой детальный критический анализ литературы по исследованному вопросу, заслуживает внимания оригинальная мысль ученого о связи молекулярного веса и объема газообразных тел. По существу, в этой работе он впервые в мировой литературе вывел формулу расчета молекулярного веса газа, исходя из величины плотности по водороду…» «Насколько мне известно, — писал впоследствии выдающийся русский физико-химик Е. В. Бирон, — Д. И. Менделеев первый стал считать, что можно уже говорить о законе Авогадро, так как гипотеза, в виде которой закон был сперва сформулирован, оправдалась при экспериментальной проверке».

Весомость первой главы была такова, что ее одной оказалось достаточно для допуска к защите. Между тем остальные главы (вся работа едва могла бы поместиться на двадцати печатных листах) заслуживали не меньшего внимания. «Летопись…» подчеркивает: «Во второй части «Удельные объемы и состав кремнеземных соединений», опираясь на анализ колоссального фактического материала, Менделеев перешел к широкому обобщению… Свое основное внимание он обращал на закономерности в изменении объемов в рядах сходных веществ — простых тел и соединений. Так, в частности, он сделал интересное наблюдение — установил, что в рядах близких по свойствам веществ объемы либо имеют близкие значения… либо отличаются на определенную величину… т. е. закономерно изменяются… Таким образом… Менделеев сделал шаг в направлении создания системы элементов». Едва ли не самой интересной была третья часть диссертации, носящая название «О составе кремнеземных соединений». В ней молодой ученый взялся за научное объяснение магического превращения песка в стекло и разобрался, наконец, с одной из главных тайн своего детства.

По мере завершения работы над магистерской диссертацией Менделеев всё чаще думал о Петербурге. Результаты выпускных экзаменов, казавшиеся первое время залогом успешной научной карьеры, отступали всё дальше в прошлое, в то время как на передний план выходили новые обстоятельства. На трон готовился взойти новый император Александр II, в связи с чем общество привычно разделилось надвое: одни питали надежды, другие — опасения. Регулярно славший Менделееву письма Папков сообщал, что директор института неожиданно резко сдал и внешне очень опустился, превратился в вялого, морщинистого старика. На И. И. Давыдова не могла не подействовать смерть Николая I, службе которому он отдал столько сил и рвения. Между тем в институте было известно, что директору вот-вот дадут чин тайного советника. Всё было туманно и зыбко. Менделеев знал, что может рассчитывать на поддержку Фрицше, Давыдова, Воскресенского и Куторги. Но о чем их нужно просить? Магистерские экзамены он наверняка сдаст — а дальше? Вернется в Одесскую гимназию? Попытается сделать учительскую карьеру, как отец и Ершов? А чего они добились со своими несомненными талантами? Чего добилась бедная мать? Недавно ему пришло официальное извещение из Тобольска о прекращении опеки над ее имением, поскольку все ее сыновья достигли совершеннолетия. А имение — двое мальчишек, 50 десятин земли да долг в 600 рублей серебром. Легче вовсе отказаться от наследства. Павлуша так и сделал — наверное, правильно. Однако поговаривают, что после коронации

можно ждать манифеста с прощением недоимок… Что делать? Душа рвалась в Петербург или еще дальше — в Европу, в гущу научной работы, туда, где «горшки обжигают», где дело делают. Ух, как много дел можно сейчас переделать! Недавно отменили запрет на отправку успешных выпускников за границу для завершения образования. Кто будут эти первые счастливцы? Папков также писал, что Савич подбирает две кандидатуры молодых ученых для отправки директорами обсерваторий в Пекин и Ситху (на Аляске). Географическое общество отправляет экспедицию натуралистов в Сибирь… Одно Дмитрий знал точно: в Одессу он не вернется — нельзя терять время. В письмах из Одессы он высказывал сожаление не только о том, что не остался при институте после выпуска, но даже о том, что не задержался еще на год при разделе последнего курса на третий и четвертый.

Одесса, где он был сыт, обогрет и где ему была предоставлена возможность заниматься любимой наукой, всё же решительно не подходила Дмитрию. Он не совпадал с этим любящим веселье, преуспевающим торговым городом ни по настроению, ни пожизненным устремлениям. Надо полагать, он ничего не имел бы против Одессы, если бы мощный расцвет торговли в ней сопровождался соответствующим подъемом науки. Увы, европейский прогресс, высадившийся после окончания Крымской войны на одесский причал, был пока представлен одной коммерцией. После крушения гулкого николаевского хронометра Одесса торопилась завести свои изящные буржуазные часы, жить по которым молодой ученый был категорически не в состоянии. Новое одесское время со всей очевидностью отсчитывало дни чьей-то чужой, непонятной ему жизни. Придет срок, и Менделеев испишет сотни страниц о пользе мореплавания и торговли, о портах и вывозе пшеницы, о ценах и тарифах. Это потом, когда его могучая мысль будет прокладывать торговые пути даже во льдах Северного Ледовитого океана, он отправит в Одессу, праздновавшую вековой юбилей, телеграмму: *«Русское знамя просвещения, промышленности и торговли Черноморя, столетием Одессы укрепленное, да веет шире во всем море и всем мире. Профессор Менделеев».* А пока он бессознательно жил по старым русским часам, которые никогда Россию не подводили, но ни разу не спасли. Когда Папков попросил Дмитрия дать их общему знакомому Познякову, не отличавшемуся практицизмом, совет, брать ли ему назначение в Одессу, тот ответил: *«На Одессу пенять нечего — здоровье мое обстоит великолепно, а погода стоит — теплынь, море, переломанный берег, травка первая и цветы… — просто блаженство, какого желаю от души всякому. Кроме Познякова — ибо при этих увлекающих сторонах, при дешевых апельсинах, при скоро обещающейся дешевизне всего (* письмо было отправлено 9 апреля 1856 года, спустя три недели после подписания Парижского мира*. — М. Б.) — у нас уж до 40 кораблей на рейде, при всем хорошем, пропасть есть худого, неспокойного и для меня, и для Ильина (* одесского приятеля Менделеева*. — М. Б.), — а у нас, без сомнения, побольше практичности, чем у Познякова, для Познякова — здесь не житье. Мой совет ему не думать ехать сюда. Он найдет холод здесь такой — конечно, сердечный, — какого не видывал в Питере, внимания, участия ни на грош, зато услышит на каждом углу о пшеничке, в гостях придется даже услыхать, что не стоит отдавать по 3/4 копейки, когда можно будет скоро взять и по 1 копейке — это за четверть пшеницы… Впрочем, жить здесь будет, кажись, недурно, когда и теперь живется так себе — можно найти квартиру славную, уроки рубл. по 2 или даже по три… Теперь их еще немного, скоро будет пропасть… Квартиру можно иметь с мебелью и прислугой рублей за 10, хорошую, стол целковых в 9 прекрасный с вином, конечно, с аккерманским — но ведь аккерманское вино бывает иногда превосходно. Табак отличнейший. Чай в 2 руб., сахар, говорят, скоро будет 15 коп. сер. — кажется, всё. Жалованье учителя в год 428 р. Без квартирных, а с ними (в 1-й гимназии) — 500 руб., адъюнкту 650, что-то около этого с квартирными. Денег наживет, если захочет, только знакомых не будет хороших, а так себе кой-какие, гулянья полнехонькие, по воскресеньям на бульваре в 5–6 ч. весь город, в Европейской гостинице оркестрион — чудо, какого и в Питере нет. Однако пускай не едет лучше Позняков…»*

В середине апреля Менделеев обращается к своим институтским профессорам с

просьбой помочь ему в дальнейшем устройстве. Притом что первые приметы нового, европейского духа в России Дмитрия пока не удовлетворяли, он очень интересовался возможностями продолжения научной подготовки is Европе, если же не получится — тогда готов был отправиться в Пекинскую обсерваторию. В нем, как и во многих других русских ученых, было заложено двойственное отношение к Западу и западной науке: интерес, приправленный скептицизмом, или неприязнь, замешанная на восхищении. Эта вроде бы невозможная, но тем не менее очень стойкая и уцелевшая но сих пор мировоззренческая мутация может быть понята и осмыслена только в категориях страстной любви. Как бы там ни было, Менделеев очень хотел прикоснуться не только к другой науке, но и другой жизни.

Давыдов и Куторга отозвались незамедлительно. Оказывается, ни минуты не сомневаясь в успешной защите Менделеевым магистерской диссертации, они уже давно предприняли вес необходимые действия. Благодаря энергичной помощи Куторги и институтских друзей Дмитрия несколько студенческих работ будущего магистра (о пироксене из финской Рускиалы и об изоморфизме) не залежались в редакционных шкафах, а были своевременно изданы и даже розданы членам институтской конференции, составлявшим список выпускников для длительной подготовки в Европе. Вовремя сказал свое слово и Давыдов. Кандидатура Дмитрия Менделеева была своевременно рассмотрена, включена в список и отправлена в министерство. Призывая Менделеева не торопиться с просьбой о месте в Китае, Куторга писал: «Будьте здоровы и покойны духом; лучшее никогда не уйдет от вас. Похлопочем». В таком же смысле еще раньше ответил Давыдов, к которому Менделеев обратился с удивительно трогательным и прочувствованным письмом, представляющим собой настоящий манифест рвущегося к вершинам науки молодого трудолюбца, уверенного, что отчизна должна быть прямо заинтересована в его будущих успехах:

> *«Ваше превосходительство! Мир принес нам много, много радостей, возбудил много надежд в лице каждого русского, обновил многое. Чрез две с половиной недели после подписания его посвятившие себя ученому званию получили надежду быть за границей. «Спрос не беда», говорит русская мудрость, потому, не смея надеяться, все-таки решился спросить — не могу ли я быть причислен к тем, которые будут иметь счастье быть отправленными за границу. Уже одна возможность надежды волнует во мне всю кровь, особенно, когда подумаю о том застое, что меня ожидает здесь, если останусь на следующий год. Теперь пока было кой-что запасено, да и недостаток всего можно приписать к войне. Оказалось, что не с чем поработать окрепшим силам тела и духа, не могут и укрепиться эти силы, когда требуют и не находят они свежей пищи, твердой почвы. С какой радостью снова поступил бы я в институт, где впервые испытал я радость трудового приобретения. Тяжело подумать о том, что, может быть, придется воротиться в Одессу после экзамена, который хочу держать на вакации…*
>
> *Ваше превосходительство! Чувствую в себе много неокрепшей еще душевной силы, жаль ее зарыть, а потому прошу Вас — дайте мне возможность работать, идти вперед. Ваше участие и опытность изберут для того дорогу.*
>
> *Уверен, что Вы не поставите мне в укор чувство избытка молодых сил, Вы не скажете, что этот избыток есть призрак, что везде можно быть полезным и полезно развивать свои силы. Вы знаете, как много значит руководство, соревнование, легкость занятий, одобрение, успех, поправки ошибок, чувство, что не стоишь на одном месте, всё, что неизвестно тем, кто не трудился сам и не наслаждался трудом.*
>
> *Простите мне мою просьбу, мое естественное желание быть со щитом, а не на щите.*
>
> ***Прошу принять поздравление со светлым праздником. Всегда уважающий воспитанник Ваш Д. Менделеев».***

Впервые опубликовавшие это письмо М. Н. Младенцев и И К. Тищенко

предусмотрительно снабдили его следующей, вполне понятной в 1938 году ремаркой: «Для писем подобного рода в свое время существовали определенные, издавна выработанные формы обращений. Менделеев выступает в письме как проситель. Тон письма никого не должен вводить в заблуждение — это не просто частное письмо, а полуказенная бумага, особого вида прошение, адресованное крупному чиновнику». Не имея ни малейшего права укорять в чем-либо благороднейших учеников и биографов ученого, готовивших твою работу о нем в условиях сталинской цензуры, способной мгновенно озвереть по поводу любых добрых чувств, не направленных персонально в адрес лучшего друга всех ученых, а тем более уличать их в непонимании пафоса этого письма (всё они, люди дореволюционного воспитания, понимали), все-таки отметим, что скорее письмо чеховского Ваньки Жукова можно считать «полуказенной бумагой и особого вида прошением». Искреннее, написанное поперек всех канцелярских штампов письмо позволяет нам видеть и ощущать удивительный внутренний мир молодого Менделеева, душа которого гама собой пела гимн упоительному научному труду.

В мае Менделеев уже был в Петербурге, где намеревался немедленно сдать магистерские экзамены. Воскресенский одобрил его рукопись (правда, посоветовал внести в нее результаты новейших исследований) и сам походатайствовал за ученика перед ректором университета П. А. Плетневым. Менделееву разрешили в виде исключения представить к экзаменам только тезисы диссертации. Для печатания диссертации в полном объеме у взявшего в гимназии внеочередной отпуск старшего учи геля не было ни времени, ни денег. В прошении диссертант давал обещание представить работу в должном виде к официальному диспуту. Ему пошли навстречу — первый экзамен был назначен на 18 мая. В этот день соискателю было предложено отстать на вопросы об эквивалентах простых и сложных тел, и изложить теорию образования эфиров, а также проанализировать состав «артиллерийского металла» и других сплавов. 25 мая Менделеев отвечал на вопросы по физике: об удельной теплоте, силе тока, движении воздуха. 30 мая на экзамене по геологии и геогнозии он рассказывал о трех- и одноосных системах кристаллов, провел обозрение минералогических систем, освещал вопрос о метаморфизме и меловой формации.

31 мая состоялся письменный экзамен. Первый вопрос был «Об аллотропическом состоянии тел», второй — «Понятие Жерара о кислотах», третий — «Об отделении лития от калия и натрия». Как и ожидалось, все экзамены были сданы успешно. Публичный диспут — главное событие магистерской защиты — был назначен на 9 сентября.

В гимназию он решил не возвращаться — по крайней мере, пока не пройдет диспут, заранее выхлопотав служебный отпуск с 1 по 15 сентября. Такой разрыв между экзаменами и диспутом был, по мнению некоторых биографов, связан с рыхлостью его работы, к тому же представленной в единственном, да еще рукописном варианте. Профессора спешили разъехаться на каникулы, и разбирать впопыхах трудный менделеевский почерк им было, при всей благожелательности, не с руки. Менделеев после экзамена тоже решил отдохнуть. По некоторым свидетельствам, он на какое-то время уехал в роскошную Одессу, где с удовольствием провел время, занимаясь рыбалкой.

Большая часть петербургского лета ушла на хлопоты, связанные с печатанием работы, встречи с учителями и земляками. Сначала он поселился у академика Брандта — тот просто не отпустил ученика, явившегося к нему с визитом, — а потом снял квартиру на Большой Морской, в доме Вейдле. Это была первая «взрослая» петербургская квартира Менделеева. Город был уже хорошо знакомым, но жизнь потекла новая, поскольку Дмитрий никогда еще не жил в Петербурге сам по себе, самостоятельным человеком — старшим учителем, почти магистром, будущим профессором (все знали, что Менделеев вскоре должен отправиться доучиваться в Европу), наконец, красивым молодым человеком, завидным женихом… Всё вроде складывалось наилучшим образом. Никто в Симферополе и Одессе не затаил против него злых чувств, директора гимназий и сослуживцы писали ему добрые напутственные письма, друзья искренне радовались, а профессора общались с ним как с коллегой. Особым

теплом дарили земляки — Протопоповы, Скерлетовы, Ивановы… И, конечно, славная Феозва Лещова, которой он в эти месяцы отправлял письма, пожалуй, чаще всех, а коли писал не ей, то о ней и часто просил что-то передать Физе, о чем-то справиться у нее, уверить в своем особом к ней отношении… Падчерица Ершова, выпускница Московского Екатерининского института и очень начитанная девушка, она была на шесть лет старше Дмитрия, дружила с его сестрой Ольгой. Хотя она очень симпатизировала Дмитрию, но всегда вела себя как заботливая старшая сестра и, как многие другие питерские тоболяки, пыталась в то лето подобрать ему «хорошую партию» — естественно, из своих.

Однажды Физа решила познакомить Менделеева с пятнадцатилетней Софьей Каш, дочерью доктора Марка Ефимовича Киша, бывшего управляющего Тобольской казенной аптекой приказа о ссыльных. Судя по всему, супруги Каш были из обрусевших немцев и водили тесное знакомство с людьми из менделеевского круга. Феозва, зная о скором приходе Дмитрия, уговорила стеснительную Сонечку задержаться, чтобы познакомиться с молодым магистром. Дело было в начале лета на даче Протопоповых на Крестовском острове. Менделеев всё не шел, но она настойчиво просила юную гостью остаться. Наконец встреча произошла. Когда их представляли друг другу, Сонечка напомнила Дмитрию, что это происходит во второй раз. Его, тогда гимназиста последнего или предпоследнего класса, уже знакомили и даже пытались поставить в пару с восьмилетней дочерью доктора Каша, которую отец приводил в гимназию на урок танцев. Она хорошо помнит худого юношу, который очень обидел ее тем, что тут же выдумал предлог, чтобы с ней не танцевать. А он помнит? И Соня сделала реверанс — точно так, как сделала когда-то перед худым гимназистом та девочка. Магистр сконфузился, кое-как попросил прощения и пообещал загладить свою давнюю вину. Он спроси и, где ее родители снимают квартиру. Сонечка повела Менделеева на балкон и оттуда показала дом Катани на углу Малого Петровского моста и Ждановки. Менделеев даже не понял, когда, в какое мгновение он влюбился — насмерть, совсем не зная предмет своего чувства. История эта длилась больше года, и рассказ о ней стоит вести, не прерываясь.

Через несколько дней, с цветами и конфетами, он явился к Кашам с визитом, был прекрасно принят и с тех пор стал приходить едва ли не каждый вечер. Вскоре, чтобы чаще видеть (ото, он даже поселился в соседнем доме. Марк Ефимович и Екатерина Христиановна были искренне рады ухаживанию Дмитрия Менделеева за их дочерью. Они знали его с детства, очень уважали его родителей, да и сам он — искренне влюбленный и в то же время по-корнильевски надежный, рассудительный, толково заботящийся о своем будущем — вызывал у них огромное, почти родственное расположение. Дело шло к официальному предложению. Единственное, что всерьез беспокоило Кашей, — как отнесется к этому сама Соня. Она всё еще оставалась ребенком — домашней, очень послушной девочкой, обожавшей своих родителей, которые, в свою очередь, постарались оградить ее от всего, что могло разрушить ее детский мир. В воспоминаниях об этом сватовстве она потом писала: «Мы были в полном смысле кисейные барышни. От нас совершенно устраняли житейскую обстановку. Для меня, например, весь мой мир заключался в моей комнатке, уставленной сплошь цветами и птичками. Чтобы закончить домашнее образование, меня отдали в последний класс пансиона M-me Ройхенберг на Гороховой. Я страстно любила природу, музыку и всех без исключения окружающих — начиная с родных, подруг в пансионе и кончая прислугой и кучером Лукой, и, в свою очередь, пользовалась общим вниманием и любовью. Несмотря на то, что была наивна до глупости, я все же очень любила рассуждать сама с собой обо всём окружающем, представляя себе всё, конечно, в совершенно превратном свете. Впоследствии я часто задавала себе вопрос: «Как я, такая наивная и глупая девочка, могла нравиться такому умному и ученому человеку?..»».

Менделеев только хохотал, когда, спросив: *«Вы бываете в театре, Софья Марковна?»* — услышал в ответ, что ее еще ни разу не брали в театр и она просто не знает, что там происходит. «Папаша говорил, что там плачут и танцуют». А на вопрос о том, что она читает, Сонечка отвечала, что мамаша позволяет ей читать только разные хорошие сказки.

«А серьезное вам не позволяют читать? Например, романы?» Барышня густо покраснела, прекратила беседу и ушла в свою комнатку. Оказалось, что маменька наговорила ей столько ужасных вещей о романах, что теперь девочка считает неприличным даже упоминание об этом жанре. Влюбленный Менделеев приходил от ее наивности в восторг. Из этого ребенка он сможет воспитать такую подругу жизни, какую захочет. Однажды Сонечка услышала, как Менделеев попросил у Екатерины Христиановны разрешения прислать для Сонечки билет в театральную ложу. Это настолько потрясло ее, что она тут же помчалась к няне с просьбой погадать на картах — возьмут ли ее, наконец, в театр? Старушка заглянула в карты и пришла к выводу, что в театр — навряд ли, а вот замуж — это точно. И действительно, вскоре отец вызвал дочь из ее комнатки и сообщил, что Дмитрий Иванович сделал им честь и просит ее руки: «Придет время, он сам тебе всё скажет, но ты должна, наконец, держать себя с ним как невеста». Когда «невесту», наконец, отпустили наверх, ее терзала только одна мысль: «Как же я ему отдам руку и зачем ему ее?» Ночами она плакала от мысли, что любит Дмитрия Ивановича обычно, как всех, а надо необычно — сильнее, чем родителей. А она не может…

Наступило лето. Соню забрали из пансиона, где она научилась свободно говорить по-французски и по-немецки, а также играть на рояле. У Кашей была мыза Икати-Хове близ Новой Кирхи в Финляндии. Семья готовилась к переезду. Соня больше всех стремилась покинуть Петербург — она устала от непонятной роли невесты, — но на второй день после переезда отец ее строго предупредил, что через два часа приедет Дмитрий Иванович и сделает ей предложение. «Ты должна сказать ему «да» без всяких разговоров». Дочь привыкла беспрекословно ему повиноваться. Чем ближе было время приезда Менделеева, тем большее волнение ее охватывало. Она помчалась в сад, потом к озеру, потом пробежалась по всем аллеям… После этого метания Соня решила спрятаться за диваном в мамашиной комнате. «Оттуда я слышала звук бубенчиков и стук въезжавшего во двор экипажа, потом голоса папаши, мамаши и Менделеева. Все говорили очень оживленно и смеялись. В доме поднялась беготня и звон бокалов. Стали звать и искать меня, но я не откликалась. Наконец, папаша нашел меня за диваном, взял за руку, в которой я почему-то вместо носового платка держала полотенце, и сказал: «Помни, что тебе было сказано: «Да», и вывел меня в гостиную, где уже все стояли с бокалами шампанского в руках. «Не обращайте на нее внимания, Дмитрий Иванович, она ведет себя как девочка», — сказал отец и подвел меня к Менделееву. Он поцеловал мне руку, начались поздравления, а я в этой суматохе убежала к себе в комнату, Просилась на кровать, где лежала моя спеленутая кукла, и залилась горькими слезами. Между тем прислуга уже несколько раз прибегала к моей комнате со словами: «Барышня, вас просят вниз», «Папаша сердится», «Идите скорее» и т. д. Наконец, слышу грозный голос отца: «Соня, вниз!» Я моментально оправилась от слез и, войдя в гостиную, очутилась около Менделеева, который надел мне на руку браслет. И вот, не говоря Менделееву «да», я сделалась официально его невестой…»

Всё лето, несмотря на хлопоты и волнения, связанные с доработкой диссертации и типографией, Дмитрий Иванович был счастлив. О предстоящей свадьбе он сообщил всем родным и знакомым и теперь буквально купался в поздравлениях. «Поздравляю тебя с избранной тобой невестою, — писал брат Иван, — да» бог тебе счастья и всего, всего лучшего в жизни. Ефима Антоновиича (отца Марка Ефимовича. — М. Б.) я хорошо знаю и помню в Тобольске, они немало помогли покойным нашим родителям. Невесту твою, а теперь сестру мою Софию Марковну, я припоминаю, видал их маленькой… Так бы и посмотрел теперь На вас…» Сестра Маша вторила ему: «Поздравляю тебя, милый жених, дай Бог, чтобы ты был счастлив, родной, милый Митенька. Знавши еще Сонечку ребенком… Кто думал, что она будет мне сестра, я полюбила Софью Марковну от всей души и часто вспоминаю, давно ли ты был мальчиком…» — а ее супруг, умница Попов, приписал: «Дай тебе Бог найти в ней то, что ты ищешь в ней. А я со своей стороны очень рад, что ты женишься на немочке. Немочка всегда хорошая мать и хорошая хозяйка…»

Менделеев продолжал бывать частым гостем на мызе, привозил цветы, конфеты и самые дорогие, какие мог позволить себе, подарки, и продолжал вести со своей невестой

беседы: *«Что вы подразумеваете под словом любовь?* — Не знаю. Мне мамаша об этом никогда не говорила. — *А когда же вы будете называть меня не Дмитрий Иванович, а Митя?* — Не знаю». Менделеев пытался заинтересовать ее будущей свадебной поездкой за границу: *«Вы там, Софья Марковна, будете сами себе покупать всё, что вам только понравится».* Эта мысль почти примирила девочку с предстоящим замужеством. Свадьба была назначена на конец августа — время возвращения Кашей с мызы. Венчание должно было состояться в церкви Второго кадетского корпуса, где уже было сделано оглашение. Дмитрий Иванович, проведший на мызе несколько дней, выехал в Петербург первым, чтобы сделать все необходимые приготовления. Когда Сонечка по возвращении вошла в свою комнату, она была поражена обилием цветов, которыми жених собственноручно украсил здесь каждый уголок. На звук ее рыданий сбежалась вся прислуга. «Если вы, барышня, не хотите, то скажите в церкви «нет», когда вас будут венчать», — посоветовала ей горничная. Наверное, Соня в это время быстро повзрослела, поскольку мгновенно обрела решимость и возможность противостоять нажиму со стороны сурового отца: «Папаша, когда нас будут венчать, я скажу «нет»». Глядя в ее глаза, Марк Семенович почувствовал, что детство его дочери кончилось, она не уступит, дело непоправимо…

> «Я слышала, как в это время пришел Менделеев, веселый и радостный, я слышала его смех. Господи, как мне было тяжело. Потом всё стихло. Отец пригласил его в кабинет и, вероятно, сообщил ему мой отказ. От няни я узнала, что, выйдя из кабинета бледный и растерянный, Дмитрий Иванович ушел домой без шапки (он жил в соседнем с нами доме). Через два дня пришла его служанка к папаше со словами: «Барин, вы бы зашли проведать Дмитрия Ивановича: с ним что-то случилось — третий день никуда не выходит и всё время пьет только воду и лежит. Может, заболел чем?» Наконец, на четвертый день Менделеев пришел к нам и сказал папаше, что желает видеть меня и говорить. Раздался грозный голос отца, который всё это время не говорил со мной ни слова. *«Соня, иди вниз и возврати всё, что дарил тебе Дмитрий Иванович!»* Я поспешно всё собрала и, когда спустилась вниз, то спросила отца: «А эту хорошенькую коробочку можно оставить?» — «Глупая девчонка!» — ответил отец и велел мне войти в кабинет. Когда я вошла, там был только Дмитрий Иванович. Он быстро подошел ко мне, взял за руки и заплакал. Я чувствовала, как горячо целовал он руки и как они были мокры от слез. Мне никогда не забыть этой тяжелой минуты нашей разлуки. Тогда я сама в первый раз поцеловала его крепко в лоб, и в этот момент мне казалось, что он для меня дороже и ближе всех других, после мамаши, и у меня на языке уже были слова «Я люблю вас»… Но я не произнесла этих слов вслух, и наша судьба была решена. Дмитрий же Иванович сквозь рыдания и слезы тоже не мог ничего говорить, и я только помню его слова: *«Если, сели вы…»* .

«Страничка из жизни профессора Д. И. Менделеева» была написана со слов С. М. Фогель, урожденной Каш, спустя 50 лет и издана благотворительным обществом «Союз-Копейка» в 1908 году. Это издательство вплоть до революции печатало открытки, отрывные календари, разные занимательные брошюрки и продавало их в пользу пострадавших от неурожая крестьян. Стоит с благодарностью вспомнить некоего В. И. Дмитриева, знавшего о первом, неудачном менделеевском сватовстве, нашедшего через столько лет Сонечку и уговорившего ее рассказать, как всё было. Возможно, она решилась поведать об этой глубоко личной драме лишь потому, что речь шла о помощи голодающим. Странно сознавать, что и от неурожая может ныть хоть какая-то польза — иначе мы могли бы никогда не узнать подробностей этой истории. Сохранившая до заката дней светлую и чистую душу Софья Марковна закончила свои воспоминания словами: «Много и очень часто я потом думала о нем, очень хотела его видеть, чтобы высказать ему всё, что сама пережила. Кто знает — если бы отец так упорно не настаивал на этом браке, а предоставил бы нам самим разобраться в этом сложном жизненном вопросе, может быть, я бы была женою Менделеева… Мир праху твоему, великий человек. Я верю, что твоя бессмертная душа

простила мне за все невольно причиненные страданья».

Сам Менделеев, получивший глубокую сердечную отметину на всю жизнь, сохранил на память листок гербария с надписью: *«23 июля. 1857. Иматровский водопад… Берег Саймы и Сайменского канала. Чудный, незабвенный вечер».* И еще оставил не по-стариковски твердую строчку в своих «Биографических заметках»: *«Увлекся Софьей Марковной Каш. У них был в Финляндии (Икати-Гови), хотел жениться, отказала».*

Что касается прочих событий, произошедших за это время, to начать следует с того, что 9 сентября 1856 года на физико-математическом факультете состоялось «публичное защищение» Менделеевым «рассуждения об удельном объеме с относящимися к нему положениями». Народу собралось много. Диссертанту оппонировали профессор А. А. Воскресенский и адъюнкт технологии М. В. Скобликов. В это время в университете и учебном округе проходила какая-то реорганизация или перетряхивание руководства на всех уровнях, поэтому буквально всё присутствовавшее на акте защиты начальство было не утвержденным, а «исправляющим обязанности». Впрочем, всё это были люди доброжелательные, известные соискателю. Вместо П. А. Плетнева, которому Дмитрий недавно подавал прошение, на защите присутствовал новый исполняющий обязанности ректора — В. Я. Буняковский. Был также исполняющий обязанности декана факультета А. Н. Савич. Защита происходила в присутствии исполняющего обязанности попечителя округа Э. Х. Ленца. Больше всего вопросов оппоненты задавали по разделу, посвященному критике и истории исследований удельных объемов твердых и жидких тел. Туг было самое чувствительное место, поскольку твердая и безапелляционная приверженность Менделеева к еще отнюдь не победившей атомистической теории Жерара не могла не вызвать вопросов. Что же касается главных выводов, сделанных Менделеевым, то они, как писал «Журнал министерства народного просвещения», «получили одни одобрения: ибо они дали возможность отличить, по объемам в твердом состоянии, явления замещения от явлений соединения и указали путь естественной классификации химических соединений на основании их удельных объемов».

Вероятно, еще перед защитой Воскресенский нашел для своего ученика возможность устроиться на работу в Санкт-Петербургский университет. Воскресенскому как ординарному профессору химии физико-математического факультета было разрешено иметь в помощь приват-доцента. Ранее эти обязанности исполнял М. В. Скобликов, теперь ушедший профессором на кафедру технологии, и место было свободно. Но чтобы начать ходатайствовать о переводе из Одессы, Менделееву необходимо было защитить еще одну диссертацию — на право преподавания в университете (*pro venia legendi*). Для этого вполне годилась не вошедшая в магистерскую диссертацию глава о кремнеземистых соединениях. Через три дня после защиты диссертации об удельном объеме Менделеев подает Буняковскому новое прошение о представлении и предварительной защите новой работы с целью занять должность приват-доцента. Осторожный Буняковский спустил бумагу на факультет с просьбой решить, насколько ему нужен новый приват-доцент. Савич с готовностью отозвался донесением о полезности Менделеева.

Уже 21 октября Менделеев защищает новую диссертацию «Строение кремнеземистых соединений». По университетским правилам, кроме оппонентов (в этом качестве выступали те же Воскресенский и Скобликов) оценить нового коллегу были приглашены представители историко-филологического, юридического и восточного факультетов. Защита была признана удовлетворительной. Через неделю совет университета обратился с ходатайством к попечителю учебного округа, тот вышел на министра, который через два месяца «по сношению с начальником Одесского учебного округа» (им в то время был, но всей видимости, Н. И. Пирогов) переместил Менделеева из старших учителей в приват-доценты. Кроме того, он был назначен секретарем факультета.

Начиная со второго полугодия 1857/58 учебного года Воскресенский поручил Менделееву читать теоретическую и историческую часть программы по химии для студентов третьего и четвертого курсов. Вдобавок молодой приват-доцент взялся нести практические

занятия для четверокурсников. В следующем семестре он уже полностью читал курс органической химии и продолжал занятия со студентами в химической лаборатории университета. Следует, однако, отметить, что победное перемещение из провинции в главный университет империи означало для Менделеева резкое ухудшение материального состояния. В Одессе, где цены были значительно ниже, он имел достаточно высокое и регулярно выплачиваемое жалованье; в Петербурге же сверхштатному приват-доценту вообще никакого твердого жалованья не полагалось — ему можно было заплатить раз в год из остатка факультетского бюджета. А можно было и не платить.

Приходилось искать подработку где только возможно. *«В 1857/58 г. преподавал органическую химию; дали 400 рублей, а то жил уроками, работал у Никитенко для Журнала министерства народного просвещения. Давал уроки П. П. Демидову. Обедал у Воскресенского».* Менделеев неспроста запомнил Демидова, это и впрямь была фигура весьма примечательная — точнее, примечательно искривленная, за что он даже попал (правда, под вымышленной фамилией) в роман Д. Н. Мамина-Сибиряка «Горное гнездо». Потомок баснословно богатого рода уральских промышленников мало занимался наследственными предприятиями (был на них всего дважды, причем один раз подростком), зато хватался за любые «современные» манипуляции: с американскими элеваторами, бульонными кубиками, мясом диких животных, даже изданием собственной газеты. В истории он остался как один из активнейших спонсоров и участников конспиративной монархической организации «Священная дружина», автор антисемитской брошюры «Еврейский вопрос в России» и владелец титула итальянского графа Сан-Донато. Зачем взбалмошному семнадцатилетнему юноше, то ли уже учившемуся, то ли готовившемуся поступать на юридический факультет, понадобились уроки химии, можно только гадать. Вообще частные уроки найти было непросто, а денег они приносили мало и давались молодому самолюбивому ученому с трудом. Манера общения тут предполагалась соответствующая (в одном из писем от работодателя сказано: «…и прошу вас уже себя не беспокоить для давания уроков…»), что, конечно, не могло не уязвлять его достоинства. Для заработка Менделеев взялся вдобавок читать лекции во Втором кадетском корпусе (поэтому несостоявшееся венчание было намечено совершить именно в церкви этого заведения). Есть сведения о том, что в этот период Менделеев читал также лекции в Технологическом институте.

Еще одним полем деятельности и неплохим источником заработка для Менделеева стал «Журнал министерства народного просвещения». Скучное служебное издание с началом сотрудничества в нем молодого приват-доцента буквально преобразилось. Материалы — заметки, рефераты, обзоры, статьи, переводы, рецензии из области химии, физики, биологии, географии, промышленности и технологии и прочего — за подписью «Д. Менделеев», «Д. М.» или просто «М.» буквально текли рекой. Популярное изложение достижений мировой науки чередовалось с новостями металлургии, информацией о новых сферах использования жидкого стекла и яичной скорлупы. Автор писал о новых, необычных, диковинных вещах, не забывая при этом свою излюбленную мысль, что важность открытия в области отвлеченного знания сопоставима с возможностью его практического применения, *«сроднения с жизнью народа».* Вдобавок оказалось, что у совсем молодого и довольно успешного ученого уже есть враги; он сам себе их выбрал — всех тех, кто говорил о промышленности презрительно, сквозь зубы. В помещичьей стране таковые пока составляли большинство. Автор не затевал личных свар, но патриархальным идеям спуску не давал. Для него необходимость прогресса была очевидной, ибо *«война доказала необходимость изменений в нашем народном хозяйстве».*

Менделеев писал увлеченно и горячо, прекрасно ориентируясь в мире научных и промышленных новостей. Множество его материалов при этом не попадало в печать из-за большого объема, рыхлости или недостаточно ясного изложения — все-таки читателями журнала были скромные учителя, а не университетская и академическая публика. Но это совершенно не обижало молодого журналиста. Впоследствии Менделеев вспоминал: *«Эти*

компилятивные статьи писались легко, потому что читал я тогда очень много, а Никитенко — руководитель и затем редактор «Журнала министерства народного просвещения» — плотно их помещал, что давало мне заработок, необходимый мне но той причине, что я служил тогда в Петербургском университете доцентом — без всякого гонорара, а за статьи получал по 25 руб. с печатного листа. Эти компилятивные статьи… служат указателем того, что уже тогда во мне, сверх теоретического, было и практическое направление, что выразилось явно».

Время было счастливое — и не только потому, что Менделеев был влюблен и с трепетом ожидал свадьбы. Он оказался в гуще жизни столичного научного сообщества, которое в ту пору буквально бурлило новыми идеями. Рядом с ним находилось множество молодых энергичных ученых. Кое-кого он знал раньше, но теперь они стали взрослыми, самостоятельно мыслящими людьми. Одним из первых, с кем он сошелся, был математик Иван Вышнеградский, закончивший институт на несколько лет раньше. Он уже успел защитить магистерскую диссертацию и поработать в Артиллерийской академии. В будущем И. А. Вышнеградский увлечется механикой и станет автором нескольких важных исследований в этой области, а по том проявит себя и на государственном поприще — войдет и состав правительства и пять лет будет служить министром финансов. Столкнувшись с проблемой нехватки средств, Менделеев недолго проживет в доме Вейдле — снимет на двоих с Вышнеградским скромную квартиру на Съезжинской, в доме Журина. Здесь он будет жить, пока сердечные обстоятельства не заставят его сменить адрес.

Близким другом и частым гостем Менделеева в этот период стал Платон Пузыревский, выпускник университета и соискатель магистерского звания. У них с Менделеевым были общие учителя — Воскресенский и Куторга. Несмотря на то что Л. А. Пузыревский был на четыре года старше Менделеева, именно Менделеев (вместе с Воскресенским) будет оппонентом на защите его диссертации по минералогии. После этого он защитит диссертацию о русских апатитах на право преподавания и будет избран доцентом на кафедре геологии и геогнозии того же факультета, что и Менделеев, и даже займет его место секретаря. Еще один приятель — Александр Бородин, сотрудник Медико-хирургической академии, блестящий химик и талантливый музыкант — работал уже над докторской диссертацией «Об аналогии мышьяковой кислоты с фосфорною в химическом и токсикологическом отношении». Тема эта очень интересовала Менделеева, и он оказался одним из активных участников диспута, на котором А. П. Бородин защищал свою диссертацию. Очень много дала Менделееву дружба с молодым химиком, военным инженером Л. Н. Шишковым — будущим создателем теории горения порохов, а в то время увлеченным исследователем химизма распада взрывчатых веществ. Добрые, приятельские отношения сложились у Менделеева также со служащим Горного департамента, специалистом по металлургии А. И. Скиндером, преподавателем Корпуса путей сообщения и одновременно лаборантом физико-математического факультета университета Э. Ф. Радловым, а также лаборантом (и будущим директором) Технологического института Н. П. Ильиным.

Ситуация в отечественной химии складывалась в некотором смысле парадоксальная: русским химикам, лишенным из-за тотальной отсталости промышленности возможности использовать свои знания и открытия для развития технологии, ничего не оставалось, кроме расширения и углубления фронта фундаментальных исследований. Оценить же полученные результаты было невозможно без мнения научного сообщества. Мысль брала на себя функции отсутствующей практики. Почти все, с кем сблизился в это время Менделеев, были энтузиастами научного общения и сотрудничества, и в скором будущем им вместе с ним суждено было стать организаторами Русского химического общества. Пока же они представляли разные научные школы, кружки и лаборатории, которых в Петербурге было довольно много. Платон Пузыревский активно участвовал в работе Минералогического общества, члены которого собирались в Горном институте и в университетском кабинете руководителя общества С. С. Куторги. Здесь читали и жарко обсуждали доклады о разведке

природных запасов России и о пользе, которую можно было бы из них извлечь. Бородин и Шишков были членами кружка профессора Медико-хирургической академии Н. Н. Зинина — пожалуй, самого представительного профессорского клуба, где часто бывали А. А. Воскресенский, Ю. Ф. Фрицше, А. Н. Энгельгардт и многие преподаватели провинциальных российских университетов. Дальновидный Воскресенский ввел своего ученика в этот ученый круг еще студентом, и Менделеев был хорошо знаком с самим Зининым и завсегдатаями собраний, проходивших в служебной лаборатории и на квартире Николая Николаевича. Кроме того, Дмитрий Иванович часто работал в частной лаборатории Н. Н. Соколова и А. Н. Энгельгардта на Галерной улице. Здесь можно было пользоваться отличным оборудованием и дорогими химикатами, что особенно привлекало малообеспеченных молодых химиков. В 1858 году Леон Шишков, ушедший от своего учителя Зинина и сосредоточившийся только па работе с взрывчатыми веществами, создал свою собственную лабораторию — ее двери также были открыты для Менделеева.

Дмитрий Иванович в то время, по всей видимости, не особенно задумывался о выборе кружка или о том, как все эти кружки объединить. И наука, о которой он так мечтал в Одессе, пока еще не стала для него главной целью. В первую очередь ему нужны были деньги на жизнь. К тому же он собирался жениться и оттого ни на минуту не мог забыть о частных уроках и статьях для «Журнала министерства народного просвещения». Времени не хватало, постоянная нагрузка и число временных поручений на факультете с каждым днем росли — то нужно было заменить на экзамене заболевшего Куторгу, то выступить в качестве оппонента на диспуте… После Одессы Менделеев выполнил лишь одну заметную работу — о сернисто-энанолевой кислоте, в которой его интересовал вопрос о различной природе кислорода в органических соединениях. Остальные замыслы были отложены. До конца лета он продолжал жить в радостном напряжении. Впереди были свадьба, заграница, захватывающая работа. Ради этого стоило не спать ночами и питаться в дешевой кухмистерской. И вдруг всё оборвалось — ему было отказано. В любви. В жизни. В счастье. Он снова один на белом свете. Идти некуда: мать умерла, институт закрыли. После обрушившейся на него тяжелейшей депрессии Менделеев три месяца старательно избегал знакомых, особенно земляков, и хотел только одного — дороги. В январе она пыла ему дарована. Университет, наконец, получил разрешение па отправку приват-доцента Дмитрия Ивановича Менделеева стипендиатом в Европу для совершенствования в науках. Нужно было только закончить семестр. В апреле он отправился дилижансом до Варшавы. Билет взял на место рядом с кучером — так дешевле, а главное, было куда девать ноги.

Глава четвертая
СТИПЕНДИАТ

Первое письмо на родину пришло в конце августа — через три с половиной месяца после отъезда. Само собой, Менделееву хотелось, чтобы в Петербурге и Сибири подзабыли и о нем, и о его сватовстве. Но главным образом дело было в заграничных впечатлениях, которые такой массой обрушились на молодого ученого, что было не до писем.

В Варшаве пересел на поезд (после жестких козел бока еще ох как долго болели, да бог с ними) и покатил по открытой во все стороны Европе, в которой поражало всё — от благословенного климата и природных красот до дешевизны жизни и доступности великолепного искусства. *«Описывать эти три месяца, проведенных за границей, нет никакой возможности. Посудите сами — в это время я объехал и погостил в следующих местах: из Варшавы в Краков и Величку, старинную столицу Польши и великолепнейшие рудники каменной соли, оттуда в Бреславль и Дрезден. Если бы хотелось что сказать, так это о Дрездене… да жаль писать об этих вещах, да в двух словах, даже и говорить-то как-то жаль — не выйдет. Затем — Лейпциг, Эрфурт, Франкфурт-на-Майне, Гейдельберг…»* Это он за собой еще в Одессе заметил: трудно в нескольких словах передать волнующие мысли и чувства. Что-то внутри заставляет высказаться со всей полнотой.

Непременно со всей полнотой. А ежели не получается — слов не хватает или времени, — то и вовсе пока не надо. Лучше отложить, успокоиться, додумать. Дождаться времени, найти слова. Потом (уже скоро) он поймет, что изъясниться полностью не получается никогда. Тогда, наверное, и лягут ему на душу — до самых последних дней — строки тютчевского «Silentium!» о неизреченности мысли:

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои —
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи, —
Любуйся ими — и молчи.

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи,
Питайся ими — и молчи.

Лишь жить в себе самом умей —
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум;
Их оглушит наружный шум,
Дневные разгонят лучи, —
Внимай их пенью — и молчи!..

Ровное, точно по расписанию, движение поезда гнало прочь не только мысли о трудностях общения, но и преследовавшее Менделеева с детства ощущение его неполного совпадения (а то и полного несовпадения) с событиями и поворотами собственного жизненного пути. Чисто анатомическое несоответствие собственного тела с отведенным ему местом в дилижансе каталось пустяковым, но закономерным событием в длинном списке мучивших с детства сдвигов и смещений. Так, видно, ныло суждено: он не был в ладу ни с пространством, ни с временем. С первым несовпадением он столкнулся в гимназии, куда его отдали совсем не вовремя; потом он не совпал с Московским и Петербургским университетами, с Главным педагогическим институтом. Даже когда его приняли в институт, во время учебы его ожидали два сдвига — сначала на курс ниже, потом на курс выше. И путаница с назначением на службу в этом ряду казалась не случайной, а вполне естественной. Далее он, по внутренним причинам, не совпал с Симферополем и Одессой. И, самое печальное, всего на несколько минут и несколько нежных слов не совпал с удивительной Софьей Каш. Теперь, спустя столько лет, можно сравнить это очевидное дрожание жизненной нити с дрожанием кончика кисти живописца, который хищно высматривает место для единственно возможного точного мазка. Но тому молодому путешественнику, еще неотделимо сродненному с болезненным началом жизни, такое сравнение в голову прийти не могло, хотя он много, очень много думал о живописи. В Дрездене Менделеев долго не мог оторваться от созерцания картин знаменитой галереи — пришлось купить и увезти с собой копии наиболее поразивших его полотен. Хорошие копии — и живописные, и фотографические — стоили дорого. Но что значат деньги, если уже знаешь, что картина или живой пейзаж могут вмиг сообщить душе ни с чем не сравнимое состояние радости, передать такое сложное ощущение, которое никаким словам не под силу? Вот ведь — мысль изреченная есть ложь, зато природная красота или настоящее художество не лгут никогда. Искусство — вот непременный союзник научного творчества. Оно

врывается в сознание еще быстрее, чем доведенное до полной и точной ясности научное знание. Художники — прирожденные искатели, поэтому общаться с ними надо не меньше, чем с коллегами-химиками. Менделеев решил, что ему это нужно будет отныне и довеку. Тут он себя не обманывал, всё предчувствовал верно. Сын Иван свидетельствует: «Отец… также дышал искусством, как и наукой, которые считал двумя сторонами одного нашего устремления к красоте, к вечной гармонии, к высшей правде…»

Чем больше молодой и полный сил Менделеев колесил по Европе, чем больше пиршествовал в одиночку, ни в ком не чувствуя нужды, чем больше насыщался красотой и свободой чужой жизни, тем чаще приходили ему в голову мысли о будущей работе, направление которой он сам себе наметил еще в Петербурге в статье «Замечание о коэффициенте капиллярности» (написал, но печатать не стал — план не предназначен для публикации, по нему работать надо). Время между тем летело: не успел оглянуться, не успел ни одной мысли до конца додумать, как добрался до самой Южной Германии. А впечатлений от того, что он видел вокруг, было столько, что голова шла кругом.

Сказать, что жизнь в тогдашней Европе резко отличалась от русской жизни, — всё равно что не сказать ничего. На самом деле это были разные планеты. Потерпев поражение в Крымской кампании, империя продолжала свою вечную войну против жестоковыйного Кавказа, беспощадно жгла аулы и бессмысленно ходила в штыки. При этом пылающие пожарами аулы были, пожалуй, самой освещенной частью державы. В столице лишь на нескольких улицах было налажено наружное освещение (на весь портик Исаакиевского собора — четыре тусклых фонарика) и только планировалось строительство водопровода (об очистке подаваемой воды пока даже не мечтали). Всю степень российской отсталости мешало осознать почти полное отсутствие связей с Западом. Иностранные торговцы если и добирались до России, то в основном с таким «наукоемким» товаром, как устрицы и канарейки. Между тем Европа в это время ликовала по поводу завершения прокладки телеграфного кабеля, соединяющего ее с Африкой, и ругала своих инженеров за неудачу при погружении «телеграфического каната» в Атлантический океан. Париж был охвачен грандиозным строительством, сиял огнями иллюминации и рекламы. В европейских газетах активно обсуждались проекты туннелей под Ла-Маншем, между Швецией и Данией, под Гибралтаром и даже под Босфором. В Англии строилось грандиозное судно «Левиафан», предназначенное для перевозки четырех с половиной тысяч пассажиров. А в «дальней Европе», в США, обсуждали проект военного судна-крепости, вмещавшего три тысячи человек с тремя тысячами пушек, конюшней на 800 лошадей и двумя маяками. За океаном уже изобрели механическую вычислительную машину, состоявшую из ящика с рядом колес, вращавшихся независимо друг от друга на поперечной оси. Через отверстие в крышке ящика можно было видеть по одной цифре с каждого колеса. В скором времени ее назовут арифмометром…

Европейский прогресс — немного показной, но тем не менее вполне добротный и настоящий — будил в путешествующих россиянах горестные раздумья о причинах российской отсталости и о том, что будет со страной после ожидаемой вскоре отмены крепостного права. Многие русские, посланные за границу или приехавшие туда на свои средства, не нашли ничего лучшего, как изводить время и силы в бесконечных спорах «о судьбах родины». Кто-то даже напускал на себя таинственный вид и намекал на близость к некоей конспиративной деятельности, смысл и цели которой не подлежат разглашению. Менделеев чувствовал бездельников сразу и объезжал такие компании стороной. Слава богу, на его пути оказалось и множество соотечественников совсем другого склада.

Сначала ему нужно было найти для себя лабораторию. В то время выпускники российских университетов выбирали обычно между французскими (главным образом, парижским) и многочисленными немецкими университетами. У Дмитрия была мысль продолжить путешествие и осесть в Париже, одно название которого заставляло быстрее биться сердце любого молодого русского; но потом он все-таки остановил свой выбор на Гейдельбергском университете, где в тот момент образовалась удивительно талантливая

русская колония, предпочтя его Берлинскому (там учился И. С. Тургенев), Геттингенскому (его как альма-матер любили многие русские химики, а Пушкин именно туда «отправил» своего Ленского), Марбургскому и Фрейбургскому (давшим образование еще Ломоносову), Боннскому, Лейпцигскому, Бранденбургскому, даже Гисенскому, где под руководством самого Либиха работали в свое время его учитель А. А. Воскресенский и Н. Н. Зинин.

В Гейдельберге той поры работала целая плеяда научных звезд первой величины — например, читал лекции гениальный физик и физиолог, математик и психолог Герман Гельмгольц, давший математическое обоснование закону сохранения энергии. Этот удивительно простой человек производил магнетическое впечатление на всех, кто его знал. Например, учившийся у него Иван Михайлович Сеченов признавался, что встреча с Гельмгольцем ввергла его в такую же бурю эмоций, как впервые увиденная Сикстинская Мадонна. Здесь, в своей лаборатории, хорошо известные в России Роберт Вильгельм Бунзен и Густав Роберт Кирхгоф вели настоящую охоту на новые, неизвестные науке элементы с помощью изобретенного ими же спектрографа (через несколько месяцев после прибытия Менделеева они откроют цезий, а вскоре после его отъезда — рубидий). Бунзен со времен своей молодости считался в ученой среде не просто талантливым химиком, но и героической личностью: во время одного из его опытов взорвался сосуд с соединением мышьяка, из-за чего он отравился ядовитыми парами и потерял выбитый осколком глаз. Только за год до приезда Менделеева в Гейдельберге перестал профессорствовать Фридрих Август Кекуле, сформулировавший главные положения теории валентности. Там же работали и очень перспективные молодые органики Эмиль Эрленмейер и Людвиг Кариус.

Но дело, похоже, было не только в сильнейшем составе профессоров-естествоиспытателей, но и в том, что по своему расположению маленький, уютный, нежащийся в своих живописных окрестностях Гейдельберг никак не был похож на конечный пункт путешествия — наоборот, из него расходились новые, захватывающие дух дороги. Совсем рядом — знаменитые курорты Баден и Висбаден, старинные города Мангейм и Фрейбург, а что касается дальних путей (хотя какие они дальние для человека, подростком проехавшего от Сибири до Москвы и Петербурга?), то от Гейдельберга начинался хорошо укатанный путь в Немецкие и Швейцарские Альпы и далее в Италию. Сев на поезд на гейдельбергском вокзале, можно было доехать до Келя, а оттуда дилижансом добраться до Парижа. Наконец, еще одна дорога — по Рейну — вела в Северную Германию, а там легко было доплыть и до Англии. Впрочем, в Англии жил Герцен, и потому все русские, пересекавшие Ла-Манш, очень сильно рисковали. В пользу того, что именно «стартовое» положение Гейдельберга во многом подтолкнуло Менделеева к решению здесь остановиться, говорит тот факт, что отсюда он совершит 12 поездок продолжительностью от нескольких до сорока дней. Всего за 22 месяца заграничной командировки Дмитрий Иванович почти полгода истратит на путешествия. А сколько времени он отдаст прогулкам по склонам окрестных зеленых гор и холмов, по развалинам увитых плющом средневековых замков, теперь уже не сосчитать. Вволю.

Сразу приступить к исследованиям Менделееву не удалось. Он здорово соскучился по работе, но в лаборатории Бунзена его ожидало разочарование: *«…Бунзен был мил, как и всегда, отыскалось и место для меня в его лаборатории — да не мог я там работать… Кариус… так вонял своими сернистыми продуктами, что у меня (а мне пришлось стоять около его) голова и грудь заболели на другой же день. Потом я увидел, что ничего-то мне там необходимого нет в этой лаборатории, даже весы и те куды как плоховаты, а главное, нет чистого, покойного уголка, где можно было бы заниматься с такими деликатными опытами, как капиллярные, работать с такими точными инструментами, как катетометр. Все интересы этой лаборатории, увы, самые школьные: масса работающих — начинающие. Я и решился устроить всё у себя дома…»* Решение было необычное и весьма разорительное: малоимущему стипендиату предстояло не только снять достаточно просторную квартиру, оборудованную газовой горелкой, но и обзавестись очень дорогим оборудованием и химикатами; однако, приняв это решение, он не пожалел ни времени, ни

денег.

В середине лета неугомонный русский магистр вновь отправляется в дорогу. Сначала он едет в Бонн к знаменитому конструктору физического оборудования и «стеклянных дел маэстро» Генриху Гейслеру: *«Я у него поучился работать со стеклом, он сделал для меня около 20 разнообразнейших термометров. От него я получил неподражаемо хорошие приборы для определения удельного веса».* Из Бонна Менделеев совершает поездку во Францию. *«Для покупки приборов, которых не мог здесь достать (а я здесь почти ничего не мог иметь), отправился в Париж и там разорился, приобрел много хорошего. Главное мое приобретение — чудный, изящный и полезный для меня катетометр от Перро. Он стоит около 220 рублей. Это приобретение для меня весьма полезно — не знаю, как бы стал обходиться без него. Другие вещи: весы, насос (довольно большой насос с краном Бабине, с двумя цилиндрами, двумя столиками), манометр (65 рублей), разные мелочи сделал мне Саллерон (Rue du Font de Lodi, № 1), механик, которого можно порекомендовать каждому. Он, например, сделал мне прибор для калибрирования с микроскопом и микрометром за 150 франков — другие хотели вдвое. Главное то, что всё было получено мной в течение месяца, проведенного в Париже…»*

Саллерон, знаменитый механик и изготовитель физических приборов, был известен как превосходный мастер и очень мнительный, самолюбивый человек. Несмотря на то, что на него работало несколько способных механиков, он продолжал сам неустанно трудиться, изобретая всё новые необычные приборы. Если его работой были недовольны (а это в большинстве случаев могло произойти только по невежеству заказчика), он смертельно оскорблялся. Менделеев забраковал все изготовленные Саллероном разновесы к весам, но вместо скандала получил почтительное уважение и тесную дружбу с мастером на долгие годы. Опытнейший француз до знакомства с Менделеевым не мог представить, что кому-то понадобится взвешивать даже не мельчайшие частицы жидкости, а ту силу, с которой эти частицы держатся друг за друга. Молодой русский на его глазах привязал к одному плечу весов тончайшую пластинку и осторожно положил ее на поверхность воды. Потом он уравновесил другое плечо гирьками и начал добавлять к ним пластинки, пока их вес не оторвал первую пластинку от жидкости… Необычный заказчик собирался исследовать силу сцепления молекул! Еще больше Саллерон удивился, когда Менделеев показал ему, что сила поверхностного натяжения обычной воды значительно сильнее, чем у вязкого масла. Действительно, обижаться было нечего — для таких исследований нужны были разновесы невиданного класса точности. И Саллерон их изготовил.

«В это время, — писал Менделеев, — я сошелся с Бекетовым. Это такой милый человек, такая славная голова, что, право, я мало знаю таких. Он познакомил меня со многими…» Ученик Зинина Николай Николаевич Бекетов, в ту пору профессор Харьковского университета, был увлечен физикохимией и путешествовал по Европе, слушая лекции Ф. Вёлера, Р. Бунзена, А. Сент-Клер-Девилля и других знаменитостей. Николай принадлежал к семейству, которому было суждено в недалеком будущем дать России Александра Блока. Личная и творческая судьба этого поэта будет, как известно, неразрывно связана с дочерью нашего, пока еще холостого и бездетного, стипендиата. А вот самому Николаю Николаевичу в дальнейшем предстояло сыграть в судьбе Менделеева скорее отрицательную роль. Во всяком случае, в более поздние годы Дмитрий Иванович таких восторженных оценок Николаю Бекетову уже не давал. Но тогда, в Париже, они легко подружились. Бекетов познакомил Менделеева с только что занявшим кафедру органической химии в *Ecole sup é rieure de pharmacie* Пьером Эженом Марселеном Бертло, который тоже очень понравился Менделееву *«простотой своей, своими оригинальными взглядами на вещи, своей начитанностью».* Бертло станет автором открытия, что большинство органических соединений может быть получено синтетически, при помощи света, тепла, электричества и других известных агентов, а не при содействии таинственной «жизненной силы», как думали прежде. Он прославится также своей государственной деятельностью (будет министром просвещения Франции) и исследованием старинных древнегреческих манускриптов,

посвященных алхимии.

У Менделеева в Париже состоялось и несколько других интересных знакомств. Но самым ярким оказалось впечатление из людей из парижской толпы. Каким бы он ни был умеренным в своих политических взглядах, как ни был далек от революционной патетики, но тогда, жарким летом 1859 года, написал в письме: *«…блузники, рабочие Парижа — это для меня было новое племя, интересное во всех отношениях. Эти люди, заставившие дрожать королей и выгонявшие власть за властью, — поразительны: честны, читают много, изящны даже, поговорят о всем, живут настоящим днем — это истинные люди жизни, понимаешь, что встрепенутся толпы таких людей, так хоть кому будет жутко…»* Попадись эти строки на глаза его бывшему директору и «отцу родному» Ивану Ивановичу Давыдову — мигом отозвали бы непутевого магистра обратно в Россию.

Российские власти совсем не зря демонизировали парижский воздух. Слишком много православного народа, начитавшись Вольтера («Отечество возможно только под добрым королем, под дурным же оно невозможно») и повинуясь внутреннему компасу, нашло здесь свою новую родину. Впрочем, одним из первых в XIX веке сделал попытку эмигрировать человек, уж точно Вольтера не читавший. Участник войны против Наполеона А. М. Баранович в своих записках «Русские солдаты во Франции в 1813–1814 гг.» рассказывает историю о русском солдате, надумавшем переменить подданство: «Полковника Засядко денщик, довольно смышленый, вздумал из-под ведомства военного освободиться и жить по-французски, пользоваться свободою, убеждая себя, что в настоящее время он не находится в России, под грозою, а в свободной земле, Франции; и в этом намерении совещевался с товарищами, как поступить в этом деле. И не ожидая их ответа, сам начал действовать, и, пришед к полковнику, сказал: «Отпустите меня! Я вам долее не слуга!» — «Как? Ты денщик: должен служить, как тебя воинский устав обязует!» — «Нет, г. полковник, теперь мы не в России, а в вольной земле, Франции, следовательно, должны ею (свободой) пользоваться, а не принужденностью!» …Об этой случайности полковник Засядко донес генералу Полторацкому, а тот, выслушав, просил объяснить эту случайность рапортом. Получив оный, генерал Полторацкий тотчас нарядил судную комиссию и денщика отдал под военный суд. Комиссия не замедлила решением его судьбы — обвинила его в дерзком посягательстве сделаться свободным французом и в подговоре своих товарищей к сему в противность воинских законов, и потому мнением своим положила: его, денщика, прогнать через 500 человек один раз шпицрутенами, что было исполнено в виду французов, дивившихся нашей дисциплинарии. И этим улучшилась субординация».

Бунзен не имел ничего против того, чтобы вновь прибывший русский работал в собственной лаборатории. Почему нет? Этот ершистый и самолюбивый магистр волен делать что хочет. Если Менделеев желает, то он готов свести научное руководство его работой к необременительным контактам по желанию стажера. Тот всё же был готовым химиком, в отличие от большинства съехавшихся к нему в лабораторию молодых людей. Конечно, поверхностное натяжение — это не совсем химия, точнее — совсем не химия, но наука границ не знает. И потом, Менделеев — ученик Воскресенского; возможно, они, учитель и ученик, спланировали эту работу в качестве фрагмента большого исследования. Ну и помоги им Бог; ему же, Бунзену, будет во всяком случае небезынтересно узнать, чтó этот магистр нащупает в уму непостижимом межмолекулярном пространстве. На самом деле Воскресенский никакого участия в выборе темы не принимал, мало того, он всё время призывал ученика отказаться от бесплодной, по его мнению, затеи. Тогдашних химиков больше всего интересовала способность элементов к соединению и образованию новых веществ. Что же касается процессов среди неделимых атомов, какое может быть до них дело настоящему химику?

Тревогу Воскресенского разделяли не только многие друзья Менделеева, но и высокое начальство. На запрос попечителя Петербургского учебного округа упрямый стипендиат (согласно сохранившемуся черновику) ответил: *«Главный предмет моих занятий есть физическая химия. Первым предметом для занятий должно было по многим причинам*

выбрать определение сцеплений химических соединений, т. е. заняться капиллярностью, плотностью и расширением тел». Должно было, и всё тут. Менделеева невозможно было уговорить, он считал, что ученый должен руководствоваться единственно собственным выбором. Недаром через много лет, с треском выставив за дверь какого-то доцента, пришедшего просить тему научной работы, он в ярости от подобного подхода к научному творчеству кричал: «Дмитрием Ивановичем никто никогда не руководил!»

На 15 тысяч жителей Гейдельберга приходилось три тысячи студентов, 500 из которых были иностранцами. Русских стипендиатов было человек семьдесят (настоящий наплыв начнется через пару лет, когда десять процентов всех гейдельбергских студентов будут говорить по-русски), и селились они обычно в недорогом «Баденском дворе» или, еще чаще, в пансионе, который содержали бывший преподаватель древнегреческого языка Московского университета Карл Гофман и его радушная, разбитная супруга. Карл Иваныч был человеком непростым, и биография у него была непростая — в свое время он был выслан из России самим императором Николаем I за сбор средств… на нужды германского флота, — но к России и русским тянулся вполне искренне. Гофман числился приват-доцентом Гейдельбергского университета, но все силы отдавал исключительно созданию русской атмосферы в своем пансионе. Здесь старались до мелочей потрафить постояльцам — даже чай подавали не в чашках по-европейски, а в «русских» стаканах с подстаканниками. Члены русского землячества предпочитали держаться своим тесным кругом и, хотя местные жители относились к ним с симпатией, а профессора выделяли за жажду знаний, внешне демонстрировали отстраненность и даже надменность по отношению к окружающей жизни. Не вдаваясь в изучение корней этого явления, практичные владельцы уличных заведений охотно шли в этом смысле навстречу странным гостям. Русские встречались в «своих» кофейнях и ресторанчиках, таких как «Zum Tűrkischen Kaiser» или «Frau Helwerth», где две комнаты были специально отведены для них, а позднее даже открыта русская библиотека с читальней. Целую улицу, ныне именуемую *Friedrich-Ebert-Anlage* , в середине XIX столетия горожане называли не иначе как русской.

Если не считать нескольких скучающих аристократов, русская колония состояла из весьма незаурядных, а зачастую просто выдающихся людей, искренне преданных науке. Но, даже учитывая «звездный» состав стипендиатов из России, можно сказать, что к Менделееву здесь «примагнитились» лучшие из лучших. Вскоре после возвращения из Парижа он сошелся с Иваном Михайловичем Сеченовым: *«Он, во-первых, бывал на своем веку во многих местах, потому есть ему что рассказать; во-вторых, он был сперва офицером, потом пошел в университет — следовательно, человек с характером. А главное, он человек виду нисколько не обещающего, но в самом деле человек оригинальный, теплый, хоть и покажется подчас вовсе не таким… На этом человеке можно отчасти узнавать вкусы людей — к внешности они привязаны, она ли их руководит, или же они любят простоту, прямоту, теплоту души, а не мягкость, увы, столь часто вредную…»* Сеченов очень успешно занимался у Эрленмейера — изучал физиологическую химию и исследовал газы в крови животных. Зимой в Гейдельберг приехал хорошо знакомый по Петербургу Александр Порфирьевич Бородин, талантливый химик, тщательно скрывавший свои уже профессиональные занятия музыкой, выдавая их за любительские забавы. Валериан Савич, прибывший значительно раньше, уже успел поработать у Кекуле и Эрленмейера, а теперь занимался исследованиями под руководством Шарля Адольфа Вюрца в Париже, но оставался членом гейдельбергского кружка химиков. *«Этот милый человек с страшными неудачами в работах, то у него разорвет трубку с дорогим препаратом… то у него сожгут, то получит отрицательный результат. Теперь дело идет у него, кажется, лучше. Он получает теперь сочетания одно-и двуосновных кислот, реагируя хлор-соединения первых на соли вторых…»* В число постоянных членов кружка входил также молодой естественник В. И. Олевинский. Кроме того, в Гейдельберг часто наезжали питерские друзья Менделеева И. А. Вышнеградский и Н. П. Ильин и многие из тех, кто учился и стажировался

в это время в Европе: врачи С. П. Боткин, Э. А. Юнге, Л. А. Беккерс, химики П. П. Алексеев, А. М. Бутлеров, К. И. Лисенко, биологи А. О. Ковалевский, Л. С. Ценковский, А. С. Фаминцын и другие, в будущем очень известные ученые.

Бородин писал матери: «Менделеев сделался, конечно, главою кружка, тем более что, несмотря на молодые годы (он моложе меня летами), был готовым химиком, а мы — учениками…» Можно добавить, что Александр Порфирьевич был старше не только «летами», но и «степенями», поскольку уже являлся доктором медицины. Еще недавно не очень общительный и довольно зажатый человек, Менделеев становится бесспорным лидером стихийно сложившегося, но от этого не ставшего менее блестящим, научного сообщества. И этот «мгновенный» переход в иное качество будет в скором времени почти зеркально отпечатан в характере его первого научного открытия.

Авторы некоторых публикаций к тем, кто составлял основу менделеевского кружка, добавляют также Мечникова, который якобы примкнул «позже». Илья Ильич Мечников, с которым Менделеев, Сеченов и Бородин в дальнейшем были связаны тесной дружбой, был гейдельбержцем скорее по духу. В Гейдельберге он мог появиться (да и то проездом) не раньше 1864 года, когда, будучи восемнадцатилетним исследователем (он поступил в университет в 16 лет и окончил курс за два года), бросил резать круглых червей-нематод на острове Гельголанд, свернул свою самостийную экспедицию и, собрав результаты, отправился в Гисен к профессору Лейкарту. Впрочем, надежды на то, что Лейкарт допустит в свою лабораторию никому не известного нищего юношу, было мало. Деньги у него давно закончились, очень хотелось есть — просто качало от голода, но еще больше хотелось поработать с настоящими приборами, чтобы удостовериться в своем открытии — эта североморская нематода чередовала формы размножения! Более того, размножение круглых червей зависело от образа жизни: поколения-паразиты были гермафродитами, а особи, свободно живущие вне организма хозяина, оказались разнополыми. Тогда именно он и встретился с Пироговым, который из Гейдельберга опекал осевших в Европе русских стипендиатов (или не встретился, а через кого-то попросил), и Николай Иванович всё устроил. Петербургские столоначальники, наверное, даже не поняли, что никто этого мальчишку в Европу не отправлял, не добавлял к официальной группе, посланной под руководством Пирогова для «приуготовления»; решили, что сами обсчитались, и дали стипендию. А знакомство Мечникова с менделеевским кружком, видимо, состоялось уже заочно, через оставшихся в Германии русских студентов. Как бы там ни было — спустя несколько лет он был признан старшими товарищами истинным гейдельбержцем.

Если быть совершенно точным, то науку, которой Менделеев занимался в Гейдельберге, следует именовать не физической химией, а химической физикой. Теперь она так и называется и занимается исследованием всех ступеней химического превращения, имея на вооружении оборудование, дающее возможность соревноваться со скоростью этих превращений. У Менделеева же был очень простой, хотя и тщательно подготовленный инструментарий. В опытах, подобных тем, которыми он удивил Саллерона, ученый испытывал жидкость в ее естественном и самом сильном с точки зрения сцепления молекул состоянии. Результат был нулевой — момент отрыва пластинки не поддавался анализу. Тогда, в надежде все-таки уловить какие-то неожиданные и тайные межмолекулярные механизмы, он начал искать способ ослабить силу сцепления молекул и нашел его в ускорении хаотического теплового движения внутри капилляра с жидкостью. Теперь главным прибором стала тонкая стеклянная трубка с волосным отверстием внутри. Сама по себе трубка являет собой простейший измеритель плотности жидкости: если опустить ее конец в воду, то по смоченному каналу жидкость сама собой (молекула за молекулой, подтягиваясь друг за дружку и за молекулы на стенках канала) поднимется на определенную высоту — та жидкость, в которой сила сцепления сильнее, естественно, поднимется выше, чем жидкость «слабая». Но если жидкость в капилляре нагревать, то движение в ней ускорится, несмотря на разреженное состояние… Молодой ученый искал связь между

температурой нагревания, скоростью подъема и уровнем жидкости, как завороженный всматривался в капилляр, терпеливо перенося «безответность» испытываемого препарата.

В лаборатории, где он был и исследователем, и лаборантом, и уборщиком, Менделеев упорно, день за днем пытался проникнуть за видимую грань материи и уже, казалось, чувствовал ее без всяких приборов — почти на ощупь… Тетради, в которые он аккуратнейшим образом вносил результаты опытов, исписывались одна за одной, однако долгое время дело обстояло так, будто он хотел добиться не открытия секрета поверхностного натяжения, а закрытия избранной области исследования. Но Менделеев и не думал унывать. У него был характер человека, идущего к пониманию сути вещей, и гейдельбергская удача просто ждала своего часа. А пока, всего через месяц после возвращения из Парижа, он снова собрался в путешествие, о чем сообщил своей постоянной корреспондентке: *«Вы поймете, Феозва Никитична, что письмо ваше… заставило меня, прежде всего, вспомнить о своей великой забывчивости. Если бы таким образом поступил кто-нибудь другой, а не Вы, я принял бы это письмо за упрек, но Вам известна моя забывчивость, и Вы тоже знаете, что я не сомневаюсь в Вашей милой снисходительности. Беда одна — хотелось бы написать Вам побольше, да сегодня еду в Швейцарию, и знаете зачем — отдыхать. До сих пор поработал довольно, время же жаркое, а отсюда так это близко — часов 5 езды…»*

В новое путешествие Менделеев отправился вместе с Бородиным, который в одном из своих писем рассказал: «В осенние каникулы 1859 года мы с Дм. Ив. вдвоем отправились гулять в Швейцарию, имея в виду проделать всё, что предписывалось тогда настоящим любителям Швейцарии, т. е. взобраться на Риги, ночевать в гостинице, полюбоваться Alpengrűhen'ом, прокатиться по Фирвальштетскому озеру до Флюэльна и пройти пешком весь Oberland. Программа была нами в точности исполнена…» Ровно о том же самом, но в совершенно другой тональности, в каждой строке восторгаясь и отчаиваясь от несказанности увиденного, красочно и многословно напишет своему милому другу Менделеев:

«Вы не поверите, Феозва Никитична, что я с великим страхом берусь за почтовую бумагу. Видел так много, наслаждение так полно и невыразимо, нахожусь теперь в таком настроении, что, право, боюсь — или ничего не скажу, или скажу уже так, как того нет на самом деле, притом только что написал письмо своим в Сибирь, картины только что промелькнули перед моими глазами. Только не ждите, пожалуйста, чтобы я вам объяснил, почему и для чего бродят по горам пешком, по камням, снегу и в грязи, куча путешественников, изнеженные англичанки, такие барыни, которые так и хотят сказать республиканской прислуге русскую нотацию. Чего они, все мы ищем там, отчего бросают последние деньги немецкие студенты, чтобы побродить здесь, отчего два дня в горах заменят годы, пополнят годы воспоминаниями, знает, вероятно, много узнавший Гончаров, а мне, право, непонятно, что за причина какого-то полного чувства от одного момента. Да, именно, достаточно одного момента, как первый взгляд на пирамиду Веттергорна, представившуюся, когда мы поднимались из Мейрингена на Шейдек. Эта снеговая вершина просто-напросто точно острая крыша, покрытая снегом. Мы лезем на гору вышиной с версту, справа скачет Beichenbach [12]*, скалистая гора поросла елями, усталый отираешь пот и вдруг между деревьями видишь эту пирамиду, блестящую, отражающую свет. Кажется, простая штука, а нет, отчего-то так и охватит всего чем-то здоровым, пропадает усталость, не забудешь этой минуты, рад будешь десять верст лезть, чтобы один раз испытать то же. А отчего — я вам не скажу. Не скажу не потому, что не хочу, нет, оттого, что сам не знаю, и выдумать не могу.*

Хорошо писать о том, что выдумал, что сознаешь, а о таких моментах куда как неловко писать, так и коробит всего и чувствуешь всё, что неладно пишет перо. Хотите разве знать маршрут — ну да Бог с ним, был в Швейцарии в таких-то и таких-то

---

[12] Рейхенбахский водопад. *(Прим. ред.)*

кантонах, на Чертовом мосту дождь застал, на Фурке снег, на Vierwaldstättersee [13] *солнце спекло, на Vengrenalp дождь до костей промочил, в долине Lűtschine ехал в повозке после 7 дней в горах. Где нельзя было ехать, надо было идти пешком или, что гораздо хуже, верхом и т. п. Едва ли так можно писать, если есть что-нибудь более высокое. Напишешь, так чувствуешь, словно провалилось что-то, точно оскорбил кого-то. Право, это всё так неясно, как очерки гор, когда вы окружены облаками или они текут под вами. Эти переходы от романтических, до смешного сладких, зелено-синих озер к черным, фисташково-зеленым и серым скалам, к мрачным верхушкам гор (Hörne, как их зовут здесь, — к рогам), к чистым снеговым вершинам, подобным… той, которая красуется из-за 25 верст в моем окне (это здешняя красавица, Молодая жена — Jungfrau, версты 4 вышиной), эти скачущие — смейтесь, пожалуй, что я выражаюсь так книжно, — реки, эти радужные массы падающих вод, быстрые переходы от снеговых мест к долинам, где виноград продают по 3 коп. за фунт… Просишь только одного — пускай не улетит воспоминание об них, оно может многое сделать, много скрасить нехороших картин…*

Вероятно, Вы еще в институте читали Карамзина путешествие, смешно, вероятно, было, как писал о пастушках, — ну, здесь поверил, что можно еще написать сладчайшую идиллию. Сюда бы поселил я Штольца с женой — ну, дней пять, я думаю, и она довольна бы осталась, — ну, а потом, конечно, подавай ей еще что-нибудь. Я, впрочем, за нее в этом случае. Не раз мне приходили, помните Вы, вероятно, стихи:

Когда б не смутное томленье
Чего-то жаждущей души,
Я здесь остался б — наслажденье
Вкушать в неведомой глуши,
Забыв и т. д.

Да именно когда б, а теперь так вот бросаю Интерлакен и вид на Молодую жену и еду в Гейдельберг, надо работать. Без работы — право, иногда такая чепуха в голову лезет — не дай бог — обломовщина просто…»

В сентябре интенсивность опытов, которые ставил Менделеев, достигает предела. Закончив исследование плотности ртути, он начинает определять высоту подъема разных жидкостей, включая чистую воду, в капиллярных трубках и делает расчет высоты их мениска.[14] Он наблюдает за расширением воды при разных температурах, измеряет ее плотность. По результатам изучения плотности разных видов спиртов он составляет таблицу и тут же переходит к исследованию поверхностного натяжения органических кислот — масляной, уксусной и валериановой… Менделеев делает расчеты, чертит таблицы, пишет статьи, которые сразу же идут в печать в Петербурге в «Химическом журнале» Н. Соколова и А. Энгельгардта. Но материала для понимания феномена силы взаимодействия частиц у него всё еще недостаточно. А без этого магистр Менделеев не может найти полного объяснения того, что есть химические свойства вещества. Одних только размеров атома и расположения частиц ему для этого недостаточно. В комментарии к этому периоду жизни ученого авторы «Летописи жизни и деятельности Д. И. Менделеева» пишут: «Идея Менделеева о существовании некоторой функции поверхностного натяжения, тесно связанной с составом и структурой веществ, представляется очень важной… Однако в середине XIX века данных для установления этого параметра было еще недостаточно…»

Другие специалисты высказывают мнение, что, несмотря на явную преждевременность этого открытия, Менделеев, будь у него больше времени, все-таки мог бы добраться до него,

---

[13] Озеро Четырех Кантонов. *(Прим. ред.)*

[14] Здесь: вогнутая или выпуклая кривизна поверхности жидкости в узкой трубке. *(Прим. ред.)*

а, может быть, и до чего-то еще более важного. Всю осень и зиму он неустанно, серия за серией, продолжает ставить опыты, не видя в ситуации ни малейшего повода к пессимизму: *«Вопросы, конечно, такие, что, может, не по моим силам, но если не решить их хочу я, по крайней мере, вывести на свет и собрать данные, для решения их необходимые. Цель моя теперь определилась ясно, беда в средствах… Стану делать, что смогу…»*

Ранней весной 1860 года его заинтересовал факт полного и мгновенного исчезновения жидкости в вертикально поставленной запаянной стеклянной трубке. Сначала он отметил обычное наползание краев мениска на стенки трубки, отчего он приобретал вогнутую форму. Если подвести к трубке источник тепла, то, поскольку силы сцепления ослабевают, мениск начинает выравниваться, становится всё более плоским и вдруг… исчезает вместе с жидкостью. Сцепление доходит до нуля, и жидкость превращается в газ. Это явление уже наблюдалось химиками, которые не придавали ему особого значения. Менделеев проделывает этот опыт с водой, эфиром и хлористым кремнием. Он отмечает свою для каждого вещества точку перехода из жидкого состояния в газообразное и подтверждает ее при обратном переходе — от газа к жидкости. Таким образом, был открыт факт существования для каждой жидкости особой «абсолютной температуры кипения». *«В настоящее время кончил работу о расширении Жидкостей выше их кипения, при высоких давлениях, —* сообщает Менделеев. *— Мне совершенно неожиданно удалось в ней достичь общего результата, посредством которого этот совершенно до сих пор неизвестный вопрос можно считать решенным».* Сообщения об открытии «критической температуры» (так исследователь назвал эту неизменную температурную точку) были разосланы и сразу же опубликованы не только в петербургских «Химическом журнале», «Горном журнале» и «Бюллетенях Академии наук», но и в издании Парижской академии наук, а также в «Анналах», издаваемых Либихом в Гисене. Извлечения из его статей напечатали также химические журналы Вюрца и Эрленмейера. Следует сказать, что Менделеев, гордившийся произведенным открытием, не дал себе в ту пору труда до конца его осмыслить, понять, что оно охватывает абсолютно все жидкости и газы, включая азот, кислород и углекислый газ. Эти так называемые постоянные газы никакими усилиями экспериментаторов не получалось превратить в жидкости. В лучшем случае удавалось получить лишь сжатый газ — и не более. Открытие Менделеева отчетливо подсказывало, что это неудача может быть устранена доведением газов-упрямцев до температуры абсолютного кипения. Но Менделеев тогда больше думал о зависимости между сцеплением и коэффициентом расширения тел. Суть его экспериментов оставалась прежней — день за днем, серия за серией… Что же касается остальных химиков, то они услышали эту подсказку лет через десять.

Итак, открытие было воспринято автором без ажиотажа, работа продолжалась в прежнем ритме и направлении. Не было никакого изменения и в гейдельбергской жизни нашего героя. Еще в октябре 1869 года друг Менделеева Валериан Савич решил сбежать от преследовавших его научных неудач в Париж, в лабораторию Шарля Адольфа Вюрца. Дмитрий Иванович засобирался было за ним, но оказалось, что у него накоплен такой запас оборудования и химикатов, что через таможню без огромной пошлины ему было не перебраться. От переезда пришлось отказаться, но желание снова увидеть Париж не прошло.

В сочельник под 1860 год компания в составе Менделеева, Сеченова и Бородина отправилась кутить в столицу мира. У Менделеева было, конечно, и дело в Париже — нужно было познакомиться с Вюрцем и главным авторитетом среди органиков Жаном Батистом Дюма; но главным образом друзья, конечно, хотели встряхнуться, гульнуть по-русски. В путь они выступили довольно живописной группой, главной достопримечательностью которой был облаченный в большую черную шубу и измученный сильной ногтоедой Сеченов. Боль и бессонница, одолевшие бедного стипендиата, сделали его предметом жалости всей русской колонии. Рецепты облегчения страданий, причиняемых нагноением, давались самые разные, включая совет прикладывать к пальцу сметану с пухом, однако болящий предпочел пьянку в Париже. За рейнским мостом, на французской заставе у пассажиров дилижанса собрали паспорта и унесли на визирование. А когда чиновник принес

их обратно и стал выкликать пассажиров по фамилиям, случился казус: французский таможенник никак не мог понять, почему этот больной турок в шубе откликается на русскую фамилию и тянет руку за чужим паспортом.

Кое-как доехав до Парижа, страдалец начал отводить душу. В «Автобиографических заметках» Сеченов пишет: «Никогда за всю мою жизнь я не кутил так, как в тот раз в Париже. Первую неделю, а то и более, нигде не был, кроме как в заведениях вроде тогдашней *Closerie de Lilas* , где шел дым коромыслом, в театрах с ужинами после представлений, и, конечно, побывал на маскарадном балу большой оперы да еще с конфетами и кармане для угощения танцующих бебе, испанок, баядерок и т. п. Дошло до того, что самому стало тошно, и я угомонился, когда в кармане не осталось и половины привезенного богатства». Под «богатством» следует понимать наследство, полученное Сеченовым после смерти матери, — шесть тысяч рублей, деньги огромные (ровно эту сумму, потраченную на учебу и путешествие по Европе, он вернет в 1905 году, незадолго до своей кончины, крестьянам матушкиной деревни Теплый Стан). Естественно, Сеченову сопутствовали его товарищи, включая присоединившегося уже на месте Валериана Савича. Сделали попытку привлечь к общему веселью и находившегося в Париже С. П. Боткина, но тот отказался — у него только что родилась двойня и он не хотел огорчать жену. (Среди елочных огней Парижа счастливый отец, слава богу, не мог знать о судьбе одного из своих новорожденных сыновей, нареченного Евгением, — будущего лейб-медика, добровольно разделившего участь последнего в России царского семейства.)

Дмитрий Иванович до самой старости хранил память об этом Рождестве. Даже в следующем веке он будет рассказывать молодым коллегам по Палате мер и весов эпизод этого веселья: *«Приехавши в Париж, мы захотели хорошенько встряхнуться. Наняли в одном ресторане зал в два света и учинили попойку. Веселье у нас шло — прямо дым коромыслом».* Но удивительно, что, несмотря на столь «активный» отдых, Менделеев не только свел знакомство и с Вюрцем, и с самим Дюма, но и произвел на них наилучшее впечатление. 2 января Менделеев и Сеченов бодро присутствовали на заседании Парижской академии наук, где Ж. Б. Дюма лично представлял работу Дмитрия Ивановича «О молекулярном сцеплении некоторых органических жидкостей». Из Парижа Менделеев вернулся в превосходном настроении, нагруженный новыми приборами и репродукциями картин из Лувра.

Приключения, связанные с тем, что кого-то из веселых друзей принимали за совсем другого человека или превратно понимали, случались довольно часто. Однажды поезд, в котором они ехали по Италии, был остановлен австрийцами, которые искали кого-то из руководителей местного освободительного движения. Началась строгая проверка. Когда очередь дошла до Менделеева с Бородиным, их немедленно задержали и отвели в особое помещение на станции. *«Почему, зачем,* — вспоминал потом Менделеев, — *мы ничего не понимали. Меня оставили в покое, а Бородину велели раздеться донага. Не предвидя ничего серьезного, Александр Порфирьевич быстро разделся да еще ногами этакое антраша выкинул. Его подробно осмотрели, и потом нас отпустили. Сели мы в вагон. Только что переехали границу, как ехавшие с нами итальянцы бросились к нам, жали руки, за что-то благодарили, стали угощать вином. Мы сперва не понимали, в чем дело. Оказалось, что Бородин был похож на одного политического деятеля итальянца, за которым усиленно гонялись австрияки. А. П. отвлек их внимание, и этот итальянец, ехавший в том же вагоне, благополучно избег ареста».*

А вот забавные происшествия, в центре которых оказывался Менделеев, были обычно связаны с дамами. Одно случилось в вагоне, который вез гейдельбергскую публику в Мангейм для посещения тамошнего театра. Менделеев и пятеро его русских друзей вошли первыми и заняли места в самом дальнем углу, где сразу собрались играть в карты. Вагон почти заполнился, когда в него вошел почтенный профессор медицины Фридрейх с супругой. Он огляделся и, не найдя места лучше, чем возле русской компании, усадил на него свою спутницу, а сам пошел искать свободное место для себя. Как раз в это время

Менделеев крутил себе папироску. Увидев севшую рядом даму, он приостановил свое занятие и обратился к ней за разрешением закурить. После первых же его слов профессорша покраснела, испуганно вскочила с места и убежала. Всю дорогу ни она, ни сам Фридрейх не смотрели в сторону русских — было очевидно, что пара смертельно оскорблена. Русская компания, заранее предвидя упреки в грубости и невежестве, приуныла, хотя никто ничего не понимал. Особенно переживал Савич, лично знавший профессора и даже лечившийся у него. Ему и поручили явиться к Фридрейху с извинениями. Когда Савич пришел к профессору домой, тот демонстративно повернулся к визитеру спиной. Пришлось Савичу рассказывать, как всё было, доктору в затылок. Вскоре Фридрейх зашелся в таком хохоте, что у бедного Савича сразу отлегло от сердца. Оказывается, даме послышалось, что Менделеев пригласил ее в мужскую компанию играть в карты — такое предложение расценивалось в те времена как абсолютно непристойное. Все-таки плохо учился Дмитрий Иванович иностранным языкам. Коллеги-ученые его, конечно, понимали, а тут дама… Дамам ведь слышатся совсем иные глаголы, да и ценят они не столько смысл, сколько политес.

Впрочем, женщины относились к молодому Менделееву вполне благосклонно. Друзья вспоминали, что однажды во время прогулки большой компанией по окрестным горам некая дама, возбужденная страхом высоты и прочими обстоятельствами, довольно долго вскрикивала и закатывала глаза, а затем, видимо, сделав нужный выбор, рухнула именно в его объятия, пребывание в коих совершенно избавило ее от приступов паники. Пожалуй, самый смешной случай произошел на каком-то костюмированном празднике, когда Дмитрий Иванович был сильно очарован одной прекрасной маской. Он безоглядно и напропалую волочился за ней весь вечер, чем до колик насмешил всех своих знакомых, поскольку под маской скрывалась не красотка, а прожженный шутник и добрый его приятель Эрленмейер.

Наверное, пора сказать, что отношения Менделеева с женщинами уже не ограничивались дорожными Казусами и юношескими приключениями. Напору пылкого, если не сказать распаленного, русского стипендиата с удовольствием уступали не только гейдельбергские прачки и белошвейки, но и более изысканные дамы. Роман с одной из них даже имел последствия. Речь идет о немецкой провинциальной актрисе Агнессе Фойхтман, по мнению одного (точнее, одной) из сегодняшних авторов, женщине «огненного темперамента и змеиной хитрости». Их отношения сопровождались страданиями Менделеева по поводу ветреного характера актрисы, беготней за пей по тихим немецким городкам, рвущими душу скандалами, бурными примирениями и новыми сценами ревности. С этого времени он по уши погряз в долгах (слава богу, друзья-заимодавцы всё понимали и не торопили его с возвратом денег). Страсти Менделееву хватило ненадолго, но Агнесса родила дочь Розамунду, отцом которой назвала Дмитрия. История эта, послужившая причиной тяжелого настроения и болезненного состояния Менделеева ранней весной 1860 года, сегодня представляется довольно запутанной. Сам он девочку не видел, поскольку родилась она после его отъезда, и в своем отцовстве сильно сомневался. Друзья, по его просьбе проведывавшие «Фойхтманшу», называли новорожденную милым ребенком, а ее мать — ведьмой и советовали с ней не церемониться. Вскоре Агнесса вместе с девочкой уехала из Гейдельберга. Менделеев, считавший эту связь «ошибкой», всё же долгие годы посылал деньги на воспитание Розамунды — вплоть до ее замужества. Более ничего об этом романе не известно. Когда Менделеева потом спрашивали, зачем он набирает столько лекций, что извозчик едва успевает доставлять его из одного учебного заведения в другое, он спокойно объяснял: *«А вот почему: когда я жил за границей, у меня была интрижка, а от нее плод, за который и пришлось расплачиваться».*

Почти каждый вечер Менделеев, Сеченов и многие другие члены русской колонии проводили в пансионе Гофманов, в компании, составившейся вокруг Татьяны Петровны Пассек, урожденной Кучиной, тетки А. И. Герцена, с которой он вместе вырос и которую

часто называл «корчевской кузиной».[15] «Друг Огарев!.. — писал он. — Ты занимаешь огромное место в моей психологии. Ты и Татьяна Петровна были два первые существа, которые дали себе труд понять меня еще ребенком, первые, заметившие тогда, что я не сольюсь с толпой, а буду нечто самобытное…» Татьяна Петровна была первым биографом своего знаменитого родственника, донесшим до нас порой самые необычные страницы его жизни. Чего стоит детский рассказ племянника о событиях Великой французской революции: «Была во Франции революция, все шумели, кричали, а кто не шумел и не кричал, тем рубили головы, народ бегал по улицам, всё бил, ломал, потом прибежали во дворец и там всё перебили, переломали, да надели себе на головы красные колпаки и [стали] вешать людей на фонарях, хотели повесить на фонаре m-eur Прово — насилу спасла его Лизавета Ивановна» (так взволновала его история их садовницы, мадам Элизы Прово). Т. П. Пассек и сама осталась в истории русской культуры своими «Воспоминаниями», которые Корней Иванович Чуковский назвал «простой безыскусственной книгой дочери отставного пехотного поручика».

Если Гофманы старались до мелочей воссоздать русский быт, то в салоне Т. П. Пассек дышала живая русская жизнь. Здесь наизусть, взахлеб читали Пушкина, разбирали новые романы Гончарова и Тургенева, обсуждали привезенные новыми постояльцами вести из России. Судя по свидетельству современников, Татьяна Петровна, которую историки часто именуют бабушкой русской литературы, в ту пору была весьма привлекательной женщиной. Недаром Менделеев писал тогда Феозве Лещовой: *«Чепуха, засевшая теперь у меня в голове, относится до… как бы это поясней выразиться, чтобы новой чепухи не вышло, относится до одной москвички, живущей здесь. Вот уже сейчас, конечно — влюбился. Ничуть и ни следов — судите сами. Эта госпожа лет под 40, такая милая, простая, добрая, а главное (оттого-то и чепуха у меня в голове) чрезвычайно простая, бесцеремонная, образованная. Мы, человека четыре, у нее как свои, нам всем ловко, чудо как хорошо. Sic — я не влюблен. Всё хорошо пока…»* Хозяйка салона с большим интересом расспрашивала Дмитрия о его родителях, друзьях семьи и подробностях тобольской жизни. Дело в том, что ее муж Вадим Васильевич Пассек, к тому времени уже покойный, друг и университетский однокашник Герцена (через него Вадим Васильевич и познакомился с будущей женой), был сыном тобольского ссыльного. Она прекрасно, во всех подробностях, знала о неимоверных злоключениях своего свекра и наверняка заставила Менделеева вспомнить в связи этим некоторые хранимые городской молвой подробности, которых было немало.

История Василия Васильевича Пассека, выглядевшая как роман и вполне достойная названия вроде «Жизнеописание неудавшегося гейдельбергского студента», действительно была роковой. Храбрый офицер, отличившийся при взятии Измаила, был обворован и даже лишен отцовской фамилии родным дядей — могилевским генерал-губернатором. Впрочем, главные его беды начались после случайной командировки в Европу. Стоило Василию, в котором от путешествия вспыхнула жажда знаний, потребовать у дяди средства для учебы в немецком университете, как тот и вовсе объявил племянника бунтовщиком и фальшивомонетчиком. Дальше были кандалы, Тайная экспедиция Сената, Динамюндская крепость и, в конце концов, многолетняя ссылка в Тобольск. Т. П. Пассек писала о своем свекре: «Осужденный несчастливец, с женой и двумя малолетними сыновьями, Евгением и Леонидом, отправился в Сибирь, где и пострадал с лишком 20 лет. Когда Евгений и Леонид достигли юношеского возраста, тогда, тайно от родителей, написали прошение императору, в котором просили освободить их родителей и рожденных от них в Сибири детей, предлагая самим остаться за них на всю жизнь в Сибири. Узнав, что государя ожидают в Екатеринбурге, они отправились туда частью пешком, несмотря на пятьсот верст расстояния, достигли до Екатеринбурга и лично подали государю прошение. Вследствие ходатайства и личного доклада генерал-губернатора Западной Сибири Капцевича, в 1824 году

---

[15] Т. П. Кучина родилась в деревне Новоселье Корчевского уезда Тверской губернии. *(Прим. ред.)*

всемилостивейшим повелением В. В. Пассек со всем своим семейством был возвращен из Сибири по прошению его детей…» Таких рассказов о злой русской судьбе Татьяна Петровна знала множество. Она вообще глубоко и точно понимала русскую служивую, усадебную и государственную жизнь — дальше того самого предела, у которого недалекие и невыдержанные натуры обычно впадают в неистовство либо в апатию. Сама она, напротив, от своего понимания не теряла душевного равновесия, умела слушать других и создавать вокруг себя на редкость умную и добрую атмосферу.

В салоне Пассек собиралась дельная и думающая публика. Русские гейдельбержцы были уверены, что любой вопрос, если его правильно поставить, обязательно найдет свое решение, по никак не могли доискаться причин, почему именно здесь, вдали от любимой России, им так хорошо и покойно работается, дышится, дружится… Почему высокая наука выбрала себе местом обитания этот тихий провинциальный угол? Что такого особенного в этом университете — в простом здании с четырехугольной башней, в довольно бедных аудиториях с изрезанными и залитыми чернилами скамейками, в этой записке о перемене расписания, приколотой к доске в прокуренном коридоре, в этих вбитых в стену гвоздях, на которые студенты вешали свои фуражки? Откуда в небольшом городке взялись богатейшая библиотека, множество удобных читален, ученые общества, лаборатории? А эти поразительные университетские нравы! Эти променады студентов со своими профессорами по бульвару, шумные восхождения к старому замку над городом или, наоборот, степенные прогулки университетских светил по знаменитой дорожке философов, протоптанной когда-то самим Гегелем!.. Ответа не было. Они безуспешно старались освободиться от мучившего их вопроса, от этой досады на самих себя, которым тут хорошо, а дома плохо. Поэтому они еще злее, еще надменнее смеялись над игрушечной немецкой жизнью. Над дурацкими перильцами на краю дикого обрыва, над пошлыми вывесками, над прибитыми на каждом шагу указателями в виде пальца. Над многочисленными табличками с запретами входить, сидеть, открывать, плевать, останавливаться и прислоняться или с предостережениями: «Не оставили ли Вы свои вещи?», «Привели ли Вы после себя туалет в порядок?», «Теплый хлеб вредит здоровью!». Им казалось, что практичность немецкой цивилизации никак не вяжется со следами ее же бурной истории, но на самом деле эта практичность никак не вязалась с русской натурой. Как, например, можно было свыкнуться с кухонными склянками, которые сами пытаются привлечь к себе внимание? Перец, сахар и соль кричат, что они это они. На каждом полотенце отмечено, какую часть тела им вытирать, а на каждой чашке — для кого она предназначена: большая для папы, средняя для мамы, маленькая для ребенка. Русские смеялись над буйными буршами, точно в срок прекращавшими свой маскарадный загул, над толстыми красноносыми бюргерами, глаза которых казались размытыми от постоянного употребления пива, наконец, над штанами крестьянина, на которых есть сотня заплаток, но нет ни одной дырки…

Даже Пирогов, которого очень беспокоило подобное отношение русских стипендиатов к немцам (он с тревогой сообщал об этом петербургскому начальству), тем не менее писал: «Я должен признаться, что посещение германских университетов вызвало во мне скорее зависть, чем добрые чувства. Но сколько бы я себе ни говорил, что нельзя сравнивать ни старость с молодостью, ни немцев с русскими, что любой возраст и любой народ несет в себе что-то хорошее, всё это нисколько не помогало… Второе впечатление состояло в убеждении, что ни их значение, ни их деятельность нельзя перенести в русские условия… Только тот, кто детально ознакомился с германскими университетами, тот по-настоящему поймет, какую значительную услугу децентрализация немецкой университетской жизни оказала немцам и их государственности… То обстоятельство, что мы позже других начали научную деятельность, еще не является решающим препятствием. Самый главный недостаток состоит в том, что нас немного и мы располагаем слишком большой площадью… Этим объясняется то, что мы с трудом концентрируемся и с трудом понимаем нашу собственную силу. При всей нашей медлительности и отставании в сравнении с Западной Европой мы к всему относимся с большой непринужденностью, так как нам не мешают никакие традиции и

предубеждения. И как раз в этом мы, русские, не связанные научными традициями и предубеждениями… могли бы оказать громадную услугу человечеству, изучая непредвзято и без преувеличений незнакомую нам науку. На это не способен кроме нас ни один из народов Западной Европы».

Мысль, содержащаяся во второй половине этого текста, удивительным образом перекликается с пассажем, принадлежащим крупнейшему культурологу Максу Веберу. В 1912 году на пятидесятилетии уже упомянутой русской читальни (с 1881 года она носила название Пироговской) он сказал: «Будущее западного мира и, в частности, Европы зависит от доброго взаимопонимания между Германией и Россией. Россия и Германия не могут жить одна без другой. Но если бы это понятие немецкой меры соединилось с русской безмерностью, наступила бы гармония, которая спасла бы мир. Иначе наступит дисгармония, от которой погибнет наша цивилизация, от которой погибнет наш культурный мир». Увы, бесспорные, а тем более пророческие мысли труднее всего овладевают массовым сознанием. Остается утешаться хотя бы тем, что идея взаимного спасения России и Европы до сих пор еще не затоптана солдатскими сапогами и по-прежнему очевидна. Жаль только, что история конечна, а истина никуда не торопится.

Если не считать скоропалительного романа Менделеева с Агнессой Фойхтман, молодые люди из русской колонии чаще всего находили себе пару из соотечественниц. После Боткина свою судьбу здесь встретил Бородин, познакомившийся в Гейдельберге с будущей супругой, пианисткой Екатериной Сергеевной Протопоповой. На свои первые гонорары она путешествовала по Европе и никак не могла проехать мимо пансиона Гофманов. Благодаря ей, профессиональной исполнительнице, Бородин познакомился с музыкой Шопена и Шумана, что сыграло огромную роль в становлении его композиторского дарования. В салоне Пассек произошло знакомство приятеля Менделеева, талантливого офтальмолога и отважного путешественника Э. А. Юнге[16] и приехавшей в гости к Татьяне Петровне художницы Е. Ф. Толстой, дочери вице-президента Академии художеств, будущей медалистки Всероссийской и Парижской всемирной выставок, автора исследования «Русские женщины в искусстве» и воспоминаний, которыми зачитывался ее родственник Лев Толстой.

Однако не для всех сердечные волнения заканчивались благополучно. Трагическим финалом обернулись они для близкого друга Менделеева В. И. Олевинского, бывшего младшего ординатора Николаевского морского госпиталя. Олевинский, по воспоминаниям его друзей, был человеком доверчивым, увлекающимся и мечтательным. По некоторым данным, он был довольно тесно связан с русской революционной эмиграцией и лично знаком с Герценом. В силу этой или иных причин он маниакально боялся преследований со стороны царского правительства. В нем было много неясного, темного — например, по какой-то причине его польские соотечественники отказывались садиться вместе с ним за стол. Багаж знаний по химии у Олевинского был невелик, но он много работал, что очень импонировало Менделееву. «Он мне нравится по своей простоте, а голова у него светлая, хоть и не очень богата материалами, но он их забирает теперь пригоршнями». Его открытость, однако, соседствовала с болезненным самолюбием. Однажды он даже потребовал у Менделеева, чтобы в его присутствии разговор не касался чересчур высоких, пока не достижимых для него материй и чтобы Дмитрий Иванович не делал ему в компании замечаний, связанных с пробелами в знаниях. Менделеев был какое-то время просто взбешен: какие могут быть амбиции в научной дискуссии? Но потом их отношения восстановились.

Олевинский очень тяжело переживал непостоянство какой-то богатой светской барышни, которая измучила его в Николаеве и из-за которой он в отчаянии метался по

---

[16] Могила Юнге в Коктебеле сейчас известна разве что какому-нибудь сумасшедшему краеведу, а между тем именно Эдуард Юнге первым возделал купленный затем матерью Максимилиана Волошина Еленой Оттобальдовной, более известной под именем Пра, тот участок земли, где впоследствии поселилась знаменитая колония поэтов и художников.

Европе и даже Африке. В тот момент, когда эта «зубная боль в сердце» приутихла, его постигла новая несчастная любовь — на этот раз к украинской писательнице Марии Александровне Вилинской, по первому мужу Маркович, известной в литературе под псевдонимом Марко Вовчок, одаренной поистине магическим обаянием. В окружении Пассек о ней ходили очень противоречивые толки. Е. Ф. Толстая писала: «И что в этой женщине, что все ею так увлекаются? Наружностью — простая баба, отпечаток чего-то commun,[17] противные белые глаза с белыми бровями и ресницами, плоское лицо; в обществе молчит, никак не разговоришь, отвечает только «да» и «нет»… А все мужчины сходят по ней с ума: Тургенев лежит у ее ног, Герцен приехал к ней в Бельгию, где его чуть не схватили… М. умеет так сделать, что ее поклонники во всём заступаются за нее: она бросила мужа, прекрасного человека: «он ее недостоин», бросила ребенка, держала его, как собаку, на кухне — говорят: «ее душа слишком возвышенна, чтобы удовлетворяться мелочью жизни»…». Можно добавить, что Мария Александровна, по свидетельству одного из современников, также «злоупотребляла донельзя первою молодостью сына Герцена».

Олевинский был не единственной смертельной жертвой этой дамы. Из-за нее свел счеты с жизнью старший сын Г. П. Пассек, в нее болезненно влюбился и на ее глазах утонул страдавший эпилепсией Д. И. Писарев. Кажется, из всей нашей научной и литературной элиты против чар Вовчок устояли лишь Н. А. Некрасов да М. Е. Салтыков-Щедрин. Приятельствовавший с обоими крупный чиновник цензурного ведомства В. А. Лазаревский записал в дневнике их довольно брутальные высказывания по поводу поползновений Вовчок. Салтыков: «…она ездит так часто в Париж затем, чтобы употребляться с разными commis[18]». Некрасов: «…ее вряд ли удовлетворить может даже мой мастодонт кучер Иван». Одним словом, бедный Олевинский попал в переплет, по сравнению с которым его роман с николаевской барышней был историей двух влюбленных голубков.

«Мой товарищ, — вспоминал Менделеев, *— был страстно влюблен в известную тогдашнюю чаровницу М. В. Она же с ним поступила нечестно, завлекла, довела до отчаяния и до решения покончить с собой. Но мой друг решил использовать свое самоубийство в интересах науки. В то время смертельная доза цианистого калия не была достаточно известна. Мой друг решил принять серию постепенно увеличивающихся доз и вел запись. Он несколько раз поправлялся после приемов и умер, лишь дойдя до определенной фиксированной дозы. Однако на этот раз чаровнице это не прошло даром. Друзья сумели жестоко отомстить за товарища…»*

В те времена яд, чаще всего цианистый калий, держали под рукой многие молодые ученые. Идея путем самоубийства защитить свою честь, прекратить нравственные страдания была необычайно модной. К примеру, через год наложил на себя руки талантливый хирург и анатом Л. А. Беккерс. Наиболее преданные науке, подобно Олевинскому, стремились одновременно исследовать неизвестные особенности человеческого организма. И. И. Мечников таким образом травился дважды: после смерти первой жены принял огромную дозу морфия, а когда его вторая жена заразилась тифом, сделал себе инъекцию возбудителей возвратного тифа. Вторая попытка «экспериментального» самоубийства, после которой Мечникова еле спасли, дала удивительный результат: он лишился своего обычного пессимизма и весьма значительно поправил зрение. И. М. Сеченов без намерения умереть, с чисто исследовательскими целями выпил раствор с туберкулезными палочками. Почему лучших людей России манила и манит к себе бездна — задача для метафизиков. Менделеев, знававший в своей жизни самую черную депрессию, в более зрелые годы тоже часто думал о смерти, чувствовал ее близость и один раз даже планировал самоубийство, но в молодости эта мысль не приходила ему в голову. Все-таки он был совсем из другого теста… А что

---

[17] Общего, публичного *(фр.).*

[18] Приказчиками *(фр.).*

касается «жестокой мести», задуманной молодыми и рьяными магистрами, то тут остается только гадать, в чем она состояла. Как бы то ни было, эта скандальная история пошла «чаровнице» только на пользу. Вовчок вскоре явилась в Петербург мутить воду в редакциях прогрессивных журналов.

Начиная с ранней весны 1860 года Менделеев снова путешествует. В конце февраля он отправляется на несколько дней отдохнуть во Франкфурт-на-Майне, затем две недели любуется Висбаденом. В конце апреля Дмитрий Иванович вместе с Н. Житинским[19] и образованной русской дамой А. П. Бруггер[20] отправляется сначала в Мюнхен в лабораторию Ю. Либиха, в свое время учившего менделеевского учителя А. А. Воскресенского (именно тогда, по всей видимости, он и услышал из уст знаменитого немца, что у него никогда не было ученика тлантливее Александра Абрамовича), а потом посещает еще нескольких коллег. Дальше их путь лежал в Италию, вызвавшую у Менделеева такой восторг, что он твердо решает вернуться сюда в конце лета — в одиночку и надолго. В Милане он покидает своих спутников и через перевал Сен-Готард возвращается в Гейдельберг, где его ждет начатая статья «О сцеплении некоторых жидкостей и значении молекулярного сцепления при химическом взаимодействии тел» для Ж. Б. Дюма и всех заинтересованных лиц в Парижской академии наук.

Следующее путешествие состоялось в последнюю декаду августа в Швейцарию. На этот раз спутниками Менделеева стали Бородин и сам Николай Николаевич Зинин, нарочно приехавший за две недели до начала работы Международного химического конгресса в Карлсруэ. Они начинают с Базеля и посещают несколько городов Швейцарской Конфедерации. Для Менделеева самое главное впечатление этой поездки — не озера и не концерты, а мосты города Фрейбурга: *«Местность дивно хорошая… Глубокий ров, дикие скалы, цветущие холмы… Сарина, текущая внизу… Часть города на берегу рва, на высоте, другая часть в самом рве. Ведь этот ров размеров от (сибирский синоним слова «очень». — М. Б.) громадных. С одного берега рва на другой висит над 30-саженной пропастью два проволочных моста, длиной каждый ¼ версты, и под ними никакой поддержки, никаких быков — всё висит на проволочных пучках. Вы идете, и мост качается, а между тем стоят они более 25 лет и по ним ездят без малейшей опасности…»* Скорее всего, именно этот восхитивший его горный ландшафт, этот образ преодоления бездны, «пробрасывания» мостов в непознанную даль приведет его к озарению по поводу того, как и чем на самом деле прирастает наука. В предисловии к своим «Основам химии» он напишет: *«Мне желательно было показать… что науки давно уже умеют, как висячие мосты, строить, опираясь на совокупность хорошо укрепленных тонких нитей, каждую из которых легко разорвать, общую же связь очень трудно, и этим способом стало возможным перебрасывать пути через пропасти, казавшиеся непроходимыми. На дно не опираясь, и в науках научились пересягать пропасти неизвестного, достигать твердых берегов действительности и охватывать весь видимый мир, цепляясь лишь за хорошо обследованные береговые устои…»*

Третьего сентября они были уже в Карлсруэ на первом в истории Международном химическом конгрессе, представлявшем собой событие громадного научного значения, поскольку он был призван преодолеть разнобой в написании химических формул. А это, в свою очередь, требовало решить массу вопросов, касающихся самого понятия атома, молекулы, основности и эквивалента. Мировой науке это давало возможность нового,

---

19 Полное имя этого гейдельбергского приятеля Менделеева нигде не упоминается, о нем вообще известно лишь то, что впоследствии товарищи обвинят его в воровстве и это будет очень тяжело переживать Дмитрий Иванович.

20 А. П. Бруггер сбежала с детьми за границу от мужа — пьяницы и деспота. Она была больна чахоткой, но старалась не поддаваться болезни, держала двери своего дома открытыми и всегда хорошо принимала Менделеева и его друзей, любивших ее щи и расстегаи.

невиданного сотрудничества ученых разных школ и стран, а лично Менделееву, твердо ставшему на позиции унитарного учения, возможность подойти в довольно близкой перспективе к открытию Периодического закона, поскольку классификация элементов в его таблице начнется с их сравнения по признанным всеми атомным весам.

Мысль созвать подобный конгресс принадлежала неугомонному Августу Кекуле. Он заразил ею своего друга, директора Высшей технической школы в Карлсруэ профессора Карла Вельцина, впервые доказавшего возможность молекулярных соединений. В научных кругах эта идея вызвала не только энергичную поддержку, но и всплеск амбиций со стороны некоторых знаменитостей, уверенных в исключительной правоте именно своих воззрений. Поначалу не было единого мнения даже по вопросу о статусе президента и секретариата конгресса. Тем не менее в начале июня был разработан и разослан текст приглашения с повесткой дня будущего мероприятия. Среди участников инициативной группы, подписавших приглашение, рядом с европейскими светилами оказалось немало русских ученых — Бекетов, Энгельгардт, Фрицше, Соколов, Зинин… В этом же приглашении, полученном химическими знаменитостями, «имеющими право, благодаря своему положению и работам, на подачу голоса в нашей науке», содержалась деликатная просьба «способствовать скорейшему дальнейшему распространению его (приглашения, которое его авторы именовали циркуляром. — *М. Б* .) среди их ученых друзей для того, чтобы по возможности не обойти кого-либо из ученых, имеющих на то право, которого мы могли бы по недосмотру не пригласить».

Из России на конгресс прибыли Зинин и петербургский друг Менделеева Леон Шишков, из разных мест Европы подтянулись Бородин, Савич и варшавяне Т. Лисинский и Я. Натансон. Всего конгресс собрал 140 человек. Менделеев, избранный в его комитет, с этого времени вошел в круг общения самых видных деятелей химической науки. Особенно он сближается с уже знакомым Дюма, а также Вюрцем и Станислао Канниццаро. Последний, пламенный сторонник унитарного учения, навсегда остался в памяти молодого Менделеева: *«Я живо помню впечатление его речей, в которых не было компромиссов, но слышалась сама истина, взявшая за исход понятия Авогадро, Жсрара и Реньо, тогда далеко не всеми признававшиеся. И хотя конкордат не удался, но цель съезда была достигнута, потому что не прошло нескольких лет, как идеи Канниццаро оказались единственными, могущими выдерживать критику и дать понятие об атомах как наименьшем количестве элементов, входящих в частицы их соединений. Только такие истинные, а не какие-либо условные атомные веса могли подлежать обобщению…»*

Сразу же после окончания конгресса Менделеев пишет Воскресенскому пространный отчет о его работе и принятых на нем решениях. Это письмо, как и всё, что выходило из-под пера молодого ученого, было написано столь безупречно по стилю и содержанию, что Александр Абрамович передал его в редакцию «Санкт-Петербургских ведомостей», где оно было напечатано без правки и сокращений, со всеми формулами и выкладками.

Сентябрь и часть октября уходят на короткие путешествия по немецким городам и ожидание нового оборудования от Саллерона. Получив великолепно изготовленные трубки и приборы, он, конечно, не удержался от того, чтобы начать еще один цикл исследований расширения жидкостей. Но душа Менделеева рвется в Италию. И вот, наконец, он снова в стране своих мечтаний, и вот уже солнечная, несмотря на середину осени, Генуя, подобно дивному сну, заключает его в объятия. *«Залив, красота местности, теплота воздуха и людей очаровали нас, мы решили ехать сколь возможно дальше, чтобы, по возможности, больше вдохнуть воздух этой страны, где и история, и искусство, и природа, и нравы — всё первостепенное, всё оригинальное, то, чему все мы, все народы, только стремимся подражать и чего, увы, не достигнет никто, потому что нигде не сочетались столь благоприятные условия в такое чудное целое, как в стране римлян…»*

Справедливости ради стоит вспомнить, как в свое время, утолив интерес к природе и людям долины Рейна и пережив по этому поводу целую гамму чувств — от восхищения до

разочарования, — он избрал предметом своей любви Францию, ее ученых и людей из парижской толпы, найдя живой французский характер не в пример привлекательнее апатичного немецкого, а французскую историю богаче. Но вот его пленяет новая страна, и Менделеев восторженно вопрошает: *«Где в Европе, кроме разве Греции, море и горы, такой климат, такая давняя история, такая древняя образованность, такое ясное понимание свободы, такая деликатность во всём, кроме, конечно, попов и австрийцев, коих скоро всех побоку, где такая музыка во всём? Французы, вижу теперь, только тем и велики, что они наследовали из Италии. Погодите немного, дайте италианцам сбросить иго попов, мертвящих всё живое, австрийцев, бурбонов, дайте немного выродиться тем грязным свойствам, какие породили это долгое совокупное влияние папской темноты и инквизиции и полицейских преследований, — и вы увидите, что единая Италия — она теперь не пуф, она не слова, как единая Германия, и вы увидите, что единая Италия будет писать закон миру, не покоряя его мечом, а убеждая примером, гармонией слов и действий…»* Этот восторг еще более подкреплялся впечатлением, которое произвела на него произошедшая в Неаполе уличная встреча с итальянским героем Гарибальди: *«Он всех и каждого очаровывает, заставляет бросить личные цели для общих, его красноречие просто, как и он сам — моряк, генерал не по чину, а по природе, правитель, оратор. И этот человек, кому молятся простолюдины, как богу, кого уважает и знает весь мир, на кого надеется Италия, — он не берет ни почестей, ни денег, ходит в своей красной куртке и ездит в карацельке. Где примеры этого найдете в мире? Счастлива страна, которая может назвать, может производить таких людей, как Гарибальди…»*

Теперь, когда до возвращения в Россию оставались считаные недели, как же ему хотелось еще поработать в райских гейдельбергских условиях, снова и снова насладиться этими легкими путешествиями в любую сторону, этими пейзажами, античными руинами, рыцарскими замками, конными статуями, этими потемневшими от почтенной старости картинами, а главное — невиданной и теперь уже несказанно сладкой свободой! Наверное, поэтому Италия в его последних письмах предстает каким-то фантастическим антиподом России — холодной, голодной, практически неосвоенной земли, с безграмотным забитым народом и начальниками по праву рождения, умеющими писать законы исключительно штыком и нагайкой. Что же до «ясного понимания свободы»… Во время пребывания в Симферополе Менделеев мог слышать передаваемую из уст в уста фразу, сказанную безымянным севастопольским солдатом под беспрерывной бомбардировкой. Его командир выказал огорчение по поводу огромных потерь. Солдатик его успокоил: дескать, не извольте беспокоиться, вашество, нас еще дня на два хватит.

«Неурядица на святой Руси страшная… — писал Менделееву возвратившийся раньше него Сеченов. — Хандре моей не дивитесь — посмотрю я, что сами запоете, когда вернетесь. И России привязанностей у меня нет; в профессорствовании счастья крайне мало: работать гораздо труднее, чем за границей, климат скверный. Жизнь дорогая. Вот почему меня тянет назад…» Столь же безрадостное впечатление от Петербурга получил после заграницы и Леон Шишков: «Здесь столько приходится терять времени, что, право, руки опускаются; и потом, наконец, эта уединенность: не с кем разменяться мнениями, нет ни малейшего стимула, везде служба, желчь, зависть, интриги и более ничего…» Похожие письма слали Менделееву Ильин, Скиндер и другие друзья-ученые.

В последних числах декабря Менделеев по совету Воскресенского пишет два прошения о продлении срока научной командировки — в совет физико-математического факультета и попечителю Санкт-Петербургского учебного округа. В них, несмотря на жанр, ученый высказывается «с последней прямотой»: в России тяжело заниматься наукой, все достижения известных русских химиков сделаны ими почти исключительно но время пребывания за границей (в списке примеров первым был указан Александр Абрамович Воскресенский, что свидетельствовало о полном отсутствии у автора дипломатических способностей). В числе проблем российской науки Менделеев называет также недостаток времени и пособий. Нет

также хороших механиков — в Европе необходимый прибор изготавливается без промедления, а в России заказать его не у кого, а заказанное за границей годами не вырвешь у таможни. В России исследователь вынужден сам делать всю, даже самую грубую подготовительную работу; власть препятствует созданию домашних и частных лабораторий, принуждая ученых работать в неудобных казенных лабораториях. Какая, вопрошал Менделеев, будет польза от того, что он в разгар исследований бросит в Гейдельберге отличную лабораторию и запас высококачественных препаратов? Тем более что на факультет сейчас взят доцент Соколов, и вместе с профессором Воскресенским они вполне обеспечивают преподавание курса химии… Официального ответа от попечителя округа он так и не получил. Второе же прошение совет факультета поддержал, но ректор удовлетворить отказался. В связи с этим моральное состояние Менделеева было столь подавленным, что вызвало беспокойство его близких друзей. «Милый друг мой Менделеев! — писал из Парижа расстроенный Савич. — Неожиданно скорый отъезд ваш в Россию и грустное письмо Ваше произвело на обоих нас (на Бородина и на меня) тяжелое впечатление. Жалеем от души, что надежда остаться еще год за границей не сбылась; я, на основании того, что писал Вам Воскресенский, почти был уже уверен, что если и не на целый год последует Вам отсрочка, то, по крайней мере, на несколько месяцев. Естественно, что эта неудача, как и вообще всякая обманутая надежда, неприятно подействовала на Вас, но, мне кажется, Вы напрасно так унываете, помышляя о том, что предстоит Вам в России, друг мой. Конечно, могут быть, вероятно, и будут кое-какие неприятности, да уж верно не так, как Вы их себе рисуете при настоящем тяжелом настроении духа…»

Накануне нового, 1861 года Дмитрий Иванович решил вести дневник, для чего купил небольшую, в оливковом коленкоре, записную книжку. Книжка хотя и была предназначена для личных записей, предлагала их определенную направленность. На ней имелся печатный заголовок Badischer Geschäftskalender (Баденский деловой календарь). В начале и конце книжки был помещен справочный материал о гражданском устройстве Баденского герцогства и всей Германии, а ее основная часть представляла собой ежедневник. На внутреннюю сторону обложки, под маленьким табель-календарем, Менделеев поместил большую французскую цитату из «Вальведра» Жорж Санд о том, что объекты в науке не возникают неожиданно: они могут сверкнуть в открытиях в виде фактов, которые, прежде чем им довериться, должны быть основательнейшим образом установлены, либо в виде идей, выведенных из созерцательной логики. Еще ниже была сделана другая запись:

«Я должен чаще вспоминать:

Молчи, скрывайся и тай
И чувства, и мечты твои,
Пускай в душевной глубине
И всходят и взойдут от,
Как звезды ясные в ночи…»

Отрывок из стихотворения Тютчева писался по памяти, поэтому был частично перефразирован. Дальше молодой Менделеев поместил несколько выведенных для себя жизненных правил и научных установок:

«Не умничать, когда ясно говорит внутренний голос воли.
Не предаваться желанию, когда ясно говорит против него ум.
Знакомых много не иметь.
От женщин подальше…
На шатком и бесплодном пути слепого опыта и наблюдения нет границы ошибкам. Так, если б доказали и не определили преломляемость — в атмосфере лучей, — не могли бы делать поправок в наблюдениях.
Наблюдение и опыты, направленные мыслью и охраненные знанием, — нет

границы в достижении истины».

Из этого дневника мы узнаём, чем занимался Менделеев в оставшиеся до отъезда полтора месяца. Продолжал работать: перегонял бром, определял его капиллярность, приготавливал цинк-этил, запаивал трубки, занимался гликолем… Утром 10 января при кипячении лопнул дилатометр, потом пролился столько трудов стоивший гликоль и лопнула трубка с цинк-этилом. В довершение несчастий в тот же день от некоего Феринге́ра был получен отказ в займе. Теперь оставалась одна надежда на Ильина, который в Петербурге пытался получить от факультета деньги, причитавшиеся Менделееву за приват-доцентство. Вообще с финансами было плохо: *«Беда, право, с деньгами — скуку они крепкую наводят мне»* . Разбирал бумаги, чистил приборы, хлопотал по поводу перевода своих статей, писал письма, встречался с друзьями. Разбирался в своих чувствах — кто из друзей ему более дорог. Разобрался: **«** Их троих, Савича, Бородина и Олевинского, от души люблю**…»** (не мог знать, что через короткое время вслед за Олевинским уйдет из жизни и Савич, придумавший для него ласковое имя Менделеюшка). Катался со знакомыми и какой-то княжной на санях, слушал, как княжна читала свой роман, принимал ее у себя, снова встречался с ней в гостях и уже думал, как бы от нее отделаться… Бывал в театре, по вечерам заходил к Агнессе, а чаще к Гофманам — там после пунша, бывало, пели народные песни. «Хлопче-молодче… будешь кулаками слезы утирати». Часто расстраивался, не спал ночами, плакал, пил чай. Снова и снова пытался понять: почему идет туда, куда ум не велит, почему подозрителен к чужим недостаткам и невнимателен к достоинствам, отчего не бежит от Фойхтман и зачем сближается с Олевинским? И какое место в жизни должна занимать личная драма? *«Но что же и за жизнь была бы без этого? Слава Богу, это не раздробляет как порок, это создает внутреннюю крепость и простоту — кулисы падают понемногу. Странно только, а с жизнью нашего организма, верно, мелкий глупейший расчет живет рядом с огромными тратами, грязь с чистотой — не разберешь эту массу хаотическую».* Начинал запаковывать лучшие трубки и термометры, менялся с коллегами — отдавал тяжелое оборудование взамен легких трубок и химикатов, потом снова бросался работать. Старался ни в чем себе не отказывать, пытался забыться с помощью карточной игры, но ничто не спасало от тяжелых раздумий. Временами он бывал очень раздражителен: *«В театр пошел. Стоять пришлось в партере. Подле стоял немец, с которым играл раз в шахматы. Вопрос его, когда узнал, что я русский: «Скажите, пожалуйста, отчего русские не носят своей национальной шапки, как поляки?» Это занимает его давно, видите, — вот уроды-то».* Встретился с проезжавшим через Гейдельберг Вышнеградским — тот с молодой женой только что прибыл в заграничную командировку…

Проводы его в Россию состоялись 18 февраля. У Гофманов собралось много народу — русских и немцев. Эрленмейер подарил на память порт-табак. Банкир Циммер выставил в честь Менделеева 18 бутылок отличного вина, а также пунш. Речи так и лились. Говорили об отношении немцев к русским, о том, что интересы науки выше всего и другим интересам не подчиняются, об Америке, Гарибальди и освобождении крестьян. Честные немцы признавали, что Менделеев ничего у них не перенял, а только получил возможность для раскрытия своего дарования. Сам виновник торжества провозгласил заключительный тост — естественно, за полное преобладание унитарной системы. *«Что было со мной — не знаю — не пьян был, но что-то внутри холодило и подымало жар — распустился так — плакать хотелось. Я просто возвращаюсь к детству — часто уж плакать хочется. И проплакался, и со всеми мирно расстался…»*

Минорное настроение возвращающегося на родину Менделеева было связано со многими причинами, но менее всего — с недостатком патриотизма. Даже в самых восторженных его письмах из-за границы находим строчки о том, как не хватает ему воздуха родной Сибири, или о том, как живо он продолжает ощущать свою неразрывную связь с университетским Петербургом. Во всех критических ситуациях — исследовательских, любовных, связанных с болезнью или душевным смятением, — у него один выход: погостил

— пора и честь знать. Нужды, грозящей ему на родине, Менделеев не боялся, о чем также не раз писал друзьям и родственникам. Очевидно, что ни он, ни его друзья по Гейдельбергу не стремились остаться за границей навсегда (думается, за одно такое желание человек был бы лишен дружеской любви) — наоборот, их мысли были связаны с родиной и почти все они после возвращения верно ей служили, став видными деятелями отечественной науки и просвещения. Тут было другое. Для любого ученого невыносима сама мысль бросить начатые исследования без всякой перспективы их продолжения. Для Менделеева же, с его душой художника, было не менее тяжело по сухому распоряжению петербургского начальства расстаться и с недосмотренной, «недохоженной» землей великой культуры. Нельзя также забывать, что пребывание в Европе пришлось на время его молодости, когда он должен был многое в себе понять: каков он в науке, в дружбе, в отношениях с женщинами, что ему в жизни необходимо, а без чего можно обойтись… Он многого и не просил — еще год, полгода, несколько месяцев спокойной жизни. Но опять, в который раз, события застают его не вовремя, и конец командировки наступает раньше, чем созревает желание вернуться. Значит, так было надо.

Атмосфера служения науке, сложившаяся в русской колонии во времена Менделеева, оказалась недолговечной. Менее чем за год здесь всё переменится. Не успеют члены первого кружка разъехаться по своим кафедрам, как сюда хлынет совсем другая русская публика. Группа выпускников и молодых университетских преподавателей, прибывших под руководством Пирогова для «приуготовления», почти затеряется в потоке молодых людей, пожелавших после закрытия Петербургского университета учиться в Гейдельберге. Впрочем, их учеба будет мало похожа на занятия предшественников. Русская читальня сразу же заполнится запрещенной в России литературой социалистического толка. Начнет выходить русский журнал с залихватским названием «Бог не выдаст, свинья не съест» (его издателем станет русский студент Евгений де Роберти де Кастро де ла Серда, в будущем — автор концепции гиперпозитивизма). На первый план выйдут политические и литературные диспуты, общественная жизнь полностью захлестнет учебную и научную работу. Университетская гауптвахта, ранее «обслуживавшая» исключительно подгулявших буршей, теперь будет нередко заполняться буйными русскими студентами, о чем до сих пор свидетельствуют надписи на ее стенах (самый яркий автограф оставил здесь некто *Protopopoff*).

Русская разновозрастная публика бурно откликалась на любое мало-мальски значимое политическое событие. Здесь триумфально встречали сына Герцена, посылали приветствие Линкольну, поддерживали Польское восстание. Даже своего «дядьку» Пирогова стипендиаты убедили заняться лечением раненого Гарибальди (Николай Иванович поехал-таки, выставил из комнаты генерала дюжину европейских светил, запускавших по очереди пальцы в рану в поисках застрявшей пули, приказал переставить кровать Гарибальди поближе к свежему воздуху и солнечному свету и без всякой операции заставил пулю выйти). А заехавшему в Гейдельберг министру просвещения Путятину колонисты устроили ночной кошачий концерт, обернувшийся форменным скандалом и в России, и за рубежом. В 1862 году, сразу после выхода романа «Отцы и дети», члены колонии, обидевшись на замечание в его тексте в адрес бывших студентов Гейдельбергского университета, после возвращения в Россию якобы неспособных отличить кислород от азота, устроили публичный суд над романом и его автором. В новой русской колонии воцарилась мода на бесцеремонные выходки, безапелляционные суждения и абсолютную политическую нетерпимость. При этом «дикие русские юноши» (по выражению Тургенева) считали, что их должна слушать, раскрыв рот, не только Россия, но и вся Европа. Скандальная слава русских недоучек из Гейдельберга докатилась даже до Карла Маркса, внимательно наблюдавшего за всеми очагами революционного движения. Увы, классик диалектического материализма высказался по их поводу с пренебрежительной иронией… Ненастоящие революционеры. Так будет до 1866 года, когда после изменения политической ситуации в Германии русская революционная оппозиция потянется в Швейцарию. И вот там уже запахнет настоящей

крамолой…

Глава пятая
ПРОФЕССОР

Возвращаться Менделеев решил не спеша, как бы совершая очередное путешествие. В Гисене заночевал и сделал несколько визитов. Потом задержался в Берлине — ходил по музеям и галереям, тешился Каульбахом, Тицианом, Корреджо и, конечно, Рубенсом — «Судом Париса». Полнота жизни на великих полотнах взрывала в молодой душе надежду. Всё будет хорошо, Европа. Я к тебе вернусь. Приеду и опять уеду. И снова вернусь. Потому что мысль к чувству не пришьешь и Европу к России не припаяешь. И не надо, и слава богу, что они сами по себе — гудящий русский простор и Рубенс с альпийскими мостами. И что можно путешествовать. Какое всё-таки счастье, что можно путешествовать! В Новом берлинском музее Менделеев забрел в Египетский двор и пришел в восторг от колонн с иероглифами, огромной статуи сфинкса и еще больше — от чýдной живописи, которой оформители украсили стены: *«Особенно удивительны статуи две среди воды, солнце из-за одной — диво что такое, так и полетел бы»*.

В русском посольстве ему вручили пакет, который нужно было передать в Петербурге в канцелярию Министерства иностранных дел (была в России такая практика использовать путешественников из числа благонамеренных граждан в качестве дипкурьеров), и выдали по этому поводу курьерскую подорожную. И будто бы сразу Россия придвинулась. Выехал из Берлина третьим классом. В вагоне, где было всего четыре «чистых» скамьи, наряду с немецкой речью уже громко звучал простой русский говор. Всю дорогу до Кенигсберга он рассказывал двум русским купцам об Италии. Купцы восторженно крякали и временами забывали закрыть рот от восхищения. Потом еще три часа езды, пересадка, недолгий сон и вот она, русская граница. Поезд дальше не шел, границу пересекали на санях, Прусский шлагбаум был поднят, и никого возле него не было; русский — опущен, рядом два солдата проверяли паспорта и просили на водку. Далее таможня — там увидели, что едет курьер, и не стали досматривать. Опять же на санях (извозчики удивлялись, почему государев курьер мало того что не дерется и не ругается, так еще деньги платит и на водку дает) добрался до недостроенной железной дороги в Ковно — регулярного сообщения по ней еще не было, но поезда кое-как двигались.

Кондуктор с дорожными рабочими подсадил курьера с вещами в багажный вагон. Долго ждал отправления (благо в вагоне было натоплено), беседовал с кондуктором, дивился его «российскому духу». Тот жаловался на жизнь: французы, ведущие строительство, не разрешают брать хабар с пассажиров, к тому же всё больше поездов начинают ходить по расписанию, пассажиры садятся с билетами, да и вообще с немцев да поляков много не возьмешь — не понимают, бестии, порядка; другое дело — наши купцы: могут сразу трешку дать. Наконец поезд двинулся, но с частыми остановками из-за продолжавшихся дорожных работ. Кондуктор куда-то убегал, потом возвращался замерзший и снова начинал с тоской вспоминать времена, когда он имел по 25 рублей с поезда. Говорил тихо, с оглядкой на французского инженера, который сидел на специально принесенном для него стуле и всю дорогу молчал. Дальше Ковно составы еще не ходили, пришлось снова мчать на санях, чтобы поспеть в Динабург на последнюю пересадку. Дорога была вся в ухабах, дышло то ныряло вниз, то задирало лошадей вверх так, что они становились на дыбы. Часто рвались постромки. Наконец перемахнули через Двину и подкатили к поезду — как раз к третьему звонку. Менделеев уже привычно показал курьерскую подорожную, и его пустили в хороший, удобный вагон второго класса. Познакомился с попутчиками — офицером, следовавшим из служебной командировки, казанским помещиком, изучавшим сельское хозяйство в Саксонии, и немкой-гувернанткой. Потом подсел какой-то учитель из Одессы. Рассказывал им о немецких студентах. А что в России? Да так как-то всё. Крестьянский вопрос опять отложен. Для народа пооткрывали воскресные школы, да мало кто туда ходит.

Потом заснул. В Царском Селе на вокзале вспомнил: забыл мальчишке-ямщику с последней станции на водку дать, спешил. Всем дал, а ему — нет.

Ранним утром Дмитрий Иванович завез пакет в министерство, бросил вещи у приятеля и, не сменив дорожного костюма, помчался к Воскресенскому. Александр Абрамович был с ним ласков, звал обедать — сегодня и каждый день, — но ничего конкретного в смысле заработка не предлагал. Звание университетского приват-доцента за Менделеевым всё еще сохранялось, но само место было занято Соколовым. О прочих возможностях — ведь Воскресенский руководил кафедрами в нескольких заведениях — старик пока помалкивал, возможно, был несколько уязвлен «физическим уклоном» своего ученика или успел ознакомиться с известным нам пассажем в послании попечителю. Дмитрий Иванович простился с Воскресенским и успел застать на квартире собиравшегося на работу Ильина. Тот тоже не мог посоветовать ничего дельного. Поговаривают, что Воскресенский вроде собирается оставить свое место в Корпусе инженеров путей сообщения. Такую новость хорошо бы услышать от самого Александра Абрамовича. Ильин рассказывал, что жизнь в Петербурге дорожает не по дням, а по часам. Начали тянуть водо- и газопровод, да контроль ча этим серьезным делом никудышный — уже был взрыв газа на Мещанской. Демидов, бывший менделеевский ученик, дрался на дуэли с бароном Мейендорфом и ранен в обе ноги. Янкевич, тот самый, что отдал Менделееву свою одесскую вакансию и так удачно начал карьеру в столице, оказался замешан в деле о закладе подложных документов… На прощание Ильин также потребовал, чтобы Менделеев ежедневно являлся к обеду. Это пришлось очень кстати — кроме долгов у Дмитрия Ивановича была разве что ассигнация, чтобы снять дешевое жилье, да мелочь в кармане. Он тут же подыскал себе квартиру — за Тучковым мостом, в доме с табачной лавкой (такой теперь у него и будет адрес: «Табачная лавочка за Тучковым мостом» — не очень серьезный, но письма будут доходить исправно). Дворник, сдававший квартиру в полуподвале, просил 15 рублей, сторговались на десяти. Вход был через кухню, сама комната хотя и невысока, но довольно велика и удобна. Поехал за вещами, по пути осмотрел новый памятник Николаю I— не понравился. Вечером надел фрак и отправился к Протопоповым. Дверь открыла Феозва, посмотрела на гостя и не узнала.

Потом все, конечно, обступили и радовались ему как родному. Он сидел допоздна и ушел совершенно обласканный и растроганный: *«А относительно приема очень доволен — милые люди все — жить и любить их не только можно, но стыдно было бы не любить. Экая дичь написалась. Да, спать, спать».*

В первые месяцы после возвращения ситуация со службой была просто аховая. Приходилось всерьез рассматривать любые возможности. Он был готов даже занять должность секретаря созданного купцами Мануфактурного общества, но туда не нашлось протекции. Ходил справляться по поводу места в сельскохозяйственном департаменте; что-то пообещали, да потерся в кабинетах — и противно стало: *«…так и мутит меня, как вспомню… Не забуду чиновничка, бежал он к двери товарища министра, перед дверью выпрямился, спину даже назад выгнул, полуотворил дверь и так, изогнувшись, и взошел в дверь — срамно видеть-то, право, было — мертвечина какая».* Собирался ехать в Могилевскую губернию преподавать в заштатном Горы-Горецком земледельческом институте — отказано. Хотел собственное фотографического дело завести, даже пробный снимок вполне удачно сделал, но ателье без денег не откроешь. Леон Шишков, успешно работавший в своей лаборатории, звал к себе — не на должность, а просто для занятий любимым делом; однако вчерашнему стипендиату было уже не до вольных исследований, надо было думать о хлебе насущном.

Конечно, Менделеев не был бы потомком славного рода Корнильевых, если бы, зная о своих перспективах в Петербурге, вернулся из-за границы без всяких практических заделов. У Дмитрия Ивановича имелось два замысла, способных дать средства к существованию. Первый был связан с изданием «Технической энциклопедии по Вагнеру», которым до того занимался профессор университета М. В. Скобликов (это он уступил Менделееву свое место приват-доцента и был вместе с Воскресенским оппонентом на обеих его защитах).

Скобликов успел подготовить несколько переводов из этой энциклопедии и написать для нее три самостоятельные статьи, но вдруг тяжело захворал и был вынужден вместе с семьей выехать для лечения в Германию. Между ним и Менделеевым завязалась активная переписка. Совестливый Скобликов, страдавший от болезни и невозможности продолжить начатую работу, испытал значительное облегчение, когда Менделеев предложил взять издание энциклопедии на себя. Умиравший ученый подробнейшим образом описал молодому коллеге состояние дел, отчитался за каждый рубль из издательского фонда, проинструктировал, сколько и когда нужно платить переводчикам, описал даже место в питерской квартире, где хранились еще не отредактированные переводы: «Зайдите в мою квартиру, спросите там Александру Андреевну, от моего имени попросите ее пустить вас в шкафы с книгами и взять оттуда тетрадь бумаг; какая-то безделица осталась у Виктора Андреева (одного из переводчиков. — *М. Б* .); кроме того, у него, кажется, заготовлено несколько листов перевода, но за них еще ничего не заплачено ему. Я надеюсь, что ни одна страница перевода не затеряна. Что касается вашего предложения приплатить мне несколько к тому, что я получил, об этом не хлопочите — я ничего не приму, потому что мне ничего не следует. От этого вашего предложения — сохранить мое имя — я тоже отказываюсь — мне тяжело выговорить причину, но вы сами ее поймете…» Теперь Менделееву оставалось договориться с питерскими издателями «Энциклопедии» и на несколько лет впрячься в работу, которая станет для него неплохим материальным подспорьем. Кроме того, «Энциклопедия по Вагнеру» породит у Менделеева множество новых интересов, связанных с прикладным применением науки.

Второй замысел был связан с написанием учебника органической химии, который он решил представить на присуждение Демидовской премии. Выбором лауреатов, по уставу премии, занималась Санкт-Петербургская академия наук; ее члены, по всей видимости, допустили «утечку информации» о своей заинтересованности в появлении на свет такого русского учебника. Менделеев еще в конце последнего гейдельбергского лета обратился к Антону Скиндеру с просьбой прислать положение о премии. Тот немедленно сообщил все подробности. Наибольшее впечатление на Менделеева, не испытывавшего ни малейшего сомнения в своих силах, произвела сумма полной (была еще половинная) первой премии — 1428 рублей серебром! Это стало решающим фактором. По приезде в Петербург он сумел заинтересовать то же издательство, которое занималось «Энциклопедией» (рассматривались только печатные работы), даже получил небольшой аванс и засел за работу. Писал, не разгибаясь, оставляя совсем немного времени на сон, общение с друзьями и свои любимые шахматы. Настроение было неважное, от усталости часто болела грудь. Внимательный Беккерс (он на двоих с Сеченовым снимал квартиру на Захарьевской улице — их Менделеев посетил в числе первых) заметил, что у Дмитрия плохо действуют мышцы правого глаза. Призвали Юнге и постановили сделать операцию. Приказали другу явиться в Военно-хирургическую академию и всё сделали по правилам — тщательно, под хлороформом подрезали наружные мышцы. С глазом стало полегче, а может, он просто забыл о нем, полностью уйдя в работу. Менделеев писал, почти не отвлекаясь на новости, едва отмечая в сознании выход царского манифеста об освобождении крестьян, появление гарибальдийцев в славянских землях Турции, смуту в Варшаве… В какие-то мгновения казалось, что он уже и стук в дверь не слышит, и краткие перерывы в работе почти не запоминает — то ли были, то ли не были. Вроде бы примерял сшитое в долг пальто, вроде сапоги приносили — тоже в долг, а только дальше мерзнуть невозможно; вроде Феозве ручку целовал — это она «Обломова» в подарок принесла (хорошая девушка, хоть сейчас жениться, да жить на что?)… Или не было ничего — не примерял, не приносили, не целовал? Когда ему, в самом деле? Он же всё время пишет, пишет, пишет… Так устал, что стал видеть себя со стороны.

Учебник объемом в 34 печатных листа был написан и подготовлен к печати практически за три месяца. Мощный, с напряжением всех сил, рывок достиг намеченной цели. Менделеев успел к самому крайнему сроку. Сочинение было отрецензировано

академиками Ю. Ф. Фрицше и Н. Н. Зининым, которые предложили его конкурсной комиссии: «Книга г. Менделеева «Органическая химия» представляет нам редкое явление самостоятельной обработки науки в краткое учебное руководство; обработки, по нашему мнению, весьма удачной и в высшей степени соответствующей назначению книги как учебника». На следующий год, 26 апреля, Менделеев получит извещение о присуждении полной Демидовской премии.

У этой книги, увидевшей свет накануне крупнейших химических открытий, в первую очередь бутлеровской теории химического строения органических элементов, будет яркая и непростая судьба. «Менделеев, — писал О. Н. Писаржевский, — дал как бы моментальную зарисовку состояния химической науки на этом переходном рубеже. И это была зарисовка, сделанная рукой выдающегося мастера и знатока предмета». Кроме того, в ней впервые приводились данные новой науки — биохимии — об отсутствии в животном теле некой таинственной «жизненной силы». Вслед за своим другом Сеченовым автор утверждал: *«Каждое жизненное явление не есть следствие некой особой силы, каких-то особых причин, а совершается по общим законам природы».* Более того, автор учебника энергично утверждал, что придет время, и все органические соединения можно будет добывать из неорганических тел. В то же время, показывая, как и в каких пределах могут изменяться молекулы, Менделеев использовал весьма неполные данные об их строении, и это мешало ему правильно уложить органические соединения в стройные гомологические ряды.

При всём сказанном работа Менделеева относилась к тому виду произведений, целостность которых совершенно отрицает любые дополнения и, тем более, переделку. «Превосходный учебник «Органической химии» Менделеева, — указывает Писаржевский, — должен был быть написан заново, с новых точек зрения, введенных в науку талантом Бутлерова». Если бы речь шла не о Менделееве, то можно было бы сказать, что казанский ученый перешел ему дорогу, обесценил плод тяжелого труда. У них действительно будут очень непростые отношения, но в конце концов Дмитрий Иванович в полной мере оценит своего талантливого коллегу. Одна из причин их научного «родства» приводится учеником Менделеева академиком Г. Г. Густавсоном: «Я слушал лекции Д. И. Менделеева по органической химии в 1862 и 1863 годах, по возвращении Д. И. из двухлетней заграничной командировки и тотчас после издания им книги «Органическая химия»… Книга проникнута широкой и сильной индукцией; это выразилось главным образом в том, что в ней приведена принадлежащая Менделееву теория пределов — предшественница теории строения. Фактическое содержание книги не только в общем, но и в частях ярко освещено выводами. В этой ее особенности, отличающей ее от других руководств, видится уже будущий автор «Основ химии». Но затем в книге до такой степени выдержана соразмерность частей, так ясно отсутствие лишнего, руководящие идеи проведены в ней с таким искусством, что она дает впечатление художественного произведения. Она так целостна, что, начав ее читать, трудно оторваться…»

В конце июня, сдав в печать книгу, Менделеев отправляется в десятидневное путешествие по Финляндии. Он пытается почерпнуть силы в том образе жизни, который сложился у него в Гейдельберге. Но безоблачной экскурсии уже не получается: отныне новые впечатления оказываются неотделимы от довольно тягостных воспоминаний и раздумий, а наслаждение природой уже не всегда может прогнать скуку, оно начинает перемежаться с раздражением и желанием поскорее вернуться к работе. Это новое состояние, судя по дневнику, переживалось Менделеевым довольно болезненно. И все-таки новое путешествие оздоровило и освежило его. Налегке, с небольшим запасом чая и табака (к качеству этих товаров он относился весьма придирчиво) и пятьюдесятью рублями в кармане Менделеев отплывает пароходом на Валаам, оттуда, через Сердоболь, в Рускеалу, из скал которой Куторга когда-то привез ему образец породы для первого исследования, потом от Иоенсу на лошадях и пароходах добирается в Лауритсалу, далее в Выборг и, наконец, возвращается в Петербург. Финская «кругосветка», гладь Ладожского озера немного

напоминали безмятежное плавание по водам Швейцарии и Италии, но бескрайний северный пейзаж был спокойнее и холоднее, и состояние души молодого путешественника было уже иное.

Иногда он просто отмечал картинные места и заносил куда-то глубоко в память, как это, наверное, делают профессиональные художники: *«Отличный вид. Холмы, вдали цепь гор, мимо холмов ближних просвечивает озеро, за ним и перед ним обработанные места, хороший лес — всё это вместе отлично. Много теней и планов, и плодородно»* . А то вдруг начинал ощущать пейзаж не только зрительно, а каким-то особым телесным образом: *«Скатишься с горки и въедешь в туман — жутко. А с горы по бокам точно озёра эти туманы. Точно озёра — только разреженной, растворенной в воздухе воды».* Купил за три копейки целый короб свежей земляники и ел ее, устроившись на палубе. Высаживался на берег, ночевал в местных гостиницах, где подавали очень вкусную простоквашу. Вокруг очень мало говорили по-русски, но ему не было скучно: он с удовольствием спал, гулял и валялся на траве после обеда. Любовался прекрасными вечерами, а ночью или утром вдруг вставал усталый и раздраженный, искал бумагу или хоть какую-нибудь книгу. Чая и табака на всё путешествие не хватило. Болели глаза.

Приближалась пойма Сайменского канала. Когда-то он жил здесь на мызе у Кашей. Теперь, накануне встречи с этим местом, Менделеев не спал всю ночь: *«Стало крепко тяжело, когда вспомнил я то время, что провел здесь с Соничкой, когда еще и женихом не был. Помню, мы шли… к дамбе и там сидели вечером. Моряки хором и она пела. Помню, дал слово, любуясь этими местами, и исполнил, быть здесь… Поел немного и не мог не поехать в Mon Repos. Да и как было не поехать, когда с ним связано воспоминание о чудных днях. Нашел я ту китайскую беседку, куда ходил с ней, и эту березовую хижину, где надписали имена, — я их не нашел. «Желтые цветочки» — скажите. Да, и не стыжусь я их. Слава Аллаху, хоть брюхо требует бифштексу, хоть глаза слабеют, а еще не простыло понимание особого настроения тех времен. Это дорогое время — не забуду… Исходил математически весь сад…»*

О чем еще он думал, бродя по живописным чухонским холмам и валяясь в свежей траве? Наверняка о родных. Несколько месяцев назад скончался Н. В. Басаргин — самый главный, после отца с матерью, наставник его детства. Сестра Ольга писала о тяжких хлопотах, которые выпали ей после смерти мужа: имение Новики, как и вообще всё наследство бывшего ссыльного, вполне могло отойти в казну. Между тем ей нужно было думать не только о себе, но и о больной падчерице Полиньке, выданной за их брата Павла. В этой семье было уже трое маленьких детей. «Если б я одна, я бы не думала, но за Полю и Павла страдаю». Ее письма навевали воспоминания о маменьке с ее беспрестанными хлопотами. Как только тяжба закончится, Ольга сразу же поедет к Поле и Павлику в Сибирь. Дмитрий недавно виделся с Ольгой — она приезжала в Москву проведать старых друзей и вызвала к себе брата. Он снова жил в доме тетушки Надежды Осиповны Корнильевой, где встречался с некоторыми старыми знакомцами из бывших тобольских ссыльных. Посмотреть на взрослых детей Менделеевых пришли Муравьева-Карская, Бибиковы, Матвей Иванович Муравьев-Апостол. Круг вчерашних ссыльных редел, по дружеские отношения не слабели. Говорили и о своем прошлом, и о его будущем. Сестра очень советовала жениться на Феозве. Он и сам уже склонялся к этому решению. Что с того, что милая Физа не была похожа ни на Соню, ни на Агнессу? Он чувствовал, что пора, пора ему обрести надежного друга. С остальными родственниками он не виделся уже десять лет. Маша с Поповым по-прежнему оставались в Тобольске, где Михаил Лонгинович учительствовал в гимназии. Когда Дмитрий уезжал из родного города, у них были две маленькие дочери — Настя и Анюта. Теперь они почти барышни, а в семье подрастают еще трое мальчиков и две девочки. У Ивана, хуже всех стоявшего на ногах из-за пристрастия к водке, было шестеро детей, и денег в семье вечно не хватало. Лучше всего обстояли дела у Капустиных. Оля и Евдокия уже были замужем, остальные дети — совместные и от первого брака Якова Семеновича, общим числом девять душ — жили в любви и достатке. Как и прежде, Яков Семенович

считался главой рассыпавшегося менделеевского семейства, от него исходили совет, поддержка и доброе слово.

Без сомнения, Менделеев чувствовал уколы совести за то, что сам еще не подставил плечо родственникам. Поскорее бы раздать долги! Стыдно в его годы поддерживать родных одним и письмами, скромными подарками да еще обещаниями помочь племянникам с образованием. Что еще осталось за «ладожскими» страницами его дневника? Вспоминал, конечно, С. С. Куторгу, которого вместе с друзьями недавно проводил па Смоленское кладбище. Еще не старого профессора уморили безденежье и всё более захлестывавшие университет беспорядки. Дмитрий Иванович не мог не чувствовать, что ему тоже скоро придется искать свое место в начавшемся противостоянии. Беспокоили здоровье и по-прежнему неясное будущее. Много было в его душе такого, что не давало вполне успокоиться, выдохнуть накопившуюся усталость. Но если вернуться к его дневнику, то более всего поражает неожиданный поворот его мыслей. Как ни вчитывайся в пространные менделеевские записи, как ни представляй того, что еще могло занимать и тревожить его мысли, никак нельзя «вычислить» да и просто представить тот путь, которым Менделеев пришел к одной из последних «финских» записей. Она вдруг приоткрывает его тайные раздумья о ярме человеческой пошлости, ее принципиальной отделенности от высоких свершений: «Ничего нет в мире великого, поэтического, что бы могло выдержать не глупый, да и не умный взгляд, взгляд обыденной жизненной мудрости…»

Едва завершив «Органическую химию», Менделеев вместе с Ильиным берется переводить «Курс элементарной химии» Огюста Кагура, бывшего офицера французского Генштаба, расставшегося с военной карьерой ради изучения картофельного масла и ставшего впоследствии академиком химии, пробирером Монетного двора и профессором Центральной школы искусств и мануфактур в Париже. Книга, создававшаяся в таком же бешеном темпе, что и «Органическая химия», вышла в свет всего через несколько месяцев после нее. Этим же летом Менделеев принимает предложения от руководства Второго кадетского корпуса на чтение курса физической географии, Николаевского инженерного училища — на курс химии в старших кондукторских классах и от Института Корпуса инженеров путей сообщения, куда его, наконец, пригласили на место (и по рекомендации) Воскресенского читать лекции и заведовать химической лабораторией. А в сентябре для него нашлись лекции и в университете. Студенты-третьекурсники потребовали от Соколова, чтобы он вел занятия на основе лекций, читанных когда-то, еще до Гейдельберга, Менделеевым, — видимо, память о них крепко засела в студенческих головах. Соколов, только что избранный в Академию наук, гордо отказался. *«Прихожу в профессорскую комнату — узнаю, что Соколов не будет читать. Студенты просят его читать, но хотят 3-й курс моих лекций слушать — я взял читать. Народу была куча страшная, читал в лаборатории, и не ладилось немного, но, говорят, остались довольны».* Вскоре он будет приглашен преподавать химию и в Технологический институт (на место уехавшего учиться за границу Н. П. Ильина), где проработает без малого десять лет. И в это же время, казалось бы, полностью занятый преподавательской деятельностью, загруженный сверх всякой меры многочисленными подработками, Менделеев возвращается к науке. Как только появляются первые заработки (полностью и навсегда он рассчитается с кредиторами после прихода письма с ассигновкой на получение Демидовской премии и даже получит после уплаты всех долгов «остаток» в 400 рублей), он снова обращается к исследованиям.

Новые работы были посвящены попыткам сформулировать теории пределов, типов и замещения. Часть из них, например «Оптическая сахарометрия», вытекла из самостоятельно написанных разделов вагнеровской энциклопедии: *«Занимает теперь меня эта технология Вагнера. Не могу я ничего делать, не привязавшись к делу…»* Менделеев вдруг ловит себя на серьезном желании определить оптическую активность скипидара и отдается этому исследованию в лаборатории Леона Шишкова. У него появляется вкус к решению сугубо производственных вопросов.

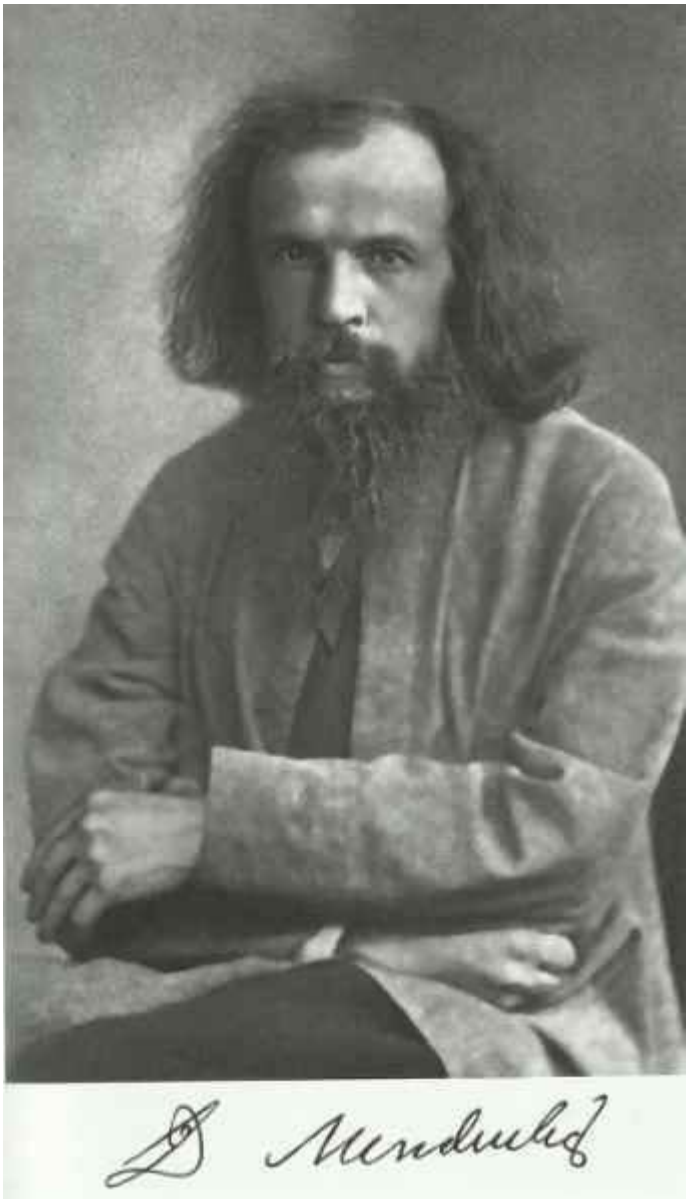
Первое испытание сил в этой области произошло в имении Кошели, принадлежавшем

семье его приятеля А. К. Рейхеля, на предприятии по сухой перегонке древесины. Производство там велось в сопровождении регулярных взрывов и сильных выбросов горячего дегтя, при этом количество и качество готового продукта были весьма низки. Неизвестно, насколько хозяева воспользовались советами Менделеева, но нет сомнений в том, что молодой ученый немедленно по приезде увидел все прорехи доморощенного производства и четко на них указал. Свидетельство тому — его подробные дневниковые записи, касающиеся не только самого предприятия, но и связанных с ним людей: помещиков, крестьян, конторщиков. (Из этих записей мы узнаём, что дальняя зимняя дорога вновь одарила нашего героя душевным покоем: *«Моя жизнь — поездки»* .) Есть косвенное доказательство, что Рейхель все-таки не стал перестраивать производство в Кошелях: скипидар, который он вскоре повез демонстрировать на Всемирной выставке в Лондоне, был выгнан собственноручно Менделеевым в лаборатории Второго кадетского корпуса. Но как бы то ни было, отныне Дмитрий Иванович начинает всерьез думать об усовершенствовании мельниц, установок для перегонки нефти, смолы и прочего промышленного оборудования. Внутреннее ощущение подсказывало: он способен и, стало быть, должен работать, испытывая максимальную и разнонаправленную интеллектуальную нагрузку. Похоже, его мозг жаждал именно такой эксплуатации — почти вразнос, на грани возможностей. Поздней ночью, отводя душу над дневником, Менделеев иногда даже не мог вспомнить, кто сегодня к нему заходил в гости. В таких случаях он пишет: *«Кто-то сидел».* Но точность бытовой памяти Менделеева не волнует. Если ему что и важно в этот период, помимо преподавания, науки и технологии, так это объединение ученых разных школ и направлений в единое химическое общество. Дух Карлсруэ продолжал громко стучать в его сердце.

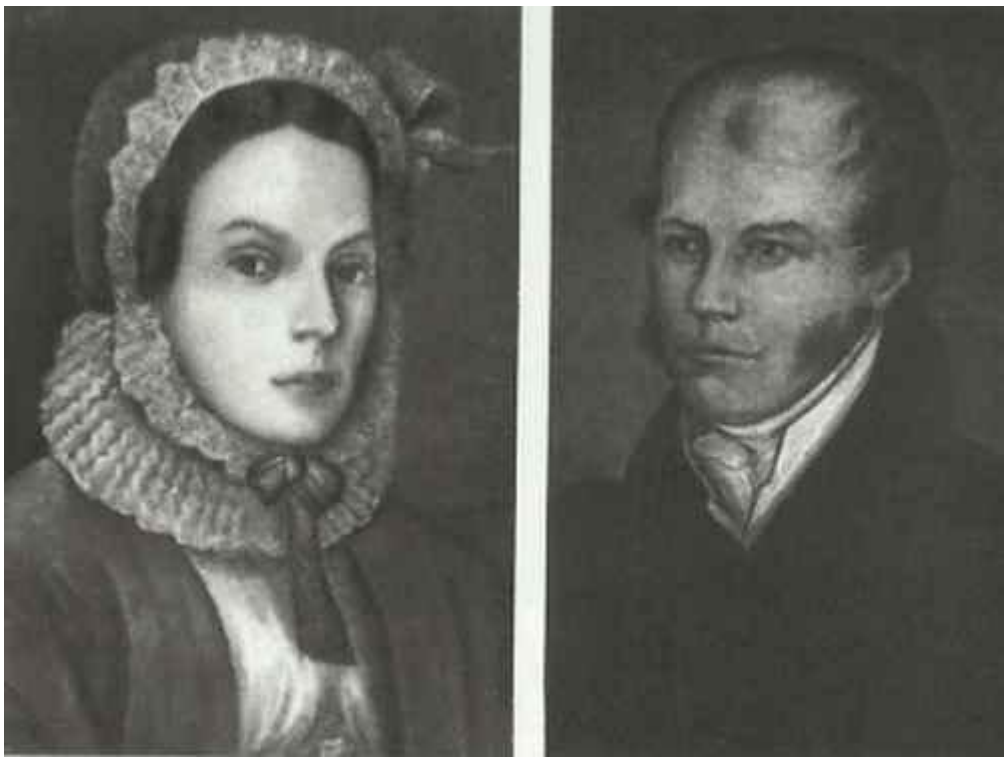
Бог знает, чего только не было на пути создания русского химического общества! Члены разных кружков смотрели друг на друга свысока, академики не вполне понимали университетских, старики побаивались молодых. Менделеев, который, несмотря на тяжелый характер, в силу очевидной неангажированности и душевной искренности вызывал доверие у представителей разных группировок, пытался вместе со своими друзьями «сшить» петербургское химическое сообщество, натыкаясь порой на удивительные препятствия и делая очень важные для себя открытия. Так, например, произошло, когда он вместе с Леоном Шишковым решил уговорить академика Фрицше выступить в качестве руководителя будущего общества. Фрицше казался им наиболее приемлемой фигурой: академик, но без академического снобизма, немец, но без спеси, молодым охотно помогает, душой болеет за русскую науку. На одном из приемов, которые Фрицше устраивал для коллег, они увлекли хозяина в библиотеку и изложили ему свой план. В ответ на это важный, всегда уверенный в себе Фрицше вдруг расчувствовался и поведал о том, как он завидует им, получившим настоящее систематическое образование. Одновременно потрясенный и польщенный таким доверием со стороны человека, обладавшего безусловным авторитетом среди всех химических «партий», Менделеев передает в своем дневнике его монолог: «Я получил мелкое образование — не то, что вы. Я тринадцати лет поступил учеником в аптеку. До тех пор учился я только у одного учителя, учившего нас всему, что проходилось в нашей школе. Это пребывание в аптеке научило меня приемам. Случай был мне помощником, что я попал ассистентом к Мичерлиху. Тогда я стал работать из побуждения, записался студентом. Узнавал, что мог. Что же вы хотите от меня? Я не в силах угнаться за вами… Я работал, сколько было сил, и собирал факты. Собирать вас в общество я боюсь, чтобы себя не компрометировать на последнее время…» Волнение, в которое был ввергнут Дмитрий Иванович, объяснялось не только тем, что эти слова исходили от человека, оказавшего ему важную жизненную поддержку. Менделеев вдруг увидел себя как бы со стороны, другими, заинтересованными глазами: Фрицше считал его по меньшей мере ровней себе! Это сильно встряхнуло молодого ученого, заставило поверить в искренность отношения к нему не только Фрицше, но и Зимина, представлявшего в академии его работы, Вюрца, восторженно пропагандировавшего в Европе его теорию пределов, других состоявшихся и даже прославленных ученых: *«Давно не проносились над усталой головой моей такие радостные,*

отрадные дни, как сегодня, давно не поднимался дух высоко так и не определялись силы… Сегодня я вышел силен духом… Таков уж я — помесь свежести и гнилости. Вот мой сегодняшний день. Надо его не забыть…»

Подобное воодушевление посещало Менделеева в ту пору довольно редко. Постоянное, мучительное смятение было связано не только с сомнениями на свой счет, но и с тревогой по поводу массовых беспорядков, сотрясавших в это время университет и другие учебные заведения Петербурга. Он становится жертвой очередного обиднейшего «несовпадения» с внеш-



Мемориальная плита на месте церкви в Удомельском районе Тверской области, где служил священником дед Д. И. Менделеева П. М. Соколов



Мария Дмитриевна Менделеева, урожденная Корнильева, мать Д. И, Менделеева

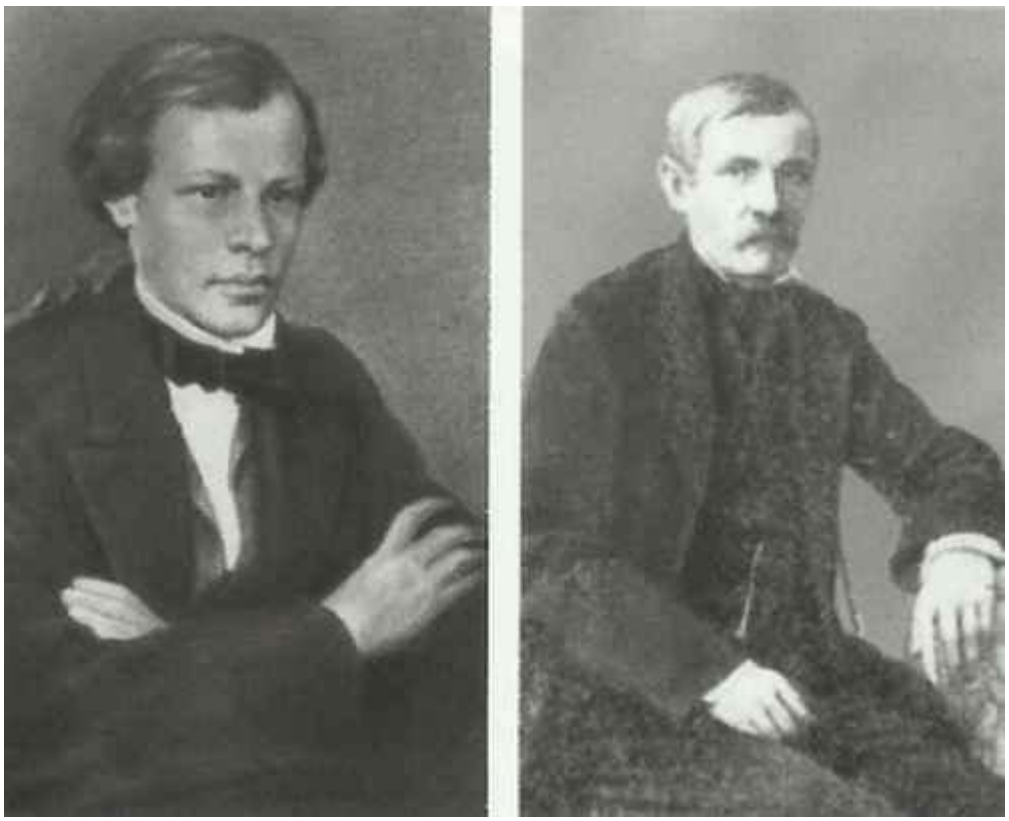
Иван Павлович Менделеев (Соколов), отец Д. И. Менделеева.
Копии А. И. Менделеевой с портретов неизвестного художника первой половины XIX в.

Сестры Д. И. Менделеева.

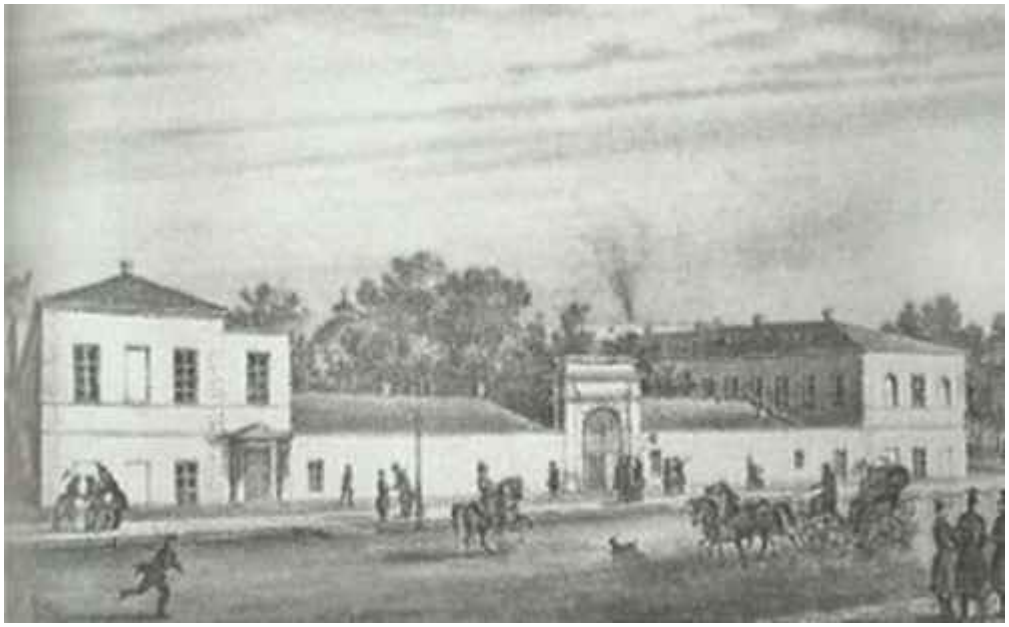
Слева — Екатерина Ивановна, в замужестве Капустина. *А. И. Лещов.*
Справа — Мария Ивановна, в замужестве Попова

Вид Тобольска. *Конец XIX в.*

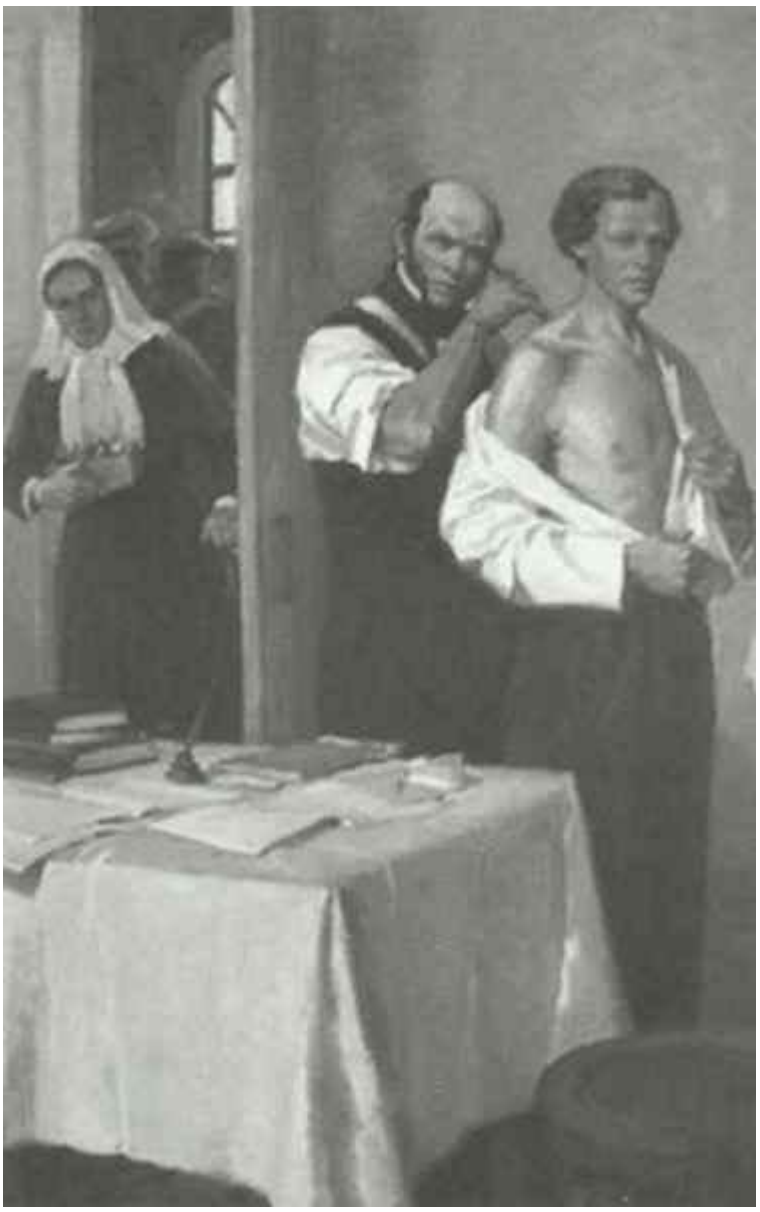
Тобольская гимназия, в которой учился Д. И. Менделеев



Дмитрий Иванович Менделеев — выпускник Главного педагогического института. ***1855 г*** **.**
Николай Васильевич Басаргин

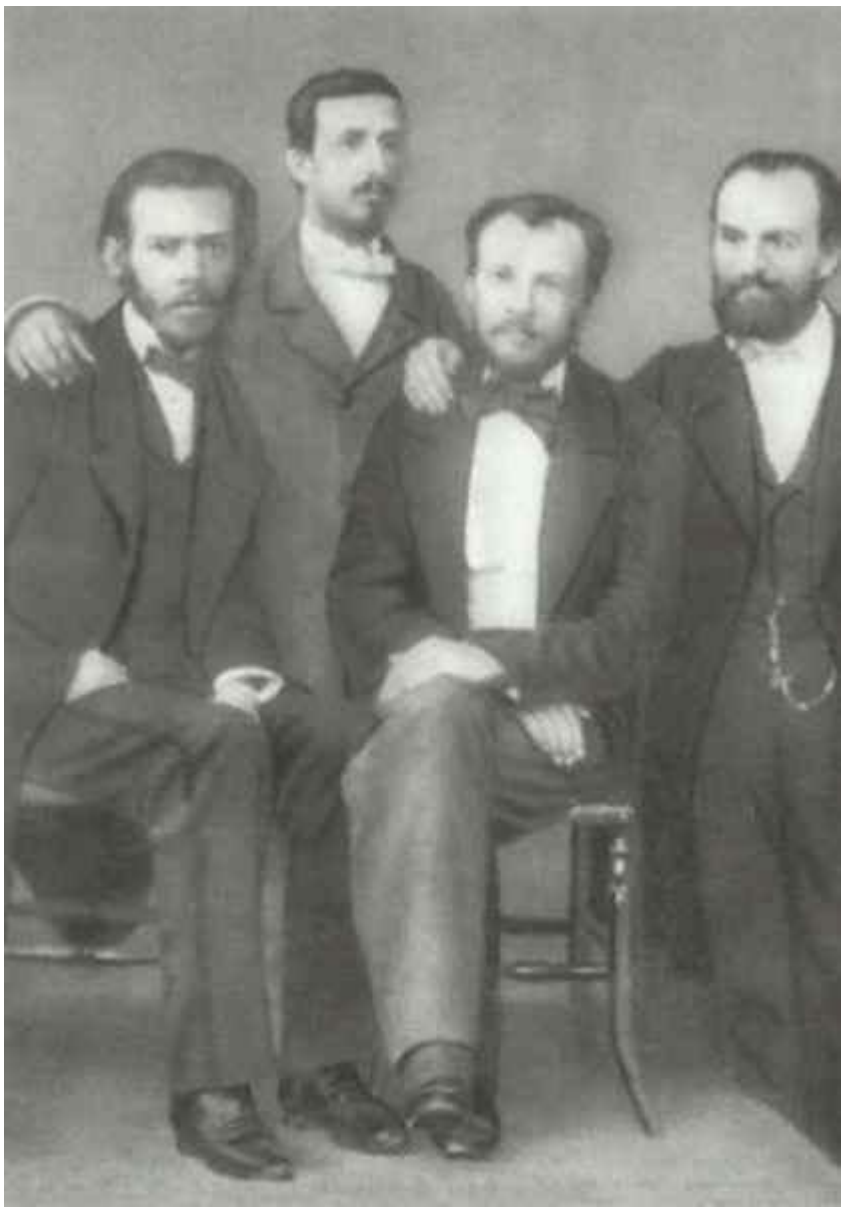


Гимназия при Ришельевском лицее в Одессе, где Д. И. Менделеев преподавал в 1855–1856 годах. ***Середина XIX в.***



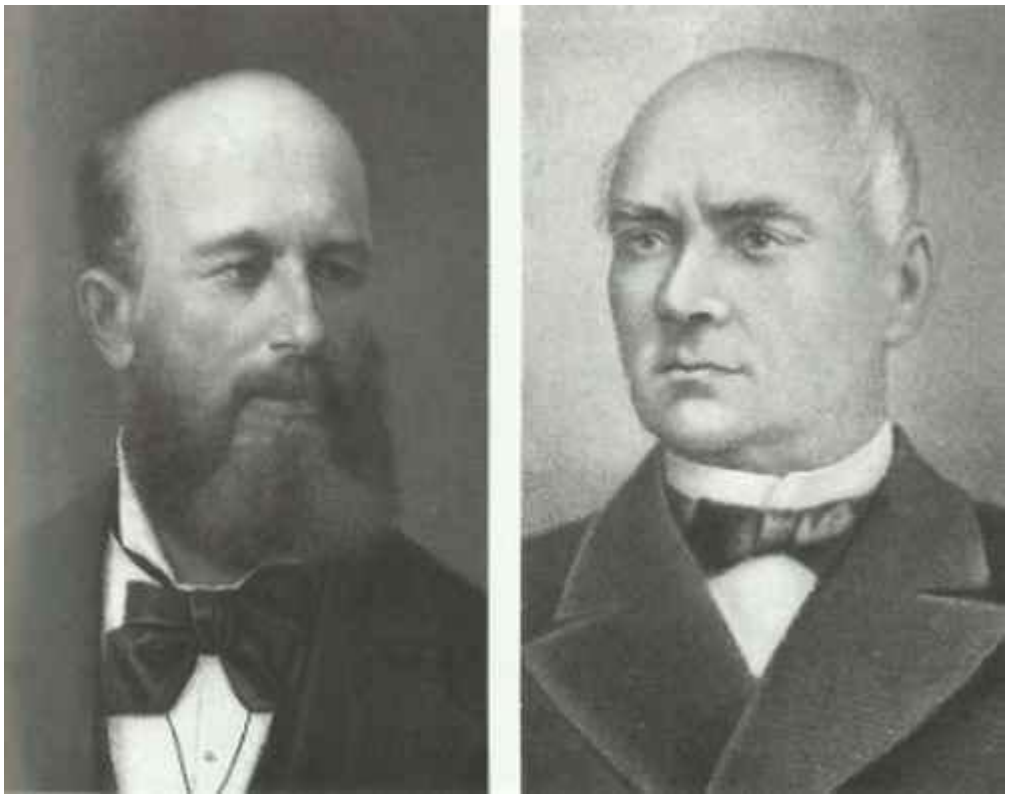
Д. И. Менделеев в симферопольском госпитале на приеме у Н. И. Пирогова. *И. Тихий*.

Гейдельбергский университет, в котором Менделеев работал в 1859–1860 годах



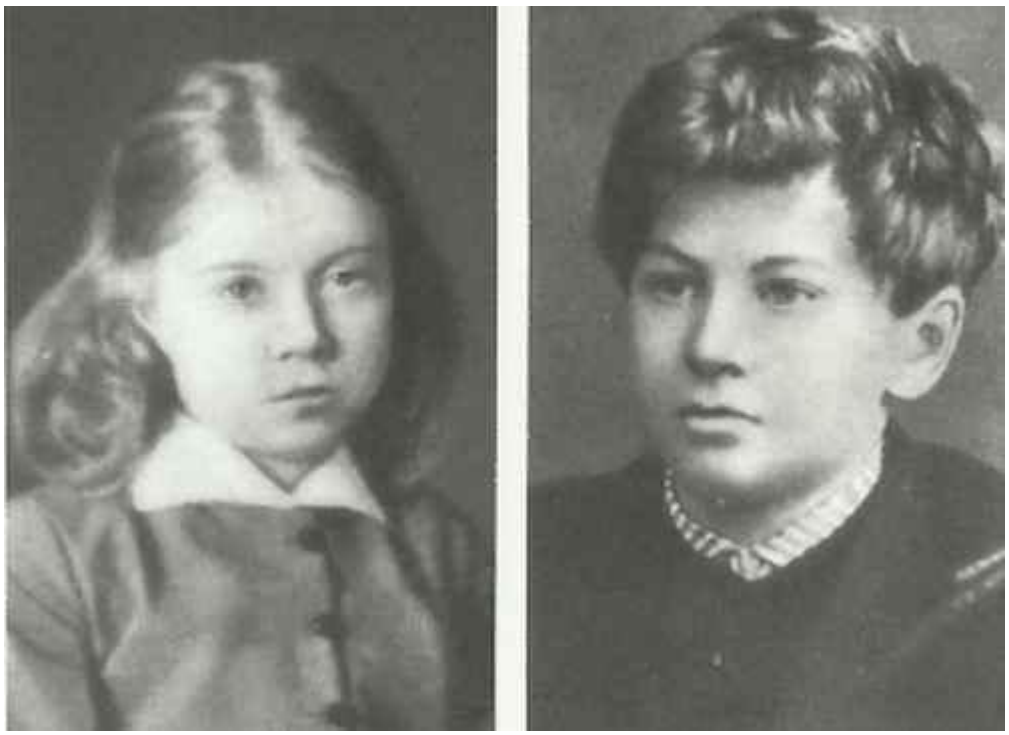
С друзьями по Гейдельбергу. Слева направо: Н. Житинский, А. П. Бородин, Д. И. Менделеев, В. И. Олевинский. *1859–1860 гг.*

Здание Двенадцати коллегий, где размещались Санкт-Петербургский университет и Главный педагогический институт. ***Вторая половина XIX в.***



Александр Михайлович Бутлеров
Александр Абрамович Воскресенский

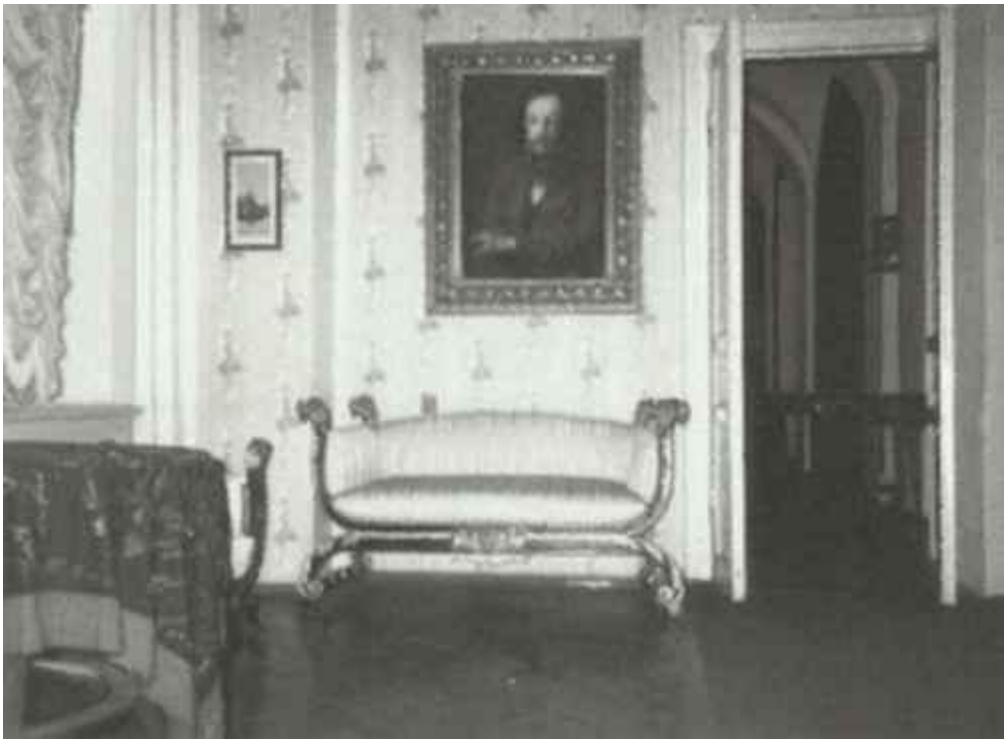
Д. И. Менделеев с женой Феозвой Никитичной, урожденной Лещевой. ***1862 г.***



Оля и Володя, дети Менделеевых

С Олей и Володей в имении Боблово. ***1876 г.***

Дом в Боблове, перестроенный по проекту Д. И. Менделеева



Комната университетской квартиры Менделеевых

Кабинет профессора Д. И. Менделеева

Д. И. Менделеев. ***Я. А. Ярошенко. 1886 г.***

Алексей Петрович Зверев (Алеша), университетский лаборант

Д. И. Менделеев (в центре) среди профессоров и сотрудников Санкт-Петербургского университета. ***1875 г.***

Племянница Д. И. Менделеева Надежда Яковлевна Капустина, в замужестве Губкина
Вторая жена Д. И. Менделеева Анна Ивановна, урожденная Попова

Д. И. Менделеев. ***А. И. Менделеева 1886 г.***

Д. И. Менделеев с дочерью Ольгой и ее женихом мичманом Л. В. Трироговым. ***Весна I889 г .***

После развода. Слева направо: Ольга и Владимир Менделеевы с дядей П. Н. Лещовым и матерью на даче в деревне Ново-Сиверской

Подготовка к старту воздушного шара «Русский», на котором Д. И. Менделеев совершил одиночный полет из Клина в день полного солнечного затмения. ***7 августа 1887 г.***

Д. И. Менделеев. М. А. Врубель. ***Середина 1880-х гг .***

ними обстоятельствами. Студенты требовали перемен, выламывали двери запертых аудиторий, ища место для многолюдных сходок, сотнями и тысячами выходили на демонстрации, дрались с жандармами, писали петиции, протестовали против режима, а Дмитрий Иванович именно в это время приближался к пику своего молодого преподавательского мастерства. На лекции Менделеева приходили люди с других факультетов и даже образованные горожане отнюдь не студенческого возраста, но университет-то уже находится на пороге закрытия. *«Народу у меня много сидело… Читал я об законе кратных отношений, паев, законе гомологии… Записывали многие, даже дама одна. Не последняя ли это лекция моя? А первая-то по блеску из всех, которые я до сих пор читал, так несомненно первая. Чувствую, что не смущаюсь, что говорю свободно, только тороплюсь, спешу перейти к более интересному новому, к жераровой революции* [21]*…»* А вокруг бушевала жажда совсем другой революции.

---

[21] Речь идет об унитарном учении эльзасского химика Шарля Фредерика Жерара, создателя самой совершенной на то время классификации органических веществ.

Менделеев, еще недавно восторгавшийся бурлящей Италией, конечно, не мог не сочувствовать одухотворенной студенческой толпе. Он тоже хотел верить, что в России наступает новая эпоха, он ее приветствовал, но одновременно точно знал, что сам витийствовать не должен и не будет. Противостояние приобретало всё более крайние, претящие ему формы. Правительство и не думало договариваться с бунтарями. Вскоре уже никто не помнил причин конфликта: студенты потребовали то ли побыстрее рассматривать жалобы, то ли снизить плату за обучение. Дело было совсем в другом, неизмеримо более значимом, но в чем же именно? Вечерами Менделеев лихорадочно, страница за страницей, исписывал свой когда-то мирный «гейдельбергский» дневник картинами тревожных событий, ища их суть и смысл, и с каждым днем всё более укреплялся в мысли о том, что необходимо успокоить горячих студентов, уберечь их от жертв и крови. Чего, в самом деле, можно было ждать от военного начальства, которому правительство полностью развязало руки? *«Их не спросят, чего они хотят, их не будут слушать, им только велят, ударивши 3 раза в барабан, разойтись, и потом, по воле начальника военной силы, какое хотят оружие, то и употреблять, и ответственности нет никакой. Ужасные дела. Невероятно, как это прошло через руки министров и государя в наше время. Печаль, тоска, омерзение».*

Он искал умеренную «партию» и не мог ее найти. Кто-то из профессоров поддерживал студентов, кто-то — правительство, кто-то равнодушно ждал развития событий. К Менделееву приходили с петициями об освобождении арестованных студентов. Он подписывал. Студентов всё равно не отпускали. Вскоре ими была заполнена вся Петропавловская крепость, на стенах которой какой-то смельчак вывел большими буквами: «Петербургский университет». Дмитрия Ивановича приглашали вместе с другими профессорами к министру. Он не ходил. Сделал попытку уйти в отставку — ректор Срезневский, слава богу, не принял заявление. Менделеев записал в дневнике: *«Обуяет внутри мерзость какая-то. Видишь себя бессильным, слабым… отчаяние берет. Режут, топчут — сила физическая велика их, наша ничтожна, мало будет за них (* студентов*. — М. Б.), и чем больше будем толковать, тем больше делу прогресса повредишь. Надо молчать и дело делать, надо нравственную силу увеличивать, а не выбалтываться — на то много силы тратится. Жаль — России грозит опять надолго темень…»* Манифестации и столкновения продолжались до середины декабря. 20-го числа университет закрыли, и Менделеев вместе с группой других профессоров был выведен за штат.

Сразу после этого события Дмитрий Иванович оказывается в числе самых энергичных организаторов свободного лектория в Таврическом дворце и училище Святого Петра (*Petris-chule*). Вместе с ним публичные лекции начали читать многие университетские профессора и ученые из других вузов. Несмотря на сугубо предметное содержание, лекции, безусловно, носили некий отпечаток фронды и воспринимались начальством без удовольствия. Министерство просвещения в это время вело двоякую политику в отношении университетских преподавателей: с одной стороны, стремилось выдавить из аудиторий и общественной жизни наиболее неприятных для себя профессоров (например, за одну лишь попытку высказаться по поводу происходивших событий был арестован один из активных участников лектория профессор П. В. Павлов), с другой — пыталось сохранить лояльность «тяглового» профессорского корпуса. Видимо, поэтому выведенным за штат преподавателям сохранили денежное содержание вплоть до пересмотра устава университета и вообще старались обращаться с ними поласковее, даже сняли препоны против длительных научных командировок в Европу. Что касается студентов, которым было предложено искать место в других университетах, то они уже валили из России толпами — только теперь не за наукой, а за политической свободой. Лекторий (иногда он именуется Вольным университетом) просуществовал всего месяц и был закрыт в знак протеста против ареста П. В. Павлова.

Всё это бурное время Менделеев продолжал упорно трудиться: читал лекции, ставил опыты, писал статьи, занимался переоснащением вверенной ему лаборатории Института Корпуса инженеров путей сообщения, горячо выступал на квартирных профессорских собраниях, где политические и научные новости обычно обсуждались с равным интересом.

Его причудливо сбалансированная натура, несмотря ни на что, реализовывала себя во всём, включая личную жизнь. *«Писать больше не могу и некогда, и мысли так врозь идут и тяжко, и свободно — всё так мешается — не разберешь, право. Надумал, наконец, — долго раздумье брало — 10-го поговорил с Физой, а 14-го был женихом. Страшно и за себя и за нее. Что это за человек я, право? Курьезный, да и только. Нерешительность, сомнения, любовь, страх и жажда свободы и деятельности уживаются во мне каким-то курьезным образом. Где всему этому решение, не знаю. 1862 год. 7 апреля. Суббота* ». Это последняя запись в его подробном, фантастически всеохватном «гейдельбергском» дневнике. Больше Менделеев в него ничего никогда не вписал, тем самым как бы давая своим будущим биографам сигнал отойти на более деликатное расстояние. И то правда: не всё же им спокойно и без сомнения заглядывать в его распахнутую душу.

Менделееву уже 28 лет, он достаточно известен как ученый, преподаватель и эксперт в области технологии. Его советы предпринимателям всегда точны и оборачиваются для них хорошими доходами, но сам он ни в коем случае не собирается становиться заводчиком — считает, что таким образом «ограбит свою душу». Менделеев предпочитает иное, интеллектуальное служение на ниве промышленности. Оно, конечно, менее прибыльно, но вкупе с доходами от публикаций и преподавательским жалованьем дает ему неплохие средства. Упорным трудом ученый значительно улучшил свое материальное положение — в 1861 и 1862 годах он заработал примерно по пять тысяч рублей. Значительная часть этих денег съедалась расходами, но оставалось достаточно для того, чтобы можно было всерьез думать о семейной жизни. В противостоянии студентов с правительством он, безусловно, ближе к студентам — до тех пор, пока они остаются студентами, то есть учащимся сословием. Что с того, что студенты всё дальше будут отходить от своей обязанности учиться, предпочитая ей желание бороться, что университетские волнения не закончатся до самой смерти Менделеева, что ситуация, при которой способные молодые люди, плюнув на прогресс, начнут мастерить бомбы, будет отныне точить и отравлять его душу? Всё равно студенчество — для него понятие родное и близкое. На них надежда. Одумаются. Услышат. Поймут. А вот чиновничество Дмитрию Ивановичу отвратительно: *«Пусть их царство и цветет — не нам место там — унизительно, опошлеешь с ними — скверно, и плакать хочется, и злоба берет».* К простому народу относится он с нежной любовью, но в то же время трезво и практично, как и следует сторонникy учения Роберта Оуэна, считавшего, что «человеческая природа в основе своей является доброй и ее можно обучить, воспитать и, начиная с рождения, поставить в такое положение, что, в конечном счете (то есть как только наиболее значительные ошибки и искажения настоящей лживой и безнравственной системы будут преодолены и искоренены), она целиком должна стать внутренне единой, доброй, мудрой, богатой и счастливой».

Впрочем, весной 1862 года Дмитрий Иванович не думает ни о массовых беспорядках, ни об Оуэне. Нервно, взвинченно и отчаянно он ставит опыт над своим одиночеством. Это бросается в глаза всем и конечно же замечено Протопоповыми, у которых Менделеев просит руки их племянницы. Получив согласие, он немедленно приходит в ужас из-за неуверенности в своих чувствах. Что делать? Бежать из-под венца? Ситуацию спасает Ольга Дмитриевна. Ее письмо напоминает брату о мужском долге и семейной чести: «Вспомни еще, что великий Гёте говорил: «Нет больше греха, как обмануть девушку». Ты помолвлен, объявлен женихом, в каком положении будет она, если ты теперь откажешь?» Он смиряется и даже вновь ощущает нежные чувства к своей невесте. А Физа просто счастлива. Шьется приданое, Дмитрий подает прошение о новой командировке за границу. 25 апреля прошение удовлетворено, а 29-го в церкви Николаевского инженерного училища происходит венчание Дмитрия Ивановича Менделеева и Феозвы Никитичны Лещовой. Еще через неделю новобрачные отправляются в четырехмесячное путешествие по Европе.

Теперь не нужно было думать ни о ямщиках, ни о дилижансах. От Санкт-Петербурга до Берлина молодожены без всяких хлопот доехали поездом. У Феозвы, ни разу не бывавшей за

границей, то и дело возникали вопросы по поводу заоконных видов. Супруг отвечал ей уверенно и обстоятельно, как и положено опытному путешественнику. Впрочем, у его жены наверняка были и другие вопросы. Скажем, зачем ты, Митя, в своих письмах из Гейдельберга так много места уделял окружающим тебя красивым дамам, зачем намекал на всякие романтические обстоятельства? Тебе, верно, нравилось дразнить меня? На что, можно не сомневаться, молодой супруг отвечал столь же спокойно, разве что на мгновение задумавшись, — а действительно, зачем? Всё было прекрасно, он вез жену по местам, где недавно был счастлив, и снова испытывал счастье — по уже другое, ранее незнакомое счастье твердо стоящего на ногах семейного человека.

Из Берлина они отправились в Геттинген, потом во Франкфурт-на-Майне и Гейдельберг, где абсолютно всё переменилось. Нет, сам город остался прежним, но русскую колонию было не узнать. В пансионате Гофманов жили совсем другие люди и слышались иные, далекие от науки речи, сама тональность которых напоминала о непрекращающихся беспорядках и Петербурге. И еще всё это напоминало об ушедших навсегда друзьях. Самой свежей потерей был безмерно душевный и талантливый Людвиг Беккерс, военный хирург, молодой сподвижник Пирогова в Крымскую кампанию, в 29 лет ставший адъюнкт-профессором и заведующим хирургической клиникой Медико-хирургической академии. Однажды рано утром он разбудил друга Сеченова и попросил поставить свидетельскую подпись на его собственноручно составленном завещании, потом объявил ему, что принял большую дозу цианида. Был бледен, но спокоен. Отчего, как произошла в нем страшная внутренняя работа, приведшая к роковому решению? Ничего не известно. Просто решил уйти.

Может быть, из-за памяти о потерях Менделеевы не задержались в Гейдельберге и вообще в Германии — через десять дней они были уже в Роттердаме, а еще спустя трое суток — в Лондоне, где уже месяц как открылась Всемирная торгово-промышленная выставка. Это была третья всемирная выставка, причем первая, состоявшаяся десять лет назад, также проходила в столице Британской империи. Для той, первой, в Гайд-парке по проекту Джорджа Пакстона, управляющего садами в имении герцога Девонширского, был выстроен чудо-павильон, который знатоки архитектуры ставили в один ряд с парижским Пантеоном и стамбульским храмом Святой Софии. Главной особенностью этого сооружения были стеклянные стены и перекрытия, что само по себе не могло не волновать Менделеева, выросшего на стекольном заводе. Не приходится сомневаться, что Хрустальный дворец, перекочевавший к тому времени из Южного Кенсингтона на Сайденхемский холм, был внимательно им осмотрен. Сооружение было восхитительно. Если бы только маменька могла это увидеть!

Новый павильон, спроектированный морским инженером Фоуком, был выполнен в компилятивном стиле — барокко и псевдоклассика — с множеством ворот, арок, пилястров и карнизов. Площадью он был значительно больше Хрустального дворца, но сама выставка оказалась несколько бледнее. Англия, на правах хозяйки представившая самую крупную экспозицию, переживала не лучшие времена. Америка, где шла гражданская война, перестала поставлять бывшей метрополии хлопок-сырец, и хлопчатобумажные производства терпели огромные убытки. На ротонде, поддерживавшей купол выставочного павильона, крупными буквами была выведена пышная фраза: «О Боже! От Тебя снисходят на землю богатства и слава. Ты царствуешь над всем, в деснице твоей заключается могущество и сила, и только Ты можешь сделать человека великим». Газеты же писали об открытии выставки без всякой помпы: «Дела очень плохи… Манчестер совсем в крайности. Ланкашир совсем изнемогает. Надо же так, чтобы праздник промышленности праздновался именно в тот самый час, когда промышленность выносит тяжкий кризис». И все-таки Дмитрий Иванович видел вокруг себя очень много любопытного. С русскими экспонатами, включая орудийный лафет новой конструкции и пушку, ствол которой выдерживал тысячу выстрелов без всякого урона для точности стрельбы, он наверняка познакомился раньше, на Петербургской торгово-промышленной выставке, и хорошо знал все — или почти все — выставленные

товары. (Обозреватель «Московских ведомостей» в своем отчете о Лондонской выставке писал: «Россия… обращает на себя внимание химическими произведениями, замшею, кожами, которые выделывает в таком множестве и разнообразии, хлебом, одеялами и особенно носовыми платками. Если же в чем-то и можно упрекнуть ее, то в недостатке оригинальности… Все произведения русской мануфактуры отмечены неприятной печатью однообразия, словно они сработаны все по одному заданному образцу».) А вот западное технологическое оборудование весьма его интересовало.

Англия, в частности, представила воздухонагревательный аппарат Э. Каупера для горячего дутья в доменных печах, паровой молот конструкции Д. Несмита, двигатель на газовом топливе и универсальный фрезерный станок. Его поразила европейская техника для механизации сельскохозяйственных работ, при этом знатоки говорили, что американец по фамилии Маккормик, по понятной причине не приехавший на выставку, уже изобрел жатку и сенокосилку, на треть снижающие затраты труда… Всё это было удивительно в смысле силы изобретательского гения, а также той заинтересованности, с которой новинки выхватывались из рук создателей. Прогресс — светоч и кумир Менделеева — демонстрировал безотказные рычаги своего успеха, заставляя русских экскурсантов чуть ли не в голос рыдать о роковой развернутости русской цивилизации назад, внутрь себя самой. Всё, что они видели, было так разумно, понятно и необходимо, но всё это было не для них. Чем же провинилась их родина? За что, для чего и от чего хранит ее Господь?

Менделеевы пробыли на выставке десять дней и уехали за день до награждения победителей. 12 мая состоялась «великая публичная церемония», в которой приняли участие тогдашний премьер-министр Великобритании лорд Г. Пальмерстон, бывший и будущий премьер-министр граф Д. Рассел, будущие премьер-министры У. Гладстон и Б. Дизраэли и даже египетский паша. Было вручено семь тысяч медалей и 5300 почетных отзывов. Россию не обидели — ей достались 177 медалей и 128 почетных отзывов жюри и уважительные аплодисменты в адрес нескольких действительно классных образцов вооружения и моделей новых судов, особенно 111 — пушечного корабля «Николай I». Но из общего количества наград около ста было присуждено традиционным сырьевым продуктам, тканям, щетине, воску, стеарину, льну, пеньке и шерсти. Были отмечены также колоссальные куски графита весом до восьми пудов каждый, ваза шириной около метра, колонна коринфского ордера высотой более трех метров и огромный кусок нефрита из Иркутска… Надо сказать, что местные журналисты были значительно более благосклонны к русскому разделу, нежели корреспонденты российских газет. «Мы не видели ни одного предмета, — писал британский обозреватель о русском разделе, — каким бы маловажным он ни был, который не носил бы па себе печать высшей европейской цивилизации и высокого художественного вкуса, что много обещает в будущем российской промышленности при необъятных богатствах страны».

Менделеевы весь этот праздник пропустили — они в это время уже смотрели в небо, лежа на нежной брюссельской граве. Впрочем, долго задерживаться на одном, даже самом расчудесном, месте Менделеев не мог. Крохотная Бельгия, всего несколько десятков лет назад ставшая государством, тем не менее обладала самыми передовыми в Европе предприятиями мерной и цветной металлургии, о которых редактору русской версии «Энциклопедии по Вагнеру» нужно было знать всё. Металлургические комбинаты были расположены вокруг Льежа, Шарлеруа, а также в Брабанте, Зальзате и в окрестностях Антверпена. Неизвестно, какие именно заводы посетил Дмитрий Иванович, но ему на это хватило нескольких дней.

Через неделю они уже оказались в Париже. Феозва, до тех пор не покидавшая Петербурга, была в восторге от публики и модных лавок, а ее супруг, на сей раз рассматривая столицу мира спокойно и не спеша, уже не мог не заметить, что большинство зданий этого яркого города построены из сероватого местного камня. Лишь благодаря солнечному освещению городские стены окрашивались то в желтоватые, то в розовые, то в голубые тона. А устроен Париж был еще запутаннее Москвы — его округа-аррондисманы

следовали друг за другом по часовой стрелке, разворачиваясь по спирали вокруг острова Сите. И поскольку каждый округ был местом жительства определенного сословия, приезжему любопытно было угадывать, где обитают встреченные на улице парижане: этот похож на состоятельного буржуа — значит, живет в шестнадцатом округе; а тот, скорее всего, художник и ночует где-то в мансарде в одиннадцатом округе; вот идет господин, смахивающий на университетского преподавателя, — такие селятся в шестом округе; а важный чиновник с ленточкой Почетного легиона в петлице может чувствовать себя уютно только в пятом округе. Что же касается его любимых «блузников» (мастеровых), то теперь, после петербургских бунтов, его восторг по поводу рабочей толпы поумерился. А вот мудрость городского префекта, барона Жоржа Османна, который в царствование Наполеона III покончил с кривыми, узкими улочками и ограничил городской бунт широкими, открытыми для необходимых (и отнюдь не крайних) мер бульварами, не могла не вызвать одобрения Менделеева. Действительно, зачем топтать людей лошадьми и сечь нагайками, если можно в случае угрозы беспорядков просто перекрыть движение любой толпы? Постоят и разойдутся по домам есть свою луковую похлебку. И на здоровье, господа, на здоровье! Скажите спасибо, что вы не в Питере, там улицы хоть и прямые, зато нагайки плетеные…

Среди знакомых, которых Менделеев посетил в Париже, был, конечно, мсье Саллерон, искренне обрадовавшийся русскому другу. Дела старого механика шли отлично, заказов поступало столько, что он начал готовить к печати тщательно проработанный каталог своих фирменных приборов с чертежами, указанием всех размеров, материалов, конструктивных характеристик и цены, которую он готов заплатить любому мастеру, который взялся бы за такую работу. А точность? Если всё сделают правильно, точность будет *garantir* . Мсье Менделеев, можете не сомневаться! *Garantir* !

Из Парижа молодожены отправились в Швейцарию, потом в Италию, где пробыли до конца июля. Когда возвращались обратно через Сен-Бернарский перевал, Феозва не могла не вспомнить испугавшую ее историю, описанную будущим мужем в пору его стипендиатской жизни. Дело было в конце ноября 1860 года, Менделеев с приятелем добирались из Италии в Гейдельберг. Альпийские перевалы уже завалило снегом, но другого пути не было, и они отправились сначала дилижансом, потом на возке и в конце концов наглухо застряли в деревушке Айроло на полпути к перевалу, где вместе с шестью другими путешественниками оказались запертыми в жалкой хижине. Рядом с ней сходили лавины тяжелого мокрого снега — одна накрыла и едва не погубила трех несчастных путников. На третий день закончился хлеб, ели жареных сурков; на четвертый решили выбираться, несмотря ни на что. До перевала часов пять карабкались по снегу и скалам, чуть не слетели в пропасть, но все-таки перетащили свой возок через Альпы и оказались в конце концов на отличной дороге, по которой и помчались вниз «с русской быстротой». Сейчас, путешествуя по летним Альпам, она снова, как тогда, читая письмо, растревожилась, искала глазами ту деревушку, думала об опасностях, которые грозили ее Мите, и, возможно, о том, о чем неизбежно подумал бы любой человек, знакомый с этой историей: откуда среди снежных завалов могли взяться жареные сурки? Не иначе как забежали из Италии, где продолжала стоять теплая, солнечная погода.

По возвращении в Петербург Менделеевы поселились в квартире у Симеоновского моста на Фонтанке, в доме 28, владении господина Оржевского. Вскоре после новоселья пришла плохая весть из Томска — умер брат Иван. Бедная вдова осталась с шестью детьми — старшему десять лет, младшей десять недель. Дмитрий и Феозва уже ждали своего ребенка, однако сразу же отозвались предложением взять к себе десятилетнего племянника Яшу. Так в семье появился тихий, уважительный и очень послушный мальчик.[22]

---

[22] Дмитрий Иванович устроил племянника во Второй кадетский корпус, но Яша не справлялся с кадетской нагрузкой и вскоре был оттуда отчислен. Тогда дядя нанял ему на лето домашнего учителя и на следующий год определил в Пятую петербургскую гимназию, где математику и физику преподавал его друг К. Д. Краевич. Но и там, несмотря на поддержку, мальчик учиться не смог. Его матери не оставалось ничего другого, как убрать

В марте 1863 года у Менделеевых рождается дочь Маша, которую Феозва Никитична, несмотря на уговоры, решает кормить сама. Дмитрий Иванович, осваивая новую для себя роль отца семейства, вдруг проявляет себя с довольно неожиданной стороны. Оказывается, он, сильно разбросанный в мыслях и чувствах, способен быть не просто заботливым, но практичным и хозяйственным отцом и мужем. И это было очень кстати, поскольку его добрейшая, любящая супруга оказалась на диво неприспособленной к жизни — более нерешительную и слабохарактерную женщину трудно было представить. К примеру, нанять, а тем более рассчитать прислугу было для нее делом совершенно невозможным. К тому же она сразу после родов стала прихварывать, и чем дальше, тем больше. Дмитрию Ивановичу, постоянно озабоченному здоровьем жены и дочери, приходилось не только бесконечно много работать, но и держать в голове абсолютно все крупные и мелкие семейные заботы. И все-таки ощущения влюбленности и «правильного» счастья его не оставляли.

Сил, слава богу, хватало на всё, в том числе и на начатые им в это время исследования плотности спиртов. Менделеев не пропускал собраний коллег в лаборатории у Фрицше, где наблюдал публичные опыты и не уставал ратовать за создание русского химического общества. Писал о проекте нового университетского устава, который, кажется, обещал бóльшую свободу ученому и учащемуся люду. Его теперешняя жизненная дорога была еще более нелегка, нежели прежняя, зато избавляла от изнурительного одиночества и связанных с ним сомнений. Главное, было ради чего жить, кроме своей науки. Только бы Физа выздоровела. И какое же чудо его маленькая Машура!

На лето Менделеевы сняли дачу в Дубровке, на берегу Невы, рядом с Протопоповыми, Радловым, Пузыревским и другими близкими людьми, но прожить до конца лета на вольном воздухе им не довелось. Болезнь жены и состояние новорожденной дочери заставили Менделеева с семьей вернуться в город. Там его вскоре отыскал очень известный по тем временам промышленник В. А. Кокорев. До этого они не были знакомы, но Дмитрий Иванович не мог не знать об «откупщицком царе»,[23] энергичном торговце, который к тому же был создателем первой в России художественной галереи. Знал он, конечно, и о слабостях и чудачествах этого воротилы, слухами о которых были полны столичные гостиные. Кто-то — например, отец и сын Аксаковы, Сергей Тимофеевич и Иван Сергеевич, — считал его русским чудом; кто-то, как Лев Толстой, открыто издевался над его страстью к организации банкетов и произнесению речей. Самый грандиозный банкет Кокорев закатил по случаю прибытия в столицу группы защитников Севастополя. Дело было после сдачи города неприятелю и заключения позорного мира, но Кокорев не удержался от слезливо-пафосной речи, в которой объявил израненных, насилу выживших солдат победителями. По словам Льва Николаевича, Кокорев обожал «сказывать речи, столь сильные, что блюстители порядка должны были вообще принять укротительные меры против красноречия целовальника». Однажды Кокорев сгоряча поднял тост за неких людей, которые будут содействовать выходу «из кривых и темных закоулков на открытый путь гражданственности», чем настолько перепугал власти, что те на какое-то время вообще запретили публичные обеды с речами. Впрочем, купец всё равно продолжал свои спичи до тех пор, пока московский военный генерал-губернатор А. А. Закревский не написал жалобу

сына в Томск и отдать в местную гимназию. Там произошло небольшое чудо — маленький сибиряк, до того непроходимый двоечник, будучи возвращен в привычную среду, будто проснулся и набросился на учебу с чисто менделеевской жадностью. Особенно его заинтересовало естествознание. Его связь с семьей Дмитрия Ивановича осталась крепкой на всю его недолгую жизнь. Менделеев поддерживал его не только материально, но и добрыми письмами, на которые мальчик отвечал ласковыми родственными посланиями, беспокоясь о здоровье всех членов дядиной семьи. В 1870 году Яша, уже круглый сирота, успешно закончив гимназический курс, вновь приехал к Дмитрию Ивановичу, поступил в Кинологический институт, но вдруг заболел чахоткой и умер в окружении ставшего ему родным семейства.

[23] При государственной монополии на производство спиртных напитков частные лица, получившие право на винный откуп, уплачивали в казну определенную сумму и торговали казенной водкой. *(Прим. ред.)*

шефу жандармов князю В. А. Долгорукому, в которой назвал истового «экономического славянофила» «западником, демократом и возмутителем, желающим беспорядков». Не сдавшийся, а, наоборот, горящий желанием досадить Закревскому, откупщик в ответ перешел к сочинению памфлетов, чем навредил, похоже, больше всего себе: название его первого памфлета, «Миллиард в тумане», стало на долгие юды его собственным прозвищем. Однако неординарность поведения Кокорева никоим образом не умаляла его роли в русской промышленности — здесь он проявлял бесспорный коммерческий талант. Менделеев, знавший настоящую цену Кокореву, вряд ли мог предполагать, зачем тот его разыскивает. Василий Александрович предложил ему не просто решить судьбу недавно приобретенного им нефтяного месторождения около Баку, но и, по сути дела, дать заключение о рентабельности разработки закавказских нефтяных приисков.

Речь шла о предложении, от которого невозможно было отказаться. Начиналось время распространения осветительных ламп нового типа, в которых вместо жирных растительных масел сжигался фотоген (по-русски — светород), изготавливаемый из сапропелевого угля, торфа, сланца и, естественно, нефти. Чуткий к любым изменениям на товарном рынке Кокорев купил для пробы одно месторождение и устроил прямо посреди нефтяных луж (нефть вытекала из земли вместе с соленой водой) перегонный заводик. Чтобы решить вопрос о расширении промысла, купцу нужно было выяснить максимальный размер барыша. Поначалу Кокорев хотел, чтобы Менделеев взял управление делом на себя, и предложил хорошие деньги. Дмитрий Иванович отказался. Сошлись на том, что Менделеев обследует производство и пути доставки углеводорода в европейскую часть России, а также выберет оптимальное место для переработки нефти. 20 августа ученый отправляется в длительную поездку: Москва, Нижний Новгород, потом по Волге до Казани, Каспийским морем в Дербент и, наконец, Баку.

Всё это время он не устает писать жене длиннейшие письма. Ах, если бы не тревога о Физе и Машутке, как бы он был счастлив в своей стихии путешественника: *«Пошел полюбоваться ночью на Волгу. Ясно, тепло, отлично, среди звезд тянется Млечный Путь, и труба нашего парохода выбрасывает кучу своих звезд. От горного берега тень, всходит луна и освещает левый тихий берег…»* Он подробно описывает пейзажи берегов, богатство ярмарок, подарки и гостинцы, которые отправляет домой чуть ли не ежедневно: *«Купил книг о Кавказе, купил тебе канаусу серого на платье (15 аршин, ширина 1 арш.), Машурке купил 2 игрушки, Яше цветной бумаги и бордюру, чаю купил 10 фунтов по 2 рубля и 2 по 3 рубля»*, *«…взял тебе персидских гостинцев, 15 фунтов чудной фисташки, по 10 фунтов копсу (урюк или сушеные абрикосы) и 10 фунтов Али-Бухары (сушеные персики кисленькие)…»* Но никак, ни на минуту не может он отделаться от тревоги. Почему жена так редко пишет? Что с дочерью? *«Мне вспомнилась ты, моя душа, какая ты грустная стояла у перил вокзала. Не печалься, не грусти, вернусь встрепанный и освеженный морем и бездействием, виноградом и сном, вернусь как можно скорей, чтобы веселей пожить зиму, чтобы теплее было жить нам с нашим ангельчиком, как-то он барахтается? Поди-ка уже теперь кувыркается, вертится; занимает ли мой паяц и петух нашу крошку?»*

В то же время дело, ради которого он прибыл, делалось им быстро и четко. «Лежачий» завод в Суруханах — так называлось это местечко рядом с храмом огнепоклонников — был по его рекомендации переведен на круглосуточную перегонку нефти. Тут же, на месте он спроектировал оборудование для увеличения выхода осветительного масла. Посоветовал Кокореву начать производство эмалированных емкостей для морской и речной перевозки нефти (по сути, речь шла о первых нефтеналивных судах) и проложить нефтепровод до берега моря. Менделеев предложил также перенести переработку сырья в Нижний Новгород. Проведенные ученым экономические расчеты свидетельствовали: производство пятисот тысяч пудов осветительного масла может дать полтора миллиона рублей прибыли.

Кокорев, до того подумывавший было «закрыть керосиновую лавочку», начал быстро ставить дело на широкую ногу. Через двадцать лет его нефтяная монополия будет насчитывать 200 нефтеперегонных заводов, по Волге поплывут пароходы, в топках которых

будет гореть нефть, а керосиновые лампы появятся почти в каждой крестьянской избе. Что же касается завода в Нижнем Новгороде, то Кокорев сначала поручит его проектирование Менделееву, а потом раздумает и даже откажется заплатить обещанный гонорар. Менделеев, первым в России осмысливший масштаб народной и государственной в выгоды от использования закавказской нефти и всесторонне разрабатывавший эту тему в течение несколько десятилетий, заслужит себе, в конце концов, мало благодарности, зато наживет множество врагов. Всё это ждет его впереди. Пока же он занимается суруханским предприятием, не ведая, что в семью его пришла беда.

Феозва Никитична, которая ужасно страдала в разлуке с мужем, не смогла сама вести хозяйство и переехала с детьми к Протопоповым. Но и там она оказалась не в силах справиться паже с нянькой, нанятой Дмитрием Ивановичем для Маши. «Няня, как не стыдно бросать ребенка, — писала она записку нерадивой прислуге. — Я больная, что могу сделать! Именно только и порядок при Д. И., а нет его, и пошло всё вверх ином». Здоровье Маши быстро ухудшалось — приглашенные Менделеевым знакомые врачи давали толковые назначения, по девочке не хватало питания. Материнского молока было мало, следовало пригласить кормилицу, но мать только плакала… 1 сентября ребенок умер. Дочери уже не было, а Менделеев писал чуть ли не через строчку в каждом письме: *«Машеньке, Машурочке шлю сотню поцелуев, обойми ее…»*

Горе изживалось долго, трудно, да так и не изжилось. Но жизнь продолжалась. 1864 год принес Менделееву хорошие новости. Согласно новому университетскому уставу ему была предложена должность штатного доцента кафедры технической химии Санкт-Петербургского университета с окладом 1200 рублей в год. Тогда же он был избран профессором Технологического института и в качестве заведующего химической яабораторией получил там хорошую казенную квартиру. Впервые после возвращения из Гейдельберга Дмитрий Иванович смог почувствовать себя материально обеспеченным человеком и даже отказался от работы в некоторых учебных заведениях. Это дало ему возможность вплотную заняться докторской диссертацией, которую он посвятил спиртовым растворам.

Эта область научной деятельности Менделеева, являющаяся логическим продолжением его исследований механизмов межмолекулярного взаимодействия, зачастую воспринимается не очень адекватно. В массовом сознании Менделеев иногда оказывается прямым образом причастным к «изобретению» русской водки и вообще человеком, приятельствовавшим с этим в равной степени народным и государственным напитком. Всё это, конечно, чистейший, «дистиллированный», к тому же многократно опровергнутый вымысел. Тем не менее легенда о Менделееве — составителе и испытателе сорокаградусной — не только продолжает жить, но и обрастает «весомыми» подробностями. В последние годы эта история красочным образом «ожила» в книгах несомненного знатока русского застолья Вильяма Похлебкина. Представленный им образ Менделеева — «создателя русской «монопольной» водки» — настолько не соответствовал действительности, что заставил вступить в полемику директора Музея-архива Д. И. Менделеева при Санкт-Петербургском университете, доктора химических наук И. С. Дмитриева, прекрасно ориентирующегося не только в вехах жизненного пути ученого, но и в его научных рукописях.

В своей докторской диссертации Дмитрий Иванович изучал удельные веса спиртоводных растворов в зависимости от их концентрации и температуры. Главным образом его интересовали высокие концентрации. Он шел «сверху вниз» — от наиболее плотных растворов к менее плотным — и закончил опыты, едва достигнув верхней границы «водочной области». Тут, в частности, им было установлено, что наибольшему сжатию отвечает раствор с концентрацией спирта около 46 процентов (по весу). Таким образом, собственно водочные градусы и соотношения (оптимальные 33,4 процента по весу или 40 процентов по объему) фактически оказались за пределами его внимания, и он никак не мог быть автором «идеального соотношения объема и веса частей спирта и воды в водке».

Важное признание тут делает сам Дмитрий Иванович: *«Оставалось сделать определения в пространстве от 40 % до 0 %, здесь я сделал только немногие определения и притом довольно спешно (эти определения были сделаны в последних числах апреля и в первых числах мая перед самым моим отъездом за границу на лето 1864 года), поэтому для них не ручаюсь в той степени точности, какую имеют другие определения. Я ограничился немногими определениями по той причине, что данные Гильпина в этом пространстве должны иметь меньшую погрешность…»* «Уж не англичанина ли Джорджа Гильпина следует объявить «отцом» русской водки?! — спрашивал в этой связи Дмитриев в то время еще здравствовавшего Похлебкина. — Кстати, его цифры в самом деле оказались довольно точными». Столь же бесспорно и неукоснительно И. С. Дмитриев снимает с повестки дня все прочие детали народного мифа об «изобретении» русской водки, в частности, утверждение, что Менделеев изучал биохимические свойства спиртоводных растворов различных концентраций и тем более их физиологическое действие. Что же касается одного из самых «ударных» аргументов Похлебкина — менделеевских статей о водке и винокурении в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, то выясняется, что перу Дмитрия Ивановича принадлежит множество статей, в том числе и общая статья о винокурении, статья же о водке написана русским ученым И. И. Канонниковым, а Менделеев, будучи одним из редакторов словаря, ее лишь обработал и дополнил, что подтверждает знак Δ (дельта) вместо подписи (таков был уговор с издателями).

Вот вроде бы и конец сказке про Менделеева и водку, тем более неправдоподобной, что сам Дмитрий Иванович пил только сухое красное вино, обычно грузинское. *«Вкус алкоголя я таю лишь как химик, настолько же, как вкус остальных ядов»,* — говаривал он, а по поводу несчастной склонности русского народа испытывал исключительно негодование и печаль: *«Неужели в самом деле положение наше таково, что в кабаке, казенном или частном, должно видеть спасение для экономического быта народа, то есть России, и в водке да в способах ее потребления искать исхода для улучшения современного состояния дел народных и государственных?»* Усовершенствованные им для своей работы спиртометры могли быть использованы для борьбы с нечестными откупщиками и кабатчиками, но сведений о вышеназванной борьбе имеется мало. Стоит ли этому удивляться, если и по сей день русская водка, этот сакральный «проявитель сущности», всё еще остается торговым продуктом невыясненного происхождения? А рядом с великими тайнами всегда обитает дух великих людей. Один из них — Менделеев, мудрец и выпивоха, изобретатель водки и вообще прожженный химик, запросто фабриковавший для Елисеева любое драгоценное вино из колодезной воды и секретного порошка…

В начале мая, спешно завершив формальности, связанные с выходом в свет книги «Аналитическая химия Жерара и Шанселя. Качественный анализ (перевод, дополнения и редакция Д. И. Менделеева)», и, по сути, скомкав работу над одной из частей докторской диссертации, Дмитрий Иванович с женой выезжает на всё лето за границу. Яшу решено оставить у Протопоповых, где его любят и он чувствует себя совершенно как дома. Супруги, особенно Феозва Никитична, нуждаются в серьезном отдыхе и лечении. Но главное — Менделеевы снова ждут ребенка, поэтому глава семейства разве что пылинки с жены не сдувает. Питерские врачи посоветовали везти ее в австрийский Ишль на воды, и они отправились не спеша, получая, как привыкли, удовольствие от заграничных впечатлений. В Кёнигсберге купили чудные подарки из янтаря, в Дрездене приобрели копию Мадонны Рафаэля, в Праге Дмитрий Иванович посетил Карлов университет, в Вене познакомился с профессором Кнаппе, издававшим капитальную техническую энциклопедию… Из Вены поплыли по Дунаю до Линдена, потом снова поезд, пароход, дилижанс…

Неторопливое передвижение, остановки в уютных отелях, прогулки по спокойным европейским городам не только хранили от дорожной усталости, но и давали возможность успокоиться, отрешиться от забот. Даже непогода не могла испортить им настроения, *«…по крайней мере не хлопочешь как угорелый» ,* — пишет Дмитрий Иванович Протопоповым. В

Ишле они близко сошлись с местным доктором, женатым на русской. Доктор и сам хорошо говорил по-русски, что давало ему возможность лучше понять состояние здоровья и причины недомогания своих новых друзей. Вместо воды он рекомендует им пить сыворотку из местного альпийского молока и оказывается прав. Такое незначительное на первый взгляд лечение очень быстро приносит положительные результаты. Феозва Никитична пьет сыворотку точно в указанное время и в предписанном количестве, Дмитрий Иванович — менее аккуратно (он часто сердится на курортную скуку и при любой возможности углубляется в вычисления, связанные с диссертацией), но оба свежеют и даже полнеют, что с удовольствием отмечают подъехавшие в середине июля Краевичи. Теперь компания имеет право полностью отдаться путешествию. Мюнхен (посещение лаборатории профессора Карла Августа Штейнгеля, создавшего первые в истории часы, работавшие от гальванического элемента, и в дальнейшем связавшего телеграфным проводом целую сеть мюнхенских часов с астрономической обсерваторией), Тирольские Альпы, Верона, дорога вдоль берега озера Комо, далее — уже знакомая Швейцария и снова Германия.

В Петербург вернулись в августе. Сразу, как водится, нахлынула куча дел и забот, но первая мысль была о том, что поездка удалась. Менделеевы отдохнули душой и телом. В конце ноября Дмитрий Иванович подал на факультет свою докторскую диссертацию «Рассуждение о соединении спирта с водою», которую защитил в конце января следующего, 1865 года. Через несколько недель его избирают экстраординарным профессором по кафедре технической химии университета. Теперь он член совета Петербургского университета, известный и уважаемый человек. Но главное — он снова стал отцом: 2 января у них с Феозвой родился сын Владимир.

Лето 1865 года было последним, которое Менделеевы провели на съемной даче. Вместе с Ильиными они обосновались и новгородском селе Морозовичи. Собственно, жили там чаще всего одни жены и дети, а сами профессора приводили в порядок купленное вскладчину имение Боблово возле Клина. Первую попытку стать сельским хозяином Дмитрий Иванович сделал еще три года назад, когда собирался купить у сестры Ольги басаргинские Новики. Он готов был заплатить за это именьице не глядя, полностью доверяя любимой сестре, будучи уверен, что та не запросит ни одного лишнего рубля. Но Ольга не могла смириться с таким его подходом к покупке. Доверие доверием, писала она брату, но ты должен внимательно осмотреть дом и усадьбу, да не зимой, а летом. Пока она уговаривала Менделеева отнестись к делу по-хозяйски, ситуация повернулась так, что ей надо было бросить всё и срочно ехать на помощь семье Паши и Полиньки. Новики были проданы другому человеку (после смерти Ольги Дмитриевны в том же 1865 году брат получит назначенную покойницей долю басаргинского наследства — 500 рублей).

По мере того как росли доходы профессора Менделеева (судя по записной книжке, в которой Дмитрий Иванович вел аккуратнейший подсчет доходов и расходов, в 1864–1865 годах он заработал уже 25 тысяч рублей), менялись и его представления о сельском семейном гнезде. После Новиков он был намерен приобрести землю на отцовской родине — в Вышневолоцком уезде Тверской губернии. Тамошние родственники подыскали несколько весьма скромных вариантов, но они ему не подошли. Помог случай. В начале июня, едва отправив семьи в Морозовичи, Менделеев с другом Ильиным отправился в командировку в Москву на Международную мануфактурную выставку. В поезде из обычного дорожного разговора друзья узнали о хорошем сельце Боблове, лежащем у реки Лутосни. Раньше селом и имением владел мингрельский князь Дадиани, скончавшийся незадолго до отмены крепостного права. Наследников у него не осталось, поэтому имение было назначено к продаже. На обратном пути приятели заехали посмотреть поместье, переговорили с земельным скупщиком Богенгартом, поторговались да и ударили по рукам.

Менделеев был восхищен холмистой местностью, к тому же связанной с именами Загоскина, Фонвизина, Герцена и старой своей знакомой Т. А. Пассек (не так давно, во времена студенческих беспорядков, они встречались в Петербурге, говорили о причинах бунта и сошлись на том, что, как ни крути, а без герценовских призывов дело так далеко не

зашло бы). До размежевания с Ильиным — тот обоснуется в деревенской части Боблова, а Менделеевы устроятся наверху, на месте барской усадьбы — земли было около восьмисот десятин.[24] Особенно хорош был старый парк на склонах Бобловской горы — и сам по себе, и открывающимися видами: лесами, полями, деревеньками, церквями, которых Менделеев невооруженным глазом насчитал в округе 20, а с помощью подзорной трубы — 35. Вскоре к Менделееву и Ильину присоединятся еще два петербургских профессора — А. В. Советов купит землю рядом с Клином, а А. Н. Бекетов поселится и вовсе по соседству — в Шахматове. Имение сыграет огромную роль в жизни Менделеева. Здесь вырастут его дети, сюда приедут и обоснуются на жительство сибирские родственники, здесь реализуется еще одно научное увлечение Дмитрия Ивановича — сельским хозяйством и агрохимией. Придет время, и профессора Сельскохозяйственной академии начнут водить сюда студентов на экскурсии. И сам он в этих местах станет хорошо известным человеком. Его будут знать почти все жители Клина: приверженный раз и навсегда заведенным привычкам, он, выйдя из поезда на клинской станции, всегда будет пить чай в трактире Горшкова, посещать находящуюся напротив лавку обиходных товаров Истомина (товары будет брать часто, расплачиваясь раз в год). И ямщик его будет ожидать один и тот же, хорошо знающий, что хотя дорога в Боблово и разбита хуже некуда, но Дмитрия Ивановича надо везти быстро, с ветерком: «Если, случалось, на ухабе сильно тряхнет, он только рявкнет как медведь. Зато и на чай не скупился, по рублевке давал».

Без Боблова нельзя представить всю последующую жизнь нашего героя. Но чтобы оценить, сколько труда и средств было вложено им в это имение уже в первые годы после приобретения, стоит привести выдержки из письма Менделеева, писанного (и не отправленного?) в 1870-х годах некоей потенциальной покупательнице. Насколько известно, у Менделеева в ту пору не было нужды продавать Боблово, поэтому слова «Продаю по причине того, что дети подрастают и жить долго на даче нельзя» вполне могут быть объяснены желанием узнать полную цену преображенного имения. Тем более что тут же Дмитрий Иванович подчеркивает, что указанные им причины «не принудительны», а следовательно, не могут повлечь за собой никакой скидки. Вообще это деловое письмо с «научными» сносками заслуживает внимания с многих точек зрения. Перед нами совершенно новый тип менделеевского текста, поспешное знакомство с которым может кому-то дать повод порассуждать о «синдроме Ионыча». Но не будем торопиться — хотя бы потому, что речь идет о натуре неизмеримо более сложной и глубокой. Успеем поговорить об этом, дойдя в нашем повествовании до середины 1870-х годов, когда противоречивость менделеевского характера достигнет едва ли не предела и сам он, по словам домашних, превратится в сплошной «комок нервов».

«…Это имение, бывшее князя Дадиани, из земли, оставшейся за наделом. Оно мною устроено с 1865 года [25]*. Имеет запашку многопольную с обильным удобрением в течение всех 10 последних лет. Урожаи действительно обильные, как и следует при обильном удобрении. Теперь еще можно в том убедиться лично. Кроме 65 десятин пашни и 4-х под усадьбою и садом и парком, имеется 120 десятин покоса, сдаваемого на укос и пастьбу или скашиваемого для хозяйства, 100 десятин лесу в 50–30* [26]*, 60 десятин лесу в 15–20 лет, 40 десятин выгону с лесом для усадьбы и около 8 десятин запроданной земли (на коей осталось долгу 570 р.), всего 397 десятин. В усадьбе имеется всё необходимое для рационального*

---

[24] Десятина составляет 1,09 гектара.

[25] Купчая и планы в исправности. Отчетность ведется полная. Имение никаких долгов, ни чересполосности или споров не имеет, [как] видно далее, 8 десят[ин] из него запроданы. Деньги за них, если угодно, получу я и тогда 500 р. вычту из цены.

[26] Этот лес купят сейчас, если угодно, на сруб тысяч за 8 р., но выгоднее продержать еще лет 10-ть.

хозяйства, которое ведется мною 10 лет, и всё необходимое для житья, потому что я и моя семья живет здесь ежегодно с апреля по октябрь или ноябрь. Дом новый, низ каменный с подвалом, верх деревянный. Сложен и устроен пять лет тому назад. В доме кроме прихожей, кухни, проходов и большой галереи 4 больших и 3 малых комнаты. Во флигеле 3 комнаты, людская в 2 комнаты и молочная. 3 амбара, 2 погреба, большой сарай для экипажей и земледельческих орудий. Всё это каменное (верхи деревянные), крыто железом. Конюшня с 9-ю лошадями. Скотный с 35 головами рогатого скота, скотною избою и др. Большой хлебный сарай, куда кладется хлеб и где он молотится американскою молотилкою с соломотрясом. Кроме того, 4 сенных сарая, навес для сена и большой подвал для картофеля (на 400 четвертей). Все орудия (плуги английские, бороны, сеялки рядовые, почвоуглубители) в исправности и работе. Хлеб разведен наилучший, о чем можете узнать у семяноторговца Запевалова (СПб., за Казанским собором, на углу набережной Канала), которому многократно продавал свои семена. Молочные скопы (продукты. — М. Б.) продаются на месте для Москвы. Обработка ведется своими рабочими, но может быть устроена и с найма. Вот главные свойства моего имения, по которым я считаю его «устроенным» и «небольшим» (потенциальная покупательница интересовалась именно таким имением. — М. Б.). От станции Клин (Николаевской железной дороги) проезд 20 верст летом и 17 зимой. От станции Подсолнечной 23 версты [27]*. Недостатка в рабочих никогда не было, о чем можно судить по населенности места, а этому доказательством служит следующее: на 20-ти верстах от Клина до Боблово расположено три села и всего 8 деревень… Подле усадьбы деревня Боблово и усадьба профессора Ильина, рядом еще три деревни и две усадьбы… Ценность имению назначаю тройную со всем хозяйственным (мебель, экипажи* [28]*, посуда, кровати и т. п.* [29]*) тридцать шесть тысяч р. (купчая покупателя). Из них на 20 т. возьму закладную, если угодно, но с % 7-ю в год на 5 лет, не более. Одна стройка стоит более 12 тысяч, скот, орудия, экипажи и т. п. более 5-ти тысяч, хлеба от сего года будет более 2 т. р., ныне скошено сена на 1200 р., картофеля на 500 р., лес можно теперь же продать на сруб за 10 тысяч, а чрез 10 лет по крайней мере за 20-ть…* »

В 1866–1867 годах ситуация на службе продолжала складываться для Менделеева очень удачно. Сначала Воскресенский был избран ректором университета и переехал в ректорский дом, оставив Менделееву преподавание аналитической химии, руководство лабораторными занятиями, а также статус ординарного (полного) профессора и свою квартиру — ту самую, в которой сейчас находится музей Д. И. Менделеева. Затем карьера Александра Абрамовича, продолжавшего, несмотря на ректорство, возглавлять кафедру неорганической химии, взлетела еще выше — он был назначен попечителем Харьковского учебного округа. Для членов совета университета было очевидно, что кафедру должен возглавить лучший ученик Воскресенского доктор Менделеев, и вскоре по представлению совета Дмитрий Иванович был «перемещен» на место своего учителя.

Нового жалованья вполне хватало на жизнь и содержание бобловского имения, и Дмитрий Иванович теперь мог отказаться от всех своих совместительств, включая работу в Технологическом институте, куда он порекомендовал взять штатным профессором Ф. Бейльштейна, недавно вернувшегося из заграничной стажировки. Оставалось еще редактирование «Технологической энциклопедии по Вагнеру» (в дальнейшем она будет переименована в «Техническую энциклопедию»), важное не только потому, что издание

---

27 От Москвы 80 верст, от очень большого села Рогачева 8, от ситцевой фабрики Каулена 4 версты.

28 Тарантас, тарантасная тележка, парный фаэтон, шарабан. Все новые.

29 Но без книг, физиче[ских] приборов, белья и т. п.

пользовалось огромным авторитетом среди специалистов, но также потому, что эта деятельность будила в Менделееве самые неожиданные интересы. Всего он подготовил девять выпусков этого издания, в которые внес огромное количество дополнений и самостоятельно написанных текстов. Первый выпуск был посвящен производству муки, хлеба и крахмала, второй — технологии сахарного производства, третий — производству спирта, четвертый — стеклянному, пятый — маслобойному производству… Если посмотреть на тематику выпусков, то очевидно, что она прямым образом — синхронно или с некоторым сдвигом по времени — связана с его научными увлечениями. Начиная с 1865 года это главным образом агрохимия и — шире — всё, что связано с сельскохозяйственным производством.

Менделеев энергично перестраивает бобловскую усадьбу: завозит современные механизмы, строит скотный двор, конюшни. Теперь его интересуют происхождение и особенности произрастания русских хлебов, удобрения, болезни скота и даже шелководство. А всё, что его интересует, по обыкновению изучается им самым глубоким образом, вплоть до точных выводов. Он становится активным членом Вольного экономического общества, где в этот период идут жаркие дискуссии о путях развития русского земледелия и животноводства. Мнение Менделеева, который всегда и во всём ощущал себя экспериментатором, сводилось к следующему: русские климат и экономические условия таковы, что западный опыт для нашего сельского хозяйства применим далеко не всегда и не везде. Нужно самим на серьезной научной основе провести опыты в разных районах страны и выяснить, как урожай зависит от климата, почвы, глубины пахоты и применения искусственных удобрений. Чтобы избежать каких-либо случайностей, следует на всех экспериментальных угодьях использовать одни и те же семена и удобрения. Результаты исследований необходимо довести до самого широкого круга сельских хозяев. Внятный голос профессора Менделеева, к тому же предложившего свое Боблово в качестве одного из опытных хозяйств, был услышан. Вольное экономическое общество одобрило его трехлетнюю программу (первую в России) и ассигновало на нее семь тысяч рублей. Уже осенью 1867 года Менделеев прочел на заседании общества первый отчет о проведенных исследованиях.

Как ни привлекало Менделеева в это время сельское хозяйство, в первую очередь он оставался востребованным в области технологии и естествознания. В начале того же года Дмитрий Иванович был утвержден помощником генерального комиссара русского отдела Всемирной выставки в Париже. Генеральным комиссаром был герцог Лейхтенбергский, он же князь Николай Романовский — сын великой княжны Марии Николаевны, отказавшейся в свое время выходить замуж в другую страну и менять вероисповедание, и герцога Максимилиана Лейхтенбергского, [30] согласившегося ради нее покинуть родину. Максимилиан был не только красавцем, но и одним из самых образованных людей того времени, о чем свидетельствует заметный след, оставленный им в русском образовании, науках и искусствах. Его сын князь Романовский являлся не менее яркой личностью. Достаточно сказать, что он возглавлял (благодаря добросовестным и интереснейшим научным исследованиям, а не одной лишь принадлежности к августейшему семейству) сразу два императорских общества — минералогическое и техническое. Под его руководством были осуществлены серьезные работы по картографированию России и разведке ее минеральных ископаемых. Среди русских и зарубежных ученых большим авторитетом пользовались учрежденные герцогом на свои средства медаль и стипендия за достижения в области минералогии, геологии и палеонтологии. Что касается взаимоотношений между герцогом и Менделеевым, то их сближало особое обстоятельство — оба были обязаны здоровьем, если не жизнью, Н. И. Пирогову.

---

[30] Максимилиан Евгений Иосиф Наполеон Богарне, герцог Лейхтенбергский — сын баварской принцессы Августы фон Виттельсбах и Евгения Богарне, пасынка Бонапарта.

Николай Романовский родился очень больным ребенком, практически инвалидом. В детстве он перенес четыре хирургические операции и постоянно лечился на европейских курортах. Ему пытались помочь самые знаменитые врачи, самые талантливые механики своими устройствами тщетно пытались облегчить его страдания. Спасла малолетнего герцога одна-единственная фраза, сказанная приглашенным на консилиум Пироговым: «Если бы это был мой сын, я бросил бы все машины и стал развивать его гимнастикой». Это был тот случай, когда интуиция врача и воля, таящаяся в хилом теле больного ребенка, оказались друг другу под стать. Постоянными занятиями в гимнастическом зале царский племянник довел себя до физического совершенства. Среди русской знати того времени, пожалуй, не было другого такого ловкого и сильного молодца — наездника, стрелка и конькобежца. Александр II обожал юного князя за достоинства, которыми тот был одарен значительно более царевичей, и открыто ему благоволил. Никто не мог предположить, какие испытания в дальнейшей жизни ожидают герцога Лейхтенбергского, в какую пучину он сам себя ввергнет: морганатический брак со скандальной особой, побег за границу, запрет вернуться, насилу вымоленное признание женитьбы, долгое кочевье по Европе… Семья смогла осесть только после смерти его тетки Амалии, императрицы Бразилии, оставившей Николаю небольшое имение в Баварии. Отрешенный от России герцог до смерти чувствовал себя русским подданным, его сыновей воспитывали только русские учителя, а сам он всегда искал случая послужить родине. В Русско-турецкую войну 1877–1878 годов отряд генерала Романовского в составе войск генерала И. В. Гурко участвовал в беспримерном зимнем переходе через Балканы, за что Николай Максимилианович был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени и саблей с чеканкой «За храбрость». Он приедет на войну из Европы, туда же и вернется…

Назначение герцога Лейхтенбергского генеральным комиссаром русского отдела было удачным не только с точки зрения его компетентности, но и в качестве дипломатического жеста в адрес Наполеона III — главного энтузиаста Всемирной выставки 1867 года, стремившегося явить миру Париж в качестве столицы новой цивилизации. России нужно было улучшать отношения с бывшим военным противником. Герцог и французский император, племянник великого корсиканца, были родственниками — если не по крови, то в силу закона. Тем более что Наполеон III настолько обожал своего дядю, что в подражание его Египетскому походу, после которого Париж украсился древними обелисками и сфинксами, совершил поход в Мексику, окончившийся, впрочем, совершенно бесславно.

Что касается Дмитрия Ивановича, то эти политические и дипломатические материи волновали его меньше всего. Огромный выставочный павильон на Марсовом поле, из-за своей эллипсовидной формы и парка посредине похожий, по едкому замечанию П. Д. Боборыкина, на «блюдо заливного, обсыпанного зеленью», был схвачен Менделеевым единым взглядом, что называется, «на раз». *«Машины лучше у французов, бельгийцев и англичан, горные произведения у немцев, химические у англичан и немцев, платья у французов, мозаика наша, статуи итальянцев. Наши выставили самые характерные, итальянцы самые красивые. Наш трактир, положительно, лучше всех, всё свежо, хоть и дорого, битком набит…»* — писал он жене.

Это не было ни верхоглядством, ни пренебрежением ко всему чужому, сродни тому, что он с друзьями испытывал когда-то в Германии. Выставка, над организацией которой трудились лучшие умы Франции (даже специально выпущенный путеводитель по Парижу писал не кто-нибудь, а Виктор Гюго, Теофиль Готье, Александр Дюма-сын, Жозеф Эрнест Ренан и Шарль Огюстен де Сент-Бёв), могла поразить кого угодно фантастическими масштабами, изумительной рациональностью размещения и тематическим разнообразием разделов. И при этом всё было удобно и компактно. Лишь сельскохозяйственный раздел располагался в пяти километрах от основного павильона, на двух островах посреди Сены. Он представлял собой образцовую ферму, где наряду с новыми земледельческими орудиями демонстрировались технологии изготовления сыра, масла, хлеба, растительного масла, колбас, перегонки водки, вплоть до плетения корзин… И пресыщенным наш герой отнюдь

не был — он еще объехал вместе с герцогом и включенным в русскую делегацию Н. Н. Зининым десяток ведущих французских и немецких предприятий. Очевидно, что его интерес на этот раз был направлен не столько на изучение увиденного, сколько на осмысление российских задач в области химического производства. Такая внутренняя установка требовала пристального знакомства, скажем, с французскими анилиновыми препаратами; при этом можно было посмотреть вскользь, мимоходом на газовый двигатель фирмы Отто и Ланген, динамо-машину Сименса и Хальке, сталеплавильную печь Пьера Мартена и даже дорожный паровик, способный перевозить грузы в вагонах по грунтовой дороге, а на семиметровый хрустальный фонтан фирмы Баккара или поражавшую воображение генералов крупповскую пушку (лафет — 40 тонн, ствол — 50) и вовсе не стоило обращать внимание. Похоже, даже взбудоражившее всех покушение на русского императора, приехавшего на выставку (стрелял польский революционер), не могло прервать точно направленных размышлений Менделеева. Государь не пострадал — и слава богу. Голова ученого была занята мыслями, которые он вскоре изложит в книге с длинным названием «О современном развитии некоторых химических производств в применении к России и по поводу Всемирной выставки 1867 года», которой было суждено стать, как теперь говорят, бестселлером, чей тираж разлетелся в несколько месяцев до последнего экземпляра.

Книга, формально являвшаяся отчетом о выставке, предлагала публике весьма неожиданное чтение. В каждом ее разделе разбиралась ситуация в той или иной химической отрасли России. Что с того, что в стране в то время было вообще считаное количество химических предприятий? Менделеев скрупулезно анализировал положение дел даже в несуществующих отраслях! Скажем, производство соды. Сначала он детально описывает содовый завод Сан-Гобенской компании в Шони, а затем вскрывает причины отсутствия содовых предприятий в России: приводит данные о невыгодных ценах на сырье, подробно исследует вопрос топливной базы, указывает пути решения накопившихся проблем и даже подбирает районы для строительства русских содовых заводов. В другом разделе, о фосфорных удобрениях, Менделеев не только констатирует отсутствие в России добычи минеральных фосфатов, по и высказывает реалистическое суждение о невозможности их разработки в силу общей технической отсталости страны, стало быть, совершенно справедливо пишет помощник генерального комиссара русского раздела Всемирной выставки, раз уж нам пока не добраться до фосфатных месторождений, надо развивать химическую переработку костей. Главное, не стоять на месте. А о том, какое благо несет применение минеральных удобрений, он пишет, опираясь не на чей-то, а на собственный бобловский опыт.

Чувствовалось, что автор отчета, кроме прочего, очень хозяйственный человек — и не только в масштабах имения. Иначе зачем бы он, например, с таким чувством протестовал против «переработки» лесов на золу при производстве поташа? Гражданский «замес», обычно несвойственный книгам такого жанра, был очевиден и в нефтяном разделе отчета, где автор опирался на собственный, глубоко осмысленный опыт. На выставке было показано много нового из области технологии нефтеперегонки. Ну да это всё тонкости, до них всегда можно додуматься; важно дело поставить как следует — без глупости, вреда и обмана. Конкретность, с которой университетский профессор излагает свои мысли и наблюдения, особенно поражает в последней главе, которую Менделеев целиком посвящает принципам конструирования нагревательной аппаратуры, ведь без тепла нельзя было представить никакое химическое производство. Поэтому, вовсе забыв про Париж, автор необычной книги учит читателей добывать энергию для новых русских заводов. *«Книга была написана мною быстро, и успех превзошел все мои ожидания, потому что через год я сам не мог найти экземпляра. Доход Департамента покрыл даже расходы на мою командировку. Особое значение имели главы о содовом и нефтяном производствах. Меня с того времени стали слушать в этих делах».*

Глава шестая

ПАСЬЯНС

Бобловская усадьба сбегала с возвышенности то полого, а то оврагами, между которыми сохранялись довольно большие участки ровной местности (их в менделеевской семье называли стрелицами). На самой горе, в глубине огромного парка стоял одноэтажный помещичий дом. Вскоре Менделеев достроит к нему второй этаж, а позже и вовсе снесет и возведет новое жилище по собственному проекту. К дому, совершенно скрытому столетними дубами и чуть более молодыми кленами, березами и елями, вели две старинные аллеи — березовая и вязовая. Тот, кто въезжал под их сень, сразу ощущал запахи влажного леса, которые по мере приближения к дому сменялись ароматами резеды, нарциссов-жонкилий и роз, которые росли в усадьбе.

Начиная с лета 1867 года в Боблово к Дмитрию Ивановичу потянулись земляки и родственники. Первым приехал старинный друг семьи Петр Павлович Ершов. Бывшему учителю интересно было взглянуть на свою падчерицу Феозву и на отчаянного бедокура Митю Менделеева, вышедшего в петербургские профессора. А еще хотелось перед смертью добиться переиздания своего «Конька-Горбунка». Он искал протекции и, конечно, нашел ее у Менделеева. Книга была переиздана, и автор успел подержать ее в руках. Потом заглянули брат Павел и муж сестры Маши Михаил Лонгинович Попов. Встреча родственников была трогательной, со слезами и воспоминаниями. Оба гостя решили расстаться с Сибирью и ждали от Дмитрия Ивановича помощи. Павел, пять лет назад потерявший свою Полиньку, теперь завел новую семью и мечтал о службе где-нибудь в средней полосе. Вскоре он получил место в Саратове, потом в Новгороде. Насколько ему в этом помог брат, неизвестно, но наверняка уж постарался что-то сделать. Павел Иванович еще хорошо и много послужит по контрольному ведомству, пока не закончит жизнь в 1902 году в Тамбове. Попов новой службы не искал — он уже вышел в отставку с поста директора Томской гимназии и теперь выбирал место жительства для своей большой семьи.

Гости очень нравились Феозве, она развлекала их беседами и возила показывать Петербург. Маленький Володя всей душой потянулся к дяде Паше. Тот был единственным флегматиком в семье — пошел в отца, Ивана Павловича. Остальные менделеевские родственники унаследовали холерическую раздражительность Марии Дмитриевны. У Павла Ивановича были золотые руки, он легко чинил поломанные игрушки, да и по хозяйству находил себе дело. Скоро наладились прежние, без всякой натяжки, отношения — с шутками и подтруниванием. Зато, когда пришла пора расставаться, прощание было тяжелым — братья снова плакали.

Вслед за Пашей и Михаилом Лонгиновичем погостить на лето приехали уже обосновавшиеся в Петербурге два старших Катиных сына. Вскоре и сама Екатерина Ивановна, после смерти Якова Семеновича продолжавшая жить в Томске, уступила уговорам брата Митеньки (главный его довод — необходимо хорошо выучить остальных детей) и тем летом тоже приехала с семьей в Боблово. Надо сказать, что решение вызвать к себе сестру Дмитрий Иванович, по всей видимости, принимал единолично. Забота о столь многочисленной родне явно пугала его не очень здоровую супругу. «Екатерина Ив. с первым пароходом едет сюда, всё распродала; может, это и к лучшему; сначала — к нам в Боблово. Это я не могу понять, — осторожно писала Феозва Никитична из Петербурга мужу в Боблово, — куда мы их всех разместим? И там не будет нам отдыху, а главное — прислуге каждый шаг лишний труден. Да и в самом деле — обе (скорее всего горничные. — *М. Б* .) такие хилые…» Как бы то ни было, Дмитрий Иванович принял родственников с отменным радушием. Отныне он будет держать молодых Капустиных в поле зрения: следить за успехами, платить за книги. Что касается Нади, которую дядя выделял из всех своих племянников и племянниц, то он взял на себя также оплату ее учебы в гимназии.

Осенью Капустины переедут на снятую в Петербурге квартиру, но уже весной (и до ноября) займут университетскую квартиру Менделеева, живущего после окончания учебного года в Боблове. Капустинскую же детвору Дмитрий Иванович каждый год будет забирать с

собой. Немудрено, что дети Екатерины Ивановны в будущем станут не только постоянными гостями бобловского имения, но и духовно близкими людьми, сотрудниками и единомышленниками Дмитрия Ивановича. Старший, Михаил, закончит Медико-хирургическую академию, поработает земским и военным врачом, примет участие в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов, защитит докторскую диссертацию, приобретет известность как санитарный врач и гигиенист, профессор Петербургского, Казанского и Варшавского университетов, но затем вдруг полностью отдастся общественно-политической деятельности и даже успеет побывать депутатом Государственной думы. Он заведет дачу поблизости — в селе Бабайки — и вместе с женой, тоже дипломированным врачом, долгие годы будет заботиться о здоровье родственников. Надежда Яковлевна Капустина (в замужестве Губкина), любимая племянница Менделеева, станет художницей. Именно она соберет и издаст эпистолярное наследие рода Менделеевых, присоединив к нему собственные воспоминания о дяде, тем более ценные, что их автор обладал хорошим пером и цепкой памятью. Федор Капустин уже в студенческие годы станет лаборантом Менделеева, а в дальнейшем — переводчиком книг, которые редактировал Дмитрий Иванович, участником его научных экспериментов. По примеру великого родственника он будет много преподавать и путешествовать. В 1907 году Федор Яковлевич выступит на Первом Менделеевском съезде — будет читать доклад «О трудах Д. И. Менделеева по вопросам об изменении объемов газов и жидкостей». Его выслушают с уважением, поскольку он сам под руководством дяди много лет занимался исследованиями в этой области.

Почти сразу вслед за Капустиными в Боблове появились, уже в полном составе, Поповы. Сначала Маша с Михаилом Лонгиновичем и семерыми детьми поселились в Москве, но там с ними случилось несчастье: умный, ироничный, но тем не менее провинциальный глава семьи потерял десять тысяч рублей — всё, что было скоплено им за трудовую жизнь. Дмитрий Иванович приютил и эту семью — и не просто приютил, а помог обзавестись собственным домом: выделил восемь десятин плодородной земли с родником на стрелицах и дал весь материал для постройки дома. Старшие дети Поповых станут активными участниками сельскохозяйственных опытов дяди.

Каким увидели Менделеева взрослые и особенно юные родственники, которые поначалу представляли его себе примерно так, как он сам когда-то представлял дядю Василия Дмитриевича Корнильева — богатого, знатного и таинственного? Семейные воспоминания рисуют несколько бобловских сцен с его участием. Вот он спешит к приехавшим гостям, сбегает по ступеням большой стеклянной галереи — высокий, бодрый, синеглазый, с русой бородой, большим лбом и длинными развевающимися волосами, чуть сутуловатый, в своей всегдашней (это они потом узнают) серой куртке. Голос у него низкий, приятный, хоть и всегда взволнованный. Вот он учит своих племянников правильно вести себя за столом: *«Когда я ем, я глух и нем».* Вот, занятой и серьезный, он работает в своем кабинете. В это время нельзя шуметь, топать ногами и кричать. Вот собственноручно опускает первые снопы в новую молотильную машину. Вот он в казацком седле на гнедой лошади объезжает («медленное» слово, а он ничего не делал медленно, да ведь не скажешь «обскакивает») свои поля и угодья. Нот он вечером в очередь с другими взрослыми читает вслух Тургенева. Время от времени чтение прекращается и начинается обсуждение, а то и спор. Голос дяди Мити слышнее всех, он не любит, когда с ним не соглашаются — сердится, может уйти. Вот он вместе с женой, сыном, няней и, конечно, ватагой племянников и племянниц едет на дальнюю прогулку в нес. В таких случаях двухколесная таратайка и телега бывают набиты не только людьми, но и посудой, чайниками, съестным и припасами. За выездом весело бежит любимый дог Менделеева по кличке Бисмарк, Бишка — пес красивого желтоватого окраса, очень умный и умеющий смешно улыбаться. Дети раскладывают костер, заваривают чай, собирают и пекут грибы, а дядя Дмитрий сидит возле костра, читает привезенные с собой книги, потом начинает что-то писать и вычислять, потом снова берется за книги.

«Раз во время обеда, — вспоминала Надежда Капустина, — пошел сильный дождь.

Дмитрий Иванович увидел это в окно и вдруг оживленно крикнул нам: *«Дети! Бежим закрывать суслоны! Рожь намочит!»* Мы все вскочили, бросились через парк в поле и с хохотом и криками принялись перебегать по большому полю от суслона к суслону и закрывать их снопами. Дмитрий Иванович руководил нами и бегал так же, как и мы, быстро и весело. Бегал он, немного нагнувшись вперед и размахивая согнутыми в локтях руками. Как сейчас вижу его красивое оживленное лицо, намокшую шляпу и куртку и веселые движения».

Маленькие гости Боблова сполна получали от дяди и любовь, и внимание, но кое-что в его образе казалось странным. Например, им, выросшим в многодетных семьях, был не совсем понятен постоянный дядин страх за его единственного сына Володю, мальчика очень развитого и подвижного. Стоило отцу услышать его крик или плач, как он тут же бросал все дела, в испуге прибегал, обнимал и прижимал к себе сына, громко и резко крича няне: *«В чем дело? В чем дело?»* — и тут же ласково и нежно спрашивал мальчика: *«Володичка! Что ты? Об чем?»* Мог неожиданно (дети рассчитывали на похвалу за полное лукошко крупных ягод) отругать малолетних родственников за то, что они, собирая ягоды на лугах, перед сенокосом помяли траву. Тем не менее они чувствовали, что дядя не просто хозяин усадьбы, он — самое важное и интересное, что в ней есть. «В каждом доме, — писала та же Надежда Капустина, — всегда чувствуется невольно, кто душа его, и я как-то скоро поняла, что душа дома был Дмитрий Иванович, в его серой не подпоясанной широкой куртке, в белой панамской соломенной шляпе, с его быстрыми движениями, энергичным голосом, хлопотами по полевому хозяйству, увлечением в каждом деле и всегдашней лаской и добротой к нам, детям, и особенно ко мне. Мне, при моей тогдашней некоторой начитанности — я увлекалась тогда Майн Ридом и Купером, — он казался похожим на американского плантатора, не на янки, янки я считала хитрыми и жадными, а именно он походил на плантатора-пионера в каких-нибудь пампасах или сильвасах». Впрочем, Надежда Капустина отмечает, что лето 1867 года было единственным, когда она видела дядю веселым и разговорчивым.

Хорошее настроение Дмитрия Ивановича в то лето вполне могло быть связано с отличными всходами на опытном поле и на всех остальных угодьях, где он применял интенсивное земледелие, проще говоря — вносил в землю органические удобрения. Урожай сам-десять — сам-двенадцать впечатлял не только его коллег по Вольному экономическому обществу, но и окрестных мужиков, с которыми Менделеева связывали дружеские отношения. Крестьяне считали его простым барином и очень ценили как работодателя. Весной, когда в русских деревнях обычно кончались хлеб и корм для скота, они шли в Боблово заработать деньжат — огораживали поля, чистили лес, собирали и вывозили с полей камни, которые потом использовались на строительстве усадьбы. Если Менделеев бывал доволен их работой, то говорил с ними ласково, душевно окая и испытывая явное удовольствие от общения. В иных же случаях разговаривал с мужиками строго и отрывисто, считая необходимым «пужнуть». В итоге деревенские его уважали, но побаивались. Рассказывают, что однажды несколько крестьян, у которых урожай никогда не превышал обычного для всей округи уровня сам-четыре — сам-пять, собрались с духом и полюбопытствовали у Менделеева о причинах такого высокого результата. Причем сразу выяснилось, что их предположения были бесконечно далеки от агрохимии. «Скажи-кася ты, Митрий Иваныч, хлеб у тебя как уродился хорошо за Аржаным прудом… Талан это у тебя или счастье?» На что «Митрий Иваныч», ничуть не раздражаясь, ответил в простонародной манере: «Конешно, братцы, талан». Он вообще не любил самого понятия счастья как везения, помня суворовское: «Счастье? Помилуй бог счастье!» Понятно, почему он не пустился и подробное изложение мужикам основ современного земледелия — они этим просто не интересовались. Исконные хлеборобы в пореформенной России были забиты и отучены от осмысленного труда, тем более что работали теперь на себя и за плохую работу больше никто не порол. Урожай в их сознании не был связан с качеством работы. Здесь, кстати, можно найти объяснение нулевого эффекта опытной программы Вольного

экономического общества, которая не могла быть ориентирована на миллионы крестьян. Что же касается невесомого в масштабах страны сообщества грамотных сельских хозяев, то они могли бы распространять передовой опыт разве что силой. Но это уже было бы фарсом, пришедшим на смену трагедии, поскольку именно так до них поступали наиболее продвинутые крепостники. Крестьяне продолжали оставаться в плену бесплодной в новых условиях общинной психологии.

Пытаясь решить или хотя бы понять российский аграрный вопрос, передовые хозяева типа Менделеева не могли не чувствовать себя внутри заколдованного круга. Взять хотя бы ситуацию с производством органических удобрений. Казалось бы, чего проще: надо разводить больше коров — главных «производителей» этого природного продукта. Ан нет! Численность дойного поголовья в стране (специального разведения крупного рогатого скота на мясо практически не было) определялась размерами потребления молока в натуральном или переработанном виде. Это, в свою очередь, не значило, что Россия купалась в молоке — некоторые бедняцкие семьи коров не имели, молоко пили редко и тем более не ели сливочного масла. Но главное — молоко и молочные продукты были в ту пору неходовым товаром. Это, конечно, сказывалось на общем уровне потребления. К примеру, вся Москва к середине шестидесятых годов XIX века потребляла примерно тысячу пудов сливочного масла в год; Петербург, конечно, «съедал» больше, но что было масло из Финляндии. Так или иначе, предложение равнялось спросу, независимо от того, как этот спрос формировался, и изменить положение мог лишь новый для русского стола молочный продукт — более долговечный, нежели творог и даже масло, и, следовательно, более «приспособленный» к особенностям рынка.

Энтузиасты, среди которых более других выделялся Николай Васильевич Верещагин, брат знаменитого художника-баталиста, видели выход в сыроварении, и Дмитрий Иванович в числе первых оценил эту полезную во многих отношениях идею. Николай Верещагин, будущий «отец вологодского масла» (до 1939 года оно именовалось «парижским», поскольку было создано из кипяченых сливок по типу французского «нормандского» сливочного масла), едва ли не с юности интересовался сыроделием и специально ездил в Швейцарию, где досконально изучил производство «тощих» и «жирных» сыров. Однако секрет швейцарского сыра оказался связан не только с технологией. Н. В. Верещагин удивлялся: «Приехав в Швейцарию и попав на сыроварню, я никак не мог понять, почему туда так много народу носят молоко; мне казалось, что сыроварение возможно только у крупных землевладельцев. Ответ был, что носят молоко крестьяне. Кто же у них покупает молоко, был мой вопрос. Они не так глупы, чтобы продавать молоко, отвечал мне сыровар. Сыроварней заведует комитет, который нанимает сыровара, продает сыры и т. п.». Оказалось, что швейцарский сыр был продуктом свободной кооперации крестьян, являвшихся одновременно производителями и предпринимателями. По возвращении домой Верещагин убеждает Вольное экономическое общество в необходимости создания системы русских артельных сыроварен. Ему выделили тысячу рублей, и вскоре в Тверской губернии, где поселился Николай Васильевич, была открыта первая артельная сыроварня, затем вторая, третья… Благодаря его кипучей деятельности и кое-какой государственной поддержке такие предприятия стали расти как грибы, и не только в Тверской, но и в Вологодской, Ярославской, Новгородской, Костромской и даже Вятской губерниях. Крестьянам предлагалось брать ссуды на покупку оборудования, платить артельные взносы молоком, производить сыр, а выручку делить пропорционально количеству сданного молока. Энтузиасту казалось, что кооперативная форма собственности вот-вот повернет северное крестьянство от натурального хозяйства к товарному производству, и это добавляло ему сил.

Сыроварням нужны были профессионалы, и Верещагин, несмотря на определенные трудности, создает для их подготовки специальную школу: «Открытие школы мне долго не давалось, несмотря на энергическую поддержку, оказанную мне Императорским Вольно-Экономическим Обществом и особенно Профессором Менделеевым, объехавшим со мною все существовавшие артельные сыроварни. Несмотря на то, что он подтвердил все мои

взгляды на возможность широкого развития у нас молочного хозяйства, несмотря на то, что Министерство Государственных Имуществ представляло проект школы, учреждение школы целых два года не встречало поддержки со стороны Министерства Финансов и Контроля. Наконец, потеряв много времени и средств на поездки, я пошел лично объясняться с Министром Финансов…» Они добьются своего: в 1871 году будет открыта Школа молочного хозяйства и селе Едимонове Тверской губернии с филиалом в ярославском селе Коприне. Школа подготовит больше тысячи мастеров и мастериц, пока ее не закроют «за политическую неблагонадежность».

Но у артельных сыроварен не оказалось будущего. Идея Верещагина не могла выжить в ситуации, когда артельщиками становились не только заинтересованные в сдаче молока владельцы коров, но и все поголовно члены крестьянской общины, включая тех, кто не желал сдавать молоко и даже вовсе не имел коровы. Собственность, таким образом, быстро оказывалась ничьей, ссуды проедались, оборудование бездействовало. В Тверской губернии из четырнадцати учрежденных артельных маслосыроварен через три года осталось всего три. Зажиточные мужики с большим интересом поглядывали на новое дело и были совсем не прочь взять его в свои руки, но на их пути твердым заслоном стояло земство со своей идеей фикс — удержать на земле бедную часть крестьянства. Земство было против перехода артелей в «кулацкую» собственность. Словом, как всегда, экономические интересы противоречили произвольно поставленным социальным задачам. В конце концов бывшие артельные сыроварни станут частной собственностью поднявшихся купеческих домов. Правда, значительного прироста молочного стада от этого не произойдет, поскольку их продукция, минуя внутренний рынок, отправится в Европу, где ее будет ждать настоящий потребитель. Сам Николай Васильевич Верещагин, отошедший от артельной деятельности, превратится в эксперта, займется логистикой. Купцы будут уважать его за организацию доставки свежего масла морем в Англию. Правда, на проблеме интенсификации земледелия но достижение уже никак не отразится.

Двух лет хватило Менделееву для того, чтобы пройти современную агрономическую науку, что называется, насквозь. Этого же времени было достаточно, чтобы досконально изучить все возможности и проблемы российского сельского хозяйства. В этот период им лично или под его руководством на разных почвах были испробованы десятки минеральных и органических удобрений, реализована программа физико-химического исследования русских грунтов (в химической лаборатории Петербургского университета было тщательно проанализировано около шестисот образцов), даже предпринята попытка создания общества для организации сбыта сельхозпродуктов. *«Эти мысли тогда очень занимали меня; думалось призвать к самодеятельности. Пора на то, видно, еще не пришла, если на то внимания никто не обращал. Так я мучился долго, убегал и в убежище чистой науки — не помогло…»* И хотя эта область науки и практики останется для него близким делом, а Боблово — образцовым, постоянно модернизируемым хозяйством, Менделеев начиная с 1869 года возвращается к привычной преподавательской и научной деятельности — к вящей досаде супруги, которая больше хотела видеть мужа помещиком, а его профессорство считала отхожим промыслом. Тем более что в мае 1868 года у них родилась дочь Ольга, которой, как и ее брату, да и самой госпоже Менделеевой, больше подходила жизнь на вольном бобловском воздухе. Нужно сказать, что неудовольствие Феозвы Никитичны разделяли и люди с научным кругозором. Например, ученик Менделеева К. А. Тимирязев писал по этому поводу: «По предложению и плану Д. И. Менделеева Вольным экономическим обществом была организована система опытных полей — несомненно, первая когда-либо осуществленная в России. Таких полей одновременно было устроено четыре (в Петербургской, Московской, Смоленской и Симбирской губ.). Наблюдателями в последних двух были — мой добрый товарищ Г. Г. Густавсон и я… Достойно изумления, что это начинание нашего знаменитого ученого не нашло поддержки и подражания, да и сам он, к сожалению, перешел к другим экономическим задачам, по своему значению и направлению едва ли одинаково важным для нашей страны». Тимирязеву, однако, тут можно возразить не

только в том смысле, что «пора на то, видно, еще не пришла». Дело было не в других экономических задачах, которые Дмитрий Иванович действительно не уставал сам себе ставить. Тут имелся «магнит попритягательней», и очень странно, что Тимирязев упустил его из виду.

Заняв кафедру общей и неорганической химии, Менделеев позаботился и о смежных химических дисциплинах. Во многом его активными усилиями была создана кафедра аналитической химии, во главе которой встал ученик Дмитрия Ивановича Николай Александрович Меншуткин, уже получивший известность как добросовестный и многогранный ученый. Еще одну кафедру, органической химии, возглавил приглашенный из Казани Александр Михайлович Бутлеров. Таким образом, преподавание химии в Петербургском университете достигло — если не превзошло — уровня лучших европейских университетов. С этого времени профессорская деятельность, к которой Дмитрий Иванович всегда относился с великой ответственностью, выходит в его жизни на первый план и наполняется особым, глубоким смыслом. Составляя «Отчет о состоянии С.-Петербургского университета и деятельности ученого его сословия…» для Торжественного акта 1868 года,[31] Менделеев писал о преподавании: *«Малая только часть результатов этой деятельности ясна, ее можно более или менее исчислить, другая часть неуловима, на нее можно указать, но нельзя ее выразить числами. Нельзя исчислить ни количества, ни качества того труда, который состоит в чтении и усвоении лекций, в возбуждении любви к труду, истине, свету и науке».*

На следующий год он подает в совет университета собственный проект распределения естественных наук на физико-математическом факультете, в котором настаивает на сокращении объема общих и расширении количества выбираемых студентами предметов. Совместно с Бутлеровым и Меншуткиным была составлена докладная записка о необходимости увеличения средств на содержание и развитие химической лаборатории: *«…пока у нас не появится своих научных центров, пока для изучения практики дела у нас будут отпускаться недостаточные средства на лаборатории, пока нам будет нужно ездить для того за границу, до тех пор не только государство не будет гарантировано достаточным числом специалистов, но и не образуется самостоятельных научных школ, не будет и верного, постоянного прогрессивного научного движения* ». Следом он подает в совет неожиданное для многих «особое мнение» по поводу распоряжения Министерства просвещения о выдаче (или невыдаче) выпускникам юридического факультета свидетельства о благонадежности: *«…свидетельства о соблюдении законов должно выдавать полицейское управление, а не университетское начальство».* Если Менделеева беспокоит процедура выдачи юристам такого свидетельства (заметим, что в принципе он не был против этого документа — просто считал, что каждый должен заниматься своим делом, тем паче университетский устав ничего подобного не предусматривает), то конечно же он не может остаться в стороне от полемики, развернувшейся вокруг гимназического образования. Издатели «Московских ведомостей» М. Н. Катков и П. М. Леонтьев, выступавшие в качестве охранителей существовавшей системы образования, совсем не ожидали встретить отпор со стороны молодого университетского профессора: *«Первоначальные школы должны дать подготовку для средних, а эти — для высших учебных заведений… Пока устройство всей системы училищ не подчинено этому условию, нет никакого ручательства ни в полной удовлетворительности состава высших училищ, ни в усилении ученых сил страны».*

Тут, однако, следует уберечь читателя от вывода, что Дмитрий Иванович весь уходит в образование, оставив прежние интересы. Цельность его натуры была несовместима с замкнутостью. Задачи, которые неожиданно возникали в его сознании, зачастую меняли все

---

[31] По традиции выступление с этим отчетом на главном мероприятии, посвященном очередной годовщине со дня основания университета, поручалось недавно занявшему кафедру профессору, чтобы он в процессе работы над докладом более подробно ознакомился с состоянием дел в университете.

ранее намеченные планы. Его научные увлечения могли ослабевать, а потом вспыхивать с новой силой. Что касается сельскохозяйственных опытов, то они еще долгие годы будут находиться в поле зрения ученого, о чем свидетельствуют регулярные менделеевские доклады на заседаниях Вольного экономического общества, съездах сельских хозяев и русских естествоиспытателей и его многочисленные выступления в печати. А интерес к сыроварням и вовсе окажется среди обстоятельств, сопровождавших его величайшее открытие.

На снимках рабочего кабинета в университетской квартире Дмитрия Ивановича всегда присутствуют большие запакованные и перевязанные кипы книг, которые, по рассказам родственников, можно было увидеть не только там, но и по всей квартире. Это связки «Основ химии» — труда, который Менделеев называл любимейшим своим детищем и над которым работал всю жизнь, совершенствуя от издания к изданию: *«Писать начал, когда стал после Воскресенского читать неорганическую химию в Университете и когда, перебрав все книги, не нашел, что следует рекомендовать студентам. Писать заставляли и многие друзья, например, Флоринский, Бородин. Писавши, изучил многое…»* Он издавал «Основы химии» за свой счет отдельными выпусками. Писалось трудно, было много неясного с систематизацией фактического материала. Кроме того, в конце 1868-го — начале 1869 года у Дмитрия Ивановича помимо лекций было особенно много выступлений, хлопот и поездок.

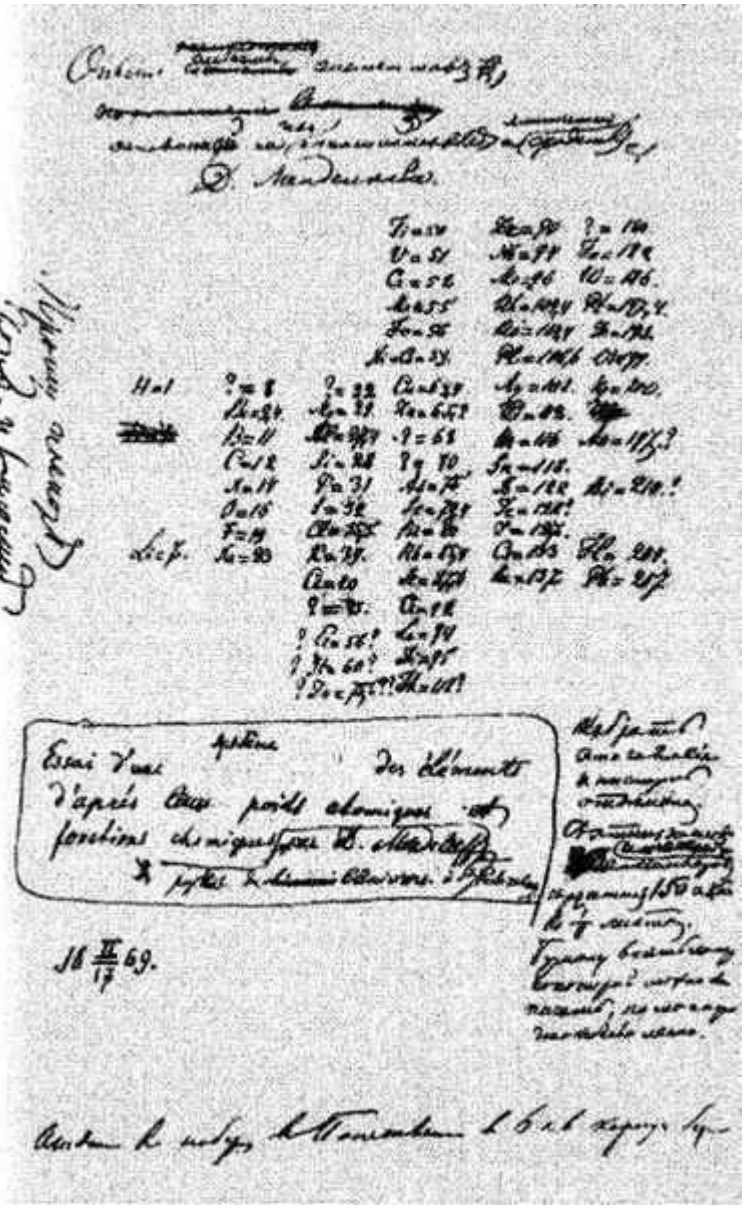
В ноябре состоялось долгожданное первое заседание Русского химического общества, председателем которого избрали Н. Н. Зинина, а делопроизводителем — Н. А. Меншуткина. Менделеев, один из главных энтузиастов общества, вошел также в комиссию по созданию его журнала. Уже на втором заседании он выступил с докладом «Определенность состава предельных насыщенных растворов» и, попутно, с сообщением о смете на издание. Прямо под Новый год Дмитрий Иванович вместе с Н. В. Верещагиным ездил в Бежецкий уезд Тверской губернии, где осмотрел десять молочных хозяйств. Не успел он по возвращении взяться за учебник, как был включен в комиссию по замещению вакантных кафедр Киевского университета, потом назначен членом комиссии по выдаче денежных пособий студентам Петербургского университета. В начале февраля пришло известие о награждении Менделеева орденом Святой Анны 2-й степени — это означало трату времени и весьма значительные расходы, поскольку украшенный драгоценными камнями орден полагалось выкупать за собственный счет (эту награду, как и прочие, коих со временем наберется множество, он будет держать в коробочке с гвоздями и винтиками, совершенно не зная, какую куда цеплять). Кроме того, Менделеев был твердо намерен продолжить объезд тверских артельных сыроварен… Пришлось просить об отпуске. 15 февраля он берет десятидневный отпуск и распоряжается купить железнодорожный билет. Но поезд в Тверь в этот раз уйдет без него…

Менделеев никогда особенно не вникал в анализ психологических и житейских обстоятельств, сопутствовавших открытию им Периодического закона. Разве что, посмеиваясь, говори и, что любовница (так он часто называл науку) обняла. Когда захотела, тогда и обняла. Если следовать популярной версии, утром 17 февраля Дмитрий Иванович проснулся в великолепном настроении (что бывало нечасто), выпил по обыкновению стакан теплого молока, встал, умылся и сел завтракать. Во время завтрака схватил вдруг подвернувшееся под руку письмо секретаря Вольного экономического общества А. И. Ходнена по поводу предстоящей командировки и записал на обороте символы хлора и калия, имевших близкие атомные веса, после чего стал набрасывать символы других элементов, отыскивая среди них сходные в этом отношении пары: фтор и натрий, бром и рубидий, йод и цезий… Потом он закрылся в своем кабинете, достал из конторки пачку визиток и на обратной стороне карточек стал писать символы элементов и их главные химические свойства. Получилась своеобразная игровая колода, из которой Менделеев час за часом выкладывал какие-то пасьянсы. Ходившие на цыпочках домочадцы слышали, как хозяин

кабинета время от времени рычал в чей-то адрес и творил с явной угрозой: *«У-у-у! Рогатая. Ух, какая рогатая! Я те одолею. Убью-у!»* Это обычно означало, что Дмитрий Иванович ощущает прилив творческих сил. Можно предположить, что Менделеев перекладывал карточки из одного горизонтального ряда в другой, руководствуясь значениями атомной массы и свойствами простых веществ, образованных атомами одного элемента.

Так перед ним стала вырисовываться картина будущей Периодической системы химических элементов. Еще только забрезжив в голове своего первооткрывателя, она сразу же стала вносить коррективы в существовавшую до нее систему знаний. Так, вначале Менделеев положил карточку с обозначением бериллия (атомная масса 14) рядом с карточкой алюминия (атомная масса 27,4), по тогдашней традиции считая бериллий аналогом алюминия. Однако затем, сопоставив химические свойства, он поместил бериллий над магнием. Тогда же он изменил атомную массу бериллия на 9,4, а формулу его оксида переделал из Be2O3 в BeO (как у оксида магния MgO). Это смело исправленное значение атомной массы бериллия подтвердилось только через десять лет. Точно так же он помещает теллур (127,6) перед йодом (126,9), чтобы теллур попал в один столбец с элементами аналогичной валентности (2), а йод — своей (1).

В течение дня, покидая кабинет только на обед и ужин, а также для того, чтобы взглянуть на малютку-дочь, Дмитрий Иванович приходит к твердому выводу, что элементы, расположенные по возрастанию их атомного веса, выказывают явную периодичность физических и химических свойств. Ему самому еще только предстоит полностью осмыслить свое открытие, но главное сделано. В тот же вечер Менделеев отправляет переписанную набело таблицу в типографию — ему нужно разослать ее многим людям. Еще через пару дней он передает написанную по этому поводу статью Меншуткину — для публикации в журнале Русского химического общества и для доклада от его имени на заседании общества, которое состоится 6 марта, когда автор будет ездить по сыроварням Тверской губернии. Меншуткин выступит, но сообщение не вызовет ажиотажа — скорее, наоборот. Н. Н. Зинин недовольно выскажется в том духе, что пора бы Дмитрию Иванычу заняться, наконец, настоящими химическими исследованиями. Что ж с того? Через два года он будет отзываться о Менделееве и его открытии совершенно иначе. Другим коллегам понадобится значительно больший срок, чтобы оценить менделеевскую таблицу.



Рукописный вариант таблицы «Опыт системы элементов, основанный на их атомном весе и химическом сходстве». *18 февраля 1869 г.*

Дмитрий Иванович многого не знал о попытках его предшественников расположить химические элементы по возрастанию их атомных масс. Например, он не имел почти никакой информации о работах француза Б. де Шанкуртуа, англичанина Д. Ньюлендса и немца Ю. Мейера, публикации которых не привлекли внимания ученого мира из-за явных ошибок и невнятного изложения идей, лишенных менделеевской универсальности, но довольно оригинальных для отдельных групп элементов. Тем выше следует оценить интуицию Менделеева и его уверенность в правоте.

Писатель-фантаст и популяризатор науки Айзек Азимов пишет о приоритете Менделеева в своей «Краткой истории химии»: «Основываясь на увеличении и уменьшении валентности, Менделеев разбил элементы на периоды; первый период включает только один водород, затем следуют два периода по семь элементов каждый, затем периоды, содержащие более семи элементов. Менделеев воспользовался этими данными не только для того, чтобы построить график, как это сделали Мейер и Бегюйе де Шанкуртуа, но и для того, чтобы построить таблицу, подобную таблице Ньюлендса. Такая периодическая таблица элементов

была яснее и нагляднее, чем график, и, кроме того, Менделеев сумел избежать ошибки Ньюлендса, настаивавшего на равенстве периодов. Свою таблицу Менделеев опубликовал в 1869 году, т. е. раньше, чем была издана основная работа Мейера. Однако честь открытия Периодической системы элементов принадлежит Менделееву не из-за приоритета публикации, действительная причина состоит в том, как Менделеев построил свою таблицу. Для того чтобы выполнялось требование, согласно которому в столбцах должны находиться элементы с одинаковой валентностью, Менделеев в одном или двух случаях был вынужден поместить элемент с несколько большим весом перед элементом с несколько меньшим весом… Поскольку этого оказалось недостаточно, Менделеев счел также необходимым оставить в своей таблице пустые места (пробелы). Причем наличие таких пробелов он объяснил не несовершенством таблицы, а тем, что соответствующие элементы пока еще не открыты. В усовершенствованном варианте таблицы (1871 г.) существовало много пробелов, в частности, не заполнены были клетки, отвечающие аналогам бора, алюминия и кремния. Менделеев был настолько уверен в своей правоте, что пришел к заключению о существовании соответствующих этим клеткам элементов и подробно описал их свойства. Он назвал их экабор, экаалюминий и эка-кремний («эка» на санскрите означает «одно и то же»). Тем не менее часть химиков была настроена скептически, и, возможно, их недоверие еще долго не удалось бы преодолеть, если бы смелые предсказания Менделеева не подтвердились столь блестяще».

Первое подтверждение последует в 1875 году, когда француз Поль Эмиль Лекокде Буабодран откроет новый элемент и назовет его галлием. Свойства галлия полностью совпадут с менделеевским экаалюминием. В 1879 году швед Ларс Фредерик Нильсон обнаружит скандий (экабор). В 1886 году немец Клеменс Александр Винклер предъявит миру германий (эка-кремний). Несмотря на то, что все три химика дадут новым элементам названия, связанные с историей или географией своих стран, их открытия навсегда будут вписаны в биографию Менделеева и историю русской науки.

Однако будет неправильным свести сложнейшую анатомию открытия к стремительному и победоносному творческому броску. На самом деле ученый шел к своему открытию с ранней юности. *«Я был с самого начала глубоко убежден в том,* — говорил Дмитрий Иванович сыну Ивану через много лет, — *что самое основное свойство атомов — атомный вес или масса атома должна определять основные свойства каждого элемента… Я работал над капиллярностью, над удельными объемами, над изучением кристаллических форм соединений — постоянно в этом убеждении, стремясь найти основной закон атомной механики. Я сделал попутно ряд обобщений — о температуре абсолютного кипения жидкостей или сжиженных газов, о законе предельности соединений и т. д. Но всё это казалось мне второстепенным и до конца не удовлетворяло. Я уже тогда, на студенческой скамье, в первые годы самостоятельного труда, чувствовал, что должно существовать обширное обобщение, связывающее атомный вес со свойствами элементов. Это — вполне естественная мысль, но на нее не обращали тогда достаточного внимания. Я искал это обобщение с помощью усидчивого труда — во всех возможных направлениях. Только весь этот труд дал мне необходимые точки опоры и вселил уверенность, позволившую мне преодолеть препятствия, казавшиеся тогда непреодолимыми».*

Последние дни перед моментом открытия сопровождались особенно изнурительным интеллектуальным и нервным напряжением. По свидетельству ученика и близкого друга Менделеева А. А. Иностранцева, бывшего в ту пору секретарем факультета, Дмитрий Иванович был в мрачном и угнетенном состоянии, поскольку провел трое суток без сна у конторки, пытаясь уловить зыбкую, ускользающую закономерность. И лишь после этого настало то счастливое утро: *«У-у-у! Рогатая. Ух, какая рогатая! Я те одолею. Убью-у!»* По версии академика Бонифатия Михайловича Кедрова, именно свойственное менделеевской натуре крайнее нервное напряжение, вкупе с множеством неотложных дел, в частности, со срывом сроков сдачи в типографию заключения к «Основам химии» (издатель был педант и на отсрочку не соглашался), стало условием открытия Периодического закона. Накануне

Дмитрий Иванович вернулся домой поздно, так и недоделав половину дел. Открыв, по своему обыкновению, перед сном дневник, он осознал всю тяжесть своего положения — ведь речь шла о самом болезненном, о его научной и человеческой состоятельности — и заплакал (об этом, как считают некоторые исследователи, свидетельствуют следы слез на страницах дневника). Тем не менее никаких мыслей по поводу нужного текста у него не было. Наконец, он решил, что лучшим заключением к книге будет таблица элементов. В то же время таблица получилась не без смысловых изъянов: водород и гелий не входили в октаву, часть клеток была пуста, а все лантаниды стеснились в одну клетку. В спокойном состоянии Менделеев, возможно, не решился бы опубликовать столь нелогичную таблицу. Однако, будучи в безвыходном положении, он решил, во-первых, что водород и гелий в таблице выглядят симметрично и красиво, а на интуитивном уровне это уже могло служить оправданием. Во-вторых, недостающие элементы в пустых клетках когда-нибудь откроют (предсказание очень смелое, но другого выхода не было). В-третьих, лантаниды оказались в одной клетке — бог знает почему, в будущем объяснение найдется, но нельзя помещать в разные места вещества со столь близкими свойствами. И при всей «сомнительности» таблицы все заложенные в ней прогнозы Менделеева оказались правильными. Мы опускаем подробности рассуждения Б. М. Кедрова, философа и историка науки, автора сложной теории рождения научного открытия. Важнее вывод, который он делает в отношении Периодического закона: создание таблицы элементов — смелый и основанный на интуиции акт, то есть настоящее творчество.

Сторонники менее распространенной, но, несомненно, более аргументированной версии рождения Периодического закона (в первую очередь здесь нужно назвать И. С. Дмитриева) полагают, что 17 февраля 1869 года можно считать датой великого открытия лишь символически, поскольку этот один день не может являться даже днем завершения работы над ним. Дмитриев убедительно показывает, что методологические принципы, которые разрабатывались Менделеевым, начиная с его студенческих исследований изоморфизма, были будто сразу «заточены» на поиск некоей общей системы признаков веществ. Опираясь на анализ рукописей и опубликованных работ Менделеева, Дмитриев прослеживает, как с 1855 года накапливался багаж мыслей и наблюдений ученого в этом направлении, и обнаруживает, что Менделеев подошел к универсальной классификации элементов, открытию ее концептуального ядра на несколько недель раньше отмечаемой всеми даты, в конце 1868-го — начале 1869 года.

Ставя под сомнение исполненную беллетризма историю «великого сновидения» и составленного по его подсказке «химического пасьянса», И. С. Дмитриев доказывает, что засланная в типографию страничка была пока еще результатом внутреннего компромисса ученого, колебавшегося в выборе между несколькими типами структуры будущей таблицы. То, что по поручению Менделеева предъявил в Русском химическом обществе Меншуткин, еще даже не было таблицей. Самая трудная часть работы — собственно осмысление всего массива химической информации (в то время не всегда точной) с точки зрения учения о периодичности — заняла еще год и девять месяцев. С этим нельзя не согласиться, поскольку Дмитрий Иванович и сам хорошо понимал, что вся тяжесть работы впереди. В тексте, который он передал для оглашения на заседании химического общества, сказано: *«Привожу за сим одну из многих систем элементов, основанных на их атомном весе. Они служат только опытом, попыткой для выражения того результата, который можно достичь в этом отношении. Сам вижу, что эта попытка не окончательна, но в ней, мне кажется, уже ясно выражается применимость выставляемого мною начала ко всей совокупности элементов, пай которых известен с достоверностью. На этот раз я желал преимущественно найти общую систему элементов».*

«Усидчивый труд» «во всех направлениях» привел, как считают некоторые исследователи, к возникновению некой синергетической связи ученого с вещественным миром. Менделеев настолько хорошо знал и чувствовал суть химических элементов, что

имел возможность подвергать их «личную жизнь» настоящему психоанализу. Утверждают, будто он мог даже сопереживать превратностям их развития. Вообще мистики вокруг этого открытия до сих пор более чем достаточно. Таблицу Менделеева считают отпечатком энергетической структуры Вселенной, матрицей, родственной той, что таится в картах Таро; и ней находят описание эволюции материи и даже ритм биологической эволюции. Повод к мистическому толкованию Периодического закона дает, с одной стороны, его вселенский характер (например, элемент гелий впервые был обнаружен в спектре Солнца), а с другой — близость менделеевской системы к исканиям совсем другого рода: в нем слышат гаммы божественной музыки. (Тут можно вспомнить, что один из предшественников Менделеева, Ньюленд, был осмеян коллегами за то, что его таблица была разделена на восемь частей и напоминала октаву музыкального ряда. Ньюленда обвинили в мистицизме и сравнили его с Пифагором, хотевшим — ха-ха — соединить физические законы со звуками разной высоты.)

Все эти «особенности» восприятия закона, давшего человечеству возможность прямо взглянуть на суть земных и внеземных вещей, иногда приводят, конечно, к очень любопытным толкованиям; но важно помнить, что его автор был категорическим противником мистицизма, и этот закон выводил естествознание из невообразимой сложности и путаницы к осмысленному пониманию материального мира. Он объяснил человечеству, что «свойства простых веществ, а также формы и свойства соединений элементов находятся в периодической зависимости от заряда ядер их атомов» (современная формулировка закона), ничего еще не зная ни о модели атома, ни о его ядре, ни о его заряде. Как? Пришел своим путем. На то он и был Менделеевым.

Нет сомнения, что Дмитрий Иванович, испытавший огромное творческое удовлетворение от решения узлового этапа великой научной задачи, в то же время был далек от той оценки, которую он даст Периодическому закону впоследствии. Жизнь ученого и его семьи, атмосфера их петербургской квартиры той зимой изменений не претерпела. Гостей, спешивших пройти через университетский вестибюль, чтобы позвонить в дверь с медной табличкой «Дмитрий Иванович Менделеев», с прежней важностью встречал нарядный, исполненный достоинства швейцар, приставленный к главному входу и всем помещениям, куда можно было попасть из фойе: студенческим шинельным, главной лестнице наверх (в актовый зал, аудитории и церковь) и, конечно, к профессорской квартире. Возможно, самоуважение швейцара было укреплено размышлениями, что вот господин Менделеев — человек, безусловно, почитаемый, однако профессора въезжают и выезжают, у него же, слава богу, должность не в пример более постоянная. (Увы, эти мысли, если они имелись, со временем оправдались: по воспоминаниям дочери Менделеева, Ольги, этот швейцар остался на своем месте и после того, как ее отец покинул университет и университетскую квартиру.) По-прежнему заходили коллеги, знакомые, родственники, часто прибегали племянники.

Впрочем, рассчитывать на долгое, «бобловское», общение с занятым Дмитрием Ивановичем родственникам уже не приходилось. Даже члены семьи видели его только во время обеда, когда он быстро съедал два своих блюда и снова убегал в кабинет, который в семье называли лабораторией, да перед сном, когда желали друг другу спокойной ночи. Племянники могли увидеть дядю, лишь когда здоровались или прощались. Уходя, они получали от Дмитрия Ивановича мелочь, которой хватало не только на извозчика, но также на сладости и «карандаши». Прощание было коротким, отвлечься он мог разве что ради любимой племянницы Нади, которую никогда не забывал погладить по головке и ласково, но коротко расспросить о делах. Дети успевали лишь окинуть взглядом разноцветные ряды книг (Менделеев заказывал переплетчику яркие корешки), колбы, трубки, воронки, весы, бутыли с разноцветными жидкостями и самого Дмитрия Ивановича, стоящего возле стола или конторки, реже — сидящего в уголке на полосатом диванчике. Пылали горелки, и сам он пылал, сжигаемый постоянным внутренним огнем, не дававшим ему и никому другому рядом с ним ни минуты покоя.

Квартира была просторной, кабинет-лаборатория был отделен от прочих помещений

длинным неотделанным, хотя и отапливаемым коридором, но этот огонь достигал самых удаленных ее уголков. «Раскаты грома его баритонального голоса, басовые возгласы и кричащие высокие ноты постоянно неслись из его кабинета и терроризировали непривычного слушателя. Это была какая-то непрерывная буря. Надо было привыкнуть к этой манере, чтобы различить, что на самом деле никакой трагедии не происходит. В быту, вообще, отец органически не умел сдерживать своих чувств. Он был весь налицо, весь наружу в своих радостях и печалях, в гневе и удовлетворении, которое переживал стихийно. Он не мог и не хотел в житейских отношениях никогда ничего скрывать». Это свидетельство Ивана Дмитриевича, сына Менделеева от второго брака; но речь идет о той же, не подверженной никаким изменениям, натуре, той же квартире и том же кабинете. Не владея собой в гневе и не получая никакого отпора от кроткой жены и тем более от прислуги, Менделеев часто заходил за грань нормальных отношений, обрекая себя и домочадцев на мучительные переживания. Дети видели, как отец из-за пустяка начинал кричать на мать, упрекать за отсутствие необходимых условий для работы, хлопать дверью. После таких сцен он обычно скрывался в своем кабинете. Потом быстро возвращался, падал на колени и просил прощения — и всё могло тут же повториться заново. В минуты раздражения ему было невозможно угодить. Однажды горничная подала ему плохо выглаженную рубашку. Рубашка была немедленно выброшена профессором в коридор. Подала вторую — тот же результат. Третью, четвертую… — до тех пор, пока на полу не оказалось 15 накрахмаленных рубашек. Няньки с детьми в страхе заперлись в детской, слуги притаились по своим комнатам — все ждали ужасного продолжения. Но закончилось всё по обыкновению: Дмитрий Иванович успокоился и пришел просить у жены и горничной прощения.

Каким образом экзальтированное, а порой просто разнузданное домашнее поведение могло уживаться с горячей, болезненной любовью к детям, трогательной опекой не приспособленной к жизненным трудностям супруги, удивительной домовитостью — понять трудно. Сочетание в одной личности абсолютно несовместимых качеств можно объяснить, разве что опираясь на теорию Платона, считавшего, что в одном человеке живут три различных характера — животный, житейский и высший. Сын Иван так и предлагал понимать характер Дмитрия Ивановича: «Когда отец говорил с пошлым и недалеким человеком, он, инстинктивно не желая «метать бисер перед свиньями», как бы замыкал высшую сторону своей личности и отстранял от себя внутренне собеседника каким-нибудь вульгарным выражением, наивно пошлым анекдотом. Это было для меня явным признаком, что он презирает слушателя… Когда же отец встречал понимание, тонкое, родственное, возвышенное сознание, — он преображался. Вид становился вдохновенным, слова были задушевны и нежны. Это был тонкий, выспренний, глубоко чувствующий и дальнозоркий человек. Раскрывалось настоящее психическое богатство его личности, его подлинное лицо».

Точно описывая «животный» и «высший» характеры своего отца, сын тактично обходит «житейский», объясняя неприятные стороны его личности закономерностью, свойственной многим гениальным ученым — например, французскому другу Дмитрия Ивановича Анри Пуанкаре. «При крепкой физической природе он (Пуанкаре. — *М. Б* .) обладал «невропатической конституцией» с чрезвычайной раздражительностью и бурными реакциями…» Действительно, такие примеры можно легко продолжить множеством великих имен, от Н. И. Пирогова, который запрещал жене покидать дом, до Л. Д. Ландау, семейное поведение которого вообще стало притчей во языцех.

Необыкновенная сложность натуры, впечатлительность и психическая подвижность Менделеева были таковы, что, по свидетельству Ивана Дмитриевича, делали почти все его портреты непохожими на оригинал: «Вероятно, гораздо более дал бы кинематографический фильм, но такой, к сожалению, не был снят, как и нет записи его голоса, который в своей подвижности и своеобразии — с резкими переходами от глубоко-баритональных тонов к высоким отдельным нотам — так рисовал духовную личность отца». Что касается внешних, привходящих обстоятельств, усиливавших свойственное ему нервное напряжение, то одно из них известно совершенно точно: исчерпывающее доказательство сделанного им великого

открытия растянулось на целых 17 лет. И даже после этого таблице Менделеева было суждено пережить множество испытаний, в том числе связанных с проблемой размещения в ней гелия, аргона и их аналогов (решение было найдено лишь в 1900 году), а также вновь открытой большой семьи радиоэлементов (вписать их в структуру таблицы удалось только в 1913 году). Многие известные химики еще долгие годы продолжали работать так, будто никакого Периодического закона нет.

Более того, бытовавший даже в лучших ученых головах Петербурга узкий взгляд на химическую науку отражал ситуацию, в которой вообще не было такого химика — Менделеев. Он уже открыл Периодический закон, а Николай Николаевич Зимин всё советовал ему заняться «своим», «чисто химическим» делом. Однажды, совершенно расстроенный подобными советами со стороны выдающегося органика, не желавшего вникать и суть его работы, Дмитрий Иванович написал «Его Превосходительству» Н. Н. Зинину отчаянно-откровенное и горячее письмо, в котором высказал всё, что накипело: *«Что же Вы хотите, пишу прямо, чтобы я оставил свою область, чтобы занялся открытием новых тел, позаботился о том, чтобы меня чаще цитировали?.. Полагаю, что Ваши слова вырвались оттого, что Вы не знаете того, что я сделал, не следите за тем, что девается в области моих занятий. Вы не можете отказать мне в том, что я открыл те законы объемов, о которых так много говорилось после меня. Не откажете и в том, что я указал закон пределов для углеродистых соединений, ввел первый, и притом сразу точное, ныне существующее понятие о пределе, что теперь на языке у всех. Мне принадлежат первые попытки и опыты по связи состава и сцепления, над чем после меня стали многие работать; мое исследование о спирте заключает новые приемы, вводящие критерии точности в разборе вопроса о неопределенных соединениях; мне принадлежит указание на закон симметрии простых тел (* видимо, так Менделеев писал о своей таблице*. — М. Б.), что обещает большую будущность. Можно это сделать не работая? Вы это ведь не знаете, потому что следите за другою стороной науки. Не тщеславие заставляет меня писать так и, поверьте, не расчет, а право защиты перед уважаемым человеком. Если немцы не знают моих работ, то это и понятно и не обидно мне… Если сделанное мною присваивается другими… — н не говорю ни слова, потому что не имею грубого и вредного для науки самообольщения… Вам пишу… для того, чтобы прямо и ясно сказать следующее: разработку фактов органической химии считаю в наше время не ведущей к цели столь быстро, как то было 15 лет тому назад, а потому мелочными фактами этой веточки химии заниматься не стану и также и о цитатах заботиться не стану, моя хата с краю — никого я не осуждаю, — но прошу или не осуждать и не судить меня, или уже говорить так об ошибках моих работ, а не о том, что я не работаю. Об ошибках прошу…»*

Таких писем, способных навсегда испортить отношения с адресатом, Менделеев написал в своей жизни множество, но почти никогда не отправлял сразу — откладывал, чтобы потом перечитать. А перечитав, часто решал от отсылки отказаться. Вышеприведенное послание тоже до почты не дошло. Дмитрий Иванович сделал на нем надпись: *«Это письмо не отправлено»,* — и просто положил в свой архив. И слава богу, а то ведь отец русской органики мог за эту «веточку химии» обидеться на всю оставшуюся жизнь.

В конце марта 1870 года Дмитрий Иванович был привлечен к расследованию сенсационного убийства отставного надворного советника Николая фон Зона. 7 ноября 1869 года фон Зон отправился днем в Благородное собрание и исчез. Разыскные действия полиции результата не дали. И только в середине декабря благодаря явке с повинной одного из участников преступления дело было раскрыто. Организатором и непосредственным исполнителем убийства оказался некий Максим Иванов, содержатель подпольного борделя и химик-любитель. Сферой его естествоиспытательских интересов с некоторого времени стали яды, действенность которых он проверял на кошках и собаках. Как только Иванову удалось

разработать «надежный» состав отравы, он решился испытать его на человеке с целью убийства и грабежа. Первой жертвой и стал фон Зон, которого злоумышленник встретил в увеселительном заведении «Эльдорадо». Вместе с сутенером была одна из его барышень по прозвищу Саша Большая. Престарелый сластолюбец охотно согласился продолжить отдых на частной квартире «с женщинами и шампанским». Поехали к Иванову. Выпивка быстро подействовала, фон Зон охмелел. Саша отвела его в спальню, где вытащила все имевшиеся при старике деньги. Не успела она передать их хозяину, как в общую залу вернулся частично протрезвевший фон Зон и потребовал вернуть похищенное. Ему тут же сказали, что над ним просто подшутили, что деньги целы, и предложили выпить на мировую еще одну бутылку вина. Тут-то Иванов и подмешал в него раствор ядовитого вещества. После первого же глотка фон Зон повалился на диван. Остальное бесчувственной жертве влили в рот насильно, потом для верности задушили и несколько раз ударили по голове утюгом. Явившийся с повинной свидетель рассказал также, что труп был уложен в чемодан и отправлен по железной дороге в Москву. И точно — в московском багажном отделении сыщики быстро нашли большой чемодан, ставший гробом для старого петербургского ловеласа. Это убийство получило огромный общественный резонанс, поскольку, с одной стороны, поведало о звериной жестокости городского дна, а с другой — характеризовало моральные устои петербургского дворянства.

Имя фон Зона стало нарицательным, символом старческого цинизма и разврата. Этому немало способствовал талант Ф. М. Достоевского, дважды использовавшего в своей прозе образ пресловутого статского советника. В «Подростке» старый князь Сокольский, боясь за себя, говорит Аркадию: «Послушай, ты знаешь историю о фон Зоне — помнишь?.. Как ты думаешь, здесь ничего не может со мной случиться… в таком же роде?» В «Братьях Карамазовых» Федор Павлович Карамазов (чем не духовный брат фон Зона?) интересуется: «Ваше преподобие, знаете вы, что такое фон Зон? Процесс такой уголовный был: его убили в блудилище — так, кажется, у вас сии места именуются, — убили и ограбили и, несмотря на его почтенные лета, вколотили в ящик, закупорили и из Петербурга в Москву отослали в багажном вагоне, за нумером». И еще раз пожилой развратник упоминается в диалоге старика Карамазова с Миусовым у входа в монастырь: ««Преназойливый старичишка», — заметил вслух Миусов, когда помещик Максимов побежал обратно к монастырю. «На фон Зона похож», — проговорил вдруг Федор Павлович. «Вы только это и знаете… С чего он похож на фон Зона? Вы сами-то видели фон Зона?» — «Его карточку видел. Хоть не чертами лица, так, чем-то неизъяснимым. Чистейший второй экземпляр фон Зона. Я этого всегда по одной только физиономии узнаю». — «А, пожалуй; вы в этом знаток»». Творческая судьба Достоевского сделала всё возможное, чтобы он, находясь во время работы над обоими произведениями в Старой Руссе, не забыл использовать историю старого грешника, тем более что последний был однофамильцем еще одного доказанного старорусского прототипа старика Карамазова — Карла Карловича фон Зона 1-го, старого волокиты, плута и жадины, скончавшегося почти одновременно с питерским фон Зоном.[32]

Для Менделеева это был не первый процесс. К этому времени Дмитрий Иванович был довольно опытным судебным экспертом — начиная с 1866 года его многократно приглашали на предварительное следствие для проведения научных экспертиз в Петербургский окружной, Коммерческий и другие суды. С конца 1867 года Менделеев — член

---

[32] Коль мы отвлеклись на рассказ о литературных последствиях этого уголовного дела, нельзя не вспомнить его (опосредованный, через Достоевского) отголосок в современном романе «Прощай же, книга!» японца Кэндзабуро Оэ. Главный герой романа — реальный культовый японский писатель Юкио Мисима, в 1970 году совершивший с несколькими друзьями попытку националистического государственного переворота и после неудачи сделавший себе сэппуку. В романе Оэ описывается планотстранения Мисима от политической деятельности: его должны были соблазнить и таким образом отвести от неминуемой гибели. План называется «Мисима — фон Зон»; правда, соблазнить героя должны были не женщины, а мальчики, поскольку он был гомосексуалистом.

Медицинского совета Министерства внутренних дел, являвшегося высшей судебно-медицинской инстанцией России. Несмотря на занятость, ученый никогда не отказывался от поручений Медицинского совета. Производимые им экспертизы касались самых разных вопросов: восстановления вытравленного текста, выявления подделки денежных купюр, заключений о качестве товаров (включая пищевые продукты, вино и пиво) и, конечно, отравлений.

Между тем сотрудничество эксперта с судебными органами было в те годы делом непростым. Порядок следствия в недавно открытых (по реформе 1864 года) судах явно был разработан плохо, а регламент экспертизы — и вовсе никак. На место преступления выезжал приглашенный судебный врач, а после завершения предварительного следствия звали другого эксперта, который, по сути, должен был оценить правильность действий своего коллеги. Менделеев уже вызывался для подобной экспертизы по делу о смерти коллежского асессора Курочкина, где вынужден был давать заключение только на основании ознакомления с результатами исследования, проведенного другим специалистом. Дмитрий Иванович, ценивший прежде всего не чье-то мнение, а факты, анализ и собственноручно поставленный опыт, использовал суд над убийцами фон Зона для объявления своей позиции: на вопрос судьи о точности ранее проведенной экспертизы он ответил: *«Для того чтобы быть добросовестным экспертом и сказать правду, химик должен сделать научный опыт»*. Тем не менее он изложил суду свои предположения.

В деле фон Зона особенно неясным был эпизод, связанный с отравлением самодельным ядом. По всей видимости, Менделееву удалось доказать, что составленное Ивановым зелье ко времени использования потеряло (или так и не приобрело) убийственную силу. Об этом свидетельствует пассаж, развернутый в суде знаменитым адвокатом Спасовичем, защищавшим участницу преступления Сашу Большую: вещество, приготовленное Ивановым, не имело отравляющих свойств, а поскольку отравление предполагает использование веществ, обладающих отравляющими свойствами, то Иванов его не совершал и, следовательно, не может иметь сообщников отравления. Владимир Данилович Спасович, удивительный судебный оратор, в защитительной речи сумел вызвать жалость к подсудимой, подробно описывая не скрытые достоинства, а всю мерзость ее внутреннего мира вкупе с умственной и душевной неразвитостью. В итоге он, как водится, предложил осудить не свою подзащитную, а те обстоятельства жизни, которые сделали ее таким чудовищем. Благодаря адвокатской речи, вызвавшей полное сочувствие публики, Александра Авдеева (таково имя Саши Большой по «пашпорту») избежала смертной казни. Иванов же повесился в камере, не дожидаясь исполнения смертного приговора.

Вскоре после процесса Дмитрий Иванович выступает в газете «Судебный вестник» со статьей «Об экспертизе в судебных делах», где излагает условия, при которых можно получить действительно объективное заключение эксперта. Читая ее, убеждаешься, насколько он обогнал свое время и в этом деле, которое тоже знал досконально. Большая часть его требований реализована только сегодня, а кое-что и сейчас считается делом будущего. Он же в своей криминалистической работе по собственной воле подчинялся требованиям, которые считал единственно верными, и не упускал возможности отчитать коллег за расхлябанность. Давая заключение о смерти присяжного поверенного Ахочинского, он писал: *«Взята была одна из подлинных банок, но она оказалась столь слабо перевязанной, что можно снять ее покрышку, не вредя печати. Таковые обстоятельства, по моему мнению, могут рушить всё значение судебно-химического исследования»*. По делу об обнаружении мышьяка в олове, используемом для лужения посуды, он буквально обрушивается на эксперта, профессора-фармаколога А. В. Пеля, который ограничился поверхностным изучением вещественных доказательств, зато подкрепил его авторитетом французских коллег: *«Мнение французских ученых, высказанное к письме к профессору Пелю, я не могу принять, пока не будут выяснены опытные данные, его подтверждающие и критику выдерживающие»* . (Кстати, через 20 лет Дмитрий Иванович разразится серией яростных писем в защиту изобретенного Пелем спермина и пойдет на скандал в

Медицинском совете.) Возможно, самым показательным в смысле добросовестности и скрупулезности Менделеева-криминалиста было его заключение по делу о загрязнении Невы сточными водами Невской ни точной мануфактуры. Для того чтобы убедиться в правильности предварительных выводов, Менделеев не только произвел химический анализ речной воды возле мануфактуры и собрал данные о количестве сырья и топлива, расходуемых на ней при различных технологических процессах, но и добыл полную информацию о всех промышленных предприятиях, расположенных выше по течению, о размерах всех отстойных колодцев и протяженности их стоков.

Два года, последовавшие за открытием Периодического закона, были у Менделеева, как всегда, насыщены разнообразными занятиями. Он продолжал читать лекции, работал над вторым изданием «Основ химии», выступал с докладами, активно участвовал в жизни научного сообщества. Время, и без того неспокойное, становилось совсем тревожным — Европа скатывалась к новой войне. Германию и Францию всё более накрывало облако едких шовинистических настроений, способных, как оказалось, отравить даже высоколобых естествоиспытателей. Взаимные выпады делались всё оскорбительнее. Русские ученые, с благодарностью хранившие память о немецких и французских университетах, испытывали понятное чувство неловкости и предпочитали не вмешиваться в полемику хорошо им знакомых и вполне ими уважаемых персонажей. Но в какой-то момент они почувствовали себя глубоко оскорбленными.

За две недели до Франко-прусской войны мюнхенский профессор Якоб Фольгард ополчился не на кого-нибудь, а на основателя современной химии великого Антуана Лавуазье, гениального ученого, обезглавленного в 1794 году французскими революционерами.[33] Теперь память о несчастном гении, открывателе кислородной природы горения, была потревожена немецким коллегой, приверженцем опровергнутой Лавуазье теории флогистона — мифической огненной субстанции, якобы наполняющей все горючие вещества: «Лавуазье не открыл ни одного нового тела… Ни один способ получения химического препарата, ни одна химическая реакция не носят его имени… Своим успехом он обязан честолюбию, сообразительности, образованию физика и дилетантской точке зрения, благодаря которой он был свободен от веры во флогистон». Фольгарда поддержал лейпцигский профессор Адольф Вильгёльм Герман Кольбе. «Скорбя» о «глубоком упадке» химии во Франции (и это в то время, когда там в полную мощь работали Дюма, Вертело, Вюрц и десятки других талантливых химиков), Кольбе договорился до того, что «Лавуазье даже не был химиком». Националистические выпады задыхающихся от злобы и зависти Фольгарда и Кольбе были встречены громким протестом Русского химического общества. Зинин, Бутлеров, Менделеев и Энгельгардт незамедлительно опубликовали письмо в «St.-Petersburger Zeitung», в котором дали гневную отповедь обоим клеветникам. *«Кольбе написал о Лавуазье и лживо, и гадко* , — прокомментировал позже Менделеев, — *и потому мы ответили ему»* . Реакция Дмитрия Ивановича в данном случае была единственно возможной. Престиж науки, ее высокая чистота всегда были, по его твердому внутреннему ощущению, средством излечения больного человечества, а тут вдруг он увидел, как зараза начинает проникать в лекарство. Нельзя снести, когда ученый ведет себя *«и лживо, и гадко»…*

Статья в защиту Лавуазье ни в коей мере не являлась политическим документом, а была просто естественной реакцией приличных людей. Менделеев воспринимал войну в Европе, пожалуй, лишь в качестве помехи для поездки за границу. Ему надо было пообщаться с зарубежными коллегами лично, самому рассказать им о Периодическом законе. Он, конечно, писал статьи, отсылал в научные журналы. Там их печатали, кто-то

---

[33] Перед казнью Лавуазье попросил о помиловании, но получил ответ: «Революция не нуждается в химиках». «Всего мгновение потребовалось им, чтобы срубить эту голову, и во сто лет не будет такой другой», — с горечью отозвался об убийстве Лавуазье математик Жозеф Лагранж.

читал… Было не до того. Пруссия во главе стремящихся к объединению германских земель все-таки заставила Францию расчехлить пушки. Французские пушки были бронзовые, а у немцев — стальные и дальнобойные. Те самые крупповские орудия, которые немцы несколько лет назад показывали в Париже на Всемирной выставке и на которые гордые французы, по всей видимости, не обратили внимания. Еще у Пруссии был подробнейший план войны, разработанный начальником Генштаба Мольтке-старшим. У Франции плана не было, зато были скорострельные 25-ствольные митральезы, стрелявшие картечью, и император Наполеон III, лично ставший во главе армии, что, по его мнению, должно было перевесить все прусские пушки и планы. Война продлилась девять месяцев, немцы осадили Париж и взяли в плен императора. Его армия была разбита. Французский народ создал новую миллионную армию, однако переломить ход войны не удалось, поскольку маршал Базен сдал Мец и сложил оружие вместе со своим 170-тысячным войском. Французская империя пала, осажденный Париж слал во все стороны аэростаты, почтовых голубей и сотрясался народными восстаниями. Правительство между тем вступило в тайные переговоры с немцами. В конце февраля Париж капитулировал, немцы демонстративно вошли во французскую столицу и через несколько дней ее покинули. Вслед немцам рвануло еще одно народное восстание и была создана Парижская коммуна. Жизни ей было отмерено 72 дня. Коммунаров расстреляли не немцы, а свои. Франция глотала дым поражения и переживала кровавую обиду. Германия, которой теперь ничто не мешало слиться в единую империю, смотрела свысока.

Мирный договор еще не был заключен, а русский профессор Менделеев уже спешил сесть в берлинский поезд. Он ехал в заграничную поездку по своей надобности, без всяких служебных поручений. В Берлине он попал на заседание Химического общества, членом которого был избран совсем недавно, и пообщался с коллегами Раммельсбергом, Шерингом, Байером и Вихельхаузом. Поговорили о менделеевской классификации элементов и заодно обсудили другие открытия последнего времени. Дмитрий Иванович, почувствовавший, что воспринимается здесь серьезно и уважительно, отписал жене: *«Отлично провел время среди берлинских химиков»* . Затем, наполненный новыми мыслями и свежими научными известиями, он отправился в путь через знакомые города — Герлиц, Лейпциг, Геттинген, Бремен…

В Бремене теперь жила Агнесса Фойхтман с дочерью. Менделеев хотя и сомневался в своем отцовстве, но формально его признавал, выплатил Агнессе при рождении ребенка две тысячи гульденов и до самого замужества Розамунды высылал деньги на ее воспитание. Встреча прошла вежливо и без особых эмоций. Дмитрий Иванович, ценивший каждую минуту, прямо в ходе этого визита уселся за письмо «голубчику Физе», где описал свое впечатление от немецких химических лабораторий в Лейпциге и Геттингене и далее сообщил: *«А вчера приехал в Бремен. Роза здорова и выросла, но ее отец* (Агнесса вышла замуж. — *М. Б* .) *не отпускает* (вероятно, Менделеев приглашал девочку погостить в своей семье. — *М. Б* .)*. Он, кажется, хороший человек, но едва ли даст образование ребенку. Сейчас Роза стоит тут, передо мною, и просит поклониться тебе и поцеловать Володю и Лелю. Ей уже 10 лет, она хорошо читает».*

Из Бремена Менделеев двинулся в Ганновер, оттуда — в Бонн, где он душевно пообщался со старым знакомцем механиком и стеклодувом Гейслером, тем самым, что когда-то изготовил для него *«неподражаемо хорошие приборы».* Конечно, он не мог при этом не вспомнить другого мастера — Саллерона, но дорога к старому другу в послевоенный и послереволюционный Париж была всё еще рискованна. Слава богу, многие французские ученые, и среди них Дюма и Мариньяк, пережидали смутные времена в Женеве. Туда он и направился, всего на несколько дней задержавшись в Гейдельберге. Заглянул в Badischer Hof, вспомнил старых друзей и подруг, поел из знакомой посуды, с умилением попил чаю из стаканов в «русских» подстаканниках. Здесь когда-то они сиживали с Сеченовым, Бородиным и Савичем. Савича уже нет, Бородин живет полной жизнью — профессорствует, учит женщин-врачей, пишет музыку. А Сеченову не повезло — после выхода «Рефлексов

головного мозга» для него начались плохие времена. Цензурный комитет обвинил автора «в материализме» и всех смертных грехах, вплоть до того, что он, «разрушая моральные основы общества в земной жизни, тем самым уничтожает религиозный догмат жизни будущей». Тираж сожгли. Начальство пригрозило увольнением и даже уголовным преследованием. В конце концов он сам ушел из Медико-хирургической академии — не мог стерпеть, что их общего друга Илью Мечникова забаллотировали при выборах в профессора. За что же травили? Может, за слова: «Смеется ли ребенок при виде игрушки, горько ли улыбается Гарибальди, когда его гонят за излишнюю любовь к родине, дрожит ли девушка при первой мысли о любви, создает ли Ньютон мировые законы и пишет их на бумаге — везде окончательным фактором является рефлекторное мышечное движение — ответ на возбуждение, поступающее в мозг из внешней среды»? Неучи! Взял, конечно, старого друга к себе, в университетскую лабораторию. Жаль, поработать вместе пришлось недолго — уехал Иван Михайлович преподавать в Одесский университет. И Мечников там же, в Одессе…

В Гейдельберге хотелось повидаться с Эрленмейером, но тот, как назло, оказался в отъезде (через неделю Менделеев отыщет его в Мюнхене). Зато Дмитрий Иванович встретился с А. Ладенбургом, с которым когда-то познакомился в лаборатории Р. Бунзена и Г. Кирхгофа. Этому человеку стоило пожать руку — за пару лет до войны он опубликовал «Лекции по истории развития химии от Лавуазье до нашего времени». К тому же Ладенбург оказался горячим сторонником менделеевского открытия и был уверен в его приоритете. В Гейдельберге Менделеев не упустил возможности совершить выгодную сделку — продал местному коллекционеру и торговцу Г. Блатцу 88 граммов привезенного с собой циркона (некоторое его количество он совершенно бесплатно послал английскому ученому Г. Роско), а у того накупил необходимые для работы минералы, в том числе гадолинит, ортит, вольфрам и лейцит.

Наконец он добрался до Женевы. Старик Дюма был полон доброжелательности, и дело было не только в симпатии к молодому русскому химику. Француз очень заинтересовался периодической таблицей и исследованиями Менделеева в области редкоземельных элементов. Говорили много и по существу. Дюма, с ходу вникший в суть вопроса, рассуждал точно и копал глубоко. Расставаясь, он попросил держать его в курсе всего, что происходит вокруг и «внутри» таблицы. Это была серьезная поддержка. Но абсолютное доказательство его правоты могло принести только время. *«Из Женевы перебрался сюда, в Веве, чтобы немного свести мысли и вздохнуть… Дела, какие следовало, собственно говоря, все обделал и теперь надо воротить оглобли назад».* В середине июня Дмитрий Иванович уже был дома.

Несмотря на привычное обилие петербургских и бобловских занятий, основное внимание Менделеев по-прежнему отдавал разработке своего учения о периодичности. Таблица быстро совершенствовалась. Важным шагом стало исследование форм кислородных и водородных соединений, в ходе которого ученый открыл еще один принцип периодической системы: высшая форма этих соединений характеризует принадлежность элемента к данной группе (сама идея высшей формы родилась у Менделеева еще в ходе его работы над теорией пределов). Далее он приходит к выводу о неправильном размещении в таблице таллия, свинца и висмута. Сопоставив удельные объемы этих элементов, Дмитрий Иванович сдвигает их соответственно в третью, четвертую и пятую группы. Уран, место которого в третьей группе Менделеев с самого начала считал сомнительным, находит надежный приют в шестой группе как аналог хрома, молибдена и вольфрама. В поисках элемента, способного заполнить пустоту в третьей группе, Менделеев обращает внимание на индий. После детального анализа свойств его соединений и проверки атомного веса этот элемент был помещен в эту группу. Результаты проверки атомного веса индия, которую Дмитрий Иванович производил методом измерения теплоемкости на приборе собственной конструкции, вскоре получают подтверждение от его старого знакомого Бунзена,

использовавшего для этого совершенно другую аппаратуру.

Уже к 1871 году таблица приобрела многие важнейшие черты своего нынешнего вида. Тем не менее в России и на Западе она часто воспринималась всего лишь в качестве гипотезы. Скепсис со стороны научного сообщества странным образом поддерживался самим Менделеевым, чья вера в открытие была незыблема. Дело в том, что он и сам не понимал, почему Периодический закон действует именно таким образом. Мощная интуиция, безошибочное ощущение научной истины не могли заменить точного физического объяснения. Такое объяснение было невозможно до разработки модели атома. Великий ум, только что совершивший огромный научный прорыв, оказался в ловушке времени. Его удивительное зрение (вспомним, в детстве он был уверен, что видит две составляющие Сириус звезды) не могло заменить собой полвека исканий лучших умов Европы. Кроме этого — главного — вопроса, неподъемной для одинокого исследователя оказалась проблема поиска и размещения в таблице предсказанных им редкоземельных элементов. Он был готов к кропотливой, однообразной работе, но эта работа должна была давать хоть какой-нибудь результат. Вскоре Менделеев понимает, что тратит время зря. Найдя правильное место для лантана и иттрия, для всех остальных он выбирает промежуточное решение — оставляет семейству редкоземельных элементов почти три ряда таблицы. В декабре 1871 года ученый прекращает свои изыскания в этой области и обращается к совершенно новой тематике — исследованию газов. Впрочем, этот шаг был отнюдь не случайным.

В последние годы жизни Д. И. Менделеев внесет в Периодическую систему еще один, нулевой, период и нулевой ряд, куда он намеревался поместить элемент, в миллионы раз более легкий, чем водород. Ученый даже подобрал ему название — ньютоний. Менделеев полагал, что ньютоний — не только наилегчайший, но и химически наиболее инертный элемент, обладающий высочайшей проникающей способностью. Иначе говоря, Дмитрий Иванович был намерен вписать в свою таблицу мировой эфир, неуловимое вещество, через которое, еще по мнению Пифагора, к нам доходят лучи Солнца. Причем мысль об этом элементе начала формироваться в его голове задолго до семидесятых годов XIX века.

Он не был первым, кто после Пифагора вспомнил об эфире. Странную идею древнего идеалиста повторил в свое время материалист Аристотель, веривший, что природа не терпит пустоты. До XVII столетия понятие мирового эфира, будучи пригодным для любой системы взглядов и вообще не обязательным, существовало, не вызывая никаких драм, пока Ньютон не создал теорию тяготения и не исчислил математически его силу. А чем передается эта сила, ни предшественники Ньютона, ни сам сэр Исаак не знали. Кое-кто — например Декарт — предлагал всё тот же эфир — «тонкую материю» пространства, наделяя его совершенно нереальными свойствами; однако Ньютону, создателю опытной физики, этот эфир не подходил совершенно. Да он поначалу и не был ему нужен: к чему какие-то гипотезы, раз без них можно исчислять движение небесных тел? Но затем Ньютону пришло в голову, что, наверное, что-то в этом роде существует и, проникая сквозь небесные тела, постоянно стремится к Земле, увлекая эти тела за собой. Но тогда почему это движение осуществляется только в одну сторону, ведь тяготению подвластны все тела? Значит, эфир, конкретный и материальный носитель притяжения, все-таки существует? И тут началась мука мученическая. Увидеть эту субстанцию, изучить невидимый эфирный механизм тяготения Ньютон не мог, но он уже был уверен в его существовании, тем более что успел убедиться (испытывая огромное внутреннее сопротивление) в волновой природе света. Значит, частица света пересекает пространство на какой-то волне? На какой же, черт побери?! «Предполагается, — писал он, — что существует некая эфирная среда, во многом имеющая то же строение, что и воздух, но значительно более разреженная, тонкая, упругая… Немаловажным аргументом в пользу существования такой среды служит то, что движение маятника в стеклянном сосуде с выкачанным воздухом почти столь же быстро, как и в открытом воздухе». Но это были наблюдения опосредованные. Стоило Ньютону и его коллегам обозначить приблизительные характеристики эфира, как получался, по

определению автора книги «Предчувствия и свершения» И. Л. Радунской, «…монстр, сгусток противоречий, соединение несоединимого, объединение необъединимого. Неуловимее привидения, более разрежен и прозрачен, чем воздух, маслянистее масла…». Этот «монстр» будет мучить гениального британца до конца жизни. В итоге сэр Исаак откажется судить об эфире определенным образом, оставит эту проблему другому гению.

Дмитрий Иванович «увяз» в эфире практически еще при написании «Удельных объемов», когда обратил внимание на встречающееся в ряде исследований нарушение законов Бойля — Мариотта и Гей-Люссака, регламентирующих соотношения между давлением, температурой и объемом газов, а потом в Гейдельберге, когда с непонятным упорством искал механизм взаимодействия молекул. Это ощущение всеобщего межмолекулярного поля, по всей видимости, не покидало его никогда, поэтому вполне естественно, что, убедившись в отсутствии прямых путей к физическому обоснованию Периодического закона, он начал искать разгадку в природе сил тяготения и свойствах передающей среды. Менделеев предполагал, что эфир может быть специфическим состоянием газов при большом разрежении или особым газом с очень малым весом.

Вслед за Ньютоном, наблюдавшим за маятником внутри колбы с выкачанным воздухом, Дмитрий Иванович был намерен разгадать тайну вещества в разреженной газовой среде. Возможно, в этих условиях вещество ослабляет маскировку эфира своими свойствами? Потом он изобретет другие способы охоты за эфиром, но сейчас его больше всего интересуют газы.

Не обращая никакого внимания на то, что он снова покидает химию и уходит в область физики («*Химик, который не есть также физик, есть ничто»*), Менделеев вновь, как когда-то в Гейдельберге, начинает конструировать специальное оборудование. Им разрабатывается программа исследования упругости газов и определения термического коэффициента их расширения в широком интервале давлений. Подобные планы требовали весьма значительного финансирования. Оплатить такую работу могло только государство. И тут блестящим образом проявилась способность Менделеева не просто связывать воедино фундаментальные и прикладные проблемы, а оказываться на стыке теоретических и практических исследований.

В данном случае он, полностью погруженный в размышления об эфире и периодичности, кажется, даже не успел осмыслить прикладную ценность знаний о разреженности и упругости газов. Ее заметил председатель Русского технического общества Петр Аркадьевич Кочубей, очень заметный для своего времени человек, недальний родственник хорошо известного Виктора Павловича Кочубея, в 1800-х годах ближайшего сподвижника Александра I, а в 1830-х — знакомца и соседа Пушкина по Литейному проспекту (поэт дружил с его сыновьями и был влюблен в его дочь Наталью, но она предпочла ему богача-графа А. Г. Строганова). Виктор Павлович был пожалован за службу сначала графом, а потом князем, с него началась княжеская ветвь на родовом дворянском древе Кочубеев. А Петр Аркадьевич происходил из докняжеского побега этого древа, что совсем не мешало ему быть уважаемым при дворе и влиятельным в научной среде человеком. В январе 1872 года тайный советник Кочубей пришел в гости к Менделееву и застал его за «кабинетным штурмом» загадок газовой среды. Стоило искушенному Петру Аркадьевичу узнать, в чем дело, как всё начало устраиваться. В предисловии к книге «Об упругости газов», изложенном в виде письма П. А. Кочубею (ну чем не Сервантес с его посланием к герцогу Бехарскому в начале «Дон Кихота»?), Дмитрий Иванович так описывает эту встречу: *«Однажды в январе 1872 года Вы, Петр Аркадьич, застали меня среди таких занятий и пожелали узнать мое мнение и проекты, а узнав их, Вы тогда же внушили мне надежду достать средства для работы, потому что Вы посмотрели на необходимость новых исследований над упругостью газов со стороны применения ее во многих областях техники. Вы припомнили, что пружина газов есть источник силы, действующей не только в разнообразных применениях пороха и других средств для получения сжатых газов, но и во многих, год от года умножающихся газовых двигателях,*

каковы, например, калорические машины и те, коими сверлят скалы… Таким образом, связав потребности теории и практики, Вы в качестве председателя Императорского Русского технического общества отыскали средства, необходимые для выполнения исследований, мною предположенных…»

Герцог Бехарский, он же маркиз Хибралеонский и прочее — имя вымышленное, оно придумано автором в качестве пародийного «прикрытия» романа. Петр Аркадьевич Кочубей — личность абсолютно реальная: почетный академик, собиратель уникальной коллекции минералов и т. п. Но эта аналогия наводит на некоторые мысли: может быть, Менделеев не хуже Кочубея догадывался о роли сжатых газов в оружейном деле и промышленности? Может быть, непростой Дмитрий Иванович сознательно уступил своему январскому гостю счастье прозрения, которое, как известно, часто вздымает океан созидательной энергии? В пользу этого предположения говорит и тот факт, что Менделеев сделал всё, чтобы не брать на себя единоличную ответственность за проект.

Начатые работы был и переданы под эгиду Русского технического общества, которое избрало специальную комиссию под председательством физика и признанного авторитета в области конструирования, производства и арсенального содержания артиллерийских орудий генерала А. В. Гадолина. Менделееву было поручено то, чего он и добивался: заведование опытами. Средства для работы со сжатыми газами Кочубей, с помощью заинтересовавшегося новой идеей великого князя Константина Николаевича (тот даже сам навестил Дмитрия Ивановича в его лаборатории), добыл из бюджетов военного и морского ведомств — по пять тысяч рублей. В университете было выделено помещение для новой лаборатории и предоставлены средства для ее оборудования. Часть приборов взялся изготовить механик Пулковской обсерватории Георг Константинович Брауэр, но за выполнение остальных, особенно имеющих стеклянные трубки и шары, в России не брались. А еще нужны были точные образцы метра, килограмма и разновесы. В июне 1872 года Менделеев в сопровождении лаборанта Шмидта выехал за границу за оборудованием.

Дмитрий Иванович оставил лаборанта у Гейслера — наблюдать за точностью изготовления стеклянных приборов, а сам направился в Париж. В столице Франции стояла жара. Менделеев поселился в хорошей гостинице возле Люксембургского сада. Вставал рано, пил в бистро вкусный кофе, потом шел заниматься делами. К его удивлению, Париж, пережив осаду, бомбардировку, оккупацию и череду кровавых восстаний, почти не изменился. Кроме ратуши и дворца в Тюильри, всё было целехонько. Саллерон также был жив-здоров, дело его ничуть не пострадало — наоборот, процветало. Большинство ученых уже вернулись из мест, где они пережидали лихие времена. Коллеги были очень любезны с русским другом, но о войне предпочитали не говорить. Пригласили на заседание Академии наук, усадили на почетное место, охотно предоставили возможность работать в Консерватории искусств и ремесел (в России заведение, подобное этому, именовалось глухим словом «депо»), Менделеев сразу же приступил к сличению хранящихся здесь эталонов длины и веса с копиями, которые по его заказу изготавливал Саллерон. Он понимал, что всё идет очень хорошо, лучше, чем можно было предположить. Почему же он чувствует себя таким усталым? Почему так тяжко любит и жалеет детей — Адю, Лелю, Розу, давно ушедшую Машеньку и того мальчика, которого Феозва только что родила раньше срока мертвым?..

Глава седьмая
ЭФИР

Удивительные исследования (их цель можно было понимать по-разному — то ли опровержение открытого европейцами фундаментального закона, то ли качественное улучшение артиллерийского вооружения, то ли и вовсе покушение на мистическую тайну невидимого мира), начатые профессором Менделеевым в 1872 году, получили широкую известность в обществе. Деньги благодаря мощной поддержке влиятельных персон

выделялись практически беспрекословно. В одном из писем Кочубей информировал Менделеева: «Согласно Вашему желанию сообщаю Вам, что успех совершенный. Денег 5000 уже собрано, остальные соберу на следующей неделе. Великий князь был великолепен и доказал замечательную память. Он при мне в продолжение ½ часа с чертежом в руках прочел лекцию гг. высшим сановникам морского министерства…» Не остались в стороне и промышленники. Управитель Обуховских заводов А. А. Колокольцев безвозмездно передал лаборатории большое количество ценных приборов, выполненных из литой обуховской стали. Сам Н. И. Путилов пожертвовал стальные рельсы для крепления стенда с манометрами.

«Весна 1872 года прошла в выполнении подробностей проектирования приборов, — писал Менделеев. — *Многое пришлось нарочно для этого изучать. Так, например, в это время опытным путем найден был состав мастики или сплава, которым скоро, прочно и герметично соединяются отдельные части приборов, назначенных для опытов при высоких давлениях. Недели, потраченные на эти и ей подобные мелкие подробности, искупаются облегчением и уверенностью, достигнутыми во всех последующих работах. Летом этого года я воспользовался для сличения моих нормальных метров и килограммов с платиновыми прототипами Консерватории Искусств и Ремесел в Париже… Осенью 1872 года при химической лаборатории С. П. Университета, под руководством талантливого архитектора Горностаева, было устроено специальное помещение для производства наблюдений с необходимыми приспособлениями* (площадь лаборатории была расширена за счет квартиры жившего через стену экзекутора. — *М. Б* .). *Тогда я приступил к изучению сжимаемости разреженных газов. Опыты с первыми тремя приборами, устроенными для этой цели, дали неожиданный результат, показав, что отступления от Бойль — Мариоттова закона весьма значительны и для разных разреженных газов однообразны по качеству. Не доверяя первым результатам, я видоизменял и улучшал устройство приборов, вводил новые поправки, много времени посвятил на изучение разных способов определения давлений и построил тот прибор, с которым потом делал определения вместе с М. Л. Кирпичевым.*[34] *Эти работы длились и в 1873, и в 1874 году. Они будут еще продолжаться…»*

Как всегда бывает, к живому делу потянулись талантливые люди, ставшие ближайшими помощниками Дмитрия Ивановича. Более всех он выделял и ценил Михаила Львовича Кирпичева, взявшего на себя изучение свойств материалов, из которых создавались приборы. В частности, его опыты над сжимаемостью каучука должны были осветить вопрос об изменении емкостей сосудов, подверженных давлению. Очень много исследований выполнил В. А. Гемилиан, *«отличавшийся даровитостью, деятельный и усидчивый»* . Н. П. Петров сконструировал и построил специальный ртутный насос для нагнетания газов. Г. К. Брауэр изготовил большинство спроектированных Менделеевым измерительных приборов. Сотрудничать в новую лабораторию пришли Г. А. Шмидт, лаборантом ездивший с Менделеевым за границу в послевоенную Европу, будущий университетский профессор А. С. Еленев, Н. Н. Каяндер — акцизный чиновник, профессионально занимавшийся химией,[35] ученики Менделеева Н. Ф. Иорданский и Е. К. Гутковская (неродная внучка сестры Екатерины Ивановны), племянник Дмитрия Ивановича Ф. Я. Капустин, Э. Э. Пратц и другие энтузиасты, получавшие всего по 40–50 рублей в месяц, но готовые работать день и ночь. Уж если их работой был удовлетворен сам

---

34 Менделеев и раньше был талантливым приборостроителем, но в эти годы он, казалось, превзошел себя. Недаром восхищенный своим русским другом Саллерон демонстрировал на заседании Парижской академии наук сконструированные Менделеевым весы для газов.

35 Менее чем через десять лет приват-доцент Николай Николаевич Каяндер станет известен как автор идеи о самопроизвольном разложении в растворе кислот и солей и об их существовании в растворе как обособленных продуктов распада.

Менделеев, которому, казалось, вообще невозможно было угодить (а он был по-настоящему доволен своими помощниками и не раз писал об их великой добросовестности и скромности), то легко можно представить, какие люди собрались вокруг него в этот период. Работалось хорошо, в охотку. Но страсть Менделеева к путешествиям при этом ничуть не ослабела. Он снова ездил в Париж за эталонами и лабораторным оборудованием. И в Вену — на новую Всемирную выставку — Дмитрий Иванович, конечно, тоже поехал. Такое мероприятие было для него почти обязательным.

Австрийская империя, ставшая легкой жертвой Пруссии еще до начала Франко-прусской войны, в 1866 году, и изгнанная из Германского союза, уже несколько лет делала отчаянные попытки выйти из международной изоляции. В послевоенной Европе Австро-Венгрия (с 1868 года) могла бы рассчитывать разве что на Францию, но их сближению препятствовала горькая правда недавних событий. Когда пруссаки пошли на австрийцев, Наполеон III, объявивший себя союзником Вены, многократно грозился выступить на ее защиту, но так и не решился на активные действия. Пруссаки, разобравшись с австрийцами, двинулись на Францию. Австро-Венгрия, отнюдь не стертая с лица земли (европейские конфликты позапрошлого века были лишены тотальности и в этом отношении отличались от войн последующего столетия) и вполне способная оказать помощь галлам, теперь тоже не стала спешить, тем более что Франция была довольно скоро разгромлена. В общем, любить друг друга да и других соседей им было не за что. Международная европейская политика была пронизана злопамятным недоверием.

Но империи обязаны бороться за свое будущее, уныние им противопоказано. В 1873 году австрийцы решили доказать, что Вена может провести Всемирную выставку ничуть не хуже любой другой столицы и уж во всяком случае не хуже Парижа, принимавшего выставку перед самой войной. Однако, несмотря на все усилия, перещеголять «столицу мира» австрийцам не удалось, хотя возведение гигантского выставочного городка в Пратере, самом большом парке Вены на берегу Дуная, патронировал сам император Франц Иосиф. Строительство сопровождалось авариями и пожарами, в довершение всех бед Дунай вышел из берегов и затопил часть выставочной территории, включая огромный аквариум. В результате всего этого невезения к 1 мая, дню открытия выставки, была закончена лишь четвертая часть ее сооружений. Взорам иностранцев предстали обнесенные строительными лесами павильоны. И все-таки открытие состоялось, и предложенная устроителями программа была признана гостями весьма интересной. Венская выставка состояла из двадцати шести вполне традиционных разделов, но главный упор был сделан на горнозаводскую промышленность, сельское и лесное хозяйство. Видимо, выбор именно этих отраслей в качестве основных был очень точным, поскольку на выставку привезли великое множество экспонатов. Пришлось срочно организовывать новые стенды на открытом воздухе. В остальном всё было как всегда: устроители стремились удивить участников, участники — всех на свете.

Россия хотела вписаться в этот парад пышного и тщеславного прогресса. По этой причине ее главный Царский павильон (кроме него, в русском разделе были еще жилой дом усадебной постройки, русская изба и деревенская харчевня) в новом русском стиле, возведенный по проекту архитектора И. А. Монигетти, был еще больше, чем в Лондоне и Париже. Хозяева соседних стендов потирали руки в предвкушении торговых контрактов, а русские устроители с трепетом ожидали своего государя. Августейшее посещение случилось 25 мая. Император вместе с наследником осмотрел коллекцию работ народов Севера, похвалил чеканщиков и ювелиров, одобрил бронзовый фрагмент Царских врат для храма Христа Спасителя… Иностранцы тоже дивились изящным русским экспонатам, щупали изумительные «травчатые» ткани Мозжухина, поглаживали графитовые и нефритовые фигурки, вырезанные иркутскими мастерами, и шли делать дело в другие павильоны.

При этом русским инженерам было чем похвастаться: на выставке были представлены хорошие механизмы, взятые прямо из цехов Нижнетагильских заводов, а также проект

грандиозного 50-тонного парового «Царь-молота» горного инженера П. В. Воронцова.[36] Но рабочее оборудование и тем более проект на выставке не продавались — они просто должны были поразить заморскую публику. Таким образом, русский престиж воспринимался отдельно от торговли.

Среди наград, которые вручались на выставке, впервые была медаль «За сотрудничество», которая присуждалась не владельцам предприятий, а их самым заслуженным помощникам — директорам, инженерам, экспертам, мастерам и даже рабочим. Это новшество Дмитрий Иванович наверняка отметил. Он и в этот раз изучал выставку деловито и без излишних восторгов. *«Друг Физа. Вот не было никакого от вас известия и беспокоюсь, а время идет у меня незаметно. Не только выставка, но и свидания со многими знакомыми занимают всё время. Сперва Боткин (брат Сергея Петровича) с товарищами, потом Пеликан, а сегодня Пассек с детьми — заставляют забыть, что не в России, не говорю уже о многих других встречных — с этими провожу дни и вечера. Дело кончил, то есть осмотр, и, вероятно, в пятницу еду. Жары, дождь и духота, толкотня и суетня отбили аппетит… Обними деток. Скажи Володе, что Венская выставка есть то же самое, что Московская, только раз в шесть побольше да раз в 100 побогаче, так что он, можно сказать, был здесь, не испытавши духоты и усталости. А Леле скажи, что здесь есть на выставке цветы, сделанные из птичьих перьев с натуральными красками и что я привезу образчик — это из Бразилии. Римской мозаики нет или есть дрянная, я купил тебе флорентийскую брошку…»*

Сколь бы сильным ни было увлечение Менделеева газами, он, в силу своих психологических и интеллектуальных особенностей, не мог ограничиться только этим направлением деятельности. Он продолжал много преподавать, часто выступал не только в Русском техническом обществе, но и в химическом и физическом обществах. Неугомонный Дмитрий Иванович мог оторваться от эксперимента или конструирования новой аппаратуры ради того, чтобы вдруг отдаться, например, размышлениям о возможности использования манометра для измерения глубины океана. Или решить проблему хранения куриных яиц и получить за это соответствующее вознаграждение. Или заинтересоваться явлением образования борозд на броневых плитах, прикрывающих подводную часть военных фрегатов. Или уехать в село Нижняя Гостомля для осмотра открытого там железорудного месторождения и проверки им же предложенного «скорого и достаточно точного метода» определения удельного веса руд. Его мозг находился в состоянии непрекращающегося неистового поиска, результаты которого абсолютно невозможно было ограничить каким-либо одним-единственным направлением. Для него был неприемлем даже один выход из рабочего кабинета, поэтому кроме двери, ведущей в квартиру, из него был пробит ход в лабораторию и дальше в университетские помещения, а к окну приставлена легкая, но устойчивая лестница, по которой Менделеев при желании спускался в университетский двор. Естественно, что такой тип ученого с неопределенной научной специализацией воспринимался некоторыми коллегами с большим сомнением. Особенно его не любили в стенах Петербургской академии наук, где в большем почете был тип педантичного, скрупулезного исследователя. Тем более академики не хотели видеть в своих рядах конкретно Дмитрия Ивановича Менделеева с его энергичным стремлением соединить химию с физикой, а науку — с практикой, с ворохом не всегда понятных идей и бесцеремонной манерой отстаивать свои взгляды.

---

[36] Многие не верили, что такая махина может быть построена. Но через два года на Пермском сталепушечном заводе «Царь-молот» в присутствии гостей с русских предприятий и крупповских заводов отковал первуюю многотонную заготовку. Он имел силу удара до 160 тонн — в три раза больше, чем у молота, до того времени считавшегося самым мощным в мире, — и был способен ковать болванки до пятидесяти тонн весом. Не меньше поразили иностранцев русские мастера, управлявшие этим гигантом настолько точно, что закрывали билом крышку карманных часов

Однако были в академии и те, кто хорошо знал цену научной деятельности Дмитрия Ивановича. В октябре 1874 года академики Н. Н. Зинин (он уже испытал восторг от большой и внятной менделеевской статьи о Периодическом законе), А. М. Бутлеров (он был избран в академию еще в 1870 году), А. Н. Савич и И. И. Сомов внесли в физико-математическое отделение академии представление об избрании профессора Менделеева в адъюнкты академии: «Представляя Менделеева в члены Академии, мы смеем надеяться, что Академия примет во внимание существенное и важное значение физико-химических исследований в кругу наук, составляющих предмет занятий 1 — го отделения, и не откажет отдать справедливость ученым заслугам г. Менделеева избранием его в свою среду». (На представлении не было подписи Ю. Ф. Фрицше — почтенный ученый и надежный друг Менделеева скончался в 1871 году.) Авторы подробно описали и высоко оценили значение совершённых Дмитрием Ивановичем исследований, перечислили список его ученых трудов (35 книг и статей). В таких условиях невозможно было просто отказать хорошо известному и популярному в обществе ученому. Но «немцы» нашли для этого другую возможность.

Академики, поддерживавшие Дмитрия Ивановича, рассчитывали на одно из двух вакантных адъюнктских мест, не «приписанных» к какой-то определенной науке. В прежние годы химия располагала тремя-четырьмя местами, а с 1870-го ей оставили всего два — и это в то время, когда русская химия переживала бурный подъем. Зинин с товарищами имели все основания рассчитывать на место для своего достойного кандидата. Но их правота оказалась бессильной против хитроумных академических интриганов, которые предпочли не баллотировать человека, а перераспределить адъюнктские места. В протоколе заседания зафиксировано: «По производству баллотирования и по счету шаров оказалось: черных шаров 11, белых 8. Таким образом, отделение (физико-математических наук. — М. Б.) признало, что оно не предоставляет для химии ни одного из двух имеющихся нынче вакантными адъюнктских мест». На первый взгляд кажется, что причины случившегося лежат на поверхности. И всё же списать эти неприятности на происки «немецкой партии», закрывшей Менделееву путь в Академию наук, довольно трудно. Достаточно сказать, что «немцев» в ту пору возглавлял всемогущий непременный секретарь академии воспитанник Царскосельского лицея К. С. Веселовский. То, что раньше было «немецкостью», успело переродиться в ретроградство, охранительство и великую осторожность. Но как бы там ни было, происхождение, талант и даже принадлежность к враждебной группе «университетских» сами по себе в ту пору не были непреодолимой помехой для академической карьеры. Ведь был же принят одареннейший А. М. Бутлеров, к 1874 году успевший пройти путь от адъюнкта до ординарного (полного) академика. На тот момент академиками по физико-математическому отделению были известнейшие русские ученые А. С. Фаминцын, Н. Н. Зинин, В. Я. Буняковский, П. Л. Чебышев, И. И. Сомов, Ф. В. Овсянников, Н. И. Кокшаров, А. Н. Савич, К. И. Максимович, Н. И. Железнов… Почему же Менделеев был отвергнут?

Наверное, будет правильным сказать, что академическая «партия власти» не была принципиальной противницей приема в академию нового русского ученого, но ее никак не устраивала кандидатура настолько русского ученого. Сторонники тихой академической науки в своих коридорах всё еще шарахались от грозной тени Михаилы Васильевича Ломоносова с его предсказанием о пришествии природных русских «платонов и быстрых разумом невтонов». Приход в академию Менделеева — мятущегося, взыскующего научной истины сильнее Града Небесного — угрожал ее основам. Поэтому академические чиновники ловчили и лицемерили изо всех сил. Секретарь академии даже отчитал Бутлерова за то, что вопрос о месте не был возбужден отдельно от вопроса о кандидате: «Ведь вы могли привести нас к необходимости забаллотировать достойное лицо». Сами эти увертки свидетельствовали о масштабе личности Менделеева, ведь во многих других случаях Веселовский изъяснялся не в пример откровеннее. Он однажды выпалил в лицо Бутлерову: «Мы не хотим университетских. Если они и лучше нас, то нам все-таки их не нужно. Покамест мы живы — мы станем бороться!»

Менделеев не мог не чувствовать себя оскорбленным. Он, конечно, знал о нравах, царящих в академической верхушке, и хорошо помнил длинную, мучительную и бесплодную историю с избранием в адъюнкты И. М. Сеченова: сначала в ходе выборов в мае 1868 года ему не хватило всего одного голоса, затем в ноябре 1873 года при голосовании в отделе физико-математических наук он получил 14 шаров за и всего семь против, а на общем собрании академии в начале 1874 года ему опять не хватило двух голосов. Но Сеченов был из «неблагонадежных», а Менделеев являлся абсолютно добропорядочным, хотя и очень беспокойным членом общества. Было здесь, правда, еще одно обстоятельство, сыгравшее в ходе выборов довольно негативную роль.

За полгода до выдвижения Менделеев через Зинина представил в академию написанную в соавторстве с М. Л. Кирпичевым заметку об упругости разреженного воздуха. Физико-математическое отделение назначило того же Зинина и академика Г. И. Вильда рецензентами этого материала, суть которого состояла в том, что при низких давлениях в газах наблюдается отступление от закона Бойля — Мариотта. Вильд был очень опытным конструктором экспериментальной аппаратуры и после знакомства с менделеевской лабораторией сразу же нашел в применявшейся там методике слабые места. Рецензенты все-таки предложили напечатать статью Менделеева и Кирпичева, но «под ответственность авторов за ее содержание». Эта предосторожность, которая в тот момент могла выглядеть как придирка, в дальнейшем себя полностью оправдала, поскольку отмеченные менделеевской группой «отступления» от закона Бойля — Мариотта были связаны единственно с неточностью измерения. И. С. Дмитриев, описывая эту ситуацию в контексте неизбрания Менделеева в адъюнкты, приводит интереснейшую характеристику, данную Дмитрию Ивановичу членом русской академии значительно более позднего поколения П. И. Вальденом (родился в 1863 году): «У него было слишком много идей; его живой ум увлекал его всё к новым проблемам; его научная фантазия была неисчерпаема, но для узко ограниченных вопросов у него не хватало выдержки, а может быть и школы (тренировки), так как в свое время он отказался от представлявшейся возможности пройти эту школу у старого маэстро Бунзена. Как экспериментатор он был, как говорят американцы, self made man, самоучка, со всеми его достоинствами и недостатками; он видел трудности там, где их не было, при этом мог игнорировать действительные ошибки. И, тем не менее, он был на редкость точный и осторожный наблюдатель».

В ноябре 1876 года Академия наук всё же изберет Дмитрия Ивановича членом-корреспондентом, каковое звание никакого жалованья не предусматривало и, по сути, ничего не давало, кроме возможности печататься в академических изданиях (он и так в них печатался — друзья-академики охотнейшим образом представляли там его труды). Кроме того, это звание давалось обычно молодым ученым, а Менделееву ко времени его получения исполнится 42 года, будут уже получены неоспоримые доказательства верности его Периодического закона. Извещение об избрании его на одну из вакансий «частью открывшихся ныне, а частью предоставленных нашему отделу по поводу имеющегося быть 150-летнего юбилея» будет встречено им с горькой усмешкой. Эта бумага, как и все исходящие из академии «парадные» документы, будет написана на ненавидимой им с детства латыни. Перевод гласит: «Императорская Санкт-Петербургская Академия наук, согласно установленному порядку, избрала своим членом-корреспондентом по разряду физики (Менделеева все-таки «сдвинули» с химии. — М. Б.) славнейшего мужа Дмитрия Ивановича Менделеева, ординарного профессора химии Санкт-Петербургского университета за исключительные заслуги в развитии наук и публично утвердила избрание декабря 29 дня 1876 г.». «Славнейший муж» поблагодарил *«за высокую честь, какая не соответствует моей скромной деятельности на поприще наук».* История взаимоотношений Менделеева с академией растянется еще на годы и в конце концов получит оглушительный резонанс в русском обществе.

В начале 1870-х годов Менделеев начинает всё глубже и внимательнее искать общие

начала, связывающие естествознание и изобразительное искусство. Со времен Гейдельберга он собирал репродукции, которые бережно помещал в альбомы. В иной год его коллекция могла увеличиться на тысячу и более копий. По мере того как рос его достаток, Дмитрий Иванович начал приобретать и подлинники картин русских художников, всё теснее общался с петербургскими живописцами. Несомненно, он и сам обладал недюжинными способностями рисовальщика, о чем свидетельствуют студенческие зарисовки насекомых, личинок, листьев растений. И в дальнейшем он часто брался за карандаш, чтобы изобразить летящие дирижабли, различного рода приборы или технические установки.

Очевидно, что интерес ученого к миру живописцев был взаимным. В 1874 году он был приглашен собранием петербургских художников для чтения цикла лекций по естественным наукам. Его внимательно слушали Н. А. Ярошенко, И. Е. Репин, А. И. Куинджи, Г. Г. Мясоедов, Н. Д. Кузнецов, К. А. Савицкий, К. Е. Маковский, В. М. Васнецов, И. И. Шишкин. Вместе с художником И. Н. Крамским Менделеев становится распорядителем Общества для единения ученых, художников и литераторов. Там бывали М. Е. Салтыков-Щедрин, И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский (Дмитрий Иванович сам ездил его приглашать), естествоиспытатель и социолог Н. Я. Данилевский, музыкант А. Г. Рубинштейн. Как-то раз заглянул на огонек и Л. Н. Толстой (правда, Менделеев на том вечере отсутствовал). Приходили университетские профессора. И все-таки более всего Дмитрий Иванович тянулся к художникам. Отныне художественное окружение становится частью его образа жизни. С кем-то он крепко подружится, а с кем-то и вовсе породнится. Через пару лет эти собрания, которые вошли в историю как «менделеевские среды», перебрались к нему на квартиру. А пока, в 1875 году, в университетской квартире профессора Менделеева, как и во многих других квартирах, представители научной и творческой интеллигенции жарко спорили по поводу, весьма далекому от проблемы единения науки и искусства. В России начался бум спиритизма.

Предтеча спиритизма, магнетизм (точнее, одна из его разновидностей — магнетический сомнамбулизм) проник в Россию еще во времена Екатерины П. Серьезные исследователи, например, академик А. А. Панченко, считают, что генетически спиритизм представляет собой драматизацию и ритуализацию нескольких фольклорных мотивов, широко распространенных в Западной Европы и США: «Шумящий дух» (*poltergeist*), «Дом с привидениями» и «Беспокойная могила», — и что его развитие также непосредственно обусловлено медицинскими теориями начала XIX века, прежде всего «магнетической» терапией Франца Месмера и его последователей. Спиритизм-месмеризм оказался не только притягательной темой для бесед в аристократических салонах — в него искренне верили декабрист Ф. Н. Глинка и лексикограф В. И. Даль, о нем в своих произведениях писали А. Погорельский, Н. И. Греч, В. Ф. Одоевский и даже А. С. Пушкин. Очень любопытным представляется тот факт, что в начале 1850-х годов XIX века многие люди жаждали поговорить с духом Александра Сергеевича. В доме П. В. Нащокина, московского друга Пушкина, регулярно собирался спиритический кружок, устраивали сеансы столоверчения и стремились проникнуть в загробную тайну ушедшего гения. Поэт, художник и историк Н. В. Берг предавал рассказ самого хозяина: «У меня собиралось (говорил мне Нащокин) большое общество чуть не всякий день… Мы беседовали с духами посредством столиков и тарелок, с укрепленными в них карандашами. <…> На вопрос: «Кто пишет?» было обыкновенно отвечаемо: «Дух такого-то» — большею частию наших умерших знакомых, известных в обществе. Довольно часто писали Пушкин, Брюллов и другие близкие мне литераторы и артисты». Согласно Нащокину, во время этих сеансов были исписаны «горы бумаги». Однако после таинственного случая, произошедшего на Страстной неделе 1854 года и очень похожего на завязку романтической новеллы (дух Пушкина обещает явиться на следующем сеансе, не выполняет обещания, но той же ночью сталкивается с Нащокиным на улице в обличье «мужичка в нагольном полушубке»), Нащокин решил «сжечь всё написанное духами и прекратить дальнейшие греховодные сборища». «Нащокин уверял меня, что сделал это честно: не оставил ни единого листка. Сжег даже стихи, написанные духом Пушкина, и

рисунок итальянского бандита на скале, набросанный духом Брюллова… Потом служили в доме молебен. «Когда я просил Брюллова начертить мне портрет Сатаны (добавил Нащокин в заключение рассказа), явились на бумаге слова: 'велик, велик, велик' — крупно, во весь лист. И точно, батюшка, велик!.. Я бедный, очень бедный человек, но я не возьму греха на душу с ними знаться, ничего мне от них не нужно!»».[37]

Главной интригой сложившейся в 1875 году ситуации было то, что в центре ее стоял не какой-то изнеженный и пресыщенный аристократ, а славный петербургский ученый, профессор-химик Александр Михайлович Бутлеров. Он стал адептом спиритизма вскоре после переезда из Казани. Большую роль в приобщении могучего естественника к миру медиумических явлений сыграл его друг, двоюродный брат его жены Александр Николаевич Аксаков, племянник известного писателя. Аксаков был богатым, хорошо образованным человеком и убежденным сторонником Месмера. Он даже издавал в Лейпциге на свои деньги журнал «Psychische Studien», посвященный пропаганде его учения. Видимо, Аксаков познакомил Бутлерова с какими-то на редкость удачными (или ловкими) медиумическими опытами, потому что ученый, какое-то время отказывавшийся верить в то, что отрицалось здравым рассудком, в конце концов сдался, поскольку «с фактами не спорят». Судьба распорядилась таким образом, что среди его родственников (опять же со стороны жены) оказался самый настоящий «практикующий» спирит — англичанин Дуглас В. Юм. Этот человек не раз посещал Петербург и по нескольку месяцев жил в казенной квартире Бутлерова. Юм читал лекции о спиритизме в частных домах русской столицы, а для своих родственников устраивал столь поразительные сеансы, что Александр Михайлович отбросил последние сомнения в реальности спиритизма. Более того, благодаря своему положению в научном мире Бутлеров становится лидером петербургских сторонников спиритизма. Он представляет Юма в университете небольшой комиссии во главе с П. Л. Чебышевым. Англичанин провел перед русскими профессорами два сеанса, оба совершенно неудачные. Но Бутлеров продолжал пропагандировать открывшееся ему тайное знание. Он приглашал в Петербург всё новых медиумов и пытался показать их коллегам. Они, в большинстве, присутствовать отказывались — кто вежливо, а кто (например, учитель Бутлерова Н. Н. Зинин) чуть ли не враждебно. Те же, кто не мог отказаться, честно называли увиденные опыты неубедительными. Единственным профессором, который не устоял перед Бутлеровым, Аксаковым и их медиумами, оказался зоолог и писатель, автор «Сказок Кота-Мурлыки» Н, П. Вагнер, тоже приехавший из Казани и поселившийся одновременно с Юмом на квартире у Александра Михайловича. Его-то, в целом безобидный, поступок и привел к тому, что в тихий круг спиритов ворвался разъяренный Дмитрий Иванович Менделеев.

В конце 1874 года в Петербург приехал, как писали газеты, «очень сильный медиум» француз Бредиф. На его сеансах, при соблюдении всех мер против возможного обмана, происходили совершенные чудеса материализации: из тьмы являлась рука и даже целая человеческая фигура. Правда, несколько раз материализация не удавалась. Например, в том случае, когда на одном из частных вечеров юркий лаборант физического кабинета (и будущий ректор Санкт-Петербургского университета) И. И. Боргман с помощью гальванической цепи лишил руку медиума всякой возможности движения без того, чтобы о том не оповестили звонок и стрелка гальванометра. Как только способ «закрепления» спирита был «упрощен», опыт тотчас же состоялся. Правда, неугомонный Боргман после сеанса закрепил сам себя по «упрощенному» методу и продемонстрировал, как легко он может высвободить руку и производить ею всякие действия. Но это ничуть не убавило славы французского мага. Бутлеров с Аксаковым, естественно, не раз принимали Бредифа в квартире в доме 17 по 8-й линии Васильевского острова. На домашних сеансах приезжей

---

[37] Цит. по: Панченко А. А. Спиритизм и русская литература: из истории социальной терапии // Труды отделения историко-филологических наук РАН. М., 2005.

знаменитости присутствовал и Вагнер. То, что он увидел, поразило его настолько, что руки сами собой потянулись к перу и бумаге. Вскоре его впечатления от чудес, показанных Юмом и Бредифом, были опубликованы в журнале «Вестник Европы». Вагнер взволнованно писал о том, как из-за занавески явилась рука некой покойной китаянки Жеке, которую участники сеанса не только видели, но и трогали и даже пожимали. Рука, в свою очередь, схватывала их руки, стремясь утащить зрителей внутрь темного помещения. Сам Вагнер сжимал ее пальцы, ощупывал на них ногти. Особенно впечатлило его, как эта рука пыталась стащить кольцо с пальца Николая Петровича и ощутимо зацепила его ногтем. Статья буквально всколыхнула образованную публику, ведь ее написал серьезный человек, уважаемый профессор университета. В редакцию посыпались письма с просьбой допустить на сеансы Бредифа, а также с требованием их разоблачить. Общественность взволновалась. Интерес к спиритизму рос как на дрожжах.

У Менделеева, который терпеть не мог ничего суеверного и потустороннего, было множество причин выступить против распространения «мистицизма, могущего оторвать многих от здравого взгляда на предметы и усилить суеверие, потому что сложилась гипотеза о духах». Его до глубины души огорчило, что коллега-ученый (Вагнер был очень талантливым зоологом, первооткрывателем педогенеза — бесполого размножения у некоторых насекомых) опубликовал свою статью в литературном журнале, минуя научное сообщество;[38] таким образом, на «газетную арену» был выставлен его чрезвычайно высоко ценимый товарищ, профессор Бутлеров. Он считал: *«…если есть в спиритических сеансах проявления новой силы, ничего не сделают для узнания ее те лица, которые станут ждать, сидя за столом, ее движения или, перед занавеской, появления руки».* Главное же, с чем Менделеев не мог согласиться, состояло в том, что спириты посягали на его понимание мирового эфира, поскольку, по их представлениям, околоземное и всё прочее пространство было населено «духами» — отпечатками ушедших из жизни людей. Для ученого, ощущавшего загадочную эфирную субстанцию, что называется, на кончиках пальцев, искавшего неуловимые частицы в разреженной газовой среде и уже задумавшего для этого атмосферно-метеорологические исследования, такие представления казались просто возмутительными.

Он обратился в физическое общество с предложением создать комиссию для рассмотрения медиумических явлений, чтобы узнать, *«что в них принадлежит к области всем известных естественных явлений, что к вымыслам и галлюцинации, что к числу постыдных обманов и, наконец, не принадлежит ли что-либо к разряду ныне необъяснимых явлений, совершающихся по неизвестным законам природы …»*. Уже на второе заседание комиссии были приглашены Аксаков, Бутлеров и Вагнер, которых попросили описать то, что они считают медиумическими явлениями. Таковыми оказались движения неодушевленных тел при прикосновении человеческих рук (особенно поднятие предметов и изменение их веса); то же без всякого прикосновения; движения и звуки при прикосновении к предметам, имеющие характер осмысленных явлений; движение предметов в заданном направлении; диалогические явления — ответы на вопросы, писание неодушевленными предметами; медиумо-пластические явления — образование и появление частей человеческого тела, а также полных человеческих фигур. Комиссия определила сроком своей работы весь 1875/76 учебный год.

Первыми медиумами, которых Аксаков, Бутлеров и Вагнер представили комиссии, были три мальчика — братья Петти из Англии. Их сверхъестественные способности были проверены и письменно удостоверены лично Аксаковым. Способности эти состояли в том, что, во-первых, когда старшие впадали в транс, перед младшим возникали некие

---

[38] Тут, впрочем, вины Вагнера, равно как и Бутлерова с Аксаковым, нет, поскольку они изо всех сил пытались привлечь к спиритизму внимание скептической университетской общественности. Менделеев не мог не знать об этом, однако указывал на этот факт как на непорядок, тем более что в России, кроме университета и академии, существовали и научные общества.

«медиумические капли»; во-вторых, старший, Джон, заставлял звучать колокольчик, помещенный в висящую над столом клетку, а также проникал сквозь остающийся неповрежденным занавес. В течение восьми заседаний, проходивших на квартире Менделеева, комиссия внимательно изучала всё, что делалось братьями Петти, и в конечном итоге постановила: «Принимая во внимание, что во всех случаях, когда были соблюдаемы предосторожности, никаких так называемых медиумических явлений в присутствии медиумов Петти в заседаниях комиссии не происходило и что, напротив, когда медиумы были предоставлены сами себе, без всякого контроля, такие явления наблюдались, комиссия приходит к тому заключению, что медиумы Петти постоянно стремились обмануть ее, а потому считает этих лиц обманщиками». Что касается «медиумических капель», то они оказались брызгами слюны. А о сверхъестественном умении Джона Петти проникать сквозь занавеску, не повреждая ее, можно прочитать в воспоминаниях дочери Менделеева Ольги: «Помню, как Дм. Ив. горячился и громким голосом спорил с Бутлеровым и Вагнером по поводу спиритизма, сеансы которого в присутствии иностранного медиума происходили у нас в квартире. Много неприятных минут имел этот медиум, несколько раз уличенный Дм. Ив. во время сеансов. Я, тогда десятилетний ребенок, помню только один случай, про который отец на другой день рассказывал нам за обедом. В комнате, где происходил сеанс, было темно, играл орган, приобретенный для этого по требованию медиума. Медиум, сидевший со связанными руками и привязанный к стулу, должен был очутиться в алькове, затянутом от потолка до полу материей, прибитой по краям гвоздями. В этой темноте и сравнительной тишине отцу послышался подозрительный шорох и звук распарываемой ножом материи. Недолго думая, Дм. Ив. зажег спичку, и все увидели медиума, находившегося уже в алькове вместе со стулом и преспокойно зашивающего материю по шву. Конечно, произошло смятение среди увлеченных спиритизмом и обморок медиума».

Несмотря на то что работа продолжалась и комиссия была далека от окончательных выводов, Вагнер и Бутлеров опубликовали по большой статье во враждебном университету катковском «Русском вестнике». Борьба разгоралась не на шутку. В ответ Дмитрий Иванович, с согласия комиссии, выступил с публичной лекцией на эту тему в аудитории Русского технического общества в здании Соляного городка (ранее здесь находились склады соли и вина, а теперь располагались выставочные павильоны). Это была, наверное, единственная лекция, прочитанная им с листа (готовый текст должен был уберечь оратора от излишней горячности). Он рассказал собравшимся о ходе работы комиссии и о позиции сторонников спиритизма, считавших, что непосвященные, неспособные увидеть то, что видят они, должны молчать до тех пор, пока увидят и уверуют. *«…Я бы, признаюсь, и молчал, мне бы это было спокойнее, если бы спириты сами молчали. Нет, они разжигали в обществе и литературе интерес к своему учению. Публичное чтение назначалось для того, чтобы охладить пыл спиритов и публики, ими заинтересовавшейся, показать им, что в среде, где нет предубеждения ни в пользу духов, ни в пользу спиритов, ничего пока спиритического не происходит, хотя для показания этого выписаны заморские духи».*

Тем временем полемика начала переходить в настоящий скандал с обвинениями и разоблачениями. К театру военных действий подтянулись литераторы. Ф. М. Достоевский, с интересом следивший за сеансами спиритов и настойчиво просивший своего приятеля Вагнера (их познакомил поэт Я. П. Полонский) добыть ему приглашение на медиумическую демонстрацию («Что у Аксакова? Будут ли, наконец, сеансы? Я готов обратиться к нему сам…: не допустит ли он меня к себе хоть на один сеанс?»), в январском выпуске «Дневника писателя» за 1876 год пометил: «Спиритизм. Нечто о чертях. Чрезвычайная хитрость чертей, если только это черти». Далее он писал: «В самом деле, что-то происходит удивительное: пишут мне, например, что молодой человек садится на кресло, поджав ноги, и кресло начинает скакать по комнате, — и это в Петербурге, в столице! Да почему же прежде никто не скакал, поджав ноги в креслах, а все служили и скромно получали чины свои?..» По Достоевскому, спиритизм — это проделки чертей, вечно готовых одурачивать людей и сеять между ними раздор. В романе «Братья Карамазовы» он выскажется об этом совершенно

конкретно: «Вот уже сколько у нас обидели людей, из поверивших спиритизму. На них кричат и над ними смеются за то, что они верят столам, как будто они сделали или замыслили что-либо бесчестное, но те продолжают упорно исследовать свое дело, несмотря на раздор… Ну что, например, если у нас произойдет такое событие: только что ученая комиссия, кончив дело и обличив жалкие фокусы, отвернется, как черти схватят кого-либо из упорнейших членов ее, ну хоть самого г-на Менделеева, обличавшего спиритизм… и вдруг разом уловят его в свои сети… — отведут его в сторонку, подымут его на пять минут на воздух, оматерьялизуют ему знакомых покойников, и всё в таком виде, что уже нельзя усумниться, — ну, что тогда произойдет?» *«Странный был человек* , — говорил впоследствии Дмитрий Иванович о Достоевском, — уверяет: *«одновременно верю и не верю в духов». Когда говорит — сам не то смеется, не то серьезно относится — сам притом не знает, как именно. Запутанное сознание; тут и глубина, и величайшая наивность сплетаются. Нельзя никак осуждать, но и дорогу с помощью таких людей найти трудно!»*

Следующим медиумом, которого Аксаков привез из дальних краев, была некая мадам Клайер. Ее добросовестность гарантировалась не только репутацией «сильного» медиума, но и тем обстоятельством, что она, получив богатое наследство, отошла от публичных показов, а в Петербург прибыла исключительно с целью помочь работе комиссии. Мадам Клайер прославилась своей способностью заставлять столы двигаться, бить ножками и даже подпрыгивать. К ее приезду научный Петербург приготовился со всей основательностью. Во-первых, был изготовлен манометрический стол с чуткой к любому физическому усилию столешницей — малейшее давление на нее снизу или сверху отмечалось приборами. Во-вторых, профессор Н. П. Петров сконструировал стол со столешницей, вообще не имеющей свесов (то есть его нельзя было приподнять, наклонить или раскачать за столешницу), и расходящимися далеко в стороны ножками, чтобы медиум не смог подсунуть под них ступню. В-третьих, решили применить прибор для улавливания медиумических стуков и звуков, а в-четвертых — весы для проверки увеличения и уменьшения веса.

Примерно в это же время в рядах сторонников спиритизма произошло некоторое волнение: Вагнер, хотя и не перестал верить в него, всё более склонялся к необходимости его физического изучения, а Бутлеров с Аксаковым продолжали доказывать, что демонстрация сама по себе должна служить свидетельством реальности медиумических эффектов. «Явления непостоянны, капризны, — говорил Бутлеров, — нужно долго трудиться, чтобы случайно попадать на факты. Здесь нельзя ставить опыты так, как мы ставим их в наших лабораториях».

К началу серии опытов с мадам Клайер ситуация буквально накалилась. Спириты готовились торжествовать победу, антиспириты собирались ни в коем случае не допустить мошенничества. 13 февраля 1876 года на сеансе в доме Аксакова помимо медиума и обычных участников присутствовали писатели Ф. М. Достоевский, Н. С. Лесков и П. Д. Боборыкин. С самого начала «секунданты» Клайер стали настаивать на использовании простого стола. Кроме того, лишь трем членам комиссии разрешено было находиться в одной комнате с медиумом, остальных не только выдворили в соседнее помещение, но и запретили им даже оттуда делать наблюдения. И во всём остальном, как писалось в протоколе заседания, «сеансы… обставляли условиями, устраняющими удобства наблюдения, ставя медиума в условия полной свободы бесконтрольных действий». Тем не менее «один раз было прямо замечено, что госпожа Клайер подвела свою ногу под ножку стола». С большим трудом стоило усадить мадам медиума за манометрический стол, «при этом не было замечено ни качания, ни поднятия этого стола». Во время сеанса за столом конструкции профессора Петрова «этот последний ни разу не качался и не поднимался». До остальных приборов дело вообще не дошло.

Вскоре Бутлеров, Вагнер и Аксаков отказались посещать заседания комиссии (они, правда, сделали еще одну попытку сотрудничества, прислав описание и даже фотоснимки массового явления человеческих фигур среди бела дня, случившегося на американском континенте, на ферме братьев Эдди, но комиссия сочла их обманом), а состоятельная мадам

Клайер перестала участвовать в споре русских ученых, найдя себе в Петербурге более приятные занятия. Бутлеров чувствовал себя униженным и подавленным, члены же противоположного лагеря были возмущены нетерпимостью спиритов к любой попытке объективно исследовать предъявленные чудеса. Комиссия завершила свою работу, придя к заключению: «…спиритические явления происходят от бессознательных движений или от сознательного обмана, а спиритическое учение — есть суеверие». Председатель комиссии, мягкий и деликатный профессор Ф. Ф. Петрушевский (впрочем, ничуть не более мягкий и деликатный, чем оказавшийся его противником профессор А. М. Бутлеров), не выдержал и дописал от себя: «…я не мог бы еще раз приступить к занятиям такого рода без чувства отвращения и даже унижения; так вся требуемая сторонниками спиритизма обстановка этих занятий странна, деспотически подавляет свободную пытливость и вообще бесконечно далека от того, чего требует точная и гласная наука».

Писатели и журналисты, втянутые в эту скандальную историю, писали о спиритизме довольно скептически, избегая категорических утверждений, но при этом весьма недвусмысленно обвиняли Менделеева и его товарищей в предвзятости и разжигании вражды к спиритам. «…В нашем молодом спиритизме, — высказался Достоевский в мартовском выпуске «Дневника», — заметны сильные элементы к восполнению и без того уже всё сильнее и прогрессивнее идущего разъединения русских людей». Взяв спиритов под условную защиту, Федор Михайлович не находил никакого оправдания Менделееву и его товарищам, заявив (чуть раньше, по следам сеанса 13 февраля): «Я думаю, что кто захочет уверовать в спиритизм, того ничем не остановишь, ни лекциями, ни даже целыми комиссиями, а неверующего, если он только вполне не желает поверить, — ничем не соблазнишь…»

Менделеев также очень энергично выступал устно и в печати по поводу завершения работы комиссии, но, читая его тексты сегодня, за их всегдашней сложностью и многословностью явственно ощущаешь некоторую растерянность автора от того громадного и непредсказуемого резонанса, который получила эта история. Он хотел помочь близкому человеку, «поскользнувшемуся» на мистицизме, а вместо этого нанес ему тяжелую обиду. Он хотел выполнить свой долг ученого и показать обществу мошенническую сущность медиумов, а вместо этого довел до истерики их поклонников и возбудил к мошенникам еще большее сочувствие. Но самое главное, он обнаружил, с какой легкостью русское образованное общество готово безоглядно идти на раскол, даже по такому далекому от политики и вообще от жизни поводу, и что доводы науки в ряде случаев не имеют никакого значения — недаром же подходящие случаю стихи Якова Полонского с одинаковой горячностью цитировали обе стороны. И он тоже их цитировал:

Но никаких задач науки
Всех этих душ безличный рой,
Ни их сомнительные стуки,
Ни их мелькающие руки,
Своей таинственной игрой
Не разрешат…

И еще Менделеев увидел, каким огромным может быть число заблуждающихся.

Подписанный всеми членами комиссии текст заключения, протоколы заседаний и вообще все материалы комиссии были переданы Дмитрию Ивановичу с правом распоряжаться ими по своему усмотрению. Он прочел по итогам работы комиссии еще две лекции, а затем издал книгу «Материалы для суждения о спиритизме». Треть сборов за лекции, которые были организованы Славянским комитетом, пошла в пользу славян, пострадавших при восстании в Боснии и Герцеговине, треть — на помощь пьющим литераторам, треть — в фонд постройки дирижабля, с помощью которого Менделеев намеревался внести бóльшую ясность в данную проблему. В суете полемики как-то само

собой проявилось и его новое отношение к религии. Среди писем, которые Дмитрий Иванович получал от своих сторонников и противников, сохранилось послание некоего преподобного отца Иоанна, который, совершенно не беря во внимание то обстоятельство, что общение с духами предков суть язычество и не к лицу православному священнику, писал: «Как бы Вы ни опровергали спиритические явления, господин Менделеев, я всё равно буду в них верить, ибо святые Божий человека учили в древние времена, что души умерших людей приходят с того света к боголюбцам и духознатцам. Не трогайте мою веру, родную мать христианской религии! Пусть наука идет своим путем, а вера — другим!» На обороте письма Дмитрий Иванович написал черновик ответа: *«Не трогать веру нельзя. Она — основа религии, а любая религия в наши дни — грубое и примитивное суеверие. Суеверие есть уверенность, на знании не основанная. Наука борется с суевериями, как свет с потемками…»*

Менделеев был уверен, что после опубликования выводов комиссии болезненный интерес к спиритизму утих. Он говорил потом сыну Ивану: *«Наше расследование, как его ни ругали, произвело в обществе решительное впечатление. С тех пор спиритизм как рукой сняло».* Тут мы, возможно, имеем дело с некоей формой самовнушения, связанного с чувством научной правоты и необходимостью обретения душевного равновесия, потому что факты, о которых пишут исследователи этого вопроса, свидетельствуют: утихли разве что шумиха в печати и разговоры в университетской среде, в прочих же слоях именно с этого времени русский спиритизм начинает превращаться в массовую практику и в салонную игру. Но этого Дмитрий Иванович мог и не знать. Он сделал всё, что должен был сделать, и для себя со спиритизмом покончил.

К 1877 году изучение упругости газов застопорилось, поскольку Дмитрий Иванович остался без соратников. В 1875 году умер его ближайший помощник и единомышленник М. Л. Кирпичев, несший на себе огромную часть работы. Его в какой-то степени заменил В. А. Гемилиан, которого Менделеев высоко ценил как за научный талант, так и за обязательность, великую усидчивость и аккуратность в работе — качества, которых сам он был лишен. Однако через небольшой срок Гемилиан обратился к Менделееву с просьбой помочь ему занять вакантную должность профессора химии в Варшавском университете. *«А он — в опытах характера чисто физического — только что взошел в силу, ведя работу, подготовился к дальнейшему делу. Но упустить случай такой, какой представлялся ему для дальнейшей судьбы, — значило испортить ему жизнь. Рад тому, что в действительности всё, что слышу из Варшавы о В. А. Гемильяне, всё оправдывает мое отличное о нем мнение».* Дмитрий Иванович начал сотрудничать с Н. Н. Каяндером, пришедшим в его лабораторию еще студентом. Два года Каяндер весьма успешно вел работу по изучению расширения газов — до тех пор, пока ему не была предложена штатная должность в Киеве. Его место на полтора года занял И. Г. Богусский, приглашенный Дмитрием Ивановичем из Варшавы. Богусскому было поручено исследование упругости газов при давлении выше одной атмосферы, чем он с усердием занимался, пока не вернулся на родину.

Несмотря на частую смену помощников, Менделеев смог добиться серьезных результатов. В первую очередь специалисты называют выведение уравнения состояния идеального газа, содержащего универсальную газовую постоянную, что сыграло большую роль в дальнейшем развитии физики газов и термодинамики. (Впрочем, другие, не менее уважаемые специалисты утверждают, что данное уравнение к тому моменту уже пару лет использовалось в специальной литературе. В этом случае можно говорить о самостоятельном подтверждении полученного ранее результата.) Кроме того, Менделеев нащупал верный путь к известным в настоящее время уравнениям для реальных газов. И всё время он продолжал искать эфир. В том, что эфир существует, его убеждало, например, то обстоятельство, что у воздуха при нулевом давлении есть некоторая плотность. Что же это может быть, кроме эфира?

Под руководством Дмитрия Ивановича было создано большое количество совершенно

нового оборудования, включая, например, дифференциальный барометр, пригодный не только для лабораторных исследований, но и для метеорологических целей, а также в качестве высотомера для нивелирования. Для этого прибора, выпускавшегося серийно, Менделеев написал специальное пособие, содержащее не только практическое руководство, но и большое введение с изложением теории изменения давления с высотой.

Вообще он всё больше интересовался метеорологией и атмосферным пространством, что ощущалось уже в ходе изучения спиритических сеансов: каждый раз Менделеев не забывал обратить внимание на то, какая за окнами облачность. Для него было вполне логичным, не оставляя экспериментов с газами, вплотную заняться метеорологией. А еще Дмитрию Ивановичу было важно знать, верен ли закон тяготения для малых расстояний. В этой связи он высказывает идею о влиянии химической природы вещества на гравитацию. Одновременно Менделеев продолжал заниматься проблемой соотношения атмосферного давления и высоты, для чего перелопатил большое количество данных о температуре воздуха, полученных с помощью аэростатов, пытаясь вывести эмпирическую формулу ее линейной зависимости от давления. И как всегда, он не мог чувствовать себя удовлетворенным, если общественность была не вполне информирована относительно его интересов. С целью пропаганды метеорологических знаний ученый отредактировал русский перевод известной книги по метеорологии Г. Мона, снабдив ее обширным предисловием и большим количеством собственных комментариев. Само собой, его работы порождали горячую полемику, чему он был только рад: *«Я счастлив был тем, что на многие мои работы являлась критика, — значит, там было новое и внимания достойное».* Особенно важной он считал проблему изучения верхних слоев атмосферы, в связи с чем начал разработку конструкции высотных летательных аппаратов, открывая для себя еще одну область деятельности — воздухоплавание.

Даже эта глыба занятий не мешала ему заниматься главными своими детищами — Периодическим законом и «Основами химии». В 1875 году Лекок де Буободран на основе собственной таблицы для группы элементов открыл галлий. Не обладая целостной системой химической классификации, француз сделал вполне понятную ошибку: сопоставляя новый элемент только по ряду алюминий — галлий — индий, он определяет его плотность в 4,7. Менделеев, располагая большим числом соотношений элементов, сразу же указал Буободрану на эту ошибку. Учитывая свойства элементов еще и по ряду медь — цинк-мышьяк — селен, русский ученый предположил, что плотность галлия (экаалюминия) должна быть значительно больше. Так оно и вышло: в сентябре 1876 года в «Докладах Парижской академии наук» появилось сообщение Буободрана о том, что, улучшив технику эксперимента, он получил значение плотности галлия, практически совпадающее с предсказанным Менделеевым: 5,94.

Открывался новый этап в развитии Периодического закона, и Дмитрий Иванович уверенной рукой приступает к переработке своего учебника. Третье издание «Основ химии» (вышло в свет в 1877 году) содержит не только полное изложение нового закона, но и приобретает более совершенную структуру. Особенным изменениям подверглась вторая часть, которая получила новые главы: 27-ю, ставшую ключевой, под названием «Сходство элементов и их система», и 31-ю, посвященную свойствам галлия, индия, таллия, церитовых и гадолинитовых металлов. Изменился, стал более логичным и сам порядок изложения тем второй части. Закон помогал заполнять пустоты и выстраивать материал с невиданной по тем временам логикой.

В 1876 году Русским техническим обществом была учреждена специальная особая комиссия для рассмотрения нефтяного вопроса в России, в которую конечно же был включен профессор Менделеев (как он сам себя называл, «волонтер нефтяного дела»), в свое время много писавший о вреде откупов, то есть передачи за определенную плату государственных промыслов в частные руки. Положение на российском нефтяном рынке в то время действительно нуждалось в коренном исправлении. В 1872 году был отменен нефтяной

откуп, а нефтеносные участки распроданы В. А. Кокореву, П. И. Губонину, И. М. Мирзоеву и другим таким же вчерашним откупщикам. Производство керосина тогда же было обложено акцизом по 15 копеек с пуда. Одновременно привозной керосин придавили пошлиной в 55 копеек с пуда, чтобы не мешал развиваться внутреннему производству. Менделеев в ту пору был категорически против акциза, но был вполне согласен с мерами, сокращающими ввоз керосина в страну, и считал, что, став свободным, нефтяное дело пойдет в гору. И действительно, в первые же годы после отмены откупов заработало столько новых (и старых, прежде не используемых) месторождений, забило столько фонтанов, заполнилось столько колодцев, копанок и ям, что нефть стало некуда девать. По соседству с Баку возникла сотня новых перегонных заводов. Город стал перерабатывать четыре с половиной миллиона пудов нефти, что давало рынку полтора миллиона пудов русского керосина. Но прошло совсем немного времени, и заводы стали закрываться — в начале 1876 года их осталось всего 14. Свою роль в этом сыграли акцизные формальности, не дававшие переводить предприятия на безостановочную технологию (как тогда акцизные чиновники уследят за объемами производства?); но главная причина состояла в том, что «изничтоженный» было непомерной пошлиной американский керосин всё равно начал забивать русский по соотношению цены и качества. К 1875 году американский керосин подешевел вдвое — с четырех до двух рублей за пуд; бакинский стоил 1 рубль 75 копеек, но был хуже.

Комиссии предстояло выработать рекомендации правительству. Но что, собственно, она могла рекомендовать? Убрать лет на десять акцизы? При ближайшем рассмотрении данного варианта вскрылось столько неясностей, что решено было командировать профессора Менделеева в Америку, чтобы он там выяснил, наконец, почему у них такой дешевый и качественный керосин. Тем более что в Филадельфии в это время проходила Всемирная выставка — мероприятие из разряда тех, которые он посещал с удовольствием. Дмитрий Иванович испытывает трудности с английским языком? Значит, нужно отправить с ним толкового переводчика. Кого бы вы, господин Менделеев, предложили? Он выбрал Гемилиана, который в ту пору еще был его сотрудником.

В мае Менделеев и его спутник доехали поездом до Парижа, оттуда добрались до Гавра, где сели на большой комфортабельный пароход «Лабрадор», направлявшийся в Нью-Йорк. Десятидневное плавание при хорошей погоде не могло не подействовать на Дмитрия Ивановича благотворно, но оно же и сыграло с ним недобрую шутку: после райского путешествия было очень трудно привыкнуть к адской жаре, которой их встретила Америка. Два дня они пробыли в Нью-Йорке, потом еще три дня в Вашингтоне, собирая с помощью русского посла Н. П. Шишкина статистику и прочую информацию, касающуюся нефтяной промышленности, затем отправились на выставку в Филадельфию. Это была первая Всемирная выставка на американском континенте, и посвящалась она столетию независимости Северо-Американских Штатов.

На семнадцати гектарах среди густой зелени свободно, без всякой симметрии, были разбросаны здания выставочных павильонов, пышный вид которых вызывал улыбки у европейцев. Тем не менее в организации выставки было очень много нового. Всеобщее внимание привлекал павильон Департамента общественных работ, построенный усилиями ряда частных компаний. В нем были устроены банкетные залы, помещение для прессы, почтовый офис, киоски с буклетами. Начиная с этого времени уже ни одна Всемирная выставка не сможет обходиться без такого павильона, объединившего в себе прообразы современных пресс- и бизнес-центров. Отдельный павильон был посвящен теме женского труда, его стенды демонстрировали борьбу (и победы) американских женщин в отстаивании своих прав. Впрочем, там же можно было умилиться рукодельным работам самой английской королевы Виктории. На самом высоком месте выставочного парка была воздвигнута 46-метровая колонна с площадкой для желающих осмотреть выставку с высоты птичьего полета. Как писала пресса, по сравнению с Венской выставкой «здесь был неизвестен раздражающий денежный прессинг. Вы можете сесть и отдохнуть везде, вас обеспечат желаемой информацией без немедленного протягивания руки». Филадельфийская

выставка демонстрировала миру результаты первых шагов невиданной технической революции — рядом с мощнейшими паровыми машинами, грузокатами, молотами и пушками[39] впервые были показаны телефон Александра Белла и телеграф Томаса Эдисона, пишущая и швейная машинки, быстродействующие американские вязальная и штопальная машины (последняя всего за две минуты приводила дырявые носки в полный порядок). Новое монументальное искусство представляла огромная рука с факелом — часть гигантской статуи Свободы, подаренной французами к юбилею Американских Штатов.[40] Но никакой технический и художественный прогресс не мог победить жару, которая сильно ограничила число посетителей (связанный с этим убыток, по подсчетам организаторов выставки, составил около 1,9 миллиона долларов). Один из очевидцев писал о том, что «выставочные здания становились подобны жаровне и толпы посетителей устремлялись в специальный зал, в который насосы подавали раздававшуюся бесплатно охлажденную воду».

Российские корабли с экспонатами опоздали на неделю, поэтому в организации русского раздела было много беспорядка и неразберихи, часть экспонатов была выставлена без подписей. Несмотря на это и на построение русской экспозиции по уже обкатанному принципу — богатства недр, оружие, ремесла и промыслы, чугунное литье, выполненные в одном экземпляре поразительные механизмы, ювелирные изделия, макеты будущих кораблей, — она была самой посещаемой на выставке. Американцы буквально ломились к ее стендам. Золотые и серебряные изделия московских и петербургских мастерских Хлебникова, Овчинникова, Сазикова, Чичелева, а также работы из папье-маше А. Лакутина, бронзовые вещи Феликса Шопена, мозаики Адлера, эмалированные изразцы и блюда с заливной живописью в русском и восточном стиле Л. П. Бонафеде, жостовские подносы Егора Беляева — всё это, несмотря на высокую цену, раскупалось нарасхват. Менделеев потом напишет: *«Россию знать желают. Верят, что так или иначе она не одною своей физической силой, а своими народными идеалами окажет, рано или поздно, свою долю влияния на судьбы цивилизации…»*

На выставке он пробыл девять дней, после чего отправился осматривать нефтяные и газовые месторождения, а также предприятия по переработке углеводородов. Собранная информация позволила ему не только выяснить причины дешевизны американского керосина (в 1870 году в Северо-Американских Штатах были отменены акцизный сбор с сырой и переработанной нефти и подоходный налог с нефтяных предприятий), но и точно предсказать скорое падение его производства. Этого не могло не произойти при объемах производства, превышающих потребление. Склады были забиты под завязку. Число нефтепромышленников становилось всё меньше, а цена, пока еще сбивавшая с ног русских торговцев нефтью, неизбежно должна была поползти вверх. К тому же Дмитрий Иванович сделал вывод о том, что большое количество американских скважин находится на грани истощения, а разведка и освоение новых месторождений тем более удорожат нефтепродукты, и этим надо непременно воспользоваться русскому правительству, потому что России выпадает шанс обойти пенсильванские скважины размерами добычи кавказской нефти: *«При развитии же у нас нефтяного дела керосин внутри России естественно достигнет возможно низких цен (вероятно, до 1 р. 30 к. — 1 р. 50 к. за пуд). Затем должен родиться вывоз в Европу, и в этом последнем отношении, если устроятся, как в Америке, железные трубы и особые баржи и вагоны для передвижения нефти, нам можно будет с выгодою соперничать с Америкою».*

---

[39] Впрочем, пушки (в частности новое крупповское чудовище) были встречены здесь не восхищением, а возгласами «какой позор!», что даже заставило немецкого комиссара сообщить в Берлин о провале германской экспозиции.

[40] Бюст этого колосса работы Фредерика Огюста Бартольди (над каркасом трудился сам Гюстав Эйфель) Менделеев увидит на следующей Всемирной выставке в Париже. Что же касается всей статуи в полный рост, то она появится посреди нью-йоркской гавани еще через десять лет.

В записке, которую Менделеев сразу же по приезде подаст министру финансов Михаилу Рейтерну, в докладе на заседании Русского технического общества и в появившейся на следующий год книге «Нефтяная промышленность в североамериканском штате Пенсильвания и на Кавказе» Менделеев будет настаивать не только на отмене акциза на фотонафтиль (одно из названий русского керосина) и сохранении протекционистского таможенного налога на привозной керосин, но и на других срочных мерах. Во-первых, он потребует, чтобы были пересмотрены правила пожарной безопасности, которые должны «по возможности не стеснять торговлю и промышленность, а помогать ей». Во-вторых, он считал необходимым *«особенно настоятельно подвергнуть технически-химическому исследованию нашу нефть для определения правильных условий производства из нее смазочных масел. Сжигание на пароходах… нефтяных остатков доставляет ныне нефтепромышленникам сбыт и содействует экономии дровяного топлива, но производство смазочных масел из нашей нефти обещает несравненно важнейшее применение, особенно как предмет для отпускной торговли».* В-третьих, надлежало разработать правила отчетности для нефтепромышленников, «потому что нефтяное дело при своем развитии регулируется только одними статистическими данными. Охота рыть новые колодцы и ценность нефти и разных из нее продуктов определяются выходами нефти из имеющихся колодцев, качеством добываемой нефти, количеством спроса, запасов и предложений». Он настаивал также на том, чтобы качество русского керосина не уступало американскому. В-четвертых, в-пятых, в-десятых…

Детальный разбор перспектив нефтяного рынка включал и условие, которое Менделеев выдвигал еще в 1863 году: *«Заводы для переработки нефти в керосин и тяжелые масла, по моему мнению, следует иметь не только в Баку, а преимущественно на Волге и, вообще, в центрах торговли и потребления, вблизи тех мест, где бочки дешевы и где их возврат возможен. Это важный вопрос относительно стоимости. До заводов нефть может идти трубами, водяными и железными путями, укупоренною в большие резервуары, а не в тяжелые бочки».* Пройдет несколько лет, и эта оставшаяся неизменной позиция станет причиной появления у Дмитрия Ивановича могущественных и непримиримых врагов. Пока же он со своими единомышленниками мог праздновать победу — в сентябре 1877 года акциз на нефть был отменен.

Знакомство с американской практикой бурения, свидетельствующей, что нефтяные горизонты расположены параллельно горным хребтам, неожиданно заставляет Менделеева пересмотреть свои взгляды на происхождение нефти. До тех пор он был сторонником мнения, что нефть образовалась из остатков доисторических организмов. Теперь же он полагает, что при образовании хребтов вода сквозь сопутствующие этому процессу разломы уходила в глубокие недра планеты, проникала до раскаленных слоев углеродистого железа — так образовывались пары нефти, которые поднимались в более холодные слои, где сгущались в жидкую нефть или оставались в виде сдавленных земельными пустотами газов. Выдвинутая Менделеевым парадоксальная теория минерального происхождения нефти до сих пор вызывает споры и рождает всё новых последователей. Несмотря на то, что сторонников органического происхождения углеводородов значительно больше, минеральная теория до сих пор не опровергнута. В ее пользу косвенно свидетельствуют не только лабораторные опыты, но следы метана и некоторых нефтяных углеводородов в глубинных кристаллических породах, в газах и магме, извергающихся из вулканов. Эта гипотеза Менделеева не оказалась столь же бесспорной, как его Периодический закон, но она тем не менее внесла свежую струю в геологию и предложила человечеству еще один «рецепт» рождения нефти.

Менделеев привезет из командировки, кроме научных, экономических и технических выкладок, и свое личное впечатление об Америке, которое также найдет место в его книге «Нефтяная промышленность в североамериканском штате Пенсильвания и на Кавказе».

Соединенные Штаты ему не понравились, и дело тут было не только в жаре. Он, конечно, вполне оценил организацию промыслов в Карн-Сити, высокий уровень технической мысли на нефтеперерабатывающем заводе «Атлантик», эффективную технологию производства смазочных масел, парафина, керосина и удивительного, неизвестного в России вещества под названием петроцен (Менделеев поручил Гемилиану исследовать это *«особенное вещество желтого цвета, твердое, порошкообразное, плавящееся выше 300 °С»),* которую применял питсбургский заводчик Тведдль на своем предприятии «Аладдин».

Он был восхищен американскими инженерами и рабочими. *«От лиц отдельных, как и от американской природы* (Дмитрий Иванович специально ездил на Ниагарский водопад и даже сфотографировался там на память вместе с Гемилйаном. — *М. Б* .) *да от заморского искусства обделывать сложные практические задачи — я просто в восторге».* Но в целом он был разочарован: *«…того, что думал встретить — в хорошем виде, — не нашел. В Новом Свете людские порядки и за сто лет остались те же — старосветские. Соленые воды океанов и свободные учреждения штатов, видно, не обновляют людей, не освежают их мысли. Там не решат задач, обновляющих умы, там просто повторяют на новый лад ту же латинскую историю, на которой воспиталась западная мысль…»* Самая главная претензия Менделеева к Америке состояла в том, что *«новая заря не видна по ту сторону океана».* Все остальные сделанные им выводы, как совершенно точные (например, предсказание скорого нефтяного кризиса), так и поразительно ошибочные (вроде предсказания, что борьба между демократами и республиканцами рано или поздно приведет к новой гражданской войне), вытекали из убеждения: Америка пошла старой разбитой дорогой. *«Отсутствие каких-либо идеальных стремлений, совершенно непривлекательная и ник чему не ведущая политическая неурядица… взаимная вражда партий», «пресловутая всеобщая подача голосов, стремление политикой, компанейскими приемами и всякими неправдами нажить и нажиться»* — всё это воспринималось русским мыслителем с болезненным разочарованием.

Будем, однако, иметь в виду, что, ругая американскую политическую систему, он долго и с удивлением вспоминал, что власть может быть довольно простым инструментом для удовлетворения гражданских потребностей. Даже в старости он пересказывал разговор, который состоялся у него с каким-то влиятельным американцем. Дмитрий Иванович поинтересовался, к какой из партий тот принадлежит. Его собеседник ответил, что не желает заниматься вывозом дерьма, поскольку для этого есть свои специалисты. Пораженный Менделеев решил уточнить: *«То есть вы сравниваете ваших политиков с золотых дел мастерами?»* — «Вот именно, — подтвердил тот. — До тех пор, пока в моей квартире не завоняет». Но по свидетельству Ивана Дмитриевича, эту историю отец воспринимал скорее как анекдот о несуразности американской действительности.

Растаявшая в считаные дни надежда увидеть за океаном зарю новой правильной жизни немедленно укрепила в Менделееве давнюю уверенность, что эта заря непременно взойдет над его родиной. И вот уже ему казалось, будто все головы повернуты в сторону России. *«Видят, что в ней нет ни зла организованного аристократизма, ни бедственной вражды политических партий, что в ней капитал не забрал всего в свои руки, что в ней есть в высших, духовных сферах смелость удовлетворять правдивым требованиям народа и времени, видят, что, идя так, Россия, при ее свободе расширяться и расти, достигнет высшего положения среди других народов…»* По мысли Менделеева, Россия, слава богу, выросла из западноевропейских пеленок и не пойдет латинской дорогой, ее спасут община, земство и разумные реформы государя Александра II.

Читая письма Менделеева из американской командировки, нельзя не заметить в них некоторого внутреннего напряжения. Почти все его послания семье лишены какого-либо обращения. Нет и в помине привычного *«голубчик Фаза»* , всего пару раз в десятке писем встречается *«друг Физа и милые детки».* Кажется, автор с трудом подыскивает темы для описания и вообще едва сдерживает раздражение. Он сообщает о расписании движения

«Лабрадора», о прогнозе погоды, о технических характеристиках корабля, количестве кают в разных классах, даже вычерчивает план своей каюты. Сойдя на сушу, он в том же ключе описывает устройство американского железнодорожного вагона… Всё отражается в письмах настолько тускло и безлико, что даже редкие яркие события — например, посещение Итальянской оперы в Париже, где он слушал «Реквием» (дирижировал сам автор, Джузеппе Верди), или обед у русского комиссара выставки с участием бразильского императора — кажутся столь же тоскливыми и безрадостными, как и всё остальное. И никакой речи о подарках, разве что самому себе — магазинное ружье и духовой пистолет. Очевидно, что супружеская жизнь Дмитрия Ивановича претерпевает в это время серьезный кризис, а сам он изо всех сил пытается избежать решительного разрыва.

И все-таки этот разрыв произойдет. В конце 1876 года семья разъедется — Феозва Никитична с Ольгой поселятся в Боблове, а Дмитрий Иванович с Володей останутся в университетской квартире. Теперь его письма в Боблово — разверстая душевная рана. *«Физа, ты и теперь не перестала требовать, учить и попрекать»; «Мне бы радостно Лелю было иметь около себя, и знаю, что ей было бы ладно и мне. Но прибавить сюда тебя — значит, всем сделать одно худое и вредное»; «Уйдет Володя, возьму из Германии дочку, и будет хоть она, быть может, не требовательна»; «У меня уж всё перекипело. Зову по душам — живи, только не кори за себя. Мне нелегко и самому. Ведь я человек — не бог, и ты не ангел»; «С тебя я ничего не требую, тебе даю, что могу — тем обязанности относительно тебя и считаю конченными. Я не считаю обязанностью своею терпеть с тобой всякие муки».* Он то с умилением пишет дочери, просит понять и поддержать его, то описывает ей, как покойно они с Володей живут и как хорошо развлекаются, а то вдруг начинает желчно отчитывать ее за то, что она вместе с матерью думает, будто они с Володей только и делают что веселятся.

Почти в каждом письме он требует, объясняет, уговаривает Феозву Никитичну не отдавать Лелю в гимназию Спешневой: там учат плохо и не тому. Может создаться впечатление, что именно из-за этого разногласия и разрушилась семья профессора Менделеева. Он никак не может допустить, чтобы дочь отдали к Спешневой, — ведь ясно же, что лучше в институт или пансион, — и снова убеждает, просит, даже угрожает… Всё бесполезно. Оля Менделеева пойдет в гимназию Спешневой. В конце концов бурная неприязнь к супруге в душе Дмитрия Ивановича сменится опустошением и полной апатией: *«Приезжайте все, коли хотите. Вот, Физа, мое состояние: ехать к тебе хотел, и радехонек, что не поехал. Лелю хочу от тебя взять, думаю — портишь, и в то же время думаю — делай с ней что знаешь — может, и лучше будет. Ничего не делаю, хоть и могу делать. Противны мне все ваши ходячие понятия… Надо уехать, надо оторваться ото всех вас. Либо вы уроды, либо я. А жаль Володи и не могу. Таково-то мне. До того довела меня обстановка, в которую себя поставил…»*

После возвращения Феозвы Никитичны с дочерью из Боблова казалось, что жизнь в квартире Менделеевых вошла в привычное русло. Внешне ничего не изменилось. С полок в длинном и широком коридоре всё так же строго и взыскательно смотрели на посетителей ученые сочинения хозяина. Большие ковры приглушали шаги, а персонажи картин и гравюр будто бы стояли на страже, готовые предупредить малейшую попытку помешать его работе. Особенно загадочно и тревожно смотрелись рыжеволосая женская головка (некоторым казалось, что они угадывают край рукоятки кинжала, которую за рамками картины сжимает прелестная ручка) и потрясающая колокольчиком Фортуна с завязанными глазами. Богиня удачи мчалась вперед, а люди стояли перед ней на коленях. Впрочем, дети, попадая в эту квартиру, обращали внимание не на книги и картины, а на большой стоячий стереоскоп. Вертя ручку этого чуда, можно было увидеть голубые ледники и бездонные пропасти Швейцарских Альп. Хозяин — если он не был в поездке, или на лекции, или в лаборатории, или на каком-то из своих бесчисленных выступлений — писал что-то, важный и нахмуренный, стоя за своей любимой конторкой возле газового рожка, или работал с книгой,

сидя в уголке дивана, обитого серым с красным тиком. Когда одолевала усталость, он переключался на свое любимое занятие — делал коробки и альбомы. Сам варил клей, сам наклеивал репродукции, а коробки мастерил столь отменно, так ловко обтягивал их кожей, что получались они не хуже магазинных чемоданов. Свои изделия Менделеев охотно дарил, но не терпел, чтобы ими пользовались без спроса. Он вообще предпочитал сам делать подарки и, хотя благодарности обычно пресекал, был доволен, если видел ответную радость. Всегда держал у себя в кабинете сладости, орехи и фрукты для маленьких и взрослых гостей (в Боблове посреди его кабинета часто была насыпана горка отборных яблок). Любил принести с прогулки отличной рыбы или еще чего-нибудь к семейному столу.

В квартире старались не шуметь. Там, в огромных комнатах с полукруглыми окнами, идет своя жизнь: суетится прислуга, сервируя стол к обеду, занимаются своими делами подросшие, посерьезневшие дети. Володя готовится в Морское училище, посещает частный пансион Ремберовича, а дома много занимается с приглашенными Дмитрием Ивановичем учителями. Оля — гимназистка, к тому же учится музыке под руководством некрасивой консерваторки по фамилии Синегуб. А раньше за ними был нужен глаз да глаз. Дмитрий Иванович всегда боялся, что с детьми, не дай бог, что-то случится. Бывало, нянька приведет к нему дитя — сказать спасибо после обеда (он же никогда до конца трапезы недосиживал) или пожелать спокойной ночи, так хозяин первым делом, не отрываясь от работы, кричал нервно: *«Угол!»* — и тут же руку протягивал, чтобы ребенок не ушиб голову об угол стола. Детей он любил нежно, болезненно. Хоть был с ними строг и, чуть что, отчитывал за шум, но всегда ждал, что кто-то из них вспомнит о нем и заглянет в кабинет. Говаривал: *«Чем бы и как бы серьезно я ни был занят, но я всегда радуюсь, когда кто-нибудь из них войдет ко мне»; «Много я в моей жизни испытал, но лучшего счастья не знаю, как видеть около себя своих детей».* Он и к чужим детям относился по-особому. Бывало, услышит в Боблове, как у какой-нибудь женщины из прислуги ребенок плачет, тотчас строго прикажет ей всё бросить и идти покормить и успокоить свое чадо. Его же собственные дети хотя и любили отца, но привыкли считать его человеком, обитающим где-то в высоких, далеких и непонятных сферах. Они были рады, когда он к ним спускался, сами же избегали его тревожить… А у Феозвы Никитичны бывали свои гости, чаще всех — ее двоюродные братья Александр и Николай, очень к ней привязанные, оба красивые, воспитанные и прекрасно одетые. Александр был чиновником Министерства внутренних дел, Николай служил в Министерстве государственных имуществ. С Дмитрием Ивановичем они предпочитали не встречаться. Да тот мог и не знать, кто посетил его квартиру: проводил время в кабинете и лаборатории, из-за обеденного стола выскакивал сразу после второго блюда, а на ночь уходил в самую маленькую комнатку, где спал на тонком твердом тюфячке.

Тяжелые душевные переживания Менделеева были связаны не только с кризисом в супружеских отношениях, но и с сильнейшим любовным увлечением, о котором пойдет речь в следующей главе. (Это ведь только Дмитрий Иванович мог испытать в короткий, немыслимо бурный период конца 1870-х годов сразу и великое душевное неустройство, и великие труды, и великую страсть. Наше же изложение подобной плотности письма вместить не в состоянии.) Но даже в этих условиях Менделеев продолжал работать в полную силу. Помимо главных занятий, связанных с университетом, исследованием газов, метеорологией, воздухоплаванием (он активно участвовал в обсуждении предложения А. Ф. Можайского о создании воздухоплавательного снаряда тяжелее воздуха), перестройкой нефтяного дела (снова ездил на бакинские промыслы), Менделеев откликался на всё, что волновало в ту пору русское общество. Началась война на Балканах — он предложил свои услуги военному ведомству (министр официально принял это предложение). Шел спор об отмене университетского устава 1863 года — он категорично выступил против отмены студенческих и профессорских свобод (включая свободу заниматься наукой). Обсуждался вопрос об учреждении Томского университета — Дмитрий Иванович активно поддержал этот проект не только от себя, но и от имени сибиряков, писавших знаменитому земляку о

необходимости создания высшего учебного заведения в Сибири.

Среди работ, вышедших из-под его пера в конце 1870-х годов, особенно обращает на себя внимание удивительная и до сих пор не вполне понятная статья «О единице». Ученый свежим взглядом рассматривает логический феномен единицы, способной выступать в качестве определения как общего, так и частного: один атом, одна молекула, один элемент, один человек, одна семья, одно общество, государство, человечество… Но ведь в этом таится и жесткое противоречие. Как его смягчить в отношении человека и общества? Менделеев видит здесь один путь: человек должен отказаться от крайнего индивидуализма, осознать себя в качестве маленькой клетки единого общественного организма. В этом же тексте, переходы которого достаточно темны для обычного читателя, автор рассматривает соотношение формы и содержания природных процессов, приходит к выводу о примате содержания над формой и далее переходит к интересовавшему его с юности изоморфизму: *«Изоморфизм, в тесном смысле, есть сходство форм по причине подобия состава».* И далее: *«…соединения одинакового числа атомов, подобным образом расположенных, образуют тела тождественных кристаллических форм»* . Чувствуется, что ученый находится в предощущении неких невыразимых откровений, мысль его стремится выйти за пределы возможностей человеческого разума. Недаром в это же время он пишет статьи о родстве естествознания и живописи. Недаром так внимательно рассматривает новые картины передвижников. Недаром готов ехать в любую сторону света.

Осенью 1877 года Менделеев снова отправляется в заграничную командировку — представителем Санкт-Петербургского университета на празднование четырехсотлетия университета Упсалы. Его приветствие шведским коллегам было встречено рукоплесканиями: *«… Великая мысль легла четыре века тому назад в колыбель Упсальского университета. Упования Стен Туре* (представителя влиятельного шведского дворянского рода, регента, а по сути правителя Швеции, формально находившейся в составе Кальмарской унии. — *М. Б* .) *оправданны. Швеция покрылась народными школами, наука сделалась шведам любезна, имена Линнеев и Берцелиусов — слава человечества… Яркий свет Упсалы да светит и впредь на родном нам севере. От успехов науки крепнет братство университетов и народов…»* Менделеев не просто ощутил уважение хозяев — он был буквально ими обласкан. Шведы знали и высоко ценили своего гостя. Профессор П. Т. Клеве, хорошо знакомый с исследованиями русских химиков, лично встретил Дмитрия Ивановича на вокзале и по университетской традиции отвез к себе домой, запретив даже думать о гостинице. Встречи с Менделеевым ждали не только шведские ученые, но и приехавшие на юбилей соседей норвежцы — термохимик Ю. Томсен, метеоролог Г. Мон, книгу которого он недавно отредактировал и прокомментировал, и физикохимик К. М. Гульберг, один из соавторов закона действия масс. Все, включая шведского короля, интересовались его работой и расспрашивали о России. Праздник продлился несколько дней, но связь Менделеева со шведскими коллегами на этом не прервалась. По удивительному стечению обстоятельств именно Упсальский университет сыграет неоценимую роль в становлении Периодического закона. В 1879 году тамошний профессор аналитической химии Ларе Фредерик Нильсон откроет новый элемент, скандий, а другой профессор-химик, добрый друг Менделеева П. Т. Клеве, тут же отметит идентичность скандия с экабором, чьи свойства были предсказаны автором Периодического закона. После этого новый элемент навсегда займет в таблице место, указанное Дмитрием Ивановичем.

Петербургский университет довольно часто (значительно чаще, чем другим профессорам) поручал Менделееву такого рода представительские поездки. Дело было не только в том, что Дмитрий Иванович был хорошо известен за границей, поддерживал множество личных контактов с коллегами и совершенно свободно чувствовал себя в любом ученом сообществе. Он был еще и златоустом, автором великолепных по настроению, содержанию и литературным качествам приветственных речей. Первое поздравление он прочел на столетнем юбилее Петербургского Горного института, и уже начальные слова его

речи представили это событие удивительно значительным: *«Юбилейное торжество Горного института есть торжество науки, ибо она светит в подземных глубинах…»* А закончил ее Менделеев, перефразировав слова из университетского устава: *«Где высоко стоит наука, там не только стоит высоко человек, но там рано или поздно накопляются и сила, и богатство».* В начале 1875 года Менделеев вместе с профессором И. В. Помяловским представлял Санкт-Петербургский университет на праздновании четырехсотлетия Лейденского университета в Голландии. Текст поздравления не сохранился, но зато известно, как его автор был принят голландцами. После торжественного акта в сенате университета русских гостей затаскали по приемам; их желали видеть на обеде у короля, где Менделеева посадили между принцами, потом на приеме в замке принца Фридриха, в городской ратуше, в лейденском театре, на собрании кураторов, в «студенческом сборище», не говоря уже о множестве частных приглашений коллег, посещений учебных кабинетов, лабораторий и музеев. *«Все были до крайности любезны, всё шло хорошо до конца, но только усталок одолел».*

Во время поездки в Лейден Менделеев познакомился с Жозефом Эрнстом Ренаном, целую ночь беседовал с ним в поезде и запомнил эту беседу на всю жизнь. Великий европейский мыслитель, порвавший с католицизмом ради изучения иврита и библейской истории, философ, мысливший художественными образами, произвел на Менделеева неизгладимое впечатление. Тому способствовало и дорожное происшествие: жители одного клерикального городка, мимо которого двигался поезд, устроили Ренану и его спутникам протестную демонстрацию. Иван Дмитриевич Менделеев вспоминал, что отец очень часто возвращался к содержанию бесед с Ренаном: *«Ренан — замечательный деятель. Он смотрит глубже всех. Его идеи имеют бесспорное будущее. Он делает из науки религию и думает, что с помощью сознания идеала наука преобразит существо человека и осуществит на деле выдвинутые религиозной фантазией мечты». Менделеев говорил: «В этой среде я чувствовал себя как бы членом какого-то высшего совета культуры, где определялось ее глубокое будущее, то, о чем еще не говорят, но что внутренне действует и вызывает движение вперед».*

В конце 1877-го — начале 1878 года душевный дискомфорт и ухудшение здоровья (он всю зиму болел плевритом, что очень тревожило его друга С. П. Боткина) заставляют Дмитрия Ивановича задуматься о длительной поездке за границу. По сути, это была попытка бегства от невыносимой семейной обстановки, от страсти, которую он считал преступной, от самого себя. Но даже горя в пламени чувств, Менделеев не мог просто бросить всё и уехать. Во-первых, он не привык путешествовать бесцельно. К тому же в сложившейся ситуации он не считал для себя возможным брать деньги из семейного бюджета. Университет, заботясь о здоровье своего профессора, освободил его на год от лекций, но не смог оставить ему на это время жалованье. Времена наступали суровые, врагов у университета было предостаточно, и ректорат ограничился пособием в 700 рублей. О том, чтобы на эти деньги прожить год в Ницце, как настаивал Боткин, не могло быть и речи. И тогда Дмитрий Иванович нашел очень интересную для него самого и важную для России цель поездки.

Он предложил взять на себя сбор в Европе сведений, относящихся к военному воздухоплаванию, чтобы на их основе разработать проект простого в управлении русского аэростата, а также издать на эту тему книгу. Для этого, писал он, необходимо: на его содержание за границей в течение года, на разъезды и предварительные опыты — четыре тысячи рублей; на издание книги — 1650 рублей; на заказ двигателя для большого аэростата и моделей — 6800 рублей; общая сумма составляла 12 650 рублей. Как всегда, он сразу же нашел поддержку у великого князя Константина Николаевича, вслед за которым предложением профессора Менделеева заинтересовался цесаревич Александр Александрович — будущий император Александр III. Небезынтересно, что до его императорского высочества менделеевскую идею донес не кто иной, как К. П. Победоносцев. Правда, в письменном обращении Константина Петровича к наследнику престола всё

выглядит как свидетельство его личной заботы о военной мощи страны и, в частности, о возможности нанести воздушный удар по Британским островам: «…Нынешнее политическое состояние, вместе с глубоким раздражением противу коварной английской политики, заставляет многих старательно вдумываться в изыскание средств к нанесению вреда государству, которое по своему положению так недоступно для внешнего неприятеля. Есть серьезные люди, специалисты минного дела, которые останавливаются на мысли о применении к военному делу воздухоплавательных снарядов. Эту задачу, по мнению их, весьма возможно разрешить, но необходимо приняться за дело серьезно, с помощью научного исследования, и притом как можно скорее, чтобы предупредить Англию в решении той же задачи. Нам могло бы дать огромную силу нравственную то обстоятельство, что первый воздушный корабль поднялся бы именно у нас, а не в Англии. Начальник минной части в Кронштадте сошелся по этому поводу с известным профессором здешнего Университета Менделеевым, который давно занимается этим предметом, знаком со всей его литературой и убежден в разрешимости на практике задачи воздухоплавания. В прилагаемом листе изложен взгляд Менделеева на этот предмет, которому он обещает посвятить себя во время пребывания за границей, если получит на то средства. Всего, по расчету его, требуется около 12 000 руб. серебром…»

Престолонаследник дал добро, и тут же началась переписка между важными государственными лицами: управляющий Морским министерством адмирал С. С. Лесовский снесся с морским и военным министрами, а также с товарищем министра народного просвещения князем А. П. Ширинским-Ших-матовым. Последний от имени всех ранее названных обратился с письмом к министру финансов. А тот ответил отказом. Возможно, он был наслышан о том, что профессор Менделеев не отличается абсолютной обязательностью, а может, просто не понял затеи и пожалел казенные средства. Министры финансов, как известно, иногда позволяют себе бесстрашные поступки. Кончилось тем, что Дмитрий Иванович получил в долг от оборонных ведомств на всё про всё четыре тысячи рублей, причем из сумм, отпущенных на устройство и содержание лаборатории по исследованию упругости газов. Конечно, построить дирижабль на эти деньги было нереально, но можно было уехать на год.

В октябре Менделеев уже был в Париже. Наверное, он так и планировал — попасть в Париж в разгар очередной, самой крупной в XIX веке, Всемирной выставки, тем более что в ее программу были впервые включены несколько научных конгрессов и конференций. Ярко раскрашенный русский павильон, выполненный по проекту архитектора И. П. Ропета в сказочном стиле, с множеством башен и башенок, с «князьками» и «кокошниками», с фронтоном, неожиданно украшенным чернильницей с гусиными перьями, а также клеймами-печатями и диковинными птицами, воспринимался французами и прочими гостями выставки действительно сказочным, поскольку внутри него светили электродуговые лампы Яблочкова, сразу же окрещенные «русским светом». Через год они осветят улицы Лондона, Парижа и даже появятся в Петербурге. Но Дмитрий Иванович уже был знаком с этим изобретением Яблочкова.

Экспонат, который в то время больше всего его интересовал, был виден издалека, особенно во время демонстрационных полетов. Французы, имевшие за плечами почти столетний опыт строительства монгольфьеров, показывали на выставке привязной аэростат системы Анри Жиффара — воздушный шар объемом три с половиной тысячи кубических метров. Менделеев начал изучение порученного ему предмета именно с этого образца: *«Друг Володя! В пятницу 4-го октября я поднимался на большом привязанном аэростате. Погода была тихая, вид на Париж большой, но мало остается в высоте, не успели оглядеться, как уже тянут вниз…»* Тогда же он посетил известного изобретателя Дюпюи де Лома и механика Соберта. И к ним, и к другим инженерам дорогу находил запросто, да и они чаще всего о нем что-нибудь слышали. Говорили об оптимальной конструкции летательных аппаратов, обсуждали форму крыльев. (Стало быть, не об одних аэростатах и дирижаблях он

в ту пору думал. Впрочем, пару эскизных набросков разных дирижаблей он тоже сделал.)

На выставке, как всегда, собралось большое русское общество. Было много знакомых художников: И. Н. Крамской, И. И. Шишкин, А. Д. Литовченко и др. Они экспонировали в художественном разделе свои картины. Среди русских гостей присутствовал и И. С. Тургенев. Они с Менделеевым были уже давно знакомы, впервые их представили друг другу в Германии года через два после Гейдельберга. Тогда они подолгу сидели в кафе, толковали о русской жизни. Сын ученого, Иван Дмитриевич, предполагал, что некоторые черты, свойственные в те годы Менделееву, стали объектом «насмешливой реминисценции» писателя и нашли отражение в образе Базарова в «Отцах и детях» и дяди Менделея в «Дыме». В нынешнюю встречу они говорили о том, что на родине вот-вот может случиться революция. Менделеев рассказывал Ивану Сергеевичу свои идеи относительно эволюционного развития России, доказывал, что только в осторожных, щадящих реформах благо и само спасение страны. Либерал Тургенев слушал внимательно, но не верил. В конце беседы он улыбнулся и назвал Дмитрия Ивановича «постепеновцем». Менделеев в ответ довольно хохотнул. Иван Дмитриевич запомнил, как отец по этому поводу не раз говорил: *«Я это название принял и от него не отказываюсь».* Менделеев чувствовал в Тургеневе талант, но не чувствовал глубины. Для него Тургенев, как и Достоевский, не был учителем жизни. Менделеев был сам себе учитель. Поэтому эти встречи он запомнил, но особого влияния на него они не оказали.

В декабре Дмитрий Иванович завершает предварительный сбор информации по воздухоплаванию и уезжает в Ниццу. *«Тут я узнал необыкновенно много важного и нового для дела, перезнакомился со всеми деятелями этого дела и получил столько материала печатного и письменного, что теперь достанет на месяц или два только разбираться и приводить в стройный порядок узнанное».*

Со времени отъезда из Петербурга Менделеев с каждым днем всё сильнее беспокоится о детях. Он пишет им очень часто, ответы же получает редко. *«Милый мой голубчик Володя. Как же это нет от тебя письма?* — волнуется отец. — *Получил ли ты моих два?.. Пиши мне чаще, хоть по одной строчке. Ведь я живу мыслью о вас — тебе и Леле. Ведь мне тяжело без вас и всё чаще мне хотелось бы знать как верному другу…»* Он будто что-то предчувствует. И действительно, в начале 1879 года приходит сообщение о болезни Володи. Менделеев немедленно возвращается в Петербург. Болезнь оказывается неопасной, юноша быстро выздоравливает, но Менделеев задерживается дома до конца января: не может оторваться от детей — и от новой идеи — сходства сопротивления воздушной и водной сред. Он знакомится с исследованиями в этой области и даже ставит вместе с Каяндером несколько опытов.

Наконец, Дмитрий Иванович вернулся в Ниццу, но усидел там только до марта. Вместе со своим знакомым, химиком-самоучкой и промышленником П. К. Ушковым, владельцем, возможно, самых передовых в России химических предприятий и просто очень приятным Менделееву человеком, он едет в Рим на Второй международный метеорологический съезд. Оказавшись там раньше открытия, они, чтобы не терять время, едут на Сицилию любоваться Этной и осматривать серные месторождения. Предприятие им предстояло рискованное. Народ там обитал отчаянный, и чужаков сицилийцы не любили. Помог старый знакомый Станислао Канниццаро. Он сам был родом из Палермо и хорошо знал сицилийское подполье (одно время даже состоял его активным участником, из-за чего какой-то срок должен был прожить в эмиграции). Канниццаро дал Менделееву и его спутнику несколько писем к нужным людям. Благодаря этим письмам они нашли помощь у местных профессоров и инженеров, которые показали русским коллегам всё, что они хотели увидеть: Джирженти, Кальтанизетту, Катанию…

> *«Какое богатство серы — сказать нельзя. Из печей, где ее выплавляют, она течет, что твоя вода, а под землей, в рудниках, можно сказать, идешь по галерее из серы. Лесов нет, а всё горы, плодородная почва, море, Этна, покрытая еще и теперь, когда уже жара, наполовину снегом; местами целые рощи лимонов и*

апельсинов, кактусов. Среди этой обстановки живут люди с оттенком арабской крови, непохожие на остальных итальянцев, готовые на разбойничество (и теперь еще все почти сидят здесь с ружьями), но милые и обходительные…» — это из письма, тогда же написанного детям. На самом же деле помощь Канниццаро отнюдь не могла обеспечить им полную охрану, и путешествие оказалось значительно более авантюрным и опасным, нежели предполагалось. Об этом свидетельствует позднейший рассказ Менделеева, записанный Иваном Дмитриевичем: *«Страна кишела разбойниками, проехать в те места нам, иностранцам, было бы невозможно, если бы нам не удалось познакомиться случайно с крупным членом бандитской организации «Мафии». Это был человек, занимавший хорошее общественное положение, что, по странным местным нравам, не мешало ему одновременно принадлежать и к своеобразной разбойничьей шайке. Он дал нам пропуск и рекомендацию к своим товарищам. Приехав на место, у одного из них мы и остановились. Вечером, ложась спать, поднимаю случайно край полога над моей постелью и вижу: оттуда начинается потайной ход. Это была лазейка на случай облавы и, может быть, и приспособление для каких-то ночных преступлений. Ни разу во всё время нашего путешествия нас не тревожили. Нам помогло также то, что меня часто принимали за едущего инкогнито Гарибальди: итальянцы вообще находили между мной и Гарибальди большое сходство».*

Потом они вернулись в Рим на Метеорологический съезд, после закрытия которого Менделеев успел еще поработать и съездить в Венецию — полюбоваться Дворцом дожей и заглянуть в Академию искусств. В конце мая он уже был дома и сразу, не отвлекаясь, начал заниматься конструированием воздушных винтов. Потом перенес эту работу в бобловский сарай, где с помощью Володи производил что-то вроде стендовых испытаний. Между тем на родине его ждали новые неприятности.

Являясь противником революционного движения, Менделеев тем не менее ни при каких обстоятельствах не опускался до одобрения низких мер, осуществляемых правительством. Немудрено, что, откровенно выступая против жестокой, глупой и недальновидной внутренней политики, он в глазах высокого начальства часто оказывался ближе к противникам режима, нежели к его сторонникам. Тем более что его обычай не сразу отсылать «горячие» письма адресатам, а перечитывать их в более спокойном состоянии практически не распространялся на тексты, предназначенные для печати. Его громкий, не сдерживаемый политесом голос звучал каждый раз, когда из катковского лагеря (а там собрались очень важные, знаковые персоны уровня министра просвещения и обер-прокурора Синода графа Д. А. Толстого и будущего начальника Главного управления по делам печати, а пока редактора «Русской речи» и «Журнала Министерства народного просвещения» Е. М. Феоктистова) раздавались нападки на либеральный устав университета, неспособный, по мнению реакционеров, сдержать студенческие волнения и вообще дающий много воли профессорам и студентам. Власть и публицистов-охранителей типа П. М. Леонтьева никак не устраивала позиция Петербургского университета, совет которого единогласно признал, что действующий устав полностью отвечает современным требованиям, поскольку с момента его принятия начался период расцвета университетской науки. Начиная с января 1877 года катковские «Московские ведомости» обрушивают на Санкт-Петербургский университет и его профессоров шквал грязных наветов.

Пытаясь хоть как-то защитить честь мундира, профессор права А. Д. Градовский публикует в газете «Голос» сатирический «Проект преобразования российских университетов, представленный российскому обществу штык-юнкером Михаилом Простаковым». «Проект» доводил до полной ясности намерения реакционного лагеря и прямо предлагал сделать из университетов корпуса, студентов переименовать в кадетов, выборное начало, как и науки, отменить, а из учебных предметов оставить «добронравие, смирение и благочестие». В ответ Катков со товарищи перешли к новым нападкам. Самым

«ярким» произведением в этом потоке злобного шипения была анонимная публикация под заголовком «Из Петербурга» в «Московских ведомостях» (автор ее скрылся под псевдонимом *Homo novus*). Там не только обливались грязью университетские порядки в Северной столице, но и обвинялись профессора (фамилии не назывались, но указывались их начальные буквы) в различных злоупотреблениях, включая присвоение казенных денег для издания собственных учебных пособий. В архиве Дмитрия Ивановича названная статья хранится с его припиской: *«Это есть та гадкая статья, о которой дальше речь».*

Дальше — в том же «Голосе» вышло в свет письмо профессора Менделеева, который взял на себя «защиту» *Homo novus'* а от критики и, как теперь говорят, оттянулся по этому поводу как хотел, да еще и сатиры подбавил. Письмо называлось «В защиту Антошки — Homo novus». В нем говорилось, что напрасно Градовский обвиняет анонима в клевете, ведь клевета — это то, чего не было. А *Homo novus* описывает то, что было, правда, не указывает, что всё делалось в соответствии со статьей 105 университетского устава. Менделеев раскрывает все фамилии, на которые «намекал» аноним, включая свою, и все факты, которые автор облыжно называет преступными. Но обвинять его Дмитрий Иванович не торопится. Московская статья-то, пишет ученый, шуточная. Ведь всерьез такое мог бы написать только щедринский персонаж Антошка Стрелов, герой очерка «Отец и сын» из серии «Благонамеренные речи», — тот самый *«Антошка прасол, Антошка закладчик, словом, Антошка — Homo novus, выброшенный волнами современной русской цивилизации на поверхность житейского моря»* (кроме всего прочего, такое сравнение свидетельствует о том, что Салтыкова-Щедрина Менделеев читал внимательно и с удовольствием). После выхода этой статьи Менделеев, как это с ним часто бывало, оказался в центре журналистского и политического скандала, поскольку прочие бойцы с обеих сторон предпочли обменяться ударами анонимно.

Вызов, брошенный профессорами в адрес проправительственного лагеря, был тем более опасным, что революционная ситуация в стране действительно находилась на грани взрыва. Сходки и демонстрации становились всё активнее и организованнее. По рукам студентов, а от них дальше в читающие массы вовсю ходила призывающая к бунту газета «Земля и воля». Революционеры, чутко улавливавшие общественные настроения, уже решили для себя вопрос о возможности террора. 24 января 1878 года Вера Засулич выстрелила в петербургского градоначальника генерала Ф. Ф. Трепова и вскоре была оправдана судом присяжных в составе девяти чиновников, дворянина, купца, свободного художника. Летом того же года бывший подпоручик С. М. Кравчинский, только что вернувшийся из итальянской провинции Беневенто, где едва избежал казни за участие в восстании бакунистов, среди бела дня зарезал (кинжалом, в итальянской манере) в центре Петербурга начальника Третьего отделения и шефа жандармов генерала Н. В. Мезенцова, после чего спокойно покинул место преступления и уехал в Швейцарию, предварительно написав брошюру о мотивах своего поступка.[41] Агенты охранного отделения доносили, что революционеры уже вовсю готовят покушение на самого государя императора. Правительство было на грани паники и в этом состоянии опубликовало призыв к русскому народу помочь в борьбе с революционным движением.

Этот беспомощный шаг, способный вызвать лишь волну доносительства, самосуда и, в ответ, дальнейший рост радикальных настроений, возмутил Менделеева глупостью и слепотой тех, кто призывал к борьбе со злом, не видя и не понимая его истинных корней. Особенно ненормальным ему показалось намерение правительства бороться с революцией при помощи запретов, цензуры и «тайных мер». Не желая сознавать, что он и так ходит по лезвию ножа, Менделеев послал в «Голос» статью «Отклик на призыв», с помощью которой

---

[41] Сергея Михайловича Степняка-Кравчинского впереди ждала интересная писательская жизнь, дружба с Оскаром Уайльдом, Бернардом Шоу, высокая оценка его прозы Л. Н. Толстым, В. Г. Короленко и французским жизнелюбом Альфонсом Доде.

попытался искренне и терпеливо объяснить правительству его заблуждения. Но в результате из-под его пера появился текст более оглушительный, чем любая прокламация. Правда, никакая партия и даже заметная группа людей за этой прокламацией не стояли — за ней был один Дмитрий Иванович Менделеев: *«Если бы мне захотелось вступить в борьбу с учением, породившим зло, я бы должен был узнать сущность этого учения. Но книги, излагающие его, — тайны запрещенные. Чтение этих книг ведет в тюрьму… Так устраняются здоровые, преобладающие, явные и действительные силы русского общества. Пора заменить тайное расследование явным общественным судом и гласностью. Доверие к этим силам неизбежно для правильности дальнейшего роста общественного и государственного сознания в русском народе. Судят за чтение тайных книжек. А судить следует только за неправые дела. Верования, понятия, книжки и слова должны быть свободны, как воздух. Иначе всё может расшататься, и тайные меры тогда не помогут…»* Редактор «Голоса» А. А. Краевский совсем уж готов был напечатать этот материал, но в последний момент снял с полосы — послушался внутреннего цензора. Однако «где следует» статью конечно же прочли. Наверное, с этого времени Менделеев становится объектом секретного наблюдения, которое продолжалось до самого конца его университетской деятельности. Слежка в ту пору была установлена за многими профессорами, но компромат на Менделеева искали с особым рвением.

В то время когда Дмитрий Иванович собирал в Европе материал по воздухоплаванию, в России произошла череда покушений на императора и в университетский устав все-таки были внесены поправки, ужесточающие правила внутренней жизни высших учебных заведений: университетский суд был «усилен» инспектором; кроме него, появились субинспекторы, обязанные знать каждого студента по фамилии и в лицо, быть в курсе его личной жизни, посещать его на квартире и проводить регулярные беседы. Стипендии, как и разрешение на частные уроки, теперь мог выдавать только инспектор, и на эту должность вместо добрейшего старика Н. В. Озерецкого заступил отставной полковник Антропов — бестактный и необразованный человек, ужасно раздражавший студентов и преподавателей. Естественно, первым по поводу нового инспектора высказался несдержанный профессор Менделеев: *«Он имеет такое же отношение к университету, какое имеют трубочисты, чистившие в университете трубы».* О попечителе университета князе Волконском Дмитрий Иванович сказал, что тот *«принадлежит к числу самых фальшивых людей».* Когда же Менделеева вызвал к себе временный петербургский генерал-губернатор генерал И. В. Гурко (тот самый герой Балкан) и поинтересовался причинами революционных настроений среди студентов, Дмитрий Иванович воспользовался этим, чтобы нанести еще один удар по государственному классическому образованию. Он не без удовольствия сообщил, что неблагонадежность насаждается еще в гимназиях, *«ибо ведь на гимназических скамьях они только и изучают Римскую республику».*

Всё это — доклады начальства, доносы и донесения, цитаты из писем и вырезки из статей — ложилось в толстое секретное дело в синей обложке, то самое, которое Менделееву потом покажет градоначальник П. А. Грессер: «У меня уже вот какое дело за два года набралось на вас. Тут всё есть, все ваши разговоры, действия и т. п. Теперь мне нужно составить доклад». Пока же папка пухла, а ситуация вокруг Дмитрия Ивановича всё более накалялась. Генерал-адъютант Гурко объявил профессорам Менделееву и Меншуткину, которые, по агентурным сведениям, относились к инспекции наиболее неуважительно, что в случае любых студенческих демонстраций они будут немедленно высланы из Петербурга. О «подрывной» деятельности профессора Менделеева в общем контексте тайной войны с революционной гидрой самому государю докладывал новый начальник Третьего отделения А. Р. Дрентельн. Всё это было крайне непоследовательно и отдавало неким помешательством властей: с одной стороны, Менделеев пользуется доверием великих князей, включая наследника трона, а также его всемогущего воспитателя Победоносцева, без пяти минут обер-прокурора Святейшего синода, выполняет особые поручения военного и

морского министров, а с другой — аттестуется шефом жандармов императору в качестве смутьяна и подстрекателя.

В агентурной папке с материалами на Менделеева наверняка нашлось местечко и для тирады, которую уважаемый профессор высказал в адрес руководителя Святейшего синода и министра народного просвещения графа Д. А. Толстого. С этим вельможей у Дмитрия Ивановича была давняя и упорная борьба. С момента своего назначения министром граф с огромной энергией пробивал (и пробил-таки в 1871 году) реформу гимназического образования в России. Поскольку он признавал гимназиями только классические заведения с двумя древними языками, которым министр придавал ведущее образовательное и воспитательное значение, реальные гимназии были переименованы в реальные училища, а их выпускникам доступ в университет был закрыт. В гимназиях было полностью прекращено преподавание естественной истории и космографии, сокращены программы по русскому языку, истории, рисованию и черчению.

Все те годы, когда Толстой пробивал свою реформу, Менделеев не менее энергично выступал против новой системы гимназического образования. Он считал, что все средние учебные заведения должны открывать молодежи дорогу к высшему образованию, и доказывал, что в первом ряду учебных предметов должны быть русский и европейские языки, естественные и математические науки: *«Усиливая же изучение мертвых языков за счет других общеобразовательных предметов, можно совершенно остановить развитие образованности в России и подготовить таких деятелей, часть которых, пожалуй, увлечется политическими и эротическими бреднями классиков, другая часть будет писать и говорить по-русски хуже, чем по-гречески, а третья, одна из лучших, будет в состоянии узнать, и действительно узнает, что писал Аристотель, но не поймет того, что пишут ныне европейцы».* Естественно, такая нелицеприятная критика любимого детища графа Толстого оскорбляла того до глубины души, тем более что Менделеев беспокоил своими письмами не только общественное мнение, но и высокое начальство, вплоть до министра внутренних дел графа М. Т. Лорис-Меликова, к которому Дмитрий Иванович обратился с требованием (!) искоренить пороки среднего образования. Толстой пытался запугать Менделеева дисциплинарными методами, но это было бесполезно — тот и сам ни Бога, ни черта не боялся да и заступников имел весьма могущественных. Расправившись с уставом гимназий (отныне обучение в них современники начали сравнивать с тяжелым кошмаром), Толстой и его соратники взялись за устав университетский. И снова самой заметной фигурой на их пути стал Дмитрий Иванович Менделеев. Поняв, что угрозами здесь ничего не добьешься, министр делает неуклюжую попытку подружиться со своим врагом. Раз шесть или семь он посылал ему приглашения на домашний обед, но Менделеев каждый раз отказывался, ссылаясь на здоровье. После этого их взаимная неприязнь дошла до открытой вражды.

Перепалка, о которой идет речь, произошла во время подготовки петербургского университета к посещению бразильского императора Педру II. Граф Толстой, проверявший готовность помещений к осмотру высоким гостем, зашел в химическую лабораторию к Менделееву, чтобы поговорить с Дмитрием Ивановичем по поводу возможной встречи с бразильским монархом — тот мог пожелать увидеть своего старого знакомого по Филадельфийской выставке. Неизвестно, в каких тонах этот разговор начался, но вскоре он перешел пределы не только субординации, но и приличий. «В науке, да, вы, возможно, всемирно известный профессор, но, знаете, — «задушевно» сказал Толстой, — в политическом отношении вы никуда не годный человек». — *«Вы сами тоже никуда не годитесь!* — ответил Дмитрий Иванович. — *Вы слепой, понимаете ли — слепой! Ну, вот теперь, например, всё покушения на государя, а вы ведь взялись охранять его. Зачем вы беретесь не за свое дело? Я, например, не берусь за санскритские надписи, потому что не знаю этого предмета. А вы беретесь за то, чего не понимаете, и не умеете охранять!»* По одному из источников, передающих содержание этого разговора, получившего широкую известность, Толстой и Менделеев употребляют слово, значительно более крепкое, нежели

«не годный». Дмитрий Андреевич Толстой действительно был неважной защитой царю, потому что более всего боялся покушения на собственную персону. Выходя в залу, где его ожидали просители, он всегда имел при себе заряженный револьвер и старался встать подальше отдам с муфтами. Неизвестно, до чего могло бы довести «министра народного помрачения» его угрюмое усердие, если бы в апреле 1880 года сей персонаж не был убран с должности.[42]

Толстой был настолько непопулярен в обществе, что провернувший его отставку хитроумный М. Т. Лорис-Меликов даже заработал на этом кратковременную симпатию прогрессивного лагеря. Временные правила, принятые в дополнение к уставу университета по настоянию Толстого, будут отменены. Студенты и профессора переведут дыхание. Дальше случатся убийство Царя-освободителя и коронация Александра III, который хотя и не станет публиковать проект отцовской реформы, предполагавшей предварительное обсуждение законопроектов в назначаемых царем комиссиях, но и не решится с первых же шагов спугнуть встрепенувшиеся либеральные ожидания. И народовольцы поумерят свою активность в Северной столице, вслед за чем генерала Гурко отправят временным генерал-губернатором и командующим округом в Одессу, а А. Р. Дрентельна — на киевское генерал-губернаторство, где он, в частности, прославится «открытием», что виновниками еврейских погромов являются сами евреи и что всё дело «в самом еврействе, в его национальных свойствах, племенной и религиозной обособленности». А что же зловещая синяя папка? Она достанется в наследство обер-полицмейстеру и градоначальнику П. А. Грессеру, который вступит в должность в 1882 году. Ему нужно будет подвести некий итог агентурной разработки Менделеева в последние годы. Петр Аполлонович прочтет дело, вызовет к себе на грозный разговор Дмитрия Ивановича, а потом напишет заключение, что ничего опасного со стороны объекта наблюдения не обнаружено. Пока.

Всё это произойдет позднее, а теперь, в 1880 году, Александр II еще жив, министр просвещения Толстой на месте, секретное дело на Дмитрия Ивановича растет день ото дня. Сам же он кроме преподавания занимается воздушными и водяными винтами, приборами для исследования сопротивления среды, выступает по вопросу естественно-научного изучения окраин России, пополняет свою коллекцию живописи (купил, в частности, три этюда своего любимого А. А. Иванова), но главным образом продолжает работу над книгой «О сопротивлении жидкостей и о воздухоплавании», первый выпуск которой с двенадцатью чертежами выйдет в том же году. Этим трудом Менделеев должен был рассчитаться с двумя министерствами, оплатившими его почти годичное пребывание в Европе. Первоначально он взялся за статью, обобщающую европейский опыт воздухоплавания (в средствах на конструирование и строительство аппарата ему, как мы помним, было отказано). Однако, начав работу, он столкнулся с полной неразберихой и *«сбивчивостью суждений»* в области сопротивления сред: *«Поразительно почти совершенное отсутствие сколько-либо точных и обширных опытных данных о движении в воде и в воздухе тел, ограниченных кривыми плоскостями».* Поэтому вместо статьи он пишет монографию, в первой части которой объединяет вопросы сопротивления жидких и газообразных сред, обобщает собранные материалы и подвергает анализу главные проблемы.

Вторая часть, по его замыслу, должна была быть посвящена результатам его собственных исследований. Она так и не выйдет в свет, оставшись в разрозненных рукописях и текстах выступлений. Тем не менее эта книга и связанные с ней работы Менделеева занимают важное место в истории русской науки и техники. Как считают авторы «Летописи жизни и деятельности Д. И. Менделеева», его главной заслугой является вывод уравнения аналитической зависимости между высотой и временем падения, которое давало

---

[42] Толстой ушел недалеко и ненадолго — через два года его назначат руководить Министерством внутренних дел, где его страх превратится в настоящую фобию. Он будет брать из секретных фондов министерства две тысячи рублей ежемесячно на собственную охрану. На прогулке его будут сопровождать два крепких вооруженных охранника, а потом он совершенно откажется от пешего передвижения.

возможность вычислить величину коэффициента сопротивления среды. Менделеев пришел к мысли, что аэростаты падают из-за недостаточной газонепроницаемости оболочки, в первую очередь из-за слабости швов, и предложил отказаться от сферической формы аппарата, заменив ее двойным конусом высотой в 1,73 раза больше радиуса, что позволило бы сократить общую длину швов. Вместо открытой корзины ученый предложил использовать герметичную гондолу, приспособленную для поддержания необходимого атмосферного давления. Исследование «О сопротивлении жидкостей и о воздухоплавании» будет не первым и не последним в ряду менделеевских работ по аэронавтике. Агитируя за сбор средств для строительства русского стратостата (сам он предназначил на эти цели прибыль от продажи тиражей пяти своих книг) и уговаривая богатых сограждан не скупиться, Дмитрий Иванович в одной из последующих работ приведет совершенно неожиданный довод: *«Бывают условия, когда ищут здоровья или наслаждения — тогда не торгуются… Кроме законов атмосферы и бурь, можно многое получить и узнать со стороны воздуха. В свободном воздухе можно черпать наслаждение и силу…»* Думается, Менделеев, хотя и обращался в данном случае к людям типа Кокорева, но описывал собственную жажду полета…

В начале 1880 года один за другим уходят из жизни А. А. Воскресенский и Н. Н. Зинин. *«Воскресенскому и Зинину, его сверстнику, принадлежит честь быть зачинателями самостоятельного русского направления в химии»,* — написал о них Менделеев. Если смерть дорогого учителя и покровителя Александра Абрамовича Воскресенского была для него горестным переживанием, то кончина Николая Николаевича Зинина стала еще и поводом к новой мучительной истории в отношениях с Петербургской академией наук. Поскольку в литературе накопились самые разные, иногда явно идеологизированные трактовки этого события, а наше повествование не замысливалось как поле боя между представителями внушительного отряда менделеевских биографов, остановимся на точке зрения директора Музея-архива Д. И. Менделеева Санкт-Петербургского государственного университета И. С. Дмитриева, как представляется, наиболее аргументированной и трезвой.

Со смертью Н. Н. Зинина на кафедре «технологии и химии, приспособленной к искусствам и ремеслам» освободилась вакансия экстраординарного академика. Как водится, для выдвижения кандидатов на нее была создана комиссия в составе Бутлерова, Кокшарова, Вильда и Гадолина. Бутлеров на этот раз предложил двоих — Менделеева и профессора Харьковского университета Н. Н. Бекетова (того самого, который когда-то очаровал Дмитрия Менделеева во время его первого посещения Парижа). Оба кандидата повели себя не очень решительно. Бекетов вначале дал согласие, хотя прямо писал Бутлерову, что хотел бы сразу получить ординарного академика, поскольку у того зарплата будет побольше, а он очень боится потерять в материальном отношении. Он также не стеснялся предлагать устраивавшие его комбинации. Например, поскольку Менделеев и так «очень хорошо» устроен в научном и материальном отношении, то «не может ли Академия выбрать нас обоих: Менделеева сверхштатным ординарным, а меня экстраординарным»? И вообще ему бы хотелось стать академиком по «чистой» химии. В конце концов Бекетов решит вообще не рисковать и снимет свою кандидатуру. Менделеев же на предложение Бутлерова согласиться на баллотировку ответил неопределенно, у него было ощущение, будто академики, получив согласие от Бекетова, от него теперь ждали отказа. Нужно сказать, что тут интуиция его не обманывала.

Однако Бутлеров, после «спиритического» скандала находившийся с Менделеевым в сложных отношениях, всё равно следовал принципам научной честности. В этом, конечно, проявилось его подлинное благородство, поскольку двух ученых разделяло не только отношение к спиритизму. Менделеев не принимал бутлеровскую теорию химического строения. Бутлеров же, в свою очередь, не мог забыть, что Менделеев, когда-то обративший внимание Петербурга на его научные и человеческие достоинства, совсем не жаждал его перевода из Казани. Дмитрий Иванович, с 1865 года державший за собой две кафедры, не хотел уступать ни одной из них Бутлерову и лишь в 1868 году, после избрания того

ординарным профессором физико-математического факультета Петербургского университета без указания кафедры (потом для него была создана кафедра органической химии), выступил в совете университета с ярким панегириком в адрес нового коллеги. Важно также отметить, что Бутлеров, мягко говоря, не был активным пропагандистом Периодического закона. Тем не менее он пытается с боем провести Менделеева в академию. После отказа Бекетова от баллотировки Менделеев остается единственным кандидатом. В октябре того же года Бутлеров, Чебышев, Овсянников и Кокшаров вносят представление об избрании его в экстраординарные академики.

И. С. Дмитриев очень точно и объективно расценивает шансы Дмитрия Ивановича быть избранным в Санкт-Петербургскую академию наук. В представлении, которое составили выдвигавшие его академики, было три главных раздела: открытие Периодического закона —59,4 процента текста, вклад в развитие технологии и технической химии (в том числе ранние работы прикладного характера, «Технология по Вагнеру», техника и экономика нефтяного дела, гипотеза минерального происхождения нефти) — 29 процентов, сельскохозяйственные опыты — 5,6 процента (остальное место было отдано вводным констатациям и комплиментам). В силу академических правил, а также прочих обстоятельств ничего не было сказано об открытии «абсолютной температуры кипения», об «Органической химии», «Основах химии», метеорологии, воздухоплавании и работе с газами.

Итак, главной заслугой признавалось открытие Периодического закона. Но в течение 1880 года в зарубежной литературе закон Менделеева был упомянут всего 13 раз, включая опубликованные за границей менделеевские работы (в заграничных учебниках это открытие в течение того же года вообще не упоминалось), а в России и того меньше. Большинство химиков всё еще были равнодушны к проблеме классификации элементов. Менделеев хотя и боролся за признание своего открытия, но не мог сократить время, необходимое для естественного усвоения Периодического закона научным сообществом. В 1889 году в предисловии к пятому изданию «Основ химии» Дмитрий Иванович напишет об этом периоде: *«Но тогда единоличное убеждение не позволяло ставить его столь твердо, как это можно сделать ныне, после того как труды многих химиков, особенно же Роско, Лекока де Буабодрана, Нильсона, Браунера, Торпе, Карнелли, Лаури, Винклера и др. оправдали множество следствий этого закона».*

Что же касается соответствия натуры Менделеева образу ученого-академика, то здесь отторжение представлялось совершенно неизбежным. Несдержанный, приходящий в ярость по малейшему поводу, не терпящий возражений и готовый подвергнуть словесной выволочке кого угодно, он, по множеству свидетельств, был трудным человеком. Крик или, в лучшем случае, затяжное неумолчное ворчание делали общение с ним чрезвычайно затруднительным. Он сам не раз говорил, что считает полезным для здоровья не держать раздражение в себе, а выплескивать его наружу. Что из того, что он легко отходил, не держал ни на кого зла и, разрядившись, приходил в прекрасное расположение духа? В университете Дмитрия Ивановича знали и любили таким, каков он был. Но в академии такой персонаж был просто невозможен. Санкт-Петербургская академия наук была не просто корпоративным учреждением — она была чем-то вроде многопрофильного научно-исследовательского института, в котором приглашенные на хороших условиях специалисты занимались коллективным трудом. Менделеев же был, по собственному определению, вольный казак и таковое качество в себе очень ценил: *«Ни важности заморской, ни солидной устойчивости в объекте занятий, ни напускного священнодействия в храме науки — ничего-то этого во мне быть не может».* Несколько академиков, например, Вильд и Гадолин, сотрудничая с Менделеевым в Комиссии Русского технического общества по газам, видели, с какой легкостью он может отсрочить, а то и вовсе бросить начатые дорогостоящие исследования ради новых научных увлечений. 11 ноября 1880 года случилось то, что должно было случиться: Менделеева забаллотировали Всего было опущено 19 шаров. Голосование было тайным, но Бутлеров легко расшифровал его результаты. За — В. Я. Буняковский, Н. И.

Кокшаров, А. М. Бутлеров, А. С. Фаминцын, Ф. В. Овсянников, П. Л. Чебышев, Н. Н. Алексеев, О. В. Струве, А. Н. Савич. Против — Ф. П. Литке (президент — два шара), К. С. Веселовский, Г. П. Гельмерсен, Л. И. Шренк, К. И. Максимович, А. А. Штраух, Ф. Б. Шмидт, Г. И. Вильд, А. В. Гадолин.

Поднявшаяся вслед за этим волна протестов против происков «научных тевтонов», не пустивших русского гения в Академию наук, по своему накалу могла соперничать с газетной шумихой, сопровождавшей охоту бомбистов на самодержца. Между тем разделение голосовавших по национальному принципу выглядит не очень убедительно, стоит лишь посмотреть на выбор Веселовского и Струве. Да и позицию самого Бутлерова в таком случае трудно понять, поскольку он был родом из курляндских немцев. Академики с немецкими фамилиями большей частью были урожденными русскими подданными, выпускниками Петербургского, Московского и Дерптского (самого лучшего в первой половине века) университетов, и вряд ли можно поставить им в вину по-своему серьезное и заинтересованное отношение к подбору новых членов сообщества. Большинство академиков, независимо от национальности, считали долгом хранить ту атмосферу, которая существовала в академии долгие годы. И. С. Дмитриев отмечает другое важное отличие противников и сторонников избрания Менделеева: среди опустивших черные шары большинство (за исключением Вильда и Гадолина) принадлежало к администраторам либо к ученым, по тем или иным причинам (временно или уже навсегда) отошедшим от реальной научной деятельности. Кроме того, недоброжелатели Менделеева оказались более далекими от полноценной преподавательской работы.

Дмитрию Ивановичу конечно же хотелось получить место в академии, чтобы, с одной стороны, ощутить признание своих заслуг, а с другой — снять с себя многолетнюю лекционную нагрузку. Но он не мог не понимать, что «солидно устойчивые в объекте занятий» академики совсем не жаждут заполучить его в свои ряды, а если вдруг и впустят его в стены академии, то ему там нечем будет дышать. С этим и была связана его несколько двусмысленная реакция на предложение баллотироваться: не отказываясь официально от предложения Бутлерова, Менделеев в то же время не демонстрировал явной в нем заинтересованности. Будучи способным расстроиться по малейшему поводу, он обладал также умением сбалансировать свое душевное состояние. В этот раз его точкой опоры стало сформированное постфактум убеждение, что он и не хотел в академики. Но отделаться от чувства неловкости ему все равно не удавалось, поскольку чуть ли не вся ученая, а пуще того неученая публика бросилась с сочувствием влагать персты в его свежую душевную рану. 5 декабря коллеги по университету дали Менделееву «утешительный» обед в ресторане «Эрмитаж» на Васильевском острове. Этим можно было и ограничиться, но нет — пошла губерния писать, жалеть и негодовать. Количество писем и телеграмм с выражением сочувствия Менделееву и гнева в адрес «тевтонов» превысило все мыслимые пределы. Направлялись они главным образом в адрес Русского физико-химического общества (с января 1876 года химическое и физическое общества были по предложению Менделеева объединены), которое и само готовило в это время протест, подписанный почти всеми его петербургскими и иногородними членами, за исключением Ф. Ф. Бейльштейна — того самого, которому Дмитрий Иванович в свое время передал свое место в Технологическом институте. «Все мы чувствуем потребность, — написал по этому поводу Бейльштейн, — высказать нашему товарищу уважение и сочувствие. Для этого самая удобная форма — адрес, в котором глухо говорится, что хотя нашлись лица, которые считают Д. И. недостойным высшего научного положения, но мы — химики, и потому более компетентные судьи, нежели кто-либо, находим, что Д. И. между нами есть передовой ученый». Впрочем, эти строки не были выражением трезвого взгляда на поднятый шум. Всё объяснялось тем, что Бейльштейн в скором времени был намерен сам выступить в роли кандидата в академики.

Д. И. Менделеев 18 декабря 1880 года был единогласно избран почетным членом Российского физико-химического общества. Взволнованное письмо пришло от группы

профессоров Московского университета. «Ваши «Основы химии», — писали они, — стали настольного книгою всякого русского химика, и русская нация гордится трактатом, не имеющим себе равного даже в богатой западной литературе».

Но если коллеги Менделеева хотя бы знали, что и почему их не устраивает в решении академии, то выступления в стиле «доколе?!» и фельетонная пальба, задавшие тон большой и длительной газетной кампании, носили, увы, обиженно-националистический характер: «Поневоле является догадка, что неизбрание г. Менделеева, как и г. Сеченова, было обусловлено просто их национальностью»; «…Русское общество вправе спросить: для чего существует русская Академия наук? Для того ли, чтобы быть местопомещением выписных бездарностей, о существовании которых не подозревает ни один образованный русский человек?»; «Нужно постановить, что академиками могут быть только русские ученые. Зачем нам, русским, нерусские академики?» и т. п. Ф. М. Достоевский предлагал создать на пожертвования «вольную Академию наук для русских ученых». Газета «Голос» выступила с немедленно подхваченным почином собрать деньги на премию имени Д. И. Менделеева. Дмитрий Иванович тут же попросил отложить подписку или хотя бы присуждение премии его имени до его смерти. На февральском заседании физико-химического общества редакция «Голоса» передала обществу 3565 рублей.[43]

Несложно предположить, что Дмитрий Иванович в этой ситуации просто изнемогал под грузом душевных переживаний. Националистическая окраска общественного резонанса по поводу его личной неудачи заставляла его реагировать в том же тоне, тем более что мысль о том, что он был отвергнут академией по национальному признаку, была более щадящей для его самолюбия. Но ситуация все равно оставалась мучительной. Он понимал, что своей персоной вызвал новое обострение между традиционными русскими политическими лагерями. Участники скандала уже были готовы перешагнуть через всякие нравственные ограничения. Доведенный до исступления А. М. Бутлеров написал огромную статью о своей борьбе с академическими реакционерами и отдал ее своему родственнику А. Н. Аксакову, который с радостью опубликовал ее в московской славянофильской газете «Русь». Статья, в которой сплелись обида и злость, правда и неправда, личная неприязнь к оппонентам и восхищение собой, выставляла многих вполне достойных и приличных людей в образе врагов русской науки. Само собой, попал туда и Менделеев со своей обидой. В некотором смысле выступление Бутлерова уравновешивало появившуюся ранее анонимную публикацию в немецкоязычной петербургской «St.-Peterburger Zeitung» с хладнокровным перечислением ошибок и непоследовательных действий Менделеева с самых первых шагов его научной деятельности, но такого рода «равновесие» только добавляло горечи в душу Дмитрия Ивановича. Пытаясь перевести проблему в русло научного строительства, Менделеев начал было диктовать статью «Какая же Академия нужна в России?», но эта тема даже в теоретическом плане оказалась неподъемной, решение проблемы упрямо уходило в область словесных конструкций. Диктовка была прекращена…

Несколько лет место в Академии наук, освободившееся после смерти Зинина, оставалось вакантным, но Бутлеров, продолжавший громогласную схватку с «академическими немцами», вскоре прекратил попытки выдвинуть в академики Д. И. Менделеева. Дело в том, что начиная с 1882 года «немцы» превратились в несокрушимый лагерь благодаря новому президенту академии, министру внутренних дел и шефу жандармов графу Д. А. Толстому, который сохранил «теплые» чувства к Менделееву до самого конца жизни. Завет, который граф прошептал на ухо Веселовскому в 1889 году на смертном одре

---

[43] По желанию Менделеева этот капитал был положен под проценты до конца его жизни. Ко времени смерти ученого, 20 января 1907 года, сумма выросла до 14 666 рублей 83¼ копейки, из которых 14 300 рублей хранились в Государственном банке в виде облигаций Петербургского городского кредитного общества. До 1918 года была вручена одна большая (1500 рублей) и девять малых (300 рублей) Менделеевских премий. В дальнейшем старые деньги и ценные бумаги обесценились, и РХО перешло на присуждение лауреатства без денежных премий

— «Только помни, Менделеева в Академию ни под каким видом…», — будет исполнен. А вот Бейльштейна в конце концов изберут в академики — в 1886 году, сразу после смерти Бутлерова, который всегда был против его кандидатуры. И Бекетов дождется, пока его академические претензии осуществятся в полном объеме — он займет-таки в академии бутлеровское место по «чистой» химии.

А как же мировой эфир? В опытах с газом Менделеев его не нашел. Да ему и не дали возможности как следует утолить исследовательскую страсть в экспериментах с разреженными газами. Военных и членов комиссии Русского технического общества интересовали процессы, связанные с работой сжатых газов в пушках и силовых механизмах, а не поиски вселенского вещества. Отдав столько лет конструированию и испытанию уникального оборудования, Менделеев так и не получил возможности заглянуть внутрь вещества с ослабленными молекулярными связями. Снова, в который раз, он стал жертвой несовпадения — на этот раз между собственными научными интересами и вполне законными желаниями заказчиков исследования. Последние требовали не только сосредоточиться на упругих газах, но и ускорить работу с ними, не отвлекаясь ни на какие другие занятия.

Невозможность утолить научный интерес и явилась основной причиной болезненных разногласий Менделеева с руководством общества, которому было поручено курировать работу с газами. Зимой 1875 года Менделеев представил председателю общества П. А. Кочубею объемистый труд, содержавший отчет о проделанной им и его помощниками подготовительной работе и результатах предварительных исследований. Пытаясь адаптировать ситуацию под себя, он начал исследования с самых малых давлений и, естественно, старался задержаться на этом этапе подольше. *«Вы знаете, Петр Аркадиевич, с какими подробностями, неудачами и препятствиями разного рода сопряжена всякая научная работа. А моя, сверх того, представляла неоднократно и неожиданные трудности. Поэтому Вы поймете, что скорых результатов ждать нельзя, что полученное надо проверить, прежде чем публиковать, и что во всем этом проходит много времени. Однако теперь самая медленная подготовительная работа сделана. И если я буду вновь так же счастлив, как был до сих пор, в отношении сотрудников, то надеюсь идти без уклонения по начертанному выше плану. Один я, конечно, немного могу успеть».*

К 1877 году, как известно, счастье Менделеева в отношении сотрудников окончательно его покидает. Дмитрий Иванович остается практически без помощников, один на один с недовольными генералами и коллегами по комиссии (часто это были одни и те же люди, например, «отец русской пушки» генерал-майор, академик и профессор Аксель Вильгельмович Гадолин). Ясное дело, терпения у Менделеева в такой ситуации хватило ненадолго. Заметно полыхнуло, когда кому-то из служителей его лаборатории не выдали жалованье по первому требованию. Менделеев тут же написал довольно резкие и раздраженные письма Кочубею и секретарю общества Ф. Н. Львову, в которых вообще отказался от получения средств на опыты: *«…Пусть процентами пользуется само Техническое общество. Служителю я отыщу какие-нибудь свои средства. Так мне покойнее и лучше. А в этом деле мой покой и мое «лучше» я считаю важнее и существеннее не только приличий или огорчения… других, но даже и того обстоятельства, что Вы сочтете мое письмо и мой отказ за повод к какому-нибудь недоразумению. У меня такового нет, или мое действие определяется лишь тем, что я вольный казак — хочу остаться вольным и им останусь во всяком случае».* Очевидно, что он уже рвался прочь из этого неудачно сложившегося проекта, как и из всей своей прошлой жизни. Тем не менее работы с газами по намеченному Менделеевым плану продолжались, с разной степенью интенсивности, вплоть до 1877 года (сам Менделеев считал, что главная заслуга в этом принадлежит его племяннику, лаборанту Ф. Я. Капустину).

В январе 1881 года (всего через два месяца после провала на выборах в академию и в разгар связанного с этим скандала) Менделеев выступил перед собранием членов

технического общества с отчетом о проделанных исследованиях упругости газов, а в конце выступления решительно отказался от дальнейшей работы. Причина — объем прямых профессорских обязанностей, ухудшение здоровья, трудности в оплате труда сотрудников лаборатории и необходимость возврата средств, полученных из фонда комиссии для длительной поездки за границу (он считал их своим личным долгом). Руководство опытами Дмитрий Иванович настоятельно рекомендовал поручить Гадолину. Это заявление первоначально даже не было воспринято всерьез. А затем его начали просить остаться, обещая выполнить все его условия. Готовы были смириться с частым отвлечением Менделеева от опытов, с избирательной их направленностью, освобождали «почтенного профессора» от любого вмешательства в его работу со стороны членов комиссии. Говорили о том, что средства на опыты с газами были получены именно под его имя, что сами опыты носят название «менделеевских», что, кроме него самого, сейчас никто не в состоянии продолжить работу с уникальной аппаратурой. Призывали Менделеева принять во внимание, что его отказ губит одобренную правительством оборонную программу… Дмитрий Иванович был непоколебим, и в ответ на призывы Кочубея повторял одно и то же: поручите Гадолину! Он, дескать, вам еще больше денег соберет. Как это — кроме меня некому? А если бы я умер? Кочубей закрыл собрание, обратившись напоследок к Менделееву (в третьем лице) с просьбой не отказываться от продолжения опытов: «Он может не работать лично, но, по крайней мере, руководить исполнителями, которых нужно будет приискать». Через неделю Русское техническое общество, несмотря ни на что, избирает Д. И. Менделеева своим почетным членом, присоединяясь, таким образом, к общему протесту против Академии наук, отвергнувшей профессора Менделеева.

Но даже и после этого Дмитрий Иванович остается тверд в своем решении. *«В Вашем* (Кочубея. — *М. Б* .) *письме Вы пишете далее, что ввиду «выраженного сочувствия» Вы надеетесь, что я возьму назад свой отказ в продлении опытов над упругостью газов. К великому моему сожалению, я на этот раз не могу оправдать Ваши ожидания… Думаю, что в этом смысле всякий поймет мое предложение передать дела опытов такому уважаемому ученому, как Аксель Вилъгелъмович Гадолин».* Гадолин конечно же попался Менделееву под руку не случайно. Он, скорее всего, голосовал против его кандидатуры на недавних выборах в академии. С ним, в частности, молва связывала и появление упомянутого анонимного письма. И хотя объективно горячий Дмитрий Иванович ни в чем не мог упрекнуть невозмутимого Акселя Вильгельмовича, он все-таки нашел возможность выплеснуть гнев в его сторону: «Пусть Гадолин попробует!»

С этого момента началось разрушение брошенной Менделеевым лаборатории. Сначала Русское техническое общество обратилось к университету с предложением взять себе оборудование и денежные средства лаборатории с целью завершить начатые исследования. Университет отказался, сославшись на отсутствие физика, способного возглавить дело. Для решения судьбы лаборатории и связанного с ней проекта общество создало комиссию, которая постановила использовать оборудование для создания новой физической станции в принадлежащем обществу помещении и наметила кандидатуры специалистов для продолжения опытов над упругостью газов исключительно при высоких давлениях (Гадолина среди них не было). Но намерение это осталось только на бумаге. Менделеевская аппаратура (за исключением небольшой части приборов, оставшихся в университетской лаборатории и впоследствии частью проданных с аукционного торга, а частью переданных в университетский музей) вплоть до Октябрьской революции хранилась в музее Русского технического общества. Затем забота о них была возложена на Институт научной педагогики. В 1929 году по просьбе Главной палаты мер и весов приборы были переданы в ее Менделеевский музей. В описи числилось 32 прибора, помнивших прикосновение рук их создателя, но на деле какие-то уже исчезли безвозвратно, а те, что были в наличии, растеряли свою комплектность: три отсчетные трубки оказались без объективов, фонарь с конденсатором — без свечи, хрустальный набор с разновесами — без двух гирек… До конца 1930-х годов менделеевские приборы можно было встретить на питерской барахолке.

Именно там кто-то из знающих людей купил и принес в Палату мер и весов «нормальный» метр, сконструированный Менделеевым по принципу уравнительного маятника, — биметаллический стержень, сводящий к нулю разнонаправленную внутреннюю деформацию. При любых перепадах температур он до сих пор «держит» одну и ту же длину.

В заключение этой главы можно, конечно, привести шутку советских ученых, что наука есть не что иное, как способ удовлетворить собственное любопытство за счет государства. Но здесь смысла в ней мало, поскольку Дмитрий Иванович Менделеев в глазах потомков ни в каких, тем более шуточных, оправданиях не нуждается. Вещество «мирового эфира» от него ускользнуло, и нужно было искать новый путь к обнаружению неуловимой субстанции. И всё же почему он повел себя столь категорично? Бурный, полный драматизма разрыв с Русским техническим обществом не просто совпал с напряженным моментом в его личной жизни — он был частью этой жизни, поскольку всё, им пережитое, было его личной жизнью, и другой жизни у этого удивительного человека не было. Через 18 лет он назовет причину, по которой бросил работу с упругими газами: *«...я тогда решил жениться во второй раз, и времени было мало».*

Глава восьмая
ЛЮБОВЬ

Всю жизнь, начиная со студенческих лет, Менделеев был нескладен и даже стариковат, а супруга его Феозва Никитична, даром что на шесть лет старше мужа, на вид была значительно его моложе — всегда стройна, миловидна и свежа. Но через 15 лет брака, после смерти девочки-первенца, благополучных и неудачных родов, болезней и великого множества переживаний, которые она делила с мужем, иногда не понимая их причину, всё как-то резко переменилось. Она располнела, стала меньше плакать, не старалась, как прежде, угодить супругу и уже не пыталась исправить его нервную, безудержную натуру своей кроткой любовью, а более всего теперь думала о детях, о доме. Дмитрий Иванович же вдруг оказался моложавым, видным и очень известным человеком. Она научилась настаивать и часто поступала по своему разумению. Менделеев, и без того вечно раздраженный и мятущийся, от этих перемен и вовсе начинал ненавидеть свой брак, и тут только дети, безумно и нежно любимые дети, всякий раз заставляли его идти на примирение. Но однажды всё треснуло окончательно. Ольга Дмитриевна, дочь от первого брака, в своих записках рассказывает, что после одного случая, поставившего супружескую верность Дмитрия Ивановича под сомнение, Феозва Никитична предоставила ему полную свободу, надеясь, что это поможет сохранить семью.

Правда, Иван Дмитриевич Менделеев в мемуарах, ссылаясь на слова отца, утверждает, что никакой измены не было, и категорически опровергает слова сестры, называя их «обычной злостной клеветой заинтересованной стороны», каковая обычно сопровождает многие бракоразводные процессы. Сын Дмитрия Ивановича пишет, что всё случилось из-за того, что отца неудачно женила старшая сестра, Ольга Ивановна Менделеева, «но вскоре слишком резкое различие моральных и интеллектуальных уровней между супругами дало себя знать, а специфическая болезнь жены и нравственная рознь прекратили брак фактически». И все-таки слова Ольги Дмитриевны об этом романе отца представляются более достоверными. Во-первых, они принадлежат очевидцу. Во-вторых, эта часть ее мемуаров столь лирична и столь уважительна ко всем участникам старой любовной драмы, что совершенно не хочется оскорблять автора недоверием. В-третьих, исповедь Дмитрия Ивановича сыну вряд ли могла содержать полное перечисление всех его грехов. К тому же Менделеев до конца жизни относился к Феозве Никитичне с такой заботой и почтением, что просто невозможно представить его говорящим Ивану о «разнице уровней» и «специфической болезни» первой супруги. Думается, он не вдавался в подробности. Остальное, не в обиду светлой памяти Ивана Дмитриевича, могло просто со временем нарасти, тем более что он взялся писать воспоминания через 20 лет после смерти отца. Так

что мы воспользуемся этими соображениями и включим еще одно имя — Александры Голоперовой — в «донжуанский список» нашего героя.

Вообще-то Дмитрий Иванович, несмотря на пылкость натуры и несомненный интерес к женщинам, ни в коей мере не был искателем любовных приключений. (Тут, конечно, надо сделать существенную поправку: сам он сравнивал творческое вдохновение с объятиями страстной любовницы, которая, как мы помним, «обнимет, когда хочет». С этой «любовницей» он грешил где только мог.) В Петербурге средой его обитания, кроме квартиры, были места преимущественно мужских собраний: лекционные залы, лаборатории, аудитории ученых собраний типа Русского технического или Русского физико-химического обществ, художественные выставки… Изредка он выезжал в оперу, но мог покинуть ложу раньше, чем опускался занавес. Были, правда, еще Высшие женские курсы, в создании и становлении которых он принимал активное участие, но в общем объеме его занятий они занимали очень скромное место.

Менделеева было почти невозможно представить где-нибудь на приеме или в салоне, среди нарядных дам. Он совершенно не умел носить красивую одежду, мог надеть фрак к серым домашним брюкам, а костюмы заказывал у одного и того же портного, причем не подпускал его к себе для снятия размеров — требовал, чтобы шилось из одного и того же сукна, по старой мерке и фасону. Стригся он раз в год — после окончания холодов, не делая исключения ни при каких обстоятельствах, даже если надо было представляться государю императору Александру III, который терпеть не мог неряшливого вида у своих подданных. Можно сказать, что Дмитрий Иванович ничего не делал для того, чтобы обратить на себя внимание противоположного пола, — скорее, неосознанным образом делал всё, чтобы от него ускользнуть. Все его романы (по крайней мере, наиболее известные из них) вспыхивали лишь в тех случаях, когда потенциальный предмет интереса волей случая или при помощи близких людей оказывался рядом с ним — на расстоянии протянутой руки или, еще лучше, взмаха ресниц. Так было подстроено неожиданное знакомство с Софьей Каш, так сестра Ольга Ивановна подтолкнула его совсем близко к Феозве Лещовой. Мы ничего не знаем о моменте знакомства Менделеева с Агнессой Фойхтман, но легко можем предположить, что произошло оно не у служебного входа в театр, где наш одинокий герой дожидался взволновавшую его певицу, а на какой-то тесной дружеской вечеринке, где вино лилось рекой и веселый Бородин выстукивал на пианино какую-нибудь шуточную пьеску не только руками, но и носом… Что же касается связи Менделеева с Александрой Николаевной Голоперовой, случившейся года за четыре до развода, то она возникла после появления ее в семье Менделеевых в качестве воспитательницы Ольги. До того семилетней профессорской дочерью занималась в основном любимая нянька, но пришла пора учить девочку по-настоящему, и решено было пригласить для этой цели молоденькую выпускницу Николаевского сиротского института.

«Няня осталась тоже со мной, ревнуя к новой учительнице, — пишет Ольга Дмитриевна Менделеева, в замужестве Трирогова, — но та так скоро завладела нашими общими симпатиями и я так искренно полюбила ее за милый нрав, привлекательную наружность, чудные волосы, спадавшие ниже колен, и за ее любовь ко мне, что дело быстро наладилось, и мы все трое мирно зажили в наших комнатах. Александра Николаевна была чуть ниже среднего роста, довольно полная. Свои чудные каштановые волосы она носила гладко причесанными и уложенными на небольшой головке двумя толстыми косами. Она имела всегда веселый и довольный вид, одевалась скромно и к лицу. Белые воротнички и рукавчики довершали ее очарование. Она говорила на трех языках. В ту же зиму отец стал часто заходить в наши комнаты и подолгу оставался с нами, читая стихи Пушкина и былины. Читал он с большим выражением. Я любила эти вечера. Мы все садились за круглый стол и с интересом слушали его чтение. Александра Николаевна всецело отдавалась мне, она научила меня читать и писать, она дала первое понятие обо всём нас окружающем, она научила меня понимать красоту в природе, научила работать. Я всем своим детским сердцем полюбила Александру Николаевну и стала звать ее Клая. А отец всё чаще и чаще бывал у нас и всё

чаще задерживался на нашей половине. Я, конечно, не понимала, почему это было. Прошло около двух лет, как Александра Николаевна пришла к нам в дом. К матери она относилась, как и все, с большим уважением, но близости у них не было. И вот мы с ранней весны в Боблове, Александра Николаевна с нами. Летом у нас гостила Надя Капустина… и на стрелице жила большая семья сестры моего отца Марии Ивановны Поповой… Жили все весело и общительно. Отец в это время тоже был в Боблове. Устраивались пикники, прогулки, проводы по вечерам при луне запоздавших со стрелицы. Постоянно пение, шум, веселье. И вдруг Александра Николаевна, центр этой молодежи, душа этого молодого общества, всеобщая любимица, решила уехать в Петербург, навсегда оставляя наш дом. Все как-то вдруг стихли, всё веселье кончилось. Отец был у себя наверху, не спускаясь вниз, мать в своей комнате. Няня молча вздыхала, а я была в первый раз в жизни огорчена и как-то забита. Я ее удержать у нас не могла. За день до своего отъезда Александра Николаевна взяла меня к себе на колени, нервно и горячо целуя, говорила: «Так надо, так надо», и мы обе плакали. Она уехала, и я осталась без Клаи. Больше я никогда не видела ее, и долго мое детское сердце тосковало, и в нем была пустота. Ни мать, ни няня не могли заменить мне ее, с ее молодостью, мягкостью и необыкновенной, чистой любовью ко мне, ее — передавшую мне свои первые познания жизни и любившую во мне «его дочь». Когда я выросла, двоюродная сестра Надя Капустина, бывшая лет на 15 старше меня, рассказала мне, что Александра Николаевна уехала от нас, не желая лишать нас отца, так как он предлагал ей свою любовь и свою руку на дальнейшую жизнь, полюбив эту действительно необыкновенную девушку… Таких героинь, конечно, немного. Любовь такого человека, как Менделеев, не могла не льстить, но Александра Николаевна, повторяю, была необыкновенной честности девушка. Сама она, конечно, не могла не увлечься гениальным, добрейшим, прямым и честным Менделеевым, подчинявшим своей сильной личности всякого человека. Дм. Ив. был детски доверчив, порывист и горяч во всех своих чувствах, которые всегда прямо, честно и решительно проводил в жизнь. За его резкость и вспыльчивость на него нельзя было сердиться: ведь это был клубок нервов — этот большой, согбенный, сильный и совершенно одинокий в жизни человек». Удивительно, что все эти слова принадлежат дочери, которая вскоре после описываемого события была отцом оставлена…

Следующий роман Менделеева, повлекший за собой второй его брак, также завязался после того, как будущий объект страсти оказался прямо перед его глазами, поселившись в стенах его университетской квартиры. Случилось это вскоре после тяжко пережитой истории с Александрой Голоперовой, в то лето, когда Менделеев, «выслав» жену с дочкой в Боблово, вел с ними бесполезно-мучительную переписку и считал свою семейную жизнь конченой… Его огромная квартира в это время практически пустовала, чем в очередной раз не преминула воспользоваться многодетная вдова Екатерина Ивановна Капустина. Надо сказать, что ее родные и неродные дети и внуки находили себе в Петербурге самые разные, порой удивительные поприща. Например, вполне взрослый, даже пожилой ее пасынок Семен Яковлевич Капустин жил в семье Ф. А. Юрковско-го (сценический псевдоним Федоров) — режиссера Александрийского театра, и его жены — водевильной актрисы Лелевой. Он принимал участие во всех семейных делах Юрковских, включая воспитание пятерых детей. Об этом стоит упомянуть хотя бы потому, что старшая дочь Юрковских, Маня, впоследствии получила известность как актриса Мария Андреева, супруга Максима Горького. Взрослые дети Екатерины Ивановны сами зарабатывали и жили отдельно, с ней оставались только младшие, включая дочь Надю, поступившую в школу рисования при Академии художеств. Желая перебраться поближе к Академии художеств, Екатерина Ивановна подобрала хорошую квартиру на 4-й линии Васильевского острова, но вот беда — нужно было ждать до осени, пока она освободится. Дело было в апреле, и любимой племяннице Д. И. Менделеева предстояло полгода добираться на учебу издалека. Этого, конечно, он допустить не мог и, как всегда охотно, пригласил Капустиных пожить к себе. Это давало Екатерине Ивановне еще и отличную возможность сэкономить средства из небогатой пенсии. Вскоре они

переехали, да не одни — с ними оказалась Надина подруга Аня Попова, тоже студентка Академии художеств (тогда в нее только-только начали принимать девушек).

Аня уже год жила в семье Капустиных в качестве квартирантки (пансионерки?). Впрочем, отношение к ней было совершенно родственное, а Надя свою подругу просто обожала. Родственники (с Екатериной Ивановной, кроме Нади и Ани, въехали еще сын-студент и внучка-гимназистка) удобно разместились в примыкающих к прихожей зале и гостиной. Для Нади поставили большой диван, а кровать Анюты отгородили от общего пространства ширмой. Аня уже была однажды в доме Менделеевых — ее приводила подруга А. В. Синегуб, консерваторка, учившая Олю музыке; но хозяина она тогда не видела. После ее переселения в профессорскую квартиру они долго не встречались, поскольку Менделеев почти не заглядывал вглубь квартиры — из его кабинета и так были выходы во все стороны. Между тем Аня много знала о Дмитрии Ивановиче от Нади и даже как-то раз наблюдала его на публике.

Надя Капустина не пропускала ни одного события в культурной жизни Петербурга и обладала способностью проникать в самые переполненные залы. Благодаря Наде скромная провинциалка (Аня Попова была родом из донской станицы Урюпинской, выросла в семье отставного казачьего офицера и дочери русского инженера и шведки с Аландских островов) смогла побывать там, куда сама попасть и не мечтала. Приехала знаменитая оперная дива Нельсон — и вот уже подруги стоят в проходе зала оперы, где передние зрители, чтобы не мешать задним, опускаются на колени (Аня тогда слушала примадонну тоже на коленях). Благотворительный вечер в пользу Литфонда, в программе имена Тургенева, Достоевского, Щедрина, дорогие, как водится, билеты, а у девушек только по рублю — значит, надо подстеречь у входа распорядителя вечера Д. В. Григоровича, разжалобить его, чтобы он сразу отвел подруг прямо в артистическую, где властители русских дум курили и ждали вечно опаздывавшего Достоевского, а потом стоять прямо возле эстрады и отчетливо слышать, как Федор Михайлович читает сцену Екатерины с Дмитрием Карамазовым, а Иван Сергеевич — «Касьяна с Красивой Мечи».

Надя брала с собой подругу в гости к удивительным людям, например, к Юрковским, у которых жил ее брат. Вскоре Аня освоилась в доме режиссера Александрийского театра настолько, что совсем перестала стесняться и охотно исполняла русскую пляску в собственной постановке: «Русскую я исполняла по-своему. Усвоив pas и движения, общепринятые для русской, я с помощью их изображала целую поэму. Вот Россия задумчиво-вопросительно идет к своей судьбе, трагедия — татарское иго. Торжество. Успокоение. Конечно, я никому не говорила содержание моего танца, да и меняла его по вдохновению, но успех был всегда большой».[44] В этой артистической семье часто устраивались костюмированные праздники, и однажды Анне для ее наряда понадобились бусы из горного хрусталя — Надя помчалась к Феозве Никитичне и выпросила для подруги великолепные и очень дорогие бусы. Костюм и весь номер получились на славу.

Как-то подруга и ее брат-студент повели Аню на ежегодный торжественный акт в университете. Молодые люди сидели на хорах, и брат с сестрой показывали восхищенной невиданным зрелищем Ане входящих в зал университетских светил: вот с огромной шапкой седых волос ректор Андрей Николаевич Бекетов (не путать с харьковским братом. — М. Б.), вот Меншуткин, Бутлеров, Иностранцев, Докучаев, Овсянников, Советов, Вагнер (тот самый Кот-Мурлыка?)… «Вдруг какой-то шепот и легкий гул. Лица оживились. Что такое? Кто идет? «Менделеев, Менделеев», — громко шептали на хорах. В проходе между стульями шел совершенно особого вида человек. Довольно высокого роста, несколько приподнятые плечи, большая развевающаяся грива пушистых русых волос, блестящие синие глаза, прямой нос, красиво очерченные губы, серьезное выразительное лицо, быстрые движения. Он шел скоро, всей фигурой вперед, как бы рассекая волны, волосы от быстрого движения

---

[44] Здесь и далее ее воспоминания цитируются по: Менделеева А. И. Менделеев в жизни. М., 1928.

колыхались. Вид внушительный и величественный, а между тем все улыбались. Такой улыбкой встречают очень популярных людей… Неужели это ваш дядя?.. А он там внизу что-то живо говорил, делая выразительные жесты. Предмет всеобщего внимания, сам не обращал никакого внимания на окружающее. Он так отличался от остальных, как если бы в птичий двор домашних птиц влетел орел, или если в домашнее стадо вбежал дикий олень».

Однако человек, которого Аня Попова в конце концов увидела в его собственной квартире, оказался совершенно не похож на этого триумфатора и любимца публики. Новое наблюдение могло кого угодно повергнуть в смятение: «Раз как-то Екатерина Ивановна позвала меня и попросила что-то подержать и помочь в работе. Вдруг послышались раскаты громкого мужского баритона, легкие шаги, и в следующей комнате, в двери, куда, оставив меня, Екатерина Ивановна вышла, я увидела Дмитрия Ивановича, страшно возбужденного, и Екатерину Ивановну, спокойно отвечавшую. Вид Дмитрия Ивановича меня поразил; он меня не видал, я же хотела исчезнуть, хотя бы сквозь землю, так я была испугана. Дмитрий Иванович убежал к себе, а Екатерина Ивановна возвратилась к своей работе и, видя мой испуг, засмеялась: «Ничего нет особенного, Митенька всегда так»». В квартире даже в отсутствие Феозвы Никитичны продолжал царить культ Дмитрия Ивановича — все знали, что ему нельзя мешать, что его нельзя отвлекать, что на его рабочем столе всегда должна стоять чашка свежего чая… Квартирантка тоже усвоила это обстоятельство и старалась ничем не беспокоить хозяина. И за рояль садилась очень редко, только когда попросят — Капустины любили ее игру, поскольку Аня была музыкально одарена и до академии успела поучиться в консерватории. Однажды Менделеев зашел к сестре и услышал за стеной звуки фортепиано. Возможно, он тогда в первый раз узнал, что в его квартире живет еще кто-то, кроме родственников. Он сел и надолго замолк — слушал музыку. Екатерина Ивановна заметила, что Анина игра хорошо действует на брата, и с этого времени, когда видела, что Дмитрий Иванович особенно не в духе, сразу же просила девушку сесть за рояль. Увиделись они в одно из воскресений, когда все были дома и Дмитрий Иванович вышел к обеду. Их познакомили. Анна была очень смущена, а Дмитрий Иванович, наоборот, пребывал в хорошем настроении и был весьма разговорчив. Какой он ее увидел? Судя по нескольким словесным портретам Анны Поповой, в 19 лет она была невысокой белокурой девушкой цветущего провинциального вида. Она была молчалива, лицо ее то и дело заливалось краской, что свидетельствовало о стеснительности.

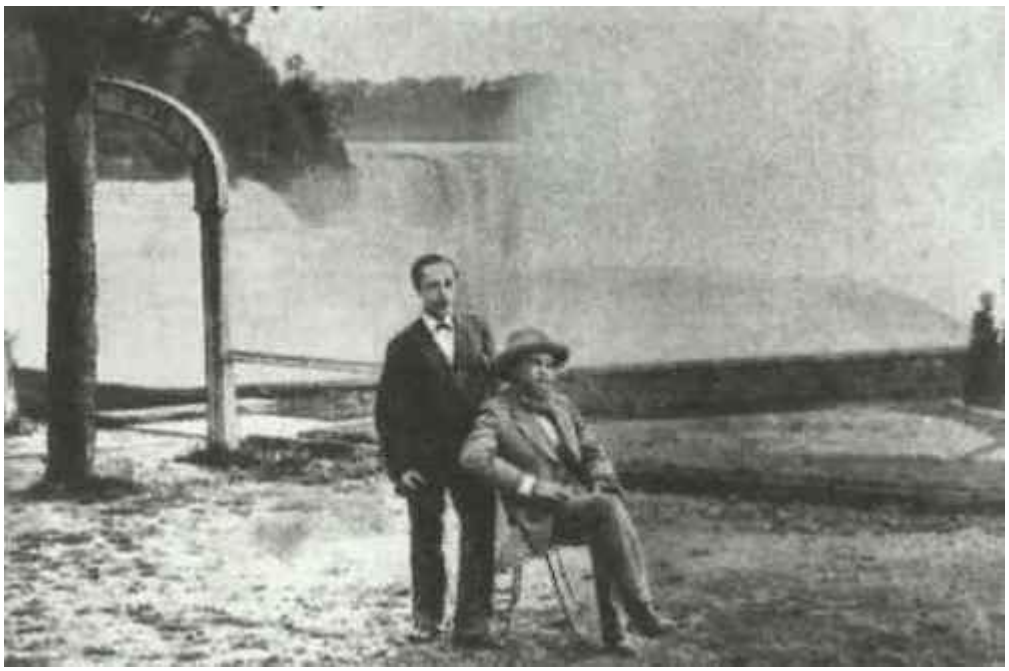
С некоторого времени Дмитрий Иванович и сам стал просить Анну сыграть его любимого Бетховена. А вскоре у них появилось еще одно совместное занятие — шахматы. Менделеев очень любил и понимал шахматы, и хотя импульсивность и нетерпение мешали ему стать мастером, игра помогала отдыхать и приводить в порядок мысли. Обычно он играл с сыном Екатерины Ивановны, но тот сдал экзамены и куда-то уехал. Родственники стали говорить Анне, что Дмитрий Иванович устал и ему необходимо отдохнуть привычным способом, но она смущалась и боялась садиться играть со знаменитым ученым. Тогда Екатерина Ивановна повернула дело так, что, дескать, надо пожалеть бедных студентов — у них сейчас экзамены, а Менделеев, поиграв в шахматы, будет малость подобрее. В конце концов, ее уговорили. Дмитрий Иванович неожиданно повел себя терпеливым и спокойным образом — он сам указывал противнице на ошибки и просил их исправить. После этого Менделеев еще чаще стал захаживать на гостевую сторону с шахматной доской под мышкой. Потом вместе с доской появился томик Байрона. Дмитрий Иванович, начав читать стихи вслух, уже не мог остановиться, так что вскоре весь Байрон был прочитан.

Чувствовалось, что хозяину квартиры всё труднее возвращаться к своим одиноким ученым занятиям и он ищет всё новые поводы для общения. Однажды Менделеев повез сына Володю (мальчик подружился с Аней, показывал ей университетский сад, доставал с полок разные интересные книги, рассказывал о море, которому решил посвятить свою жизнь) на пароходе в Кронштадт и заодно пригласил на прогулку всех своих гостей. Анна, никогда не видевшая моря, была в восторге. И Менделеев тоже был очень оживленным и радостным…

Д. И. Менделеев в традиционном облачении доктора Эдинбургского университета. ***И. Е. Репин. 1885 г.***

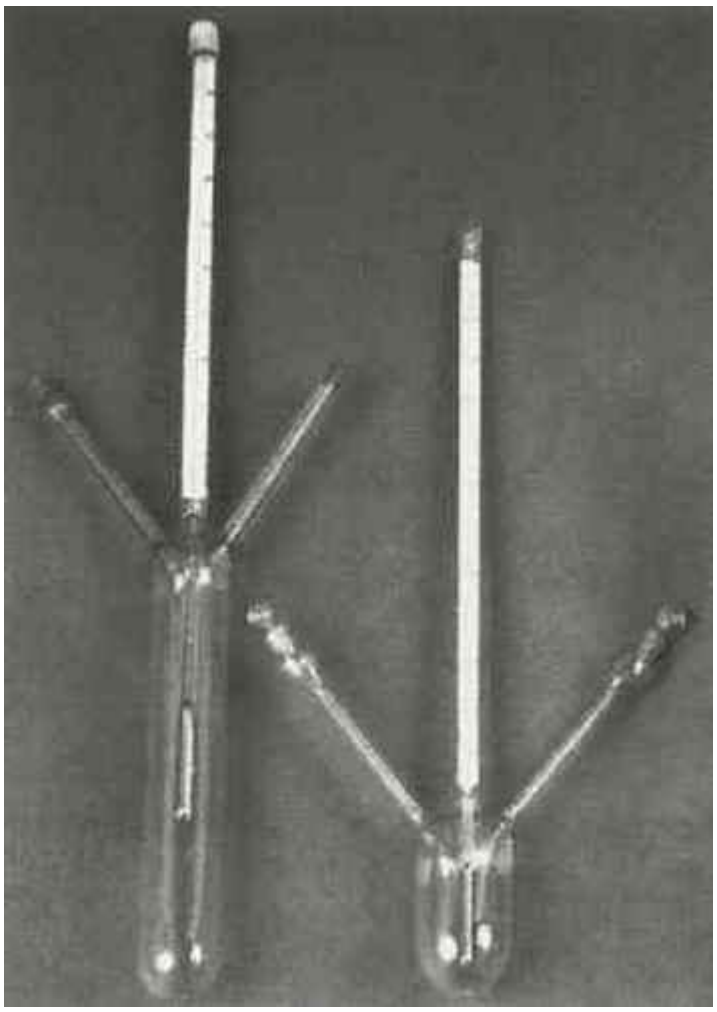
Фасад Главной палаты мер и весов

Д. И. Менделеев и Д. П. Коновалов на закладке химической лаборатории Санкт-Петербургского университета. ***13 сентября 1892 г*** **.**

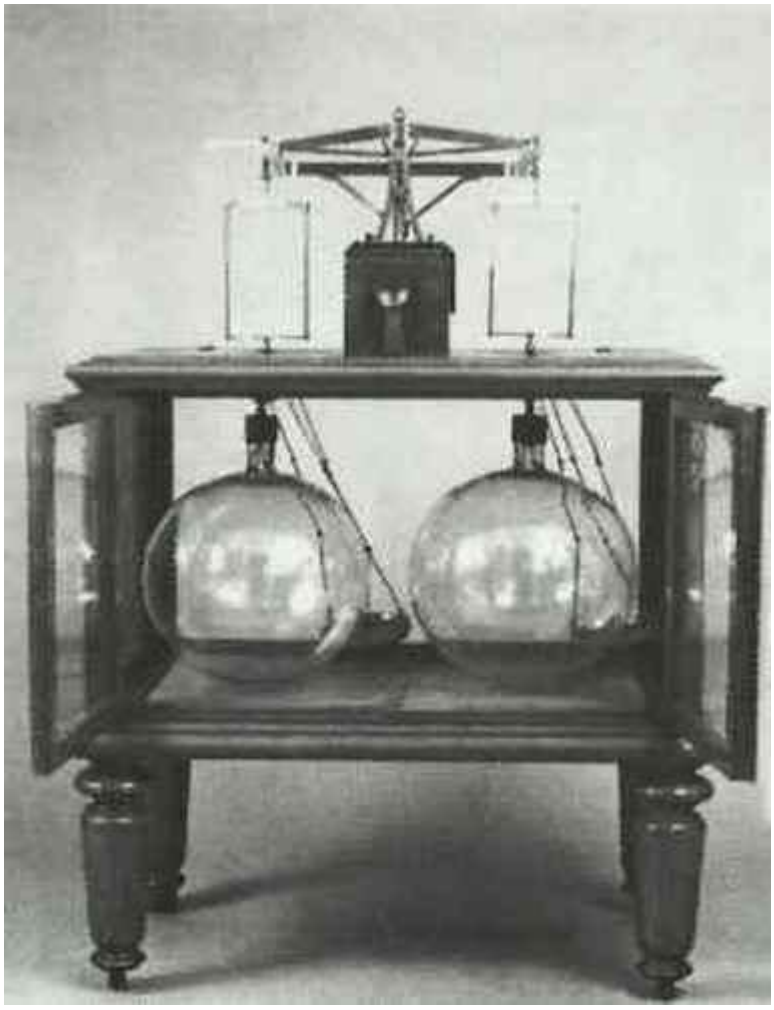


Д. И. Менделеев с ближайшим помощником по работе с газами В. А. Гемилианом у Ниагарского водопада. ***1887 г.***

Д. И. Менделеев, Г. С. Ченей и Ф. И. Блюмбах на Эйфелевой башне. ***Сентябрь 1895 г.***



Пикнометры конструкции Д. И. Менделеева



Двухъярусные весы для взвешивания газов конструкции Д. И. Менделеева

Труды Д. И. Менделеева

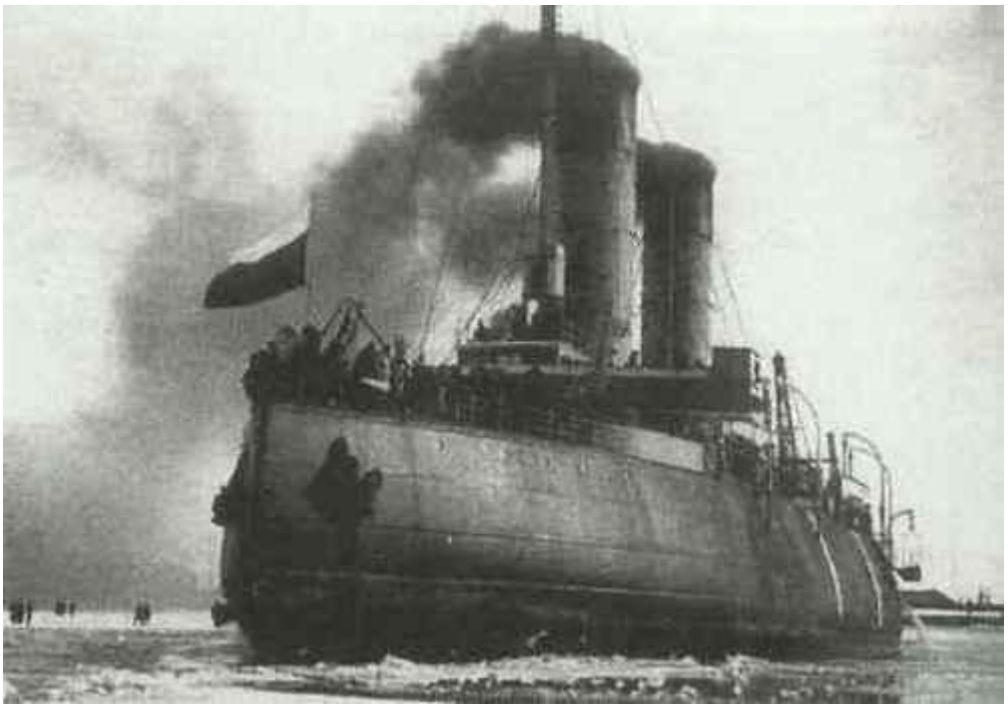
Д. И. Менделеев с сыном Владимиром на борту крейсера «Память Азова». Прощание перед долгим плаванием. ***22 августа 1890 г*** **.**

Японская жена Владимира Менделеева Така Хидесима с их дочерью Офудзи. ***1894 г.***

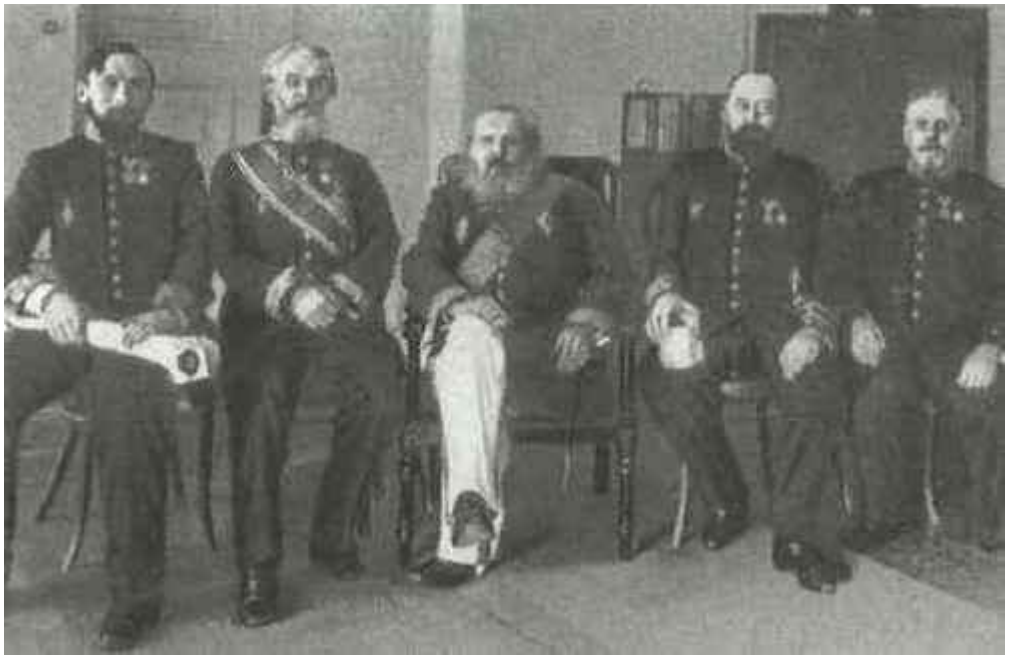
Д. И. Менделеев у окна своего кабинета в университетской квартире. ***1880-е гг.***
Карикатура из журнала «Стрекоза» по поводу забаллотирования Д. И. Менделеева на выборах в Санкт-Петербургскую академию наук. ***Декабрь 1880 г.***

Д. И. Менделеев играет в шахматы с художником А. И. Куинджи. За игрой наблюдает А. И. Менделеева. ***1904 г.***

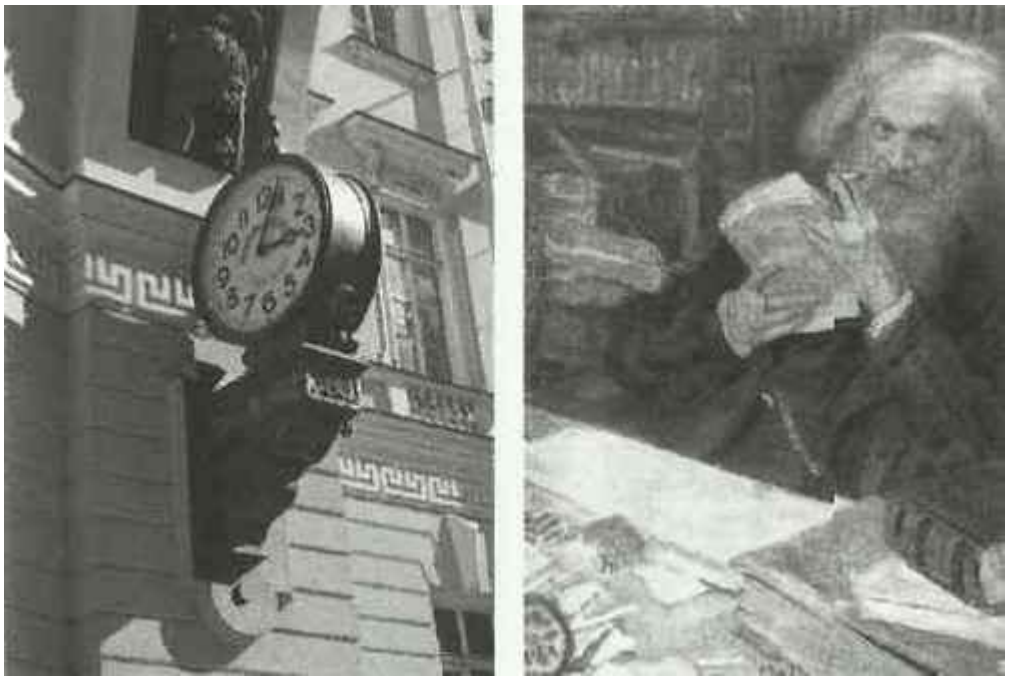
Вице-адмирал С. О. Макаров.



Ледокол «Ермак»

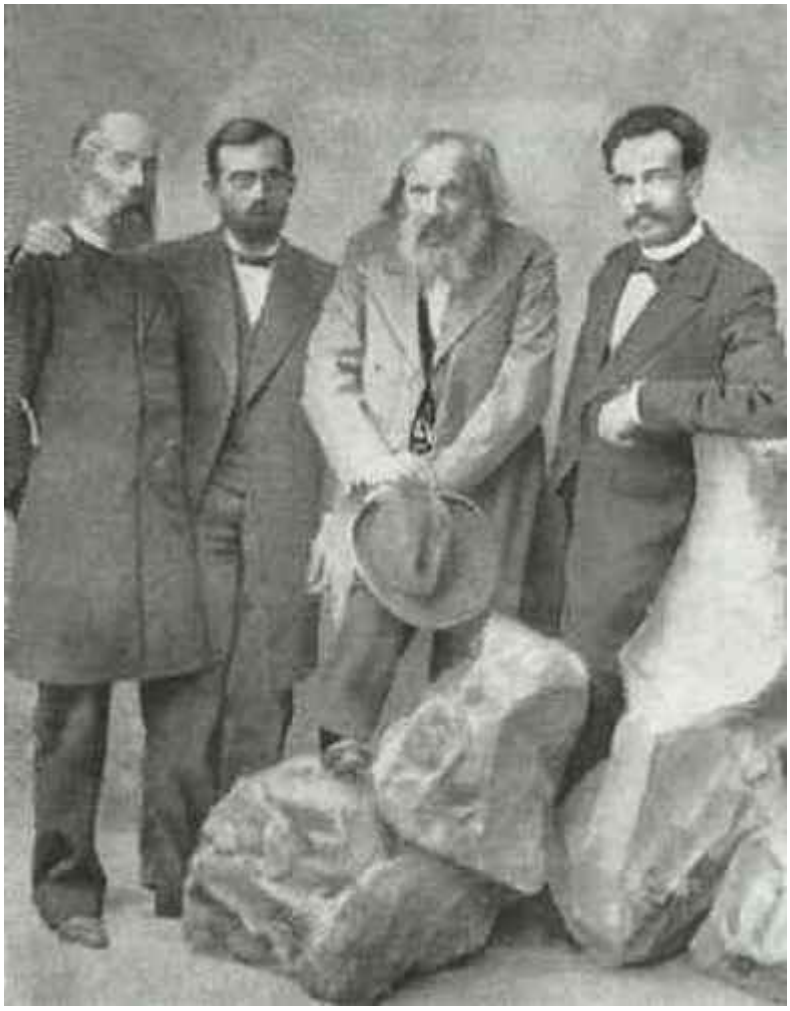


Сотрудники Главной палаты мер и весов перед торжественной церемонией замуровывания русских эталонов в стену Сената.
Слева направо: А. И. Кузнецов, Ф. П. Завадский, Д. И. Менделеев, Н. Г. Егоров, Ф. И. Блюмбах. ***19 февраля 1901 г.***



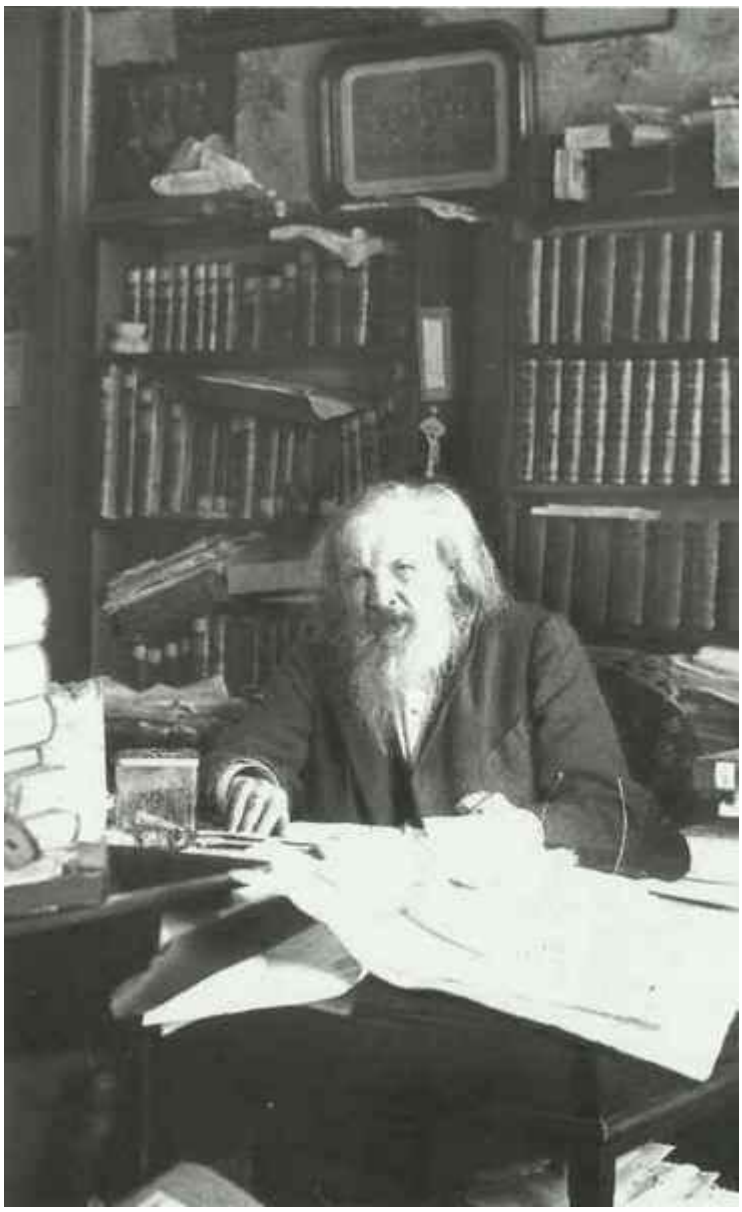
Электрические часы Главной палаты мер и весов в арке Главного штаба в Санкт-Петербурге

Д. И. Менделеев. ***И. Е. Репин***



Участники экспедиции на Урал. Слева направо: Н К. Н. Егоров, С. П. Вуколов, Д. И. Менделеев, П. А. Земятченский. ***1899 г.***

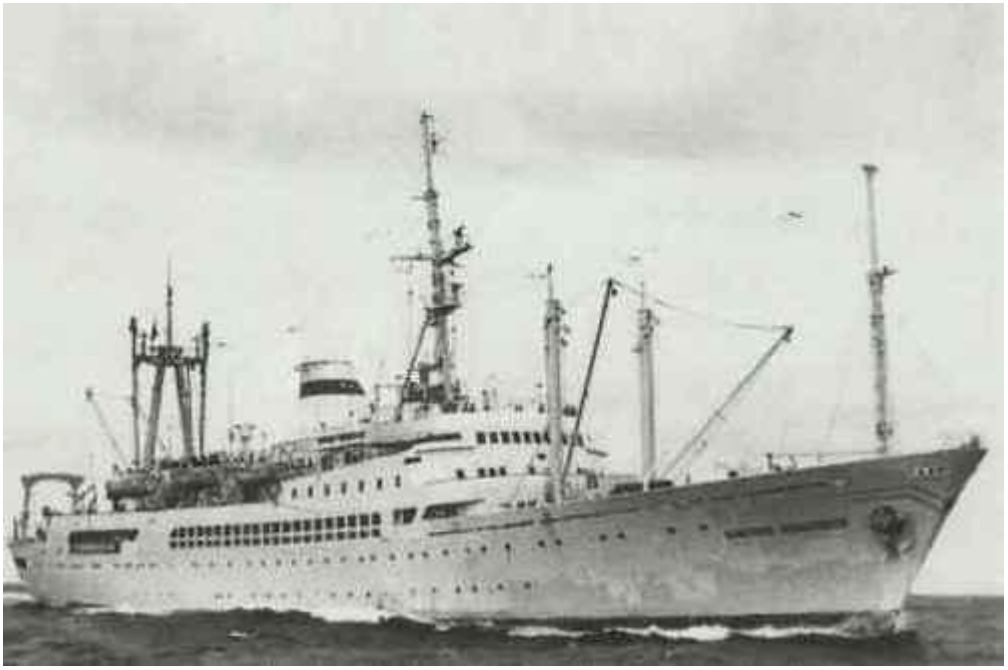
Д. И. Менделеев с друзьями детства и местным священником на ступенях Аремзянской церкви, построенной его матерью. ***1899 г.***



Д. И. Менделеев в своем кабинете в Главной палате мер и весов. ***Фото Ф. И. Блюмбаха. 1904 г.***

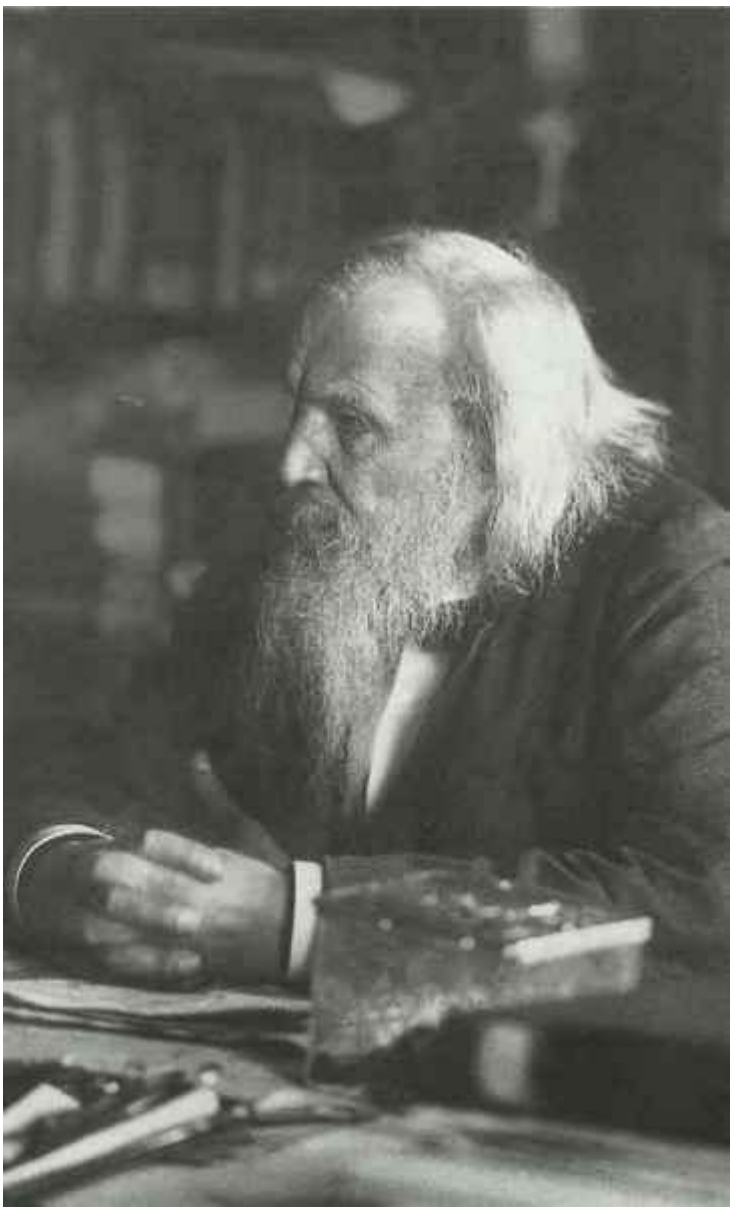
Часы, остановленные в момент смерти Д. И. Менделеева.

Могила Д. И. Менделеева на Волковском кладбище



Научно-исследовательское судно «Дмитрий Менделеев» в Тихом океане. ***1978 г.***

Действующий вулкан Менделеева на курильском острове Кунашир



Один из последних снимков Д. И. Менделеева. ***Фото Ф. И. Блюмбаха. 1904 г.***

То, что хозяин увлекся, поняли сразу все три женщины — сама Анна, тоже начавшая чувствовать нежность к этому странному человеку, Екатерина Ивановна и Надежда. Но ситуация пока вызывала только улыбку — пару называли Фаустом и Маргаритой, — и никто еще не мог представить, что 43-летний профессор влюбится настолько, что это чувство станет угрожать его жизни. Между тем время шло, приближался последний экзамен в Академии художеств, после которого Анна Попова собиралась ехать домой, на Дон. «В памятный мне вечер, — вспоминала она, — Дмитрий Иванович пришел с шахматами и сел со мной играть. Надежды Яковлевны не было дома. Мы с Дмитрием Ивановичем были одни. Я задумалась над своим ходом. Желая что-то спросить, я взглянула на Дмитрия Ивановича и окаменела — он сидел, закрыв рукой глаза, и плакал. Плакал настоящими слезами; потом сказал незабываемым голосом: *«Я так одинок, так одинок»* . Мне было невыразимо жаль его. *«Я одинок всегда, всю жизнь, но никогда я этого не чувствовал так болезненно, как сейчас».* Видя мою растерянность: *«Простите* , — продолжал он, — *простите, вас я смущать не должен».* Он вышел».

Ни у Менделеева, ни у Анны пока не было и мысли, что они когда-нибудь могут стать мужем и женой. Однако, приехав домой к родителям, она поспешила встретиться с молодым

человеком, который считался ее женихом, объявила ему, что между ними всё кончено, и вернула когда-то полученный от него подарок. Когда Анна возвратилась в Петербург, Феозва Никитична с Ольгой всё еще были в Боблове, и семья Капустиных продолжала жить в менделеевской квартире. Она снова вернулась за свою ширму, снова стала ходить по утрам на лекции, а вечером — в рисовальные классы, «но всё изменилось, как меняется природа, когда налетает буря, сгустятся тучи и сверкнет молния». Дмитрий Иванович уже не мог скрывать своих чувств. Анне казалось, что она утопает в их потоке. Екатерина Ивановна поняла, что дело зашло слишком далеко, и, махнув рукой на упущенную экономию, срочно увезла семью вместе с Аней на 4-ю линию… Но это уже ничего не может изменить. Менделеев находит возможность видеть Аню и там, приходя в гости чуть ли не ежедневно, а у себя в квартире, что ни пятница, начинает устраивать вечера для молодых художников — для нее, конечно, для нее одной; но ведь одна она не придет, а так — придет, ей тут будет и хорошо, и полезно… Она приходила с Надей, и еще какие-то студенты приходили, а Дмитрий Иванович заранее всё узнавал о выставках и о том, что новенького в мастерских его друзей-художников, и всегда рассказывал своим юным гостям что-то важное и интересное — он называл это «служить ступенью». И в этом молодом кругу он был моложе всех, поражая гостей своей энергией и непрекращающейся душевной бурей.

Потом эти пятницы станут средами, и к Менделееву потянутся лучшие русские художники всех, даже враждующих, направлений. Но никаких споров среди них не будет, поскольку ссоры сгорали, едва начавшись, в огне, который исходил от хозяина. А если какая-то вражда все-таки прорывалась сквозь огненную преграду, то вид приобретала жалкий, ненужный и некрасивый. Зато хорошие разговоры тянулись ввысь, и мысли рождались на удивление точные. Здесь обсуждались художественные новинки, сюда из художественных магазинов доставлялись самые последние издания, здесь великолепно дурачились, и Анна уже почти перестала смущаться, когда Менделеев говорил, что всё это — для нее. И все вокруг понимали, что он делает это для нее.

А как она могла ответить на эти дары? Что она могла дать ему в ответ на пожиравшую его страсть? Она решилась лишь позволить ему написать обо всем ее отцу, спросить у него разрешение. На что? На брак, на адюльтер, на сожительство? Они не знали на что. Отец, урядник Иван Евстафьевич Попов, конечно, немедленно приехал. Он был чувствительным и довольно образованным человеком (хотя так и не осуществил мечту своей молодости стать врачом), очень любил своих дочерей и ничего для них не жалел. Отец разобрался в деле спокойно и сердечно. После долгого разговора с Дмитрием Ивановичем, откровенных бесед с дочерью и Екатериной Ивановной он решил забрать Аню из семьи Капустиных (причем сделал это без всякой для госпожи Капустиной обиды). Менделеева же он сумел убедить в необходимости справиться со своим чувством и не искать больше встреч с Анной. Дмитрий Иванович дал слово. Иван Евстафьевич также пообщался с подругой дочери Александрой Синегуб и предложил ей снять квартиру на двоих, чтобы она могла поселиться вместе с Аней. Добрейшая Синегуб сразу согласилась и, более того, взяла на себя все хозяйственные заботы, а Аня была тем более согласна на всё, потому что до того момента была уверена, что отец заберет ее домой.

Всё было решено умно и правильно, да только ничего из этого не получилось. Какое-то время Анна жила спокойно, если не считать чувства вины по отношению к Дмитрию Ивановичу и семье Капустиных. Особенно она скучала по Наде, которая, будучи девушкой современной, конечно, ожидала другой развязки этой истории, а потому стала относиться к своей подруге с подчеркнутой холодностью. Синегуб опекала Аню как могла, старалась не оставлять одну и даже повезла на Рождество на свой родной хутор в Полтавскую губернию. Там гостью ожидала настоящая зимняя Малороссия, с поющими дивчинами и парубками, колядками и тихими снежными полями. Отец Александры — седой как лунь старик в бархатном синем халате с белым воротником из ангорской козьей шерсти, с длинной-длинной трубкой, большую часть времени проводивший в большом кресле возле камелька, — был настоящим, «щирым» украинцем. После приезда гостей он буквально

расцвел, к тому же девушки охотно рассказывали ему о Петербурге, об Академии художеств и консерватории, о спорах студентов и чудачествах художников… Старик не смеялся и не хмурился, знай покуривал свою трубку и едва заметно улыбался.

Через две недели, вернувшись в Петербург, Аня убедилась в том, что Дмитрий Иванович не в состоянии сдержать данного ее отцу слова. Он почти открыто, иногда неловко прячась за колоннами, искал ее в академии или на глазах у всех ожидал у входа после занятий… Его здесь многие узнавали, вокруг раздавались смешки, потом слухи дошли до университета. Но Менделеев был словно не в себе. Ему казалось: если он немедленно ее не увидит, то дальше никакая жизнь невозможна. Желая помочь девушке материально, а может быть, чтобы просто протянуть к ней хоть какую-нибудь связующую нить, он через ее педагога Павла Петровича Чистякова анонимно заказывает Анне Поповой копию картины Карла Брюллова «Последний день Помпеи». Анна выполнила работу, но Чистяков остался недоволен и заставил начать всё заново. Менделеев понял, что вместо помощи и духовной связи получается еще одна неприятность. Пришлось сказать Анне, что это он заказал «для кого-то» и этот «кто-то» картиной доволен и готов сию минуту расплатиться… Однако художница, уже получившая указание мастера, все равно выполнила новую копию.

Всё получалось нескладно, глупо и плохо. От долгого пребывания на зимнем воздухе у Менделеева развился плеврит, который испугал Боткина. Но Анна еще владела собой и продолжала держать слово — за себя и за него, хотя ситуация измучила ее настолько, что девушка мечтала лишь о том, чтобы закончить занятия, перейти в следующий, натурный, класс и сбежать домой, к отцу. Она еле дождалась конца той зимы. Прошло лето, а осенью всё началось сызнова и продолжалось до тех пор, пока Дмитрий Иванович не уехал во Францию лечиться и собирать материалы по аэронавтике. Анна, оставшись без своего преследователя, вздохнула свободно и решила дальше строить свою жизнь по-другому. Она записалась на философские лекции на Высших женских курсах, снова стала ходить по театрам, музицировать, заводить новых друзей. Но чем больше она себя занимала и развлекала, тем более страдала от пустоты, которая явилась вдруг в ее душе. Только когда Менделеев уехал далеко и надолго, она почувствовала, какой огромный человек мучился рядом с ней. Но выхода не было никакого. Он вернулся в Петербург весной, а она в это время снова сбежала до осени в родную станицу.

Когда они встретились в следующий раз, Анна уже пылала не меньше, чем он, но по совету любящего отца сделала еще одну попытку освободиться. Иван Евстафьевич считал, что дочь должна сделать перерыв в учебе, бросить всё и скрыться от Менделеева в Риме в колонии русских художников. Верная Александра взялась было ее сопровождать, но в последний момент получила из дома сообщение, что отец при смерти. Менделеев, который теперь ежедневно и совершенно открыто бывал у них в гостях, сам уложил вещи Анны в кофр, проводил к поезду и вручил ей рекомендательные письма к знакомым живописцам. Он принес также кипу путеводителей, не забыв отметить приличные, с его точки зрения, отели. Был он то бодр, то растерян. Говорил о том, что они обязательно поженятся. Она уехала, а он остался. Ему предстояли выборы в академию и отчет по упругим газам в Русском техническом обществе.

Душевное напряжение, не оставлявшее Менделеева во время всех испытаний этого времени, было таково, что он неизбежно должен был сорваться. Случилось это через пару недель после того, как он бросил на произвол судьбы лабораторию Технического общества в разгар всероссийского скандала, связанного с провалом его кандидатуры на выборах в Академии наук. Срыв, едва не стоивший ему потери лица, случился у всех на глазах, по следам и без того громкой и позорной истории. Речь идет об инциденте, произошедшем во время университетского акта, посвященного юбилею университета, который впервые посетил новый министр народного просвещения А. А. Сабуров.

К этому времени «Народная воля» уже располагала в Петербургском университете мощными позициями. Здесь действовала самая крупная в городе «Центральная студенческая

группа», возглавляемая А. И. Желябовым и С. Л. Перовской. В стенах университета руководство осуществлялось двумя друзьями — Папием Подбельским и Львом Коганом-Бернштейном. Именно очередной торжественный акт был выбран Желябовым для акции, спланированной таким образом, чтобы сорвать всякую возможность примирения студентов с начальством. Он сам, пренебрегая опасностью, пришел в университет, чтобы видеть, как всё пройдет. Надо сказать, что Сабурова — порядочного человека, сына декабриста, искренне желавшего договориться со студенчеством, — народовольцы ненавидели значительно больше, чем его предшественника графа Толстого, хотя единственное обвинение в его адрес могло состоять разве что в том, что он не пришел на похороны недавно скончавшегося Ф. М. Достоевского. Но за это он, что называется, уже претерпел от прессы и просвещенной публики (хотя, возможно, он просто не хотел идти рядом с обер-прокурором Святейшего синода «лапушкой» К. П. Победоносцевым). Тогда за что же? Газета «Народная воля» (1881. № 35) отвечает на этот вопрос совершенно откровенно: «Система Сабурова, постоянно рекомендующая «погодить», «выждать», «быть благоразумными» и проч., начала деморализовывать студентов, выдвигая в их среде на видное место разных молодых стариков, карьеристов, вообще тот тип, который окрещен в студенческой среде кличкой «бонапартистов». Масса студенчества, разумеется, не имеет и не имела ничего общего с «бонапартистами», но, с другой стороны, они, как всякая масса, не отличаются и безусловным радикализмом». А народовольцам именно этот радикализм и был нужен.

В акции, которая не имела точного сценария и должна была развиваться спонтанно, главная — по сути самоубийственная — роль отводилась Подбельскому и Когану-Бернштейну, которых должны были немедленно поддержать 300–400 добровольцев (больше не стали привлекать из соображений конспирации). Вслед за этим ожидалось активное участие тысяч студентов, сочувствующих радикальным идеям. Расчет оказался верным. Процитированный нами источник описал случившееся довольно точно и с удовольствием:

> «Акт 8 февраля, по обыкновению, собрал в университет значительную публику. Тысячи четыре человек присутствовали в зале. По прочтении проф. Градовским университетского отчета раздались рукоплескания. Но в это время с стороны хор послышался голос (по всей видимости, Когана-Бернштейна. — *М. Б* .), Приводим эту речь целиком: «Господа! Из отчета ясно: единодушные требования всех университетов оставлены без внимания. Нас выслушали для того, чтобы посмеяться над нами?! Вместе с насилием нас хотят подавить хитростью. Но мы понимаем лживую политику правительства; ему не удастся остановить движение русской мысли обманом! Мы не позволим издеваться над собой: лживый и подлый Сабуров найдет в рядах интеллигенции своего мстителя!» 4000 голосов, — говорит очевидец-студент, — слились в оглушительный рев, в котором только и можно было расслышать брань да протяжное «во-о-н». С правой и с левой стороны хор полетели прокламации, которыми Цент. унив. кружок обличает лицемерие Сабурова. Ректору удалось восстановить на минуту тишину; он пользуется этим, чтобы обратиться к «благоразумным студентам» с просьбой… выдать бунтовщиков. «Не приучайте студентов к шпионству», — закричали протестанты. Поднявшийся шум мешал расслышать слова говорившего. Крики: «тише», «слушай», «молчать», наполнявшие залу, приводили публику в смущение: не известно было, к кому они относились — к говорившему студенту или к тем лицам, которые мешали ему говорить. В это же время из толпы товарищей выделяется студент I курса Подбельский, подходит к Сабурову и дает ему затрещину. Несмотря на то, что внимание публики было отвлечено шумом на хорах, слух о пощечине разносится по зале. Подымается ужасный шум, раздаются крики: «вон наглого лицемера», «вон мерзавца Сабурова», «вон негодяев». Несколько человек юристов кидаются на хоры, с целью схватить оратора. Происходит кое-где свалка… Ни Бернштейн, ни Подбельский, однако, не были

арестованы…[45]»

Менделеева на акте не было. По свидетельствам всех его биографов, он был в это время смертельно измучен своими неприятностями (к которым можно добавить твердый отказ Феозвы Никитичны дать ему развод) и вообще плохо собой владел. О случившемся он узнал от других, и к следующему дню, когда у него была лекция, Менделеев уже был доведен до последней крайности. Нападение на почетного гостя университета во время торжественного акта шло вразрез со всеми его нравственными установками и представлялось совершенно вопиющим злодеянием. Придя в аудиторию, он разразился бурным осуждением виновников события, в ходе которого, возможно, незаметно для себя, но очень заметно для студентов сделал крен в национальную сторону — имеется в виду конечно же национальность Когана-Бернштейна (Подбельский был сыном священника). В каком-то месте своей речи он вдруг без видимой логики рассказал присутствующим то ли байку, то ли действительный случай времен его учебы в институте: о том, как в театре у однофамильца смутьяна расстроился желудок, но он не мог уйти, поскольку жалел денег, истраченных на билет, и мучился до тех пор, пока соседи не собрали ему ровно такую же сумму. В завершение Менделеев произнес пословицу, которую, похоже, сам же сию минуту и сочинил: «*Коганы нам не коханы* ».

Значительная часть аудитории тут же встретила речь профессора свистом. Студенты физико-математического факультета сочувствовали народовольцам не слабее, чем студенты остальных факультетов; кроме того, интеллигентные молодые люди меньше всего ожидали услышать такое из уст Менделеева. Другая часть слушателей восприняла сказанное с полным одобрением и пыталась заглушить этот несмолкаемый свист аплодисментами. Менделеев немедленно понял, что совершил непростительную ошибку. Будто бы очнувшись, он нашел в себе силы, кое-как успокоив бушующих студентов, обратиться к теме лекции. Но было уже поздно: злополучная речь была кем-то из студентов дословно записана и почти немедленно разошлась по городу. После этого ему на квартиру в течение нескольких дней поступала доселе совершенно невозможная корреспонденция: некие анонимы его ругательски ругали и называли «добровольцем Третьего отделения», а авторы, полностью указывающие свои имена-чины-титулы, сердечно благодарили за наставление их сыновей на путь истинный. Жизнь превратилась в невыносимую муку, и профессор решил с ней покончить. Он думал лишь о том, как это сделать.

Через неделю после злополучной лекции Менделеев подал ректору заявление с просьбой немедленно предоставить ему отпуск до каникул и дальше, на всё лето, либо уволить в отставку. Андрей Николаевич Бекетов, видя коллегу в таком тяжелейшем состоянии, приложил все усилия, чтобы удовлетворить его прошение наилучшим образом. С помощью Сабурова он добился высочайшего соизволения на заграничную командировку с научной целью. 19 февраля в газете «Новости» появилось большое сообщение: «Прощальная речь профессора Д. И. Менделеева». Корреспондент писал, что «любимый и уважаемый всеми» профессор объявил студентам о прекращении курса лекций и о своем желании побеседовать с ними последний раз. Менделеев начал с того, что *«университет — это храм, в котором проповедуется цивилизация, у которой есть свои скрижали. На первой из них написан девиз «правда», на второй — «труд», на третьей — «прощение». Правду надо искать, не спускаясь сверху вниз, а, напротив, идя снизу вверх, в самых малых вещах, переходя постепенно к более крупным явлениям…».* Он говорил о заблуждениях человеческих, которые происходят от желания «прямо добиться истины», и называл

[45] Их арестуют чуть позже на конспиративной квартире. Оба через восемь лет умрут страшной смертью в якутской ссылке во время бунта ссыльнопоселенцев, предназначенных к этапированию на верную смерть в Вилюйск. Папий, уже вольный человек, бросится к конвоирам с просьбой не стрелять в его товарищей, и тут же будет застрелен. Солдаты начнут убивать всех подряд, потом будут вешать оставшихся в живых. Тяжело раненному Когану-Бернштейну петлю накинут прямо в кровати, на которой его поднесут к виселице.

образцом таких заблуждений поведение тех, кто, не желая трудом добиваться знаний, думает, будто владеет истиной настолько, что может руководить человечеством. Мысль об умении прощать была довольно неумело вплетена в пассаж о том, что студенты не должны отдаваться политической жизни, что для учебы необходимо спокойствие… Возможно, автор статьи просто сбивчиво изложил материал — или же, наоборот, точно отразил растерянность известного профессора. Менделеев признался студентам, что устал и изнемог. В конце своей речи он попросил присутствующих не аплодировать ему, а… свистеть. Студенты были поражены известием о прекращении курса, содержанием и формой речи Дмитрия Ивановича. Все стояли с печальными лицами, некоторые плакали. Наконец, оцепенение спало и студенты послали к Менделееву четырех представителей с просьбой остаться. Ответ был тот же: *«Я устал… Я изнемог».*

Первым пунктом его поездки был Алжир, где должен был состояться какой-то научный форум. Менделеев решил, что во время морского плавания выбросится с палубы за борт. С этим решением он и готовился отправиться в путь. Написал завещание, собрал все письма, которые писал Анне и прятал в своем письменном столе, начиная с того дня, когда, почти четыре года назад, впервые увидел ее за воскресным обедом. Все бумаги он вручил пришедшему проститься с ним А. Н. Бекетову. О своем намерении свести счеты с жизнью не сказал, но Бекетов без слов понял, что отпускать его в таком состоянии нельзя, и приступил к немедленным действиям. Александр Николаевич (в некоторых источниках речь идет о том, что он был не один, а вместе с Иностранцевым, Краевичем и Докучаевым) бросился к Феозве Никитичне со столь горячими и убедительными уговорами не брать греха на душу и дать развод своему несчастному супругу, что бедная женщина дрогнула и согласилась. Тотчас об этом было сообщено Дмитрию Ивановичу, который, забыв про Алжир и вообще про всё на свете (но не забыв поручить дело о разводе энергичному присяжному поверенному округа Петроградской судебной палаты В. Е. Головину), что называется, на последнем издыхании отправился к Анюте в Рим. Прибыл он туда после всех испытаний в состоянии, о котором его новая суженая написала: «…надо было или его спасать, или им пожертвовать»…

Здесь мы ненадолго прервем жизнеописание Менделеева, чтобы пролистать некоторые страницы его «националистического» досье, собранного без нашей помощи, но фигурирующего в ряде взвинченных статей и книг последних десятилетий. Особенно цитируются те места из менделеевских текстов, которые «позволяют» авторам считать великого ученого своим соратником в борьбе «с засильем евреев». Оставим без комментариев импровизацию полубольного профессора про «коганов» — революционеров и театралов, о которой он сам явно сожалел, и обратимся к пассажу из книги «Нефтяная промышленность в североамериканском штате Пенсильвания и на Кавказе»: *«Одно скажу — Америка представляет драгоценный опыт для разработки политических и социальных понятий. Людям, которые думают над ними, следует побывать в С.-А. Соед. Штатах. Это поучительно. А оставаться жить там не советую никому из тех, кто ждет от человечества чего-нибудь, кроме того, что уже достигнуто, кто верит в то, что для цивилизации неделимое есть общественный организм, а не отдельное лицо, словом — никому из тех, кто развились до понимания общественных задач. Им, я думаю, будет жутко в Америке. Там место другим. Из России туда и едут, там и остается много евреев, они преобладают между русскими эмигрантами. В этом отношении Штаты полезны для России, и это переселение достойно покровительства».*

Как известно, Менделеев пережил в Америке разочарование, в том числе по поводу ее безыдейности, социальной раздробленности и отсутствия единого народного духа. Дмитрий Иванович приходит к мысли, что по тем критериям, которые он считал важнейшими, именно Россия покажет миру пример нового, «нелатинского» пути развития. Естественно, что в этой связи он не испытывал никакой симпатии к тем, кто, устав «ждать от человечества чего-нибудь, кроме того, что уже достигнуто», решил сменить земскую Россию на

заморскую страну дельцов и политиканов, ускоренным шагом идущую к общему с Европой закату. Раз они не видят, не понимают, страну каких возможностей они покидают, значит, пусть катятся, пусть все, кто готов покинуть Россию, уезжают. И пусть правительство подумает, как можно облегчить им эту задачу. Есть, конечно, в этой цитате подспудный намек на то, что евреи хорошо подходят для американской жизни именно в силу неких свойств своей натуры. Возможно, Менделеев делал его сознательно. Однако никакого ярлыка, исходя из всего этого, к Дмитрию Ивановичу приклеить невозможно. Написано лихо, однако где же здесь юдофоб Менделеев? Ехали бы буряты или водь — он бы и бурятов с водью припечатал.

Несколько рассуждений, где упоминаются евреи, содержится в книге Менделеева «К познанию России», которая будет написана им по следам Всероссийской переписи населения 1897 года. Отмечая места компактного проживания евреев на карте империи (в то время на территории России, включавшей в свой состав Украину и Польшу, проживало более пяти миллионов представителей этого народа — немногим менее четырех процентов от всего населения), Менделеев пишет: *«Известно, что ни в одной стране нет такого абсолютного количества и такого процента евреев. Лишенные своего отечества, они рассеялись во всём мире, преимущественно же по берегам Средиземного моря и в Европе, хотя и азиатские страны не лишены евреев. Уживаются они у нас, как известно, благодаря юркости и склонности к торговле. Всем известно, что, преимущественно по религиозным причинам, нигде народ не любит евреев, хотя народец этот обладает многими способностями и свою пользу странам приносит, конечно, не своими кагальными и масонскими приемами и политиканством, а своим торговым посредничеством, которого очень недостает в России, как о том скажу далее. Мне кажется, что евреям у нас предстоит легко доступный выход: ассимилироваться с преобладающим населением, отказавшись от кичливой заносчивости, и встать в ряды обычных тружеников, так как, по мне, русские люди охотно и подружатся даже и с евреями».*

Что ж, если читатель на данный момент уже освоил особенность извивающейся, как щупальца осьминога, менделеевской мысли, то в этой цитате и вовсе не найти ничего обидного для российских евреев. Наоборот, этот строгий пассаж построен не без менторской приязни. Кого-то смущает слово «юркость», но в его употреблении в этой книге нет ничего исключительного — тут же рядом можно найти «шустрых» армян. А слово «народец» употреблено по отношению к другим этносам здесь никак не меньше десятка раз. *«Нигде народ не любит евреев»* — это деловитое сообщение Менделеева и вовсе не нуждается в мягчительных примочках: как было, так и написал. Что же касается «кагальных приемов», можно предположить, что ученый имел в виду способность кагала в любых ситуациях держать дистанцию с окружающим миром и пользоваться сложившейся веками системой взаимопомощи. Правда, с масонством совершенно непонятно. Течение это в России могло коснуться многих, но только не евреев внутри кагала. К сиятельным русским масонам мог примкнуть кто угодно, но только не катальный еврей, даже если бы он надел пасхальный лапсердак и спросил разрешения у раввина. *«Кичливая заносчивость»* ? Вполне возможно, Менделеев действительно наблюдал это качество у достигших благосостояния одесских и петербургских евреев, но не исключено, что он подразумевал под этим нечто другое — например, уверенность иудеев в своей богоизбранности. Менделеев с этим не мог согласиться, поскольку был убежден, что для высших целей человеческой истории избран именно русский народ со всеми «народцами», способными в него влиться полностью и без национального остатка. Ветхий Завет, конечно, тут свидетельствует в пользу евреев, однако еще князь Владимир, как мы помним, засомневался: «Но где же земля ваша? И там ли вы ныне?» И все-таки, скорее всего, речь идет о бытовой национальной кичливости, которая не устраивала Менделеева и в сознании горячо им любимого русского народа. В том же источнике читаем: *«…национализму необходимо более всего принять начало терпимости, то есть отречься от всякой кичливости, в которой явная бездна зла, а потому в этого рода делах практичнее всего терпеливо ждать течения совершающегося».* (Примем во

внимание, что термин «национализм», который Менделеев использовал в безусловно положительном значении, еще не был непоправимо загажен практикой его применения в XX веке. Для Менделеева национализм как синоним, во-первых, природного ощущения народа и, во-вторых, защиты вообще всех российских интересов, существовал в противовес интернационализму отрекшихся от своего рода-племени бомбистов.) Тут тем более не оказывается никакой предвзятости, ведь речь идет об общем для многих национальностей недостатке. Правда, не вполне понятен призыв Менделеева к евреям встать «в ряды обычных тружеников», ведь он же только что определил, что именно торговлей они приносят наибольшую пользу. Может быть, Дмитрий Иванович хотел увидеть их хлебопашцами? Но ведь евреям было запрещено владеть землей, а батраков в каждой общине и без них хватало. Возможно, он хотел, чтобы они перестали помышлять о своей избранности и не срывались от обиды в бунтовщики — или таким образом требовал равноправия для еврейского населения… Теперь мы этого уже не узнаем. А вот усиление «*даже и* » в конце фразы «*русские люди охотно подружатся даже и с евреями* » в свете нашего нехитрого анализа приобретает совершенную безобидность. Пусть в последнюю очередь, но охотно подружатся. Или — подружатся, хотя упрямые кагальные евреи, ясное дело, придут дружить в последнюю очередь. Какая, собственно, разница? Главное, что это правда.

Мысль о том, что русский народ способен принять в свое лоно «разоружившихся», отказавшихся от национальной самоидентификации иудеев (наравне со всеми остальными «народцами»), встречается и в самой известной книге Дмитрия Ивановича «Заветные мысли» (вышла в 1905 году). Кроме того, там есть еще одно знаковое высказывание, интересный поворот менделеевской мысли: *«Желательно, чтобы русский народ, включая в него, конечно, и всю интеллигенцию страны, своё трудолюбие умножил для разработки природных запасов богатой своей страны, не вдаваясь в политиканство, завещанное латинством, его, как евреев, сгубившее и в наше время подходящее лишь для народов, уже успевших скопить достатки, во много раз превосходящие средние скудные средства, скопленные русскими. Прочно и плодотворно только приобретённое своим трудом. Ему одному честь, поле действия и всё будущее».* Тут, как водится у Менделеева, одна мысль погружена в другую и еще полдюжины к ним приросли. Главное опасение завершавшего свой жизненный путь русского мыслителя — что русский народ может стать жертвой политиканства, уходящего корнями в латинство и еврейство. Из него вытекает, что в призыве Дмитрия Ивановича к евреям самозабвенно влиться в русский народ могла таиться некоторая боязнь противоположного развития событий. Не вдаваясь в подробности того, какой смысл вкладывал Дмитрий Иванович в слово «политиканство», надо подчеркнуть, что, по мнению Менделеева, оно хорошо лишь для благополучных, давно вставших на путь промышленного развития народов. Из этой же цитаты следует, что евреи в его восприятии были чем-то близки латинянам — тем самым латинянам, которые «портили ему кровь» в детстве и юности и память о которых десятилетиями подстегивала его в борьбе с ненавистным гимназическим образованием. Можно, конечно, предположить, что дело было отчасти в свойственной древним языкам лингвистической сложности, что Менделеев мог со слов отца знать о мучениях семинаристов, корпевших над текстами Ветхого Завета на древнееврейском языке, но всё равно здесь мы наблюдаем удивительное схождение, если чем-то и объяснимое, то лишь поразительной причудливостью менделеевского сознания.

Одно можно утверждать совершенно определенно — Дмитрий Иванович Менделеев никоим образом не был и не мог быть антисемитом. Традиционное русское воспитание, к тому же полученное на окраине страны, не исключало, конечно, некоторых привычных всем стереотипов, но никакой «нутряной», необъяснимой вражды к евреям он никогда не питал. В нем вообще не уживалось ничто необъяснимое — всё, что нуждалось в объяснении, он обязательно осмысливал тем или иным образом, потому что тяжесть неосмысленного ощущения могла лишить его равновесия. Еще более невероятно предположение, что гениальный ученый и провидец страдал комплексом неполноценности из-за присутствия где-то в обозримом мире неких более способных, чем он, евреев, в то время как — и все это

знали — во всей России не было ученого талантливее его…

Чем же можно объяснить его, несомненно, чуть более пристрастный взгляд на российских евреев? Есть два отнюдь не бесспорных предположения. Во-первых, Менделеев, патриот и монархист, не мог питать особо добрых чувств к народу, выходцы из которого охотнее всех других пополняли ряды отъявленных врагов его императорского величества. Еврейские фамилии безжалостных к себе и своим жертвам террористов для многих сами собой служили доказательством порочности и опасности всего еврейского населения. Менделееву, мыслящему во всех случаях самостоятельно, этого «доказательства» было, естественно, недостаточно, но и отвернуться от него он не мог. Второе предположение связано с его собственной фамилией и некоторыми свойствами натуры. В течение жизни Менделееву наверняка пришлось сталкиваться с намеками на его не совсем «чистое» происхождение, с шутками, определенным образом трактующими его экзальтированность и неряшливость в одежде. Будучи совершенно русским человеком, он не мог воспринимать эти уколы абсолютно равнодушно, без всяких психологических последствий. Мы ведь знаем примеры из последнего времени, когда даже крупные ученые, «наказанные» фамилией, допускающей оскорбительное, с их точки зрения, толкование, становились едва ли не идеологами отпора некоему злокозненному «малому» народу. Дмитрия Ивановича, слава богу, эта чаша миновала, хотя некоторые энергичные потомки пытаются вновь и вновь поднести ее давно покинувшему земной мир человеку. Жаль, они не сознают, что попытки воспользоваться авторитетом и текстами Дмитрия Ивановича Менделеева в дискуссиях по национальной проблематике часто выглядят как опасное передергивание затвора мощного и очень сложно сконструированного оружия, до сих пор, увы, почти не освоенного и даже не пристрелянного.

Что же касается громких утверждений о членстве Дмитрия Ивановича Менделеева в Союзе русского народа, то никаких достоверных документов на этот счет в сегодняшнем менделееведении нет.[46] Поэтому вряд ли стоит принимать на веру заявления, за которыми не содержится ничего, кроме внутренней убежденности, тем более что такие публикации сплошь и рядом сами подрывают доверие к себе наличием грубых ошибок. Например, в Интернете можно обнаружить ряд сайтов, предлагающих своим посетителям список самых видных деятелей Союза русского народа. В нескольких случаях Менделеев там действительно указан, но почему-то в звании академика. Уже одно это обличает в списке недавно изготовленную фальшивку, авторы которой не представляют, какого чувствительного предмета они походя касаются. Ведь человек, память которого они потревожили, так никогда и не был избран в академики, и об этой истории — о том, как немцы в Питере русского учителя к себе на порог не пустили, — в свое время знал любой мало-мальски «продвинутый» охотнорядец.

Из Рима Дмитрий Иванович и Анна, уже как супруги, поехали в Неаполь, потом на Капри, где Менделеев сумел, наконец, собраться с мыслями и составил план на ближайшее будущее. Денег не было и в ближайшее время не предвиделось, поскольку Феозва Никитична согласие на развод дала с условием, что ей отойдет всё университетское жалованье бывшего супруга, которому оставался только более-менее твердый доход от издания «Основ химии». Он решил воспользоваться предложением нефтезаводчика В. И. Рагозина, который давно звал его поработать летом на одном из своих волжских предприятий и обещал даже устроить для него лабораторию. Менделеев списался с Рагозиным и окончательно обо всем договорился — летом их ждал новый деревянный дом с балконом на Волгу. Оставшееся время они провели в путешествии по Франции, потом по Испании, где Менделеев еще не бывал. Слушали *Stabat Mater* в великолепном Севильском

---

[46] В научных публикациях, а также архивных материалах о деятельности Союза русского народа (ГАРФ. Ф. 116; Правые партии: документы и материалы. М., 1998. Т. 1. 1905–1910 гг.) сведения о принадлежности Менделеева к данной организации отсутствуют. *(Прим. ред.)*

соборе. В огромном храме был полумрак, и прихожане почему-то не стояли на месте, как в русских церквях, а прохаживались, будто гуляя. Наша пара присела на основание колонны, и уставшая Анна заснула под тихую и величественную музыку, а Дмитрий Иванович слушал, как в молодости, не отрываясь, тенора и орган, которые то накатывали, то удалялись, а то взмывали под самые своды…

Там же, в Севилье, они были свидетелями народного шествия с огромными раскрашенными куклами, изображавшими сцены жизни и подвига Иисуса Христа. Невидимые, спрятанные под платформами солдаты несли на своих головах Христа, Мадонну и евангелистов. Время от времени солдатам подносили вино, и тогда все вокруг начинали смеяться, потому что солдаты благодарно кланялись, и вместе с ними будто бы кланялись несгибаемые фигуры. Красочная и развеселая процессия сопровождалась странным конвоем из двух колонн инквизиторов в белых балахонах, черных остроконечных шапках, с завешенными лицами, в окружении солдат, одетых в средневековые доспехи. И вся эта карнавальная демонстрация во главе с разряженной в пух и прах Мадонной двигалась не простым шагом, а в ритме популярного болеро, что не могло не вызывать одновременно мыслей о всеобщей радости и таком же всеобщем сумасшествии. Начитанному русскому путешественнику вполне могло прийти в голову, что не зря же, в самом деле, Поприщин из гоголевских «Записок сумасшедшего» представил себя королем Испании, а не какой-то другой страны. И в Севильском соборе он, вполне возможно, тоже был — гулял там в полумраке, сердечно и просто отвечая на приветствия преданных ему севильцев. Что-то такое в испанском воздухе, безусловно, присутствовало, хотя и трудно было высказаться на сей счет определенно.

Зато на корриде Дмитрий Иванович выказал свои чувства совершенно недвусмысленным образом. Хозяин гостиницы достал для них билеты на открытие сезона боя быков, которое должна была почтить своим присутствием королевская чета Испании. Но стоило закончиться шествию пикадоров и начаться травле первого быка, как Дмитрий Иванович будто проснулся — разразился взрывом ничем не сдерживаемого возмущения и потащил свою спутницу к выходу. Цирк был переполнен, и двигаться через такое скопление народа пришлось довольно долго, так что Анна, не спускавшая жадных глаз с арены, все-таки успела досмотреть расправу над быком до самого конца, вплоть до пляски мальчишек над заколотым животным…

Еще десять дней они пробыли в холодном, пустом, но тем не менее очаровательном французском Биаррице и, наконец, двинулись в обратный путь, радуясь возвращению и страшась встречи с родиной.

Они проследовали почти прямиком в село Константиново Ярославской губернии, на рагозинский нефтезавод, где к ним вскоре присоединились Иван Евстафьевич Попов и верная Александра Синегуб. Иван Евстафьевич настолько тяжело переживал неопределенность семейного положения дочери, что вскоре после приезда его хватил удар — отнялся язык и нарушилась подвижность руки и ноги. Рагозин прислал хорошего доктора, а ночью возле постели больного дежурили все по очереди. Через какое-то время к Ивану Евстафьевичу вернулась речь, и в остальном дело тоже потихоньку пошло на поправку (но жить этому недавно совершенно здоровому человеку оставалось, увы, всего два года). Менделеев весь день проводил в заводской лаборатории, трудами заглушая чувство вины перед бывшей женой и невыносимую тоску по детям. Взявшись за дело из материальных соображений, он тем не менее был готов заняться решением давно поставленной задачи: переломить пустившую корни в России американскую тенденцию использования только летучих компонентов нефти. Он намеревался пустить в дело всё, включая тяжелые нефтяные фракции.

Рагозина в первую очередь интересовали вопросы, связанные с производством смазочных масел, и Менделеев, углубившись в технологию перегонки нефти с водяным паром, указал ему на огромные и дотоле неизвестные перспективы. Но Дмитрий Иванович,

как мы знаем, не мог сосредоточить свои занятия на чем-то одном. Его опыты свидетельствовали о возможности получения широкого ассортимента продуктов из тяжелых фракций нефти и нефтяных остатков. Там же им были получены первые образцы нового «тяжелого» осветительного масла, о котором сразу же сообщила газета «Санкт-Петербургские ведомости»: «Менделеев открыл новый осветительный материал, это жидкость столь же белого цвета, прозрачна и без запаха, как вода, сгорает без остатка, горит светлым белым пламенем, воспламеняется при нагревании до 135 °С». Новое масло, полученное фактически из отходов, стоило того, чтобы ради него страна перешла на осветительные лампы новой конструкции. Менделеев убедил Рагозина объявить конкурс на создание новой лампы и вскоре подключил к этому химическую секцию Русского физико-химического общества.

Кроме этого, Менделеев за короткие летние месяцы успел заняться организацией непрерывной перегонки нефти. Еще прошлой осенью он докладывал на заседании общества свои соображения относительно конструкции установки непрерывной перегонки. В Константинове местный слесарь С. Жемчужников изготовил по его заказу стопудовый перегонный куб для так называемой «деструктивной перегонки нефти и нефтяных остатков с использованием дефлегматора». Результаты пробных запусков давали твердую надежду на успех, но полностью внедрить у Рагозина новую технологию Дмитрию Ивановичу в то лето не удалось, поскольку константиновский завод, как и все рагозинские предприятия, начал испытывать экономические трудности. Но Менделеев не бросит свою идею и через пару лет все равно внедрит ее у другого нефтезаводчика.

С приближением осени Дмитрий Иванович привез новую жену в университетскую квартиру. Феозва Никитична с Ольгой к этому времени временно поселились в Боблове. Володя жил в Морском кадетском корпусе. Расстаться с сыном Менделеев отказался наотрез — Володя был ему светом в окне, главной надеждой в жизни. Решено было, что вне корпуса Володя будет жить у него, не забывая, конечно, о матери и сестре. Ольга Дмитриевна, которой в то время было 12 лет, на всю жизнь запомнила встречу с Дмитрием Ивановичем, вернувшимся из долгой и дальней поездки: «Накануне возвращения отца из-за границы мать получила от него телеграмму о приезде. Я с утра ждала его звонка и бросилась в переднюю ему навстречу, а мать оставалась у себя в комнате. Отец вошел очень тихо, Антон и швейцар вносили его вещи и чемоданы. Я подбежала к нему и поцеловала, он обнял меня и крепко поцеловал, и вдруг у него на левой руке я увидела новое обручальное кольцо, надетое на среднем пальце. Раньше этого кольца не было. У меня екнуло сердце, и я, быстро повернувшись, убежала к матери, оставив отца одного в передней, и вбежав в ее комнату, сказала: «У папы обручальное кольцо»».

Зная непрактичность Феозвы Никитичны и продолжая терзаться чувством неизбывной вины, Менделеев сам устроил всё, что касалось нового жилья для нее и дочери. «Отец сам нашел нам квартиру, пока мы были в Боблове, всю ее обставил, не забыв ничего, до мелочей включительно. К нам с матерью, конечно, перешла вся женская прислуга, только Антон и Алексей остались в университете, но постоянно бывали у нас, помогая во всём. На новой квартире я нашла для себя отдельную комнату, совершенно не напоминавшую детскую. В этой комнате с розовыми обоями была полная меблировка для молодой девушки, а в шкапу лежало прекрасное белье. На новой красивой кровати <фирмы> Сан-Галли было пушистое розовое с белыми полосками одеяло и несколько новых подушек. У матери была прекрасная спальня и вся ее мебель из квартиры при университете. Тогда мне показалось, что этой заботой о нас отец просил у нас прощенья. Он навещал нас по нескольку раз в неделю, выказывая при этом столько внимания и ласки, что мне каждый раз было глубоко жаль его. Однажды во время своего посещения, долго оставаясь у матери в комнате, отец вышел очень тихим и как бы робким и, завидя меня, подошел ко мне, наклонился, крепко прижался головой к моей голове и сказал сквозь слезы: «Когда ты вырастешь, ты всё поймешь и простишь меня»… Отец со своими переживаниями был так одинок».

Под самый новый, 1882 год у Д. И. Менделеева и А. И. Поповой родилась дочь Люба.

Они до сих пор были не венчаны. Дело о разводе закончилось, но по церковным правилам бывший супруг шесть лет нес церковное покаяние, не имея права вступить в новый брак. И тогда Менделеев пошел на новый скандал — нашел священника, согласного за десять тысяч рублей (на эти деньги можно было купить хорошее имение) обвенчать его в обход всех церковных правил. Венчание состоялось в Адмиралтейской церкви. Священник был сразу же извергнут из сана, но Дмитрий Иванович и Анна Ивановна стали, несмотря ни на что, законными супругами.

Сказать, что после этого Менделеев вернулся к привычным делам, было бы неправильно, поскольку он практически никогда, ни при каких обстоятельствах их не оставлял. А вот его молодой жене пришлось искать себе занятие. Поскольку возвращение в Академию художеств для семейной дамы было невозможно, Менделеев решил заинтересовать ее своей наукой. Специально для нее, а также для Володи и его товарищей он стал в свободное время читать курс химии с демонстрацией опытов. Кадеты слушали с превеликим вниманием, особенно тот, которого друзья называли Эзопом, — будущий выдающийся ученый, «отец» современного русского кораблестроения, академик и даже Герой Социалистического Труда А. Н. Крылов; но Анну Ивановну химия не увлекла. Тогда по ее просьбе Дмитрий Иванович возобновил вечера художников. Начались регулярные «менделеевские среды». Подобные встречи в Петербурге происходили почти ежедневно: были «ярошенковские субботы», «вторники у Лемоха» и точно не определенные, но от этого не менее интересные вечера у Репина. Посещение этих мероприятий и стало главным, кроме заботы о домашнем очаге, занятием Анны Ивановны. «Ну что, на службу? — шутливо спрашивал Дмитрий Иванович супругу, когда она, уже одетая, приходила к нему в кабинет проститься. — Смотри не забудь взять Катерину». Без горничной он жену в темное время не отпускал. Попрощавшись, ждал, пока ее шаги затихнут в длинном полутемном коридоре, и вновь обращался к своим записям. Работал он часто далеко за полночь, иногда засыпал в чем был.

Несмотря на то, что взгляды профессора Менделеева на государственное и общественное устройство России были диаметрально противоположны популярным в молодежной среде учениям, несмотря даже на досадный «сабуровский инцидент», Дмитрий Иванович оставался любимцем студенчества, и на его лекции набивалось столько народу, что желающим получить место на скамье или на подоконнике приходилось занимать его за два часа до начала. Встреча и проводы Менделеева почти всегда сопровождались восторженными аплодисментами.

К этому времени Дмитрий Иванович, читавший курс неорганической химии первокурсникам-естественникам и математикам (пять лекций в неделю), уже перестал готовиться к каждому занятию, поскольку, с одной стороны, в его голове уже сложилась целостная картина курса (требовалось лишь, чтобы ассистент каждый раз точно отмечал и вовремя подсказывал, на чем закончилась предыдущая лекция), а с другой — написанный текст или даже план мог помешать вольному течению его мысли, которая была способна произвольно, в любой момент, перейти к решению вслух какой-либо научной проблемы. Иногда конкретная химическая тема вдруг получала у Менделеева неожиданное натурфилософское освещение, когда он совершенно отказывался от формул и опытов, заменяя их образами и обобщениями почти гуманитарного свойства. Таких случаев аудитория ждала более всего, сознавая всю меру своей удачи и наслаждаясь картиной великолепной работы гениального мозга. Впрочем, даже обожавшие его студенты не могли назвать его лекции ровными и легкими для усвоения, так как менделеевская манера изложения никак не укладывалась в каноны классической учебной лекции. На строй его лекции прямым образом накладывались не только оригинальные научные и педагогические взгляды, но и душевное состояние ни на кого не похожей личности.

У одних его слушателей складывалось впечатление, что он «читал, всегда хмурясь и негодуя как будто, с трудом справляясь с конструкцией своей речи, тяжеловесною, со

многими повторениями и вставочными предложениями. Он говорил, точно медведь валит напролом сквозь кустарник; так он напролом шел к доказываемой мысли, убеждая нас неотразимыми доводами» (В. Е. Чешихин-Ветринский). Другим запомнилось, что «его речь была отрывиста, не всегда лилась гладко, но положения его были точны, в наши головы они вклинивались и отчетливо врезались в память. Иногда он, увлекаясь сам, не замечал, что далеко отошел от курса, унесся в область, нам недоступную, в область химической фантазии, и тогда, спохватившись, останавливался, улыбался, глядя на нас, и, расправляя бороду, говорил: «Это я все наговорил лишнее, вы не записывайте». Между ним и аудиторией существовала какая-то неясно ощущаемая, но прочная нравственная связь» (В. В. Рюмин). В ряде воспоминаний встречается указание на явные трудности, которыми иногда сопровождалось начало лекции, даже на временную бессвязность речи и некие странные, скрипучие звуки, предшествовавшие рождению и вбросу в аудиторию четко сформулированного тезиса, вслед за чем речь Менделеева сразу же обретала свойственную ей мощь и свободу: «Лектор растягивает как-то своеобразно фразу, подыскивая слово. Тянет некоторое время «э-э-э…», вам даже как будто хочется подсказать не подвертывающееся на язык слово, но, не беспокойтесь, оно будет найдено, и какое — сильное, меткое, образное. Своеобразный сибирский говор на «о», всё еще сохранившийся акцент далекой родины! Речь течет всё дальше и дальше. Вы уже привыкли к ней, вы уже цените ее русскую меткость, способность вырубить сравнение как топором, оставить в мало-мальски внимательной памяти. Еще немного, и вы, вникая в трудный иногда для неподготовленного гимназией ума путь доводов, всё более и более поражаетесь глубиной и богатством содержания читаемой вам лекции. Да, это сама наука, более того — философия науки, говорит с вами строгим, но ясным и убедительным языком» (В. А. Яковлев).

Феномен менделеевской речи проявлялся и в ее явном состязании с менделеевской мыслью: «Фразы Менделеева не отличались ни округленностью, ни грамматической правильностью: иной раз они были лаконически кратко выразительны, иной раз, когда набегавшие мысли нажимали друг на друга, как льдина на заторах во время ледохода, фразы нагромождались бесформенно: получались переходы чуть ли не из десятка нанизанных друг за другом и друг в друге придаточных предложений, зачастую прерывавшихся новою мыслью, новою фразою, и то приходивших, — после того, как сбегала словами эта нахлынувшая волна мыслей, — к благополучному окончанию, то остававшихся незаконченными» (Б. П. Вейнберг). Речь не поспевала за мыслью, она растягивалась; слову доставалось значительно больше нагрузки, чем обычно. Но там, где, казалось, смысл фразы готов был вот-вот прерваться или ускользнуть, всё спасала удивительная менделеевская интонация. Читать конспекты его лекций было очень непростым делом: мысль, претерпев неизбежные потери при озвучивании, будто бы вовсе умирала, распластываясь на бумаге. Оживить ее можно было, лишь угадав и применив менделеевскую интонацию. И тогда оказывалось (и оказывается сейчас), что короче, выпуклее и своеобразнее передать вслух менделеевскую мысль просто невозможно. У того же Вейнберга можно взять несколько законспектированных фраз Дмитрия Ивановича: *«Гораздо реже в природе и еще в меньшем количестве — оттого и более дорог, труда больше, иод»; «Общежитие, история поставили серебро рядом с золотом, и периодическая система ставит их так же, как и медь, в один и тот же ряд»; «Не только от энергии солнца, летом усиливающейся, но и от измененной влаги, количества водяных паров лето так отличается от зимы».* Другое дело, что привычные грамматические инструменты просто выпадают из рук исследователя, вздумавшего подступить к этим фразам.

То же касается и отрывка из конспекта (речь идет о буме открытий, сделанных с помощью спектрального анализа в гейдельбергской лаборатории Бунзена и Кирхгофа): *«Как раз в это самое время мне пришлось жить там, и мне пришлось быть свидетелем возрождения этой блестящей части естествознания, которая с тех пор получила самостоятельность и весьма важное значение во всём естествознании, потому что дозволила анализировать при помощи света не только тела доступные, но и*

отдаленнейшие светила и явления, недоступные прямому соприкосновению с ними, а, однако, посылающие к нам свет, анализ которого дал нам возможность решить то, о чем мы не могли даже осмеливаться думать разрешать». Текст лекций был необычайно труден для конспектирования, тем более что лектор мог, не меняя тональности, вставить в свою речь, например, просьбу закрыть форточку или отреагировать на то, что в аудитории много кашляющих и чихающих студентов и пообещать в следующий раз принести с собой склянку с каплями датского короля. Тут конспектирующих спасали лишь прочная внутренняя связь с профессором и некий необъяснимый резонанс, помогавший им мчаться вслед за потоком его речи, которая, по мнению одного из его бывших студентов, была сравнима с толстовской прозой, с той лишь разницей, что Дмитрий Иванович мог подтвердить свои слова бесспорным опытом.

Часто бывало, что собравшиеся на утреннюю лекцию студенты ожидали своего профессора дольше положенного. Это означало, что Дмитрий Иванович, уставший от ночной работы, проспал. На этот случай у постоянного и верного менделеевского помощника, старого университетского служителя Алексея Петровича Зверева, которого больше называли Алешей, были четкие инструкции. Если в девять часов профессора нет на кафедре, следует спуститься к нему в квартиру и разбудить. И вот уже Дмитрий Иванович, встрепанный, едва умытый и на ходу одевающийся, взлетает на свое рабочее место, спрашивает своего ассистента и будущего биографа Вячеслава Евгеньевича Тищенко: «На чем остановился?» После этого следует несколько заунывных и скрипучих настроечных звуков, и лекция быстро набирает свой уверенный и мощный ход.

Единственное, чего всегда опасался Менделеев на своих лекциях, — неудачно поставленные опыты. Из-за этого он мог нервничать, проявлять нетерпение и даже ругаться со своими помощниками. Впрочем, такие случаи были редки, и ассистенты, зная нрав Дмитрия Ивановича, были в этом отношении весьма аккуратными. Правда, однажды, когда Алеша, иногда позволявший себе выпить, сорвал Дмитрию Ивановичу опыт, тот его беспощадно изругал, не стесняясь битком набитой аудитории. Провинившийся служитель какое-то время избегал попадаться Менделееву на глаза, пока он сам не почувствовал угрызения совести и не пришел мириться. «Прости меня, брат Алеша», — сказал он Звереву искренне и в полной простоте, на что «брат», весьма удовлетворенный принесенными извинениями, вместо того чтобы по старой дружбе обняться с Дмитрием Ивановичем, неожиданно для себя и Менделеева пустился в невнятные речи о том, что ежели взглянуть на это дело не просто так, а в рассуждении того, что… В общем, Дмитрий Иванович, находившийся в обычном своем нетерпении, не стал дожидаться конца потока обиженного сознания: «Не хочешь, ну и черт с тобой!» — повернулся и побежал по своим делам.

Несмотря на то, что лекции Менделеева был исполнены, как правило, духа подлинного моцартианства (некоторые слушатели утверждали, что их вполне можно было положить на музыку), они всегда давались ему большой кровью. В этом убеждались все, кто видел его, выходящего после двухчасовой лекции из переполненной и душной аудитории. В такие минуты Дмитрий Иванович чувствовал сильнейшее умственное перенапряжение. Чтобы он, потный и усталый, не простудился на холодной лестнице, Алеша обычно накидывал ему на плечи пальто, которое приносил из квартиры. Но часто ему нужен был немедленный отдых, и он, чтобы прийти в себя, усаживался прямо в препаровочной.

Именно в этом помещении, после утренней лекции, Менделеева, дымящего только что скрученной папиросой (курил только свой особый табак, запаха дешевых сортов не переносил), иногда посещало редкое состояние полной душевной расслабленности. Он делался благодушен настолько, что мог без всяких нервов беседовать о чем угодно. Охотно рассуждал о новостях химической науки, беззлобно поругивал бутлеровскую теорию строения и недавно возникшую теорию электролитической диссоциации, яростным противником которых он выступал во всех других случаях. А тут — совсем не заводился и даже смешно показывал, как, по его мнению, отличается упорядоченное состояние молекул соли в растворе, через который идет ток *(«Это все равно, как если бы меня вот взять да вот*

так прилизать…»), от состояния в растворе без тока, когда молекулы толкутся в полном беспорядке *(«…или вот этак растрепать»).* Зато очень приветствовал стереохимию за то, что она дает более правильную картину расположения атомов в пространстве. Говорил, что мир атомов и молекул также подчинен ньютоновскому закону тяготения. Любил вспоминать молодость, гейдельбергские забавы, конгресс в Карлсруэ, недавно умершего Дюма, Вюрца, Канниццаро, Эрленмейера… Говорил об университетских делах. В то время Дмитрий Иванович безуспешно хлопотал об устройстве новой лаборатории.

Коллеги интересовались, когда же будут выделены деньги. Менделеев их утешал — говорил, что дело не в новых стенах: *«Вон Мариньяк, когда работал в подвале, какие отличные работы делал, а выстроили ему дворец — работать перестал».* В такие минуты он бывал совершенно откровенен, мог даже сам себя ругнуть, скажем, за пристрастие к масленичным блинам: *«Люблю я их, проклятых, хоть они мне и вредны».*

В препаровочной Менделеева можно было дурашливо спросить, сколько денег он огребает за подделку дорогих вин для знаменитых предпринимателей и торговцев братьев Елисеевых (коллеги знали, что Менделеев даже не знаком с этими господами), — он только добродушно посмеивался. Впрочем, о реальных заработках он отвечал без задержки. «Сколько вам заплатил Рагозин за работу на Константиновском заводе?» — *«Три тысячи рублей».* Для всемирно известного ученого это было мало, но Менделеев в своих отношениях с заводчиками всегда избегал больших денег: *«Много дадут и много стребуют».* А вот профессорскую зарплату он считал маленькой, рассказывал, что его английский коллега и ровесник профессор Генри Энфилд Роско получает, в переводе на рубли, 300 тысяч в год, а молодой Джеймс Дьюар — 70 тысяч…

В 1883 году у Менделеева родился сын, названный в честь дедов Иваном. Средств, которые зарабатывал Дмитрий Иванович, вполне хватало на содержание двух семей. Феозва с дочерью снимали хорошую, удобную квартиру в Симеоновском переулке, рядом с гимназией Спешневой, где училась Леля. Лето они проводили на съемной даче в живописных окрестностях станции Сиверской. В 1884 году Дмитрий Иванович начал строить в Боблове, за пределами старого парка, новый дом, в котором через год поселился с новой семьей. Феозве Никитичне с дочерью он предложил занять старый дом, но бывшая жена по понятным причинам отказалась. Тогда он купил для них дачу в Ораниенбауме.

В 1887 году Дмитрий Иванович произвел окончательный раздел своего имущества между двумя семьями. Бывшей жене и дочери вдобавок к даче он выплатил 15 тысяч рублей (на самом деле речь шла об эквиваленте этой суммы в виде четырех тысяч экземпляров четвертого издания «Основ химии», которые можно было легко реализовать по пять рублей за штуку), а Боблово стало считаться наследством Володи и новой семьи. Впрочем, эта «окончательность» была делом условным — он не уставал баловать свою Лелю нарядами и сладостями, а когда пришло время, приготовил ей роскошное приданое.

Казалось, жизнь этого уже немолодого человека после бурных событий наконец-то налаживалась. В 1885 году по выслуге тридцати лет Дмитрию Ивановичу была назначена пенсия в размере трех тысяч рублей в год. Еще 1200 рублей он получал за чтение лекций. Заведование лабораторией Менделеев в это время уже оставил, что едва не стало причиной лишения его университетской квартиры — по тогдашним правилам ее мог занимать только профессор, совмещающий лекционную работу и руководство лабораторией. Но ректорат принял решение в виде исключения оставить ее за сверхштатным профессором Менделеевым на всё время его работы в университете. Словом, всё устраивалось совсем неплохо. Но покоя в его душе не было. С одной стороны, его продолжало терзать чувство вины перед бывшей семьей. Его не могли заглушить ни частые встречи с дочерью, ни дорогие подарки, ни долгие тихие беседы с первой женой, ни попытки сблизить две семьи (последнее ему отчасти удалось — Володя, особенно в первые годы, был в очень хороших отношениях с Анной Ивановной, Любой и Иваном. Брат и сестра с нетерпением ждали каждого его приезда в Боблово). С другой стороны, жизнь в кругу благополучной, всё время

растущей семьи не могла потеснить в его душе смуту, связанную с его научной деятельностью.

Менделеев как никогда болезненно ощущал свое всё более усиливающееся научное одиночество. Другой ученый, сделавший открытие, равное его Периодическому закону, всю оставшуюся жизнь посвятил бы его «химическому» развитию. Он же взамен кропотливого поиска редкоземельных элементов (эту задачу Дмитрий Иванович, по сути, возложил на своего верного ученика и впоследствии друга пражского химика Богуслава Браунера, которого называл «одним из истинных укрепителей Периодического закона»[47]) занялся охотой за эфиром, как оказалось, безуспешной, которой отдал, возможно, лучшие годы своей жизни. Пережив тяжелое поражение, он ушел в свою любимую физическую химию, которая за эти годы почти совершенно изменила свое привычное лицо. Ему, прирожденному натурфилософу, были неинтересны и даже чужды все эти загадки электропроводности, ионных равновесий и диффузий. За считаные годы изменился весь строй и стиль актуальной физикохимии, весь ее научный инструментарий. Менделеев горячо упрекал современную ему научную мысль в том, что она пошла не тем путем, *«запуталась в ионах и электронах»,* не подозревая, что сам может оказаться в оппозиции грядущим великим открытиям.

Но конечно же полностью избавить себя от сомнений, заглушить голос своей бессонной интуиции он был не в состоянии. Временами ему казалось, что главную задачу своей жизни он уже выполнил, что всё самое лучшее позади, что почти никто вокруг не понимает его по-настоящему. Нет, его руки не опускались, но всё чаще приходило ощущение близкого конца жизни и хотелось с кем-то объясниться, открыть кому-то душу. И он выбрал в качестве конфидентов своих детей — не теперешних, еще не вошедших в правильный разум, а завтрашних, взрослых, когда они смогут понять его.

В 1884 году он пишет старшим и младшим детям письма, которые заклеивает в отдельные конверты. На первом делает надпись: *«Володе и Леле от отца их. Прошу вскрыть их не ранее, как после моей смерти и не ранее 1888 года. Д. Менделеев».* На втором тем же летучим и корявым почерком выведено: *«Любе и Ване Менделеевым от отца их. Прошу вскрыть после моей смерти, но не ранее 1900 года. Д. Менделеев».* Он высчитывал, чтобы дети к тому времени уже были студентами. По взволнованному духу, истовости и горячности эти послания местами напоминают письма его матери, в которых она изо всех сил пыталась передать детям свое понимание жизни и человеческого предназначения. Теперь ее сын пишет о том же: как надо правильно жить. Нижеследующие цитаты взяты из письма старшим детям — мало отличающегося по смысловому содержанию от второго, но более развернутого и подробного: *«Жить надо, чтобы выполнять задачу природы, задачу Божью. А ее высшая точка — общество людей. Один каждый — нуль. Надо это помнить и начинать не издали, а подле. Окажись полезен и нужен подле стоящим, но для этого не забывай всё, сумеешь быть полезен, нужен и дорог другим. Так жил или так хотел жить сам я. Выполните же, что не мог».* Жить — значит трудиться. Ради ближних, ради всех русских и далее — вообще ради всех людей. И не только людей — ради всего живого и сущего. В обоих письмах большая часть текста посвящена спасительному труду, который должен был сделать менделеевских детей счастливыми: *«Трудитесь же, Володя и Леля, находите покой от труда, ни в чем другом не найти. Удовольствие пролетит — оно себе, труд оставит след долгой радости — он другим»; «Труд не суета, не работа, не ломка сил, а напротив, спокойное, любовное, размеренное делание того, что надо для других и для себя в данных условиях»* . В письмах есть строки, где отец призывал детей к душевной щедрости, попутно предостерегая от сердечных ошибок, в которых тут же каялся сам: *«Жизнь — не рынок, где ничего даром не дается. Ведь дружба, ведь даже простая приятность отношений, ведь привязанность — не умом, расчетом и соображением определяются.*

---

[47] О роли Браунера можно судить хотя бы по тому факту, что Менделеев специально заказал ему статью «Элементы редких земель» и вставил ее в седьмое издание своих «Основ химии».

Хотите этого — другим давайте даром. Только не бросайте зря — это глупо. Разум не враг сердца, а только его глаза. Для глаз и даже самых милых, самых ласковых, — ничего не давайте, для сердца — хоть всё. Ищите не ума, не внешности — сердца и труда. Их выбирайте себе в спутники. Женитесь и выходите замуж по сердцу и разуму вместе. Если сердце претит — дальше, если разум не велит — тоже бегите. Отец ваш был слаб, был уродлив в этом отношении, не понимал того, что хочет вам сказать». Едва ли не самая интересная часть этих отправленных в будущее наставлений касается увлечения политикой: *«Берегитесь какой-либо малейшей политической чепухи, потому что всё латынское, а политика — латынщина, надо вырывать. Это не значит, не интересуйтесь ничем. Это значит, не составляйте политического или экономического идеала, не старайтесь его выдумывать — напрасны, ранни еще усилия. А когда будет пора, то есть когда недеятельных, бесполезных, дремлющих, жалующихся, хныкающих и сидящих сложа руки будет мало, тогда всё само собой сделается… Помните массу… Где Бог, да царь, да удача дают всё, там еще рано, всё рано, всё надо понемногу, а главное, нужен пример. Пусть имя Менделеева осветится примером детей его — и своим детям скажите…»* И еще Дмитрий Иванович предостерегал потомков от гордыни. Это уже из письма младшим детям — здесь цитата просто чеканная: *«Берегитесь больше всего своих же гордых мыслей — помните, что мысль, кажущаяся столь свободной, — не больше как раб прошлого, совершенно такое же естественное произведение, как волос или лист. Нужна она в общей связи, а одна ничего не значит».*

Кризис тянулся долго, но жизнь продолжалась, принося не только тяжкие раздумья, но и приятные события. Одним из таких событий стала поездка на празднование трехсотлетнего юбилея Эдинбургского университета. Надо сказать, что Англия открыла для себя Менделеева значительно позже континентальной Европы. Первые его работы (по физике газов и происхождению нефти) были изданы там только в 1877 году, а статьи о Периодическом законе появились в английской печати лишь к самому концу семидесятых годов XIX века. Но именно в Великобритании его ожидало наибольшее научное признание. В 1882 году Дмитрий Иванович за открытие Периодического закона был удостоен медали Дэви, которая до сих пор считается очень высокой научной наградой. Правда, точно такую же медаль тогда вручили немцу Лотару Мейеру, из-за чего Менделеев отказался ехать на церемонию вручения. Зато в дальнейшем русский ученый будет удостоен практически всех научных почестей, которые могла воздать иностранцу английская наука. Ему будут вручены Фарадеевская медаль и медаль Копли. К концу жизни он будет обладать званием почетного доктора четырех английских университетов и членом (в большинстве случаев почетным) десяти научных обществ, академий и институтов. Его учебник «Основы химии» выдержит в Англии целых три издания. Надо учесть, что весь этот поток научных званий не имел ничего общего с валом наград, обрушившимся на Менделеева в России после того, как он был забаллотирован на выборах в Академию наук. Англичане руководствовались исключительно конкретным вкладом русского коллеги в мировую науку.

Уже первая поездка Дмитрия Ивановича на Британские острова позволила ему почувствовать симпатии англичан. По настоянию эдинбургского профессора химии и фармации Александра Крум-Брауна он поселился в его доме, где с удовольствием проводил время в обществе хозяина и других его знаменитых гостей — Эдуарда Франкланда, Германа Гельмгольца и Джорджа Габриеля Стокса. В ходе юбилейных мероприятий состоялось вручение Менделееву диплома и мантии доктора права Эдинбургского университета. Это была его первая мантия английского университета, и, как могли убедиться все присутствующие, она Менделееву очень шла. Недаром И. Е. Репин вскоре после возвращения друга написал его портрет в этом великолепном одеянии. *«Ни в какой другой стране я лично не встретил столько симпатий и не нашел столько друзей, как в Англии»,* — говорил Менделеев. Сам он также выделял англичан из прочих европейских народов — уж, конечно, не только за славословия в его честь. Ему импонировали многие

качества британского менталитета, в том числе стремление к полной научной объективности. Иван Дмитриевич приводит рассказ отца о том, как однажды после его доклада о Периодическом законе в одном из английских научных обществ кто-то из присутствующих заявил: «Я жертвую такую-то сумму на премию за лучшее исследование, подтверждающее Периодический закон». После этого немедленно встал другой джентльмен: «А я жертвую такую же сумму за лучшее исследование, опровергающее Периодический закон». Менделееву такой подход чрезвычайно понравился.

Несмотря на душевный кризис 1880-х годов, этот период в деятельности Менделеева можно назвать «классическим», поскольку он дал возможность для одновременной реализации его научных, технологических и экономических интересов. С точки зрения «чистой» науки он с предельной яркостью выразил себя в исследовании растворов. В основе же учения о заводской промышленности лежал его давний, негаснущий интерес к русской нефтяной отрасли. В середине и особенно к концу семидесятых годов XIX века идеи и расчеты Дмитрия Ивановича, сделанные еще в 1863 году, начали находить понимание у крупных нефтепромышленников. Братья Нобели не только открыли в Баку большой, по последнему слову техники оборудованный завод, но и соединили его нефтепроводом с промыслами и морским побережьем. Л. Э. Нобель уже сам писал о необходимости перекачки нефти и ее продуктов по трубопроводам, соглашался с необходимостью транспортировки ее специальными вагонами и судами, ратовал за строительство безопасных нефтехранилищ. Нефтяные заводчики Рагозин, Тер-Акопов, Губонин, Ропс, Шибаев наперегонки работали с нефтяными отходами, добывая из них шедшие на экспорт осветительные, смазочные, ароматические масла и прочие продукты. Если в 1881 году за границу было вывезено 580 тысяч пудов таких масел, то к концу восьмидесятых этот объем вырос почти десятикратно. В 1887 году Россия перестала ввозить американский керосин и начала массированные поставки собственного керосина за рубеж.

Сбылась мечта Менделеева, которой он отдал столько сил. Тем не менее, несмотря на все успехи, русская нефтяная промышленность неуклонно сползала в кризис перепроизводства. Очевидные выгоды цивилизованной добычи, транспортировки и переработки, которые отстаивал Дмитрий Иванович, просто не доходили до ушей большинства тех, кого теперь принято называть игроками нефтяного рынка. На Алшероне царила атмосфера невероятного, дикого рвачества, которая захватывала даже более-менее цивилизованных промышленников. Нефть добывалась единственно ради получения из нее керосина. Остальное сжигалось здесь же в огромных ямах. Хранилища были переполнены дешевой, почти даровой нефтью. Подобно неразумным, жадным детям, ворующим на бахче арбузы и выгрызающим из каждого одну только сердцевину, чтобы тут же схватить и разбить следующий, промышленники пренебрегали нефтью близкого залегания, которую нужно было выкачивать, предпочитая бурение глубоких скважин, чтобы нефть фонтаном сама шла к ним в руки. В результате 150 бакинских скважин давали в сутки столько же нефти, сколько производили 24 тысячи американских.

Внести организацию в этот процесс государство было не в состоянии; впрочем, оно даже не было способно разобраться в ситуации, не то что разработать план, включающий, скажем, такие «мелочи», как строительство маяков для обеспечения прохода нефтеналивных судов, которые тоже надо было еще конструировать и строить. А для вывоза нефти по железной дороге не было ни железных вагонов, ни сколько-нибудь обоснованных тарифов. Строительство нефтепровода Баку-Батум всячески саботировалось, поскольку крупные владельцы скважин не хотели делиться прибылью ни с владельцами трубопровода, ни с переработчиками на Черноморском побережье, тем более что трубопроводом могли воспользоваться и хозяева небольших скважин, которые были особой головной болью нефтяных магнатов. Нефтеносных участков было так много, что масса мелких владельцев, не тративших особых средств на инжиниринг и рабочую силу, стала составлять реальную конкуренцию нефтяным баронам. Тогда те выступили с инициативой обложить каждый пуд добытой сырой нефти пятнадцатикопеечным налогом, подсчитав, что их собственные потери

при этом возместятся прибылью от разорения владельцев небольших участков. Именно этот налог и стал главной темой споров между заводчиками, правительством и специалистами, самым крупным из которых был Менделеев.

В 1886 году Дмитрий Иванович совершает две поездки на бакинские промыслы — и для дела, и для того, чтобы побыть рядом со старшими детьми, побаловать их. В первую поездку он взял с собой шестнадцатилетнего Володю (юноша тоже провел это время с толком — начал составлять проект поднятия уровня Азовского моря запрудой Керченского пролива), во вторую — восемнадцатилетнюю Ольгу, которой он дал возможность почувствовать себя взрослой дамой, возил на фаэтоне, покупал наряды, знакомил с интересными людьми и вообще ни в чем не отказывал. По возвращении из второй поездки Менделеев подает министру финансов Н. Х. Бунге «Записку об акцизе на нефть», в которой со всей определенностью выступает против введения налога на добычу сырой нефти. Среди причин он указывает наличие множества лазеек для обмана и злоупотребления, а кроме того, пишет: *«Тягота же нефтяного налога, если бы он установился, пала бы тяжелым бременем на рабочий класс, которому дешевейшее нефтяное освещение позволяет в длинные наши осенние и зимние вечера увеличивать свой заработок».*

В конце концов для решения вопроса была образована особая комиссия. Мелкие промышленники, инстинктивно чувствуя в Менделееве своего защитника, просили его стать их представителем. Ученый отказался, не желая терять статус объективного эксперта, и был введен в комиссию в качестве представителя Министерства государственных имуществ. Все четыре заседания этой комиссии прошли как четыре раунда жаркой схватки между Менделеевым и его недавними (и, пожалуй, искренними) доброжелателями Нобелем и Рагозиным. Те убеждали, что незачем везти куда-то нефть на переработку, поскольку главные затраты на перегонку составляют расходы на топливо, а у нас под ногами самое дешевое топливо в мире. И вообще, зачем мудрить и тратиться на бакинскую нефть, если очевидно, что она истощается и вообще скоро иссякнет? Вы что, не знаете, что у нас сокращается количество скважин? Тут, конечно, у присутствующих сразу возникал вопрос: зачем же жечь нефть, если она истощается? Но сторонники налога, которым было что терять, не сдавались, сыпали примерами и цифрами, которые якобы свидетельствовали об их правоте. В ответ на это Менделеев привел выведенную им алгебраическую формулу, в которую втащил цену нефти, рабочих рук, транспорта, переработки и всего остального, и неопровержимо доказал, что, как бы ни менялись условия производства, налог вредно отразится на развитии промышленности и на потребителях. Отсюда вывод: вместо введения налога нужно стимулировать соревнование мелких и крупных производителей в сфере максимально полной переработки всех фракций нефти и снижения стоимости продукции и развивать транспортную инфраструктуру.

Тут-то, во время длиннейшего доклада Дмитрия Ивановича, и лопнули его дружба и сотрудничество с «капитанами» российского нефтебизнеса. Рагозин стал высмеивать Менделеева, своей формулой действительно несколько утомившего присутствующих. Расчет делался на то, что Дмитрий Иванович по обыкновению взорвется, но тот неожиданно для всех ограничился кротким замечанием. Тогда Рагозин вызывающим тоном выкрикнул: «Когда вы о своих альфа да фи говорили, я молчал, так дайте же мне теперь о нефтяном деле говорить!» Дмитрий Иванович снова смолчал. Рагозин продолжил свою гневную тираду, пока не выговорился до конца: «Нам все говорят: ничего вы не понимаете, ничего не умеете. Да мы не о тех будущих знатоках говорим, которые пишут на бумаге, мы о себе, дураках, говорим. Ведь если мы к каждому аппарату по профессору поставим, так этого никакая промышленность не выдержит». Дмитрий Иванович опять не промолвил ни слова, хотя внешне казался вполне довольным. На следующий день его спросили, почему же он смолчал. *«Ведь он мой характер знает* , — охотно объяснил Менделеев, — *и нарочно дразнил, чтобы я глупостей не наговорил. А я это понял».*

И всё же этот, по свидетельству В. Е. Тищенко, единственный на его памяти случай, когда Дмитрий Иванович сдержался, представляется труднообъяснимым. Ведь известно, что

Менделеев в свое время так рявкнул на самого генерала Гурко, что всемогущий петербургский генерал-губернатор чуть не впал в ступор. Это случилось, когда Менделеев вызвался сопровождать к Гурко своего более мягкого друга, ректора университета А. Н. Бекетова. Генерал встретил профессоров криком, угрозами свернуть весь университет в бараний рог — и тут же был осажен политически неблагонадежным профессором Менделеевым: *«Как вы смеете мне грозить? Вы кто такой? Солдат и больше ничего. В своем невежестве вы не знаете, кто я такой. Имя Менделеева навеки вписано в историю науки. Знаете ли вы, что он произвел переворот в химии, знаете ли вы, что он открыл периодическую систему элементов? Что такое периодическая система? Отвечайте!»* Герой Балкан конечно же не ответил, но орать перестал.

Возможно, теперь Менделеев думал совсем о другом — дело было в декабре 1886 года, когда он с тревогой ожидал третьих родов Анны Ивановны, в результате которых на свет появились близнецы Мария и Василий. Возможно также, что ученый не вступил в свару, поскольку чувствовал себя победителем в споре и был уверен, что его доводы значительно более убедительные и налога, скорее всего, не будет, что он уже победил этот выгодный толстосумам налог, как в свое время победил откупа и акциз. А может, он впервые в жизни был поражен видом богатых, солидных людей, которые открыто врали из-за денег, и понял, какие потоки грязи будут вылиты на него в ближайшие годы?

Разрозненных, не способных к коллективной защите своих интересов, не конкурирующих, а враждующих между собой русских нефтепромышленников в том же году начнет вытаскивать из нефтяной трясины банкирский дом Ротшильда, который купит дышавшее на ладан Каспийско-Черноморское нефтепромышленное общество и вольет в него шесть миллионов рублей. Владельцы скважин получат возможность брать большие кредиты под низкие проценты и обязательство передавать Ротшильду весь керосин для комиссионной продажи. На рельсы Закавказской железной дороги встанут три тысячи новых вагонов-цистерн. Экспорт будет расти как на дрожжах, но, как всегда, недолго. Закавказская дорога начнет захлебываться (Менделеев это давно предсказывал и призывал строить вторую ветку). В это же время, в конце восьмидесятых, беспредельно вырастет недовольство бакинских магнатов успехами Ротшильда, которого, ясное дело, будут подозревать в желании скупить все бакинские месторождения. Дело дойдет до закона, ограничивающего права иностранцев в нефтяной отрасли. Снова воскреснут слухи о скором истощении бакинских промыслов, которые будут распускаться как российскими, так и американскими нефтяными воротилами.

Дмитрий Иванович и здесь не останется в стороне. Не одобряя импорта товаров, способных конкурировать с российскими, Менделеев будет энергично агитировать за приход в страну иностранных денег. Он обратится с открытым письмом к своим коллегам: президенту Лондонского общества химической промышленности Л. Монду и влиятельному в британских промышленных кругах ученому-механику В. И. Андерсону с доказательством лживости ряда наделавших шума статей. Он будет призывать не бояться операций с кавказской нефтью: «Ее достанет на весь свет, на все потребности». Его слова, конечно, стоили за границей очень дорого. Но остановить новый кризис Дмитрий Иванович будет не в состоянии. Правда, случится он в то время, когда нефтяное «волонтерство» Менделеева закончится. Он загорится новыми интересами.

В начале августа 1887 года Менделеев вновь садится писать завещание, заканчивающееся следующими словами: *«Хоронить прошу как можно проще. «О растворах» не кончил. Прошу И. А. Меншуткина и Д. П. Коновалова как-нибудь закончить и издать. Веру в силу труда и науки и в будущность русского народа завещаю чрез детей всем ученикам и всей молодежи. Силы эти их сохранят… Университету, которым жил и имел значение, завещаю те немногие приборы, которые от меня останутся в лаборатории. Память о нем, товарищах и учениках будет со мной и в могиле…»* Но это будет связано не с очередной депрессией, а с опасным экспериментом, который он был намерен совершить.

Седьмого августа ожидалось полное солнечное затмение, в тень которого попадала территория от Восточной Германии до Тихого океана, включая всю Россию. Максимальное время полного затмения — почти две минуты — соответствовало широте и долготе станции Клин, недалеко от которой было расположено Боблово. По этому случаю в Клин со своей аппаратурой съехались немецкие, итальянские, английские и, конечно, русские ученые. Более всего наблюдателей интересовала солнечная корона, тот ореол нашего светила, который можно видеть только во время полного затмения и в котором тогдашние физики и астрономы искали разгадку тайны происхождения Вселенной. Воздухоплавательный отдел Русского технического общества совместно с военным ведомством планировал непосредственно перед затмением поднять на воздушном шаре одного или двух исследователей, с тем чтобы они могли достичь верхнего уровня облаков и без помех выполнить там астрономические исследования. Для этой цели выделялся военный аэростат с обслугой. Первым, кому прислали предложение полететь, был Д. И. Менделеев, что выглядело вполне естественно, поскольку он являлся не только самым авторитетным специалистом в области аэродинамики, но и энтузиастом воздухоплавания, инициатором сбора денег для постройки воздушного научного судна. Менделеев немедленно согласился и сразу же внес коррективы в подготовку полета. Надувать шар и взлетать первоначально планировалось из Твери, но Дмитрий Иванович потребовал, чтобы старт был перенесен в Клин, а довольно тяжелый наполнитель шара, светильный газ, был заменен на водород, подъемная сила которого в десять раз больше. Он же, прекрасно зная весь небогатый воздушный парк русской армии, потребовал прислать новый аэростат французской постройки под названием «Русскій», каковой и был ему беспрекословно предоставлен вместе с обученной командой под руководством молодого лейб-гвардии поручика А. М. Кованько, уже довольно опытного аэронавта. В корзине аэростата должны были разместиться Кованько, Менделеев и руководитель воздухоплавательного отдела Русского технического общества С. К. Джевецкий. Но уже на стадии наполнения снаряда газом (процесс занимал более суток) стало ясно, что в условиях сырости и постоянного дождя аэростат не сможет поднять троих. Тогда Джевецкий, не желая сорвать полет самому Менделееву, принимает решение подниматься в Твери на обычном шаре Русского технического общества.

За два дня до полета Дмитрий Иванович примчался в соседнее с Бобловым Никольское, где в имении графа А. Олсуфьева ожидала затмения экспедиция Российского физико-химического общества во главе с профессором Н. Г. Егоровым, физиком и специалистом по спектроскопии. Погода была ужасная, небо всё время скрывали тучи, из которых то и дело на землю обрушивались потоки воды. Дороги были размыты, Дмитрия Ивановича всего забрызгало грязью, кроме того, он был расстроен тем, что по пути загнал лошадь — выехал на тройке, приехал на паре. Менделеев сообщил о своем решении лететь на аэростате и попросил снабдить его некоторыми инструментами и советами для правильного наблюдения. Коллеги сочли, что ученый подвергает себя большой опасности, и попытались отговорить его. Он отвечал, что боится лишь одного: *«…что при спуске мужики примут меня за черта и изобьют».* Опасение было отнюдь не пустым: хотя в последнее время в зоне предполагаемого затмения и распространялись специальные брошюрки для успокоения населения, призывавшие не бояться кратковременной темноты, ничто не могло перешибить исконной народной уверенности, что раз врачи распространяют болезни, а ветеринары — падеж скота, то и солнце закроют те самые ученые господа, что заранее говорят, будто падет на землю среди бела дня темнота…

Почти всю ночь накануне полета Дмитрий Иванович мастерил угломер собственной конструкции, с помощью которого намеревался измерить солнечную корону, совсем не выспался, но в начале седьмого уже стоял рядом с аэростатом. Вместе с ним к месту старта прибыли друзья Константин Краевич и Илья Репин и сын Володя. Репин сразу же расположился где-то неподалеку со своим мольбертом. Супруге Дмитрий Иванович запретил ехать на станцию, но она его не послушалась и незаметно добралась к месту подготовки воздушного шара, где перенесла жестокие переживания и несколько нервных обмороков.

Вокруг толпилась многочисленная публика, среди которой оказалось множество знакомых лиц. Все приветствовали Дмитрия Ивановича и желали ему счастливого пути. Правда, одна дама внесла сумятицу — стала упорнейшим образом настаивать, чтобы ее немедленно включили в состав экипажа, но ее удалось довольно быстро успокоить.

Стоило Менделееву и Кованько залезть в корзину, как стало понятно, что намокший шар их не поднимет. Дмитрий Иванович, недолго думая, категорично потребовал, чтобы его спутник немедленно покинул корзину. Кованько опешил — он был офицером и нес ответственность за жизнь пассажира и сохранность военного имущества, — но противиться Менделееву был не в состоянии. Некоторые свидетели пишут, что он сам вылез из корзины, другие — будто бы Дмитрий Иванович вытолкнул его силой. Никаких подробных инструкций от Кованько он также не стал выслушивать, поскольку был уверен, что аэродинамику знает лучше него и с физическими приборами, к каковым совершенно справедливо относил аэростат, также знаком не понаслышке. Тем более что до затмения оставались считаные минуты. Присутствовавший на месте событий вездесущий Владимир Алексеевич Гиляровский так описал старт Менделеева в небо: «Подходит профессор Краевич, дети профессора и знакомые. Целуются, прощаются… Начинает быстро темнеть… «Отдавай!» Шар рванул кверху, и при криках «Ура!» он исчез в темноте. Как сейчас вижу огромную фигуру профессора, его развевающиеся волосы из-под нахлобученной шляпы… Руки подняты кверху — он разбирается в веревках… И сразу исчезает… Делается совершенно темно… Стало холодно и жутко… С некоторыми дамами делается дурно… Мужики за несколько минут перед этим смеялись: «Уж больно сильно господа хитры стали, заранее про небесную планиду знают… А никакого затмения не будет!»… Эти мужики теперь в ужасе бросились бежать почему-то к деревне… Кое-кто лег на землю… Молятся… Причитают… Особенно бабы… А вдали ревет деревенское стадо. Вороны каркают тревожно и носятся низко над полем… Жутко и холодно».

Между тем исчезнувшему за тучами Менделееву казалось, что он поднимается чрезвычайно медленно и не поспевает к затмению. Он решил высыпать за борт один из имевшихся на борту мешков с песком, но песок от влаги слипся комом. Бросать же полный мешок Дмитрий Иванович не решился, боясь пришибить кого-нибудь из зрителей. Он опустил мешок на пол и стал горстями выбрасывать из него песок, пока не опустошил его настолько, чтобы без опаски сбросить вниз. Аэростат пошел вверх значительно быстрее — это же подтвердил и анероид. Затмение уже вступило в полную силу. *«Увидев солнце с «короною», я прежде всего был поражен им и обратился к нему. Шар поднимался, и как всегда бывает при подъеме и спуске, он вращался… Нужно было, прежде всего, не упустить солнца и самому в корзинке поворачиваться, следя глазами за солнцем. Боялся упустить виденное… Кругом солнца я увидел светлый ореол, или светлое кольцо чистого серебристого цвета… Ни красноватого, ни фиолетового, ни желтого оттенка я не видел… Никаких лучей, сияний или чего-нибудь подобного венчику, который иногда рисуют для изображения «короны»… Насколько успел заметить и припомнить, внизу мне было видно утолщение «короны»… Здесь, внизу, если мои глаза не ошиблись, виден был красный оттенок, должно быть, выступов или протуберанций… Полагаю, что на этот обзор нового, но менее величественного, чем ждал, явления пошло примерно 15 секунд… Но следовало немедля приступить к измерениям… Смотря на солнце, я с ужасом увидел, когда мои руки уже коснулись угломерного снаряда, что маленькое облако закрывает виденное… Сперва облако было редкое и туманное, так что сквозь него еще мелькала «корона», но скоро край большого массивного облака заслонил вполне солнце… наблюдать и мерить теперь было нечего… Переход от сумерек к рассвету, теперь озарившему всё пространство, был почти моментальный…»*

Аэростат, быстро обсыхая на солнце, всё резче набирал высоту. Через несколько минут после окончания затмения анероид зафиксировал 2800 метров, потом — 3100, 3200, 3350… Шар летел незнамо куда (перед полетом Менделеев пытался достать карту уезда, да ни у кого не оказалось, кроме урядника, но тот дал лишь срисовать с нее основные ориентиры и

снова спрятал), ветер совсем не чувствовался, но Менделеев знал тому причину: аэростат внутри воздушного потока перемещался с его же скоростью. Потом Дмитрий Иванович на всякий случай обследовал взглядом наружные борта корзины и ахнул — аэростат летел, болтая причальным тросом и якорным канатом. Он даже не заметил, когда они развязались. Эдак он может какую-нибудь часовню или беседку с самоваром на воздух поднять!..

Менделеев начал сматывать сырые канаты в бухты. Насилу управился, закрепил на крюках и понял, что здорово устал и хочет есть. Он огляделся и увидел на полу корзины сверток. Там оказались булочка и бутылка с теплым чаем — видно, кто-то из провожавших (спасибо ему!) незаметно сунул. Поел, посидел в углу корзины, записал кое-что в свою книжечку, потом поднялся и стал потихоньку выпускать из шара газ. Аэростат начал снижаться, стали видны деревни, поля и гати, потом всё более различимы лошади и люди… Кто-то грозил ему ружьем и, возможно, стрелял, только он звука не слышал. Какие-то мужики тянули бредень по краю озера — они тоже задрали головы, а потом стали звать к себе: «Спущайся! Свежая рыба есть!»

Дмитрий Иванович пытался разговаривать с людьми: спрашивал, далеко ли железная дорога, и просил приготовить ему лошадей, но народ внизу был какой-то вялый, бестолковый и безответный. Потом спуск прекратился, поскольку запутался трос, ведущий к выпускному клапану. Менделеев попытался продернуть образовавшийся узелок сквозь петлю, но ситуация явно требовала других мер. Он застегнул на все пуговицы свое длинное черное пальто и полез из корзины вверх — туда, где на экваторе воздушного шара произошла зацепка троса. Он лез по сетке, как любовник по веревочной лестнице, и думал о том, как надо изменить конструкцию выпускной системы аэростата. Пока добрался и продернул трос, придумал. Спустившись вниз, в корзину, он уже точно знал, что придумал правильно. Надо будет обязательно поговорить с Джевецким…

За два с половиной часа его отнесло за сто верст, в Калязинский уезд. Снизившись максимально и выбрав место для приземления, Дмитрий Иванович понял, что сесть не успеет — ветром шар отнесет прямо на деревья. Он решил перелететь лес, для чего снова набрал высоту, сбросив балласт. За лесом были две деревни, Ольгино и Малиновец, между ними он и решил приземлиться. Бросил вниз причальный трос, открыл клапан во всю силу и приготовил нож, чтобы в случае необходимости разрезать ремешок, связывающий бухту каната с якорем. А внизу со всех сторон сбегался народ (потом он узнает, что накануне в здешнем приходе был храмовый праздник и прихожане погуляли так, что на следующий день никто не вышел на работу), многие бежали за шаром через лес. Менделеев выбрал среди них крепкого молодого парня с добрым лицом — тот внушал доверие, к тому же был ближе всех к причальному канату. *«Держи веревку и замотай!»* Крестьянин схватился за канат и тут же взлетел в воздух, но каната не выпустил и ловко обмотал его вокруг дерева. Дмитрий Иванович на всякий случай собирался бросить и якорь, но в этот момент шар тряхнуло, и корзина мягко повалилась на землю.

Первым оказался рядом какой-то подросток, которому Менделеев поручил тянуть трос от клапана, чтобы окончательно стравить водород. Потом подбежал бывший унтер-офицер Преображенского полка Макар Григорьев. Еще до того как представиться, бывалый унтер сказал Менделееву самое на тот момент важное: «Выходите, барин, здесь; будьте покойны, всё будет ладно, спустились на хорошее место, народ добрый, будьте покойны». Дмитрий Иванович вылез из корзины, перекрестился и поздоровался с мужиками. Те отвечали, и каждый в свой черед считал нужным сообщить, что все они здесь, не извольте беспокоиться, народ хороший и добрый — не то что в некоторых деревнях, где людишки озлобились, работают худо, воруют и озорничают. Потом появился староста, а с его приходом, увы, стали нарастать проблемы. Во-первых, Менделеев показался ему человеком подозрительным, за которым надо «присмотреть»; во-вторых, он не торопился выставить охрану около распластанного по земле аэростата и не видел опасности в контакте водорода с мужицкими цигарками. У тамошних жителей — а набежало до тысячи человек — родилась и начала крепнуть мысль: ежели земля здесь общественная, то, значит, всё, что на эту землю упало,

опять же обществу и принадлежит, а кроме того, неплохо бы с вашего превосходительства получить обществу на водку… Менделеев снял с корзины некоторые приборы и отправился налегке в поместье господина Салтыкова. По дороге его перехватил местный трактирщик на одноконной тележке, который уговорил его заехать к нему в заведение. Но у трактира Дмитрия Ивановича уже с нетерпением ожидал сам помещик Салтыков, отставной артиллерийский офицер и племянник писателя Салтыкова-Щедрина. В старинном барском доме Менделеев написал несколько депеш — семье, военному министру и в Русское техническое общество — и лег отдыхать.

Между тем в Клину очнулись, понимая, что отправили в полет пожилого, известного своими чудачествами профессора — одного, без опыта управления воздушным судном. Приехавшие из Питера велосипедисты отправились на поиски веером во все стороны, Володя на телеге помчался в предполагаемом направлении полета шара, но их усилия мало что могли дать в условиях, когда земля раскисла на сотни верст вокруг. Вернувшись, сын Менделеева воспользовался предложенным станционным начальством паровозом, на котором доехал до самой Твери, но и там никаких известий о человеке на воздушном шаре не было. Журналисты и зарубежные гости отбивали по всему миру телеграммы о пропавшем без вести великом русском ученом. Анна Ивановна, полуживая, дала себя увезти в Боблово, где ее ожидали четверо детей, в том числе двое грудных, и куда поминутно стали являться многочисленные визитеры, желающие узнать, нет ли весточки от Дмитрия Ивановича. В довершение всего в Клин была кем-то прислана телеграмма: «Шар видели — Менделеева нет»…

А в это время сам он, уверенный, что депеши дошли и успокоили всех, переживал самую мучительную часть своего путешествия — семидесятиверстную дорогу на станцию Троицкая Ярославской железной дороги: *«Нашли ямщика, и я отправился по столбовой дороге, но такой столбовой дороги, как эта, мне не приходилось еще встречать. Целые версты, с промежутками в несколько десятков саженей, здесь тянется гать, уложенная вся бревнами, так что нет никакой возможности хоть на одну минуту забыться, при том устатке, который я неизбежно чувствовал от прошлого дня. Полная тьма скоро наступила, и ямщик мой требовал непременно остановки, потому что действительно не видно было ни зги. Мы было постучались в один деревенский трактир, но неприветливые хозяева не взялись даже поставить самовар. Поехали кое-как дальше, и по ступицы в воде мы добрались до какого-то другого трактира около озера Сумизского в деревне Федорцевой, где славный, услужливый и очень интересный земский деятель, бывший ямщик Борисов, содержит постоялый двор. Если б на моем месте был кто-либо другой, умеющий передавать рассказы о деятелях наших захолустий, он бы много почерпнул из рассказов, слышанных мною от г. Борисова, когда мы занимались с ним чаепитием. Не мне описывать также и то, как утром ямщик передал меня другому, полупьяному, как мы доехали по глубоким колеям до Троицы, как для сокращения пути поехал мой возница по пашне, как он отделывался от нареканий за это, как я рад был уснуть в вагоне железной дороги…»* В Клин Менделеев добирался через Москву, и когда выходил из вагона, был замечен пассажирами сразу двух поездов — своего и встречного. Публика устроила ему настоящую овацию.

Через пять дней, закончив и сдав в «Русские ведомости» отчет о своем полете, Менделеев вместе с Н. А. Меншуткиным отправился в Манчестер на съезд Британской ассоциации содействия развитию наук, где также выслушал немало восхищенных слов. В Англии он узнал, что удостоен почетного диплома Парижской академии аэростатической метеорологии. В России некоторые газеты писали, что благополучно завершившийся полет — просто счастливый случай. Не мог, дескать, чудаковатый профессор в одиночку справиться с дальним перелетом на аэростате. *«Счастье, помилуй Бог, счастье* **,** — ворчал, читая эти статьи, Менделеев. — *Кроме счастья, нужно кое-что еще»* . Он всё пытался вспомнить, куда же подевались десять минут полета: в сотый раз проверил свои бортовые записи, уточнил время всех наблюдений и замеров, всех работ и приема пищи, отдыха и

переговоров с населением Земли — всё было на своем месте, но сумма временных отрезков между регулярными записями была на десять минут меньше чистого времени между стартом и приземлением. Либо он на десять минут потерял сознание, либо находился в прострации. А может быть, душа его куда-то отлучалась по своей таинственной надобности…

Так закончилась эта воздушная эпопея. Слава богу, никто не пострадал, никого не наказали. Едва не поседевший А. М. Кованько смог, наконец, вздохнуть спокойно. Он еще будет служить в аэронавтике до самой Русско-японской войны и станет первым в России «воздушным» генералом. Только вот почему-то многие современники считали его по-настоящему несчастным человеком. Всю жизнь, с ранних офицерских лет, он летал на неуправляемых воздушных шарах и учил этому всё новые поколения русских аэронавтов. На его счету было множество геройских полетов, его таскало по воздуху в такие дали, куда только ветер и мог долететь, заносило в болота Вологодской губернии, в неведомые дремучие олонецкие леса и прочие, не менее дикие закоулки империи. Пионер русского воздухоплавания Александр Матвеевич Кованько на протяжении десятков лет, прошедших во всем мире под знаком набирающей силу плоскостной, крылатой авиации, станет упорно доказывать, что будущее принадлежит надувным летательным аппаратам. Он презрительно отвернется от успехов «этих самоучек» Можайского, братьев Райт, Фармана, Блерио, Лебоди и останется приверженцем классического монгольфьера XVIII века. Генерал Кованько будет готовить себя и других к победам в давно минувших войнах. Обладая высоким чином и непререкаемым авторитетом, он из самых лучших, самых благородных намерений перекроет дорогу аппаратам тяжелее воздуха, мечтая только об одном: чтобы русские аэростаты создавались исключительно из русских материалов — до последнего лоскутка и шнурочка. Среди нелестных эпитетов, которыми современники наградят его после сокрушительного провала всех попыток воздушной разведки на японском фронте, наиболее частым будет «бескрылый».

Работу над чрезвычайно объемным трудом «Исследование водных растворов по удельному весу» Дмитрий Иванович закончил конечно же сам в том же 1887 году и тогда же издал его отдельной книгой. Этим произведением он завершил многолетнюю работу, начатую еще в 1863 году докторской диссертацией «Рассуждение о соединении спирта с водою» и продолженную учебным курсом «Растворы», читанным в 1873/74 учебном году и имевшим подзаголовок «Курс теоретической химии», а также исследованием 1884 года «Зависимость удельного веса растворов от состава и температуры». Специалисты подсчитали, что этому научному направлению Менделеев отдал больше времени, чем любому другому. К 1887 году его взгляды на природу растворов можно считать совершенно сформировавшимися, а учение о растворах — изложенным с максимальной ясностью.

Историк науки, доктор технических наук Д. Н. Трифонов так определил суть и ценность проделанной работы: ««Квинтэссенция» менделеевской теории растворов заключалась в констатации взаимодействия растворителя и растворенного вещества, причем природа растворов определялась одновременно протекающими процессами ассоциации и диссоциации. По мнению ученого, *«растворы не выделяются в область, чуждую атомистическим представлениям, они входят вместе с обычными определенными соединениями в круг тех понятий, которые господствуют ныне в учении о влиянии масс, о диссоциации и о газах, и в то же время растворы представляют самый общий случай химического взаимодействия, определяемого сравнительно слабыми средствами…»*. Менделеев рассматривал растворы как *«жидкие, непрочные определенные химические соединения в состоянии диссоциации»*. Частицы растворителя могли находиться в соединении, а затем стать свободными, чтобы снова вступить во взаимодействие с частицами растворенного вещества. Таким образом, теория была динамической, что отличало ее от других теорий, существовавших в то время. Идеи, развитые Менделеевым, заметно стимулировали новые исследования растворов и способствовали более глубокому пониманию природы этих важнейших физико-химических систем».

Сам Дмитрий Иванович, завершавший эту огромную работу под влиянием полемики с теорией электролитической диссоциации, позже отмечал: *«Это одно из исследований, наиболее труда стоившее мне, но оно довольно канительно. Из него отчасти родилась мода, если можно так сказать, на растворы. Мои мысли смолоду были там же, где тут и где теперь — грани нет между этими явлениями и чисто химическими. Рад, что успел их тут сказать довольно четко. И рад, что посвятил матери, которой всем обязан».* Посвящение, о котором идет речь, свидетельствует не только о «сыновнем» состоянии души, не совсем обычном для немолодого, давным-давно самостоятельного человека, отца шестерых, в том числе двух взрослых, детей. Горячая благодарность матери, отличавшейся фанатичной верой в необходимость труда, позволяет также трактовать слово «канительно» в значении «тяжко», тем более с учетом того, что аккуратность и долготерпение никогда не были свойственны личности ученого. Впрочем, неожиданное посвящение на первой странице химического исследования будит множество самых разных мыслей: *«Это исследование посвящается памяти матери ее последышем. Она могла его взрастить только своим трудом, ведя заводское дело; воспитывала примером, исправляла любовью и, чтобы отдать науке, вывезла из Сибири, тратя последние средства и силы. Умирая, завещала: избегать латинского самообольщения, настаивать в труде, а не в словах, и терпеливо искать божескую или научную правду, ибо понимала, сколь часто диалектика обманывает, сколь многое еще должно узнать и как при помощи науки без насилия, любовно, но твердо устраняются предрассудки, неправда и ошибки, а достигаются: охрана добытой истины, свобода дальнейшего развития, общее благо и внутреннее благополучие. Заветы матери считает священными Д. Менделеев. Окт. 1887».*

К концу 1880-х годов у Менделеева складывается и целостная система взглядов на развитие русской промышленности. Начав с изучения конкретных экономических и технологических проблем нефтяного комплекса, он выходит на общее «учение о заводской промышленности». Первый шаг к этому был сделан в работах «Об условиях развития заводского дела в России» (1882) и «О возбуждении промышленного развития в России» (1883–1884). Идеи, высказанные в Них, затем получили углубленное развитие в трех статьях, объединенных общим названием «Письма о заводах». Эпистолярная форма была выбрана Менделеевым не случайно, поскольку более всего соответствовала характеру и духу его размышлений, лишенных сухой систематичности и не стесняемых правилами сугубо ученого исследования. Она не помешала автору изложить свои взгляды с максимальной убедительностью.

Главный тезис, на основе которого разворачивается менделеевская аргументация, состоит в исторической необходимости индустриализации страны. Дмитрий Иванович пишет по этому поводу много, образно, ярко… Он объясняет, уговаривает и даже кричит о том, что ограничить себя земледелием — значит попросту погубить, уморить страну: *«…ныне голодуют повально, массами только в странах земледельческих, таких, как Индия, Египет, Россия… голодуют только там, где нет иных заработков, кроме как на земле… Притом ныне голодовать массы могут только там, где нет развитых путей сообщения и сбережений… Голод есть недостаток не хлеба, а денег, осмотрительности и бережливости, а деньги, осмотрительность и бережливость у массы — суть зрелые плоды промышленного, а не земледельческого периода».*

Следующий важный посыл состоит в том, что в отличие от западных стран, развитие которых опирается на мощную частную инициативу, в России, где властвует архаичное сознание, эту миссию должно взять на себя государство. Именно оно (больше некому!) обязано выпестовать цивилизованного промышленника, в первую очередь мелкого, использующего местное сырье и способного лично руководить своим предприятием. Экономический просчет одного такого владельца не будет катастрофой для большого количества людей. А чтобы этих просчетов случалось как можно меньше, необходимо разработать для мелких предприятий четкое законодательство и ввести в практику гласные

статистико-экономические исследования. Не должно быть никаких преимуществ у крупных предприятий, в ущерб средним и мелким. Не должно быть алчной чиновничьей орды — нужно просто сократить большую часть тех, кто живет около казны и «имеет отношение» к деятельности малых предприятий, отдать их функции земству, а взамен бесполезных присутствий открыть промышленные банки, способные выдавать предпринимателям недорогой и удобный кредит. Менделеев также объяснял, где и как выгодно размещать новые предприятия, где, как и чему учить новых промышленников… Конечно, некоторые используемые им понятия сегодня выглядят не очень убедительно, нынче в ходу более звонкие термины вроде «глобализации», «модернизации» и «мобилизации»; но в целом его взгляды до сих пор остаются злободневными.

Зимой и летом 1888 года Менделеев по поручению правительства совершает три длительные поездки в Донецкий каменноугольный бассейн. От него ждут объяснения причин экономической депрессии в этих южных землях. В Харькове, Макеевке и Луганске Дмитрий Иванович собирает информацию, беседует с местными инженерами и владельцами шахт. Наибольший интерес у него вызывает «посад с упрощенным городским управлением» под названием Юзовка (нынешний Донецк), вставший посреди Дикой степи благодаря англичанину Джону Юзу, основателю Новороссийского общества каменноугольного, железного и рельсового производства. За 20 лет Юз создал здесь металлургическое предприятие полного цикла, работающее на своем угле и криворожской железной руде. Можно было бы сказать, что это современное предприятие было перенесено сюда волшебной силой прямо с Британских островов, однако на самом деле почти всё его оборудование и сотня специалистов были доставлены сначала по морю — на восьми огромных кораблях — в Таганрог, а оттуда перевезены на место на сотнях бычьих упряжек. Тем не менее гигант жил — дымили трубы, гудел прокатный стан, бесперебойно работали доменные и коксовые печи. Технология применялась самая передовая — одно горячее дутье чего стоило! По выстроенной предпринимателем Константиновской железной дороге бойко сновали составы, доставлявшие руду и вывозившие готовый прокат. Это был настоящий прогресс, тот самый, на который Менделеев молился смолоду!

Конечно, Юз постарался, чтобы его предприятие произвело впечатление на именитого гостя, но Менделеев и сам был в состоянии всё оценить. *«Вы совершили подвиг,* — сказал он Юзу. — *Недавняя пустыня ожила. Результат очевиден, успех полный, возможность доказана делом».* Он тут же посоветовал Юзу для полноты успеха соединить Константиновскую железную дорогу рокадой с магистралью, идущей в Крым из центра страны. Тот, подумав, решил, что это выгодно. Вскоре менделеевская рокада будет построена (она, кстати, исправно действует до сих пор).

Потом Менделеев побывал на шахте, где имел возможность увидеть, в каких условиях работают горняки. Расположение тонких угольных пластов часто заставляло их рубить уголь лежа, а коногоны тащили и толкали груженые тележки на четвереньках. Рядом с триумфом европейского прогресса, дополняя его, существовала русская каторга. Дмитрий Иванович решил, что каторгу можно и должно отменить. Ему пришла мысль о том, что можно обойтись без добычи угля, для чего нужно создать технологию его сжигания под землей, а на поверхность выводить готовый горючий газ и горячий воздух, пригодный для всяких нужд. Это была идея, по парадоксальности равная альтернативной теории происхождения нефти, но лежащая удивительно близко к реальному применению.[48]

---

[48] В СССР эту идею начали осуществлять только в середине 1950-х годов, построив несколько предприятий такого профиля. Дольше всех из них проработала кузбасская Южно-Абинская станция «Подземгаз», 41 год снабжавшая горючим газом полтора десятка малых котельных Киселевска и Прокопьевска. Она была закрыта в 1996 году по причине физического износа оборудования. Теперь, как пишут специалисты, в России разрабатывают во много раз более эффективные способы подземной газификации угля. Зато у китайцев уже вовсю действуют десять новых предприятий подземной газификации. Известно, что в восьмидесятых годах XX века в США и Западной Европе проводились масштабные опыты по выяснению эффективности менделеевского способа добычи газа, в результате которых выяснилось, что у него есть отличные перспективы.

Менделеев, пребывая в Юзовке, мог бы гордиться собой, ведь его мозг давал ответы на любой встающий перед ним вопрос. Но лишь до того момента, когда он однажды утром отправился побродить по посаду. Даже с помощью трости он едва мог передвигаться по дороге, не просто покрытой грязью, а представлявшей собой сплошное непролазное болото. Но самым жутким местом оказалась бескрайняя топь юзовского базара, который был для четырех тысяч рабочих семей также и толковищем, биржей труда, постоялым двором, обжорными рядами, местом пьянства, воровства, драк, погромов и еще чего угодно, за исключением межнациональной терпимости. Юзовское население состояло из пришлых людей тридцати семи национальностей. Сплотить их мог лишь антисемитизм. Менделееву наверняка рассказывали о последнем погроме, который начался с нормального требования рабочих к администрации выплачивать зарплату каждый месяц. Полиция умело спасла положение, направив демонстрантов в сторону еврейских лавок. Мера сия подействовала столь же безотказно, как соска на плачущего младенца. После погрома народ расходился по-прежнему голодный, но с ощущением, что с петицией они ходили все-таки не зря. Дмитрий Иванович в своем дорожном дневнике записал лишь, что «идти по Юзовке нельзя по причине болот» и что на юзовском базаре «страшно». Видимо, в дальнейшем ему удалось уйти от этих впечатлений, не дать им возможности помешать главной цели его поездки, потому что ни в его записках, направленных после поездки министру государственных имуществ М. Н. Островскому и императору Александру III, ни в популярном очерке «Будущая сила, покоящаяся на берегах Донца» нет упоминаний о юзовском базаре.

Поездка в Донбасс внесла некоторые коррективы в его учение о заводах. Оказалось, что не все мелкие предприятия могут быть выгодны владельцам и государству. Например, вывоз угля из домашних шахт железнодорожным транспортом сразу становится убыточным. Что же касается причин упадка Донбасса, очевидного, несмотря на мощный успех Юзовского комбината, то Менделеев находит их, как теперь говорят, в сфере макроэкономики. На основе сухих цифр и экономических формул он приходит к выводу, что развитие всей русской промышленности тормозится неправильным соотношением между вывозом сырья и ввозом готовых товаров.

А вот личное ощущение от Донбасса у Дмитрия Ивановича сложилось не просто радостное — восторженное! Очерк «Будущая сила…» он начинает эпически-торжественным, «состаренным» слогом: *«Много, много веков в земле пластом лежат, не шевелясь, могучие черные великаны. По слову знахарей их поднимают в наше время и берут в услугу. Без рабов стали обходиться, а сделались сильнее, такие дела великанами производят, о каких при рабах не смели думать. Черные гиганты шутя двигают корабли, молча день и ночь вертят затейливые машины, всё выделывают на сложных заводах и фабриках, катят, где велят, целые поезда с людьми ли или товарами, куют, прядут, силу хозяйскую, спокойствие и досуг во много раз увеличили… Не из сказки это, из жизни, у всех на глазах. Эти поднятые великаны, носители силы и работы — каменные угли, а знахари — наука и промышленность».* Автор исполнен надежды, что именно Донецкий край, с его огромными подземными богатствами, станет главным железоделательным плацдармом страны. Он анализирует все угольные месторождения России, их запасы и свойства, и вновь возвращается к мысли об уникальности Донбасса. Дмитрий Иванович предложил объявить всю местность между Днепром и Доном на юг от 49-й параллели на особом промышленном положении, предоставить донбасским предприятиям льготы, банковские кредиты и ссуды от государства, организовать переселение туда рабочей силы, расчистить русло Северского Донца для прохода по нему грузовых судов… *«Если дело покровительства учреждению и развитию заводов в России возьмет в свои руки правительство, то нужные для того деньги оно найдет, конечно, во много раз скорее и дешевле, чем для какой-то ни было войны, потому уже, что война разоряет, а заводы обогащают».* Правительство не отзовется. Индустриализация Донбасса и всей империи произойдет значительно позже, при всем

известных обстоятельствах.

Отношения со студентами, которые безоговорочно доверяли не разделявшему их убеждений, но абсолютно благородному и сочувствующему их положению профессору, имели для него и оборотную сторону. Студенты видели в нем своего защитника и посредника в отношениях с начальством, что в свою очередь вызывало к нему недобрые чувства среди тех, кто призывал не церемониться с бунтовщиками. По университету то и дело начинали распространяться слухи, что Дмитрия Ивановича вот-вот уволят, и это делало атмосферу вокруг него еще более тревожной. Во время его длительных поездок в Донбасс ректорату даже пришлось вывесить на видном месте объявление, информирующее, что профессор Менделеев находится в научной командировке. Бесконечная война студентов со «старым миром» действовала на Дмитрия Ивановича угнетающе: *«В 1887 г. университетские беспорядки мне так надоели, что хотел уходить из Университета».*

В 1884 году противники действовавшего с 1863 года либерального университетского устава сумели добиться его отмены. Взамен пироговского проекта устава, с его концепцией триединства воспитания, образования и науки, был принят диаметрально противоположный ему проект графа Толстого. Помимо нелепых изменений в учебном процессе, новый устав отменял выборное начало при назначении ректора, декана и профессоров, а самих профессоров объявлял, по сути, посторонними лицами, допущенными к чтению лекций. Студенты также считались «отдельными посетителями университета», которым запрещалась любая корпоративная деятельность. Была повышена плата за обучение, что еще больше затрудняло прием студентов из бедных слоев общества. Наконец, студентов вновь обязали носить форменную одежду, чего не был уже много лет. Этих мер хватило всего на три года относительного затишья.

В марте 1887 года полиция арестовала троих студентов университета с самодельными бомбами, предназначенными для покушения на Александра III. Царя вместе с семьей хотели взорвать во время богослужения. Среди них был один из лучших учеников Менделеева Александр Ульянов. Дмитрию Ивановичу принадлежат слова о том, что он ненавидит революцию уже только за то, что она забрала у науки двух самых талантливых его учеников — Ульянова и Кибальчича. Немедленно вслед за этими арестами к университету были применены совершенно чудовищные санкции, отнюдь не придуманные самим правительством, а предложенные в специальном проекте профессором М. И. Владиславлевым. Первым делом министр просвещения И. Д. Делянов (автор «циркуляра о кухаркиных детях», предписывавшего не принимать в гимназию «детей кучеров, прачек, мелких лавочников») потребовал от руководства университета предоставить ему список 800—1000 студентов, которых можно отнести к недостаточно обеспеченным слоям населения. Студенты, испугавшись, что их могут зачислить в голоштанные революционеры, в массовом порядке стали отказываться от получения стипендий. Узнав, что его требование вызвало бурное обсуждение в совете университета, министр немедленно уволил ректора И. Е. Андриевского, деканов Н. А. Меншуткина и Ю. Э. Янсонса. Секретари физико-математического и юридического факультетов сами отказались от своих должностей. Новым ректором был назначен Владиславлев, который немедленно приступил к чистке. 126 студентов, вернувшись к началу учебного года на занятия, узнали о том, что они отчислены лично ректором. Всем, кто намерен был поступать на первый курс, нужно было иметь свидетельство о благонадежности от директора гимназии, а иногородние могли стать студентами только в том случае, если имели возможность жить у родственников, дававших подписку постоянно наблюдать за приезжими. Плата за обучение была повышена до 25 рублей, не считая еженедельной оплаты посещенных лекций того или иного профессора. Стремление ректора сократить (если не убить вообще) новый набор увенчалось успехом: в 1887/88 учебном году было набрано всего 200 новых студентов вместо 650.

Ситуация в университете вызывала у Дмитрия Ивановича приступы всё более усиливавшегося пессимизма. Отвращение к происходящему заставило его отказаться от

места штатного профессора, которое он мог занять после смерти в августе 1886 года Александра Михайловича Бутлерова, уход которого он тяжело переживал. Такое решение было им принято даже несмотря на то, что средства, отпускаемые на оплату труда сверхштатных профессоров, как и все университетские финансы, теперь контролировал лично Владиславлев — холуй перед начальством и хам по отношению к профессорам, приват-доцентам и лаборантам. Владиславлев открыто подозревал их всех в подстрекательстве студентов к неповиновению.

В начале декабря питерские студенты были взбудоражены слухами о беспорядках в Московском университете, при подавлении которых оказались убитые и раненые. Эта новость стала последней каплей, переполнившей чашу их терпения. И без того разгневанные недавним увольнением своего любимца профессора истории русской литературы О. Ф. Миллера и упорными слухами, что Владиславлев после Рождества устроит массовое отчисление из университета, студенты, наплевав на запреты, стали собираться на бурные сходки. Владиславлев ответил вызовом полиции, которая стала являться в университет ежедневно, как на работу. Студентов никто не желал слушать, положение складывалось патовое. Тогда группа из двадцати профессоров призвала ректора и министра прекратить занятия в университете. Их голос хотя и не сразу, но все-таки был услышан, университет закрыли до конца января. За это время злопамятный Владиславлев отчислил еще 80 студентов…

Менделеев не принимал участия в этих событиях. В нем всё более крепло желание покинуть университет, на глазах превращавшийся из храма свободы и знаний в место бескомпромиссной и беспринципной борьбы. Он понимал, что рано или поздно это решение будет им принято. Впрочем, масштабы внутреннего бедствия были для профессора Менделеева значительно более разрушительными, если не сказать убийственными, о чем свидетельствует тот факт, что летом 1888 года он вновь начал думать об уходе из жизни и составил новое завещание. Лишенный возможности отвратить студентов от бунтарских действий (Владиславлев запретил профессорам контактировать со студентами вне лекций, оставив это право только за собой; правда, воспользоваться им он не мог по той причине, что разъяренные студенты, увидев приближение ректора, кричали «вон!» с таким чувством, что он тут же бежал за полицией) или хотя бы объяснить чиновникам от просвещения суть студенческих требований, он, слава богу, нашел в себе силы отогнать черные мысли и с головой уйти в свои исследования растворов, выведение закономерностей промышленного развития и море других дел, которых по-прежнему жаждала его творческая натура. Внешне его жизнь, если не считать университетских событий, была насыщена вполне оптимистическим содержанием. Научная работа, командировки в конце 1880-х годов сопровождались следовавшими буквально один за другим знаками признания его заслуг в разных странах мира: от Общества естествоиспытателей Брауншвейга, Югославянской академии наук и искусств, Американской академии искусств и наук, Королевской академии наук в Копенгагене и, конечно, особо ценимыми им английскими наградами и почетными званиями.

В ноябре 1888 года он получает редкое, а по отношению к русскому ученому исключительное, приглашение прочесть в Королевском институте Великобритании лекцию на тему по своему выбору. Зная сложности Менделеева с английским языком, британцы предложили следующий выход: известный ученый-механик Вильям Андерсон, в совершенстве знающий русский язык (в молодости он жил и учился в Петербурге), берется самым бережным образом перевести его лекцию, а виднейший член Королевского института, кембриджский профессор химии Джон Дьюар, готов прочесть ее в присутствии русского коллеги. Менделеев с радостью согласился. Темой лекции он избрал приложение третьего принципа Ньютона к пониманию механизма химических замещений. Едва он сел писать лекцию, как последовало еще одно приглашение, на этот раз от Британского химического общества — его члены предоставляли русскому ученому право почетного «Фарадеевского чтения» на тему «Периодический закон химических элементов». Такая честь выпадала

кому-то из иностранных ученых раз в несколько лет. Условия были те же: общество берет на себя перевод текста и его оглашение в присутствии Менделеева. Оба приглашения, Дмитрию Ивановичу и его супруге, вручил лично Андерсон, проделавший для этого путь через всю Европу.

Девятнадцатого мая в огромном зале Королевского института чете Менделеевых был оказан почти королевский прием. Помещение было до отказа заполнено мужчинами во фраках и декольтированными дамами. Оказалось, что многие готовились к этому событию заранее, некоторые даже всю зиму учили русский язык. Супругу лектора лично сопроводил на почетное место сам президент академии. В это время Дмитрий Иванович и Дьюар вместе вышли на возвышение и встали рядом. Несмотря на то, что лекция была долгой, ее финал был встречен овацией. Дальше Менделеев по-русски отвечал на вопросы, что также вызывало у сдержанных англичан громовые аплодисменты. «Взволнованный Дмитрий Иванович, — пишет в своих мемуарах Анна Ивановна, — был очень хорош со своим одухотворенным, вдохновенным выражением лица. Никогда не видела я более простого, естественного, бессознательного величия человеческого духа и достоинства при полной, искренней простоте и скромности». Во время этого события у нее было много поводов прийти в восторг, но наивысшей точки ее эмоции достигли в тот момент, когда Дьюар на последовавшем за лекцией рауте провел ее в актовый зал института и показал висевший на видном месте портрет ее мужа.

А вот на «Фарадеевском чтении» Менделеевы лично присутствовать не смогли — пришла весть о тяжелой болезни Васи, и они срочно покинули Лондон. Впрочем, вторая лекция в Лондоне была прочитана с тем же успехом, и отчет о ней опубликовали сразу два научных журналах. Вскоре Дмитрий Иванович получил от благодарных английских коллег Фарадеевскую медаль, а также две драгоценные вазы с вензелем Анны Ивановны и кубок из золота с алюминием с вензелем Менделеева…

Пребывавшим в неведении родителям предстояло совершить мучительную дорогу. Пока они добирались, доктор Иван Иванович Орлов в условиях деревенского дома провел Васе, оставленному вместе с Ваней, Любой и Машей на попечении Нади Капустиной и бобловской прислуги, удачную операцию: сделал прокол легких с резекцией двух ребер и тем спас ребенка. Мальчик, которому был лишь год и девять месяцев, быстро пошел на поправку. Менделеевы примчались в Боблово на следующий день после операции. Старая служанка Катя ожидала их за воротами и сразу крикнула: «Васенька жив, жив, операция сделана хорошо!» Ребенок лежал в кабинете, он был спокоен. Менделеев вошел на цыпочках и стал издалека крестить сына. Потом увидел, что Вася не спит, приблизился к нему и стал повторять: *«Папа приехал, твой папочка приехал, папа…»* В его голосе было столько любви, нежности и печали, что все присутствующие не могли удержаться от слез. Надежда Капустина, описавшая эту сцену, рассказывает: «Дмитрий Иванович так любил своих детей, что всякую небольшую услугу или заботу о них ставил очень высоко, он всё не знал, чем отблагодарить меня за то, что я ходила за больным его ребенком, и на следующий год сумел широко это сделать. Он дал средства на поездку моей заболевшей племяннице со мной в Крым, в Гурзуф, на всю зиму, где она и поправилась».

Осенью 1889 года Дмитрий Иванович переживал волнующее семейное событие — свадьбу дочери Ольги, которая по любви и по зрелому размышлению вышла замуж за мичмана Алексея Трирогова. Они познакомились еще в детстве, когда тринадцатилетний кадет Алеша Трирогов впервые пришел в гости к своему другу по Морскому училищу Володе Менделееву. Вскоре он стал здесь своим человеком. Мальчик очень нравился Менделееву, к тому же был сыном хорошо знакомого ему чуть ли не со студенческих лет Владимира Григорьевича Трирогова, действительного статского советника, саратовского мирового посредника, а впоследствии члена Статистического совета Министерства внутренних дел. Воспитанного, умного и веселого Алешу в доме Менделеевых любили все, а десятилетняя Оля, как сама позже признавалась в своих записках, была им навсегда

обворожена. Они были лучшей парой на детских праздниках, которые любил устраивать Дмитрий Иванович: «Как с хозяйкой вечера, Трирогов открыл со мной танцы первым вальсом. Я была одета «Красной шапочкой», а он неаполитанским рыбаком. Мое детское сердце замерло, когда мы вдвоем начали скользить по зеркально натертому полу, но через мгновение и другие пары закружились возле нас. Отец был весел и любезен с гостями, и мать, как всегда, была приветливой и ласковой хозяйкой…» Трироговы жили в саратовском имении, поэтому каждое воскресенье Алеша спешил к Менделеевым, где всегда были ему рады. Теперь Алексею было 25 лет (отец не разрешал ему жениться до достижения этого возраста, необходимого, по его мнению, для главы семьи), Ольге — 21 год, и они по-прежнему были верны друг другу. Готовясь к свадьбе дочери, Менделеев лично хлопотал по поводу обстановки их будущей квартиры, сам купил для нее мебель и всё необходимое, вплоть до столового серебра, которое заказал у известного ювелира Грачева.

Устроенная по всем правилам свадебная церемония удалась на славу. Жених, по обычаю, забирал невесту из отцовского дома, в связи с чем возле университета скопилось множество нарядных карет, а порядок среди любопытствующей публики поддерживал наряд конной полиции. Феозва Никитична в квартиру не вошла, а присоединилась к свадьбе уже в университетской церкви, где венчание происходило в присутствии огромного количества приглашенных — одних только офицеров Гвардейского корпуса было не менее шестидесяти человек. Пели два хора. После официальной процедуры и долгих поздравлений все поехали на обед к Трироговым. Потом праздничная кавалькада отправилась в дом матери невесты и оттуда — на вокзал, проводить молодоженов в свадебное путешествие. Они решили провести медовый месяц в трироговском имении в Саратовской губернии, где могли чувствовать себя хозяевами, поскольку Владимир Григорьевич получил назначение в Петербурге и жил теперь с женой в столице. (Родители Алексея, несмотря на переезд, продолжат обустраивать свое родовое гнездо в селе Аряш, станут часто в него приезжать и успеют сделать много толкового и полезного. Владимир Григорьевич заложил здесь плодово-ягодный питомник с деревьями и кустарниками, которые выписывал из Никитского ботанического сада и даже из Северной Америки. Его заботами на саратовской земле приживутся кедр, пихта, сосна Веймуха, ели, разные сорта акации, ивы, лоха, шелковицы, черемухи… Особенно охотно крестьяне брали у Трироговых саженцы красной смородины и яблони. Помещики Трироговы сдавали крестьянам в льготную аренду участки своей земли с условием использования ее под садоводство, причем посадочный материал в этом случае отпускался бесплатно. А еще они завели у себя производство отличных замков, которые показывали на выставках и ярмарках.)

Ольга Дмитриевна также оставила свой добрый след в Аряше. Она прожила с Алексеем Трироговым 15 счастливых лет и после его смерти оказалась единственной хозяйкой старого поместья, его строгой, но справедливой управительницей. Она без всяких процентов ссужала крестьянам зерно на посев, строила многодетным беднякам жилье. Дочь Менделеева окажется талантливым кинологом, будет разводить на продажу породистых охотничьих собак. Но придет время, и местные жители отплатят ей по-своему. Сразу после революции поместье будет разграблено, мужики разобьют стеклянный дендрарий, повыдергают, смеха ради, гортензии, жасмин и магнолию, превратят поливочный бассейн в нужник. Разнесут фамильный склеп, где рядом с Трироговыми была похоронена и Феозва Никитична Менделеева, скончавшаяся на руках у дочери в 1905 году. Кирпич пустят на перекладку печей, а из цинковых гробов понаделают ведер да корыт.

Но тогда, на Николаевском вокзале, этого никто не предполагал. Дмитрий Иванович во фраке с лентой и орденами, в распахнутом пальто, с развевающимися волосами, не замечая глазеющих на него пассажиров, пробивал сквозь толпу дорогу для молодых и размахивал корзинкой, в которую своими руками уложил всё необходимое для еды и чаепития в дороге, включая посуду, приборы и салфетки. В вагоне он сразу же начнет распоряжаться, чтобы Ольге с мужем немедленно подали горячий чай: *«Ничто так не успокаивает нервы, как чай. Вы сейчас же пейте, как поезд тронется».* Звучит второй звонок, через пару минут третий,

поезд трогается… Все провожающие потихоньку отстают, и только Дмитрий Иванович, обнимая окно, продолжает всматриваться плачущими глазами в наполненное цветами, тортами, конфетами и подарками купе. Он идет всё быстрее и быстрее, потом бежит и вдруг резко останавливается. Конец платформы.

Глава девятая
ТАРИФ

Несмотря на то, что Менделеев никогда не скрывал своих монархических и «постепеновских» взглядов, радикальная молодежь продолжала видеть в нем не только посредника и выразителя своих интересов в столкновениях с начальством, но более того — почти единомышшенника, нуждающегося в их защите от начальства. Даже в Москве студенты пытались навязать приезжему питерскому профессору несвойственную ему бунтарскую позицию. Характерное описание одного из таких фактов находим в мемуарах известного адвоката и деятеля кадетской партии В. А. Маклакова, в ту пору студента Московского университета: «Этой зимой был юбилей Ньютона, который праздновался в соединенном заседании нескольких ученых обществ, под председательством профессора В. Я. Цингера. Как естественник, я пошел на заседание. Было много студентов. Мы увидали за столом Д. И. Менделеева. Он был в это время особенно популярен не как великий ученый, а как «протестант». Тогда рассказывали, будто во время беспорядков в Петербургском университете Менделеев заступился за студентов и, вызванный к министру народного просвещения, на вопрос последнего, знает ли он, Менделеев, что его ожидает, гордо ответил: «Знаю: лучшая кафедра в Европе». Не знаю, правда ли это, но нам это очень понравилось, и Менделеев стал нашим героем. Неожиданно увидев его на заседании, мы решили, что этого так оставить нельзя. Во время антракта мы заявили председателю Цингеру, что если Менделееву не будет предложено почетное председательство, то мы сорвем заседание. В. Я. Цингер с сумасшедшими спорить не стал. И хотя Менделеев был специально приглашен на это собрание, хотя его присутствие сюрпризом не было ни для кого, кроме нас, после возобновления заседания Цингер заявил торжественным тоном, что, узнав, что среди нас присутствует знаменитый ученый (кто-то из нас закричал «и общественный деятель») Д. И. Менделеев, он просит его принять на себя почетное председательствование на остальную часть заседания. Мы неистово аплодировали и вопили. Публика недоумевала, но не возражала. Мы были довольны. Но на утро, вспоминая происшедшее, я нашел, что надо еще что-то сделать…» Того же мнения придерживались и коллеги Маклакова по революционной работе. Все считали, что приезд Менделеева надо «использовать». К обсуждению немедленно подключились не только искренние дураки, каким, в частности, откровенно описывает себя Маклаков, но и мутные личности с ореолом мыслителей, откровенные подстрекатели из числа вечных студентов, а также лгуны, выдающие себя за «давних знакомых» и «соратников Дмитрия Ивановича по движению».

Решено было послать к Менделееву в гостиницу своих представителей. Маклаков пишет: «Все немедленно согласились быть в депутации. Никто себя не спросил, зачем и, главное, от кого идет «депутация»?.. Входя по лестнице, мы решили, что начнем с того, что явились как депутация. В разговоре станет понятно, о чем говорить. На стук в дверь кто-то ответил: «Войдите». За перегородкой передней мы увидали проф. А. Г. Столетова и остолбенели. Перспектива его встретить нам в голову не приходила, а разговор при нем не прельщал. (Характер у выдающегося физика Александра Григорьевича Столетова был, по мнению современников, еще хуже, чем у Менделеева, недаром вопрос о его приеме в Академию наук даже не был принят к рассмотрению. И взгляды на любую антиправительственную деятельность он имел, не в пример коллеге Менделееву, самые жесткие. — *М. Б* .) Мы стояли в коридоре и переглядывались. Чей-то голос нетерпеливо сказал: «Ну, что же, входите». И показалась фигура Менделеева. Тогда один из нас объявил торжественным тоном: «Депутация Московского университета». Менделеев как-то

стремительно бросился к нам, постепенно вытеснял нас назад в коридор, низко кланялся, торопливо жал всем нам руки. Он говорил *«благодарю, очень благодарю, но извините, не могу, никак не могу* ». Когда мы очутились в коридоре, он, держась рукой за дверь, всё еще кланялся, повторял «благодарю, не могу» и скрылся. Щелкнул замок. Мы разошлись не без конфуза».

Юный Маклаков на этом не остановился и предпринял еще одну попытку навестить Дмитрия Ивановича. К счастью, тот уже уехал на вокзал. Через несколько дней Маклаков у себя дома за семейным столом услышал, как один из гостей, университетский профессор, рассказывал его отцу, тоже профессору Московского университета, о том, как сам Менделеев расценил обстоятельства своего пребывания в Белокаменной. «Менделеев объяснил, что приехал на несколько дней отдохнуть и кое-кого увидать, но что здесь все рехнулись. Накануне ему преподнесли «сюрприз» председательствования, а на другой день в одно утро пришло 4 или 5 студенческих депутаций. Он принял одну, не зная в чем дело; остальных не стал и пускать. Но, поняв, что ему не дадут здесь покоя, поторопился уехать».

История эта произошла, по всей видимости, уже после отставки Менделеева (Ньютон родился в 1642 году, следовательно, юбилей отмечался в 1892-м). Сам по себе его уход из университета никакими громкими заявлениями не сопровождался. Ничего подобного не было и быть не могло, а были непрекращающаяся нервотрепка и тяжкое разочарование. Когда пишут о причинах ухода Менделеева из Петербургского университета, в первую очередь указывают на его конфликт с министром просвещения графом Деляновым. Действительно, это столкновение, спровоцированное не столько Менделеевым и даже не Деляновым, а, скорее, одержимыми судорожным нетерпением студентами, толкнувшими своего любимого профессора в безвыходную ситуацию, является главным обстоятельством, вынудившим Менделеева подать в отставку. Однако не всё так просто. Во-первых, этот поступок великого ученого и педагога выглядит вполне естественным, соответствующим его внутреннему состоянию: *«…утомленный 35-летнею профессурою, я решился ее совершенно оставить, тем более что возобновляющиеся студенческие беспорядки просто влияли на мое некрепкое здоровье, а начавший действовать новый университетский устав, очевидно, начал уже гасить светлые стороны лишь недавно возбужденной нашей научной деятельности и понизил влияние чистой науки на молодежь».* Покинув университет, Дмитрий Иванович, конечно, терял привычный образ жизни, лабораторию, квартиру, хорошее жалованье, но и взамен получал немало: возможность расходовать время по собственному усмотрению и работать над масштабными проектами (он к этому времени уже увлекся экономикой заводского дела, проблемами международной торговли и научным обоснованием торговых тарифов, а вскоре охотно займется изобретением нового универсального пороха).

Что же касается материального обеспечения, то у Менделеева оставались пенсия, доходы от переиздания «Основ химии», заработок эксперта и, конечно, вознаграждение за выполнение крупных заданий, каковых впереди намечалось множество. Причем специалисту такого уровня готовы были платить значительно больше, чем он соглашался брать. Когда, например, чиновник военного ведомства, которому было поручено утрясти с Менделеевым все формальности его работы в качестве консультанта по разработке бездымного пороха в Техническом комитете министерства, спросил, какое жалованье тот хотел бы получать, ученый, в свою очередь, поинтересовался: *«Какое вознаграждение получают генералы и адмиралы, члены Технического комитета?»* — «По две тысячи в год». — *«Ну, и мне две тысячи».* — «Но мне разрешено предложить вам до 30 тысяч». — *«Нет, много дадут, много и спросят. Две тысячи!»*

Однако эти плюсы, вполне очевидные и до 1890 года, сами по себе, конечно, не могли заставить Менделеева уйти из университета. Слишком многое в его жизни было связано с этими стенами. Не будем забывать, что и Главный педагогический институт, его альма-матер, когда-то размещался в этом же здании. Здесь Менделеев подростком боролся с болезнью, впервые вкусил радость науки, прошел путь от слабосильного, плохо

успевающего студента до вдохновенного лектора и всемирно известного ученого. Здесь росли, открывали мир его дети, а сам он не раз переживал яркие озарения и мучительные ошибки. Здесь он был доведен до последней черты своей невероятной любовью и невыносимой семейной трагедией. Сюда к нему приходили самые лучшие, самые талантливые люди России. Менделееву было уже 56 лет, и он нес ответственность не только за себя, но и за молодую жену и четверых малолетних детей, за первую жену, за старшего сына Володю, у которого служба пока не очень складывалась. Слава богу, удалось устроить его на недавно спущенный на воду фрегат «Память Азова». Скоро фрегат уходит в дальний поход — вокруг Европы, потом вокруг Азии. Это будет хорошее плавание — на судне цесаревич Николай Александрович отправится в образовательное путешествие, пусть будущий государь увидит мир и утвердится в понимании России…

События, приведшие к отставке Д. И. Менделеева, были описаны им самим сразу же после случившегося, причем столь многословно, что мы вынуждены ограничиться пересказом самых главных подробностей.

Всё началось во вторник, 13 марта 1890 года, когда к нему домой пришел сначала профессор Ф. Я. Гоби, а потом профессора Иностранцев с Докучаевым, встревоженные подготовкой назначенной на следующий день университетской сходки, в которой были намерены участвовать и студенты других учебных заведений. Гости рассказали, что депутаты от студентов, не будучи в состоянии толком выразить суть своих претензий, тем не менее обещали: если профессора выйдут поговорить с ними и примут их петиции с требованием реформ в университете, то беспорядков не будет, даже если начальство оставит их послание без последствий. То есть назревала буза ради бузы, и бузотеры объясняли профессорам, как их, бузотеров, можно успокоить и умиротворить. Профессора решили принять петицию и пришли звать с собой Менделеева. У Дмитрия Ивановича была в этот день лекция, поэтому он в любом случае должен был быть в университете. Он, как обычно, дал согласие на участие в переговорах, умиротворении и передаче требований — лишь бы уберечь студентов от беды, а университет от потрясений.

На следующий день посредине лекции Менделеева срочно пригласили от имени попечителя в правление университета. Он все-таки закончил лекцию, после чего направился по вызову, но попечителя не нашел, зато встретил нескольких профессоров вместе с «исправляющим должность» ректора профессором Васильевым (Владиславлев в это время сильно болел). Профессора проследовали в зал, битком набитый студентами. Менделеев отметил про себя, что это сборище выгодно отличалось от сходок трехлетней давности, когда аудитория буквально источала злобу. Началось «умиротворение». Уважаемые преподаватели просили молодых людей успокоиться, говорили о неуместности и опасности беспорядков; студенты слушали их вполне доброжелательно, некоторым даже хлопали. Потом какой-то студент прочитал с грязного, замусоленного листка «требования». После этого толпа стала выкликать фамилию Менделеева. Тот поднялся на кафедру и сообщил, что согласен передать требования в устном виде министру. Все успокоились и разошлись. Менделеев пошел домой завтракать, пригласив с собой Бекетова и Иностранцева. Вскоре к их компании присоединился и профессор Вагнер. Потом у Дмитрия Ивановича была еще одна лекция, о сере, хлоре и марганце, по завершении которой он отправился к больному Владиславлеву и доложил все подробности сходки.

Владиславлев был неподдельно обрадован благополучным исходом дела и даже заявил, что в ситуации, когда «нет озлоблений и поводов к строгостям», будь он в здравии, сам принял бы петицию от каждого студента и лично передал министру. С тем Менделеев и отправился к графу Ивану Давыдовичу Делянову, у которого тоже состоялся тихий и благопристойный разговор с участием министра финансов и старого друга Менделеева Ивана Алексеевича Вышнеградского. Делянов говорил, что причина беспорядков «бабья», поскольку всё началось из-за каких-то женщин, имеющих отношение к Петровской академии, что беспорядки, слава богу, не вышли за опасные пределы, арестованных нет, вот завтра бы еще как-то пригасить, утихомирить демонстрацию… Никаких упреков

Менделееву по поводу передачи устных требований студентов не прозвучало. Уставший Дмитрий Иванович заспешил домой, поскольку была среда, традиционный день приемов, и он должен был встречать гостей.

На следующий день, в четверг, плохо выспавшийся Менделеев пришел на лекцию загодя и расположился в препаровочной отдохнуть, а заодно хотел узнать у Тищенко последние новости. Беспорядки в университете продолжались, но арестов пока не было. Говорили о том, что полиция хорошо знает всех зачинщиков и активистов, включая сына профессора Березина; если университет не успокоится, завтра они будут посажены в крепость. Рассказывали, что попечитель накануне сам созвал студентов и обрушился на них столь яростно, чуть ли не с кулаками, что многие восприняли его угрозы как запрет посещать лекции. Все теперь ждали еще бблыпих беспорядков. Расстроенный этими сообщениями Менделеев направился читать следующую лекцию, уже зная, что студенты в невиданном количестве набились в его аудиторию.

Перед началом лекции к нему подошли два депутата и снова завели разговор о петиции. Дескать, сейчас петербургские студенты стягиваются к Казанскому собору, из университета пока не идут, но люди заведены, не дай бог, какой-нибудь дурень выкрикнет, чтобы шли к собору… Этого можно избежать, если объявить, что Дмитрий Иванович примет вчерашние заявления, изложенные на этот раз письменно, и передаст министру. Менделеев наотрез отказался, заявив, что не допустит на своей лекции никаких петиций. Тогда депутаты стали уговаривать его принять послание после лекции, уверяя, что это послужит концом беспорядков. Профессор, помня вчерашние слова Владиславлева, согласился при условии, что требования будут от одного человека, а никак не от всех. Лекцию о марганце и марганцевых рудах он повернул таким образом, чтобы хоть на миг разбудить в молодых слушателях мысль о служении родине, разработке ее богатств и бесплодности умственных метаний… Но тщетно — после лекции ему принесли лист бумаги, свидетельствующий именно об этих метаниях.

Менделеев прочел еще одну лекцию и пошел к коллегам советоваться. Деканы факультетов смотрели сочувственно, но молчали. Васильев сказался усталым и предложил, чтобы бумагу Делянову отвез инспектор. Дмитрий Иванович счел это неудобным и решил доставить петицию сам. Понимал, конечно, что уж теперь-то вполне может нарваться на министерский гнев и что «депутаты» могут оказаться просто болтунами. Но ведь нельзя было просто отказаться от надежды, что эта бумажка может спасти множество горячих голов от ареста, а университет — от сцен злобы и насилия. *«И думается мне,* — писал Менделеев по горячим следам, — *что дрянь выйдут людишки, если уверили в тишине и не соблюдутся, и если соблюдутся, и всё пройдет, то бог и государь пусть меня осудят, я же думаю, что поступил, как велела минута».* Он оставил петицию в приемной графа Делянова. На следующий день она была доставлена ему с припиской: «По приказанию министра народного просвещения прилагаемая бумага возвращается действительному статскому советнику, профессору Менделееву, так как ни министр и никто из состоящих на службе Его Императорского Величества не имеет права принимать подобные бумаги».

Менделеев немедленно поехал к Делянову и заявил, что не останется более в университете. 19 марта, на виду у взятых в кольцо полицейскими и во весь голос оравших, рыдавших и ругавшихся студентов, Дмитрий Иванович насильно сунул в карман Васильеву прошение об отставке. *«Это сделал потому, что еще накануне объявил студентам, что выйду, если они будут продолжать беспорядки».* Так что в деле об отставке профессора Менделеева последнюю точку поставил не Владиславлев и не Делянов — ее поставили *«дрянь людишки»,* имена которых не сохранились.

Сразу после «подачи» прошения изо всех сил сопротивлявшемуся исполняющему обязанности ректора Васильеву (до него Менделеев пытался вручить бумагу попечителю, но тот отбился) Дмитрию Ивановичу стало плохо. В той суматохе и свалке, которой сопровождалась полицейская акция, это вполне могло остаться незамеченным и дело могло

окончиться совсем плохо. К счастью, обессиленного, рыдающего Менделеева подхватили под руки ученики — профессор-химик Д. П. Коновалов и ассистент В. Е. Тищенко и, кое-как успокоив, сумели довести его до дома. И все-таки этот шаг, как бы тяжело он ни дался, принес Менделееву облегчение. Он не потерял право себя уважать. Его душевное состояние теперь было сродни самоощущению героя стихотворения Аполлона Майкова «Мы выросли в суровой школе». Недаром Менделеев в эти дни переписал его из какого-то свежего журнала и самолично вклеил в альбом:

…Его коня равняют с клячей,
И с Дон-Кихотом самого, —
Но он в святой своей задаче
Уж не уступит ничего!
И пусть для всех погаснет небо,
И в тьме приволье все найдут,
И ради похоти и хлеба
На всё святое посягнут, —
Один он — с поднятым забралом —
На площади — пред всей толпой —
Швырнет Астартам и Ваалам
Перчатку с вызовом на бой.

Сумев сохранить свою честь, он был готов трудиться дальше, тем более что его мозг не требовал, говоря по-нынешнему, никакой перезагрузки. Теперь ничто не мешало ему спокойно дочитать свой курс и отправиться в дальнейшее житейское и научное плавание.

Коллеги, много раз слышавшие громкие менделеевские заявления, поначалу были уверены, что Дмитрий Иванович в конце концов раздумает уходить из университета. Но время шло, профессор Менделеев появлялся только на своих лекциях, полностью игнорируя все прочие мероприятия. На факультете всполошились. Декан физико-математического факультета А. Советов обратился в совет университета с тревожным письмом, в котором от имени факультета просил воздействовать на Менделеева, чтобы тот забрал свое прошение об отставке. Совет университета не заставил себя ждать и в полном составе посетил Дмитрия Ивановича у него на квартире. И. В. Помяловский, на этот раз заменявший отсутствующего ректора, зачитал вслух столь искреннюю и горячую просьбу отказаться от намерения оставить университет (к тому же подписанную более чем полусотней профессоров), что, будь у Дмитрия Ивановича хоть малейшее сожаление по поводу сделанного шага, он мог бы с чистой совестью остаться. Но он лишь подтвердил свое намерение уйти. И даже после этого коллеги не могли представить, что Менделеев навсегда уйдет из университета. Весь следующий учебный год факультет не замещал его должность на кафедре, несмотря на то, что в августе Дмитрий Иванович с семьей съехал с университетской квартиры на частную по адресу: Васильевский остров, Кадетская линия, дом 9, квартира 4.

Знаменательно, что первым порывом свободного от прежних обязанностей Менделеева было желание издавать собственную политико-литературную и промышленную газету «Подъем». Пока он вместе с И. И. Шишкиным рисовал то, что теперь называют логотипом, зазывал друзей в будущую редакцию, составлял смету и искал деньги, ходатайство об открытии новой газеты легло на стол тому же министру Делянову, который, подумав, начертал следующую резолюцию: «…имею честь сообщить, что я находил бы возможным разрешить заслуженному профессору И. СПб. Университета Д. И. Менделееву издавать газету не политико-литературную и промышленную, а лишь промышленную и притом с предварительной цензурой».

Нужно признать, это было неглупое и незлое решение. Делянов, как мы убедимся впоследствии, вообще не был врагом Дмитрия Ивановича, а его резолюция, возможно, уберегла увлекающегося ученого от многих неприятностей идейной борьбы. Да и сама по

себе газетная работа, со срочностью и обязательностью издательских процедур, никак не вязалась с его беспокойным и неуравновешенным характером. Похоже, он сам это сразу же понял. *«Деляныч не разрешил* **,** — с полным спокойствием сообщал Дмитрий Иванович знакомым. — *Да я и рад, это дело не по мне, ведь это — ни днем, ни ночью покою не было бы».* Еще одну ошибку своего поспешного трудоустройства он исправил сам. Весной, сразу же после подачи прошения об отставке, Менделеев, не подумав, дал согласие занять кафедру профессора химии Института инженеров путей сообщения. Когда же осенью пришло время приступать к чтению курса химии для будущих путейцев, Менделеев просто не смог подняться на кафедру: после энциклопедического курса, который всемирно известный ученый долгие годы читал в университете, ему нужно было переключиться на уровень элементарных понятий, да к тому же свести их к сумме подсобных знаний. Чтобы не портить отношений с коллегами, он нашел себе замену и уже больше никогда не возвращался к профессорству.

Что же до настоящего дела, то его искать нужды не было, поскольку Менделеев еще с осени 1889 года вплотную занимался тарифами. По предложению И. А. Вышнеградского он сначала разрабатывал таможенный тариф по химическим продуктам и был введен в Совет торговли и мануфактур. *«Живо я принялся за дело, овладел им и напечатал этот доклад к Рождеству. Этим докладом определялось многое в дальнейшем ходе как всей моей жизни, так и в направлении обсуждений тарифа, потому что цельность плана была только тут. С. Ю. Витте сразу стал моим союзником…»* В 1890 году, в разгар университетской сумятицы, он уже являлся участником совещания по вопросу о пересмотре тарифа, а затем и созванной под непосредственным руководством министра финансов Вышнеградского Комиссии для общего пересмотра таможенного тарифа. В нее вместе с профессором Менделеевым и директором Департамента железнодорожных дел Витте были приглашены крупнейшие русские ученые, промышленники и чиновники. Работа комиссии заключалась в полном пересмотре размеров таможенных пошлин на все ввозимые в Россию товары, с тем чтобы сократить их поток в пользу роста отечественной продукции.

Менделеев отнесся к предложенной работе с великим интересом и сил на нее не жалел — так же, как и его коллеги по комиссии, которые, понимая всю важность стоящей перед ними задачи, работали не покладая рук. *«На моем веку много мне приходилось заседать и присутствовать при рассмотрении множества жгучих вопросов русской жизни* **,** — писал Менделеев. — *Но, говорю с полной уверенностью, ни разу я не видел такого собрания, как «Тарифная комиссия 1890 г.», в которой люди с такой охотой и полным сознанием того, что они делают, накладывали на себя, ради общего блага, столько тяготы».*

Однако Менделеев остался недоволен тем обстоятельством, что после завершения работы было решено ограничиться публикацией собственно новых тарифов с необходимыми примечаниями. Дмитрий Иванович настаивал на публикации всех трудов тарифной комиссии. Это был, по его мнению, богатейший материал для познания страны и ее нарождающейся промышленности. Поэтому он тогда же решил издать свой собственный «Толковый тариф» — не с той, конечно, целью, чтобы вместить в книгу все протоколы заседаний комиссии, а чтобы поделиться с публикой, главным образом с молодыми читателями, мыслями о теперешнем состоянии российской заводской промышленности и показать, насколько ее будущее зависит от государственной таможенной политики. Как и следовало ожидать, в этой книге Дмитрий Иванович проявил себя активным сторонником протекционизма. Впрочем, «Толковый тариф», как и все его экономические произведения, не дает возможности причислить Менделеева к какому-то конкретному течению политэкономии. Наоборот, этот труд, оставляющий открытым вопрос о его жанровой принадлежности (ближе всего он стоит к «Технической энциклопедии»), стимулировал читателя искать выход из национального промышленного тупика, двигаясь не только в системе утверждений автора, но и вне ее, руководствуясь не одними только что высказанными положениями, но и догоняющими их в другом месте текста и по другому поводу замечаниями, дополнениями и переворачивающими прежний смысл деталями. По

содержанию книга была предельно разнообразна. Она включала и информацию, касавшуюся собственно принципов и практики формирования тарифов, и анализ отраслей промышленности, производящих основные виды товаров, и отрывки из собственных работ Менделеева по проблемам нефтяной и угольной промышленности (включая «Письма о заводах» и взятый целиком очерк «Будущая сила, покоящаяся на берегах Донца»), и разбор разных политэкономических взглядов, и описание таможенного опыта западноевропейских держав, и конечно же всю начиная с XVI века историю российской таможенной политики… Менделеев писал, как всегда, горячо, бурно, сбивчиво. Едва ли не самая заметная особенность «Тарифа» состоит в том, что автор брался решать ряд экономических вопросов с точки зрения естествознания, а конкретные проблемы, в свою очередь, зачастую описывал в художественно-образной манере. Но суть книги определялась не этим, а главной мировоззренческой установкой ученого, по-прежнему состоявшей в том, что сельское хозяйство — удел отсталых народов; для народов же, рвущихся вперед, *«заводское развитие необходимо и естественно, как воздух, как жизнь и смерть».* Из этого следовало, что нужно без промедления приступить к промышленной разработке богатейших российских недр. Менделеев в который раз писал, как и где разумнее всего ставить заводы, копать рудники, прокладывать железнодорожные и водные пути. Понятно, что товары русской выделки на первых порах не выдержат конкуренции с импортными; значит, надо сократить ввоз, придавить импорт пошлинами, чтобы дать преимущество отечественному производителю. Не навсегда — до тех пор, пока русские заводы не встанут на ноги, пока не накопятся средства для усовершенствования и удешевления отечественного товара. А там — *«сама пойдет».*

Эта позиция Дмитрия Ивановича, пусть и высказанная в противоречивом контексте, вполне совпадала с позицией Вышнеградского, Витте и многих других правительственных чиновников. Между тем их взгляды явно произрастали из разных корней: Менделеев опирался на собственный опыт ученого и промышленного эксперта, царские же министры по должности не могли не учитывать печальный, по общему мнению державников, опыт либеральной торговой системы начала века и времен Венского конгресса. Но, оказавшись в одном лагере с министрами, Менделеев тут же попал на острия либеральных перьев. И надо признать, критиковали его не только за компанию с вышеназванными деятелями, но и за явные промахи «Толкового тарифа», каковых при холодном, логическом чтении набиралось множество.

Видный публицист того времени Л. 3. Слонимский в статье «Промышленные идеалы и действительность» (Вестник Европы. 1891. № 11–12) писал: «Промышленный протекционизм пока еще господствует, но сами сторонники его начинают как будто чувствовать его бессилие перед усложняющимися задачами народно-хозяйственной жизни. Признаки такого настроения замечаются и в книге профессора Менделеева, посвященной новому тарифу. Сам автор, как известно, принадлежит к числу настойчивых и последовательных приверженцев искусственного поощрения промышленности; он желал бы, чтобы все занимались фабричным или заводским делом, в прямую противоположность графу Л. Н. Толстому, который предлагает всем заняться земледелием. Профессор Менделеев — такой же оригинальный экономист, как и Лев Толстой; он больше приводит цифр и фактов, но сущность его воззрений столь же резко расходится с действительностью, как и выводы нашего знаменитого романиста. Те своеобразные аргументы, которыми автор подкрепляет взгляды, лучше всего раскрывают внутреннюю несостоятельность всей нашей новейшей покровительственной системы. Некоторые рассуждения г. Менделеева могут быть объяснены только желанием во что бы то ни стало поддержать падающую доктрину, в которую вера уже утрачена. Книга его, сама по себе, поучительна не только как опыт подробного комментария к отдельным статьям нового тарифа, но и как ясное доказательство того, что наш протекционизм не может быть оправдан теоретически, без помощи натяжек и софизмов».

Имена Менделеева и Толстого как антиподов звучат в этом контексте совершенно

оправданно. Дмитрий Иванович Толстого не любил и взглядов его — и вообще, и на русский путь в частности — никоим образом не разделял. *«Гениален, но глуп,* — говорил он, — *не может связать логически двух мыслей — всё голые субъективные построения, притом не жизненные и больные».* Толстой смотрел назад, боясь потерять, Менделеев звал вперед, надеясь обрести. Если и было между ними что-то общее, то лишь близость к «недоступной черте», о которой писал Александр Блок уже после смерти Менделеева. Обвиняя интеллигенцию в «ее явной и тайной ненависти к Менделееву», Блок указывал причину: «По-своему она была права; между ним и ею была та самая «недоступная черта»… которая определяет трагедию России. Эта трагедия за последнее время выразилась всего резче в непримиримости двух начал — менделеевского и толстовского…»

Критики-либералы упрекали Менделеева в том, что он подменяет аргументы, свидетельствующие о необходимости протекционизма, разговорами о пользе промышленного развития. Но и сама эта польза представлялась многим сомнительной, поскольку принудительное переключение крестьянина, приученного к относительно здоровому сельскому труду, на работу где-нибудь возле огненной печи, в духоте и грохоте, вряд ли может быть воспринято им как благо. Менделееву указывали на то, что, ратуя за рост производительности труда и круша «фритредеров», врагов полезной предприимчивости, он забывает, что настоящие «фритредеры» отрицают протекционизм именно вследствие его вредного влияния на свободный рост промышленности и на общее экономическое состояние народа… Большинство замечаний было, увы, по существу.

Между тем публицисты из либерального лагеря просмотрели, как теперь представляется, главный парадокс менделеевской политэкономии. Он заключался совсем не в том, что Дмитрий Иванович, искренне любивший простой народ, в своих рассуждениях «забывал» поразивший его в Юзовке контраст между триумфом прогресса и ужасными условиями существования обслуживающих его людей-рабов. И не в том, что недоразвитое сельское хозяйство, вместо того чтобы развиваться, должно было встать на путь некоего половинчатого существования, «поделившись» мужиками с заводом (летом мужик — в поле, зимой — у станка), а по сути — было принесено в жертву индустриализации. Всё это еще как-то «увязывалось», нанизывалось на трепещущую нить менделеевского мышления. Парадокс же состоял в том, что Менделеев, монархист и государственник, делал типичнейшую либеральную ошибку, полагая, что промышленное предпринимательство и свободное движение капиталов, получив первоначальный импульс от государства, сами собой зададут курс и темп русской истории. Впрочем, такая ли уж это была ошибка, если мы лишь недавно перестали сравнивать свои экономические показатели с 1913 годом? Ведь Россия накануне Первой мировой войны действительно достигла феноменальных результатов, и произошло это отнюдь не без помощи ввозных тарифов, разработанных Менделеевым и его единомышленниками. Нельзя отделаться от мысли, что в России и протекционисты, и толстовцы, и сторонники либерального рынка — все мазаны одним русским миром, произвольно строящим и стирающим различия в головах мыслящего сословия и уводящим любой спор в мистическую бесконечность…

И, наконец, еще один парадокс связан со структурой менделеевского наследия. Интерес к политэкономии Дмитрий Иванович сохранит до конца жизни и будет увлечен ею настолько, что при подсчете всех его научных и публицистических работ выяснится, что большинство из них посвящено не Периодическому закону, не химии и не естествознанию вообще, а социально-экономическому состоянию России и его перспективам. *«Какой я химик, я — политико-эконом,* — будет говаривать он не без иронии, но и не без удовольствия. — *Что там «Основы химии», вот «Толковый тариф» — это другое дело…»* Вскоре Витте пригласит его для подготовки историко-статистического «Обзора фабрично-заводской промышленности и торговли России» для Всемирной Колумбовой выставки в Чикаго (1893), а там уж он и сам засядет за большое исследование «Фабрично-заводская промышленность и торговля в России».

Экономические штудии были не единственной страстью Менделеева в начале 1890-х

годов. Он также принял на себя редактирование химического и технического разделов энциклопедии Брокгауза и Ефрона, для которой только в 1891–1892 годах написал 23 оригинальные статьи и отредактировал 166 статей, до сих пор не потерявших своей актуальности. (Если же взять в целом все материалы, написанные, отредактированные и дополненные Менделеевым для этого издания, то получится невероятная цифра — 1702 публикации.) При этом у него еще хватало времени и сил для участия в крупном проекте Морского министерства — разработке и промышленном освоении нового бездымного пороха, которым он занялся, даже не успев съехать с университетской квартиры.

Конец восьмидесятых — начало девяностых годов XIX века было временем перевооружения европейских армий, перехода на патроны и орудийные заряды, в которых использовался бездымный порох. Россия тоже была очень озабочена этим вопросом. На Охтинском заводе уже с 1888 года велось опытное производство пироксилинового пороха. Дело было поставлено по французской технологии, и возглавлял его француз; но предприятие не вылезало из аварий, в числе которых был даже взрыв пироксилиновой сушилки. В Морском ведомстве, наконец, решили отправить француза восвояси и поручить дело своим специалистам. Группа отечественных технологов во главе с начальником мастерских Охтинского завода П. С. Ванновским практически заново разработала и связала всю цепь порохового производства. Но выпускал завод по-прежнему пироксилиновый порох, годившийся лишь для новой трехлинейной винтовки Мосина и легких полевых орудий. Теперь была поставлена задача создать русский бездымный порох, пригодный для всех видов огнестрельного вооружения, вплоть до главных корабельных калибров.

Первоначальная организация этого дела была поручена профессору химии Минных офицерских классов И. М. Чельцову, которому предстояло Подыскать научного руководителя из числа крупных химиков. Менделеев хорошо знал и высоко ценил Чельцова, но тому поначалу даже в голову не приходило обратиться к Дмитрию Ивановичу — он считал, что всемирно известному ученому это дело покажется мелким. Но Менделеев согласился и немедленно включился в работу. В письме, которое он, не теряя времени, отправил главе Морского министерства Н. М. Чихачеву, был предложен четкий план начала исследований: во-первых, включить в рабочую группу, кроме него и Чельцова, управляющего заводом по производству пироксилина Л. Г. Федотова; во-вторых, организовать специальную лабораторию порохов и взрывчатых веществ; в-третьих, *«нам троим следует немедля отправиться в заграничную командировку. Целями ее должно считать: 1) изучение организации центральных учреждений, назначенных для систематической разработки порохового дела… 2) заказ и приобретение приборов, необходимых для предполагаемых работ; 3) осведомление, по мере возможности, о новейших исследованиях и видах взрывчатых веществ; 4) осмотр заводов, приготовляющих новые виды пороха, буде доступ на оные окажется возможным, и 5) изучение экономической стороны производства…»*.

Некоторые из заявленных целей позволили отдельным современным историкам и журналистам записать почтенного профессора в шпионы и похитители военных секретов. Причем первыми эту ошибку сделали не авторы таблоидов, а составители первого тома «Очерков истории российской внешней разведки», подготовленного Службой внешней разведки Российской Федерации (главный редактор — академик Е. М. Примаков) и выпущенного в 1995 году издательством «Международные отношения». В 23-й главе этого тома, написанной А. Н. Ицковым и озаглавленной «Россия — США: попытки сближения», рассказывается, как Менделеев выполнял особые миссии российского правительства сначала на Американском континенте, когда раскрывал секреты тамошнего нефтяного производства, а затем в Европе, выкрадывая тайну французского и английского порохов.

Вообще Менделеев, являющий собой едва ли не архетип русского ученого человека, еще при жизни притягивал к себе самые невероятные байки, слухи и сплетни. Писали, что он фабриковал дорогие вина, что несколько раз кряду не мог поступить в университет, что чемоданы выделывал, что страдал алкоголизмом и не давал проходу женщинам… Так что и

анекдот о Менделееве-разведчике, конечно, имеет право на существование. К тому же факт «рассекречивания архивной информации об агенте Менделееве» сам по себе превращается в жемчужину коллекции шуток о Дмитрии Ивановиче.

Наверное, нет смысла вновь подробно писать о том, что все нужные ему материалы об американской нефти Дмитрий Иванович легко собрал из открытых источников и столь же открытых бесед с американцами. Очень показательно, что еще до поездки в Америку в 1867 году Менделеев, опираясь на данные специальной литературы, опубликовал статью с точным и разносторонним аналитическим обзором американской нефтяной отрасли. Еще не было ни самоходной военной техники, ни двигателей внутреннего сгорания, пароходы только переходили с угля и дров на мазут и сырую нефть, пушки чистили в основном салом, а русских промышленников и чиновников интересовала только одна проблема: почему качественный американский бензин, даже после перевозки через океан, оказывается дешевле бакинского? Чтобы разобраться в этом вопросе, Менделееву было достаточно знакомства с американскими законами, промышленной статистикой и технологией нефтепереработки. И он прекрасно справился с задачей, представив русскому правительству экономическое решение — отмену акциза — и вдобавок предсказав скорый кризис американской «нефтянки».

«Пороховой шпионаж» Менделеева не то чтобы более правдоподобен — скорее, он менее защищен от историков, любящих в себе беллетристов. Их можно понять, поскольку впервые эта версия появилась в воспоминаниях Ивана Дмитриевича Менделеева: *«Я был послан за границу нашим военным ведомством с секретной миссией, —* говорил отец*. — Во Франции Бертло, к которому я обратился, хранил, конечно, полное молчание. Кое-что внешним образом мне показал на заводе. Но отсюда ничего нельзя было заключить. Мне показывают и укрепленные патроны. — Можно мне несколько штук взять с собою? — спросил я. — О, пожалуйста, будьте любезны, — отвечал с изысканной вежливостью служащий. — Но я должен буду после этого застрелиться… И что же? Это ни к чему не привело! Патронов я достал сколько угодно от сына квартирохозяйки, отбывавшего воинскую повинность и приносившего мне из казармы патроны, не видя в этом ничего дурного. Секрет же изготовления французского пороха я тоже быстро раскрыл, воспользовавшись особенно тем, что пороховой завод стоял на отдельной железнодорожной ветке. Взяв годовой отчет железнодорожной компании о движении грузов, я нашел нужное мне соотношение входящих в производство пороха веществ… Когда я рассказал потом обо всем Бертло, он только развел руками».* Сколь ни убедительно выглядит этот отрывок, не стоит забывать, что Ивану Дмитриевичу в 1890 году было всего семь лет, при жизни отца он никаких записей о нем не делал, а воспоминания о Дмитрии Ивановиче написал через 20 лет после его смерти. Вплотную знакомясь с его безусловно ценными мемуарами, можно встретить в них довольно много несоответствий и косвенных наслоений, связанных с антипатией между двумя семьями, уверенностью в исключительной близости к отцу и другими субъективными мотивами.

Но в данном случае вообще нет никакой необходимости взвешивать аргументы за и против достоверности описанных Иваном Дмитриевичем способов добычи Менделеевым секретной информации. Всю хронику пребывания Менделеева с его новыми сотрудниками во Франции и Англии в 1890 году можно по дням и по часам проследить по его переписке с Морским ведомством, по отчетам и записным книжкам. В Научном архиве Д. И. Менделеева в Санкт-Петербургском государственном университете хранится, например, его собственноручная запись об истории получения образцов французского пороха Поля Вьеля, состав и способ изготовления которого действительно был государственной тайной, которую ни старый знакомый Менделеева Бертло, ни руководитель Центральной пороховой лаборатории Сарро, ни директор французского порохового «хозяйства» Арну не имели права раскрывать без особого разрешения военного министра Фрейсине. *«Когда оказалось, что образцы французского бездымного пороха нельзя получить ни от Бертло… ни от Сарро, то я задумал сделать это через Фрейсине… Виделся и кончил тем, что от Арну и Сарро*

получил этот образец официально, но как образчик для «личного пользования» в количестве 2 грамма. Кажется, еще никому не удавалось достичь этого». Вот и весь шпионаж.

При желании Дмитрий Иванович мог бы, наверное, воспользоваться нелегальными путями сбора информации — на этот счет ему были даны соответствующие полномочия и названы имена людей в Париже, работающих на российское правительство. Но его научный авторитет открывал перед ним двери значительно шире. Вот что он писал в своем отчете Чихачеву: *«Мною, а затем проф. Челъцовым, осмотрена во всех подробностях та лаборатория… в которой изучается пороховое дело в его основаниях… Все приемы, при этом применяемые, не только нам были объяснены, но и показаны — при самом исполнении. Из полученных данных особенно драгоценны те, которые дают возможность в течение 8 часов испытывать способность сохранения пороха… Из протоколов того коллегиального учреждения, которое ведает делом взрывчатых веществ, мне дали многие такие хранимые в тайне сведения о способах изучения пороха и об ошибках, бывших при изготовлении бездымного пороха, которые с своей стороны я считаю чрезвычайно поучительными. Часть этого материала получена мною в литографированном виде, и мне передано всё то, что явилось в печати, хотя не находится в продаже… Хотя французы официально оставили в секрете способы производства своего бездымного пороха, но этот их путь… нам ныне вполне известен, и так как из намеков, полученных конфиденциально, известны некоторые части производства, то, руководясь полученным образцом, я думаю, возможно не только достичь результата, равного французскому, но и пойти дальше».*

В Англии, где Менделеев пользовался огромной известностью, всё получилось тем более без проблем, поскольку между этой страной и Россией было заключено соглашение об обмене образцами пироксилиновых порохов. Менделеев был радушно принят директором Вульвичского арсенала Андерсоном, который не только отсыпал ему пороха, но и сообщил его состав и способ производства: *«Андерсон всё показывал ясно».* Русскому гостю даже разрешили пострелять местными зарядами. Впрочем, и в Англии, где Дмитрий Иванович остался вполне доволен гостеприимными хозяевами, порох ему не понравился: *«150 выстрелов большого орудия, и его надо уже пересверливать».*

Из поездки Менделеев вернулся с убеждением, что Россия должна разработать свой бездымный порох. Поэтому он принялся за исследования немедленно. И. С. Дмитриев пишет: «Научно-техническая лаборатория Морского ведомства (НТЛ) была организована в Петербурге, на острове Новая Голландия, в 1891 г. (работы в ней начались в июле этого года, официальное открытие состоялось 8 августа)… Но не дожидаясь создания НТЛ, Менделеев в октябре 1890 г. начал опыты по нитрованию клетчатки в старой химической лаборатории Петербургского университета (в этих помещениях на первом этаже бывших петровских двенадцати коллегий сейчас находятся отдел кадров и научный отдел университета). Здесь в декабре 1890 — январе 1891 гг. было сделано главное открытие: получено новое вещество — нитроклетчатка, которая в спирто-эфирной смеси «растворялась, как сахар», т. е. без разбухания. Этот химически однородный продукт, названный пироколлодием, стал основой менделеевского бездымного пороха».

Секрет нового пороха, по мнению Менделеева, состоял в том, что *«количество разбавляющей воды должно быть равно количеству воды гидратной».* Дмитрием Ивановичем были также предложены некоторые совершенно оригинальные методики. Их суть описывает «Летопись жизни и деятельности…»: «…непрерывный способ получения азотной кислоты и замена платиновых резервуаров медными с тонким слоем платины, нанесенной электролитическим способом. Для ускорения процесса получения концентрированной серной кислоты он предлагал распылять ее во встречном потоке горячего воздуха… вместо серной кислоты ученый предлагает использовать ангидриты ряда кислот, а вместо азотной — соли азотистой кислоты».

Оставалось разработать технологию и оптимизировать экономику производства. Этим Менделеев и занялся в новой лаборатории, которая разместилась в здании бывшей солильни, где до того приготавливали солонину для корабельных экипажей (лаборатория имела статус

совершенно секретного объекта, однако через пару лет после ее открытия в справочнике «Весь Петербург» было опубликовано не только ее местонахождение, но также полный список ее сотрудников и даже их домашние адреса). Химические компоненты получали с Морского пироксилинового завода и с предприятия менделеевского друга П. К. Ушкова в Елабуге, где сам Дмитрий Иванович с сотрудниками занимался производством для своего пороха серной кислоты из отечественных колчеданов. Здесь же, на предприятии Ушкова, была выпущена опытная партия менделеевского бездымного пороха. Петр Капитонович хорошо чувствовал деловую перспективу, поэтому во всём шел навстречу Менделееву и не останавливался перед затратами. *«Дело двинулось так,— докладывал ученый в министерство, — построены два новых здания (сделано это в 3½ недели), одно в 20 саж. деревянное, другое в 25 сажен каменное (2 саж. шириною) с пристройкою для паровой машины и котла; все приборы и приспособления делаются в должном виде, как для настоящего заказа, потому что фирма уверена в хорошем испытании пробы и в получении заказа, хотя я со своей стороны очень <склонен> отклонять от очень больших затрат».*

В конце 1892 года на полигоне под Петербургом были произведены первые стрельбы новым бездымным порохом из 12-дюймового орудия. Результаты были признаны прекрасными. Прицельность, настильность, однообразие начальных скоростей снарядов и прочие артиллерийские характеристики были выше всяких похвал. Кроме того, качество пироколлодийного пороха было таково, что на белом платке, которым после выстрела была протерта внутренняя поверхность орудийного ствола, не осталось никаких следов. Присутствовавший на полигоне инспектор морской артиллерии адмирал С. О. Макаров поздравил Менделеева с блестящим успехом. Заговорили о переводе Охтинского завода на изготовление пироколлодийного пороха.

Вдохновленный ученый строил долгосрочные планы по совершенствованию производства русского бездымного пороха. Он даже обратился к Н. М. Чихачеву с прошением об устройстве при лаборатории казенных квартир для всех ее сотрудников, ссылаясь при этом на опыт университета, в котором заведующий лабораторией и лаборанты живут рядом с лабораторией. Дмитрий Иванович подробно описал эту пристройку, точно указав площадь жилья для начальника лаборатории И. М. Чельцова (65 квадратных саженей), его старшего помощника П. П. Рубцова (40 квадратных саженей), младшего помощника С. П. Вуколова (30 квадратных саженей) и лаборантов Ворожейкина, Смирнова и Григоровича (75 квадратных саженей на всех). Но этот вопрос был вскоре отставлен в сторону, поскольку вокруг менделеевского пороха началась внутриведомственная склока: военные инженеры, вопреки очевидным преимуществам пироколлодия, не могли так просто признать изобретения штатского ученого чудака, а тем более подчиниться его нетерпеливым указаниям по перестройке производства.

В 1893 году на Охтинском заводе была создана комиссия, которая пришла к противоречивому заключению, что, во-первых, пироколлодий практически ничем не отличается от охтинского пироксилина, а во-вторых, нужны очень продолжительные испытания, чтобы установить его преимущества. Начавшиеся споры и дрязги будут тянуться до Русско-японской войны и закончатся полным прекращением производства бездымного пироколлодийного пороха. Дмитрий Иванович сражался за свое детище до 1895 года, после чего отказался от должности консультанта Морского министерства и от всех прав на полученные под его руководством результаты. Один из его сотрудников, талантливый инженер С. П. Вуколов, по этому поводу написал: «Объяснение до крайности простое. В глазах тогдашних деятелей порохового дела… у Д. И. был крупный недостаток: он был штатский человек, не военный, не имевший штампа высшей артиллерийской школы. Они не могли переварить, когда этот чужой их среде человек со всей горячностью своей натуры говорил о горении пороха в канале орудия, о причинах ненормальных давлений при стрельбе, приводящих к разрыву орудий, когда он говорил о недостатках их пороха (пороха французов), указывал на однородность, предельность пироколлодийного пороха».

Пока русские военные чиновники перебрасывали друг на друга ответственность за судьбу менделеевского пороха, вокруг него разворачивалась еще одна, на этот раз действительно авантюрная, шпионская история. Несмотря на то, что проект был засекречен, добыть его результаты не представляло труда для иностранцев (вспомним, например, справочник «Весь Петербург» или тот факт, что Охтинским заводом какое-то время руководил французский подданный). Доступ к рецепту и способу производства пироколлодия без особого труда получил и военно-морской атташе Североамериканских Соединенных Штатов лейтенант Бернадоу, который в 1895 году (тогда же, когда Дмитрий Иванович отказался от своих прав в пользу русского военного флота) оформил патент на американский бездымный пироколлодийный порох. О том, как он добыл эти сведения в стране русских медведей, лейтенант совершенно открыто рассказал в одном из своих выступлений в американском военно-морском колледже.

В России этот факт не вызвал никакого резонанса и не оказал влияния на «пороховой спор». Зато после начала Первой мировой войны русские генералы заглянули в свои пороховые погреба, увидели, что надежного пороха у них нет, и тут же нашли выход в многомиллионных закупках американского пороха, «изобретенного» бравым лейтенантом Бернадоу, к огромной радости американских производителей и, естественно, собственному удовольствию.

Тут можно было бы поставить точку в истории с украденным порохом, но мешает еще один «факт», содержащийся в уже упомянутом томе «Очерков истории российской внешней разведки». Оказывается, будучи в Америке по нефтяным делам, Дмитрий Иванович выполнил еще одно «деликатное» поручение — вызнал технологию производства американского бездымного пороха, которая в свое время помогла ему разработать свой, пироколлодийный. То есть в целях утверждения профессиональных ценностей всё поставлено с ног на голову: на то она и Америка, чтобы туда проверенных людей с секретными заданиями посылать. И вообще, добыть, вывезти и применить на родине престижнее, чем получить в результате самостоятельных исследований, тем более что собственные разработки могут выкрасть иностранные спецслужбы. Это, собственно, и произошло — успех украли. Известно, что секретом менделеевского пороха интересовались не только американцы. В воспоминаниях О. Э. Озаровской упоминается о попытке подкупить руководителя пороховой лаборатории И. М. Чельцова. После ухода некоего визитера разгневанный Иван Михайлович сообщил Озаровской, что только что французы предложили ему миллион франков за состав и способ производства пироколлодийного пороха. Тут же Чельцов отправился к Дмитрию Ивановичу и поведал ему о случившемся. Как реагировал на эту новость Менделеев, можно только предполагать. Но хорошо известно, что он много раз писал о необходимости режима секретности и делился предчувствиями, что в конце концов его порох выкрадут иностранцы.

В конце XIX века иностранные государства и отдельные компании уже включили Россию в зону охоты за техническими и научными разработками. Если не было возможности украсть ноу-хау, крали торговую марку, выпуская под ней давно известный товар. Именно это произошло с изобретением знаменитого русского фармаколога профессора Пеля (того самого, которого Менделеев когда-то ругал за попытку заменить тщательную судебно-медицинскую экспертизу мнением иностранных специалистов). А. В. Пель был, в частности, известен тем, что изучал таблицу Менделеева с точки зрения воздействия химических соединений (руководствуясь порядковым положением составляющих их элементов) на классические лечебные препараты. Исследуя влияние на организм человека вытяжек из семенных желез животных, Пель сумел выделить вещество, оказывающее общеукрепляющее и стимулирующее действие на человека, на основе которого создал препарат «спермин», получивший широкое распространение не только в России, но и в мире. Успех был тем более важным, что «спермин» являлся единственным на то время русским препаратом, продававшимся в европейских аптеках. И вот марку этого натурального препарата украла берлинская фирма «Шеринг», наладившая под тем же названием сбыт

давно известного синтетического диэтилендиамина.

Менделеев был одним из немногих, кто выступил в защиту авторских прав Пеля. Проведя тщательный анализ «спермина» Пеля и образца продукции фирмы «Шеринг», он пришел к заключению об их глубоком химическом различии, после чего обратился к фирме «Шеринг» с просьбой разъяснить природу ее препарата. Немцы не решились морочить голову всемирно известному ученому и срочно сообщили о переименовании своего препарата в «пиперазидин». Впрочем, этот инцидент протекал весьма бурно. У Пеля нашлись противники не только в Германии, но и внутри Медицинского совета при российском Министерстве внутренних дел. Менделеев дважды выступал с открытыми письмами в защиту коллеги и в конце концов вышел из состава Медицинского совета в знак протеста против проявленной несправедливости. Он писал: *«Считаю А. В. Пеля деятелем и умным, и полезным, а потому вступился за него, когда напали. Вышел даже я из Медицинского совета, когда тот напал на Пеля, — не жалею, потому что приобрел истинного друга».*

Покуда мы не очень далеко ушли от истории с изобретением универсального русского пороха, стоит обратиться еще к одному менделеевскому проекту этого времени, тем более что он также был профинансирован Морским министерством. На работы, связанные с пороховой тематикой, министерство выделило полтора миллиона рублей, Менделеев же смог уложиться всего в треть этой суммы. На вопрос министра Чихачева, куда истратить оставшийся миллион, Дмитрий Иванович посоветовал построить опытовый бассейн для испытаний моделей судов, чтобы обкатанные в бассейне суда еще на допроектной стадии приобретали форму, оптимальную с точки зрения быстроходности и расхода топлива. Чихачев согласился с прозорливым мнением своего ученого консультанта и послал корабельного инженера А. А. Грехнева в английский город Хаслар, где находился опытовый бассейн королевского флота, построенный двадцатью двумя годами ранее инженером.

В. Фрудом. Несмотря на возраст и на перевозку с одного места на другое (вначале он был сооружен на арендованном участке в городке Торкее, а затем, когда срок аренды истек, его разобрали и заново смонтировали в Хасларе), бассейн Фруда, длиной 120, шириной 6,7 и глубиной 3 метра, давал хорошие возможности для испытания судовых моделей. Грехнев скопировал его устройство и через два года выстроил точно такой же бассейн в Петербурге. Таким образом, Россия стала обладателем пятого в мире опытового бассейна (три действовали в Англии и один на базе итальянского флота близ города Специя), значительно обогнав Францию, Германию, Японию и Америку.

А. А. Грехнев, выполнявший приказ в точности повторить английское сооружение, без изменений воспроизвел не только сам бассейн, но и станок для обстругивания моделей, бак для плавки парафина, машину с канатной передачей для буксировки моделей и все прочие механизмы, включая линовальную машину, счетный логарифмический цилиндр и многое другое. Конечно, проект бассейна имел ряд недостатков, в первую очередь связанных с тем, что был задуман в доэлектрическую эпоху. К тому же оборудование для него заказали почему-то фирме «Kelso» в Глазго, которая специализировалась на производстве высокоточных мелких механизмов. В итоге она применила не очень подходящие в данном случае материалы и технические решения. Тем не менее русское кораблестроение получило и в полной мере воспользовалось отличным инструментом моделирования будущих судов. Знаменательно, что в 1900 году руководство опытовым бассейном было поручено другу Володи Менделеева по Морскому кадетскому корпусу, будущему академику А. Н. Крылову, который когда-то внимательнее всех слушал курс химии, читаемый Дмитрием Ивановичем для своих домашних.

Оставив университет, сменив квартиру и, до некоторой степени, образ жизни, Дмитрий Иванович ничуть не изменил своего отношения к семье и детям. Больше всего он тревожился о находившемся в плавании Володе, с нетерпением ждал его писем и устраивал из их прочтения настоящий семейный ритуал, благо сын очень интересно описывал дальние

страны с их природной экзотикой и удивительными нравами жителей. Служба Владимира Менделеева шла вполне успешно: в плавании он уже получил звание лейтенанта. Письма изучались еще и с той точки зрения, насколько Володя бодр и жизнерадостен. Ведь все знали, что он пережил тяжелый и безнадежный роман: после двух лет ухаживаний его невеста нарушила слово и вышла замуж за другого. Отец хлопотал о его зачислении на корвет «Память Азова» в надежде, что напряженная служба и новые, яркие впечатления помогут сыну избавиться от мрачного состояния духа. Дмитрий Иванович устроил ему накануне отплытия очень теплые, душевные проводы в лучшем французском ресторане у Певческого моста. Вместе с Феозвой Никитичной Менделеев приехал в Кронштадт. В тот день дул сильный ветер и добраться к стоящему на рейде судну было трудно, но они все равно поднялись на борт, чтобы еще раз обнять своего Володю. Дмитрий Иванович сфотографировался с сыном на палубе корабля. На снимке он, растроганный, в шляпе и теплой тройке, сидит, опершись рукой о скамью, а сын в мундире морского офицера, довольно полный для своих лет, стоит и преданно смотрит на отца. Так выглядят очень сердечные и очень близкие между собой люди.

Дмитрий Иванович, проводив Володю, почему-то думал, что не доживет до его возвращения. Но они, конечно, встретились. Плавание на «Памяти Азова» принесло Владимиру не только богатые путевые впечатления. Он стал участником следствия по делу о покушении на российского престолонаследника. Во время одного из четырех заходов в японский порт Нагасаки, когда цесаревич совершал поездку в городок Оцу, где высоким гостям (вместе с будущим императором Николаем II путешествовал греческий принц Георгий, «милый Джорджи», как называл его Николай Александрович) показывали великолепный храм и тысячелетнюю сосну, на него напал один из стоявших в оцеплении полицейских по имени Санзоу Цуда. Он успел саблей нанести наследнику неопасное ранение головы, прежде чем «милый Джорджи» подставил под саблю трость и сильным ударом свалил Цуда на землю. Тут же на преступника навалились двое рикш, которые везли августейших гостей, и быстро скрутили ему руки. Николай Александрович, укрывшийся от нападения безумца в толпе, был доставлен в дом губернатора, где ему оказали необходимую помощь. Несмотря на то, что буквально вся Япония всколыхнулась сочувствием к наследнику русского престола[49] и русская сторона также решила не раздувать инцидент, необходимые следственные действия были проведены. Группа русских моряков (два офицера и два матроса) была направлена для фотосъемки места происшествия. Одним из офицеров был лейтенант Владимир Менделеев, который раньше вместе со своим известным отцом серьезно занимался фотоделом. Не дремали и местные фотографы. Тогда же в местной газете была помещена статья «Результат покушения на наследного принца России» с рисунком, сделанным по фотографии (иначе поместить изображение в прессе в то время было невозможно), и подписью, что снят русский офицер, который 15 мая 1891 года фотографировал место покушения. Несколько фотографий, запечатлевших следственные действия русских моряков, долго хранились в Историческом музее города Оцу. Затем эти снимки были переданы японскими музейщиками в Петербург, в Российскую национальную библиотеку. Впрочем, качество тогдашней фотопечати не дает возможности утверждать, что на снимке среди других запечатлен и Владимир Менделеев.

Окончательно излечиться от любовной тоски Владимиру Дмитриевичу удалось старым отцовским способом, хотя можно с большой вероятностью предположить, что Дмитрий Иванович ничему подобному сына не учил. Сестра Ольга в воспоминаниях пишет: «После его первого плавания в Японию, уже в его отсутствие, у него родилась там дочь от жены-японки, с которой он, как и все иностранные моряки, заключил брачный договор на определенный срок стоянки в порту. Как относился Володя к этому ребенку, я не знаю, но

---

[49] Пришло около тысячи телеграмм от жителей Страны восходящего солнца, подарки привозили целыми пароходами. Сам микадо с двумя принцами приехал извиняться на борт русского корвета, а вслед за ними пожалеть пострадавшего цесаревича прибыла японская принцесса.

отец мой ежемесячно посылал японке-матери известную сумму денег на содержание ребенка. Девочка эта вместе с матерью потом погибла во время землетрясения в Токио, уже после смерти Володи». «Временную жену» звали Така Хидесима. Сохранились два ее письма в Россию — мужу и свекру. Така диктовала их знакомому толмачу, а тот как умел записал по-русски:

«Нагасаки.

Дорогой мой Володя!

Я нестерпимо ждала от тебя письм. Наконец, когда я получила твое письмо, я от восторга бросилась на него и к моему счастью в то моменту Г. Сига приехал ко мне и прочитал мне подробно твое письмо. Я узнав о твоем здоровье успокоилась. Я 16 января в 10 ч. вечера родила дочку, которая благодаря Бога здравствует, ей я дала имя за честь Фудзиямы — Офудзи. Узнав о моем разрешении на другой день навестили меня с «Витязя» г. Рутонин вместе с Бенгоро, г. Петров с г. Эбргадрм (так в оригинале. — *М. Б* .) и Отоку-сан и командир «Бобра» с Омац и кроме того от многих знакомых дочка наша Офудзи получила приветствующие подарки. Все господа, которые видели милую нашу Офудзи говорили и говорят, что она так похожа на тебя, как пополам разрезанной тыквы. Этим я крайне успокоился мрачный слух, носившийся при тебе. Теперь я получила благодаря хлопота г-на Сиги от Окоо-сан присланные от тебя 21 ен 51 сен; за это благодаря тебя. Какая я несчастливая, представь себе на кануне моего разрешения т. е. 15/27 января у меня умерла мать моя. С того времени как ты уехал из Японии не от кого получать деньги, а между тем матушка моя долго лежала от болезни в постели наконец ее пришлось хоронить да родилась дочка — эти все требовались расход, а мне не у кого достать деньги. Так я вынуждена была просить г-на Петрова, у него, по всей вероятности, также не были свободные деньги, потому что он давал мне заимообразно по 10 ен в три раза и кроме того 10 ен он подарил нашей дочке, так что от г-на Петрова я получила всего 40 ен. С того время как ты оставил Нагасаки я заложила свои часы, кольцо и прочие вещи и заняла у знакомых слишком 200 ен. Не умею объяснить тебе как я <м>училась не получая от тебя ни разу письма. У нас в Японии когда родится ребенок устраивают ради новорожденной праздник, одевают ее <в> новый костюм и посылают в храм, <с> родственникам <и> знакомым, приглашают родных и знакомых на обед; все это деньги я не имея денег до сих пор не могу это сделать. Так мне крайне стыдно перед знакомыми. Имея твоя дочка мне нельзя и не желаю выйти другим замуж и потому после смерти мати я с дочкою буду ждать тебя. Так как мать умерла, то мне должно возвратить дом, где мы живем, и купить дом, где будем жить. Мы с дочкою будем ждать тебя <и> от тебя извести. Я желаю послать тебе как можно поскорее фотографическую карточку нашей дочки, но теперь еще не сделана, а пошлю при следующем письме. Когда будешь писать или пр<и>шлешь мне деньги пр<и>шли всегда через г. Сиги. Мы с дочкою молимся о твоем здоровье и чтобы ты нас не забывал либо ты есть наша сила.

Твоя верная Така перевел А. Сига

Нагасаки 6/18 апреля 1893 г.».

Второе письмо попало в Музей-архив Д. И. Менделеева случайно. Его принесла О. Г. Ржонсницкая в июне 1983 года. Ее покойный муж получил это письмо и фотографию Таки с дочерью в качестве подарка за помощь в разборе личного семейного архива Менделеева от его вдовы Анны Ивановны. Причем с Б. Н. Ржонсницкого было взято слово никогда их не публиковать. Видимо, Анна Ивановна не хотела видеть никаких «лишних» черт в образе своего покойного мужа, да и сама по себе возможность существования японских потомков Менделеева казалась ей неприемлемой. Версия о гибели японской семьи Владимира Менделеева ничем, как пишут исследователи, не подкреплена, никакого сообщения на этот счет не было, и, вполне возможно, в Японии продолжают жить правнуки Дмитрия Ивановича. Вот это письмо:

«Нагасаки.
18/6 Июля 1894 г.

Глубокоуважаемый Дмитрий Иванович, Прося Вас извинение за долгое молчание осмеливаюсь осведомиться о Вашем здоровий. Мы с дорогою и милою нашею Офудзи здоровы и она уже стала ходить; вот при сем препровождаю нашу с нею группу. В замен этого прошу Вас прислать нам Ваш портрет. От Владимира Дмитриевича я получила в Ноябре прошлого года письмо от 24 сентября 93 года письмо, написанное на крейсере «Память Азова». С того времени уже прошло много времени да он ничего не пи<ш>ет, даже чрез его товарищей, которые часто навещали Офудзи, н<и> слова от Володи не добьюсь. Так долго не имея известия от Володи я крайне мучусь. Поэтому <з>аставите быть чрезвычайно обязан<н>ой Ваше Прев<ос>ходительство, если поставите меня хоть в известность об дорогом моем Володе Вашим ответом. Желая от души Вам доброго здоровья, остаюсь преданною и готовое к услугам Вашим Така Хидесима».

В то время когда писались эти письма, лейтенант Владимир Менделеев уже совершал второе плавание на «Памяти Азова», на этот раз в составе русской эскадры в Средиземном море. Это был ответный визит в Тулон после посещения французской эскадрой Кронштадта. Ничто не предвещало, что этот поход, сопровождавшийся многочисленными праздничными мероприятиями, окажется для него чреват крупными неприятностями.

Корветом «Память Азова» командовал капитан 1-го ранга Г. П. Чухнин — человек жесткий и въедливый, но по праву считавшийся одним из лучших командиров флота. (Речь идет о том самом Чухнине, который в 1905 году подавит восстание на Черноморском флоте и уже после наведения порядка будет убит севастопольским матросом.) Сначала судно направилось к испанскому побережью, близ которого его должны были ждать возвращавшиеся из США крейсера «Адмирал Нахимов» и «Рында», а также броненосец «Император Николай I». 28 сентября корвет вышел из Картахены, чтобы на широте Барселоны соединиться с поджидавшей его эскадрой. Как писал один из очевидцев, «по неясно поднятому сигналу «Адмирал Нахимов» вместо того, чтобы вступить в кильватер корвету «Память Азова», для чего «Рында» оставил место за крейсером, пытался вступить в кильватер броненосцу «Император Николай I», то есть идти впереди крейсера». Дело могло кончиться таранным ударом в борт «Памяти Азова». В морской историографии считается, что катастрофа была предотвращена исключительно искусством, опытом и самообладанием Чухнина. В резолюции состоявшегося впоследствии суда сказано: «Благодаря правильным и решительным действиям командира крейсера «Память Азова» столкновение ограничилось легким прикосновением и незначительными повреждениями». О стоявшем в тот момент за штурвалом вахтенном начальнике Владимире Менделееве нигде не говорится ни слова.

Между тем Ольга Дмитриевна, описывая этот эпизод в своих мемуарах, со слов самого Владимира Дмитриевича сообщает, что Чухнина на мостике не было вообще. Он должен был находиться позади вахтенного, но почувствовал себя плохо и незаметно удалился. Лейтенант Менделеев, заметив угрожающий маневр фрегата «Адмирал Нахимов» и убедившись в отсутствии Чухнина, дал два звонка в капитанскую каюту, но командир не появился. Понимая, что, кроме него, принимать решение некому, лейтенант отдал команду «Полный назад!». Экипажи остальных кораблей, уже не сомневаясь в неминуемом столкновении, начали спускать на воду шлюпки и катера. Между тем суда, опасно накренившись и касаясь бортами, все-таки разошлись. Владимир Дмитриевич, пока еще твердо владея собой, отстоял свою вахту до конца, но затем разыскал капитана и высказал ему всё, что считал нужным. Разговор получился настолько тяжелым и опасным, что лейтенанту оставалась единственная дорога — под суд.

Дмитрий Иванович, в ту пору тесно общавшийся с Морским министерством, узнал о случившемся одним из первых. Он немедленно отправился к министру и упросил его немедленно списать Владимира с судна и вернуть на родину. После возвращения из своего

последнего плавания тридцатилетний Владимир фактически махнул рукой на морскую карьеру. В 1896 году он сделает предложение Варваре Лемох, дочери старого друга Дмитрия Ивановича, академика живописи, передвижника Кирилла Викентьевича Лемоха. У них родится сын Дмитрий. Много повидавший и испытавший Владимир станет нежным отцом. В 1898 году Владимир в 33 года выйдет в отставку и получит место инспектора по мореходному образованию при Министерстве финансов. В том же году старший сын Дмитрия Ивановича Менделеева умрет от инфлюэнцы. А Така и Офудзи останутся только на фотографии, в перечне расходов старого ученого да еще в статьях нескольких авторов, не теряющих надежды найти их след.

В 1892 году, в разгар работ по организации производства пироколлодийного пороха, тайный советник Д. И. Менделеев вновь возвращается на государственную службу. Он принимает предложение И. А. Вышнеградского возглавить Депо образцовых мер и весов, которому Министерство финансов отводило важнейшую роль в деле промышленного подъема страны. Дмитрий Иванович, имевший на всё, включая структуру правительства, свой собственный взгляд, взялся за это дело, несмотря на то, что выступал за создание самостоятельного Министерства торговли и промышленности, которому естественнее было бы руководить подобным учреждением. Впрочем, вскоре он получил возможность убедиться в том, что личность значительно важнее названия должности, поскольку в этом же году (и Менделеев вполне мог об этом знать заранее) Министерство финансов вместо его уравновешенного однокашника И. А. Вышнеградского возглавил С. Ю. Витте, сам по себе олицетворявший идею ускоренного развития. В том, что они были единомышленниками и сторонниками не разрушающего страну промышленного ускорения, постепеновец Менделеев имел возможность убедиться еще во время совместной работы с Сергеем Юльевичем в Тарифной комиссии. 43-летний Витте не собирался проводить ни «продворянскую», ни «антидворянскую» политику. Он был протекционистом, сторонником индустриализации и противником крестьянской общины с ее косностью и круговой порукой. Витте, сделавшему в короткий срок блестящую карьеру,[50] было суждено стать одним из главных действующих лиц крутого экономического подъема 1893–1900 годов, но вызвать весьма невнятные толкования нескольких поколений историков. Действительно, как можно было однозначно оценивать одного их самых активных членов реакционного катковского лагеря (именно оттуда пришли в правительство и он, и его предшественник Вышнеградский), более того — одного из организаторов Священной дружины, тайного монархического общества, ставившего своей целью борьбу с террористами с помощью их же методов (правда, он немедленно покинул эту организацию, как только увидел, какие мерзавцы и карьеристы встали в ее ряды), при котором объем промышленного производства вырос в два-три раза, причем не только за счет ситца, но в первую очередь за счет модернизированной тяжелой промышленности? Как можно было воздавать ему должное, если результаты его деятельности напрямую противоречили устойчивой до сих пор мысли, что индустриализация России возможна только в условиях и методами тотальной диктатуры?

Усилиями Витте в России были проведены денежная, налоговая, таможенная и алкогольная реформы. Их реализация имела, как водится, свои достоинства и недостатки, порой весьма существенные и ведущие к неспокойному будущему, но при Витте беспробудно спящая страна вдруг ожила и двинулась вперед. Главного чуда — всплеска экономической инициативы со стороны широких масс населения — конечно, не произошло,

---

[50] Служба Витте большей частью прошла на железной дороге, где он с молодых лет получил известность благодаря феноменальному знанию тарифов (по образованию он был математиком) и безбоязненному исполнению служебного долга, даже если оно шло вразрез с «врожденным» правом первых лиц страны. Например, он отказался пропустить царский поезд, следовавший с превышением скорости. Его решение было, конечно, отменено угодливым начальством, но о правоте молодого путейца вспомнили в 1888 году, когда поезд с царем и свитой все-таки потерпел крушение.

но в казну и промышленность потекли деньги. Русские модернизаторы впервые учили деньги работать. А русские это деньги или иностранные — значения не имело, главное, чтобы они работали на Россию. Как и Менделеев, Витте был активнейшим сторонником привлечения зарубежных капиталов. В ходе его «семилетки» в России ежегодно открывалось по 20–25 компаний с иностранным капиталом. Его агенты искали займы и инвестиции по всему миру, и активнее всего во Франции, Германии, Англии, Голландии и Америке. Один из его представителей даже уговорил банкира Ротшильда приехать в Петербург, где была подготовлена его встреча с Николаем II. Аудиенция была очень успешной, и за ней последовало резкое усиление потока французских капиталов в Россию.

Не менее деятельной была его восточная политика. Витте был одним из авторов концепции евразийства, не имеющей, кстати, ничего общего с одноименными идеологическими поделками нашего времени. Евразийство Витте — это проекты Транссибирской и Туркестано-Сибирской железных дорог, это сеть русско-азиатских банков, таких как Персидский учетно-ссудный банк, выкупленный Министерством финансов у частного владельца, превращенный в инструмент надежного финансирования торговли русских и персидских промышленников и ставший настолько авторитетным, что шах даже доверял ему чеканку персидских монет. Еще одно славное детище Витте — Русско-китайский банк, пайщиками которого стали шесть французских (в том числе «Париба» и «Креди Лионе») и четыре русских банка, успевший до начала кризиса 1900 года профинансировать строительство огромного участка Транссиба — до самых берегов Байкала. С тех пор прошло более ста лет. Магистрали, задуманные Витте, были достроены во времена советской власти. Но множество позиций русской финансовой политики на Западе и Востоке оказались утраченными, хотя, скажем, прививка доверительного сотрудничества, сделанная во времена Витте французским партнерам, каким-то чудом сказывается до сих пор; например, вышеназванные французские банки в постперестроечные времена одними из первых вернулись на русский рынок.

То, что Вышнеградский и Витте хотели видеть Менделеева во главе метрологической службы, говорит не только о том, что они стремились привлечь в сферу своей деятельности авторитетного, разносторонне одаренного и во многих отношениях полезного ученого. Он и без того откликался практически на любую их просьбу. Речь в данном случае шла о работе огромной важности — о подготовке империи к постепенному переходу на метрическую систему, без которой полноценное международное сотрудничество было невозможно. Эта подготовка должна была состоять не только в сверке и уточнении хранящихся в России метрических эталонов (у нас их предпочитали называть прототипами), но главным образом в создании научно обоснованной системы их изготовления, хранения и использования, распространении филиалов метрологической службы по всей стране. Начинать надо было, конечно, с русских мер длины и веса, с определения их соотношения с метрическими единицами — это был единственно возможный шаг к метрологической унификации отечественной экономики и торговли. Имея точную методику и необходимые для ее применения технические возможности, можно было с традиционных русских единиц измерения перейти на метрические. При этом, как всегда, когда речь касалась дел государственного масштаба, сопряженных с необходимостью достучаться до национального сознания, поистине бесценными оказывались масштаб личности, известность и публицистический талант Дмитрия Ивановича Менделеева. Но насколько ему самому было важно оказаться на этом месте? Почему он, едва успев подышать воздухом свободной, не скованной служебными рамками жизни, дал согласие занять сопряженную с многими хлопотами должность?

Первое, что приходит в голову, — это его глубокое (как отмечалось многими, на грани фанатизма) желание увидеть Россию вставшей на рельсы промышленного развития, его стремление подтолкнуть, ускорить этот процесс. Безусловно, он не мог остаться равнодушным к возможности оказаться рядом с молодыми, могущественными единомышленниками, такими как Витте и его ближайший сотрудник, директор

Департамента торговли и мануфактур В. И. Ковалевский (вспомним восторженный отзыв Дмитрия Ивановича о работе в Тарифной комиссии). Тем более что Менделеев не был намерен — да просто не был способен — ограничиться исключительно метрологической реформой, осуществляемой в контексте событий поистине исторического масштаба. Ему было мало задач, связанных с преобразованием Депо образцовых мер и весов в крупный, государственного значения научный центр со специальными лабораториями, изготовлением новых русских эталонов, в том числе таких, к которым и само слово «изготовление» не подходит (например, изготовить эталон секунды невозможно, зато можно создать условия для хранения этой единицы времени, и Менделеев со своими сотрудниками первым в мире решит эту проблему), и разработкой нового закона о мерах и весах. Менделеев намеревался включить этот огромный труд в общую массу своих беспрерывно умножающихся интересов и свершить его в условиях полной творческой свободы, будучи хозяином своего времени.

Второе соображение связано с тем, что в России любой, даже самый выдающийся деятель без должности, как правило, имеет очень мало возможностей. Вне университета Менделееву практически негде было заниматься лабораторными исследованиями, не говоря уже о том, что без служебного положения любая задача усложнялась едва ли не до крайности. Коллега Дмитрия Ивановича С. Ф. Глинка пишет об одной из встреч с «безработным» Менделеевым: «Однажды весною 1891 или 1892 года, ранним утром, в холодную и ветреную погоду я, взглянув в окно своей квартиры, которую имел в одном из зданий Института инженеров путей сообщения, увидел, к своему удивлению, Менделеева, который в шубе нараспашку бегал по обширному двору института и, видимо, кого-то разыскивал. Я поспешил к нему на помощь. Увидев меня, Д. И. сказал: *«Вот полюбуйтесь, до чего я дожил на старости лет — вчера до 12 часов ночи сидел в заседании, теперь рано утром (было не более 9 часов) бегаю; не знаете ли вы, где живет N.(он назвал одного из живших в институте, который раньше был в Баку на нефтяных заводах)?»* Я указал ему, где живет N, с которым он хотел посоветоваться по вопросу, затронутому на бывшем накануне заседании. Эпизод этот случайного характера открыл мне ту обстановку, в которой должен был жить и работать Дмитрий Иванович в возрасте, близком к 60 годам».

Тут вдобавок нужно иметь в виду, что перестройка службы мер и весов в недалекой перспективе не могла обойтись без строительства новых лабораторных площадей и, рядом с ними, жилья для него и его сотрудников. Для Дмитрия Ивановича это было важным и привычным условием научного труда — вспомним хотя бы его письмо в Морское министерство по поводу жилья для работников Научно-технической лаборатории. Конечно, он там ничего не писал о квартире для себя лично, но это вполне понятно, ведь тогда он являлся временно привлеченным консультантом из штатских. Безусловно, эта мысль звучит несколько приземленно, но Менделеев никогда не стеснялся добиваться условий, делавших его труд максимально эффективным. В конце концов именно эта схема организации работы в Палате будет использована им через несколько лет.

Кроме того, его не могла не заинтересовать сама возможность универсального культурологического воздействия на труд и быт расхристанного, не знающего ни в чем меры русского человека, у которого всё вразнобой и ни в чем нет единообразия, который беззащитен перед каждым, кто ему наливает, отмеряет, взвешивает и отсчитывает, для которого общепринятые и гарантированные законом вес и мера поистине могли стать вестниками мировой культуры. В этом отношении призвание к метрологии было сродни его стремлению *«осветить и смазать всю Россию»*.

В пользу принятия предложения Витте работали, вероятно, также склонность Дмитрия Ивановича к систематизации, к складыванию элементов в единое целое, тяга к собственно метрологическим занятиям — достаточно вспомнить его дотошность в проверке точности разновесов, когда-то поразившую Саллерона, или тщательную работу по сличению заказанных им копий с французскими оригинальными эталонами длины и веса в период исследования упругости газов, не говоря уже о множестве сконструированных им точных измерительных приборов. Впрочем, этот аргумент (как, наверное, и все остальные перед

лицом своих контраргументов) теряет свою убедительность в свете того факта, что список научных занятий Менделеева к этому времени был столь многообразен, что обоснованным и последовательным можно было бы считать любое его занятие.

Есть еще одно, возможно, самое интригующее предположение. В последние годы в среде российских и зарубежных менделееведов высказывается догадка, что Дмитрий Иванович, чаще всего подчинявшийся лишь собственным, подчас непонятным окружающим, мотивам принятия решений, пошел в метрологию ради той же задачи, которую решал, занимаясь упругостью газов: он продолжал искать мировой эфир. Тем более что работа над этой тематикой в Главной палате мер и весов будет документально зафиксирована, да и сам Менделеев публично заявит о ней как о приоритетной лично для него научной задаче. Может быть, это действительно где-то рядом: система химических элементов (которые Менделеев классифицировал только по атомным весам), способы точного измерения веса — и неуловимый, всепроникающий мировой эфир, почти невесомый, но, не исключено, способный оставлять после себя следы, которые можно взвесить?

Дмитрий Иванович Менделеев был третьим по счету хранителем Депо образцовых мер и весов, созданного в 1842 году под непосредственным руководством тогдашнего министра финансов Е. Ф. Канкрина. Впрочем, заниматься практическими метрологическими проблемами Канкрин начал еще за пять лет до того, как на территории Петропавловской крепости им было построено здание для первого в России метрологического учреждения. Хранителем Депо министр назначил академика А. Я. Купфера, при участии которого были созданы и утверждены первые государственные эталоны, которые еще долгие годы называли на старый манер прототипами. Купфер пришел со многими дельными проектами по улучшению русской метрологической службы, но судьба их оказалась несчастливой, поскольку они не нашли понимания у быстро сменявших друг друга новых назначенцев на пост министра финансов. Еще большую министерскую чехарду пережил преемник Купфера, профессор Института инженеров путей сообщения В. С. Глухов, который, вероятно, в силу своего упорства и более трезвого, нежели у предшественника, понимания русских бюрократических порядков сумел усовершенствовать работу вверенного ему учреждения.

Глухов добился выделения средств для приобретения земельного участка на Забалканском проспекте и строительства на нем нового, приспособленного здания. Он специально ездил в Германию, чтобы детально ознакомиться с проектом и оборудованием нового берлинского поверочного учреждения. В результате удалось возвести и обустроить здание с термостатированными хранилищами для эталонов, которое до сих пор служит домом для Всероссийского научно-исследовательского института метрологии. Оно было расположено в сорока шести саженях от ближайшей улицы, его стены опирались на каменные устои, которые в свою очередь покоились на сваях, достигающих твердого грунта. Боковая поверхность свай была изолирована от вибрации зыбких пластов воздушными камерами. Каменные столбы, на которых были установлены точные приборы, также упирались в мощные, защищенные от внешней вибрации устои. Основные лаборатории первого этажа (мер длины и мер массы) были окружены специальными коридорами и системой помещений, защищавших центральную часть от перепада температуры. Отопление первого этажа было водяным, причем горячие трубы были проведены по всему периметру наружных стен. Имелась башня для астрономических наблюдений с термоконстантным подвалом, в котором размещались точные часы.

Глухов определил профиль Депо как государственного поверочного органа, в ведении которого должны находиться все измерительные приборы, используемые для поверки мер и весов. Его проект закона о мерах и весах предусматривал применение в качестве основной единицы длины аршина вместо сажени, а также более точное определение основной единицы массы — фунта. Он считал своей задачей возобновление прототипов длины и массы и факультативное применение в России метрической системы мер наряду с русской системой.

Менделеев, который видел функции этого учреждения значительно шире, во многом стал продолжателем глуховских идей. В первую очередь это касалось факультативного, на первых порах, использования метрического измерения. Менделеев вообще очень высоко ценил русскую систему мер за то, что из *«всех систем мер и веса только три: английская, французская (метрическая) и русская отличаются полной разработкой и выдерживают научную критику»* . По его идее будет изготовлена образцовая мера длины — полусажень, на которой будут размечены аршин, ярд и метр с их подразделениями (всего 253 отметки). Этот, по характеристике Менделеева, «единственный экземпляр, драгоценный во множестве отношений», сыграет значительную роль при переходе на метрическую систему. Уже через год после назначения Дмитрия Ивановича главным хранителем учреждение будет реорганизовано в Главную палату мер и весов. Это название ему пришлось отстаивать «на высоких тонах». Министерские чиновники настолько упорствовали в том, чтобы слово «Главная» было изъято из проекта реорганизации, что ему даже пришлось пригрозить своей отставкой. За 14 лет менделеевского правления Палата превратится в первый научный метрологический центр России с десятью внутренними подразделениями, оснащенными самым передовым для того времени оборудованием, с расширенной базой национальных эталонов и всероссийской сетью поверочных палаток. При жизни Дмитрия Ивановича по стране будет открыто 25 этих учреждений, с помощью которых он поможет стране сделать самый первый и самый важный шаг перехода к новому, метрическому измерению.

Для тех, кто сегодня пишет о правилах формирования научных коллективов и условиях поддержания в них благоприятного психологического климата, может остаться абсолютно непонятным, как вечно всклокоченный, нервный и капризный Менделеев мог подобрать столь совершенный в научном и кадровом отношении состав работников Главной палаты мер и весов. Факт представляется тем более удивительным, если взять во внимание, что никакого научного и вообще взвешенного подхода к этому вопросу у Дмитрия Ивановича не было. Он, конечно, был заинтересован в специалистах того или иного профиля, но, похоже, руководствовался при этом главным образом лишь тем, насколько этот человек мог быть для него «успокоительным». Работник, раздражавший Менделеева, не имел никаких шансов остаться в стенах Палаты, за исключением разве что тех случаев, когда сотруднику хватало ума разобраться в себе и внутренне «подстроиться» под Менделеева либо тот сам (или после подсказки коллег) вдруг начинал видеть нечто привлекательное в дотоле «неприятном» человеке.

Собственно говоря, человек мог стать неприятным Менделееву из-за пустяка, например оказавшись свидетелем смущения или замешательства старого ученого. Так, однажды он в присутствии недавно принятой на работу сотрудницы пытался использовать оптическую трубу, забыв снять с нее колпачок. Ничего не видя, он пришел в сильнейшее раздражение, считая, что барышня заслонила свет. Бедная девушка пыталась сказать ему о колпачке, но Дмитрий Иванович буквально не давал ей открыть рот. Всё, конечно, разъяснилось, но отношения Менделеева и новой сотрудницы были навсегда испорчены.

Любопытным исключением из этого правила были случаи, когда до ушей палатских ученых барышень доносились «нелитературные» высказывания, которые довольно легко вылетали из уст управляющего Палатой. Он, конечно, в таких случаях страшно смущался, иногда даже просил извинения, но никого не переводил в «черный список». Тут, наверное, играл свою роль один из мотивов, по которым он охотно принимал на работу особ женского пола — они были не только отличными специалистами, но и обладали способностью к «смягчению нравов»: мужчины в их присутствии *«меньше стали нескромно выражаться»*. Дмитрий Иванович и сам старался не употреблять ругательств и грубостей при женщинах, иногда демонстрируя даже некоторые забавные крайности. Скажем, хотел он в своей привычной манере похвалить толковую сотрудницу: дескать, она в своем деле… но тут же спохватывался, что барышня может обидеться, и «смягчал»: *«…собачку скушали»*.

Высокая оценка интеллектуальных возможностей женщин сложилась у Менделеева задолго до перехода в Главную палату мер и весов. Об этом свидетельствует не только его

активная работа на ниве женского высшего образования, но и конкретные факты, связанные с подбором кадров для Палаты. Так, однажды, переманив у И. М. Чельцова толковую работницу (тот приехал к Менделееву советоваться, насколько уместна будет дама среди мужского персонала научно-технической лаборатории), Дмитрий Иванович тем не менее с большой горячностью принялся агитировать его брать на работу женщин: *«Отлично! Возьмите барышню! У меня в университете была одна еврейка. Ух, какая работница была! Непременно возьмите! Только я знаю, о ком вы говорите… Я сам ее беру».* Речь в данном случае шла о будущей многолетней сотруднице Палаты, помощнице и друге Дмитрия Ивановича Ольге Озаровской, оставившей о нем очень интересные воспоминания.

Озаровская, сумевшая с первой встречи понять натуру управляющего Палатой, объясняет многие неудачные контакты Менделеева с соискателями и другими незнакомыми посетителями застенчивостью и необычайным волнением великого ученого перед каждым новым человеком: «…когда он кричал, то кричал в сердцах, в сущности, на самого себя. Первая встреча решала судьбу отношений. Если посетитель не испугается, а ответит спокойствием, Дмитрий Иванович угомонится, польется у них интересная беседа». В противном случае события развивались по другому сценарию, опять же описанному Озаровской: «Входит посетитель, Дмитрий Иванович предлагает сесть в кресло и сейчас же кричит: — *Стойте! На книгу не сядьте!* — Посетитель вскакивает, берет с кресла фолиант и не знает, куда его девать: стол завален книгами и бумагами. — *Ах, уж если сели, так сидите! Садились бы на книгу…* — Посетитель кладет книгу на кресло и намеревается на нее сесть. — *А, да держали в руках. Так уж клали бы на стол, что ли! Да уж сидите! Время-то, время идет!* — Как только Дмитрий Иванович заметит, что произвел угнетающее впечатление, — кончено: взволнуется, наговорит грубостей и едва не прогонит, а сам после будет страдать».

Ответ на вопрос, как вокруг столь неуравновешенного лидера мог сложиться, возможно, лучший в России научный коллектив, наверное, состоит в том, что Менделеев являлся поистине культовой личностью своего времени и работа рядом с ним была честью для многих ученых. Кто-то был готов прощать ему любую несдержанность, а кто-то и вовсе не обижался на него ни при каких обстоятельствах либо относился к нестандартной личности своего руководителя с добрым юмором.

Ведь он требовал от сотрудников не покорности, а настоящего творчества, и это не могло не быть оценено учеными Палаты. К тому же Дмитрий Иванович, при всей его вечной взвинченности, воспринимал сотрудников как членов своей семьи — бывал к ним настолько внимателен и заботлив, насколько мог быть внимателен и заботлив к собственным детям. В любой момент Менделеев готов был использовать весь свой авторитет, все силы и всё время на хлопоты по личному делу своего сотрудника и шел в таких случаях до конца, до результата, не щадя здоровья и бросая в ряде случаев на чашу весов свой главный козырь — угрозу отставки. Возможно, именно этот феномен, описанный в воспоминаниях многих сотрудников Палаты, и позволил, вкупе с другими обстоятельствами, сложиться ее коллективу.

Новички подвергались порой весьма необычным испытаниям. Например, М. Н. Младенцев, которому было суждено вместе с В. Е. Тищенко стать биографом Менделеева, рассказывает, что пришел к нему вместе с товарищем, таким же выпускником университета. Дмитрий Иванович принял их ласково, был очень приветлив, хотя и поразил молодых людей суетливостью, показывал им карты, привезенные из своих путешествий, а потом вдруг поручил составить карту к отчету о поездке на Урал. Молодые люди были ошарашены, но за дело взялись. Через два месяца работа была показана Менделееву, который ее забраковал. Его не устроило, что параллели были вычерчены, как тогда было принято, с помощью ломаной линии. Он потребовал выполнить их дугами, использовав коническую проекцию Гаусса, что было сопряжено с массой вычислений и прочих трудностей. Через какое-то время «картографы» решили отказаться от задания и заявили Менделееву, что их этому делу не учили. Дмитрий Иванович тут же поставил в разговоре точку: *«Лица, умеющие делать*

то, чему их учили, мне не нужны. Карту или уходите». Они не ушли, а разобрались и сделали всё так, что старик остался доволен. Отчет вместе с картой был опубликован, а через какое-то время она была издана отдельно как одна из лучших карт региона.

Дальнейшие взаимоотношения Младенцева и Менделеева складывались естественным образом, с учетом сложности менделеевского естества и норова молодого, уверенного в себе работника. Ежедневные, иногда по нескольку раз в день, доверительные и доброжелательные встречи не отменяли редких, но бурных выяснений отношений. Однажды Менделеев, замученный бюрократическими рогатками, потребовал, чтобы Младенцев, который занимал должность секретаря Палаты, подписал какую-то не совсем правильно оформленную бумагу. Тот отказался. Далее произошел диалог, попавший в воспоминания Михаила Николаевича: *««Кто из нас управляющий? Вы или я?»* — «Вы». *— «Я вас вон выгоню»,* — кричал он, ударив кулаком по столу. — «И уйду», — отвечал ему, а затем спокойно говорил ему: «Дмитрий Иванович, я тоже подпись даю на бумаге и за соблюдение законности держу ответ». *— «Конечно, конечно, вы правы. Молодость всегда права. Такой же будете поганый старик…»».*

Доставалось от Дмитрия Ивановича и его ближайшему сотруднику и другу, одному из ведущих специалистов Федору Ивановичу Блюмбаху, которого он не только высоко ценил, но очень любил за деликатную натуру и выдающиеся способности. Блюмбах действительно был крупной, незаурядной личностью. С его именем связано создание большого количества метрологических приборов. Кроме несомненного таланта, широчайшего научного горизонта и великолепной работоспособности, что роднило его с Менделеевым, он обладал также качествами, которых у Дмитрия Ивановича не было, например знанием иностранных языков. Федор Иванович бы настоящим полиглотом, поскольку, кроме русского и родного латышского, владел английским, французским, немецким, итальянским, испанским, шведским и финским языками, что делало его незаменимым помощником в переписке и деловых поездках за границу. На своего главного сподвижника и участника всенощных бесед Менделеев кричал, как пишут очевидцы, «ужасно», несмотря на то, что Блюмбах совершенно не мог к этому привыкнуть. Бывало, во время опытов у него руки тряслись от менделеевского крика, даром что тот мог в этот момент кричать не на него, а на других присутствующих, чтобы они Федору Ивановичу не мешали. За это Дмитрий Иванович, переставляя по своему частому обыкновению причину и следствие, называл сдержанного прибалта «горячкой», хотя привязывался к нему всё крепче. Но даже будучи участником такого непростого содружества, Блюмбах находил возможность быть самостоятельным и порой принимал нужные решения без согласования с грозным и не терпевшим никакого организационного самоуправства Менделеевым. Однажды, когда Дмитрий Иванович был в долгой отлучке за границей, оставленный вместо него Федор Иванович, давным-давно мечтавший приспособить для дела подвал под своей лабораторией (в нем имелись толстые стены и все условия для поддержания постоянной температуры — мечта для настоящего метролога), без всяких смет и ассигнований приказал пробить пол в лаборатории, спустить в подвал металлическую лестницу, отделать его и перенести туда часть оборудования. Можно предположить, что приезда Дмитрия Ивановича он дожидался с неспокойным сердцем, будучи готовым к любой реакции. Но Менделеев, обходя после возвращения Палату и наткнувшись на новое помещение, инициативу Блюмбаха одобрил, более того, был ею очень доволен.

При всей «взрывоопасности» Дмитрия Ивановича сотрудники, жившие с ним «на одной волне», могли рассчитывать на благожелательную оценку их поступков. Такие были способны, например, войти без стука в его кабинет и вынуть у него из-под локтя нужную книгу. Хорошо знавшие Менделеева люди понимали, что если он грозится уволить кого-то из отсутствующих, например, своего ближайшего советчика и заботливого друга Василия Дмитриевича Сапожникова, заваленного у себя на даче бесконечной корректурой менделеевских трудов, то это не означает, что управляющий действительно хочет избавиться

от сотрудника, а просто ему сейчас очень не хватает именно этого человека. И действительно, стоило Сапожникову показаться, как гнев и угрозы испарялись без остатка: *«Ах, это вы, Василий Дмитриевич, здравствуйте… только сегодня не уезжайте…»* И в серьезных вопросах, даже если разговор уже шел вразнос и мнения совершенно не совпадали, подчиненные не зря уповали на способность шефа остыть, прислушаться к их аргументам и изменить свое мнение. Тот же Сапожников однажды едва не стал жертвой менделеевского нервного срыва, но не сробел и ответил ему ровно теми же уничижительными словами. Спор зашел относительно оценки деятельности управляющего Саратовской поверочной палаткой, за короткий срок выжившего из руководимого им учреждения 11 поверителей. Сапожников и Младенцев настаивали на увольнении самодура, Дмитрий Иванович же, имевший о нем другое мнение, вдруг неожиданно и сильно расстроился и, как пишет М. Н. Младенцев, «крайне возбужденный, сложил большой и указательный наподобие нуля и, поставив руку перед собой, повышенным голосом сказал Вас. Дм.: *«Мне ваше мнение, тьфу…»* Сапожников, в свою очередь, возбужденно сказал: «И мне ваше мнение, Дм. Ив., тьфу…» Вышел и хлопнул дверью». Больше они на эту тему не говорили и отношений не выясняли, но через две недели саратовский чиновник был уволен.

Нужно сказать, что несколько пристрастное отношение Менделеева к упомянутому саратовскому персонажу, бывшему преподавателю младших классов Гатчинского сиротского института Н. Г. Неклюдову, было во многом связано с умением и готовностью того подолгу играть в шахматы. Во время его приездов в столицу Дмитрий Иванович всегда приглашал его к себе на обед, после чего они надолго усаживались за шахматной доской. Любовь Менделеева к древней игре к этому времени всё больше напоминала безумную страсть. Он вел охоту на шахматистов. Едва придя на работу, Дмитрий Иванович мог сразу заняться поиском партнера для игры на грядущие вечер и ночь.

Шахматные способности сотрудника могли в корне изменить его судьбу. Так, например, произошло с А. М. Кремлевым, которого Менделеев вначале отчего-то сильно невзлюбил (поговаривали, что за малый рост — Дмитрий Иванович с подозрением относился к низкорослым) и собирался перевести куда-нибудь подальше в провинцию. Ситуация для Кремлева была тем более обидной, что он был истинным и преданным почитателем Менделеева. Выручил его Младенцев. Как-то во время доклада Менделееву (а вопрос о переводе Кремлева был уже решен, дата и место назначения определены) он будто ненароком обмолвился, что Кремлев играет в шахматы. В тот же вечер опальный сотрудник был приглашен в гости, и вскоре между ними завязались удивительно теплые и мягкие отношения. Благодарный Кремлев был счастлив играть с обожаемым Дмитрием Ивановичем всю ночь до утра и уходил только после того, как его партнер сам вставал из-за стола. Тут он был абсолютным рекордсменом, поскольку прежний чемпион К. Н. Егоров хотя тоже мог сидеть за шахматной доской очень подолгу, но в конце концов не выдерживал и первым прекращал игру, предлагая недовольному хозяину подумать о сне. Блюмбах выдерживал только до трех часов ночи. Следующим по силе шахматным марафонцем был художник Архип Иванович Куинджи. Далее шли А. И. Горбов, С. П. Вуколов, Ф. П. Завадский, друг молодости Менделеева А. И. Скиндер и принятый по рекомендации редактора-издателя «Шахматного журнала» А. К. Макарова на место Скиндера после его безвременной смерти А. А. Ржешотарский. Таким образом, Кремлев не только остался в Главной палате, но и подружился со своим кумиром. Вскоре он даже был допущен к святая святых — корректуре 8-го издания «Основ химии». В дальнейшем Менделеев причислял его к самым близким людям и даже подарил свой портфель с трогательной гравировкой.

Оборудование для Главной палаты изготавливалось по самому высокому классу точности. Многое было сконструировано по идеям или под руководством Менделеева самими сотрудниками и здесь же, на месте, изготовлено талантливым механиком И. И. Кварнбергом. Что-то приходилось заказывать заграничным умельцам, например

универсальный компаратор (прибор для сравнения измеряемых линейных величин с мерами или шкалами) английской фирмы «Траутон и Симмс». В эти годы Менделеева, прирожденного путешественника, можно было встретить за границей особенно часто. Среди множества других вещей его теперь интересует всё, что касается метрологии: приборы, методика, организация поверочного дела, но в первую очередь — эталоны. Он считает необходимым «возобновить», то есть заменить новыми все русские эталоны, изготовленные до 1835 года. Наряду с основными, неприкосновенными прототипами идет изготовление точно таких же рабочих образцов. Заранее, на уже близкую перспективу, начинается аналогичная работа с метрическими эталонами. Дмитрий Иванович и его сотрудники становятся частыми гостями Парижской консерватории изящных ремесел, где их всегда с удовольствием встречает старый друг Менделеева Ж. Треска. Но главное место их командировок — Англия, поскольку эталоны русских мер с петровских времен соотносились именно с английскими. Так, аршин (71,12 сантиметра) соотносился с английским ярдом (91,44 сантиметра) через их кратность дюйму (2,54 сантиметра): в аршине должно быть 28 полных дюймов, а в ярде — 36. Эталон аршина был изготовлен фирмой «Траутон и Симмс» из сплава, применяемого в международных метрических эталонах и состоявшего на 90 процентов из платины и на 10 процентов из иридия. Сличение сажени и полусажени было произведено лично Менделеевым, Блюмбахом и директором Лондонского бюро стандартов Г. Ченеем. По заказу русских метрологов в Лондоне было изготовлено несколько образцов русского фунта (0,40951241 килограмма) — в виде цилиндров с высотой, равной диаметру. Дмитрий Иванович поручил их чистовую доводку сначала английскому механику Л. Эртлингу, а затем, на совершенно деликатной стадии, своим сотрудникам Сапожникову и Завадскому. Затем в Петербурге был изготовлен еще один, рабочий, образец фунта из золотого монетного сплава.

В ходе «возобновления прототипов» русские метрологи осуществили 80 серий сличений и 20 тысяч специальных наблюдений. Представить, сколько всего было сделано ими за пять первых лет, и оценить энергию их главного организатора можно, например, сравнив этот объем работы с темпами заграничных метрологов: подобная задача в Англии была решена за 21 год, во Франции — за 17 лет.

В эти же годы Дмитрий Иванович создает и детально разрабатывает свою теорию взвешивания, вводит новые формулы и метрологические понятия, обосновывает оптимальное количество взвешиваний и даже дает правила расчета вероятных погрешностей. В 1895 году выходит в свет его фундаментальный метрологический труд «О приемах точных, или метрологических, взвешиваний», который до сих пор остается современным, особенно в части методов сличения эталонов массы и рекомендаций по выполнению особо точных взвешиваний. А предложенный им проект одноплечих двухпризменных весов вообще обогнал свое время — после ряда попыток был реализован лишь в 1932 году Иваном Дмитриевичем Менделеевым и получил с тех пор широкое распространение.

Отдавая массу сил и времени весам различных конструкций (по его указанию были приобретены и усовершенствованы самые чувствительные для того времени весы фирмы «Рупрехт» и весы для взвешивания в безвоздушном пространстве конструкции австрийца И. Неметца), работая с разнообразными маятниками, Менделеев по-прежнему видел суть химии где-то совсем рядом с механикой и не оставлял мысли подобраться к загадке мирового эфира. По этому поводу он писал: *«…от усовершенствования способов взвешивания должно ждать еще много новых успехов естественной философии, особенно же выяснения хотя бы некоторых сторон всеобщего, но еще таинственного всемирного тяготения».* Начав заниматься метрологией в 1893 году, он уже через два года становится постоянным членом Международного комитета мер и весов, в котором докладывает об исследованиях, связанных с определением плотности воды и воздуха (это было необходимо для точного взвешивания литра воды и кубического дециметра воздуха), и о результатах опытов в термометрической и барометрической лабораториях возглавляемой им Палаты, тем самым вызывая уважение, а то и зависть у многих коллег, располагавших значительно более скромными лабораторными

возможностями и вообще представлявших до того метрологию специальным, довольно отдаленным от фундаментальных научных исследований занятием. При Менделееве начал выходить первый русский метрологический журнал «Временник Главной палаты мер и весов», каждый номер которого свидетельствовал о высоком научном уровне русской метрологии и её государственно-промышленной идеологии.

Но занятия Дмитрия Ивановича в эти годы невозможно свести к одной метрологии. Кроме создания пироколлодийного пороха, были еще участие в разработке таможенного тарифа с Германией (отношения с ней в те годы историки часто называют таможенной войной), работа в комиссии по устройству Томского технологического института и университета. Министр просвещения И. Д. Делянов сам не смог уговорить Дмитрия Ивановича войти в комиссию, так он объяснил Витте, что без Менделеева томское дитя так и не родится, а уважаемому Сергею Юльевичу как откажешь? Менделеев деятельно участвовал в организации Нижегородской ярмарки 1896 года *(«Нижегородская выставка всё лето забрала»),* в строительстве дома для сотрудников Палаты, в работе Академии художеств, куда он был выбран сначала членом, а затем даже вошел в совет, наотрез отказавшись от положенного жалованья, и пр.

Точно так же и его поездки за границу нельзя свести единственно к делам Главной палаты мер и весов. Европа в определенном смысле всегда была для него чем-то вроде шахмат — отвлекала от докучных дум и возвращала в рабочее состояние. Тем более что здоровье Дмитрия Ивановича требовало ежегодного лечения на Лазурном Берегу. Плюс поездки за получением наград… Подсчитано, что за свою жизнь (73 года) ученый почти девять лет провел за пределами России. Одна из самых известных поездок состоялась в 1894 году в Англию, куда на этот раз Менделеев был приглашен Кембриджским и Оксфордским университетами для получения докторской степени. Из Франции, где у него было несколько встреч с коллегами, он вместе с женой переправился через Ла-Манш и уже в Лондоне встретился с приехавшим ранее по делам Палаты Ф. И. Блюмбахом, чье присутствие избавляло от мук немоты при общении с коллегами.

Хотя, честно говоря, Дмитрий Иванович без знания иностранных языков не очень-то и мучился. Выручали общий язык формул и малый запас немецкого, привезенный когда-то из Гейдельберга, да еще тот пиетет к Менделееву, который заставлял иностранных коллег искать и находить способ пообщаться с ним. Уильям Рамзай, которому было суждено привести в таблицу Менделеева целую группу инертных газов, так описывал встречу с ним, возможно, произошедшую в этот самый приезд (мог же Блюмбах куда-то на минуту отлучиться?): «Я прибыл на обед рано и убивал время, просматривая имена присутствующих, когда ко мне, поклонившись, подошел необычной внешности иностранец, каждый волос которого, казалось, был совершенно независим от другого. Я сказал: «Мне думается, придет довольно много людей». Он ответил: *«Я не говорю по-английски».* Я сказал: «Может быть, Вы говорите по-немецки?» Он ответил: «*Довольно слабо. Я — Менделеев* ». На что я не сказал: «Я Рамзай», а ответил: «Меня зовут Рамзай», что, может быть, звучало более скромно. Стоило владеть немецким языком для того, чтобы поговорить с Менделеевым, даже если его немецкий был слаб».

Сначала был Кембридж, в котором русские гости остановились в доме у ректора, сэра Пилла. Уклониться от приглашения означало нанести обиду приглашающей стороне. Пришлось Менделееву на неделю смириться с замкнутой геометрией небольшого дома и его внутреннего садика. Неменьшее неудобство для него представлял строгий распорядок домашней жизни. Гости должны были спускаться к кофе ровно в девять часов утра. Если они появлялись в столовой раньше, то с удивлением видели, что на их местах сидят слуги, которым хозяин перед совместной молитвой читает Священное Писание, если опаздывали — встречали молчаливый укор в глазах хозяев и занявших свои обычные места слуг. Дмитрий Иванович, давным-давно перепутавший день и ночь и считавший дома обычным делом глухой ночью крикнуть, чтобы ему принесли свежего чаю, да и вообще не терпевший

никаких стеснений, здесь являлся к столу точно в срок, и только его спутники чувствовали, чего это ему стоит.

В день вручения докторских дипломов присутствующие могли насладиться торжественной церемонией, ход которой оставался неизменным со времен Средневековья. Ее распорядитель вышел в черной мантии с длиннейшим шлейфом, покрытым роскошной золотой вышивкой. Награждаемые были также наряжены в средневековые плащи и черные бархатные береты. Цвет плащей зависел от специальности ученого: у естественников и философов — ярко-красный с ярко-синими отворотами, у филологов и историков — фиолетовый, у музыкантов — белый. Дмитрий Иванович, с его высоким ростом, несовременным лицом, голубыми глазами и длинными волосами, был, по мнению супруги, в этом одеянии удивительно похож на оперного Фауста (это сходство многие подмечали в нем и без всяких нарядов). Каждый награждаемый, когда подходила его очередь выйти вперед, чтобы выслушать обращенную к нему речь ведущего, сталкивался с еще одной традицией этого мероприятия. Оказалось, студентам, также наряженным в плащи и береты, в этот день было позволено делать всё что угодно: выкрикивать с хоров, не стесняясь в выражениях, любые замечания по адресу новых докторов и вообще дурить как заблагорассудится. Например, кто-то встретил принца Йоркского, своего будущего короля, дурашливыми словами: «Ну, привет, новый папаша!» — с намеком то ли на его будущее царствование, то ли на недавнее рождение сына. В зале присутствовала мать наследника, принцесса Эдинбургская Алиса, однако это шутника не остановило. Но когда на сцену двинулся величественный русский Фауст; в его адрес не прозвучало ни единого возгласа. Наоборот, будто желая ему угодить, какой-то студент во время длинной поздравительной речи, произносимой, естественно, на латыни, крикнул нарядному ведущему: «Да будет, сэр, довольно латыни, говорите по-английски!»

То, что русский гость после Кембриджа отправился на аналогичную церемонию в Оксфорд, для многих было просто удивительным. Дело в том, что эти университеты издавна конкурировали, отношения между ними были неважными и награждать одного и того же человека дипломом почетного доктора было, мягко, говоря, не в их обычаях. Но Менделеев, как видно, сам собой ломал такого рода условности. Оба университета считали за честь вручить ему награду, без всякой оглядки на конкурента. Тут было очевидно, что в проигрыше окажется тот университет, который упустит эту возможность. Награждение в Оксфорде прошло по аналогичной схеме, за исключением того, что во время него зал вообще притих, с галерки не раздалось ни одного лишнего звука, а Менделеев вышел получать диплом с непокрытой головой, держа берет в руках, поскольку не смог подобрать убора по размеру своей огромной головы с торчащими во все стороны наэлектризованными волосами.

Несмотря на множество приятных впечатлений, Дмитрий Иванович на этот раз просто мечтал об отъезде и еле дождался момента, когда они остались в купе одни. Вот как описывает эту сцену Анна Ивановна: «Две недели торжеств, жизни в непривычной, чуждой обстановке так были тяжки ему с его самобытным характером, что он не знал, как выразить радость свободы. Он бросался на диван, раскидывался, вскакивал, опять бросался на диван, наконец, схватил из кармана какие-то мелкие английские деньги, сколько попало в руку, и вдруг выбросил их в окно, так ему нужно было отвести душу в каком-нибудь нелепом, не предписанном правилами поступке. Мне он был очень понятен в ту минуту. Но надо было видеть Ф. И. Блумбах…» (Анна Ивановна эту фамилию не склоняла, произносила и писала по-своему.)

Конечно же такое поведение было связано с особыми обстоятельствами поездки. Дмитрий Иванович хотя и был непостоянен в своем отношении к заграница, но в тех случаях, когда от него не требовалось исполнения неприемлемых правил и обязанностей, она становилась в его глазах (тем более на фоне ставших обычными и для второго брака домашних неурядиц) надежным и в какие-то моменты жизни единственно возможным приютом. Об этом, в частности, свидетельствуют записи, которые он сделал в 1896 году в осенних Каннах: *«Холодно и дождь. А всё жаль отсюда ехать: так покойно и уютно и*

работал хорошо». Пока в его словах звучит только сожаление. Но в тот же день происходит взрыв эмоций: *«О, как тяжело уезжать оттуда, где так спокойно жил и где так хорошо и здорово работал. Мне просто страшно, что будет и какой где найду покой и найду ли? Слезы так и бегут непрошеные. И я, обставленный малыми условиями да книгами, здесь еще много бы сделал и нашел новое чуть не каждый день себе и, быть может, другим. Глуп я был, что не позаботился о старости».* Эти строки поразительно напоминают последние письма Менделеева из Гейдельберга. Тогда ему тоже страшно было возвращаться в Россию, и заграница казалась такой надежной и удобной для работы. Но теперь, когда жизнь на родине состоялась по самому высокому счету, от чего и от кого ему хочется скрыться на осеннем французском курорте? Может быть, от ощущения безвозвратно уходящего времени и предчувствия тяжких потерь? Уже не узнаем.

В Боблове, в новом доме, тем временем подросли другие дети. В имении многое изменилось. Старый быт исчез, и вместе с ним исчезло всё, что могло напоминать Анне Ивановне о прежней семейной жизни ее супруга. Бесследно пропали Володина морская бескозырка и Олина тележка вместе с маленькими грабельками, с которыми малолетняя «работница» управлялась столь усердно, что Дмитрий Иванович наказал управляющему платить ей по справедливости. В усадьбе уже мало кто помнил о былых веселых и шумных прогулках во главе с Дмитрием Ивановичем по окрестностям, об обязательном в конце сенокоса походе на луг возле деревни Горшково, где местные крестьяне из года в год наметывали огромный стог сена. Навершие всегда делал один и тот же умелый старик с развевающейся на ветру рыжей бородой. Звали его тоже Дмитрий Иванович. Они были добрые знакомцы, и всем вокруг была интересна их встреча. *«Лови, Дмитрий Иванович!»* — кричал снизу Менделеев, готовясь бросить своему приятелю специально захваченную из дома бутылку водки. «Кидайте, ловлю, Дмитрий Иванович!» — откликался тот сверху и ловко подхватывал гостинец. И всем было весело. Слуги в это время раздували у маленькой речки самовар и расстилали прямо на берегу скатерть для чашек и закусок…

Теперь хозяин усадьбы редко покидал Бобловскую Гору. Имение использовалось только для летнего отдыха, опыты по агрохимии давным-давно не велись, как и почти вся хозяйственная деятельность. Доходов едва хватало на содержание усадьбы. Но радостная дачная жизнь продолжалась, хотя из прежних, когда-то молодых голосов здесь остался всего один, принадлежащий любимой племяннице Дмитрия Ивановича Надежде Яковлевне Губкиной, в девичестве Капустиной. Ей было уже за сорок, но она продолжала участвовать в затеях новой молодой компании, играла в театральных постановках и даже сама писала смешные детские пьесы.

Иногда спектакль оказывался еще более смешным, чем хотелось автору. Однажды на представление пришел сам Дмитрий Иванович и уселся прямо возле подмостков. А на сцене должна была произойти встреча заблудившейся в лесу и спрятавшейся в дупле девочки Маши (артистка Любовь Менделеева, десяти лет) и Серого Волка (артистка Федосья-скотница). Худенькая и очень подвижная Федосья, прикрытая настоящей волчьей шкурой, должна была, как и положено четвероногому хищнику, выйти на четвереньках, и на репетиции у нее это очень здорово получалось. И вот Волк, озираясь и шумно принюхиваясь, благополучно достиг середины помоста. Но тут Федосья случайно заметила хозяина усадьбы. Волк быстро вскочил на задние лапы. «Здравствуйте, барин!» — *«Не барин, матушка, а Дмитрий Иванович»,* — невозмутимо поправляет Менделеев, который ни при каких обстоятельствах терпеть не мог ни «барина», ни «превосходительства». «Здравствуйте, Дмитрий Иванович», — исправляет ошибку Волк и вновь опускается на четвереньки…

С годами увлечение юных бобловских обитателей театром становилось всё более осознанным. Наконец, летом 1898 года в сенном сарае ими был дан настоящий костюмированный любительский спектакль. Любе было в это время уже 16 лет, она успела превратиться в крепкую и ладную красавицу, Ване исполнилось 13. (Мальчик отлично учился в гимназии, и родители с беспокойством думали о его дальнейшей судьбе.

Сотрясаемый беспорядками университет всё меньше являлся местом, где можно было получить хорошее образование. Старый друг Менделеева И. И. Мечников предлагал устроить способного юношу в парижскую закрытую *Ecole Normale* , где учились исключительно французы, но для сына Менделеева готовы были сделать исключение. На праздники Илья Ильич с супругой могли бы приглашать его в свой дом. Анна Ивановна считала такое предложение «прекрасным», но Дмитрий Иванович от него отказался.) Близнецы Маша и Вася были еще малы, им было по 12 лет. Зато в спектакле приняли участие молодой учитель Вани, две внучатые племянницы Дмитрия Ивановича Лидия и Серафима, семнадцати и восемнадцати лет (внучки брата Ивана Ивановича и дочери полного тезки нашего героя), и множество соседской молодежи — в округе обзавелась дачами значительная часть менделеевской родни, коллег и знакомых.

Первый спектакль назывался «Гамлет». Режиссером, исполнителем ролей Гамлета и Клавдия, а также основным «мотором» этого театрального лета в Боблове был внук А. Н. Бекетова, семнадцатилетний студент-юрист Александр Блок.

Я — Гамлет. Холодеет кровь,
Когда плетет коварство сети,
И в сердце — первая любовь
Жива — к единственной на свете.
Тебя, Офелию мою,
Увел далёко жизни холод,
И гибну, принц, в родном краю
Клинком отравленным заколот.

В первый раз Александр появился в Боблове верхом на белой лошади, в элегантном костюме и щегольских сапогах. Люба была в розовой блузке с туго накрахмаленным стоячим воротничком и маленьким черным галстуком, строгая и неприступная. Он почти сразу влюбился, она же отнеслась к нему настороженно. Во-первых, девушка привыкла к молодым людям в форменной одежде — гимназистам, студентам, лицеистам, кадетам, юнкерам и офицерам; во-вторых, у молчаливого франта чувствовался опыт взрослой любви. Тут она не ошиблась: прошлым летом юный поэт пережил бурный и отнюдь не невинный роман с артисткой Ксенией Садовской, зрелой кокеткой, матерью троих детей. Дело было на водах в Бад-Наугейме, где послушный и благовоспитанный гимназист вдруг неожиданно вышел из-под контроля матери и тетки и, нарушив все приличия, открыто вступил в связь с дамой старше его на 20 лет.

Что было, то было; теперь же под сенью старых вязов начиналось новое чувство, прекрасное и невыносимое. Любовь всматривалась в Александра: «Это что-то не мое, это из другой жизни, или он уже «старый»? Да и лицо мне не нравится, когда мы поздоровались. Холодом овеяны светлые глаза с бледными ресницами, не оттененные слабо намеченными бровями. У всех у нас ресницы темные, брови отчетливые, взгляд живой, непосредственный. Тщательно выбритое лицо придавало человеку в то время «актерский» вид — интересно, но не наше. Так, как с кем-то далеким, повела я разговор, сейчас же о театре, возможных спектаклях. Блок и держал себя в то время очень «под актера», говорил не скоро и отчетливо, аффектированно курил, смотрел на нас как-то свысока, откидывая голову, опуская веки. Если не говорили о театре, о спектакле, болтал глупости, часто с явным намерением нас смутить чем-то не очень нам понятным, но от чего мы неизбежно краснели.

Мы — это мои кузины Менделеевы, Сара и Лида, их подруга Юля Кузьмина и я. Блок очень много цитировал в то время Козьму Пруткова, целые его анекдоты, которые можно иногда понять и двусмысленно, что я уразумела, конечно, значительно позднее. У него в то время была еще любимая прибаутка, которую он вставлял при всяком случае: «O yes, my kind!» А так как это обращалось иногда и прямо к тебе, то и смущало некорректностью, на которую было неизвестно, как реагировать…» Они никогда не будут знать, как реагировать

друг на друга. В их отношениях смешается всё то, что Дмитрий Иванович Менделеев считал нераздельными гранями единого мировоззренческого целого: вещество, сила и дух; инстинкт, разум и воля; свобода, труд и долг. Смешается и распадется на чудовищные заблуждения и великие стихи.

Девятнадцатого декабря 1898 года Менделеевы присутствовали на дневном спектакле в Мариинке. Мероприятие носило официальный характер и было посвящено съезду ученых. Кроме самих ученых, облаченных в парадные мундиры и ленты, и их нарядных жен, в зале блистали представители двора и свиты. Дмитрий Иванович уже давно не ходил в театр, но деваться некуда — от именного пригласительного билета отмахнуться было затруднительно, да и Анна Ивановна очень хотела там быть. Когда тайный советник Менделеев во фраке с лентой и орденами и его жена в новом бархатном платье появились в ложе, зал сначала замер, потом как-то необычно заволновался. Если бы Дмитрий Иванович обращал внимание на подобные вещи, он бы сразу забеспокоился, но он был погружен в свои мысли и ощущения от неудобного наряда. Между тем публика продолжала вести себя странно, незнакомые люди наводили на них бинокли, качали головами и переговаривались. Наконец, к менделеевской ложе быстрым шагом направился человек. Это был племянник Дмитрия Ивановича Михаил Капустин, профессор медицины Казанского университета, тоже участник съезда. Поклонившись дяде, он тихо и быстро прошептал несколько фраз Анне Ивановне: «Сегодня ночью умер Володя Менделеев. Я сам с вечера до утра был у его постели. Инфлюэнца и воспаление легких. Феозва Никитична была при сыне неотлучно. Публика волнуется, потому что все уже читали в газетах».

Анна Ивановна тут же сказалась больной и попросила мужа отвезти ее домой. В карете она передала Дмитрию Ивановичу страшное известие. Несчастный отец помертвел. На пороге квартиры скончавшегося сына, куда он приехал уже один, с ним сделалась невыносимая истерика. Великий разум отказывался воспринимать потерю. С Володей Менделеева связывали узы сродни тем, которые когда-то соединяли его с матерью. Он всегда чувствовал душу сына как свою. Менделеев рыдал и кричал не переставая, но ужас произошедшего не проходил, его нельзя было избыть никаким усилием ума и воли. Потом уже Дмитрий Иванович узнал, что Володя заболел неделю назад и его супруга Варвара Кирилловна тотчас же с нарочным послала ему на Забалканский (с осени прошлого года Менделеев с семьей жил в новом доме при Главной палате) записку. Потом она еще одной запиской сообщила о резком ухудшении состояния здоровья мужа. Этих посланий Менделеев не читал (по крайней мере, второго, самого тревожного). То ли по слабости собственного здоровья Дмитрия Ивановича его решили оградить от очередного беспокойства, связанного с прежней семьей, то ли записка просто затерялась в домашнем водовороте…

Глава десятая
РУССКИЙ ПРОТОТИП

«Погиб мой умница, любящий, мягкий, добродушнейший сын-первенец, на которого я рассчитывал возложить часть своих заветов, так как знал неизвестные окружающим высокие и правдивые, скромные и в то же время глубокие мысли на пользу родины, которыми был он проникнут», — писал Дмитрий Иванович. Владимир Менделеев, по отзывам родных и знакомых, был человеком редкой, глубокой души. Отец, тосковавший по нему весь остаток жизни, однажды сказал, что старший сын его ни разу не обидел. Эта фраза, учитывая сложный и обидчивый характер Менделеева-старшего и довольно непростую судьбу Владимира, очень много говорит об их отношениях и вообще о том, как мог восприниматься этот совсем еще молодой человек окружающими. Скорый и тяжелый уход Владимира из жизни (находясь в сознании, он вел себя мужественно и кротко, в беспамятстве — звал отца, что-то бредил о России, отдавал команды матросам, снова и снова

спасая судно в своем последнем плавании) оказался ударом не только для кровных родственников. Муж Ольги Алексей Трирогов настолько тяжело перенес кончину своего друга детства и юности, что с этого времени стал страдать приступами грудной жабы,[51] которая всего за пять лет свела его в могилу. Дмитрий Иванович, запершись на несколько суток у себя в кабинете, пришел в столь ужасное состояние, что потерял физическую возможность присутствовать на похоронах сына, что еще более умножило его отчаяние и муки совести. Владимира Дмитриевича похоронили на Волковом кладбище рядом с могилой Марии Дмитриевны, Лизы и Маши Менделеевых. Когда-то он по поручению отца снимал план этого кладбищенского участка. Теперь здесь нашлось место для него самого.

Едва придя в себя, Менделеев берется за подготовку к печати незаконченного «Проекта поднятия Азовского моря запрудою Керченского пролива», который Владимир задумал еще в юности, во время совместного с отцом путешествия на Кавказ, и к которому вернулся сразу после отставки, за считаные месяцы до смерти. Приведенные в начале главы слова — из предисловия, которое Дмитрий Иванович предпослал брошюре с проектом покойного сына.

Одновременно его мысли обращаются к маленькому сыну Владимира, названному в честь деда Митей. Через два дня после похорон Менделеев начинает переписку *(«Заехать самому мне нельзя, потому что нет ни сил, ни позволения докторишки…»)* с вдовой сына и ее родителями. Вначале он беспокоится лишь о том, что уже не увидит Митю взрослеющим, и просит о возможности *«хоть изредка видеть этого ангела», «оставшегося Володю».* Но уже через три дня он шлет совсем иное письмо: *«Милая, родная Варвара Кирилловна! Отдайте мне Митюшу Христа ради! Это была бы радость моя. И мне кажется, всё бы устроилось наилучшим образом. Буду лелеять его как сына. Вы самостоятельны. Приезжайте, пожалуйста. Устроим сразу. Дай бог, чтобы душа Ваша откликнулась на зов душевно преданного Вам Д. Менделеева».*

Конечно же он требует невозможного — ни вдова, ни ее родители, его старые друзья Лемохи, ни за что не смогут расстаться с любимым сыном и внуком. Но Дмитрий Иванович не желает ничего понимать. Не хотят отрывать ребенка от матери? Пусть она тоже переедет в его дом. Не нужно никакого содержания — наоборот, он сделает внука своим наследником наравне со своими детьми. В пылу горячечной переписки Менделеев приходит к мысли, что главные враги его соединения с драгоценным Митей — те, другие дед и бабушка, что всё дело в них, что это они стоят между ним и вдовой сына, с которой он обязательно смог бы договориться. Он настаивает на встрече с Варварой Кирилловной, поскольку только она одна *«может стоять между мной и Митей»,* умоляет, требует, скандалит. Но ребенок останется у Лемохов до конца своей короткой жизни. Двух лет от роду Митю Менделеева повезут в подмосковную деревню Ховрино, где всегда проводили лето Лемохи, и он умрет там от приступа аппендицита.

По всей видимости, Дмитрий Иванович, уже давно привыкший считать себя стариком, по-настоящему состарился именно после этих событий. Внешность его осталась по-прежнему необычной и притягивающей внимание, но стал слабеть позвоночник. На фотографиях видно, что, сидя, он стал сильнее горбиться и даже сделался будто бы ниже ростом и голова его теперь куда больше, чем раньше, уходила в плечи. Глаза стремительно слепли от катаракты. Всё чаще болели легкие, состояние которых иногда ухудшалось до кровохарканья. Он стал еще больше курить, хотя, казалось, что больше уже невозможно. От постоянного кручения самодельных папирос пальцы Дмитрия Ивановича стали коричневыми. Когда кто-нибудь из близких людей просил его поостеречься от этого вредного занятия, ученый отшучивался: мол, вреден табак или нет, неизвестно, а что микробы в горящей папиросе погибают — это точно, сам в микроскоп наблюдал.

По-прежнему почти круглые сутки он пил крепчайший чай, который ему присылал из Кяхты хороший знакомый. Чай доставлялся в менделеевскую квартиру в большой упаковке,

---

[51] Так тогда называли стенокардию. *(Прим. ред.)*

«цибике», и поэтому требовалось очень быстро, чтобы чай не выдохся и не потерял свежести, высыпать его на расстеленные по полу скатерти, перемешать (в цибике чай лежал слоями) и расфасовать в большие стеклянные бутыли с притертыми пробками. К этой процедуре привлекались не только все домашние, но и кое-кто из коллег и знакомых, которых Дмитрий Иванович очень любил одаривать своим фирменным китайским чаем. Чай для Менделеева беспрестанно заваривал его любимый слуга Михайла, отставной матрос и бывший Володин денщик, смотревший за Дмитрием Ивановичем как за малым дитем и благотворно влиявший на него при всех обстоятельствах. Одно время Менделеев даже пытался сделать из Михаилы лаборанта — такого же, как университетский служитель Алеша, — но после того, как Михайла, будучи приставлен к кипячению ртути и допустив, чтобы «ртють убег», раскатившись по всей лаборатории, перепугался едва ли не до разрыва своего доброго и верного сердца, эту затею оставил. Кстати сказать, упомянутый Алеша (Алексей Петрович Зверев, невозмутимо прощавший профессору Менделееву всю исходящую от него панику и нервотрепку и дождавшийся-таки однажды от него слов: *«Ты уж, братец, того… прости меня, уж виноват»,* — после чего оба зарыдали, обнялись и облобызались) после ухода Менделеева из университета почувствовал себя более спокойным, защищенным и даже зафрантил — некоторые молодые преподаватели стали брать его с собой ассистентом на подработку на фельдшерских и прочих курсах, и для таких выездов он завел себе белую манишку, манжеты и вообще оказался не прочь произвести впечатление «университетского» человека.

Утраты, которые потрясали Дмитрия Ивановича одна за другой (в 1901 году умерла его сестра Екатерина Дмитриевна Капустина, а в 1902-м — брат Павел Иванович), вполне могли его убить. Однако Менделеев остался жить, что для него означало мыслить, трудиться и не входить в противоречие со своей натурой. Он стал еще более привержен заведенному домашнему укладу, почти никуда не выходил, бывал только на работе или, изредка, в Министерстве финансов. В командировки, конечно, ездил, но на подъем стал явно тяжелее. Летом — Боблово, зимой — Канны. После обнаружения закупорки вены на ноге у конторки стоял редко, работал в основном в мягком кресле за небольшим столом с приставленным к нему книжным стеллажом. В кабинете не было электрического освещения (его заменяла очень хорошая керосиновая лампа системы Домберга). В квартире не было телефона: *«Если бы я завел себе телефон, то у меня не было бы свободной минуты. Мне никто не нужен, а кому я нужен — милости просим».* (Впрочем, тут Менделеев немного лукавил. Он мог обойтись без телефона, поскольку жил совсем рядом с Главной палатой и у него был Михайла, которого сотрудники не зря прозвали Удочкой. Михайла то и дело мчался в Палату, «выуживая» нужного сотрудника к управляющему.) Дмитрий Иванович не признавал ванну и любил париться в бане, где получал полное удовольствие, за исключением тех случаев, когда в парной кто-нибудь его узнавал и начинал приветствовать. Он почти никогда не обращался к врачам, предпочитая им старый теплый халат, мягкие валенки и жесткий диванчик. В его «системе жизнеобеспечения» огромную роль всегда играл сон, который не могли потревожить ни грохот обрушивавшихся штабелей с книгами, ни паника в загоревшемся железнодорожном вагоне (оба случая зафиксированы в мемуарах близких ему людей). Сон заряжал его энергией, растрачиваемой, как всегда, в огромном количестве.

Менделеев, отвечавший за точность отечественных и международных эталонов, хранившихся в Главной палате мер и весов, и сам был, несмотря на сложность и противоречивость характера, эталоном (как тогда говорили, прототипом) настоящего русского человека. Его экзальтация, то и дело возникавшая из страха не найти понимания, легко уживалась с качествами, свойственными глубинному народному сознанию. Видимо, поэтому он не только испытывал сильную тягу к общению с носителями такого же сознания, но и обладал способностью свободно и точно раскрывать в своих работах суть их нужд, устремлений и заблуждений — в отличие от записных публицистов, немедленно «пускавших петуха», как только дело доходило до «чаяний народных».

Дел у Менделеева на рубеже 1900-х годов по-прежнему было много, но по странному стечению обстоятельств почти все они (кроме тех, что непосредственно касались строительства и оснащения Главной палаты мер и весов и реорганизации поверочного дела в России), как никогда ранее, отмечены какой-то наглядной тщетой, неуклонно стремящимся к нулю результатом огромных усилий и надежд.

Еще в 1898 году Менделеев обращается в Святейший синод с просьбой пересмотреть вопрос о выборе наиболее приемлемого календарного стиля. Продолжительность года по принятому в России юлианскому календарю настолько отличалась от реального астрономического года, что каждые 128 лет набегала ошибка в целые сутки. К концу XIX века Россия, таким образом, отстала от внешнего мира на 13 дней. В 1900 году в Париже должна была собраться международная конференция, посвященная проблеме деления времени, и Менделеев, бывший противником и юлианского, и григорианского стиля, предлагал разработать проект нового, максимально точного календаря, с которым можно было бы выйти на международное обсуждение. По инициативе Дмитрия Ивановича было решено созвать в рамках Астрономического общества комиссию из представителей заинтересованных министерств, церкви, Академии наук, а также научных обществ — Географического, Русского технического и Вольного экономического. Все представители, за исключением делегатов от Академии наук, немедленно включились в работу. С большим опозданием от академиков пришел ответ, свидетельствующий о том, что академия сама с 1830 (!) года занимается проектом реформы русского календаря и в настоящее время «вошла в ходатайство» о создании собственной комиссии по данному вопросу. Впрочем, Дмитрий Иванович, приличия ради, был даже приглашен в академическую комиссию в качестве представителя Министерства финансов. В обеих комиссиях Менделеев отстаивал свой проект, опиравшийся на расчеты американского астронома С. Ньюкомба и немецкого ученого В. Форстера. Менделеевский календарь представлял собой вариант юлианского, но с остроумной поправкой — каждый 128-й год должен был считаться високосным, что максимально приближало календарный год к астрономическому. Этот проект поддержан не был, притом что никто из коллег ничего другого не предложил. Работа обеих комиссий в конце концов зашла в тупик, и они были распущены. Управляющий Главной палатой мер и весов, в обязанности которой по новому закону входила задача хранения нормального времени, остался с пустыми руками и был вынужден хранить старое русское время.

В 1897–1899 годах Менделеев по настоянию Витте пишет несколько писем новому императору Николаю II в защиту промышленного преобразования России и связанной с этим политики протекционизма. Царь, не имевший твердой позиции на этот счет, склонялся к сохранению традиционного сельскохозяйственного уклада русской жизни. Как пишет один из сподвижников Витте В. И. Ковалевский, «к нему (Менделееву. — *М. Б*) часто обращался министр финансов С. Ю. Витте с просьбой в письмах к царю отпарировать нападение наших аграриев на индустриальное направление нашей экономической политики. Партия наших аграриев всё более старалась убедить царя в том, что Россия должна быть земледельческою страною «пар экселанс»,[52] что фабрики и заводы у нас создают тревогу и беспокойство, вносят в страну субверсивные идеи…».

Эти просьбы Витте ни в коей мере нельзя связывать с предположением, что сам Сергей Юльевич был лишен литературного дара. Достаточно ознакомиться с любым из составленных им и «повергнутых на благоусмотрение Его Императорского Величества» документов, чтобы оценить их блестящий стиль и великолепную логику. Например, в докладной записке императору «О положении нашей промышленности» (февраль 1900 года) после краткого и очень убедительного анализа промышленной статистики Витте пишет: «И в промышленном, и в торговом отношении Россия очень отстала от главнейших иностранных государств. Несмотря на происшедший быстрый рост фабрично-заводского дела за

---

[52] Par excellence *(фр.)* — по преимуществу.

последние десятилетия, благосостояние населения продолжает зиждиться преимущественно на земледельческом промысле. Горные и фабричные продукты предлагаются на рынке в ограниченном количестве, цены на них поэтому стоят относительно высокие, вследствие чего и потребление их, поневоле, ограниченное. Большинство населения находит заработок преимущественно в земледельческих работах, ограниченных по климатическим условиям сравнительно коротким периодом, вследствие чего народный труд не получает полного использования. Внешняя торговля питается, главным образом, продажей за границу сырых произведений, не представляющей больших выгод вообще и, главное, всецело подверженной стихийным влияниям изменчивых метеорологических условий. При таких обстоятельствах благосостояние населения не может быть ни высоким, ни устойчивым». Но факты, даже изложенные столь ясным образом, плохо укладывались в голове «хозяина земли русской», как обозначил свою профессию Николай II в анкете Всероссийской переписи 1897 года. Витте жаловался Менделееву, что «он один не в силах убедить», и просил помощи. Любопытно, что и сам император в поисках собственной точки зрения просил министра финансов, чтобы ему то же самое изложил еще кто-нибудь, например, Менделеев или ближайший министерский сотрудник Витте В. И. Ковалевский. Таким образом, лагерь сторонников индустриализации имел возможность воздействовать на самодержца с помощью разных литературных стилей: Витте — классического делового, Ковалевский — опираясь на смеховую культуру («Я составил записку несколько в юмористическом духе, развивая ту мысль, что идиллические идеалы Жан-Жака Руссо приведут нас к падению материальному и духовному. Ссылаясь, между прочим, на Вильгельма Рошера (известный немецкий экономист. — *М. Б* .), который доказывал, что чисто земледельческие страны обречены на бедность и политическое бессилие»), Менделеев — своим неординарным, ярким и выпуклым слогом.

Все три письма Дмитрия Ивановича государю (речь идет об отправленных, поскольку в некоторых случаях Менделеев садился писать письмо императору и по собственной инициативе, но все они остались в черновиках) касались сути покровительственной системы. *«В царствование вашего деда решились удовлетворять народившийся спрос дешевым иностранным товаром, уплачивая за него хлебом и, когда его не доставало, а его не доставало, — займами… Если бы зараза фритредерства, пригодного только для такой промышленно-зрелой страны, как Англия, не господствовала тогда в России, если бы для капиталов, появившихся в виде выкупных сумм, своевременно были даны промышленные дела, дворянство сослужило бы новую службу, не прожило бы нажитого… Современная мысль —* писал он далее*, — еще не окончательно рассталась с фритредерскими началами, господствовавшими лет сорок тому назад повсюду; они по временам оживают, чтобы падать затем еще более. В умах же многих, преимущественно чиновнических и вообще потребительных, классов фритредерство считается еще и ныне передовым признаком либерализма… В сложившихся условиях только необходимость и здравое понимание действительности, но не научные изыскания, дают торжество протекционизму. Д. Менделеев. Доктор С. -Петербургского, Эдинбургского, Геттингенского, Оксфордского и Кембриджского университетов, почетный член многих академий, ученых обществ и Совета торговли и мануфактур, заслуженный профессор, управляющий Главною палатою мер и весов, тайный советник».* Дмитрий Иванович в списке своих сочинений отметил: *«Оба письма* (1897 года. — *М. Б* .)*, по словам Витте, приняты были государем хорошо и некоторое действие произвели», «Второе письмо государь пометил во многих местах и приказал напечатать и передать некоторым членам Государственного совета».* Как свидетельствовали современники, работа самодержца с такого рода письмами зачастую происходила следующим образом: приближенный сановник, представлявший тот или иной документ, деликатно отмечал ногтем самые важные, с его точки зрения, куски текста. Император читал нужные места, подчеркивая заинтересовавшие его слова и фразы, а затем рядом, на полях, писал свое мнение. В одной из статей Дмитрия Ивановича, принесенной Витте во дворец (письма были отнюдь не единственными произведениями Менделеева, с

которыми царь пожелал познакомиться), Николай II прочел отмеченный кусок и даже написал на полях что-то благожелательное; что же касается подчеркиваний, то единственным местом, удостоенным высочайшего внимания, оказалось упоминание имен младших детей Менделеева — Любы, Вани, Васи и Муси, сделанное постольку, поскольку имел место пассаж о надеждах автора на лучшее будущее страны.

Неудачным, принесшим множество огорчений Дмитрию Ивановичу, оказался замысел ледокольной полярной экспедиции, к которой он начал готовиться еще с весны 1897 года, как только узнал от вице-адмирала С. О. Макарова о его идее «исследовать Ледовитый океан при посредстве ледоколов». С тех пор они стали единомышленниками и энтузиастами прокладки Северного морского пути. Евразиец Витте, которому была очень близка мысль связать Берингов пролив с другими русскими морями, сразу поддержал эту блестящую идею. Уже к осени того же года был решен вопрос о правительственном финансировании строительства современного, по последнему слову науки и техники, ледокола, а Менделеев был включен в комиссию по его проектированию. Из нескольких вариантов комиссия останавливается на предложении английской судостроительной фирмы из Ньюкасла. Изумляют сроки исполнения русского заказа: в конце 1897 года Макаровым был подписан договор на строительство ледокола, названного по имени сибирского атамана «Ермаком», что, несомненно, должно было греть душу Менделеева, а уже в феврале 1899-го над «Ермаком» был поднят русский триколор (вместо Андреевского флага, поскольку военно-морское начальство не поддерживало «полярных» идей Макарова). Строительство велось под неусыпным надзором самого Макарова и с использованием его новаторских разработок.

По настоянию Менделеева модель «Ермака» была сначала испытана и доработана в опытовом бассейне, где были проведены исследования мощности, скорости и работы винтов будущего корабля, а также предложено важное техническое новшество для уменьшения поперечной качки корпуса. В дальнейшем на верфи присутствовал представитель Менделеева, следивший за ходом работ, которые Дмитрий Иванович считал наиболее ответственными. В том же году Менделеев и Макаров подают Витте записку «Об исследовании Северного полярного океана во время пробного плавания ледокола «Ермак»». Экспедиция намечалась на лето 1899 года и включала в программу, кроме главной задачи, обширные астрономические, магнитные, метеорологические, гидрологические, биологические и химические исследования. 1 марта 1899 года «Ермак» покинул Ньюкасл и взял курс на Кронштадт, где ему суждено было пережить свой первый триумф — он освободил из ледяного плена корабли Кронштадтской эскадры. Затем новый ледокол с легкостью проделал то же на рейдах портов Ревеля и Петербурга.

До самого конца активной подготовки к предстоящей экспедиции, в которую Менделеев решил взять с собой своего незаменимого Ф. И. Блюмбаха и талантливого инженера В. П. Вуколова, которого высоко ценил еще со времени работы над бездымным порохом, практически до отплытия никто из действующих лиц этой драматической истории не подозревал, что горячие союзники Менделеев и Макаров решительным образом разойдутся во мнениях, когда речь зайдет о маршруте плавания и руководстве научными исследованиями. Макаров, которого более всего интересовал конкретный вопрос о возможности проводки торговых судов в Карском море с выходом к устьям Оби и Енисея, считал, что «Ермак» пойдет, огибая сушу и избегая захода в центральную полярную область с ее многолетними льдами; Менделеев же настаивал на более коротком и более решительном броске: сначала прорубить путь к Северному полюсу, а затем «спуститься» оттуда к Сахалину. Что касается руководства научными исследованиями, то вице-адмирал полагал, что поскольку на судне должен быть один командир, то ему же следует поручить и руководство научной частью экспедиции. Менделеев категорически возражал. Решающее объяснение произошло в кабинете Витте, после чего Менделеев и его товарищи отказались от участия в ледокольном плавании.

Опытный мореход Макаров, проявляя осторожность в прокладке маршрута будущей экспедиции, заранее высказывал опасения, что проход через полярные льды в Тихий океан может оказаться не под силу даже такому мощному ледоколу, как «Ермак». «Будет неудивительно, — писал он, — если один ледокол не справится с задачей, которую я предназначил для двух».

В назначенный день «Ермак» покинул Кронштадт и двигался до тех пор, пока льды не повредили его корпус и не поломали винт. Судно достигло отметки 8°28′ и повернуло назад. Участники плавания добыли богатый научный материал и выявили ряд проектных недостатков корабельного корпуса. В январе 1901 года «Ермак», отремонтированный и конструктивно усиленный на родной судоверфи, под командованием Макарова берет курс на северо-западную оконечность Новой Земли с дальнейшей целью, обогнув мыс Желания, достичь острова Диксон. На этом пути судно попадает в ледовую ловушку и почти месяц дрейфует, зажатое матерыми льдами. Вырвавшись из ледяного плена, «Ермак» первым из русских кораблей достиг Земли Франца-Иосифа и провел океанографические исследования северо-восточной части Баренцева моря. Затем Макаров сделал еще одну попытку обогнуть Новую Землю и выйти в Карское море, но преградившие ему дорогу льды оказались непреодолимыми. «Ермак» вернулся в Кронштадт. На этом макаровская ледовая одиссея закончилась — адмиралу указали, что у него, назначенного главным командиром Кронштадтского порта и военным губернатором города, достаточно и других, более соответствующих его званию задач. Их решением он и занимался вплоть до «несчастной», как часто пишут, Русско-японской войны. Это слово, увы, точно подходит применительно к Макарову — ему суждено было стать одним из ее героев и жертв, погибнув на подорвавшемся и затонувшем броненосце «Петропавловск».

Но Менделеев, рассорившись с Макаровым, продолжает упрямо работать над планом собственной полярной экспедиции. Он создает несколько проектов нового ледокола с разной конструкцией корпусов и бортов, а также с разными вариантами размещения судовых механизмов. Впервые в ледоколостроении он предполагал использовать в качестве основного двигателя двухэтажную пароэлектрическую установку, а также электрифицировать якорное, рулевое и грузовое устройства. Помимо гребных винтов он спроектировал особые устройства для разрушения льда (одно из них представляло собой колеса с шипами). Среди эскизов ледоколов есть даже изображение подводного (подледного) судна водоизмещением 2100 кубических метров с пневматическим двигателем.

Но как ни увлечен Дмитрий Иванович проектами судов будущего, он прекрасно понимает, что в реальности более всего для его целей подходит «Ермак». В 1901 году он вновь обращается в Министерство финансов с просьбой посодействовать его экспедиционному проекту в Совете по делам торгового мореплавания, возглавляемом великим князем Александром Михайловичем. «Однажды рано утром, — пишет в воспоминаниях В. И. Ковалевский, — он зашел ко мне в министерство в сильно возбужденном состоянии. *«Я много потратил труда, — сказал он с беспокойством, — чтобы попытаться найти надежный путь к Северному полюсу. Для нас это имеет огромное значение как ближайший путь к Дальнему Востоку. Вот мой проект с необходимыми картами и графиками, переписанный в нескольких экземплярах. Я твердо решил привести его в исполнение, уверенный в удаче настолько, что беру с собой дорогих мне Анну Ивановну и сына Ванюху. Мне хочется сделать доброе дело для моей Родины. Вот вам один экземпляр моей работы, поезжайте к великому князю Александру Михайловичу и попросите его помочь мне так же, как он помогал адмиралу Макарову».* Я сказал, что еду сейчас к великому князю, но на успех не рассчитываю. Князь отнесся несочувственно, не взял от меня экземпляра проекта и сказал: «Такому дерзкому человеку, как Менделеев, я помочь отказываюсь». Я вернулся от князя с большим огорчением и сообщил Д. И. о своей неудачной миссии. Д. И. между тем сидел у моего камина и нетерпеливо меня поджидал. Он курил свои «крученки» одну за другой. Тут же Менделеев бросил все экземпляры своего проекта в камин. Во всяком случае, сколько мне известно, после его кончины ни одного

экземпляра проекта не оказалось».

Остается добавить, что богатырская сила «Ермака» в те предвоенные годы так и осталась неиспользованной, он больше не искал проходов в полярных льдах. Между тем в будущем эта задача будет выполнена, и в последующие десятилетия тот же, хотя и постаревший, «Ермак» не раз пройдет по Северному морскому пути.

Великое волнение и беспокойство Дмитрия Ивановича были напрямую связаны с его мрачным предвидением, которое со всей очевидностью оправдается в ходе войны с Японией. Если бы в 1904 году эскадра вице-адмирала З. П. Рожественского прошла к Владивостоку коротким северным путем вместо того, чтобы полгода добираться в обход, через Атлантический, Индийский и Тихий океаны, возможно, и Цусимы бы не было. Искать виноватых, да еще через сто с лишком лет — дело пустое и неблагодарное. Тем не менее историческая память об этих событиях всё еще тревожит русское общество, пишущее сословие до сих пор перемывает косточки и морскому начальству, запретившему адмиралу Макарову искать Северный морской путь, и великому князю Александру Михайловичу, вздумавшему обижаться на «дерзкого» Менделеева, и самому Менделееву с его прямолинейным кабинетным планом, и Менделееву вкупе с Макаровым, не сумевшим договориться и, по сути, сорвавшим совместную комплексную экспедицию.[53]

Разойдясь с адмиралом Макаровым и будучи лишен возможности осуществить высокоширотную экспедицию, Менделеев, несмотря на глубокие личные переживания, никоим образом не стал заложником одного неудавшегося проекта. Как всегда, поле его деятельности было совершенно бескрайним. Вместо ледовой экспедиции он отправляется в длительное путешествие по железорудному Уралу (благо подготовка к обоим путешествиям началась одновременно и двигалась параллельно). Финансовое ведомство было озабочено проблемой переустройства уральских горных заводов, остававшихся во многом на доиндустриальном уровне, и Менделееву было поручено изучить проблему так, как мог сделать это только он — «до корня».

Уральское путешествие наглядно демонстрирует, каким образом Менделеев разбирался в задачах политической экономии и экономической географии. Вначале возникает ощущение, что в этом путешествии всё поставлено с ног на голову, поскольку ученый начинает уральскую экспедицию (точно так же, как, например, американскую или донецкую) с выводов и рекомендаций по данной проблеме. В марте 1899 года в докладной записке на имя товарища министра финансов В. Н. Коковцова он предлагает передать казенные оборонные заводы морскому и военному ведомствам, а остальные подвергнуть приватизации, без которой невозможны ни рост производительности, ни конкуренция. Казне же, полагал Менделеев, достанет дохода от продажи полезных ископаемых и леса. Что касается причин застоя уральских предприятий, уже находящихся в частном владении, то Дмитрий Иванович пишет: *«…там действуют почти нацело одни крупные предприниматели, всей вся захватившие для одних себя».* Он доказывает, что на каждое крупное предприятие должно приходиться множество мелких. Заглядывая вперед, Менделеев указывает на необходимость развития на Урале рельсового сообщения, ибо сто́ит горным заводам чуть поднять свою производительность, как она тут же будет задушена малой пропускной способностью железных дорог.

Вопрос о поездке решался до конца мая — это было связано с особым статусом экспедиции, совершаемой «с высочайшего соизволения». Всё это время Менделеев и его

---

[53] Только «Ермак» выплыл из этой истории с безукоризненной репутацией. Ледокол, в создании которого принимал активное участие Менделеев, трудился во льдах 65 лет, вплоть до 1963 года. В 1918 году он спас Балтийскую эскадру, выведя ее через сплошные льды из Гельсингфорса в Кронштадт, в 1938-м снял с льдины папанинцев, а в годы Великой Отечественной войны эвакуировал советскую военную базу с острова Ханко. С 1932 года «Ермак» водил караваны по Северному морскому пути. Он так и не побывал на Северном полюсе, но зато успел поработать вместе с первыми атомными ледоколами, которые ходили к полюсу, не выбирая курса — напролом, как мечтал Дмитрий Иванович.

сотрудники (в состав экспедиции были включены профессор минералогии Петербургского университета П. А. Земятченский, уже известные нам С. П. Вуколов и К. Н. Егоров, которым Дмитрий Иванович поручил не только осмотр ряда заводов, но и поиск новых магнитных аномалий и исследование Экибастузского каменноугольного месторождения, а также прикомандированные от Министерства государственных имуществ горный инженер Н. А. Саларов и от Постоянной совещательной конторы — В. В. Мамонтов) собирали материал для предстоящей поездки. Менделеев выполнил предварительный расчет общего производства чугуна и стали на Урале, наметил маршруты для себя и других членов экспедиции, а также лично обратился с письмами к ряду известных уральских промышленников с просьбой *«содействовать изучению положения железного дела».*

Из Петербурга Менделеев выехал полубольной, надеясь, что дорога, как всегда, вернет ему здоровье и хорошее самочувствие. 18 июня вместе с Вуколовым и Егоровым он приехал в Пермь, а потом — в специальном вагоне, занимаясь в пути фотосъемкой, — в Кизел, далее на Чусовской завод и в Тагил… Он был намерен посетить 25 мест. Это были рудники и грохочущие, дышащие гарью заводы — все, кроме одного. 29 июня в Тюмени он сел на маленький колесный пароход «Фортуна», который по Туре, а потом по Тоболу доставил его в Тобольск.

В родной город Менделеев прибыл в поздние дождливые сумерки. Стоя на палубе в надвинутом на лоб картузе и плотном дорожном балахоне, он смотрел на город, открывшийся его совсем уже не зоркому, подслеповатому взгляду. В Тобольске знали о его приезде, поэтому на пристани знаменитого земляка встречала целая депутация во главе с городским головой и полицмейстером. Зачитали даже приветствие от самого губернатора. Повезли гостя не в гостиницу, а в самый лучший дом города, принадлежащий купцам и судовладельцам Корниловым (их фамилия была похожа на фамилию Корнильевых, но род был другой, хотя тоже именитый). Его, конечно, тянуло посмотреть город, но было уже поздно, и Дмитрий Иванович уселся с хозяевами закусывать, пить чай и вести приятные разговоры, пока не потянуло его в сон.

Город, который он увидел утром, изменился совсем мало. Кроме новой гимназии, появились еще бани, казармы и музей.

Улицы были те же, и дома, казалось, те же, но вот родительский дом не уцелел — зря он торопил извозчика, потому что попал на давнее, заросшее бурьяном пепелище, где паслись чьи-то коровы. Вокруг сохранились почти все знакомые соседские дома, даже совсем покривившийся от старости домишко портного Мелкова, доброго старика, суворовского солдата, а их дом сгорел. Было обидно за себя, за отца, за брата Павлушу и добрых сестриц, но больше всего за мать, память о которой и без того жгла его сердце. Постояв на пепелище, пожилой ученый снова сел в коляску и уже не спеша покатил по утреннему городу. Здание старой гимназии — точнее, дом, который его предки когда-то отдали Тобольску под гимназию, — по-прежнему притягивало взгляд своей не характерной для города классической архитектурой. Дмитрий Иванович прошелся по комнатам, где когда-то раздавались голоса его любимых и нелюбимых учителей, его братьев и его собственный, давящийся латынью голос. Комнаты, когда-то высокие и просторные, теперь казались низкими и утлыми. Он снова вышел на улицу и сел в коляску.

Тобольск, к которому за полвека так и не подвели железную дорогу, сделался еще более захолустным. Люди здесь жили такие же, как и раньше, разве что еще более разношерстные, и кормились они прежними промыслами. Изменения были незначительными, хотя порой и неожиданными. Например, вывески свидетельствовали, что в городе значительно увеличилось количество изготовителей лайковых перчаток. Наверное, тому была какая-то причина, но думать об этом Дмитрию Ивановичу не хотелось. Обедал он снова у Корниловых, которые старались изо всех сил угодить гостю, даже подали к столу ягоду княженику, вкус которой он помнил с детства. *«Выступили в уме картины давнего прошлого с поразительностью, и захотелось поскорее на Аремзянку».*

Через два дня еще один новый знакомый, по фамилии Сыромятников, которому теперь

принадлежали земли в районе Аремзянки, повез его к себе. По дороге он рассказал, что стекольный завод давно сгорел, а дом едва не рухнул сам, и его разобрали, а вот церковь, которую построила мать Дмитрия Ивановича, стоит. Менделеев пробыл в Аремзянке недолго, но поездка, что называется, удалась, недаром впоследствии он написал: *«...светло был в те три часа, которые провел в Аремзянском».* В 1937 году о подробностях этого посещения в местной газете рассказал аремзянский житель Л. Мальцев, сохранивший с детских лет все ее подробности: «Летом 1899 года по нашей деревне пронесся слух: к нам едет Д. И. Менделеев. Будто бы он в Тобольске и приедет повидаться со стариками — друзьями детства. Вся деревня принялась готовить Дмитрию Ивановичу теплую встречу. На работу никто не выходил. Все оделись в праздничные наряды и вышли на улицу встретить земляка. Был жаркий летний день. Все толпились на улице, разместившись по обеим сторонам улицы длинными рядами. Старики ходили и поучали: «Как подъедет гость, снимайте шапки и низко кланяйтесь». Вот появляется на улице экипаж, и я увидел Дмитрия Ивановича. Сняв широкую шляпу, поправив длинные седые волосы, Дмитрий Иванович радостно улыбался. Потом он низко поклонился крестьянам, принял из рук старика хлеб-соль и спросил: *«Кто меня помнит в детстве?»* Из толпы вышли шесть (так в тексте. — М. Б.) стариков, таких же седых, как Д. И.: Н. П. Мальцев (мой дед), М. Е. Урубков, Г. А. Урубков, И. А. Соколов и И. П. Мальцев. Они пригласили гостя в школу и после гостеприимного обеда долго беседовали с Д. И. Менделеевым; сверстники делились воспоминаниями. Один из них вспоминает, как вместе мальчиками они играли в бабки, другой рассказывает, как он, играя в мяч, больно ударил Митю мячом, а тот пожаловался матери. Дм. Ив., слушая рассказы стариков, от души смеялся. Потом вместе с ними он снялся на фотографическую карточку и собрался к отъезду…» Снимок тем не менее получился невеселым: дремучие, с колючими глазами мужики в туго подпоясанных зипунах, и среди них — угрюмый Менделеев в светлой широкополой шляпе и хорошем, тоже светлом, пальто. Рядом с Дмитрием Ивановичем посадили священника с большим крестом и медалью. Батюшка кажется единственным, кто доволен происходящим, поскольку так и светится простодушной улыбкой.

Менделеев пробыл в Тобольске неделю. Съездив в Аремзянку, он попытался вернуться к делам экспедиции — начал разбираться, как на его родине обстоит дело с лесной таксацией. Особого материала не добыл, поскольку тайгу в Сибири рубили кто сколько хотел, что же касается учета запасов, то этим интересовались мало. Он сам скорее, нежели местные власти, мог бы сосчитать количество общих запасов деловой древесины; однако, господа, *«вы мне сначала цифирьку дайте!»* (это была его любимая фраза при решении любой проблемы). Но никакой статистики обмеров и вырубки тайги в Тобольске, по все видимости, не велось. Вопросы по поводу таксации лесов задавать было некому. Между тем здоровье Менделеева не улучшалось, всё больше мучили кашель и боли в груди. После того как он разыскал могилу отца и заказал ее фотографирование, делать ему в родном городе было нечего, да и экспедиция должна была продолжаться.

Восьмого июля Менделеев уже был в Екатеринбурге, 11-го — в Билимбае, потом успел посетить еще Шайтанский, Верхне- Уфалейский и Кыштымский заводы. Любовался мастерством местных умельцев, разбирался в технологии, собирал образцы бурого железняка. В Миассе у него впервые за долгие годы по-настоящему хлынула горлом кровь. Как в юности. Попытался отлежаться в Златоусте, но болезнь таким образом перехитрить не удалось. Пришлось возвращаться в Боблово. Но и дома он продолжал считать себя действующим членом экспедиции, занимался ее материалами, собирал недостающую статистику — составил письмо-анкету к заводчикам Урала с вопросами относительно численности рабочих и служащих на предприятии, площади приписанной земли, мощности двигателей, объема производства, близости железных дорог и многого другого. Он разослал 27 анкет, и 12 заводчиков добросовестно ответили на все вопросы.

Общая картина горнозаводского производства у него сложилась еще в Екатеринбурге, недостающие данные, включая материалы, добытые коллегами по экспедиции, были

подготовлены в течение лета. В августе он закончил докладную записку о поездке на имя Витте и тогда же приступил к написанию фундаментального труда «Уральская железная промышленность в 1899 году». Большая часть книги была написана Менделеевым лично, остальные материалы, предоставленные Вуколовым, Егоровым, Земятченским и Блюмбахом (незаменимый Федор Иванович обработал и изложил результаты магнитных измерений), были им отредактированы. Главные выводы докладной записки и книги детально обосновывали и развивали положения, уже высказанные в документе, поданном Витте в марте.

Оценивая общие запасы уральских лесов, углей, торфа и нефтяных остатков, ученый приходит к выводу, что уральские заводы могут выплавлять 300 миллионов пудов чугуна в год и самостоятельно перерабатывать чугун в конечную продукцию — «до машин включительно». При этом Менделеев выступает не за модернизацию старых мощностей, а за постройку новых предприятий, причем не по западным образцам, а опираясь преимущественно на отечественную металлургическую науку. Для этого он предложил открыть на Урале специальный высший Политехникум с особым вниманием в нем к металлургическим наукам. Возвращаясь к транспортной проблеме, Дмитрий Иванович теперь конкретно указывал, откуда и куда должны следовать уральские железнодорожные линии. Экономические выкладки Менделеева и его товарищей были тесно переплетены с проблемами социального устройства. Они писали, что *«неизбежно, необходимо с особой настойчивостью закончить все остатки помещичьего отношения, еще существующего всюду на Урале в виде крестьян, приписанных к заводам»,* а также укротить всевластие местной бюрократии, препятствующей возникновению средних и мелких предприятий.

Работа «Уральская железная промышленность в 1899 году», как и всё, что вышло из-под пера Менделеева, в каждой строке была пронизана личным отношением автора, что, с одной стороны, способствовало успеху нового произведения у широкой публики, а с другой — вновь делало ученого личным врагом тех, кто обладал подлинной силой и властью в России. Сторонники монополизма в промышленности и все, кого можно было причислить к помещичьей партии (даром что между собой они были непримиримыми неприятелями), в очередной раз увидели вставшего на их пути старого и совершенно бесстрашного противника. Стрелы в него посыпались со всех сторон, но он знал на что шел: сначала будет много труда, а потом — много неприятностей.

Вслед за уральской командировкой последовала длительная поездка в Париж на Международную выставку 1900 года, куда Дмитрий Иванович, в отличие от Урала, отправился с явной неохотой, уступив лишь настойчивому желанию Витте, назначившего его представителем Министерства финансов на выставке. Кроме того, Менделеев был избран вице-президентом международного жюри выставки по секции химической и фармацевтической промышленности. Годы были уже не те, да и сам азарт, связанный с изучением западных образцов и примеркой их к русской реальности, по-видимому, прошел. У него оставалась одна надежда — на свободный рост и столь же свободное и разумное саморазвитие русской промышленности. Нет, он не стал изоляционистом, просто твердо понимал, что спасение России — только в ней самой.

Согласившись поехать на выставку, Дмитрий Иванович неожиданно для Витте и Ковалевского потребовал отрядить вместе с ним ни много ни мало — 16 сотрудников Главной палаты мер и весов, включая столяров и слесарей. Министр, высоко ценивший своего ученого советника, сначала совершенно опешил, а потом наотрез отказался. Менделеев, не переносивший слова «нет» даже от высоких персон, в ответ заявил не только об отказе представлять министерство на выставке, но и о немедленной отставке. Выручил, как пишет М. Н. Младенцев, Ковалевский, смягчивший сердце министра неожиданным сравнением. «Если бы у вас, Сергей Юльевич, — спросил он у Витте, — была любимая женщина и попросила у вас шестнадцать аршин дорогой материи, что бы вы сказали?» — «Вероятно, согласился бы». — «Ну так вот, Сергей Юльевич, наша общая с вами любимая женщина — Дмитрий Иванович Менделеев — просит командировать на Парижскую

выставку шестнадцать лиц. Уступим ему». И Витте согласился. В помощь Менделееву Министерство финансов отрядило его одаренного ученика, будущего преемника на посту руководителя Палаты Д. П. Коновалова.

Между тем выставка, на которую Дмитрий Иванович отправился без большой охоты, при знакомстве с ней не могла не вызвать его интереса. Дело было не только в том, что грандиозная Всемирная выставка (51 миллион посетителей за 210 дней работы), подводившая итоги XIX столетия, впервые стала местом бенефиса русской творческой мысли. Благодаря особым отношениям, установившимся к тому времени между Российской империей и Французской республикой, для русской экспозиции была выделена наибольшая, по сравнению с другими участниками, территория, на которой воздвигнут огромный ажурный павильон из чугунного литья. Скованная устаревшими экономическими отношениями и темнотой огромной части населения, задавленная бюрократией Россия поразила французов масштабами своих реализованных (!) проектов. Главным экспонатом была изобретательно исполненная экспозиция, посвященная Сибирской железной дороге протяженностью 4865 верст. Среди стендов, рассказывающих о сооружении магистрали, стоял настоящий скорый поезд. Посетители могли занять место в любом вагоне и «проследовать» из Челябинска до Владивостока. По мере «движения» за окнами поезда «разворачивались» реальные пейзажи, открывались виды на города, села, рудники и заводы. Когда поезд «останавливался», публика оказывалась у входа в китайский отдел выставки.

Сибирская железная дорога была удостоена высшей награды — *Grand Prix* . Железнодорожный мост через Енисей — уникальное инженерное сооружение — был отдельно награжден (вместе с Эйфелевой башней) золотой медалью выставки. Всего Россия получила здесь 1589 наград, в том числе 212 высших, 370 золотых медалей, 436 серебряных, 347 бронзовых и 224 почетных отзыва. Газета «Liberte» под заголовком «Промышленная Россия в концерте народов» писала: «Мы находимся еще под влиянием чувства удивления и восхищения, испытанного нами при посещении русского отдела. В течение немногих лет русская промышленность и торговля приняли такое развитие, которое поражает всех тех, кто имеет возможность составить себе понятие о пути, пройденном в столь короткий срок. Развитие это до такой степени крупное, что наводит на множество размышлений». Это не могло не радовать Менделеева, хотя он заранее знал практически обо всех главных русских экспонатах. Еще в начале апреля, до отъезда в Париж, в «Петербургской газете» была опубликована беседа с ним об открывшейся Всемирной выставке. Заголовок публикации — «Торжество русской промышленности» — говорит сам за себя.

Главное, что почерпнул Дмитрий Иванович на выставке, помимо знакомствах целым валом новинок технического прогресса (в этом отношении его более всего поразила французская вискоза) и бесчисленных бесед с учеными и изобретателями, — ощущение неразрывности всех факторов, обусловливающих развитие промышленности. Он загорелся желанием изложить свои экономические, научные и философские взгляды на промышленность в едином контексте. Можно сказать, что, занимаясь делами выставки, он нащупал новый, еще более всеохватный код изложения своих мыслей: *«Тут мое новое направление (не от выставки ли?) начало выражаться явно».*

Возможность для этого давала «Библиотека промышленных знаний», редактировать которую он взялся несколько месяцев назад по предложению издательской фирмы «Брокгауз и Ефрон». Для этой серии книг он напишет фундаментальное вступление «Учение о промышленности», которое называют вершиной его экономических трудов. О том, что представляло собой новое произведение, можно судить по взятой из его начала цитате: *«…включить в книгу желал не только разъяснение общественного значения видов промышленности, не только обзор их современного развития во всем мире и в нашем Отечестве, но и всё то, что могу и считаю надобным — для ознакомления с промышленными делами — сказать о назначении для них и об участии в них природы (или того, что подразумевают экономисты под словом «земля»), энергии всех видов (от грубо механической работы до труда и предпришмчивости, представляющих чисто духовный*

характер), капитала (т. е. запасов, сохранившихся от прежнего производства и от сбережений), знаний (т. е. науки с ее стремлениями к чистой истине и к постижению законов, позволяющих обладать природою и видами ее энергии), обучения, специализации (разделение труда), изобретательности, подражательности и законодательных мероприятий. В последний десяток лет мне пришлось особенно часто узнавать случаи взаимной связи всех указанных влияний, и я задумал свести всё это по возможности в одно целое». В течение года, последовавшего за первым выпуском «Библиотеки», Менделеев отредактирует в этом ключе почти два десятка серьезных работ. Что касается перспективы, то Дмитрий Иванович довел до сведения сотрудников издания — под его началом трудилось 50 человек — подробное содержание двадцати будущих томов. Но вскоре издательство было вынуждено прекратить финансирование этого проекта, и после выхода в свет всего нескольких выпусков серия перестала существовать. Начинание, на которое Менделеев возлагал большие надежды, оборвалось из-за отсутствия читательского интереса.

Высидеть в Париже весь срок выставки для Менделеева было делом невозможным. Конечно, здесь было много важного, интересного и даже весьма приятного — например, известие о присвоении ему звания командора ордена Почетного легиона или приглашение на обед к старому другу И. И. Мечникову, с 1886 года жившему в Париже и возглавлявшему новую лабораторию в Пастеровском институте. Илья Ильич очень драматично описывал гостю битвы фагоцитов с микробами и горячо призывал Менделеева побольше есть кисломолочных продуктов — считал, что в них залог долголетия.

Дмитрий Иванович, конечно, и в Париже продолжал свои текущие дела: занимался календарем, писал статьи об устройстве Петербургского политехнического института, о транспортировке нефти и даже о свежих китайских событиях (Боксерском восстании), работал над «Учением о промышленности», общался с коллегами-метрологами, вел обширную переписку, — но душа звала домой, тем более что там его ожидала еще ббльшая масса работы.

Его присутствие требовалось в Главной палате, уже два года ожидавшей решения вопроса о финансировании строительства новых помещений. Всё это время Менделеев добивался возведения на территории Палаты еще двух новых зданий: лабораторного корпуса и жилого дома для сотрудников. От Менделеева требовались не только упорство, но и хитрость. В частности, О. Э. Озаровская описывает, каким образом он организовал посещение Палаты великим князем Михаилом Николаевичем, от которого в немалой степени зависело финансирование стройки. В течение нескольких дней перед этим сотрудники тащили из подвала в лаборатории самую неуклюжую и громоздкую рухлядь, оставшуюся от прежних опытов, чтобы усилить и без того очевидную тесноту. При этом Менделеев настаивал, чтобы сам проход высокого гостя был максимально затруднен: *«Под ноги, под ноги! Чтоб переступать надо было! Ведь не поймут, что тесно, надо, чтоб спотыкались, тогда поймут!»* Первый жилой дом, на верхнем этаже которого жил сам управляющий с семьей, был построен еще в 1897 году. С тех пор персонал Палаты увеличился ровно в два раза. В 1899 году поступили первые средства, была создана строительная комиссия под председательством Менделеева, но денег едва хватило на закладку одного здания. Между тем у главного российского метролога были обширные планы не только в отношении старых лабораторий, но и устройства новых. В частности, он был намерен создать химическую, а также газо- и водомерную лаборатории, механические мастерские, построить установку для определения напряжения (ускорения) силы тяжести, а также обзавестись собственной обсерваторией, необходимой для определения точной длительности секунды. (Несколько забегая вперед можно сказать, что выход из ситуации, когда Министерство финансов было просто не в состоянии обеспечить деньгами уже утвержденное строительство, найдет сам Менделеев, который предложит вместо двух домов построить одно «особое» пятиэтажное здание, где разместятся все задуманные им лаборатории, мастерские, обсерватория и квартиры для служащих. Так появится проект известного здания с башней и колодцем, которое архитектор С. С. Козлов возведет всего за год.) Дмитрий Иванович был также

необходим в это время в Петербурге как эксперт на громком процессе о загрязнении Невы сточными водами Ниточной мануфактуры. Всё это вынуждало его совершать длительные отлучки в Петербург, что, впрочем, воспринималось руководством русского отдела Всемирной выставки и министерством, откомандировавшим его в Париж, с пониманием.

И еще одно дело требовало его личного контроля. Дмитрий Иванович затеял строительство двух доходных домов на Пушкарской. Строительство шло быстро, но за подрядчиком требовался догляд, да и нужно было произвести очередные выплаты. Несмотря на скромный образ жизни и повседневную расчетливость Дмитрия Ивановича, денег семье не хватало. Сказались в конце концов та принципиальная дистанция, которую ученый выдерживал относительно коммерческих проектов, создававшихся при его помощи, — *«отказывался от принятия участия в выгодах»* , и тот особый характер менделеевской «скупости», который заставлял его устраивать регулярные праздники с подарками для детей сотрудников Палаты, тратить крупные суммы на гостинцы, которые он каждый раз привозил из-за границы всем родным и знакомым, и вносить двойную плату за обучение сына, имея в виду кого-то (он никогда не интересовался его именем, чтобы избежать благодарности), кто не мог заплатить за свое обучение. Менделеев надеялся, что доход от сдачи квартир хоть как-то укрепит его материальное положение, однако на деле это предприятие еще больше его ухудшило. В «Биографических заметках», описывая 1901 год, он сам признался: *«Окончил стройку дома на Пушкарской и деньгами запутался».* Чтобы расплатиться с долгами, построенные дома пришлось сразу же заложить.

Очевидно, что после 1900 года Менделеев ощущал явную тревогу и даже угрызения совести относительно материального будущего своей семьи. Одно из подтверждений тому — неотправленное письмо Дмитрия Ивановича к Витте. Выдержки из этого документа очень часто цитируются, но главным образом в тех случаях, когда речь идет о заслугах великого ученого в его собственном понимании. Это действительно интересный момент, который нельзя обойти вниманием. Описывая 48 лет служения родине и науке, Менделеев в первую очередь говорит о своем вкладе в науку, составляющем *«гордость, не одну мою личную, но и общую русскую».* Он указывает на признание этого факта более чем пятьюдесятью научными сообществами мира. Стоит отметить, что в письме нет ни слова об открытии Периодического закона, об «Основах химии», об исследованиях в области упругости газов и растворов, что совершенно понятно, учитывая «весомость» этих достижений в глазах руководства финансового ведомства, больше ценившего в нем выдающегося промышленного эксперта и единомышленника в области экономической политики. Столь же кратко он пишет о преподавании, которое взяло *«лучшее время жизни и ее главную силу».* Третьим видом своей деятельности Менделеев называет *«службу в пользу роста русской промышленности, начиная с сельскохозяйственной»* и описывает ее подробнее всего, не упуская опытных исследований по разведению хлебов, занятий нефтяной и фабрично-заводской отраслями, изобретения бездымного пороха, разработки тарифов и реформы метрологической службы.

Очевидно, что такого рода письмо могло быть продиктовано в первую очередь желанием обосновать некую просьбу, связанную с необходимостью поправить материальное положение, тем более что в самых первых строках Менделеев сообщает, что торопится написать Сергею Юльевичу «по личным делам», поскольку стремительно слепнет, а диктовать или обратиться лично не может — надо понимать, из-за деликатности вопроса. В таких случаях Дмитрий Иванович, как известно, очень часто обращался к письму, которое потом мог просто спрятать в стол, поскольку лично для себя просить стыдился. Описывая свои заслуги в изобретении пироколлодийного пороха, Менделеев замечает: *«Другой на моем месте, даже любой ученый 3. Европы, на одном этом сумел бы обеспечить себя на всю жизнь…» Дойдя до перестройки работы Главной палаты мер и весов, он сообщает, что «уже ныне доходы от выверяемых приборов превосходят все годовые расходы на 100 или даже 200 тысяч рублей».*

Окончательно ставит точки над «i» завершение письма: *«Прибавьте ко всему*

предыдущему этому три полки написанных или редактированных и напечатанных мною книг, да разнородные интересы большой семьи, видящей во мне свою опору, и Вы поймете, что при всей скромности жизни у меня мало было возможности скопить какое-либо обеспечение для себя и семьи и вовсе не было времени и склонности заниматься делами этого рода… Вижу, что в таком печальном положении своих дел личных кругом сам виноват, что детям оставлю долги, что перед смертью пора подумать об исправлении наделанных ошибок…» Старый ученый собирался о чем-то просить — то ли об увеличении жалованья, то ли о какой-то возможности заработать, а может, о приличной пенсии семье после своей кончины, — но не попросил. Письмо не послал, а вместо этого положил в конверт, на котором через какое-то время написал, чтобы послали после его смерти, которую считал близкой. В сентябре 1906-го конверт снова попал ему в руки, но он лишь дописал на нем, что еще жив, и вклеил в альбом. К этому времени он уже закончил приведение в порядок своей библиотеки и архива.

Заботы о семье не отменяли того обстоятельства, что сам Дмитрий Иванович снова не был в ней счастлив. Второй брак, совершённый по страстной любви, как и следовало ожидать, не стал для него спасением от непонимания. Менделеев был бесконечно добрым, нежным, но одновременно очень трудным человеком, со своими незыблемыми ценностями, которые далеко не все были в состоянии разделить. Анна Ивановна оказалась к этому не более готова, нежели в свое время Феозва Никитична. Даже Иван Дмитриевич Менделеев, в своих воспоминаниях убеждающий читателя в том, что первый брак отца не мог иметь будущего и что высокую нравственную связь он обрел только в союзе с его матерью, тем не менее пишет об «отдельных вспышках разногласия, которых при самостоятельном и горячем характере обоих нельзя было, конечно, во всём избежать, при постоянной совместной жизни»: «Это не был банальный буржуазный брак того времени». Первые годы постоянным предметом недовольства Анны Ивановны была щедрая помощь Дмитрия Ивановича прежней семье. Но это был не единственный камень преткновения между ним и молодой супругой, которая продолжала считать себя художницей, любила приемы, выезды, театр — тот образ жизни, который Дмитрий Иванович на дух не переносил. Он писал сыну Владимиру, который был, наверное, его единственным конфидентом: *«Женщины убеждены, что всё на свете должно делаться только для них, для их радости, счастья, спокойствия. Детей сдаст нянькам и боннам, и ладно, а сама в Гостиный двор, в театр. Противны мужчины-шалопаи, противны также и женщины-шалопаи».* Кстати говоря, вряд ли только случай виноват в том, что факт тяжелой болезни Владимира был скрыт от Дмитрия Ивановича…

Менделеев, одним из удивительнейших качеств которого была способность при любых обстоятельствах оставаться в одиночестве, то есть наедине с решаемыми проблемами, иногда с трудом находил место для своих размышлений. Летом его очень выручало дупло огромного дерева в Боблове, куда Дмитрий Иванович взбирался по приставной лестнице, чтобы скрыться от «отдельных вспышек разногласия» сначала с первой, а потом и со второй женой. Александр Блок, почти открыто не любивший тещу, после смерти Дмитрия Ивановича написал: «Тема для романа. Гениальный ученый влюбился буйно в хорошенькую женственную и пустую шведку. Она, и влюбясь в его темперамент, и не любя его — по подлой свойственной бабам двойственности — родила ему дочь Любу, упрямого сына Ивана и двух близнецов. Чухонка, которой был доставлен комфорт и средства к жизни, стала порхать в свете, связи мужа доставили ей положение и знакомства. Она и картины мажет, и с Репиным дружит. По прошествии многих лет ученый помер. Жена его (до свадьбы и в медовые месяцы влюбленная, во время замужества ненавидевшая) чтит его память «свято»… Ей оправдание, конечно, есть: она не призвана, она пустая бабенка, хотя и не без характера, ей не по силам ни гениальный муж, ни четверо детей, из которых каждый по-своему незауряден».

После ухода из жизни Владимира Блок окажется одним из немногих людей, понимавших Менделеева и сознававших масштаб его личности. Особой близости между

ними не было, хотя Дмитрий Иванович, довольно далекий от изощренной блоковской поэзии, часто защищал его от критиков-«позитивистов», доказывая, что *«об этом нельзя рассуждать так просто. Есть углубленные области сознания, к которым следует относиться внимательно и осторожно. Иначе мы не поймем ничего».* И именно Александр Блок, с его поэтической утонченностью и даже надломленностью, оставил нам строки, характеризующие Менделеева, что называется, в полный рост. В письме Любе Менделеевой он написал: «Твой папа вот какой: он давно всё знает, что бывает на свете. Во всё проник. Не укрывается от него ничего. Его знание самое полное. Оно происходит от гениальности, у простых людей такого не бывает. У него нет никаких «убеждений» (консерватизм, либерализм и т. п.). У него есть всё. Такое впечатление он и производит. При нем вовсе не страшно, но всегда неспокойно, это оттого, что он всё и давно знает, без рассказов, без намеков, даже не видя и не слыша. Это всё познание лежит на нем очень тяжело. Когда он вздыхает и охает, он каждый раз вздыхает обо всём вместе; ничего отдельного или отрывчатого у него нет — всё неразделимо. То, что другие говорят, ему почти всегда скучно, потому что он всё знает лучше всех…»

Едва переехав в новое здание, Менделеев начинает новую охоту за эфиром. По его указанию на всю высоту 23-метровой башни с помощью груза растягивают проволоку, которую сотрудники Главной палаты мер и весов Ф. П. Завадский и В. А. Мюллер, со всей возможной тогда точностью, начинают регулярно взвешивать под нагрузкой и в свернутом состоянии, пытаясь найти убыль или прибыль, нанесенную металлу невидимыми, всепроникающими частицами эфира. Уверенность в существовании этого наилегчайшего элемента не давала Менделееву возможности признать многие, даже вроде бы бесспорные научные открытия того времени. Он решительно не верил во взаимопревращение элементов и продолжал трактовать их природу с химико-механических позиций. Именно поэтому он не принял теорию электролитической диссоциации, открытие электрона и, что особенно характерно, явление радиоактивности как самопроизвольного излучения частиц вещества.

В 1896 году в лаборатории Анри Беккереля Менделеев своими глазами наблюдал испускание солью урана невидимых лучей с сильной проникающей способностью. Есть все основания предполагать, что он был знаком также и с работами Марии и Пьера Кюри, но именно после посещения лаборатории Беккереля в Парижском ботаническом саду он решил провести исследование природы радиоактивности у себя в Палате. Собственных радиоактивных препаратов в России еще не было, поэтому Дмитрий Иванович приобрел препарат бромистого радия у немецкого физика Ф. Гизеля. Работа была поручена лаборанту М. В. Иванову, который должен был вести «наблюдения над разрядной способностью радия» с целью выявления внешних факторов, влияющих на процесс радиоактивного распада. Результат, которого Иванов добился в серии опытов 1903–1904 годов, был ожидаем: ни давление, ни температура не оказывают никакого воздействия на скорость распада. Почему Менделеев выбрал именно эту, как считают специалисты, самую «больную» точку процесса радиоактивного распада — его независимость от внешних условий — судить трудно. Возможно, он бессознательно стремился защитить свою эфирную теорию. В конце 1902 года в одной из самых оригинальных своих работ «Попытка химического понимания мирового эфира» он вновь описывает эфир как легчайший химический элемент, лишенный, подобно аргону или гелию, способности к химическим соединениям. Что же касается радиоактивности, то Менделеев считал, что элементы с наивысшими атомными весами (уран, торий, радий) обладают способностью накапливать мировой эфир вокруг своих атомов. *«Если допустить такое особое скопление эфирных атомов около урановых и ториевых соединений, то для них можно ждать особых явлений, определяемых истечением части этого эфира».*

В восьмом издании «Основ химии» (1905) Менделеев развивает этот свой взгляд на радиоактивность, полагая, что ее, *«пожалуй, можно считать даже свойством или состоянием, в которое могут прийти довольно разнообразные (но едва ли всякие) вещества, подобно тому, как некоторые тела могут быть намагничены… Мне кажется затем*

вероятным, что радиоактивность связана со свойством вещества поглощать из окружающего пространства и выделять в него особое, еще неизвестное вещество, близкое к тому, которое образует мировой эфир и проницает все тела». Уже в те времена такая позиция многими учеными считалась ошибочной. Последний гвоздь в гроб эфирной теории, как полагают, вбила специальная теория относительности Альберта Эйнштейна, открытая им в 1905 году.

Даже не вдаваясь в суть возможной научной ошибки Менделеева (нельзя забывать, что именно масштаб и характер ошибок Дмитрия Ивановича вкупе со странностями натуры и парадоксальностью суждений сделали его фигуру великой едва ли не в равной степени, нежели открытие Периодического закона), нужно отметить, что до сих пор эта ошибка не является абсолютно доказанной, особенно теперь, когда непогрешимость специальной теории относительности подвергается сомнению как никогда активно. Менделеев был, как всегда, в поле великого прозрения, хотя видел и интерпретировал увиденное исключительно по-своему. Это вроде бы уводило его куда-то в сторону, но тут же оказывалось, что именно он давал новую перспективу открытию, с которым не был согласен. Недаром именно Менделеев за 30 лет до открытия деления урана предсказал этому элементу огромное будущее. В том же издании «Основ химии» Дмитрий Иванович писал: *«Должно приписать немалое значение для того интереса, который, очевидно, возрастает по отношению к урану, особенно с тех пор, как с ним оказались связанными два из важнейших… открытия физики и химии, а именно аргоновых элементов (особенно гелия) и радиоактивных веществ. Те и другие представляют своего рода неожиданность и крайность… связанные с крайностью в эволюции элементов самого урана… Наивысшая из известных, концентрация массы весомого вещества в неделимую массу атома, существующая в уране, уже a priori должна влечь за собою выдающиеся особенности… Убежденный в том, что исследование урана, начиная с его природных источников, поведет еще ко многим новым открытиям, я смело рекомендую тем, кто ищет предмета для новых исследований, особо тщательно заниматься урановыми соединениями…»* Напомним, это было сказано в те годы, когда самые продвинутые физики воспринимали уран исключительно как элемент для получения радия.

Годы, миновавшие после смерти Дмитрия Ивановича, принесли человечеству открытие нейтрино и реликтового излучения, создание так называемой стандартной модели Вселенной, представление о физическом вакууме, опровергающем абсолютную пустоту межпланетного пространства, и, наконец, прояснение того обстоятельства, что земной науке известно пока не более четырех процентов элементов космоса. Опыты с отягощенной грузом проволокой, порученные Менделеевым когда-то Завадскому и Мюллеру, результата не дали — так же, как когда-то опыты с разреженными газами или, еще раньше, гейдельбергское исследование межмолекулярного пространства, но это значит только то, что значит, поскольку интуиции Менделеева отмерен срок не короче, чем его Периодическому закону. Тут, как говорится, возможны неожиданности откуда угодно, и в первую очередь со стороны Большого адронного коллайдера. А какое имя, в случае чего, будет дано веществу или частице, которое Дмитрий Иванович называл эфиром, — в конце концов, неважно.

Парадоксальное отношение Дмитрия Ивановича к явлению радиоактивности уже тогда было в центре внимания не только коллег, но и всей читающей публики. В воспоминаниях О. Э. Озаровской находим смешную, но от того не менее любопытную сцену с участием репортера, пришедшего интервьюировать Менделеева.

«Бой завязался уже на пороге кабинета, куда выскочил Дмитрий Иванович.

— Кто такой? Карточку!

— Сотрудник газеты «Петербургский листок», Ваше превосходительство.

— Дмитрий Иванович! — выразительно поправил интервьюера Дмитрий Иванович. *— Карточку! Не знаю, кто такой-с! Ну-с, что угодно? Я занят!*

— Я, Ваше превосход…

— Дмитрий Иванович!

— Я пришел, Ваше превос…

— А-а, да Дмитрий Иванович!

— Я, Дмитрий Иванович, — уразумел, наконец, газетный сотрудник, — оторву у вас лишь несколько минут…

— Скорей, только скорей! Мы заняты: видите — письмо пишем. Ну-с? Что угодно?

В это время неприятель уже занял позицию на стуле справа от Дмитрия Ивановича.

— Позвольте вас спросить, какого вы мнения о радии?

— О-о-о-о?! О, господи!

Дмитрий Иванович весь склонился налево вниз и долго стонал, вздыхал и тряс головой: «*О, господи* ». Потом он повернулся к гостю и на высоких нотах жалобы заговорил:

— Да как же я с вами разговаривать-то буду? Ведь вы, я чай, ни черта не понимаете? Ну как же я с вами о радии говорить буду? Ну-с, вот вам моя статья: коли поймете, так и слава богу. Одно только скажу, — совсем дружелюбно заговорил вдруг Дмитрий Иванович, — и мой друг Рамзай, портрет которого вот тут стоит, и он тоже увлекается. Вопрос интересный, но темный; говорят много, а знают мало. Ну-с, всё? Что еще? Только скорей. Время-то, время идет!

— Как вам пришла в голову, Дмитрий Иванович, ваша Периодическая система?

— О-о! господи!

Те же стоны, потрясанье головой, вздохи и смех: кх, кх, кх. И, наконец, решительное:

— Да ведь не так, как у вас, батенька! Не пятак за строчку! Не так, как вы! Я над ней, может быть, двадцать лет думал, а вы думаете: пятак за строчку — готово! Не так-с! Ну-с, всё? У меня времени нет. Заняты, письмо пишем…

— Какое письмо?

— О-о-о?

Дмитрий Иванович замер, набирая воздуху в легкие. Наступила могильная тишина, и вдруг Дмитрий Иванович во всю мочь крикнул:

— Любовное!

Неприятель был побежден и спешил ретироваться, а великодушный победитель пояснил вслед, что письмо пишут такому-то, по такому-то поводу. На другой день, я, конечно же, поспешила купить «Петербургский листок»: интервью длиннейшее! Дмитрий Иванович выведен обаятельно любезным. Отвечая на вопрос о радии, «он откинулся на спинку стула и начал…». Далее шли кавычки и громадная выписка из данной репортеру статьи «Химическое понимание мирового эфира». Потом опять любезность до самого конца с милым доверчивым сообщением, кому в настоящую минуту («тут же сидел его личный секретарь») пишется письмо. Прочла всё Дмитрию Ивановичу. Он благодушно высказался: *«А неглупый человек! Догадался, как поступить. Ничего не переврал по крайней мере»».*

Кроме портрета Рамзая, со стен кабинета на третьем этаже жилого палатского дома (Дмитрий Иванович лично спланировал свою служебную квартиру и выбрал для нее последний этаж, чтобы сверху не было никакого глума) на посетителя глядело множество других картин и фотографий, сразу давая возможность составить некоторое представление о личности управляющего Главной палатой мер и весов, в том числе о его научных и духовных убеждениях, художественных предпочтениях и даже личных обстоятельствах. Здесь всё имело значение — от расположения картин и снимков до рамок, в которые они были заключены (все как одна они были обработаны и обклеены хозяином кабинета собственноручно). Н. Я. Губкина оставила их описание:

«Изображение Иисуса Христа (старинная гравюра) было помещено Дмитрием Ивановичем выше всех портретов на задней стене кабинета… сзади его стола… Под Спасителем висела большая гравюра на меди: Петр Великий с медальоном внизу Александра И. Направо от этой гравюры помещены: Дидеро, военный гений Суворов, художник Рафаэль и прекрасный портрет карандашом химика Лавуазье, работы… Анны Ивановны Менделеевой. Налево висели: Декарт и Жерар, тоже ее работы, Шекспир, Данте и Глинка. С двух сторон всей этой группы портретов висел рисунок соусом (редкий вид пастели,

обладающий наибольшей красящей силой. — *М. Б* .) под стеклом: сосна Шишкина «На севере диком стоит одиноко…» и итальянский этюд масляными красками Иванова. Над дверью по этой же стене помещены портреты, все работы А. И. Менделеевой: молодого Ньютона, налево от него Галилей, направо: Коперник, Грагам, Мичерлих, Розе, Шеврель и Ньютон позднейшего времени. Направо от двери, на фанерках большого книжного стеклянного шкафа, справа висели портреты ученых Велера, физика Краевича, друга Дмитрия Ивановича по Педагогическому институту, Воскресенского… Слева висели портреты химиков: Фарадея, Вертело и Дюма. Над столом, на высоких полках красного дерева, висели фотографии жены, детей и внучки… На стене против стола слева висели копии… со старинных портретов отца и матери… Под этими портретами висели семейные группы и группа художников-передвижников… Посередине стены помещался портрет А. И. Менделеевой… Над ним портрет ее отца… На этой же стене налево висела большая фотографическая группа профессоров физико-математического факультета периода до нового устава, самой блестящей поры С.-Петербургского университета… Под этой группой висел большой портрет масляными красками работы Ярошенко второго сына Дмитрия Ивановича ребенком пяти лет. Он в белой русской рубашке сидит в большом кресле и весело и задумчиво смотрит большими светлыми глазами».

Есть основания предполагать, что некоторые портреты Надежда Губкина не упомянула. Известно, что после смерти А. М. Бутлерова в 1886 году Менделеев торжественно повесил его портрет на стену, что было актом высочайшей оценки заслуг ушедшего коллеги. Там также находился портрет С. Ю. Витте, который вскоре будет снят со стены рассерженным Дмитрием Ивановичем при обстоятельствах, о которых речь пойдет ниже.

Обстановка менделеевского кабинета была более чем скромной, если не считать огромного количества книг в шкафах, едва дававших возможность разместить между ними всё тот же старый тиковый диван. На столе, заваленном книгами, рукописями и корректурами, насилу находилось место стеклянной чернильнице, коробке для табака и неизменной чашке крепкого до черноты свежезаваренного чая, на один уголок с которой Михайла по утрам ставил тарелку бутербродов с паюсной икрой и семгой на филипповском калаче.

Завтракал Дмитрий Иванович с неизменным аппетитом, завершая трапезу половиной стаканчика малаги, а в течение дня ел мало. Мог еще, не отрываясь от работы, протянуть руку к блюдцу с рисовыми лепешками, которые каждый день пекла для него старая кухарка Екатерина. Рис Менделеев считал целебным злаком. Сахара, конфет и пирожных сам почти никогда не ел, но всегда имел запас сладостей, посылал их к столу на десерт и угощал детей, забегавших в его кабинет.

В последние годы Менделеев любил прогуливаться по палатскому двору — от ворот к подъезду и обратно. Двигался очень медленно, с частыми остановками, совершенно не обращая внимания на устремленные на него из окон взгляды сотрудников. Зато всех встречных приветствовал ласковой улыбкой, предупредительно раскланивался, а кому-то даже махал рукой. Его глаза, ярко-голубые в молодости, с годами приобрели серый оттенок, но лицо по-прежнему сохраняло правильные черты. Одет он чаще всего был в серое пальто особой, продуманной им формы и того же цвета фуражку, сшитую таким образом, что она закрывала большую часть его огромной головы. Воротника Дмитрий Иванович не поднимал, отчего длинные седые волосы были свободно разбросаны по плечам. Летом он любил посидеть на лавочке, погреться на солнце, посмотреть на игру детей сотрудников. Если случалось забрести к воротам торговцу свежими яблоками, Менделеев тут же зазывал его во двор и покупал детям по яблоку. После прогулки управляющий шел в Палату, где, устроившись, нога на ногу, на диване в канцелярии и беспрерывно крутя папиросы из дорогого табака, без спешки выслушивал сотрудников, давал указания или что-нибудь рассказывал. Потом возвращался работать в кабинет. Ближе к вечеру он вновь выходил побродить по той же дорожке.

Иногда Менделееву хотелось покататься на проходящей мимо конке. Он выходил за

ворота, останавливал экипаж и вскарабкивался по винтовой лестнице на самый верх. Доедет до конца и вернется довольный на то же место: *«Люблю умные мужицкие речи послушать* ».

Неспешные прогулки и уютное общение с любимыми сотрудниками не свидетельствовали о снятии им с себя бремени ученых занятий. В труде он всё еще был неутомим. Достаточно сказать, что корректуру некоторых листов (по сути, огромных полотнищ) очередного издания «Основ химии» Менделеев правил до шестнадцати раз, прорабатывая горы литературы, внося сведения обо всех новостях химической науки. Степенные прогулки могли резко смениться периодом напряженной, бессонной работы, поэтому бумага и карандаш были при нем постоянно: *«Однажды важнейшая мысль, разрешающая мучивший меня вопрос, пришла мне в голову в «укромном месте», и я записал ее».* М. Н. Младенцев вспоминал: «Приходилось бывать у него рано утром, по его зову. Приходишь, а он сидит, согнувшись, спешно пишет; не оборачиваясь, протяжным голосом скажет: *«да-а-а… погодите»,* а сам, затягиваясь папиросой, скрученной самим, не отрываясь, двигая всей кистью руки, пишет и пишет… но вот папироса ли пришла к концу, или мысль запечатлена уже на бумаге, а может быть, пришедший нарушил течение его мысли, откинувшись, он скажет: *«Здравствуйте. А я всю ночь не спал, интересно, очень интересно… сейчас немного сосну, а там снова, очень всё интересно…»* Объяснит, зачем звал. *«Ну и ладно, довольно, пойду прилягу»* . Не успеешь от него уйти, как снова Дмитрий Иванович зовет к себе. Приходишь, а Дм. Ив. восклицает: *«Нет, не мог спать, где же, надо торопиться… ах, как всё это интересно».* И снова сидит и пишет».

К осени 1903 года Менделеев утратил зрение настолько, что уже не мог сам не только читать и писать, но даже расписываться в нужном месте на официальных бумагах. Он не жалуется на свою слепоту, но теперь безропотно и с благодарностью принимает помощь сотрудников, направляющих его руку с пером в нужное место. Домашние и сослуживцы боялись самого страшного — «темной воды», как тогда называли неизлечимую глаукому. Но офтальмолог И. В. Костенич определил болезнь как катаракту, то есть помутнение хрусталика, и взялся провести операцию, которая сама по себе была в те времена в России редкостью, хотя практиковалась довольно давно — вспомним прозрение Ивана Павловича Менделеева в 1837 году. Тяжелая операция была проведена в два этапа. Ход окончательной операции едва не был нарушен Дмитрием Ивановичем, который в самый неподходящий момент рефлекторно схватил хирурга за руку; но всё, слава богу, обошлось, хотя профессор Костенич и его ассистенты выскочили из операционной на грани обморока. Негодные хрусталики были выдавлены — их роль в будущем должны были исполнять очки с очень толстыми стеклами. А пока Менделеев надолго оказался в полной темноте.

В такой период жизни любой, даже не столь нервный и одержимый своими занятиями человек мог потерять самообладание и сделаться тягостной обузой для окружающих. Но Дмитрий Иванович, неожиданно для многих, проявил себя совершенно с другой стороны. Он воспринял случившееся без всяких метаний, с великим спокойствием. Незрячий ученый по-прежнему держал на контроле все палатские дела, заслушивал доклады и давал указания, посещал научные собрания и диктовал докладные записки. А когда ему совсем нечем было себя занять, отдавался своему любимому удовольствию — клеил коробки. Их он делал теперь небольшого размера, используя материал папок и обклеивая их специальной, собственного изобретения, водостойкой холстиной. Для украшения изделия мастер пускал по краям веселый бордюрчик. *«Посмотрите, как правильно всё измерено, а ведь я ничего не вижу-с. Я вам нарочно для того показал, чтобы вы видели, что могут сделать одни руки человека, если только он захочет».*

Еще больше удовольствия ему доставляло чтение вслух. Для него Дмитрий Иванович перебрал сначала всех домашних, а потом почти всех сотрудников Палаты, среди которых особенно отличал известную нам Озаровскую, читавшую громко, внятно и с чувством: *«Ольга Эрастовна так газету читает, что даже телеграммы слушать интересно».* К тому же эта сотрудница лучше всех, по мнению управляющего, умела «впускать» ему капли в глаза. Литературу он подбирал сам, по своему давным-давно определившемуся вкусу.

Ценил Шекспира, Шиллера, Гёте, очень любил Байрона, Пушкина и русских писателей до Пушкина. Современную же русскую прозу, ту, которую во всем мире до сих пор называют великой, Менделеев не любил: *«Мученья, мученья-то сколько описано! Я не могу… Яне в состоянии».* Во время болезни он чаще всего предпочитал слушать Дюма, Жюля Верна, приключенческие романы из жизни краснокожих или истории про благородного разбойника Рокамболя, причем сопереживал героям по-детски живо и непосредственно. Например, читает ему Ольга Эрастовна из Дюма что-то вроде: «В это мгновение рыцарь поднялся, взмахнул мечом, и шесть ландскнехтов лежали распростертые на полу таверны…»

— *Ловко,* — одобряет с детским восторгом Дмитрий Иванович. — *Вот у нас* , — плаксиво продолжает он, — *убьют человека, и два тома мучений, а здесь на одной странице шестерых убьют и никого не жалко.*

— Окно раскрылось, — читает дальше Озаровская, — и хорошенькая головка высунулась из него. В одно мгновение по веревочной лестнице рыцарь взобрался к самому окну. «О благородный рыцарь, — начала Сюзанна, — скажите, как благодарить мне вас? Поверьте, что моя госпожа не остановится ни перед чем, чтобы достойно вознаградить вас за оказанную услугу. Скажите, чего вы хотите, и ваше желание будет исполнено». — «Прелестная Сюзанна, — воскликнул рыцарь, — моя награда в ваших руках…»

— *Поцелует, поцелует! Сейчас поцелует!* — на высоких нотах кричит Дмитрий Иванович и бьет ногой в сапоге по кровати.

— «Один поцелуй ваших прелестных уст вознаградит меня за все опасности, которым я подвергался…»

— *Ага! Ловко! Что я сказал? Поцеловал! Поцеловал! Молодец!.. Отлично! Ну, дальше…*

Говоря о духовно близких Менделееву людях, которые на протяжении многих лет не только работали под его руководством, но и всячески ограждали ученого от неприятностей, оберегали от волнений, старались развлечь шахматами или чтением вслух, были рядом во время болезни и считали своим долгом донести до потомков память о своем учителе, нельзя не сказать о его ближайших помощниках и авторах первой документальной биографии — В. Е. Тищенко и М. Н. Младенцеве. Университетский ассистент Менделеева Вячеслав Евгеньевич Тищенко (1861–1941) не ушел вслед за своим профессором в Главную палату мер и весов, хотя дела его в ту пору шли неважно и перспектива сдать магистерский экзамен, не говоря уже о том, чтобы стать когда-нибудь профессором, казалась весьма туманной. Был момент, когда он вознамерился сменить поприще, но прозорливый Менделеев, вместо того чтобы взять к себе талантливого и преданного человека, сумел ободрить младшего коллегу и вернуть его на путь, более соответствующий его натуре. Впоследствии Тищенко стал известным профессором-органиком, деканом и проректором университета. В советское время он был избран академиком и удостоен Государственной премии (посмертно) за простой и оригинальный способ производства камфары из скипидара. О том, насколько Менделеев оказался прав в отношении его жизненного пути, свидетельствует письмо Тищенко В. И. Вернадскому, в котором он, в частности, пишет: «…я пришел к убеждению, что лучше той жизни, которую прожил, мне, по моему складу и дарованиям, нечего и желать». Его младший товарищ Михаил Николаевич Младенцев (1872–1941) вскоре после смерти Менделеева ушел из Палаты учительствовать, но в 1924 году вернулся в родные стены, чтобы организовать здесь музей, одно из отделений которого было посвящено русской метрологии, а второе — Менделееву.

В 1938 году Тищенко и Младенцев опубликовали первый том биографии своего учителя, в котором отразили период его жизни с рождения до участия в конгрессе в Карлсруэ. Авторы этой книги не были писателями, их слог отличался лишь четкостью и правильностью изложения, но зато книга содержала настоящий массив ценнейших документов, включая воспоминания, письма и фрагменты тогда еще малоизвестного гейдельбергского дневника Дмитрия Ивановича. В предисловии авторы писали: «Перед нами еще большая часть труда, выполнение которой мы, как близкие сотрудники Д. И.

Менделеева, считаем своим нравственным долгом». Долгое время считалось, что им не удалось осуществить свои дальнейшие планы, пока историк науки Ю. И. Соловьев в 1989 году не нашел в личном фонде В. Е. Тищенко, хранящемся в Петербургском отделении Архива Российской академии наук, большую рукопись документальной биографии Менделеева, охватывающую весь следующий, университетский, период его жизни — с 1861 по 1890 год. Оказалось, что рукопись уже успела побывать в руках добросовестного редактора, профессора С. А. Погодина, который в 1948 году откомментировал ее и подготовил для печати в Госхимиздате. Но публикация почему-то не состоялась, и готовая рукопись снова вернулась на архивную полку. Во втором томе также использовалось огромное количество интереснейших источников, с помощью которых воссоздавался образ сложного, но удивительно целенаправленного человека, каким был Дмитрий Иванович. При этом биографы не опускали и не лакировали даже тех эпизодов, которые их учитель при жизни предпочитал не вспоминать. К примеру, «сабуровская» история описана ими со всей откровенностью, хотя и с очевидным внутренним смущением. Несмотря на то, что второй том, пролежавший в архиве в общей сложности 46 лет, был, наконец, найден, его публикация снова задержалась — теперь, к счастью, всего на четыре года. В 1993 году он был напечатан в 21-м томе «Научного наследства» тиражом в тысячу экземпляров.

Младенцев, как оказалось, успел даже приступить к сбору материалов для третьего, заключительного, тома, но 1941 год оказался для двух старых петербуржцев последним. Вячеслав Евгеньевич умер от тяжелой болезни, едва окончив работу над вторым томом. Михаил Николаевич погиб при взрыве немецкой авиабомбы. Им не удалось завершить биографический трехтомник, но с учетом того, что М. Н. Младенцев успел ранее написать довольно подробные воспоминания о Менделееве «палатского» периода, их общие биографические работы, созданные задолго до выхода в свет менделеевского собрания сочинений, стали базовыми для многих последующих исследователей. Свой долг перед учителем они выполнили с поистине менделеевским упорством и самозабвением. «Попал в больницу 19-го октября, — пишет Младенцев соавтору в 1940 году. — Случился в Палате глубокий обморок… Берегите себя, дорогой Вячеслав Евгеньевич, — нас, близких к Дмитрию Ивановичу, остается двое…»

В 1903 году Менделеев начинает активно работать над самой известной своей книгой «Заветные мысли». Название этого классического труда использует два значения слова «заветные» — в смысле «сокровенные, потаенные» и образованное от слова «завет». Причем второй, редко встречающийся смысл был для Менделеева, очевидно, главным, что еще раз демонстрирует семантическое своеобразие его речи. Первое значение, заявленное с начальной строки очередным цитированием тютчевского *Silentium'* а, еще более подчеркивало необходимость прямой передачи мыслей потомкам, «*когда в сознании выступает неизбежная необходимость и полная естественность прошлых и настоящих постепенных, но решительных перемен».* По содержанию это была мощнейшая, универсальная попытка осмыслить вчерашний, сегодняшний и завтрашний день России в контексте мировой экономики, истории и политической географии.

Автор публиковал свой труд выпусками (всего их было четыре), по мере написания. Изложены «Мысли» еще более сложным, нежели предыдущие работы, языком. По степени насыщенности философскими, экономическими и естественно-научными идеями, новыми, присущими только автору, речевыми смыслами, по образности, страстности и полной раскованности изложения это произведение, пожалуй, не имеет себе равных даже среди менделеевских текстов. Степень его творческой свободы здесь такова, что позволяет автору двигаться в любую сторону уже написанного текста — возвращаться, дополнять, объяснять, предъявлять дополнительные доказательства. Читающему временами кажется, что в некоторых главах ученый в чем-то повторяется, пишет об одном и том же; но потом приходит понимание, что именно так и должно быть в текстах, выходящих из-под пера просветителя и адресованных озлобленной, разобщенной интеллигенции и правителям, не

знающим, куда вести свой темный и делающийся всё более опасным народ. Именно поэтому к уже известным тезисам он неустанно подбирает всё новые и новые аргументы, выкладки и расчеты.

Первым было опубликовано «Вступление», посвященное сельскому хозяйству, в котором Менделеев изложил свои взгляды на этот вид деятельности как на одну из отраслей промышленности и на способы включения крестьян в другие, индустриальные виды производства. Одна из его главных мыслей — о необходимости развивать в первую очередь именно индустриальное производство, что само собой обеспечит рост сельского хозяйства.

Вторая глава «Народонаселение» представляет собой анализ демографических проблем, влияющих на экономику, торговлю и благосостояние народов. О России здесь говорится мало. Временами кажется, что автор чересчур увлекся вычислениями, которые он обожал и считал видом отдыха. Но текст тем не менее оказывается очень интересным с точки зрения ведущегося в нем (чаще подспудно, но иногда полностью всплывая на поверхность) спора автора то с Мальтусом, а то с древнегреческими мудрецами или с Жан Жаком Руссо и графом Львом Толстым, которые, по его мнению, не умеют поставить вопрос о реальных нуждах людей. Менделеев вычисляет оптимальное количество населения с точки зрения обеспеченности его всем необходимым, распределяет его по возрастам, высчитывает естественную прибыль и убыль… В конце главы автор неожиданно отказывается от каких бы то ни было выводов, считая, что предложенные им выкладки и суждения сами по себе дают достаточную пищу для размышлений. Далее он вообще предлагает читателю считать данную главу «отдельным этюдом».

В третьей главе «Внешняя торговля» Менделеев энергично развивает свои взгляды на тарифную политику и протекционизм, а также увязывает их с ранее рассмотренными проблемами сельского хозяйства и народонаселения. Точнее сказать.

Дмитрий Иванович всё время пробивается к сути через критику весьма неожиданных понятий — буддизма, коммунизма, английской политэкономии, привлекая всё новые сложнейшие вопросы, которые по мере рассмотрения оказывают ему поддержку в доказательстве давно выношенных протекционистских взглядов. Более всего автор уделяет внимание вывозу «хлебов», но здесь его мысль опять уходит за пределы таможенной политики. Он вновь доказывает, что традиционное сельское хозяйство не может стать источником благосостояния, а следовательно, и необходимого прироста населения (Дмитрий Иванович мечтал об удвоении российского народонаселения каждые сорок лет). Анализируя объемы и структуру ввоза и вывоза товаров и связывая эти показатели с уровнем роста доходов населения, Менделеев делает непреложный вывод: *«С этим хлебным вывозом Россия должна остаться… страною бедною, временами голодающей и уже вследствие этого с малым развитием просвещения и всей гражданственности».* По Менделееву также получалось, что многодетные крестьянские семьи не могут дать необходимого огромной стране прироста населения. В решение демографического вопроса, по его мнению, должны быть вовлечены все слои общества, и оно может быть достигнуто *«только с усовершенствованием земледелия, с приложением к нему капиталов и, особенно, с развитием других видов промышленности, дающих хорошие заработки тому классу ее жителей, которых привыкли называть босяками, т. е. людям, ищущим какого бы то ни было заработка».* Тут следует лишь пояснить: из последующих высказываний Менделеева видно, что босяками он называл пролетариев.

В четвертой главе «Фабрики и заводы» Дмитрий Иванович, опять же в контексте своих излюбленных проблем, обращается к вопросам урбанизации и связанных с ней выгод для страны. Он берет под защиту промышленный город как сообщество многообразно связанных между собой производителей. Он полагает, что именно их знания, полученные в процессе переделки сырых продуктов, положили в свое время начало естествознанию. Менделеев разбивает на группы все виды тогдашних товаров и до косточек разбирает все выгоды их производства в городах. Поэтому он выступает за *«союзность людской жизни»* как единственную возможность промышленного преобразования страны. Причем —

поразительно — грядущую индустриальную Россию он видит так, будто заглянул в советское будущее: почти полное исчезновение деревни и существование огромных городов, в которых всякий клочок земли отдан под личные огороды горожан (по Менделееву, обилие земли никак не способствует интенсивному сельскому хозяйству). Было ли это ошибкой, сказать трудно хотя бы потому, что еще на заре перестройки выяснилось, что подлинными кормильцами населения у нас были не колхозы, а приусадебные участки, дачи и личные огороды. Возможно, где-то на просторах менделеевского текста пока затерялась ставящая всё на место поправка. Что же до взаимоотношений труда и капитала, то тут Дмитрий Иванович изъясняется однозначно: «*Прямо из чисел видно, что от развития промышленности первее всего зависит общее «благо народное», так как главный выигрыш от нее достается рабочим в виде возрастания их годовых заработков; и на капитал, по моему крайнему разумению, должно смотреть как на единственное вернейшее средство увеличить общий средний достаток людей, потому что капитал может беспредельно увеличиваться и распределяться между людьми, чего вовсе лишена земля, составляющая главный основной капитал земледелия».* Однако не всё так просто. При том, что *«у капиталов, у золота, у монет нет и не может быть отечества»,* из системы «труд и капитал» невозможно изъять конкретного владельца, предпринимателя, «*поскольку* ,— предупреждает Менделеев, — *несомненно, что одна комбинация босяков и капиталов не может образовать или вызвать сама по себе народного блага. Тут входит громадная сумма посредствующих необходимостей, между которыми просвещение с изобретениями, им вызываемыми, развитие трудолюбия и инициативы, вызываемыми так называемыми гражданскими учреждениями или доверием, определяющим существенный признак капиталистического строя».*

Говоря о том, насколько в «Заветных мыслях» отпечатались черты личности автора и насколько эта книга была отмечена его сложным и противоречивым мировоззрением, нельзя не сказать и об отразившихся в ней менделеевских комплексах — точнее, о некоторых общенациональных комплексах, которые Дмитрий Иванович самым естественным образом разделял. В пятой главе «По поводу японской войны» он, например, выглядит, если использовать современную терминологию, настоящим «ястребом». Речь конечно же идет не о доброкачественном евразийстве, с которым он описывает значение развития русских территорий, омываемых Тихим океаном, и не о прозорливом предвидении того, что *«на азиатских побережьях, до сих пор полусказочных… началась ярмарка новой мировой жизни, и впереди виден ее разгар».* Тем более его нельзя упрекнуть за горестные строки о доблестной гибели «Варяга». Дело в другом. Работа над главой была начата Менделеевым спустя месяц после первого разгрома русских сил, в период затишья, когда Балтийская эскадра еще только двинулась к театру войны, навстречу неизбежной Цусиме, а Порт-Артур даже не был осажден. Но общая ситуация, при которой командование с трудом сумело противопоставить коварно напавшему врагу не более десяти процентов имеющейся у него военной мощи, факт очевидной неготовности России к современной войне были понятны с первых сообщений о нападении японских канонерок на русский флот, а такой знающий и информированный человек, каким был Менделеев, вполне мог предугадать ход событий еще до их начала. Ему ли, пристально следившему за событиями на Дальнем Востоке, было не знать, что Япония, у которой Россия вырвала из зубов захваченный в Японо-китайской войне Ляодунский полуостров и которая не желала мириться с русским присутствием в Маньчжурии и уступать в споре из-за русских лесных концессий в Корее, — эта Япония могла напасть в любую минуту? Его выдающийся ум должен был полностью сознавать и совершавшуюся военную катастрофу, и приближавшийся социальный взрыв.

Однако Менделеев в это время не только уверен в скорой победе над врагом, но и энергично рассуждает о связанных с ней контрибуциях и переделе дальневосточных территорий. В некоторых строках Дмитрий Иванович предстает едва ли не типичным носителем воинственного, оборонного сознания *(«Мне уже поздно воевать, глядя в могилу, но…»)— с единственным отличием: он в состоянии описать этот синдром с*

исчерпывающей ясностью. «Такова уж наша покладистая природа, не терпящая похвальбы самообожания и рвущаяся обнять весь мир. В нас возмущается заветное, живое, хотя и совершенно бессознательное чувство, когда пред нами чем-нибудь кичатся даже в частной жизни, а в государственной… и подавно. И вот рядом с самообожающей похвальбой англичан да немцев выступили недавно японцы и ну нас корить всеми нашими недостатками и похваляться своими прирожденными, а особенно вновь приобретенными достоинствами, начиная с того, что они-де лет в тридцать приблизились к современному совершенству, начиная с парламентаризма, больше, чем мы успели в два столетия, а потому стали похваляться и взаправду верить, что они нас побьют, хотя их всего около сорока пяти миллионов, а у нас около ста сорока. Хвастливой похвальбы немало слышали мы ранее, но шла она с запада, от наших действительных учителей, к ней мы привыкли, а тут не из тучи гром расшевелил наши просонки».

Далее в той же главе следуют довольно пространные рассуждения о коварстве врага *(«Для русского коварство и японцы до некоторой степени сливаются»)* и его изначальной враждебности к северному соседу, о положительных сторонах русской натуры и поисках духовно близких соседей (таковыми Дмитрий Иванович находит единственно китайцев, а то, что они *«кичливы и называют все народы варварами»*, не страшно, *«потому что в этой кичливости мы участвуем рядом со всеми прочими некитайскими народами* »). Менделеев делает вывод не только о неизбежном, вследствие перенаселенности Японии, давлении ее на русскую территорию, но и о множестве войн с другими врагами (каждые семь-восемь лет) в будущем. Не замечая, что кое в чем он сам себе противоречит, Менделеев призывает свою страну стать, *«прежде всего, военной, как это поняли наши императоры»: «Грозными нам надо быть в войне, в отпоре натисков на нашу ширь, на нашу кормилицу-землю, позволяющую быстро размножаться, а при временных перерывах войны, ничуть не отлагая, улучшать внутренние порядки, чтобы к каждой новой защите являться и с новой бодростью, и с новым сильным приростом военных защитников и мирных тружеников, несущих свои избытки в новое дело».* И, наконец, последняя цитата из этой главы, принадлежащей, напомним, перу постепеновца и ненавистника всяких революций: *«Здравый русский ум, весь характер народа и вся его история показали ему, что войны для нас составляют своего рода революционную передрягу, освежающую весь воздух страны и дух ее правителей, а за войнами следуют почти всегда новые внутренние успехи и преобразования».* Даже если учесть, что на Россию все-таки напали, и еще раз вспомнить, что Менделеев на протяжении всей жизни всегда и во всем оставался природным русским человеком, нежно любящим свой народ и ожидающим от него особого вклада в мировую историю, все равно на страницах пятой главы внимательный читатель сталкивается с феноменом, радующим разве что какого-нибудь осатаневшего «патриота», нашедшего «предсказание» и «оправдание» событиям XX века, унесшего в могилу лучшую часть русского (и не только) народа.

Кое-какое объяснение этой позиции можно, конечно, найти в той части биографии ученого, когда он, уже после фактического поражения в Крымской войне, продолжал бредить о ее переломе и чудом добытой победе. Но это объяснение не выходит за рамки давно известной истины, что война меняет сознание русского человека. И сознание русского гения она может изменить непредсказуемо, тем более если регулировка «объективно — субъективно» вообще не про него, если он доверяет только себе, поверяет себя только собой. С одной стороны, он ведь сам всё написал: невозможно противостоять чувству, когда оно *«заветное, живое, хотя и совершенно бессознательное».* А с другой… какое вообще объяснение, какой комментарий возможен для свободной мысли, задевшей в полете живую душевную струну? Разве что такой: мысль может стать опаснее пули со смещенным центром тяжести.

Шестая и седьмая главы «Заветных мыслей» — «Об образовании, преимущественно высшем» и «О подготовке учителей и профессоров». Диапазон проблем среднего и высшего образования, по Менделееву, простирается от физиологических (на основании изучения

возрастных особенностей юношей он указывает на оптимальный для усвоения университетского курса период — с 16 до 20 лет, пока не заговорили «*естественные потребности* »; кроме того, ученый связывает рост университетских беспорядков с появлением в аудиториях возрастных, бородатых студентов) до целеполагающих, что находит свое выражение в разработке базовых принципов обучения, вплоть до соотношения объема конкретных и абстрактных знаний. После философского и исторического экскурса в суть образования Дмитрий Иванович излагает свое видение российской высшей школы.

Во-первых, эта образовательная ступень должна быть доступна в равной степени всем, кто способен (но ни в коем случае не всем желающим) на нее подняться: выпускникам гимназий, духовных семинарий, кадетских корпусов и реальных училищ. Во-вторых, учреждение и содержание вузов должно быть прерогативой и первейшей обязанностью правительства (законы, уставы и утверждение ведущих профессоров), а содержание учебного процесса и руководство институтом или университетом должно быть передано совету ведущих профессоров, который будет избирать ректора из числа своих членов. В третьих, все ведомственные учебные заведения (духовные, военные, морские, сельскохозяйственные и пр.) должны быть объединены по родственным признакам (например, лесная академия с сельскохозяйственной), что избавит учебный процесс от однобокости и даст существенную экономию от упразднения одинаковых кафедр и учебных департаментов в министерствах. Далее автор обосновывает необходимость для каждого ведущего профессора иметь собственный штат ассистентов, лаборантов, хранителей коллекций, являющихся его научными единомышленниками. Это, по мнению Менделеева, создаст не только выгоды для преподавания, но и продуктивное поле научной полемики, в которую будут вовлекаться и студенты. Дмитрий Иванович предлагает также разделить учебные предметы на основные (их должно быть немного, и они должны преподаваться «первосортными» профессорами) и дополнительные (их сравнительно легко можно постичь путем чтения книг и ближайшего знакомства с действительной жизнью). Он разрабатывает достаточно изощренную систему аттестации, дающую возможность выявить (и указать в дипломе) уровень подготовки выпускника. Серьезным инструментов повышения качества образования Менделеев считает стипендии и всякого рода пособия. По его мнению, все выплаты должны попадать в руки только успешных студентов и только под расписку — при условии постепенного их возврата после выпуска из учебного заведения.

Одно из самых интересных предложений Менделеева связано с подготовкой будущих профессоров, также именуемых им наставниками. Высказав предварительные замечания относительно благотворности общения студентов разных специальностей (на примере Главного педагогического института, давшего большое количество профессоров) и раскритиковав длившуюся много десятилетий практику «приуготовления» русских профессоров в Европе, Дмитрий Иванович в седьмой главе разворачивает перед читателями довольно неожиданный, но всесторонне обдуманный им проект училища наставников. Прежде всего он полагает, что это должно быть закрытое учебное заведение, принципиальным достоинствам которого (на примере родного института) он посвящает одну страницу за другой. Кроме преимуществ, которые Менделеев находил в подобном типе учебных заведений (в нашей книге о них уже говорилось довольно подробно), автор приводит еще один аргумент — необходимость защиты студентов от участия во внутренних беспорядках. К этому времени Менделеев уже твердо убежден, что студенческие волнения возникают *«под влияниями, совершенно чуждыми России и пришедшими из-за границы* ». И здесь, в своем проекте, он не упускает возможности подробно рассказать историю из своей профессорской практики, в ходе которой всплыл факт, что подстрекательские письма и средства для бунтарей поступают из-за границы даже не от русских эмигрантов, а от каких-то *«неизвестных, никогда не подписывающихся лиц»* . Но закрытость училища наставников — не единственное средство для сохранения идеологического целомудрия его питомцев. Расположение русского Гейдельберга должно быть уединенным: *«По отношению к месту, пригодному для обсуждаемого высшего учебного заведения и так удаленному от*

столиц, чтобы в нем могли слагаться самостоятельные русские силы, скажу только то, что, по моему мнению, его надобно искать вблизи географического центра России, т. е., мне кажется, где-то на правом берегу Волги, в том месте, где она вниз от Казани становится уже могучею рекой, на которой всегда суждено быть промышленно-торговому русскому движению вперед. Со своей стороны, я считал бы наиболее удобным избрать место на возвышенном берегу Волги, где-либо вблизи небольшого городка…» По своему обыкновению Менделеев прилагает к проекту все выкладки относительно устройства училища — от принципов формирования профессорско-преподавательского корпуса до расчета сумм, потребных для возведения и обустройства всех необходимых зданий, прокладки дорог, а также содержания студентов и педагогического персонала. Размышляя об источнике средств в пору войны, которую он уже именует «тяжкой» (шестая глава была закончена 16 июля, перед началом осады японцами Порт-Артура), и теперь явно сомневаясь в реальности контрибуции, Дмитрий Иванович без всякой воинственности пишет: *«Оно, пожалуй, даже и лучше — расти просто из нутра; будет хоть помедленней, но покрепче и здоровее. Способов-то хватит».*

В какой-то степени этот проект был рожден, конечно, тоской по юношеским годам и тому образу жизни, который открыл ему счастье научного познания. Но в более широком контексте можно предположить, что так проявились память русского культурного слоя о Царскосельском лицее (который был, как все знают, полностью закрытым учебным заведением) и мечта о лицее возрожденном, способном дать стране новых национальных гениев. Главное — укрыть детей, лучших из лучших, за надежными стенами и дать расцвести их талантам под опекой добрых и умных учителей. Кто-то мечтал (и мечтает!) таким образом спасти будущую Россию от нее самой; кто-то, как Менделеев, хотел спасти новых лицеистов от влияния дальних недругов, но все были согласны с тем, что стены лицея должны быть крепкими. Несмотря на всё своеобразие, проект Училища наставников найдет вполне реальную поддержку у Витте, нового министра народного просвещения И. И. Толстого и других сановников, не говоря уже о благожелательных отзывах прессы. В процессе обсуждения для организации училища даже будет предложен на выбор Нежинский лицей или любое другое учебное заведение, которое можно приспособить для реализации менделеевской идеи. Но ученый вскоре уйдет из жизни, и проект его вернется в область мечты, где он и поныне обитает вместе с Платоновской академией и Педагогической провинцией Гёте.

Восьмая глава «Промышленность» представляет собой глубинную апологию этого вида человеческой деятельности с экскурсами в историю, философию и естествознание. Здесь стиль Менделеева достигает подлинной афористичности — не только в смысле образности, но и в смысле неожиданности наблюдений, краткости и законченности формулировок. Всё это выглядит тем более удивительно, что афоризмы рождаются у Менделеева из, казалось бы, не располагавшего к этому текста:

> *«Промышленности нет ни у каких животных… хотя и животные собирают запасы, строят себе жилища, дороги… и обмениваются услугами»;*
>
> *«Производя свои товары для пользования других людей… промышленность принадлежит к тому разряду людских действий, который явно должен быть отличен от эгоистических и причислен к альтруистическим»;*
>
> *«Промышленность, подобно питанию… не может быть считаема или почитаема ни как добро, ни как новая форма зла»;*
>
> *«…она (* промышленность. *— М. Б.) имеет свои идеалы, состоящие в достижении всеми наибольшего удовлетворения всех потребностей при наименьшей затрате механической работы»;*
>
> *«…капиталы, а чрез них и промышленность, ими пользующаяся, представляют немаловажную историческую особенность жизни частных людей, а чрез них и общества, т. е. в них реально консервируется прошлое, обеспечивается настоящее и подготовляется развитие предстоящего»;*
>
> *«…капитал как труд есть дело людского развития, а не природное.*

Голландия богата, несмотря на свою бедность, Россия же, как Китай, бедна, несмотря на природные свои богатства».

Пожалуй, жанр этих высказываний сравнить не с чем. Все, чьи имена приходят на ум в этой ситуации, — Монтень, Лабрюйер, Ларошфуко, Лихтенберг — интересовались внутренним миром человека и парадоксами его мышления со свойственной им изысканностью. А Менделеев интересовался исключительно истиной со свойственным ему упрямством.

«Промышленность» была закончена 11 октября 1904 года, а ее девятая, завершающая глава «Желательное для блага России устройство правительства» написана после длительного перерыва — в конце сентября 1905-го. Этот год, принесший России сдачу Порт-Артура и расстрел японской береговой артиллерией остатков его эскадры, уничтожение Балтийской эскадры в Цусимском сражении, отступление русских войск в сражении при Мукдене и заключение Портсмутского мира, по условиям которого японцы не только забрали себе Ляодунский полуостров, но и южную часть Сахалина и Южно-Маньчжурскую железную дорогу, был пережит Менделеевым исключительно тяжело. Его терзали самые мрачные предчувствия, связанные не только с военным поражением, но и с европейским экономическим кризисом, смертельно опасным для России ввиду оттока иностранных капиталов. Банки один за одним до минимума сокращали выдачу кредитов, что приводило к закрытию мелких предприятий и массовым локаутам на крупных. Правительство, пассивно взиравшее на кризис промышленности, на глазах переставало быть единым органом: Министерство финансов продолжало разрабатывать либеральную программу, в рамках которой намеревалось покончить с крестьянской общиной и разрешить рабочие профсоюзы, а Министерство внутренних дел было озабочено укреплением той же общины и усилением полицейского надзора над заводскими рабочими.

Россия бурлила под тревожный вой зовущих к забастовкам заводских гудков и звон хрустальных бокалов, поднимаемых нервными руками интеллигенции. Начиная с ноября в стране открылся сезон банкетов, невиданных по количеству участников. Запрет на собрания исполнялся неукоснительно, но вот запретить банкеты и тосты не додумался ни известный своей жесткостью В. К. Плеве, убитый террористами в июле, ни, тем более, занявший после него пост министра внутренних дел вполне лояльный к просьбам общественности П. Д. Свято-полк-Мирский. К тому же банкеты 1904 года были посвящены сорокалетию судебных уставов, дарованных народу Александром II. На банкетах принимались пламенные резолюции, и о них подробно писали газеты. Таким образом, либеральная интеллигенция все-таки находила возможность высказать свое отношение к власти и ситуации в стране. Союзы литераторов, академиков, адвокатов, инженеров и представителей прочих свободных профессий вслед за участниками рабочих сходок подавали свой громкий голос за введение конституции и созыв Учредительного собрания. Общее число участников банкетов-митингов за год составило 50 тысяч человек. На одном только петербургском банкете под председательством В. Г. Короленко присутствовало 650 человек.

Дмитрий Иванович смотрел на эти события со стороны. Возможно, он понимал, что за рабочими и за либералами стоит один и тот же «Союз освобождения». Не исключено, что банкеты и тосты чем-то напоминали ему застольные речи покойного В. А. Кокорева после Крымской кампании. Он конечно же чувствовал необходимость перемен в русском обществе, но ни конституцию, ни Учредительное собрание не считал главными инструментами улучшения народной жизни. Дмитрий Иванович был намерен продолжать начатые труды и привычный образ жизни, тем более что понимал, что его годы подходят к концу. В середине августа он отправляется сначала лечить тромб на французский курорт Эксле-Бен, а оттуда в любимую Италию. «*Ездил проститься* ».

В ряду переживаний, омрачивших последние годы жизни Менделеева, не последнее место занимает история номинирования его на Нобелевскую премию. Он представлялся на

нее в трижды — в 1905, 1906 и 1907 годах, причем ни разу не был выдвинут русскими номинаторами (учеными, имеющими право выбора кандидатов). Со времени последних выборов Дмитрия Ивановича в Академию наук отношение к нему в стенах этого учреждения лучше не стало: верхушка академической корпорации по-прежнему не признавала его заслуг и терпеть не могла его характера. Но дело было, конечно, не только в академическом начальстве, поскольку оно не могло запретить абсолютно всем российским номинаторам поступать согласно своей научной совести. Возможно, все они были «обезоружены» объективной на первый взгляд причиной, долгое время исключавшей Менделеева из списка претендентов. Дело в том, что по завещанию Альфреда Нобеля премия должна была вручаться тем, «кто за предшествующий год внес наибольший вклад в прогресс человечества». А самое важное открытие Менделеева — Периодический закон — было сделано еще в 1869 году. Три года (первое вручение Нобелевских премий состоялось в 1901-м) вопрос был, что называется, закрыт. Странно, однако, что коллеги-соотечественники остались инертными и после того, как в уставе Нобелевского фонда обнаружилась возможность выдвижения Менделеева, не говоря уже о том, что они могли бы самостоятельно найти эту, едва скрытую, возможность для номинации.

В 1904 году два англичанина, каждый в своей области, удостоились нобелевских наград: физик Джон Уильям Стретт, лорд Рэлей — «за исследование плотностей наиболее распространенных газов и за открытие аргона в ходе этих исследований», химик Уильям Рамзай — «в знак признания открытия им в атмосфере различных инертных газов и определения их места в Периодической системе». Поначалу появление нового, «неожиданного» семейства элементов было воспринято как опровержение менделеевского закона, но после тщательной проверки названные ученые не только нашли в его таблице место для открытых элементов, но и предсказали на ее основе свойства их еще неизвестных «родственников». Вместо краха великое открытие Менделеева пережило еще один триумф. Трое видных европейских естествоиспытателей — нидерландец Якоб Вант-Гофф, немец Оскар Хертвиг и швед Свен Отто Петтерсон (что немаловажно, председатель Нобелевского комитета по химии) — обратили внимание научной общественности на второй параграф устава Нобелевского фонда, в котором констатировалось, что предметом для рассмотрения могут стать и более ранние работы, если их значимость нашла подтверждение в новых открытиях. Эти ученые немедленно выступили номинаторами Д. И. Менделеева на Нобелевскую премию по химии за 1905 год. Отто Петтерсон писал о русском коллеге: «Новые открытия радиоактивных веществ позволяют ожидать еще большего расширения его системы. Но тогда, вероятно, его уже не будет в живых. Полагаю за долг современных химиков, пока есть время и прекрасный повод, воспользоваться случаем, который, возможно, больше не представится, и оказать честь автору самой глубокой и плодотворной научной идеи».

Нобелевский комитет включил Менделеева в так называемый короткий список претендентов вместе с мюнхенским органиком Адольфом фон Байером, автором новаторских работ по органической химии, и парижским профессором Анри Муассаном, основоположником электрометаллургии и первооткрывателем фтора и его соединений (среди его номинаторов был и российский ученый, специалист по химической кинетике Н. А. Меншуткин, ученик Дмитрия Ивановича). А дальше продолжилась та цепь несовпадений с вроде бы неизбежными событиями, которая преследовала Дмитрия Ивановича всю жизнь. Нобелевский комитет после драматичного обсуждения сосредоточил внимание на кандидатурах Байера и Менделеева и, в конце концов, отметив, что открытие Менделеева по своему вкладу в мировую науку значительно превосходит достижения Байера, отдал премию… Байеру. Решающим доводом оказалось то обстоятельство, что немецкий ученый уже пять лет подряд входил в короткий список номинантов, а Менделеев попал в него впервые. По всему можно было считать, что награждение русского ученого просто откладывается до следующего года. В 1906-м к прежним номинаторам Дмитрия Ивановича добавился авторитетный немецкий физикохимик Роберт Лютер, а в список претендентов

вместе с ним и Муассаном вошли немец Вальтер Нернст, автор тепловой теоремы (ее также называют третьим началом термодинамики), и француз Виктор Гриньяр, создатель метода синтезирования многих классов органических соединений. В этот раз четверо из пяти членов Нобелевского комитета по химии проголосовали за кандидатуру «бывшего профессора Санкт-Петербургского университета доктора Дмитрия Менделеева». Но Шведская королевская академия наук отказалась принять решение Нобелевского комитета и присудила премию Муассану. Как утверждает часть исследователей, не обошлось без энергичного давления на коллег шведского академика Сванте Августа Аррениуса, прославившегося созданием теории электролитической диссоциации — той самой, которую Менделеев яростно отрицал. Но, скорее всего, шведские академики просто испугались прецедента, который открыл бы дорогу к премии авторам давно сделанных открытий. Наконец, в 1907 году комитет уже склонялся к мысли разделить премию по химии между Менделеевым и французом Пьером Вертело; но в разгар обсуждения Дмитрий Иванович умер, а Нобелевская премия присуждается только живым…

Девятого января 1905 года по городу с утра пошли невнятные, но тревожные слухи. Менделеев, уже давно никуда не ездивший, в 12 часов дня, несмотря на уговоры семьи и сотрудников, сел в наемную карету (Михайла Тропников занял место рядом с кучером) и отправился к Витте, который накануне прислал ему записку с просьбой прибыть к нему домой на Васильевостровский проспект в два часа дня. Едва он отъехал, как стало известно о случившемся на Дворцовой площади. Улица возле Главной палаты скоро оказалась заполнена народом, войсками и казаками. Протиснуться дальше ворот было невозможно, к тому же ходьба по мостовой была запрещена. Домашние Менделеева выглядывали за ограду, ждали, что увидят возвращающегося Дмитрия Ивановича. Тот вернулся через пять-шесть часов в крайне расстроенном и раздраженном состоянии. Ни с кем не разговаривая, прошел в свой кабинет, снял со стены портрет министра финансов, поставил его лицом к стене и громко сказал: «Никогда не напоминайте мне о Витте!» Между тем Младенцев расспрашивал о случившемся Тропникова. Тот рассказал: «Доехали мы до Троицкого моста. Дальше нас не пустили. Дмитрий Иванович вышел из кареты и пешком дошел до дома Витте. Обратно также. Сел в карету и по набережной — к Николаевскому мосту, через него и к Горному институту — к Д. П. Коновалову. Обратно через Николаевский мост не пустили. Поехали через Неву по льду к Балтийскому заводу, где благодаря знакомству были пропущены на Рижский проспект и в Палату».

Что за разговор состоялся между Витте и Менделеевым в день, именуемый в советских календарях Кровавым воскресеньем, так и осталось неизвестным. Рассорились они не навсегда. Менделеев еще пойдет на торжественную встречу Сергея Юльевича после подписания Портсмутского мира — Витте будут чествовать за твердость в защите российских интересов. Они будут обсуждать еще много важных вопросов, включая проект Училища наставников, который Витте поддержит. Но портрет бывшего министра финансов (вскоре ставшего премьером) уже не вернется на стену менделеевского кабинета.

Через полторы недели Анна Ивановна, активно сотрудничавшая в благотворительном кружке, на четыре месяца уедет в Верхнеудинск работать в «питательном пункте» для солдат.

Менделеев вначале категорически запретил ей покидать дом, но потом смирился и отпустил *«не далее Иркутска* ». Дети были уже взрослыми и, казалось, могли сами о себе позаботиться. Но время было опасное, и беда таилась в любой подворотне. Студенческий мундир мог стать причиной ареста или нападения уличных погромщиков. Проезжий казак мог отстегать встречного студента нагайкой. Поэтому сына Ивана переодели в штатский костюм. Сам Дмитрий Иванович был оставлен на попечении прислуги Екатерины Комиссаровой и конечно же Михайлы Тропникова, уже женившегося, но отдававшего всё свое время старому хозяину.

Менделеев всё более прихварывал и всё чаще укладывался среди дня на свой диванчик.

Иногда он и доклады подчиненных выслушивал лежа. Домашние и сослуживцы замечали, что, передвигаясь по кабинету, он то и дело вытягивал руку, чтобы опереться о стену. Но работал по-прежнему очень много: писал статьи, вел переписку, разбирался с корректурами, неустанно хлопотал об открытии новых поверочных палаток, высказывал экспертное мнение по самым неожиданным вопросам — например, по поводу обеспечения портов и торговых судов на северо-западе страны русским углем вместо иностранного.

В это же время Менделеев загорелся определением ускорения силы тяжести с помощью длинных маятников. Известный механик А. Рупрехт изготовил по его заказу стальные призмы, опорные подставки и проволоку из магниево-алюминиевого сплава. На Сормовском и Кыштымском заводах Дмитрий Иванович заказал чугунные шары и вплотную подступился к Министерству финансов с требованием изготовить также нужный ему для опытов шар из золота. Сам составил программу опытов и подключил к «*свежему делу* » почти всех сотрудников Палаты. Он по-прежнему мог увлечься работой так, что забывал о своих хворях. Врачей, как и прежде, Менделеев к себе близко не подпускал, делая исключение для одного лишь доктора А. П. Покровского, которого уважал за внушительную комплекцию (Александр Павлович весил 11 пудов) и изумительную, обезоруживающую обходительность. М. Н. Младенцев оставил описание одного из визитов Покровского в кабинет Менделеева: ««*А, это вы* , — скажет ему Дмитрий Иванович, — садитесь». Покровский опустится в кресло… «Как ваше здоровье, Дмитрий Иванович?» — «*Да ничего, ноги что-то ломит* ». — «Прослушал бы я вас, да не хочется беспокоить». — *«Какое же беспокойство? Он подождет* », — указывая на меня, скажет Дмитрий Иванович. Доктор выслушает его тут же сидящего за столом. «Ноги смотреть не буду. Вам это затруднительно…» — «*Нет, нет, я сейчас, нет. Это мне не трудно* ». — И снимает Дмитрий Иванович сапоги…»

В конце лета, закончив предисловие к восьмому изданию «Основ химии», Менделеев вновь на полтора месяца едет в Европу: Австрию, Францию и Германию, где его догоняют поздравительные телеграммы в связи с пятидесятилетием научной деятельности. Осенью, завершив издание «Заветных мыслей», он отправляется в Англию на церемонию вручения ему медали Копли, присужденной Королевским обществом в Лондоне. Во время этого красочного акта его сопровождают дочь Мария и Ф. И. Блюмбах. На торжественном обеде Менделеев произнес благодарственную речь в своей манере — выспренно и оригинально. Британцы, как всегда, горячо приветствовали своего русского любимца. Лондонская «График», сообщая о награждении Менделеева, написала: «Он химик, геолог, философ и одновременно просветитель».

Нужно сказать, что британские коллеги, высоко ценя Дмитрия Ивановича, отлично понимали все тонкости его положения в России. Недаром в прошлом, 1904 году, послав ему поздравление с семидесятилетием на адрес Санкт-Петербургской академии наук для торжественной передачи юбиляру, английские коллеги из Королевского общества заранее предупредили об этом Менделеева и даже прислали ему копию поздравления — и как в воду глядели: пришедший приветствовать юбиляра от себя лично его университетский коллега, профессор и вице-президент Академии наук Н. В. Никитин ничего не знал об адресе *Royal Society* . Пришлось ему читать поздравление, глядя в копию, которую вынесла супруга Дмитрия Ивановича.

Последняя глава «Заветных мыслей» писалась уже в новой стране, после массового разочарования в пустом и крючкотворном манифесте 6 августа об учреждении Государственной думы и накануне восторга 17 октября, вызванного царским манифестом «Об усовершенствовании государственного порядка». Власть все-таки не устоит перед дружным совместным натиском рабочих, либералов и террористов. Она еще будет держаться, когда встанут железные дороги и типографии, но когда забастуют коммунальные службы, лишив богатые дома обеих столиц воды, электричества и канализации, согласится на дарование народу «незыблемых основ гражданской свободы на началах действительной

неприкосновенности личное* ти, свободы совести, слова, собраний и союзов». К выборам в уже не карикатурную, а вполне дееспособную Государственную думу будут допущены даже «те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив за сим дальнейшее развитие начала общего избирательного права вновь установленному законодательному порядку». Просвещенная Россия в этот день выйдет на улицы как в великий праздник — с просветленными лицами, красными бантами и флагами. Темная и дикая Россия в тот же день выйдет с дубинами и кастетами, чтобы отметить его кровопролитными еврейскими погромами в десятках городов.

Дмитрий Иванович приступал к самой злободневной главе «Заветных мыслей» под звуки призывов к всеобщей стачке, которая уже представлялась чем-то неизбежным, как и выполнение ее требований. Основные наброски к статье были сделаны Менделеевым еще в 1903 году, и автор не собирался менять общего содержания статьи, но, вполне естественно, не мог не поделиться с читателями новыми мыслями, родившимися под влиянием событий. Поэтому глава часто возвращает нас к многим ранее освещенным темам. Что-что, а «дочерпывать» (слово Ю. В. Трифонова) Менделеев, не терпящий не-высказанности и недосказанности, умел как никто. Вставляя в старые наброски фрагмент, касающийся формирования Думы (он еще не знает, что ее статус будет резко поднят), Дмитрий Иванович обращает внимание читателей на то, как важно, что *«к голосу непременно свой народ любящего царя теперь прибавятся голоса непременно любящих страну народных избранников, потому что нелюбящих нет прямых поводов избирать. Только любящие отнесутся мягко к существующим недостаткам, только они найдут выход из тога, что страху и совести покажется безысходным, только с ними будет народный разум…».* Он настаивает на том, что депутаты должны обязательно иметь детей. Менделеев считает, что русское законодательство не может в настоящее время быть сугубо теоретическим: «Теория, партии, системы, бесспорно, тут необходимы, они и будут непременно, но без такта и любви действительной ничего тут не поделаешь». И этот фрагмент о любви и терпении, положенных в основу действия законов, не то чтобы изменяет суть дальнейшего текста, написанного автором ранее, а скорее высвечивает то, что могло бы пройти незамеченным.

Менделеев остается верен раз и навсегда принятым правилам (то есть отсутствию всяких правил) изложения текста и в той же привычной манере поверяет его собственным «практическим» и «умозрительным» взором. Глава по-прежнему насыщена конкретными предложениями: разграничить три ветви власти, ввести пост канцлера, создать при правительстве статистический комитет… Дмитрий Иванович пишет, что стоит правительству открыться веяниям реальной жизни, как она сама подскажет решение самых сложных проблем. Он даже подсказывает невиданный для России диапазон политических перемен: *«…от застращивания и репрессий к снисходительности и содействию, от классицизма — к реализму…от системы золотой валюты к кредитной, от юдофобства к юдофильству и т. п.».* Но главной дорогой к «благу народному» оказывается именно дорога любви, добра, нравственной полноценности правителей.

Читая девятую главу, которая, как никакая другая, проникнута духом менделеевского постепенства, можно догадаться, почему Дмитрий Иванович так выделял Н. В. Гоголя из всех русских писателей. Дело не в том, что оба они были монархистами, а в том, что они любили свой народ таким, какой он есть, и в отличие от левых и правых, обуреваемых желанием исправить положение народа за счет самого народа, знали, ощущали совсем другую, очевидную возможность сделать народ счастливее. Гоголь писал (из неотправленного письма В. Г. Белинскому. Остенде, 1847): «Будем отправлять по совести свое ремесло. Тогда всё будет хорошо, и состоянье общества поправится само собою. В этом много значит Государь. Ему дана должность, которая важна и превыше всех. С Государя у нас все берут пример. Стоит только ему, не коверкая ничего, править хорошо, так и всё пойдет само собою. Почему знать, может быть, придет ему мысль жить в остальное время от дел скромно, в уединении вдали от развращающего двора, от всего этого накопленья. И всё обернется само собою просто. Сумасшедшую жизнь захотят бросить. Владельцы разъедутся

по поместьям, станут заниматься делом. Чиновники увидят, что не нужно жить богато, перестанут красть. А честолюбец, увидя, что важные места не награждают ни деньгами, ни богатым жалованьем, оставит службу». Именно об этом через 60 лет пишет Менделеев: «*Всё дело, по существу, сводится к подбору должных людей, администрацию составляющих, к выработке законов, определяющих круг действия исполнителей, и к тому общему и всепроникающему, что называется нравами и определяется нравственностью…»* Впрочем, в отличие от Гоголя Менделеев, видимо, лучше знающий государственное делопроизводство, настаивает также на полном (от самого верха до низших ступеней) отделении судебной власти от администрации и на беспрепятственной возможности обжаловать в суде действия чиновников всех уровней. Действительно, так оно надежнее.

Закончить «Заветные мысли» Д. И. Менделеев планировал главой «Мировоззрение», которая должна была объяснить читателю, как были выработаны принципы и взгляды автора на всю совокупность поднятых в книге проблем. Глава была написана, но вставлять ее в книгу Менделеев раздумал: *«Написал, но не печатаю, потому что изложение показалось мне недостаточно полным, требующим многих выяснений, местами впадающим в критику и отчасти раскрывающим то, что лучше оставлять про себя».* В некоторых современных изданиях «Заветных мыслей» эта глава помещается в виде отдельного приложения, и желающие могут предпринять попытку обнаружить в ней то, что автор желал бы «оставить про себя»: возможно, критику научно-философского скептицизма, неожиданно завершенную признанием «*громадности массы совершенно неизвестного* », или фразу *«Надо уметь написать о том, как, ища свободы, действуют против свободы»* — теперь об этом можно только гадать.

В то же время статья совершенно обходила вопрос о смерти, который занимал Менделеева с молодых лет. Он не боялся размышлять о том, о чем большинство людей старается не думать, поскольку их страшит даже самое туманное представление о роковом мгновении, не говоря уже о попытках заглянуть «за черту». О том, в каком направлении двигались его мысли, можно узнать из воспоминаний родственника и бывшего студента Дмитрия Ивановича И. Д. Кузнецова. Они встретились на Волковом кладбище на похоронах сестры Менделеева Екатерины Ивановны Капустиной. Дело было поздней осенью, с голых ветвей падали тяжелые капли воды, с неба сыпал тяжелый мокрый снег. Дмитрий Иванович не пошел на литургию, он стоял рядом с церковью в тяжелой меховой шубе с папироской в руке. Разговор сначала не клеился, потом Менделеев пригласил родственника к расположенной рядом могиле сына. И здесь старый ученый дал волю своему неутолимому отцовскому страданию. Он говорил о том, какой здоровый организм был у Владимира, ругал врачей… Потом он замолк. И вдруг, как это часто бывало на его лекциях, Дмитрий Иванович бодрым и свежим голосом заговорил на тему вечной жизни. Он рассказал о письме, которое получил от одного незнакомого американца. Тот писал, что он очень уважает его за ученые заслуги, и делился своим горем: у него недавно умер самый близкий друг, и теперь он думает о том, сможет ли встретиться с ним в загробной жизни. *«Письмо было так искренне, что я не мог не ответить… Я писал так: «Воспитанный в духе православия, я хорошо знаю, что говорит христианская церковь о загробном существовании. Но Вам я отвечу не так, как меня учили, скажу свое откровенное мнение по этому предмету. Все явления, в окружающем нас мире, можно отнести к одной из следующих трех категорий: явления соотношений материи, энергии или силы — и духа. Сколько ни пытались подвести явления последней категории к явлениям хорошо известных нам соотношений материи и силы, это не удавалось; а потому мы должны выделить особо явления духовные. Все позитивные науки, в области которых я вращался в течение всей своей сознательной жизни, убеждают меня — твердо и непоколебимо — в том, что ни материя, ни силы не пропадают; они вечны, хотя и подвержены постоянным изменениям. Основываясь на простой аналогии, мы необходимо должны признать, что и явления духа так же вечны. Вот мое откровенное мнение по вашему вопросу… судить о том, встретитесь ли Вы с Вашим другом за гробом, я*

не берусь; предоставляю решение этого вопроса вашему усмотрению»» . В дальнейшем разговоре Дмитрий Иванович критиковал христианство за понятие об индивидуальном бессмертии — объяснял его «*самообольщением классицизма* »; рассказывал о своих беседах с английским епископом в Кембридже и с выдающимися русскими священниками, которые говорили, что христианство должно подвергаться эволюции и в этом смысле нельзя идти на поводу у *«мало просвещенных духовных лиц* ». Кузнецов хорошо запомнил эту лекцию среди могил, особо отметив фразу, многократно повторенную Менделеевым: «*О, если бы кому-нибудь удалось, хотя отчасти, выяснить связь и соотношение между явлениями материи и духа! Тогда бы мы всё поняли и всё познали!»*

Одна из последних семейных радостей Дмитрия Ивановича была связана с приездом в Петербург Лели с его единственной внучкой Наташей. После смерти Алексея Владимировича Трирогова его вдова и дочь некоторое время жили в Пензе, не отъезжая далеко от родового гнезда в Аряше, где рядом с зятем была похоронена и Феозва Никитична. Затем было решено перебраться на постоянное жительство в Москву — Ольга Дмитриевна хотела доучить дочь в хорошей гимназии. Весной 1906 года мать и дочь отправились в Белокаменную и Наташа успешно сдала вступительные экзамены. Теперь они были свободны до осени — могли заехать в гости к дедушке, а оставшееся время провести в аряшском имении.

Анна Ивановна с детьми уже переехала в Боблово, поэтому гости явились прямо в отцовскую квартиру в Главной палате мер и весов. Менделеев был настолько обрадован, что, казалось, не знал, как их обласкать. Наташа, крупная девочка-подросток, воспринимала Дмитрия Ивановича исключительно как доброго дедушку, а он, разнеженный и расчувствовавшийся, позволял ей абсолютно всё, даже врываться к нему в кабинет во время работы. Он называл внучку «моя единая» и баловал чем только мог. Михайле и Катерине было приказано беспрекословно выполнять все желания и распоряжения дорогих гостей, да они бы и сами ни в чем им не отказали, видя, как расцвел их старый хозяин. Михайла то и дело мчался в фруктовый магазин на углу 1-й роты, а старая служанка Катя, которая в свое время, после свадьбы Ольги, собиралась переехать жить к молодым, но осталась, потому что никто лучше нее не смог бы ухаживать за Дмитрием Ивановичем, с радостью стряпала всякие вкусные вещи, которые Леля любила в молодости. Потом радость сменилась беспокойными хлопотами, потому что Наташа вдруг заболела корью. Лечить ее дедушка позвал профессора Быстрова, а ежедневно смотреть за больной девочкой пригласили девушку-эстонку из Красного Креста. Эта здоровая и жизнерадостная сиделка, неукоснительно выполнявшая распоряжения доктора, очень понравилась Дмитрию Ивановичу, и он даже сказал, что пригласит ее, если захворает.

Когда внучка пошла на поправку, Менделеев отправился отдыхать в свои любимые Канны. В середине мая Наташа выздоровела, но в Аряш Трироговым выехать не удалось — там случились аграрные волнения. Профессор Быстров посоветовал оздоровить девочку где-нибудь в окрестностях Висбадена, и они поехали в городок Швальбах, где горный воздух и соленые газированные ванны быстро вернули девочке былую веселость. В Швальбах к ним неожиданно приехал повидаться Дмитрий Иванович, не успевший насмотреться на дочь и внучку. Выглядел он хорошо и производил впечатление отдохнувшего, набравшегося сил человека. «Когда мы с отцом стали появляться в общей столовой, за табльдотом, — пишет Ольга Дмитриевна, — то меня поражало то полнейшее равнодушие, с каким Дмитрий Иванович входил туда, никого не видя и не замечая, тогда как взоры любопытных путешественников устремлялись на его необычную наружность, так не подходившую под общий уровень. И эта его своеобразность, полное равнодушие к окружающему, щедрые чаевые и уменье заказать кушанье с легким вином делали его настолько интересным для окружающих, что все старались удовлетворить свое любопытство, а хозяин отеля старался особенно угодить ему».

Ощущение здоровья, исходившее, по словам дочери, от Дмитрия Ивановича, оказалось

обманчивым. Он снова расхворался, как только вернулся в сырой Петербург. В сентябре, когда Трироговы уже обосновались в Москве, он опять едет в Канны, откуда посылает им несколько писем. Особенно Менделеев скучает по внучке. «*У меня тут девочка есть твоих лет, и тебя напоминает, — пишет он Наташе, — тоже вертунья, на тебя похожа, шоколадом ее потчую, тебя вспоминаю. А для перчаток лучше мерочку (из полоски бумажной) пришли, а то здесь другие нумера, как мне сказали в магазине. Высылай скорей. Мерить надо кругом ладони поверх большого пальца. Здесь гуляю много, солнышко тепло. Хожу по воскресеньям в русскую церковь, очень хорошо поют и родное видеть кругом очень приятно. Вообще, поправляюсь здоровьем и работаю (пишу еще книжку или статью). Ложусь и встаю рано… Храни вас Бог. Благословляю и обнимаю. Пишите. Ваш Д. Менделеев».*

Книга, о которой Дмитрий Иванович упоминает, — скорее всего, «К познанию России». Он считал это произведение «в сущности» новой главой «Заветных мыслей», но оно было отмечено собственной географической спецификой. Работа была осуществлена по результатам Всероссийской переписи 1897 года, которые были обнародованы в 1905-м. Менделеев, полагающий, что *«всегда и в каждом деле для сознательности совершаемых в нем действий преполезно подсчитаться»,* и вообще любящий подсчеты как род занятий, берется за дело, которое сулит ему интереснейшие и важнейшие выводы. Основное место в книге отведено проблемам народонаселения. Виртуозно обработав статистические таблицы переписи, он не только подробно анализирует национальный состав населения России, но и распределение различных групп по видам занятий, что давало возможность оценить экономическую ситуацию в стране в новом объективном ракурсе. А с учетом того, что Менделеев, по своему обыкновению, увязывал чуть ли не каждую цифру с волнующими его вопросами обороны, образования, торговли, внутри- и межнациональных отношений, а также с развитием земледелия и различных видов промышленности, книга получилась не только научной, но и публицистической. Сделав массу выводов о видах занятости, об уровне использования людских ресурсов в России и сопоставив ситуацию с Северо-Американскими Штатами, ученый формулирует главное заключение: *«…мы, русские, трудимся еще очень мало и трудимся на поприщах, которые давно уже переросли. Понять это пора, хотя из-за леса образованность наша дерев-то и не видит».*

Второй раздел «К познанию России» посвящен вопросу о центре России. Менделеева интересовали два центра страны — поверхности и населенности. Пользуясь собственными формулами, Дмитрий Иванович определяет центр поверхности империи в районе между Обью и Енисеем, южнее Туруханска, в непосредственной близости к полярному кругу. Центр населенности по итогам переписи оказался в Тамбовской губернии, к северо-востоку от Козлова и на запад от Моршанска. Как видим, расположение центра населенности (в книге «Заветные мысли» Дмитрий Иванович называет его «географическим») сместилось. В какой-то степени это можно объяснить тем обстоятельством, что Менделеев до опубликования материалов переписи пользовался другими, более ранними данными.

В третьем разделе ученый предлагает свою проекцию карты России и собственный вариант районирования страны, в основе которого лежит идея равномерного промышленного и культурного евро-азиатского пространства. Новая книга Менделеева выдержит в 1906 году четыре издания, а ее автор тут же приступит к еще более масштабной работе — анализу структуры народонаселения в шести крупнейших странах мира (первая часть) и во всех частях света (вторая часть), которую чуть-чуть не успеет закончить. «Дополнения к «Познанию России»» будут изданы Иваном Дмитриевичем уже после смерти отца, который сжимал в пальцах перо чуть ли не до последнего дыхания. В рукопись «Дополнений» Дмитрий Иванович Менделеев, отчеркнув всё ранее изложенное, успел записать последние слова: *«В заключение считаю необходимым, хоть в самых общих чертах высказать…»*

В начале 1907 года он чувствовал себя особенно скверно — испытывал частые

приступы слабости и кашля, мерз, был угрюм и раздражителен. Окружающих тревожило, что длительное летнее лечение не дало, по сути, никакого результата, в то время как раньше для поправки здоровья хватало зимних Канн и летнего Боблова. Иногда Дмитрий Иванович будто бы покидал ведущиеся при нем разговоры — замолкал и только смотрел куда-то в сторону безучастным взглядом. Приехавшая на зимние праздники дочь Люба отметила на его лице «странную печать». Это ее очень расстроило, но вслух она ничего не сказала. Его письма были по-прежнему энергичны, но почерк выдавал, что писаны они дрожащей рукой. В конце лета, еще вполне бодро себя чувствуя, Менделеев стал разбираться в книгах и бумагах, а также «денежные дела привел в порядок, как к смерти». Но ведь он и раньше, бывало, затевал «подготовку» к смерти. И плохое самочувствие сопровождало его уже не первый год, однако его удивительная психика каждый раз приноравливалась к изменениям в организме, как-то компенсировала растущую потерю сил, поэтому окружавшие Менделеева родственники и сотрудники имели основания надеяться, что и на этот раз всё обойдется. Возможно, так бы и случилось, если бы не один, в общем-то, обычный эпизод палатской жизни.

Одиннадцатого января Главную палату мер и весов посетил министр нового Министерства промышленности и торговли Д. А. Философов. После отставки в 1903 году С. Ю. Витте и В. И. Ковалевского уровень взаимопонимания между управляющим Палатой и начальством резко изменился. Его, конечно, продолжали ценить и даже побаивались, но меняющиеся друг за другом начальники чаще всего просто его не понимали. И он тоже их не жаловал, наделяя тотчас приобретавшими известность характеристиками: В. И. Тимирязев — *«этот всё обещает — хитрая лисица* », В. Н. Коковцов — «*ох, не люблю аристократов* ». Был еще Э. Д. Плеске, но этот усидел на посту такое малое время, что даже не успел заработать от Дмитрия Ивановича соответствующий ярлык. Счастливым исключением в этом ряду был сподвижник Витте М. М. Федоров, который обожал Дмитрия Ивановича и которого Менделеев очень любил; но он тоже пробыл на посту недолго — сам, по внутреннему убеждению, ушел в отставку. Д. А. Философов также относился к Менделееву с глубоким почтением. Когда управляющий Палатой ходил представляться новому министру, случилось непредвиденное происшествие, сломавшее всю церемонию. Философов сам поспешил ему навстречу со словами: «Позвольте вам, Дмитрий Иванович, представиться — ваш ученик…» Стало быть, никакой угрозы делу и положению Менделеева этот визит не представлял, но он ничего не мог с собой поделать, поскольку всякое посещение Палаты высокими особами заставляло его нервничать и даже суетиться. После визита Философов буквально умолял Менделеева не провожать его дальше крыльца, но Дмитрий Иванович, увы, не послушался ни гостя, ни сотрудников.

Вообще Менделеев весьма противоречиво оценивал опасность простуды. То он старался оградить себя от любого сквозняка и свежего ветерка (от внучки, например, требовал, чтобы она на улице не открывала рта), то шел гулять в погоду, которую иначе как жуткой не назовешь. Младенцев вспоминает, как днем накануне наступления нового, 1906 года на Петербург обрушилась такая непогода, что палатские барометры просто посходили с ума. Ураган, сопровождавшийся невероятным снегопадом, набрал такую силу, что на воздух поднялась не только вывеска Главной палаты мер и весов, но тяжелые листы железа с крыши. Дмитрия Ивановича, который мог всего этого просто не заметить, специально предупредили: вам сегодня выходить нельзя. Но он все равно, несмотря ни на что, отправился в тот день на свою обычную прогулку.

Сначала казалось, что заработанная им простуда не опасна и дело обойдется обычным средством — валенками и камином, но через пару дней Менделеев почувствовал себя плохо. Доктор Покровский определил сухой плеврит и потребовал немедленно уложить больного в постель, однако оторвать Дмитрия Ивановича от работы удалось только через несколько часов. Он еще сидел за столом, когда его пришла навестить последняя оставшаяся в живых родная сестра Мария Ивановна Попова.

«Я вошла к нему, он сидит у себя в кабинете бледный, страшный. Перо в руке.

— Ну, что, Митинька, хвораешь? Лег бы ты.

— *Ничего, ничего… Кури, Машенька* , — он протянул папиросы.

— Боюсь я курить у тебя, вредно тебе.

— *Я и сам покурю* , — и закурил. А перо в руке…»

В понедельник, 15 декабря, поздно вечером приехал профессор Яновский, обнаруживший у больного крупозное воспаление легких. Менделеев уже не мог сам переворачиваться с боку на бок. Пригласили фельдшера, но тот не сумел ему угодить. У Михаилы получалось лучше. «*Михайлушка, будешь ходить за мной?»* — «Ну как же, Дмитрий Иванович, десять лет ухаживал, да не буду? Конечно, буду».

К пятнице, 19-го числа, Менделеев почти провалился в забытье, избавлявшее его от страданий. Он тяжело дышал, иногда бредил: «Ваня*, собери приборы… Начерти — понимаешь…»* Сиделка подсказала сыну, чтобы он отвечал утвердительно. Казалось, что отца это успокаивает. Приходя в себя, больной просил, чтобы ему читали вслух «Путешествие к Северному полюсу» Жюля Верна: «*Что же вы не читаете, я слушаю* ». Часов в одиннадцать вечера он попросил Михаилу подать гребенку и сам причесался. Велел положить гребенку на столик, «а то потом не найдешь». Попросил Михаилу еще о чем-то, но слуга помедлил, боясь ему навредить. «*Михайла, ты, кажется, собираешься меня не слушаться?* » В час ночи выпил немного молока. «*Больше пить не буду* ».

Около полуночи Менделеев отправил слуг и остался с сестрой милосердия — той самой эстонкой, которая сидела с его больной внучкой. Жена, по всей видимости, в последние дни у его постели не присутствовала — по крайней мере, никаких подробностей этого времени в ее воспоминаниях нет. «Дальше я не могу ничего связно припомнить, — пишет Анна Ивановна. — Пусть расскажет Н. Я. Капустина». Племянницы, Надежды Капустиной, тоже не было рядом — ей не сообщили о тяжелом состоянии Менделеева, что стало причиной ее горькой обиды. Позднее именно она, приехав после смерти дяди, внимательно опросила слуг и восстановила картину той ночи. В момент кончины не было рядом ни Любы, ни Ивана, ни Маши, ни Василия. Последний, вместе с Младенцевым и Блюмбахом, находился в среднеазиатской экспедиции, снаряженной Главной палатой для наблюдения за солнечным затмением, а попутно для ревизии мер и весов, применяемых в Туркестанском крае.

Когда Менделеев уходил, все в доме, включая сиделку, спали. Но он был не один. Вместе с братьями, накрытый кошмой, он мчался через морозную метель в гости к родне за шестьсот сибирских верст. Бросался с друзьями в гущу спелой княженики. В обнимку с Бородиным путешествовал по солнечной Италии — они тогда выдавали себя за странствующих налегке художников, поэтому не имели при себе никаких вещей, кроме крохотных саквояжей, а рубашки, чтобы не стирать, отдавали «на чай» официантам…

«Тревожно спал в эту ночь Петербург, — написала наутро одна из столичных газет, — умирал Менделеев». Пока тело готовили к погребению, вдова с детьми сидела в своей комнате. К ним неожиданно постучал профессор Бехтерев и спросил разрешения взять мозг Дмитрия Ивановича. В ответ семья разразилась истерикой. Владимир Иванович подождал, пока буря утихнет, и попросил хотя бы сделать фотографии. Ему разрешили. Он пошел и все-таки увез мозг Менделеева в свою лабораторию. Через год его коллега профессор Вейнберг сделает доклад о результатах исследования и, в частности, скажет: «Если бы вы вошли в комнату, где собраны мозги людей, выделявшихся своей умственной деятельностью, вам бросился бы в глаза мозг Менделеева, если можно так выразиться, красотой формы, интенсивностью извилин». Но, как известно, исследования мозга после смерти дают весьма ограниченные возможности для раскрытия его тайн. Живой мозг подчинен центральной нервной системе, которая по-разному реагирует на окружающую жизнь и потому по-разному дирижирует работой различных его участков. Сегодняшняя

наука о мозге уверена лишь в том, что его деятельность надо изучать при жизни.

«Когда я приехала, — пишет Надежда Капустина, — Дмитрий Иванович лежал уже в зале, величавый и спокойный, со сложенными крестом руками». Помещение не могло вместить всех желавших проститься с покойным. Всё было завалено цветами. Постоянно звучали панихиды. Одну из них отслужил приехавший митрополит Антоний, другую пропели, как могли, дети, неожиданно пришедшие из какого-то сиротского приюта. Главная литургия было назначена в церкви Технологического института, расположенного напротив Главной палаты мер и весов. К этому времени всё пространство между Палатой и институтом оказалось запружено народом. Церковь оказалась буквально в осаде. К дубовому гробу Менделеева получили возможность приблизиться только министры и профессора.

Между тем толпа на улице прибывала. Пришли почти в полном составе студенты физико-математического факультета университета, на котором в связи с кончиной Дмитрия Ивановича были отменены занятия. Пришли студенты всех петербургских институтов, включая Политехникум и Высшие женские курсы. Было очень много гимназистов старших классов. Многие стояли с венками, что само по себе было поводом для вмешательства полиции, поскольку со времен похорон Тургенева и Некрасова ношение венков было запрещено. Приставы пригнали специальные дроги, чтобы их сложить, но молодежь расставалась со своими венками неохотно. После того как дроги были доверху заполнены, количество венков на руках людей, казалось, не уменьшилось. После литургии гроб с телом Менделеева несли на руках до самой могилы. Гроб качался посреди несметной массы народа — когда голова процессии достигла Гороховой, хвост ее был еще у стен Технологического института. По распоряжению городского головы, ученика Менделеева Н. А. Резцова, были не только зажжены оба ряда газовых фонарей, но каждый столб был обвит траурными лентами. Трамваи по пути следования похорон были остановлены. Вся процессия, несмотря на ее протяженность, была взята студентами в живую цепь. Во главе шествия студенты университета и Военно-медицинской академии несли на большом щите периодическую таблицу химических элементов. За ними шли офицеры Михайловской артиллерийской академии с большим серебряным венком.

Могила на фамильном участке Волкова кладбища, устланная ветками можжевельника, еще год не могла дать менделеевскому праху полного упокоения. Его продолжали тревожить, пока на этом месте не возвели склеп. Когда гроб мешал рабочим, они выносили его в кладбищенскую церковь. Наконец, невысокий цементный склеп, окруженный гранитными тумбами с цепями, был воздвигнут. На могиле установили гранитную глыбу с крестом, вырубленным из верхней ее части. Рабочие, подрядившиеся выполнить работу к годовщине смерти ученого, из-за морозов не успели высечь на граните ни дат рождения и смерти, ни изречения из трудов покойного. Только «Дмитрий Иванович Менделеев». Так и решено было оставить.

Послесловие

Через 61 год после смерти Дмитрия Ивановича Менделеева на воду было спущено научно-исследовательское судно, которому было присвоено его имя. Как и на любом корабле, на «Дмитрии Менделееве» весь срок его эксплуатации велся вахтенный журнал. Последние записи в нем вызывают вполне понятную грусть, но, кроме того, они странным образом что-то добавляют к ощущению ухода великого человека, в честь которого корабль был назван. И конечно же дело тут совершенно не в аналогиях, а именно в некоей невнятной или не вполне расслышанной подсказке, которую делает нам пылящийся в архиве судовой журнал. Настолько невнятной, что иногда кажется, будто ничего и не было.

Корабль «Дмитрий Менделеев» был построен в Германской Демократической Республике в 1968 году. В свой первый научный рейс судно отправилось в 1969-м. Оно совершило ровно 50 плаваний во всех океанских широтах. Последняя экспедиция «Дмитрия Менделеева» была в Арктику. Судовые отряды ученых Института океанологии имени П. П.

Ширшова собрали в этих плаваниях огромный материал по всем направлениям океанологической науки, приведший к ряду научных открытий и серьезным теоретическим обобщениям. На борту «Дмитрия Менделеева» кипела настоящая жизнь. Палубы и каюты научно-исследовательских судов были в те времена, возможно, самой свободной территорией Советского Союза. Здесь отдавались любимому делу преданные науке смелые и веселые люди. Они занимались гидрофизикой и геологией, гидробиологией и географией, изучали атмосферу и спускались на океанское дно, открывали мезомасштабные антициклонические вихри и уходили от пиратов, пили вино и пели песни Александра Городницкого, многие из которых бард написал здесь же, на борту «Дмитрия Менделеева».

Активная жизнь судна продолжалась 24 года, пока его ресурс не был исчерпан. Какое-то время научный корабль простоял у самого дальнего, 39-го, причала Калининградского порта. Потом было принято решение продать его в Индию на разделку.

Весной 2001 года судно своим ходом взяло курс на Мумбаи (Бомбей). В конце первой недели мая «Дмитрий Менделеев» бросил якорь на рейде порта Бхавнагар, в двух милях от маяка Аланг, и стал ждать полнолуния, которое должно было наступить 8 мая. С мостика судна были хорошо видны большой пляж и сигнальный флаг, указывающий «Дмитрию Менделееву» место между двумя ранее выбросившимися судами. За час до полной воды по команде с берега корабль отошел на три с половиной мили от береговой линии и двинулся по направлению к своей последней цели. Изношенный двигатель, будто зная, что уже незачем себя беречь, разогнал судно до шестнадцати узлов. Потом скорость начала гаситься прибрежным мелководьем и снизилась до десяти узлов. «Дмитрий Менделеев» без всяких толчков вынесся на пляж и лег острым днищем на илистый песок. Через две минуты двигатель корабля был уже выключен, а обе якорные цепи стравлены на половину смычки.[54] Капитан сделал последнюю запись в судовом журнале: «Скорость — ноль, широта 2°23′43″ северная, долгота 72°10′54″ восточная».

Есть ли во всем этом хоть какая-нибудь менделеевская нота? Иногда кажется, что нет. А если есть, то тогда уж начинается совсем тонкая материя — такая, в которой не бывает ничего лишнего и случайного и любой факт, даже прямо не относящийся к делу, начинает вести себя как рыдающий от боли ребенок. Судите сами: через несколько дней на тот же берег выбросился научный корабль «Академик Курчатов»…

* * *

Большое спасибо директору Квартиры-музея Д. И. Менделеева (Музея-архива Д. И. Менделеева Санкт-Петербургского государственного университета) доктору химических наук профессору И. С. Дмитриеву, заведующей Метрологическим музеем Госстандарта России при Всероссийском научно-исследовательский институте метрологии имени Д. И. Менделеева кандидату исторических наук Е. Б. Гинак и их коллегам за внимание, проявленное к рукописи, и высказанные замечания, а также сотрудникам отдела биологических наук Библиотеки по естественным наукам Российской академии наук и библиотеки Военного университета за помощь в работе.

Выражаю сердечную признательность Д. Л. Быкову и моему старому другу Е. Я. Марголиту, благодаря поддержке которых эта книга вышла в серии «Жизнь замечательных людей».

Приложения

Награды и звания Д. И. Менделеева

---

[54] Смычка — участок якорной цепи длиной 25–27 метров, соединяющийся с другими фрагментами при помощи специальных разъемных звеньев. *(Прим. ред.)*

Чин государственной службы Российской империи

Тайный советник (чин 3-го класса Табели о рангах, соответствует армейскому чину генерал-лейтенанта армии).

Государственные и научные награды Российской империи

Ордена Святого Владимира 1 — й и 2-й степени, Святого Александра Невского, Белого орла, Святой Анны 1-й и 2-й степени, Святого Станислава 1-й и 2-й степени, Демидовская премия (полная).

Государственные и научные награды других стран

Орден Почетного легиона (Франция), медаль Академии метеорологической аэростатики (Франция), медали Х. Дэви и Г. Копли Лондонского королевского общества, Фарадеевская медаль Английского химического общества.

Ученые степени

Доктор Туринской академии наук, Кембриджского университета; доктор права Эдинбургского, Принстонского университетов и университета Глазго; доктор гражданского права Оксфордского университета; доктор философии и магистр свободных искусств Геттингенского университета.

Членство в академиях и научных обществах

Член Лондонского королевского общества содействия естественным наукам, Эдинбургского и Дублинского королевских обществ, Римской академии наук (*Accademia dei Lincei*), Королевской академии наук Швеции, Американской академии искусств и наук, Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки (Бостон), Королевской академии наук (Копенгаген), Ирландской королевской академии, Югославянской (Загреб) и Чешской академий наук, литературы и искусства, Краковской, Ирландской (*R, Irish Academy* , Дублин), Бельгийской академий наук, литературы и изящных искусств, Российской академии художеств; член-корреспондент Санкт-Петербургской, Парижской, Прусской, Венгерской, Болонской, Сербской академий наук и др.

Почетный член Московского, Киевского, Казанского, Харьковского, Новороссийского, Юрьевского, Санкт-Петербургского, Томского университетов, Института сельского хозяйства и лесоводства в Новой Александрии, Санкт-Петербургского технологического и Санкт-Петербургского политехнического институтов, Санкт-Петербургской медико-хирургической и Петровской земледельческой и лесной академий, Московского технического училища, Русского физико-химического, Русского технического, Русского астрономического, Санкт-Петербургского минералогического и еще около тридцати сельскохозяйственных, медицинских, фармацевтических и других самостоятельных и университетских обществ России.

Почетный член Королевского института (*Royal Institution of Great Britain* , Лондон), Общества биологической химии (Международного объединения для содействия исследованиям), Общества естествоиспытателей в Брауншвейге, Английского, Американского, Немецкого химических обществ, Физического общества Франкфурта-на-Майне и Общества физических наук в Бухаресте, Фармацевтического общества Великобритании, Филадельфийского фармацевтического колледжа, Королевского общества наук и литературы в Гетеборге, Манчестерского литературно-философского и Кембриджского философского обществ, Королевского философского общества в Глазго, Научного общества Антонио Альцате (Мехико), Международного комитета мер и весов и многих других зарубежных научных учреждений.

Полный список званий и наград Д. И. Менделеева включает более ста наименований.

Судьба потомков Д. И. Менделеева в XX веке

Дети

Ольга Дмитриевна Менделеева (в замужестве Трирогова), дочь от брака с Феозвой Никитичной, едва уцелев в революционной буре 1917 года и бросив разграбленное мужиками аряшское имение, увезла дочь Наташу в Пензу, а потом в Москву. Как пишут некоторые авторы, уезжая, Ольга Ивановна в ярости грозила новым «хозяевам» страшной местью. Это были не пустые слова, поскольку Ольга Дмитриевна, по стечению обстоятельств, к этому времени имела знакомство с одним из вождей пролетарской революции — Ф. Э. Дзержинским. «Железный Феликс» ценил в ней не только происхождение, но и навыки собаководства, которые позже помогли ей устроиться консультантом питомника служебных собак ВЧК — ОПТУ в Москве. Но возможностью отомстить аряшским погромщикам она так и не воспользовалась, хотя, конечно, обиду не простила до самой смерти в 1950 году. В истории менделееведения Ольга Дмитриевна осталась как автор замечательных мемуаров.

Старшая дочь Дмитрия Ивановича и Анны Ивановны Любовь Дмитриевна вышла замуж за Александра Блока в 1903 году. Венчание произошло в шахматовской церкви. Перед обрядом пара удалилась помолиться. Молитва длилась так долго, что присутствующие начали беспокоиться, хотели послать за новобрачными, но Менделеев не позволил. Сам он, будто предчувствуя все несчастья будущего брака, почти весь день был очень расстроен и много плакал. Любови Дмитриевне суждено было стать одной из известных личностей Серебряного века — как жене великого поэта и героине его «Стихов о Прекрасной Даме». Для себя она избрала служение театральному искусству — еще до свадьбы поступила на драматические курсы М. М. Читау. Впоследствии Любовь Дмитриевна закончила Высшие женские курсы, в 1907–1908 годах играла в труппах В. Э. Мейерхольда и В. Ф. Комиссаржевской. Во время Первой мировой войны пошла работать в госпиталь сестрой милосердия. Что касается ее отношений с супругом, то они, как известно, были сумбурными и мучительными. Единственный ребенок, рожденный ею, умер в младенчестве. Лишь в последние, самые тяжелые годы жизни Блока она стала его верной спутницей. Любовь Дмитриевна была первой публичной исполнительницей поэмы «Двенадцать». После смерти Блока дочь Менделеева увлеклась историей и теорией балетного искусства, начала изучать педагогические методы Агриппины Вагановой, учила актерскому мастерству будущих знаменитых советских балерин Галину Кириллову и Наталью Дудинскую. Скончалась Любовь Дмитриевна в 1938 году.

Ее младшего брата Ивана Дмитриевича (кстати, на свадьбе сестры он был одним из шаферов Блока) отец не захотел отпускать в Париж под крыло И. И. Мечникова. В 1901 году, окончив с золотой медалью гимназию, он стал студентом созданного при активном участии отца Петербургского политехнического института, потом все-таки перевелся на физико-математический факультет университета. Он стал хорошим помощником Дмитрию Ивановичу в выполнении сложных расчетов для его экономических работ. После смерти Менделеева Иван Дмитриевич опубликовал его последнюю книгу и на несколько лет уехал во Францию. Будучи наделен наследственной тягой к философии, в 1909–1910 годах он издал в этой области две работы: «Мысли о познании» и «Оправдание истины». Вернувшись на родину, поселился в Боблове, где организовал школу для крестьянских детей и сам преподавал в ней. Имеются также данные, что Иван Дмитриевич был создателем коммуны, а затем товарищества по совместной обработке земли на базе отцовского имения. После пожаров, уничтоживших все следы менделеевских жилых и хозяйственных построек, он навсегда покинул родную усадьбу. С 1924 года и до конца жизни Иван Дмитриевич работал в Главной палате мер и весов, где занимался исследованием материалов при низких температурах, теорией весов и конструированием термостатов. Едва ли не первым в СССР приступил к изучению свойств «тяжелой воды». Он написал воспоминания об отце, которые, несмотря на их вполне лояльное советской власти содержание, были полностью опубликованы лишь в 1993 году. Умер Иван Дмитриевич в 1936 году, не оставив детей.

На свадьбе старшей сестры семнадцатилетняя Муся, набравшись духу, по-взрослому

провозгласила тост: «За всех гостей!» — и тут же получила «алаверды» от семейного доктора Менделеевых И. И. Орлова: «За вашу храбрость!» Мария Дмитриевна, в замужестве Менделеева-Кузьмина, закончила гимназию Эмилии Шаффе, а затем Высшие женские сельскохозяйственные курсы (Стебутовские) и вскоре получила известность в качестве одного из лучших специалистов в разведении легавых собак (в этом отношении ее профессиональные интересы совпадали с интересами единокровной сестры, Ольги Дмитриевны — если, конечно, скудные источники ничего на этот счет не напутали). С 1904 года она начала самостоятельно охотиться, причем впоследствии довела умение стрелять до совершенства. Она написала ряд серьезных работ по кинологии и охоте. После Великой Отечественной войны Мария Дмитриевна заведовала Музеем-архивом Д. И. Менделеева при Ленинградском университете, работала вместе с сотрудницей архива Т. С. Кудрявцевой над систематизацией отцовского наследия и за год до своей смерти успела издать первый сборник «Архива Д. И. Менделеева». Умерла она в 1951 году, оставив после себя дочь Екатерину, и была похоронена рядом с отцом.

Совсем мало сведений сохранилось о ее брате-близнеце Василии Дмитриевиче Менделееве. В «Летописи жизни и деятельности Д. И. Менделеева» сообщается, что он учился в Морском техническом училище в Кронштадте, работал в Главной палате мер и весов, проявлял недюжинные способности в конструировании летательных аппаратов и военной техники. В «Биографических заметках…» Дмитрий Иванович сообщает, что в училище Василий недоучился из-за неладов с теоретическими дисциплинами. Отец взял его к себе в Палату на должность запасного поверителя. В 1909 году Василий опубликовал работу «О наивыгоднейших размерах и предельной величине летательных машин тяжелее воздуха». В 1918 году оказался в Екатеринодаре, где работал конструктором на заводе «Куба-ноль». В 1920 году (в возрасте тридцати четырех лет) поступил на механическое отделение Кубанского политехнического института. В 1922 году он умер от тифа. Детей после себя не оставил. В истории военного дела Василий Дмитриевич остался как автор конструкции первого в мире сверхтяжелого танка. Судьба Розамунды, дочери Агнессы Фойхтман, неизвестна.

Внучки и правнук

Если не задаваться вопросом о будущем японской жены Владимира Дмитриевича Менделеева Таки Хидесима и их дочери Офудзи, судьба которых покрыта тайной, и детей, возможно, родившихся у Розамунды, у Менделеева были две внучки, дожившие до взрослого возраста: Наташа — дочь Ольги, и Катя — дочь Марии. О взрослых годах Натальи Дмитриевны Трироговой, которую дед успел подержать на руках и побаловать, неизвестно почти ничего, кроме того, что замуж она не выходила, детей не имела и умерла через год после матери, в 1951-м. Мать и дочь похоронены на Новодевичьем кладбище рядом с тремя могилами Кублицких — родственников Александра Блока.

О Екатерине Дмитриевне Менделеевой-Каменской, родившейся в 1925 году и дожившей до девяностых годов XX века, и ее сыне Александре Евгеньевиче Каменском благодаря публикации их друга, доктора химических наук Д. И. Мустафина (1 сентября. 2007. № 06), известно значительно больше.

Сначала Екатерина Дмитриевна училась в Ленинградской академии художеств, потом поступила в театральную студию Большого драматического театра имени А. М. Горького, где училась на одном курсе вместе с известными впоследствии ленинградскими актерами Н. Ольхиной и В. Стржельчиком. Затем окончила исторический факультет Ленинградского университета. Судя по описанию автора статьи, Е. Д. Каменская имела чрезвычайно выразительную внешность: «Высокая, статная, яркая, она всегда была в центре внимания, окруженная поклонниками и подружками. В юности она обладала большой физической силой и могла на спор поднять руками автомобиль. Студенты Академии художеств заключали пари и пропускали лекции, чтобы посмотреть, как внучка Менделеева Катя будет

поднимать огромную машину… Меня сразу же потрясло удивительное сходство Екатерины Дмитриевны с ее великим дедом. Одета она была довольно просто и даже, наверное, бедно, но вся ее монументальная фигура, открытое улыбающееся лицо с большим чувственным ртом, неторопливая правильная речь говорили о благородном происхождении и о врожденном интеллекте, который нельзя приобрести, даже читая самые умные книги. Она была открытой, веселой и шумной, с ярко-рыжими волосами. Любила рассказывать о себе, о своей маме и о деде, которого никогда не видела».

Несмотря на способности и разностороннее образование, Екатерина Дмитриевна не смогла добиться успеха в жизни. Научные степени и высокооплачиваемые должности обошли ее стороной. Внучка Д. И. Менделеева всю жизнь проработала рядовым научно-техническим сотрудником в знаменитой Кунсткамере, Музее антропологии и этнографии, изучала историю и культуру народов Полинезии. «Она могла, — пишет Д. И. Мустафин, — часами рассказывать о генезисе культуры, об особенностях мифологического сознания, которое, как она утверждала, представляет собой не низшее сознание, предсознание, а иную форму сознания, по-своему не менее высокую, чем научное… Когда она увлекалась… ее речь становилась особенно красивой, манеры — изысканными, а выражение лица — покровительственным и царственным…»

После войны она вышла замуж за горного инженера Евгения Каменского, родила сына Александра, но затем супруги разошлись. Вскоре мужа надолго посадили. Саша воспитывался у бабушки и дедушки по отцовской линии, с матерью виделся нечасто, поэтому особой душевной близости между ними так и не возникло. Екатерина Дмитриевна занимала одну комнату в многонаселенной коммунальной квартире с длинными коридорами, темными чуланами и очень высокими потолками. Комната была выгорожена из огромной залы, имела непропорционально вытянутую форму и упиралась в постоянно разбитое окно.

Саша вырос удивительно похожим на своего великого прадеда, каким его рисовали на парадных портретах Репин и Крамской: большим, высоким, барственным и аристократичным. Судьбу единственного правнука Дмитрия Ивановича Менделеева вряд ли можно назвать счастливой. Д. И. Мустафин пишет: «Лишенный родительского внимания, Саша сумел закончить только десятилетку, а потом оказался в тюрьме. Однажды у меня дома он рассказал мне, что первый раз угодил в тюрьму, когда вступился за девушку, к которой приставал милиционер… Когда Александр… вышел из тюрьмы, его дедушка и бабушка уже умерли, их квартира отошла государству, и он остался без крова и без прописки. Потом ему удалось прописаться к матери, но жить вместе было сложно, они отвыкли друг от друга, так как всю жизнь прожили порознь…»

Екатерина Дмитриевна получала крохотную пенсию, которая почти вся уходила на папиросы — она, как и дед, курила очень много. Содержать сына ей было не на что. Александр пошел работать экспедитором на завод монументальной скульптуры, куда его устроила подруга матери, скульптор Г. П. Левицкая. Но от этого ситуация в семье почти не улучшилась. Они явно мешали друг другу. Екатерина Дмитриевна хотела уехать из Ленинграда, который считала враждебным городом, мечтала вырваться из опостылевшей коммуналки, освободить жилплощадь для сына.

Д. И. Мустафин рассказывает: «Мы стали думать о переезде, и, наконец, решение подсказала сама Екатерина Дмитриевна, заговорив о Московском доме престарелых, а точнее, Доме-пансионате ветеранов науки Академии наук СССР около станции метро «Коньково», в котором она бывала… Однако отсутствие московской прописки и наличие сына делали этот проект практически нереальным. В пансионат принимали только москвичей и только одиноких, не имеющих детей и внуков. Сразу два ректора Менделеевки (имеется в виду Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева. — М. Б.) подключились к решению проблем внучки Д. И. Менделеева: бывший ректор Геннадий Алексеевич Ягодин, который в те годы был министром высшего и среднего специального образования СССР, и нынешний ректор Павел Джибраелович Саркисов… В Доме ветеранов науки Екатерину Дмитриевну встретили доброжелательно, предоставили

отдельную комнату с просторной лоджией, туалетом и душем, которые ей не нужно было делить с соседями, как это было на протяжении почти всей ее жизни. Она искренне радовалась тому, что теперь ей не придется бегать за продуктами по магазинам и она может спокойно сидеть у окна, наблюдая за белками… Она знала, что у нее рак, но относилась к этому спокойно и даже равнодушно, опухоль не очень беспокоила ее. Умерла она не от рака, а примерно так же, как и ее гениальный дед: простудилась на сквозняке, провожая кого-то в холле пансионата. По просьбе Екатерины Дмитриевны ее кремировали, прах передали сыну, который должен был захоронить его на Волковом кладбище в Петербурге, рядом с могилами ее знаменитого деда и матери… Говорят, что прах внучки Менделеева и по сей день лежит безымянным: у сына Саши нет денег на надгробную плиту, а больше, как оказалось, никому это не нужно…»

Основные даты жизни и деятельности Д. И. Менделеева

1834, 27 января — в селе Верхние Аремзяны в семье директора Тобольской гимназии Ивана Павловича Менделеева и его жены Марии Дмитриевны родился семнадцатый ребенок, названный Дмитрием.

1838, февраль — заболел оспой.

1839, июнь — возвращение Менделеевых в Тобольск. 1841, август — поступил в Тобольскую гимназию.

1847, 12 октября — смерть отца.

1848, июнь, декабрь — пожары на Аремзянском стекольном заводе.

1849, 14 июня — окончил Тобольскую гимназию.

Середина июля — с матерью и сестрой уехал в Москву для поступления в университет.

Осень — поселился в Москве в доме дяди, В. Д. Корнильева, где встречался с известными учеными и писателями, в том числе с Н. В. Гоголем; безуспешная попытка сдать документы на физико-математический факультет Московского университета.

1850, весна — переезд в Петербург, экзамены в Главном педагогическом институте.

Август — зачислен казеннокоштным студентом физико-математического факультета Главного педагогического института.

20 сентября — смерть матери.

1851, март — смерть В. Д. Корнильева.

Осень — начало длительной легочной болезни.

1852, 18 марта — смерть сестры Елизаветы.

1853 — отказался от перевода в Киевский университет, начал исследования в области изоморфизма.

1854, 15 июня — вышла в свет первая работа «Химический анализ ортита из Финляндии».

1855, конец августа — окончил Главный педагогический институт с золотой медалью и званием старшего учителя естественных наук гимназии, выехал к месту службы в Симферополь. Октябрь — консультация у знаменитого врача Н. И. Пирогова, не подтвердившего диагноз чахотки.

Октябрь — ноябрь — переезд из Симферополя в Одессу, назначение старшим учителем гимназии при Ришельевском лицее.

1856, 9 апреля — написал письмо директору Главного педагогического института с просьбой направить для учебы за границу.

19 апреля — получил положительный ответ.

18–30 мая — держал в Петербурге магистерские экзамены.

9 сентября — защитил магистерскую диссертацию «Удельные объемы».

21 октября — защитил диссертацию «Строение кремнеземных соединений» на право чтения лекций в университете.

Осень — помолвлен с Софьей Каш.

1857, 9 января — перевелся из Одесской гимназии в Петербургский университет приват-доцентом кафедры химии.

Август — получил отказ Софьи Каш.

Осень — начал преподавать органическую химию в Петербургском университете и химию во Втором кадетском корпусе.

1858, весна — начал публиковать материалы на промышленные темы.

1859, 14 апреля — выехал за границу для научной работы.

Июль — устроил в Гейдельберге собственную лабораторию, начал исследование капиллярности.

1860, май — открыл «абсолютную температуру кипения».

Начало сентября — участвовал в Международном химическом конгрессе в Карлсруэ.

Роман с немецкой провинциальной актрисой Агнессой Фойхтман.

1861, февраль — возвратился в Петербург, принял предложение издательства «Общественная польза» написать учебник «Органическая химия» и редактировать русское издание «Технической энциклопедии по Вагнеру».

Июнь — сдал в печать «Органическую химию», путешествовал по Ладожскому озеру, на остров Валаам и по Финляндии; начал работать над теорией пределов.

Сентябрь — возобновил чтение лекций в университете, начал *преподавать* во Втором кадетском корпусе, Николаевском инженерном училище и Институте корпуса инженеров путей сообщения и заведовать в последнем химической лабораторией.

Декабрь — с закрытием университета после студенческих сходок Менделеев в числе многих других преподавателей выведен за штат. Поездка на завод в Кошелях (близ Боровичей) для усовершенствования технологии перегонки древесной смолы. Рождение Агнессой Фойхтман дочери Розамунды.

1862, январь — март — чтение публичных лекций в здании Петербургской городской думы.

5 апреля — присуждение учебнику «Органическая химия» полной Демидовской премии.

29 апреля — венчание с Феозвой Никитичной Лещовой.

6 мая — выезд с женой в четырехмесячную командировку в Европу. Июнь — посетил Всемирную выставку в Лондоне.

6 августа — смерть старшего брата Ивана.

Конец декабря — взял на воспитание племянника Якова.

1863, март — рождение дочери Марии.

20 марта — начал исследование плотности спиртов и спиртоводных растворов.

20 августа — выехал по предложению нефтезаводчика В. А. Кокорева на Бакинские промыслы для экспертизы методов переработки и транспортировки нефти.

1 сентября — смерть дочери Марии.

9 октября — возвратился в Петербург.

1864, 1 января — утвержден в должности профессора химии Технологического института и штатного доцента Петербургского университета.

9 мая — середина августа — путешествовал с женой по Европе, лечился на австрийском курорте Ишль.

1865, 2 января — рождение сына Владимира.

31 января — защитил докторскую диссертацию «Рассуждение о соединении спирта с водою».

24 апреля — утвержден экстраординарным профессором Петербургского университета по кафедре технической химии.

14 июня — совместно с Н. П. Ильиным приобрел имение Боблово.

7 декабря — утвержден ординарным профессором.

9 декабря — избран членом Вольного экономического общества.

1866, 21 апреля — на чрезвычайном общем собрании Вольного экономического общества одобрена предложенная Менделеевым программа сельскохозяйственных опытов.

Октябрь — начал работать в комиссии по подготовке к участию России во Всемирной Парижской выставке 1867 года.

Ноябрь — переехал с семьей на университетскую квартиру.

1867, февраль — май — посетил Всемирную выставку в Париже.

Сентябрь — завершил книгу «О современном развитии некоторых химических производств в применении к России и по поводу Всемирной выставки 1867 года».

18 октября — перешел на кафедру общей химии Петербургского университета.

22 декабря — назначен членом Медицинского совета Министерства внутренних дел.

1868, 15 февраля — собрание членов-учредителей Русского химического общества приняло проект устава, составленного Менделеевым.

Конец мая — начало июня — вышел в свет первый выпуск первой части «Основ химии».

Конец декабря — осматривал молочные хозяйства в Тверской губернии.

1869, 17 февраля — составил таблицу «Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сродстве».

1870, 28 марта — выступил в качестве эксперта на процессе об убийстве фон Зона.

29 ноября — окончил статью «Естественная система элементов и применение ее к указанию свойств неоткрытых элементов».

1871, конец февраля — вышел в свет последний выпуск первого издания «Основ химии».

Май — июнь — научная командировка в Европу.

Конец декабря — начал исследование упругости газов.

1872, 21 марта — первое заседание созданной по инициативе Менделеева Комиссии по исследованию свойств газов при Русском техническом обществе.

17 июня — начало августа — поездка за границу для приобретения оборудования для работы с газами.

13 сентября — уход из Технологического института.

1873 — начал экспериментальные исследования свойств газов при разном давлении.

1874, 29 октября — на заседании физико-математического отделения Академии наук кандидатура Менделеева в адъюнкты отвергнута по формальной причине отсутствия вакансии.

1875, февраль — встреча с французским писателем и историком Э. Ренаном.

Март — завершил первую часть «Отчета об упругости газов».

7 мая — первое заседание созданной по инициативе Менделеева комиссии для рассмотрения медиумических явлений.

15 декабря — чтение первой публичной лекции о спиритизме.

Декабрь — доклад Ж. Б. Дюма о работе Д. И. Менделеева «О температуре верхних слоев атмосферы» на заседании Парижской академии наук.

1876, 8 января — выступил с предложением об объединении Русского химического и Русского физического обществ.

5 марта — в «Московских ведомостях» вышла статья с грубыми нападками на Менделеева в связи с его выступлениями в защиту устава университета.

Апрель — чтение двух публичных лекций о спиритизме.

18 мая — конец июля — командировка в США для изучения нефтяной отрасли и посещения Всемирной выставки в Филадельфии.

29 декабря — избран членом-корреспондентом Петербургской академии наук.

1877, январь — опубликовал книгу «Нефтяная промышленность в Северо-Американском штате Пенсильвания и на Кавказе».

Май — познакомился с подругой племянницы Анной Поповой.

Лето — фактически прекратил исследование упругости газов.

1878, 17 сентября — поездка за границу для лечения и сбора материалов по вопросам воздухоплавания.

1879, конец мая — возвратился в Россию.

1880, май — июнь — посетил кавказские нефтепромыслы.

11 ноября — кандидатура Менделеева в члены Петербургской академии наук забаллотирована.

13 ноября — опубликовал в газете «Голос» статью «Перед картиною Куинджи».

1881, 21 января — на заседании Русского технического общества подвел итоги исследований упругости газов, отказавшись от продолжения работы.

Февраль — подал прошение об отставке из университета, которое по просьбе ректора А. Н. Бекетова заменил прошением об отпуске.

22 февраля — поездка в Италию, где в то время находилась А. И. Попова.

Май — август — усовершенствовал технологию нефтепереработки на принадлежащем В. Н. Рагозину Константиновском заводе близ Ярославля.

29 декабря — рождение дочери Любови.

1882, начало года — расторжение брака с Ф. Н. Менделеевой.

18 апреля — венчался с А. И. Поповой.

1883, конец лета — осень — начал строительство нового дома в Боблове.

13 декабря — рождение сына Ивана.

31 декабря — окончил статью «О возбуждении промышленного развития России».

1885, 5 января — начал участвовать в деятельности комиссии Русского технического общества по строительству нефтепровода Баку — Батум.

Начало года — начал работать над серией статей «Письма о заводах» для журнала «Новь».

1886, 13–30 мая — поездка в Баку вместе с сыном Владимиром.

Август — поездка в Баку вместе с дочерью Ольгой.

30 декабря — рождение близнецов Марии и Василия.

1887, середина года — работа над книгой «Исследование водных растворов по удельному весу».

7 августа — одиночный полет на воздушном шаре с целью исследования солнечной короны в условиях затмения.

1888, начало февраля — конец июня — несколько длительных поездок в Донецкий каменноугольный бассейн.

Ноябрь — завершил статью «Будущая сила, покоящаяся на берегах Донца».

1889, 12 мая — поездка с женой в Англию для чтения лекции в Королевском институте Великобритании и участия в Фарадеевском чтении в Английском химическом обществе.

4 июня — срочный отъезд в Россию в связи с болезнью сына Василия.

5 августа — начал сотрудничество с Министерством финансов по вопросу пересмотра общего таможенного тарифа.

15 октября — свадьба дочери Ольги с мичманом Гвардейского экипажа А. В. Трироговым.

1890, 15 марта — добровольно ушел в отставку после отказа министра просвещения принять от него петицию студентов.

29 марта — подал прошение в Главное управление по делам печати о разрешении издавать ежедневную политико-литературную и экономическую газету «Подъем», на которое получил отказ.

20 мая — возглавил разработку отечественного бездымного пороха.

7 июня — 15 июля — поездка во главе группы специалистов в Англию и Францию для изучения производства пороха.

1891, 23 января — получил легкорастворимую нитроклетчатку («пироколлодий»).

3 июня — начал работать редактором и автором технического и химического отделов

Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона.

8 августа — открылась Научно-техническая лаборатория Морского министерства для исследования пороха и взрывчатых веществ. Октябрь — завершил книгу «Толковый тариф».

1892, 19 ноября — назначен ученым хранителем Депо образцовых мер и весов.

1893, январь — вошел в состав комиссии по подготовке России к участию во Всемирной выставке в Чикаго.

Февраль — завершил книгу «Фабрично-заводская промышленность и торговля в России».

1 мая — составил план работ по промышленному производству бездымного пороха.

22 июня — поездка на завод П. К. Ушкова для организации промышленного производства пироколлодийного пороха.

20 ноября — предложил соорудить первый в России «опытовый бассейн».

1894, 15 января — рождение внучки Наташи, дочери Ольги Дмитриевны.

Май — поездка за границу с целью изготовления эталонов для Главной палаты мер и весов.

Начало июня — участвовал в церемонии присвоения степени доктора гражданского права Оксфордского университета.

Середина июня — возведен в степень доктора права Кембриджского университета.

1895, весна — прекратил сотрудничество с Морским министерством в области промышленного освоения универсального бездымного пороха.

Приобретение метрологического оборудования и работа над «возобновлением» старых русских эталонов.

1896, 14 января — венчание Владимира Менделеева с Варварой Лемох.

7 мая — командирован от Министерства финансов в Лондон, чтобы убедить нефтяную комиссию при палате общин в безопасности использования русского керосина.

Лето — руководил фабрично-заводской экспертной комиссией Нижегородской выставки.

1897, февраль — вышла в свет книга «Основы фабрично-заводской промышленности».

Октябрь — участвовал в выборе проекта ледокола для плавания в Северном Ледовитом океане.

26 октября — переехал с семьей в новую квартиру в доме для служащих Главной палаты мер и весов.

1898, 11 мая — составил совместно с С. О. Макаровым докладную записку министру финансов С. Ю. Витте «Об исследовании Северного Полярного океана во время пробного плавания ледокола «Ермак»».

9 июня — опубликовал «Опытное исследование колебания весов».

19 декабря — смерть сына Владимира.

1899, середина апреля — подал прошение об увольнении из состава предстоящей полярной экспедиции из-за разногласий с С. О. Макаровым.

Май — начало заседаний комиссии по реформе русского календаря.

4 июня — Николай II утвердил разработанные Менделеевым «Положение о мерах и весах» и новый штат Главной палаты мер и весов.

8 июня — выезд в командировку на Урал для исследования состояния горнозаводской промышленности.

30 июня — 6 июля — посетил Тобольск.

17 июля — резкое ухудшение состояния здоровья.

19 июля — возвратился в Боблово.

27 октября — завершил книгу «Уральская железная промышленность».

4 декабря — С. Ю. Витте обратился к президенту Академии наук великому князю Константину Константиновичу с предложением избрать Менделеева академиком, на которое получен отказ.

1900, 12 февраля — купил участок земли в Петербурге на Пушкарской улице для строительства двух доходных домов.

30 апреля — посетил Всемирную Парижскую выставку в качестве представителя Министерства финансов. Лето — смерть внука Дмитрия.

Сентябрь — открытие Петербургской поверочной палатки при Русском техническом обществе.

Работа над книгой «Учение о промышленности».

1901, май — составил план и смету строительства дома Главной палаты мер и весов («Дом с башней»).

12 июня — окончил описание личной библиотеки.

Сентябрь — опубликовал «Заметки о народном просвещении России».

Ноябрь — декабрь — работал над проектами новых ледоколов.

1902, январь — безуспешно пытался добиться разрешения на собственную полярную экспедицию.

Апрель — посетил парижскую лабораторию А. Беккереля, составил по просьбе С. Ю. Витте записку «О нуждах русского сельского хозяйства».

Октябрь — завершил статью «Попытка химического понимания мирового эфира».

1 декабря — торжественное открытие нового здания Главной палаты мер и весов.

1903, конец июня — июль — поездка по Волге с детьми Василием, Марией и Иваном.

17 августа — венчание Любови Менделеевой с Александром Блоком.

Конец августа — участвовал в проводах в отставку С. Ю. Витте.

27 ноября — предварительная операция по удалению катаракты.

21 декабря — начало опытов с радием в Главной палате мер и весов.

1904, 7 января — окончательная операция по удалению катаракты.

27 января — чествование Д. И. Менделеева по поводу его семидесятилетия.

1905, 9 января — ссора с С. Ю. Витте.

4 октября — завершил работу над книгой «Заветные мысли».

30 ноября — участвовал в торжественном заседании Королевского общества в Лондоне по поводу вручения медали Колли.

6 декабря — смерть в Пензе Феозвы Никитичны.

1906, февраль — июнь — работа над текстом первого издания книги «К познанию России».

10 августа — вышло в свет второе издание книги.

9 сентября — опубликовано третье издание книги «К познанию России».

Октябрь — предложил совету Петербургского университета присвоить звание «почетный химик» народовольцу Н. А. Морозову.

Декабрь — осуществил расчет площади поверхности Земли для «Дополнений к познанию Россию».

1907, начало января — сдана в печать первая глава «Дополнений к познанию России».

11 января — простудился во время визита министра торговли и промышленности в Главную палату мер и весов.

20 января — смерть Дмитрия Ивановича Менделеева.

Краткая библиография

Азимов А . Краткая история химии. СПб., 2000. Архив Д. И. Менделеева. Л., 1951. Т. 1.

Басаргин Н. В. Воспоминания, рассказы, статьи. Иркутск, 1988.

Верхотуров Д. Н. Покорение Сибири. Мифы и реальность. М., 2005.

Гинак Е. Б . Метрологическая реформа Д. И. Менделеева (конец XIX — начало XX в.): Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 2008.

Д. И. Менделеев в воспоминаниях современников. М., 1993.

Д. И. Менделеев. 1834–1907: Художественный альбом. Л., 1984.

Дмитриев И. С . Человек эпохи перемен: Очерки о Д. И. Менделееве и его времени. СПб., 2004.

Добротин Р. Б., Карпило И. Г. Библиотека Д. И. Менделеева. Л., 1980.

Кавторин В . Петербургские интеллигенты. СПб., 2001.

Капустина-Губкина Н. Я . Семейная хроника в письмах матери, отца, брата, сестер, дяди Д. И. Менделеева. Воспоминания о Д. И. Менделееве. СПб., 1908.

Кедров Б. М . Мировая наука и Менделеев. М., 1983.

Кони А. Ф . Воспоминания о писателях. М., 1889.

Летопись жизни и деятельности Д. И. Менделеева / Отв. ред. А. В. Сторонкин. Л., 1984.

Макареня А. А . Д. И. Менделеев о радиоактивности и сложности элементов. М., 1963.

Макареня А. А., Нутрихин А. И . Менделеев в Петербурге. Л., 1982.

Маклаков В. А . Из воспоминаний. Нью-Йорк, 1954.

Менделеев Д. И . Дневники 1961 и 1962 гг. // Научное наследство. Т. 2. М., 1951.

Менделеев Д. И . Заветные мысли. М., 1995.

Менделеев Д. И . К познанию России. М., 2006.

Менделеев Д. И. Научный архив. Освоение Крайнего Севера. М.; Л., 1960.

Менделеев Д. И . Научный архив. Растворы. М.; Л., 1960.

Менделеев Д. И . Органическая химия. СПб.,1863.

Менделеев Д. И . Основы химии. 8-е изд. СПб., 1906.

Менделеев Д. И . Переписка 1876–1881 гг. // Научное наследство. Т. 21. М., 1993.

Менделеев Д. И . Письма, касающиеся работ по пироколлодийному пороху //

Менделеев Д. И . Научное наследство. Т. 2.

Менделеев Д. И . Собрание сочинений: В 25 т. М.; Л., 1934–1954.

Менделеев И. Д . Воспоминания об отце Дмитрии Ивановиче Менделееве //Научное наследство. Т. 21.

Менделеева А. И. Менделеев в жизни. М., 1928.

Младенцев М. Н. Воспоминания о Дмитрии Ивановиче Менделееве // Научное наследство. Т. 21.

Младенцев М. Д., Тищенко В. Е . Д. И. Менделеев. Его жизнь и деятельность. М.; Л., 1938. Т. 1.

Мустафин Д. И . Две внучки Д. И. Менделеева // 1 сентября. 2007. № 6(725), 16–31 марта.

Нутрихин А . Жаворонок над полем: Повесть о детстве Дмитрия Ивановича Менделеева // http://thelib.ru/books/nutrihin_a/zhavoronokjrad_polern_povest_o_detstve_dmitriya_ivanovicha_mendeleeva-read.htrnl.

Озаровская О. Э . Великий химик. М.; Л., 1932.

Писаржевский О. Н . Дмитрий Иванович Менделеев. М., 1959.

Смирнов Г . Менделеев. М., 1974.

Тищенко В. Е., Младенцев М. Н . Дмитрий Иванович Менделеев, его жизнь и деятельность. Университетский период 1861–1890 гг. //Научное наследство. Т. 21.

Тобольский гений России: В 2 т. Тобольск, 2003.

Трирогова-Менделеева О. Д . Менделеев и его семья. М., 1947.

Фигуровский Н. А . Дмитрий Иванович Менделеев. М., 1983.

Чугаев Л. А . Д. И. Менделеев: Жизнь и деятельность. Л., 1924.

Шостьин Н. А. Очерки истории русской метрологии XI–XX вв. М.,1990.